THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3335
.N44
1910

a 00002 865055

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.

Form No. 513,
Rev. 1/84

Николай Васильевичъ

ГОГОЛЬ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНІЯ.

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Изданіе 3-е, дополненное.

PG3335
N44
1910

NIKOLAĬ
VASIL'EVICH
GOGOL':
EGO ZHIZN'
I SOCHINENIIA

УЧЕНИЧЕСКАЯ
МОСКОВСКОЙ II ГИМНАЗІИ
БИБЛІОТЕКА

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
PROPERTY OF
LIBRARY
AT CHAPEL HILL

МОСКВА.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. Спиридонова и А. Михайлова.

Тверская, Столешниковъ пер., д. Ліанозова. Телеф. 120-95.

1910.

Типографія Г. Лисснера и Д. Собко.
Воздвиженка, Крестовоздвижен. пер., д. 9.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ третьемъ изданіи помѣщены слѣдующія новыя статьи: Творчество Гоголя въ періодъ созданія «Мертвыхъ душъ» и его генетическая связь съ предшествующими произведеніями, *Владимирова*.— «Тарасъ Бульба», какъ отраженіе любви Гоголя къ старинѣ, *Житецкаго*. — Старина въ «Тарасѣ Бульбѣ», *Богалѣя*. — Тарасъ Бульба, какъ идеалъ казака, съ точки зрѣнія современныхъ патріотовъ, *Коробки*. — Казачество въ повѣсти «Тарасъ Бульба» и типичность выведенныхъ въ ней лицъ, *Овсянико-Куликовскаго*. — Внѣшнія формы, въ которыя отлились отношенія старосвѣтскихъ помѣщиковъ къ самимъ себѣ, гостямъ, дворнѣ, *Флерова*. — Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, какъ семьяне и помѣщики, *Барсова*. — Хлестаковъ, *Мережковскаго*. — Сквозникъ-Дмухановскій, *Флерова*. — Картина распада помѣщичьяго уклада жизни, нарисованная Гоголемъ въ «Мертвыхъ душахъ» и созданные имъ въ этомъ произведеніи типы, *Коробки*. — Пустота жизни, очерченная Гоголемъ въ «Мертвыхъ душахъ» и ея причины, *Барсова*. — Слова, выраженія и складъ рѣчи, свойственныя народному творчеству, въ сочиненіяхъ Гоголя, *Карскаго*. — Гоголь и народная пѣсня, *Гр. Георгіевскаго*. — Происхожденіе смѣха Гоголя, его сущность и характеръ, *Житецкаго*. — Гоголь, какъ проповѣдникъ и писатель, *его же*. — Общественные завѣты Гоголя въ русской художественной литературѣ 70—90-хъ годовъ, *Замотина*. — Отношеніе Гоголя къ соціальному направленію литературы 40-хъ годовъ, *Сакулина*. — Общественно-политическіе идеалы Гоголя, *Ковалевскаго*.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

Первоначальныя условія жизни, подъ которыми создавалась личность Гоголя, *Лавровскаго* 1
Родители Гоголя, ихъ жизнь и бытъ, *Шенрока* 4
Школьная жизнь Гоголя, *его же* 14
Занятія Гоголя въ гимназіи, *Кулиша* 18
Пансіонная жизнь въ гимназіи и ея вліяніе на питомцевъ, *Шенрока*. 22
Литературныя и художественныя занятія Гоголя, *Щеголева* 25
Товарищескій кружокъ Гоголя, *Кояловича*. 29
Жизнь Гоголя въ Петербургѣ и его первая поѣздка за границу, *Шенрока*. . . 31
Остальные годы жизни Гоголя, *Кулиша* 38
Общій характеръ поэтическаго творчества Гоголя, *Григорьева* 47
Постепенное развитіе и видоизмѣненіе творчества Гоголя за періодъ 1832—1842 гг., *Тихонравова*. 49
Творчество Гоголя въ періодъ созданія «Мертвыхъ душъ» и его генетическая связь съ предшествующими произведеніями, *Владимирова* 51
Постоянный ростъ художественнаго творчества Гоголя, *Шенрока* 54
Жизнерадостный характеръ колядокъ и щедривокъ, *Сумцова* 61
Колядованье и щедрованье въ Малороссіи, *Терещенка* 63
Досвѣтки и посидѣлки, *Сумцова* 66
Русалки по понятіямъ украинскаго народа, *Максимовича* 71
Вѣдьма по представленіямъ малорусскаго народа, *Иванова, Чубинскаго, Ефименка*. 74
Народныя представленія малороссовъ о чертяхъ, *Чубинскаго* 81
Упыри въ народныхъ вѣрованіяхъ, *Ефименка*. 83
Повѣрья о кладахъ, *Чубинскаго*. 84
Малорусская сказка о кузнецѣ и чортѣ, легшая въ основу повѣсти Гоголя: «Ночь предъ Рождествомъ», *Петрова* 86
Народныя преданія въ повѣсти Гоголя «Вій», *его же* 87
Отношеніе поэмы Стороженка «Марко-проклятый» къ произведеніямъ Гоголя, *его же* 88
Украинскій и великорусскій элементъ въ произведеніяхъ Гоголя, *его же* . . . 90
Правдивость изображенія жизни, народность, простота вымысла и лиризмъ, какъ отличительныя свойства повѣстей Гоголя, *Бѣлинскаго* 94
Красоты природы въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки», *Шенрока* 104
Женскіе и мужскіе типы въ «Вечерахъ», *его же*. 106
Романтическіе мотивы въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» и «Арабескахъ», *Замотина*. 113
Реальный и романтическій элементы въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки», *Котляревскаго*. 120
Художественное, философское и автобіографическое значеніе повѣсти «Портретъ», *его же* 127
Природа, обычаи и преданія Украйны въ повѣстяхъ Гоголя, *Водовозова*. . . . 131
Запорожье, *Эварницкаго*. 134

Стран.

Запорожская община или «товарищество», *Скальковскаго* 143
Составъ, раздѣленіе и управленіе низоваго запорожскаго войска, *его же* . . . 148
Выборъ войсковой старшины у запорожскихъ казаковъ, *Эварницкаго* 152
Суды, наказанія и казни у запорожскихъ казаковъ, *его же* 160
Казаки и евреи, *Костомарова* 164
Жалобы польскихъ и русскихъ патріотовъ на западно-русское еврейство, *Иловайскаго* 167
Поляки и казаки, *Кояловича* 171
Общій планъ и содержаніе «Тараса Бульбы», *Шевырева* 179
Характеристика Тараса Бульбы, *Бѣлинскаго* 181
Лирическій элементъ въ «Тарасѣ Бульбѣ», *Шенрока* 183
Историко-этнографическое значеніе повѣсти: «Тарасъ Бульба», *Каманина* . . . 185
Южнорусскій народный элементъ въ повѣсти «Тарасъ Бульба», *Петрова* . . . 189
«Тарасъ Бульба», какъ отраженіе любви Гоголя къ странѣ, *Житецкаго* 190
Старина въ «Тарасѣ Бульбѣ», *Богалѣя* 191
Тарасъ Бульба, какъ идеалъ малорусскаго казака, съ точки зрѣнія современниковъ-патріотовъ, *Коробки* 193
Казачество въ повѣсти «Тарасъ Бульба» и типичность выведенныхъ въ ней лицъ *Овсянико-Куликовскаго* 196
Петербургскія повѣсти Гоголя, *Шенрока* 200
Свѣтлыя стороны характера у дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики», *Шевырева* 207
Тѣневая сторона повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики», *Введенскаго* . . . . . —
Отношеніе повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» къ изображенію событій дѣйствительной жизни, *Шенрока* 208
Внѣшнія формы, въ которыя отлились отношенія старосвѣтскихъ помѣщиковъ къ самимъ себѣ, гостямъ, дворнѣ, *Флерова* 209
Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, какъ семьяне и помѣщики, *Барсова* . 215
Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ, *Бѣлинскаго* 218
Минорный тонъ повѣстей, вошедшихъ въ «Миргородъ», *Шенрока* 220
Характерныя черты главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти «Шинель», *Водовозова* 224
Акакій Акакіевичъ и Макаръ Дѣвушкинъ, *Кирпичникова, Головина* 227
Гуманизирующее значеніе повѣсти Гоголя «Шинель», *Малинина* 229
Основная идея и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ «Ревизорѣ», *Бѣлинскаго* . 231
Самобытность комедіи Гоголя «Ревизоръ», *Пыпина* 246
Художественная сторона комедіи «Ревизоръ», *Дудышкина* 249
Хлестаковъ, *Мережковскаго* 252
Сквозникъ-Дмухановскій, *Флерова* 258
Картина распада помѣщичьяго уклада жизни, нарисованная Гоголемъ въ «Мертвыхъ душахъ» и созданные имъ въ этомъ произведеніи типы, *Коробки* . . 273
Галлерея портретовъ въ «Мертвыхъ душахъ», *Шевырева* 280
Пустота жизни, очерченная Гоголемъ въ «Мертвыхъ душахъ» и ея причины, *Барсова* 289
Національное и художественное значеніе «Мертвыхъ душъ», *Бѣлинскаго* . . . 294
Общественное значеніе «Мертвыхъ душъ», *Малинина* 296
Значеніе «Мертвыхъ душъ», какъ реальнаго романа, *Котляревскаго* 300
Характеръ повѣствованія въ «Мертвыхъ душахъ», *Страхова* 301
Гоголевскій стиль, *Морозова* 305
Языкъ Гоголя (эпитеты, сравненія, гиперболы), *Мандельштама* 315
Слова, выраженія и складъ рѣчи, свойственныя народному творчеству, въ произведеніяхъ Гоголя, *Карскаго* 328
Гоголь и народная пѣсня, *Гр. Георгіевскаго* 332

Стран.

Отличительныя свойства таланта Гоголя, *Головина*. 338
Юморъ Гоголя, *Скребницкаго* 341
Происхожденіе смѣха Гоголя, его сущность и характеръ, *Житецкаго* 343
Гоголь, какъ эпическій писатель, *Малинина*. 346
Національный элементъ въ сочиненіяхъ Гоголя, *его же* 348
«Русь изъ прекраснаго далека» у Гоголя, *Овсянико-Куликовскаго*. 354
Творчество Гоголя, *Владимирова* 361
Общественное значеніе Гоголя, *Пыпина* 364
Значеніе Гоголя для его преемниковъ, *Арсеньева* 370
Духовная организація Гоголя, *Лавровскаго* 376
Гоголь-проповѣдникъ и писатель, *Житецкаго* 379
Личность Гоголя по воспоминаніямъ Анненкова, *Анненкова* 385
Гоголь и Пушкинъ, *Овсянико-Куликовскаго* 400
Общественные завѣты Гоголя въ русской художественной литературѣ 70—90-хъ годовъ, *Замотина*. 403
Отношеніе Гоголя къ соціальному направленію литературы 40-хъ гг., *Сакулина*. 413
Общественные и политическіе идеалы Гоголя, *Ковалевскаго* 418

Первоначальныя условія жизни, подъ которыми создавалась личность Гоголя.

Самая родина поэта заключала въ себѣ весьма благопріятныя условія для широкаго вліянія на его чуткую душу. Благодатная малорусская природа дѣйствовала могущественно на ребенка Гоголя, и воспитала въ немъ ту любовь къ себѣ, которая одушевляла его до конца жизни. Оторванный смолоду отъ этой природы, подъ сѣрымъ петербургскимъ небомъ, онъ продолжалъ жить съ ней въ своемъ поэтическомъ воображеніи и правдиво передавалъ ея красоты въ своихъ произведеніяхъ. Быть можетъ, и пристрастіе Гоголя къ Италіи, кромѣ понятныхъ эстетическихъ мотивовъ, во многомъ опредѣлялось близостью ея роскошной природы къ родной малорусской природѣ.

То же должно сказать и о домашней средѣ, въ которой совершалось первоначальное воспитаніе поэта, накоплялись и укрѣплялись первыя его впечатлѣнія. Нормальная обстановка въ этой средѣ, гармоническія, спокойныя, мирныя, проникнутыя живѣйшею искренностью и сердечною теплотою взаимныя отношенія между ея членами — все это должно было могущественно дѣйствовать на нѣжную, воспріимчивую и впечатлительную душу будущаго поэта. Прочитайте его письма къ отцу, матери, — какою глубокою, нѣжною и задушевною привязанностью проникнуты они. „Никогда не оставлю я сего изящнаго занятія (садоводства)“, пишетъ Гоголь матери изъ Нѣжина въ 1827 году, „хотя бы вовсе не любилъ его. Оно было любимымъ упражненіемъ папеньки, моего друга, благодѣтеля, утѣшителя... не знаю, какъ назвать. Это небесный ангелъ, это чистое, высокое существо, которое одушевляетъ меня въ моемъ трудномъ пути, живетъ, даетъ даръ чувствовать самого себя, и часто, въ минуты горя, небеснымъ пламенемъ входитъ въ меня, разсвѣтляетъ сгустившіяся думы. Въ сіе время сладостно мнѣ съ нимъ, я, заглядывая въ него, то-есть въ себя, какъ въ сердце друга, испытую свои силы для понятія труда важнаго, благороднаго, на пользу отечеству, для счастья гражданъ, для блага жизни себѣ подобныхъ, и, дотолѣ нерѣшительный въ себѣ, я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія, и душа моя будто видитъ этого незванаго ангела“. „Мать для Гоголя была все: повѣренная сокровеннѣйшихъ движеній его души, утѣшительница и наставница, слушательница первыхъ его опытовъ въ стихахъ и прозѣ, помощница во всѣхъ его предпріятіяхъ и, наконецъ, опора его душевной чи-

стоты". Такъ выражается о ней авторъ «Записокъ», имѣвшій возможность узнать ее лично и записать нѣсколько ея собственныхъ разсказовъ. Въ своихъ письмахъ Гоголь упоминаетъ о ея тонкомъ и наблюдательномъ умѣ, о ея высокой добродѣтели, великодушномъ самоотверженіи для счастья дѣтей, о ея знаніи обычаевъ и нравовъ малорусскихъ. Прочтите его письма къ сестрамъ, о которыхъ онъ такъ нѣжно заботился, которыхъ устраивалъ на свои средства, — и вамъ станетъ вполнѣ понятенъ тотъ духъ, которымъ была проникнута домашняя среда, воспитавшая Гоголя. „Лучше нѣтъ воспитанія для дѣвицъ, какъ въ глазахъ матери, а особливо такой, какъ вы", пишетъ онъ въ 1833 году, о своей младшей сестрѣ. „Пусть она спитъ въ вашей комнатѣ..., давайте ей побольше занятій, пусть она занимается тѣми же дѣлами, что и большіе. Ради Бога, не пренебрегайте этими мелочами. Знаете ли, какъ важны впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ? То, что въ дѣтствѣ только хорошая привычка и наклонность, превращается въ зрѣлыхъ лѣтахъ въ добродѣтель. Внушите ей правила религіи: это фундаментъ всего". А его письма къ самимъ сестрамъ, когда онѣ были уже въ институтѣ! Кромѣ выражаемой въ каждой строкѣ нѣжнѣйшей привязанности, они живо свидѣтельствуютъ о необыкновенномъ дарѣ Гоголя входить въ интересы и представленія дѣтей. „Ты, Лиза, бывало, разскажешь, какой у тебя новый другъ, и о томъ, какъ у тебя хорошо въ пульпитрѣ, въ какомъ порядкѣ лежатъ книги, тетради и бонбоньерки, и какъ ты на-дняхъ помѣнялась съ той или другой. При этомъ у тебя, Лиза, пальцы были въ чернилахъ, и на передникѣ было чернильное пятно, величиною съ мѣсяцъ. Все это я помню, и помню даже, какъ Анетъ была больна и въ лазаретѣ, и я у васъ былъ; и потомъ помню, помню еще объ одномъ, но не хочу говорить... о, я все помню"... „Пишите ко мнѣ чаще", пишетъ онъ въ другомъ письмѣ. „Пожалуйста, не думайте о томъ, чтобы написать мнѣ хорошо письмо, пишите, какъ попало. Я терпѣть не могу хорошихъ писемъ. Чѣмъ хуже письмо, чѣмъ больше чернильныхъ пятенъ и ошибокъ, тѣмъ для меня лучше". Письма къ нимъ же въ сороковыхъ годахъ проникнуты глубокимъ религіознымъ чувствомъ. „Несчастія, скорби, потрясенія, удары всякаго рода — вотъ что заставляетъ иногда выступать изъ насъ то, что дремлетъ въ душевномъ хранилищѣ нашемъ. На нихъ, какъ на оселкѣ, мы пробуемся, испытываемся, обнаруживаемъ себя самимъ себѣ и, наконецъ, узнаемъ, что лежитъ въ насъ". Такія чувства и отношенія могли возникнуть только на почвѣ чистой религіозно-нравственной среды; въ этой средѣ могли возникнуть и развиться нѣжные образы старосвѣтскихъ помѣщиковъ.

Простота и патріархальность жизни малорусскихъ помѣщиковъ того времени, протекавшей мирно въ живомъ общеніи съ простымъ народомъ, безъ тѣхъ средостѣній, которыя послѣ затруднили это общеніе, давали просторъ непосредственнымъ впечатлѣніямъ, выходившимъ изъ окружавшей простонародной среды. Богатое сокро-

вище народной поэзіи, ея сказки, пѣсни, историческія преданія, народный бытъ и языкъ — все это должно было могущественно дѣйствовать на впечатлительную душу ребенка, на его наблюдательный умъ, на его пламенное воображеніе, и оставлять въ немъ неизгладимые слѣды. А отъ его необыкновенной наблюдательности, отъ его врожденнаго дара схватывать мельчайшія подробности жизни и характера человѣка не ускользало ничего. „Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства“, говоритъ Гоголь, „мнѣ было весело подъѣжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту: все равно, была ли это деревушка, бѣдный уѣздный городишко, село ли, слободка, любопытнаго много открывалъ въ немъ дѣтскій любопытный взглядъ... ничего не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и, высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотолѣ покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ московскихъ конфетъ; глядѣлъ на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, занесеннаго, Богъ знаетъ, изъ какой губерніи въ уѣздную скуку, и на купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ, и уносился мысленно за ними“. „Драгоцѣнный даръ слышать душу человѣка мнѣ уже былъ издавна дарованъ Богомъ“, писалъ онъ Плетневу изъ Неаполя въ 1847 году, „и въ неразвитомъ своемъ состояніи онъ уже руководилъ меня въ разговорахъ съ людьми, и предо мною сами собою отдѣлялись звуки истинные отъ звуковъ фальшивыхъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Поэтому я весьма рано сталъ примѣчать, что есть дурного въ хорошемъ человѣкѣ и что есть хорошаго въ дурномъ человѣкѣ. Ко мнѣ становился человѣкъ вовсе не тою стороною, какою онъ самъ хотѣлъ стать предо мною: онъ становился противовольно той стороной своей, которую мнѣ любопытно было узнать въ немъ, такъ что онъ иногда самъ, не зная какъ, обнаруживалъ себя предо мною больше, чѣмъ онъ самъ себя зналъ“. „Я имѣлъ всегда свойство замѣчать всѣ особенности каждаго человѣка“, писалъ онъ тогда же о. Матвѣю, „отъ малыхъ до большихъ, и потомъ изобразить его такъ передъ глазами, что, по увѣренію моихъ читателей, человѣкъ, мною изображенный, оставался, какъ гвоздь, въ головѣ и образъ его такъ казался живъ, что отъ него трудно было отдѣлаться“. Благодаря этому таланту, многочисленныя и разнообразныя наблюденія, вынесенныя еще изъ родительскаго дома, въ творческой фантазіи Гоголя быстро возводились на общія представленія, типы. Особенно могущественно дѣйствовала на него народная поэзія, ея пѣсни и сказки. Отсюда, изъ дѣтства, вынесъ онъ пламенную любовь къ малорусской пѣснѣ. Извѣстно, съ какимъ одушевленіемъ онъ часто выражалъ свое страстное отношеніе къ малорусской пѣснѣ. „Какъ бы я желалъ теперь быть съ вами“, пишетъ онъ въ Кіевъ Максимовичу въ 1833 году, „и пересмотрѣть пѣсни вмѣстѣ, при трепетной

свѣчѣ, между стѣнами, убитыми книгами и книжною пылью, съ жадностью жида, считающаго червонцы! Моя радость, жизнь моя, пѣсни! Какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь (Гоголь въ это время занимался исторіею Украйны), передъ этими звонкими, живыми лѣтописями! Я не могу жить безъ пѣсенъ. Вы не понимаете, какая это мука". И эти пѣсни, безспорно, имѣли сильное вліяніе на характеръ, тонъ и языкъ его произведеній: цѣлые образы, цѣлыя картины, особенно лирическія мѣста въ его произведеніяхъ, напоминаютъ возвышенную поэзію малорусской пѣсни. *Лавровскій.*

Родители Гоголя, ихъ жизнь и бытъ.

Скудныя свѣдѣнія объ отцѣ Гоголя сводятся, главнымъ образомъ, къ тому, что это былъ человѣкъ, выросшій и проведшій всю жизнь въ скромной деревенской обстановкѣ, преданный всею душой семьѣ и роднымъ и не чуждый того мечтательнаго романтизма, который встарину нерѣдко находилъ себѣ пріютъ въ отдаленныхъ уголкахъ нашего отечества. Природа щедро одарила его, какъ бы предназначивъ для широкаго поприща и серіозной умственной дѣятельности, но судьба и обстоятельства жизни не допустили замѣтно выдѣлиться изъ толпы обыкновенныхъ малороссійскихъ помѣщиковъ. Ему, повидимому, не приходило и на мысль мечтать о литературной извѣстности; ни личный характеръ, чрезвычайно скромный и удовлетворяющійся немногимъ, ни весь складъ жизни не представляли данныхъ для честолюбія этого рода. Совершенно случайное обстоятельство вызвало творчество Василія Аѳанасьевича, но даже и *при этихъ условіяхъ* историки украинской литературы отводятъ ему почетное мѣсто въ своихъ трудахъ; и смѣло можно утверждать, что мимо, такъ сказать, рекомендаціи со стороны знаменитаго сына, однѣми комедіями-шутками его имя было бы спасено отъ забвенія.

Василій Аѳанасьевичъ Гоголь родился въ 1780 году, въ своемъ наслѣдственномъ хуторѣ Купчинскомъ, близъ рѣки Голтвы, въ сотнѣ Шишацкой. Впослѣдствіи этотъ хуторъ былъ по его имени названъ Васильевской, а по прибавочной фамиліи — Яновщиной. Мы не имѣемъ никакихъ положительныхъ данныхъ, касающихся ранняго его дѣтства; извѣстно только, что онъ былъ сынъ войскового писаря и воспитаніе получилъ въ Полтавской духовной семинаріи, какъ въ единственномъ тогда заведеніи родного города. „Мужъ мой", говоритъ объ этомъ въ своихъ воспоминаніяхъ жена его, Марья Ивановна, „учился въ Полтавѣ, гдѣ еще не было, кромѣ семинаріи, ничего". При такомъ отзывѣ Марьи Ивановны, мнѣніе которой могло быть отголоскомъ мнѣнія мужа, можно думать, что развитіемъ своихъ способностей Василій Аѳанасьевичъ былъ обязанъ почти только личной любознательности и живому, наблюдательному уму. Въ этомъ отно-

шеніи судьба его чрезвычайно походитъ на судьбу его знаменитаго сына. Послѣдній, впрочемъ, благодаря исключительному положенію школы, въ которой воспитывается, встрѣтилъ въ ней довольно развитое товарищество, тогда какъ Василій Аѳанасьевичъ, конечно, не могъ особенно похвалиться и въ этомъ отношеніи... Къ счастью, онъ имѣлъ умнаго, хорошо образованнаго отца. Аѳанасій Демьяновичъ, хотя и не принадлежалъ уже къ духовному званію, подобно двумъ ближайшимъ своимъ предкамъ, изъ которыхъ одинъ былъ даже служителемъ алтаря, но такъ же, какъ названные предки, прошелъ черезъ семинарію и завершилъ свое образованіе въ кіевской духовной академіи. Сохранились воспоминанія, указывающія на то, что Аѳанасій Гоголь получилъ въ академіи настолько основательное для своего времени образованіе, что считался знатокомъ языковъ, особенно латинскаго и нѣмецкаго, которые преподавалъ дѣтямъ своихъ деревенскихъ сосѣдей. Для насъ особенно важно, что родъ Гоголей-Яновскихъ отличался интеллигентностью и любовью къ умственнымъ занятіямъ. Впрочемъ, Василій Аѳанасьевичъ Гоголь, какъ сынъ помѣщика, уже гораздо меньше заботился о своемъ образованіи. Не предназначая себя по окончаніи курса въ семинаріи къ духовному званію, онъ не пошелъ, по примѣру отца и дѣда, въ академію и считалъ свое образованіе законченнымъ. Старинная рутина помѣщичьяго благодушія и скудный выборъ дорогъ при опредѣленіи карьеры побуждали въ тѣ времена большинство молодыхъ людей, не задумываясь о призваніи, итти по слѣдамъ окружающихъ; почти всѣ они посвящали себя сельскому хозяйству, и спокойно оставались на всю жизнь въ имѣніяхъ. На девятомъ году молодой Гоголь былъ зачисленъ (номинально) въ военную службу корнетомъ, но позже былъ переименованъ гражданскимъ чиномъ и перешелъ на службу въ малороссійскій почтамтъ. По выходѣ въ отставку до самой женитьбы онъ долженъ былъ помогать родителямъ въ ихъ хозяйственныхъ заботахъ и большую часть времени употреблялъ на исполненіе разныхъ мелкихъ порученій. Часто приходилось ему ѣздить въ сосѣднія деревни, особенно Сорочинцы, а когда родители уѣзжали изъ Яновщины, на обязанности молодого человѣка лежало занимать гостей. Вообще онъ игралъ въ домѣ второстепенную роль паныча, которою совершенно удовлетворялся. Самымъ знаменательнымъ событіемъ въ жизни Василія Аѳанасьевича была, конечно, его женитьба на Маріѣ Ивановнѣ Косяровской. Здѣсь особенно выказала себя его романическая натура. Уцѣлѣвшая небольшая переписка съ невѣстой, а потомъ женой, знакомитъ непосредственно съ его личностью и отчасти со степенью его литературнаго образованія. Чтеніе распространенныхъ тогда сентиментальныхъ романовъ должно было оставить замѣтные слѣды въ его душѣ, если въ минуты страстныхъ изліяній у него вырываются выраженія, отзывающіяся складомъ литературныхъ произведеній его времени. Такія выраженія, какъ „наша дружба основана на священныхъ правилахъ честности“, или „я дол-

женъ прикрывать видомъ веселости сильную печаль, происходящую отъ страшныхъ воображеній", даже выборомъ словъ напоминаютъ стиль карамзинскихъ повѣстей и писемъ... Съ будущей своей женой Василій Аѳанасьевичъ былъ знакомъ еще въ дѣтствѣ; какъ сосѣди, они часто видали другъ друга; но когда красивая дочь помѣщика Косяровскаго, получившая впослѣдствіи отъ тетки своей Трощинской за нѣжный цвѣтъ лица прозваніе бѣлянки, стала подрастать, — она произвела сильное впечатлѣніе на своего романтика-сосѣда. Въ сердцѣ Василія Аѳанасьевича вспыхнула страсть, увѣнчавшаяся счастливымъ брачнымъ союзомъ, не омраченнымъ ничѣмъ въ продолженіе почти двадцатилѣтней супружеской жизни и оставившимъ въ пережившей мужа подругѣ жизни навсегда самыя свѣтлыя и теплыя воспоминанія. Марья Ивановна втайнѣ отвѣчала на пылкое увлеченіе жениха, но при всемъ томъ не рѣшалась даже читать его письма, которыя она почтительно передавала нераспечатанными отцу или теткѣ.

Бракосочетаніе совершилось въ 1808 году. Молодые зажили счастливой семейной жизнью, и въ ветхомъ деревенскомъ домикѣ Яновщины царствовали миръ и согласіе. Характеры обоихъ супруговъ въ высшей степени благопріятствовали полному ладу между ними. Василій Аѳанасьевичъ въ домашней сферѣ отличался замѣчательной мягкостью и добротой, такъ что никто въ домѣ не чувствовалъ суровой власти господина. Легко представить себѣ, какъ любили его свои, когда и посторонніе находили въ его обществѣ отраду и отдыхъ. Таковъ же онъ былъ въ обхожденіи съ прислугой и крѣпостными; всѣ случайные ихъ неловкости и проступки онъ обращалъ въ шутку, будучи неохотникомъ до строгихъ взысканій. Не станемъ распространяться о гостепріимствѣ Василія Аѳанасьевича, такъ какъ оно достаточно извѣстно; замѣтимъ только, что, можетъ-быть, слишкомъ выдвигаютъ, обыкновенно, неотразимо обаятельное дѣйствіе, которое его личность производила на окружающихъ. Вѣрное въ своемъ основаніи, такое представленіе грѣшитъ поэтическимъ преувеличеніемъ. Проще и вѣрнѣе характеризуетъ его по воспоминаніямъ извѣстный товарищъ и лучшій другъ Н. В. Гоголя, А. С. Данилевскій, слѣдующими словами: «онъ былъ человѣкъ въ высшей степени интересный, безподобный разсказчикъ». Эта-то способность его и была, конечно, причиной, что Трощинскій сталъ побуждать его впослѣдствіи сочинять пьесы для сцены.

Несомнѣнно, что, въ свою очередь, и Василій Аѳанасьевичъ нашелъ въ окружающей средѣ много добраго и привлекательнаго, и это все болѣе и болѣе должно было привязывать его къ домашнему очагу и направлять по той дорогѣ, которую указали ему обстоятельства.

Деревню онъ оставлялъ крайне неохотно для рѣдкихъ поѣздокъ въ Полтаву и Миргородъ, но оставался тамъ недолго и всегда спѣшилъ къ семьѣ. Однажды только рѣшился онъ было оставить Яновщину для службы въ губернскомъ городѣ, но и тогда единственной

побудительной причиной было желаніе служить при вліятельномъ родственникѣ. Это было въ 1816 году, когда Д. П. Трощинскій, выйдя въ отставку, переселился изъ Петербурга въ свое помѣстье Кибинцы (Миргородскаго повѣта) и былъ избранъ полтавскимъ дворянствомъ въ губернскіе маршалы, или предводители. Гоголь занялъ при немъ мѣсто секретаря, но скоро соскучился, и вышелъ въ отставку. Не будь Трощинскаго, Василію Аѳанасьевичу не пришло бы и въ голову переѣзжать въ городъ и надѣвать чиновничій мундиръ. Несмотря на ограниченность средствъ, въ службѣ онъ не нуждался, и, чуждый по природѣ мелкаго честолюбія, никогда серіозно ее не искалъ. Въ другой разъ подумывалъ Василій Аѳанасьевичъ уже со всѣмъ семействомъ двинуться въ Полтаву и ради воспитанія дѣтей просить должности. Это было въ то время, когда онъ отдавалъ своихъ сыновей въ гимназію. Но здѣсь главную роль играла, конечно, родительская нѣжность; по крайней мѣрѣ, онъ легко отказался отъ своей мысли, когда, по смерти одного изъ сыновей, ему удалось устроить другого въ Нѣжинѣ, а такъ какъ вскорѣ, благодаря ходатайству всесильнаго Трощинскаго передъ графомъ Кушелевымъ-Безбородкомъ, послѣдній принялъ на себя безплатное обученіе *Никоши*, то больше для переѣзда въ городъ не представлялось уже ни малѣйшаго повода.

Большое разнообразіе было внесено въ мирную жизнь Гоголей-Яновскихъ переѣздомъ Трощинскаго въ Малороссію. До того времени Василій Аѳанасьевичъ не встрѣчалъ въ окружающей обстановкѣ ровно ничего, что могло бы ему указать на возможность иной жизни, болѣе соотвѣтствующей его природнымъ задаткамъ. Его эстетическая натура проявляла себя и въ крупныхъ и въ мелкихъ вещахъ, но никому не приходило въ голову серіозно взглянуть на ея указанія, а самъ Василій Аѳанасьевичъ, повидимому, былъ всего менѣе склоненъ прислушиваться къ влеченію своей природы. Онъ какъ бы не чувствовалъ того могучаго голоса, который съ ранняго дѣтства призывалъ къ великой будущности прославившаго его сына, что вполнѣ объясняется совершеннымъ отсутствіемъ въ окружающей средѣ какого-либо намека на серіозный умственный трудъ. Замѣчательно, напримѣръ, что онъ любилъ при всякомъ удобномъ случаѣ писать стихи; но, упражняясь въ поэзіи, онъ единственно забавлялся способностью, шутя, безъ усилій, сочинять вирши. Мы, конечно, не имѣемъ ни малѣйшаго основанія дѣлать заключенія о качествахъ этихъ поэтическихъ упражненій, но отзывъ Марьи Ивановны заставляетъ думать, что мужъ ея вообще легко относился къ своимъ литературнымъ опытамъ, не придавая имъ никакого значенія. «Мужъ мой», разсказываетъ Марья Ивановна, «иногда писалъ стихи, но ничего серіознаго. Къ знакомымъ онъ писалъ иногда письмо въ стихахъ, болѣе комическаго характера. Онъ имѣлъ природный умъ, любилъ природу и поэзію». Уже эти слова женщины, далекой отъ литературы, сумѣвшей однако замѣтить эстетическія наклонности мужа, не лишены интереса. Но есть большое основаніе предполагать,

что при болѣе благопріятныхъ условіяхъ Василій Аѳанасьевичъ могъ бы заявить себя чѣмъ-нибудь болѣе крупнымъ, сравнительно съ двумя комедіями, случайно имъ сочиненными и случайно, благодаря отчасти громкой извѣстности сына, обратившими на себя вниманіе общества и критики. Прежде всего, живя безвыѣздно въ деревнѣ, онъ, конечно, долго не имѣлъ возможности удовлетворять своей любви къ чтенію. «Книгами мы пользовались изъ библіотеки Трощинскаго», замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ Марья Ивановна. Но такой путь для обогащенія ума открылся для Василія Аѳанасьевича уже почти въ тридцатилѣтнемъ возрастѣ, когда строй жизни его давно опредѣлился и когда, по воспитанію, образовавшимся привычкамъ и складу характера, онъ окончательно сдѣлался мирнымъ сельскимъ жителемъ. Исполняя желаніе Трощинскаго, Василій Аѳанасьевичъ удовлетворялъ, конечно, и внутренней потребности творить, но смотрѣлъ на дѣло, по обыкновенію, легко, низводя свой трудъ на степень простой забавы. Одинъ суровый критикъ драматическихъ пьесъ Гоголя-отца видитъ въ нихъ даже преступленіе противъ народа, полагая, что въ нихъ бары насмѣхались надъ языкомъ, нравами и обычаями того народа, который кормилъ ихъ. Непонятно, откуда авторъ приведенныхъ мнѣній почерпнулъ свѣдѣнія о насмѣшливомъ и презрительномъ отношеніи къ народу такого любителя родной Малороссіи и ея преданій, какимъ былъ Д. П. Трощинскій. Но любопытно, что и этотъ критикъ признаетъ, что въ «комедіи Гоголя нѣтъ ни фарса, ни вычурныхъ фразъ, ни лишнихъ лицъ и рѣчей; у него все «у себя дома», «всѣ на мѣстѣ». Согласно другому отзыву, гораздо болѣе авторитетному, В. А. Гоголь, «будучи живымъ членомъ своего общества, захватилъ въ свое творчество украинской простонародной жизни столько, сколько тогдашнее общество требовало для его возсозданія. Шутка и пѣсня для пріятнаго провожденія времени, — вотъ и все, чего могъ искать писатель тогдашній въ оставленномъ дворянами родномъ быту, и Гоголь-отецъ очень искусно и умно почерпнулъ изъ него эти элементы для своей комедіи».

Но и въ другихъ отношеніяхъ, кромѣ этихъ полушутливыхъ литературныхъ опытовъ, сближеніе съ Трощинскимъ было полезно Василію Аѳанасьевичу, не говоря уже о томъ, что маленькій его Никоша много выигралъ для своего эстетическаго развитія, имѣя случай близко видѣть интеллигентную среду, окружавшую Трощинскаго. Справедливо и мѣтко называетъ Кулишъ, въ одной изъ своихъ статей, Кибинцы (имѣніе Трощинскаго) «Аѳинами временъ Гоголева отца». Неумолимое время не пощадило никакихъ слѣдовъ былого великолѣпія Кибинцевъ; не уцѣлѣли ни богатая избранная библіотека, ни рѣдкія, дорогія картины, ни прекрасная мебель или коллекціи оружія, монетъ, медалей и даже табакерокъ, ни даже такія вещи, какъ бюро королевы Маріи Антуанеты и принадлежавшіе ей великолѣпные фарфоровые часы и подсвѣчники. Все продано, все

исчезло! Но кто зналъ Кибинцы въ дни ихъ величія и славы, тѣ не могутъ и теперь безъ увлеченія вспомнить объ этомъ сказочномъ міркѣ. Все здѣсь говорило, что хозяинъ былъ человѣкъ просвѣщенный, съ тонкимъ вкусомъ и большой разносторонней любознательностью. Много было приманокъ, привлекавшихъ сюда всѣхъ, кто имѣлъ возможность проникнуть въ кибинцскіе чертоги. Здѣсь былъ вѣчный пиръ въ праздникъ и въ будни. Кто бы и когда ни подъѣзжалъ къ господскому дому въ Кибинцахъ, уже издалека начиналъ различать звуки домашняго деревенскаго оркестра, казавшіеся сначала какимъ-то неопредѣленнымъ гуломъ, и становившіеся по мѣрѣ приближенія все явственнѣе и громогласнѣе, и, наконецъ, передъ путникомъ выросталъ величавый домъ Трощинскаго съ примыкавшими къ нему безчисленными флигелями и службами. Домъ этотъ походилъ больше на обширный клубъ или гостинницу, чѣмъ на обыкновенный домашній очагъ. Все было поставлено въ немъ на широкую ногу, всего было въ изобиліи, и вездѣ блистали изящество и красота. Гостей въ Кибинцахъ круглый годъ бывало такъ много, что исчезновеніе однихъ и появленіе другихъ было почти незамѣтно въ этомъ волнующемся морѣ. Большинство изъ нихъ пользовались особыми помѣщеніями и всевозможнымъ комфортомъ: каждому присылался въ его комнату чай, кофе или десертъ, и лишь къ обѣду всѣ должны были въ строго опредѣленный часъ собираться по звонку. До какихъ широкихъ размѣровъ доходило хлѣбосольство Трощинскаго, показываетъ слѣдующій примѣръ. По словамъ друга Н. В. Гоголя А. С. Данилевскаго, однажды былъ преоригинальный случай съ какимъ-то артиллерійскимъ офицеромъ Б***. Онъ попалъ въ Кибинцы случайно передъ именинами Трощинскаго, и въ видѣ сюрприза устроилъ фейерверкъ. За услугу его обласкали, и ему такъ понравилось у Трощинскихъ, что онъ такъ и остался у нихъ проживать года на три. Впрочемъ, при всемъ гостепріимствѣ Трощинскій былъ нѣсколько натянутъ и не особенно привѣтливъ въ обращеніи. А. С. Данилевскій передаетъ, что много разъ случалось ему бывать въ Кибинцахъ и Ярескахъ вмѣстѣ съ Н. В. Гоголемъ и гостить подолгу, но Трощинскій едва ли промолвилъ съ ними даже слово. Съ гостями онъ вообще бесѣдовалъ мало и любилъ при нихъ раскладывать гранъ-пасьянсъ. Передъ обѣдомъ гости, располагаясь въ разныхъ концахъ столовой, обыкновенно напряженно ожидали хозяина. Наконецъ появлялся Дмитрій Прокофьевичъ, всегда въ полномъ парадѣ, во всѣхъ орденахъ и лентахъ, задумчивый, суровый, съ выраженіемъ скуки или утомленія на умномъ старческомъ лицѣ. Усвоенная во время придворной жизни величавость, первенствующая роль хозяина и оказываемые наперерывъ со всѣхъ сторонъ знаки подобострастія давали ему видъ козырного короля среди этой массы людей. При всемъ томъ это былъ человѣкъ очень добрый, готовый помогать и оказывать покровительство, кому было возможно...

У этого-то «царька», какъ называли въ сосѣдствѣ Трощинскаго, Василій Аѳанасьевичъ состоялъ на правахъ родственника, хотя они далеко не были на равной дружеской ногѣ, какъ обыкновенно думаютъ. Несмотря на то, что просвѣщенный сановникъ умѣлъ цѣнить способности Гоголя, особенно драматическія, и знаніе горячо любимой Малороссіи, онъ все-таки не дѣлалъ для него исключенія въ характерѣ своихъ отношеній къ окружающимъ и всегда держалъ его на извѣстномъ разстояніи. Впрочемъ, Василій Аѳанасьевичъ, имѣя несомнѣнныя преимущества передъ толпой случайныхъ посѣтителей Кибинцевъ, и самъ не становился съ Трощинскимъ на одну доску, чего не допускала значительная разница между ними и въ возрастѣ и въ положеніи. Относясь къ Трощинскому, какъ къ покровителю, онъ раздѣлялъ съ другими чувство благоговѣнія передъ нимъ, что, конечно, исключало уже всякую возможность панибратства. Но во время пріѣздовъ своихъ въ Кибинцы Василій Аѳанасьевичъ могъ свободно располагаться въ представленномъ въ его полное распоряженіе флигелѣ и помѣстить въ немъ всю семью, хотя, какъ человѣкъ деликатный, онъ лишь въ крайности думалъ было однажды воспользоваться этимъ правомъ. Кромѣ того, къ его услугамъ былъ экипажъ, люди для посылокъ, наконецъ, онъ могъ во всякое время пользоваться совѣтами домашнихъ врачей Трощинскаго. Случалось, что и самъ Дмитрій Прокофьевичъ пріѣзжалъ къ нему, а потомъ ко вдовѣ его, со всѣмъ штатомъ, съ челядью и шутами. Въ дѣлахъ практической важности Трощинскій всегда оказывалъ содѣйствіе любимому родственнику и его семьѣ. Итакъ сношенія съ Трощинскимъ вносили, повторяемъ, большое разнообразіе въ жизнь васильевскихъ помѣщиковъ, давая имъ возможность многое видѣть и узнавать.

Въ запискахъ Марьи Ивановны мы находимъ всего нѣсколько строкъ о посѣщеніяхъ ею и мужемъ Кибинцевъ: «Я никуда не выѣзжала, находя все счастье дома. Потомъ мы проживали у Дмитрія Прокофьерича Трощинскаго, который, поселясь въ Малороссіи, рѣдко насъ отпускалъ домой. Тамъ я видѣла все, чего не искала въ свѣтѣ: и балы, и театры, и отличное общество; бывали даже пріѣзжіе изъ обѣихъ столицъ. Но я всегда была рада ѣхать къ себѣ въ деревню».

Не воспитавъ и не обработавъ своего таланта, Василій Аѳанасьевичъ не сдѣлался также хорошимъ помѣщикомъ, къ чему, впрочемъ, не имѣлъ никакого призванія. По крайней мѣрѣ, онъ не пріобрѣлъ въ этой области выдающейся опытности и познаній, какъ того можно было ожидать отъ человѣка его дарованій, прожившаго весь вѣкъ въ деревнѣ. И, какъ деревенскій житель, Василій Аѳанасьевичъ отличался, преимущественно, эстетическими наклонностями, которыя обнаруживались въ любви къ саду и полямъ, въ упоеніи мелодичнымъ пѣніемъ соловьевъ и въ тонкомъ вкусѣ, проявляемомъ въ выборѣ и покупкѣ вещей для дома, наконецъ, въ планахъ, составляемыхъ относительно дома усадьбы. Въ саду онъ любилъ устраивать изящные гротики, красивыя бесѣдки. Въ немъ онъ проводилъ

цѣлые дни, не замѣчая времени за работами, или любуясь посаженными имъ подрастающими деревьями, изъ которыхъ многія донынѣ сохранились въ обширномъ саду Васильевки.

Каждая дорожка, каждая аллея носила у него особыя названія, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ характеризуютъ его сентиментальные вкусы, какъ, напр., «долина спокойствія», находившаяся въ сосѣднемъ съ Васильевкой лѣску Яворивщинѣ (отъ слова яворъ), излюбленномъ мѣстѣ прогулокъ какъ Василія Аѳанасьевича, такъ и Николая Васильевича. Къ сожалѣнію, протекшее полустолѣтіе наложило свою желѣзную руку на многое и въ этой усадьбѣ (въ томъ числѣ и на «долину спокойствія», да и самый лѣсокъ вырубленъ на продажу лѣтъ пятнадцать тому назадъ).

Возвращаясь къ разсказу Марьи Ивановны, не можемъ не отмѣтить того обстоятельства, что ея записка почти исключительно посвящена разсказу о мужѣ, такъ что этимъ оттѣснены на второй планъ даже воспоминанія объ обожаемомъ сынѣ, о которомъ она говоритъ только вскользь. Какъ видно, дорогая ей память о счастливыхъ годахъ замужества заслонила для нея всю послѣдующую жизнь. Въ дальнѣйшемъ разсказѣ она съ особенной любовью и обстоятельностью передаетъ только о другомъ важнѣйшемъ событіи своей жизни — о построеніи храма въ Васильевкѣ: «Церкви еще у насъ не было, и люди оттого терпѣли много неудобствъ, особенно въ дурную погоду и при переѣздахъ черезъ рѣку Голтву. Я начала просить мужа строить церковь. Онъ удивился и сказалъ: «Помилуй! какъ мы будемъ строить церковь, когда у меня нѣтъ и 500 рублей!» а я отвѣчала, что Богъ поможетъ. Въ это время пріѣхала маменька и начала также уговаривать. И видно, что на это было Божье соизволеніе, потому что все начало устраиваться какъ бы само собою: на другой день пріѣхалъ архитекторъ, италіанецъ, жившій у Дм. П. Трощинскаго. Онъ охотно сдѣлалъ планъ маленькой церкви для своей деревни (двѣсти душъ) и кстати явился каменщикъ, искавшій работы. Когда ему показали планъ и спросили, что онъ возьметъ за то, чтобы надѣлать кирпичъ съ нашими рабочими, онъ потребовалъ пять тысячъ и приступилъ къ работѣ. Онъ бралъ деньги по частямъ, но требовалъ прибавки, сожалѣя, что дешево запросилъ. Мы ему прибавили еще тысячу рублей. Итакъ, съ Божіей помощью, церковь была окончена вчернѣ въ теченіе двухъ лѣтъ. Потомъ мы поѣхали въ Ромны на Ильинскую ярмарку и перемѣнили старинное серебро на церковныя вещи. И черезъ три года послѣ начала постройки началось служеніе».

Впослѣдствіи, по смерти мужа, Марья Ивановна много заботилась объ изготовленіи плащаницы для церкви и въ продолженіе почти цѣлаго года въ каждомъ письмѣ къ одному изъ родственниковъ, жившему въ Одессѣ и слѣдившему за исполненіемъ работы, освѣдомлялась о ходѣ дѣла.

Хотя годы супружества Марьи Ивановны, были, несомнѣнно, золотымъ временемъ ея жизни, но и она перенесла не мало невзгодъ.

Вотъ какъ она разсказываетъ объ этомъ въ своихъ запискахъ: «Жизнь моя была самая спокойная; характеръ у меня и у моего мужа былъ веселый. Мы окружены были добрыми сосѣдями. Но иногда на меня находили мрачныя мысли. Я предчувствовала несчастія; вѣрила снамъ. Сначала меня безпокоила болѣзнь мужа. До женитьбы у него два года была лихорадка, отъ которой его вылѣчилъ извѣстный въ то время докторъ Трохимовскій. Потомъ онъ былъ здоровъ, но мнителенъ. У насъ было двѣнадцать дѣтей, изъ которыхъ болѣе половины мы потеряли. Тяжело было это переносить, но я, щадя мужа, подавляла горе и старалась быть спокойной. Изъ шести сыновей остался одинъ, который замѣнилъ намъ всѣхъ. Но и его взялъ у меня Богъ — да будетъ Его святая воля! Потомъ смерть любимой моей дочери разстроила его здоровье. Потомъ мы лишились всѣхъ среднихъ дѣтей. Старшій сынъ и тогда отличался отъ обыкновенныхъ дѣтей. Дочь Марія была на три года моложе его, и потомъ остались только меньшія три дочери».

Утраты и огорченія неизбѣжны и въ самой счастливой жизни. Марья Ивановна это хорошо понимала, и пока не сѣтовала на судьбу. Покорность Провидѣнію, о которой она часто говорила, дѣйствительно, была не фразой; но справедливость требуетъ сказать, что тихое и кроткое настроеніе у нея наступало уже тогда, когда горе успѣвало нѣсколько улечься. Въ первыя же минуты испытанія она была даже склонна впадать въ отчаяніе, что повторялось впослѣдствіи нерѣдко, такъ какъ по природной добротѣ она горячо принимала къ сердцу не только собственныя несчастія, но и горе близкихъ людей. Но пока, при жизни мужа, она еще не предавалась тому безпредѣльному отчаянію, которое овладѣвало ею потомъ. «Тяжело было это переносить», говоритъ Марья Ивановна, «но я, щадя мужа, подавляла горе, и старалась быть спокойной»...

Нить счастливой супружеской жизни порвалась быстро и неожиданно. Хотя болѣзнь Василія Аѳанасьевича тянулась нѣсколько лѣтъ, но онъ не обращалъ на нее вниманія и ограничивался совѣтами кибинцскаго врача во время случайныхъ посѣщеній Троцинскаго, не считая нужнымъ предпринимать систематическое лѣченіе. Неудобства сообщеній и привязанность къ семьѣ были слишкомъ естественными причинами, объясняющими такую безпечность. Когда внезапно обнаружилось замѣтное ухудшеніе въ состояніи его здоровья, онъ собрался на нѣсколько дней отправиться въ Кибинцы, вѣроятно, чтобы посовѣтоваться съ докторомъ. Вотъ какъ разсказываетъ объ этомъ Марья Ивановна: «Мужъ мой болѣлъ въ продолженіе четырехъ лѣтъ; и когда пошла кровь горломъ, онъ поѣхалъ въ Кибинцы, чтобы посовѣтоваться съ докторомъ. Ему очень не хотѣлось уѣзжать, и, прощаясь, онъ сказалъ, что, можетъ-быть, безъ меня придется умереть, но потомъ самъ испугался и прибавилъ: «можетъ, долго тамъ пробуду, но постараюсь скорѣе вернуться». Я получала отъ него часто письма; онъ все безпокоился обо мнѣ.

Я не знала, что жизнь его была въ опасности, и далека была отъ мысли потерять его».

Въ дорогѣ приступы болѣзни Василія Аѳанасьевича обозначились яснѣе, и заставили подумать о лѣченіи серіознѣе. Стѣсненія въ груди тревожили больного днемъ и ночью и лишали его сна.

Смерть мужа сильно отразилась на характерѣ Марьи Ивановны, сдѣлавъ его апатичнымъ и мечтательнымъ... Вставъ довольно поздно, она проводила каждое утро по нѣскольку часовъ за письменнымъ столомъ, читала, писала письма, иногда гуляла. Часто раскладывала гранъ-пасьянсъ или что-нибудь работала, никогда не спѣша, по своей привычкѣ къ спокойной и не особенно дѣятельной жизни. Въ послѣдніе годы, когда въ ней стала все больше обнаруживаться странная наклонность къ мечтательности, она готова была проводить цѣлые дни, давая полную волю своимъ мыслямъ. Послѣ завтрака она собиралась, обыкновенно, въ гости или куда-нибудь по хозяйству. Запрягались дрожки или сани, и она выѣзжала. Впрочемъ, эти выѣзды имѣли значеніе прогулокъ, а не серіозной ревизіи. Крѣпостные люди нисколько не боялись добродушной своей госпожи. Случались иногда воровства, потравы — и тогда, конечно, Марьѣ Ивановнѣ приходилось волноваться и изыскивать мѣры для пресѣченія зла...

Марья Ивановна была очень подвижна (когда не предавалась мечтамъ), и сохранила бодрость и свѣжесть до самой смерти. Ей ничего не стоило собраться къ сосѣдямъ или въ городъ; рѣшеніе являлось вдругъ и тотчасъ же осуществлялось безъ откладыванія и отсрочекъ. Но эта подвижность представляла особенно рѣзкую противоположность съ однообразіемъ ея позы, когда она, не сходя съ мѣста, цѣлые часы думала неизвѣстно о чемъ. Въ такія минуты самое выраженіе лица ея измѣнялось: изъ добраго и привѣтливаго оно становилось какимъ-то безжизненнымъ; видно было, что мысли ея блуждаютъ далеко...

Съ мужемъ она очень сходилась во мнительности: по самому ничтожному поводу ей представлялись нерѣдко большіе страхи и безпокойства. Отъ этой же причины она отличалась крайней подозрительностью, и если что ей западало въ голову, то разубѣдить ее не было никакой возможности.

Другое сходство въ ихъ характерахъ было въ томъ, что оба они любили всякія изящныя вещи и имѣли хорошій вкусъ. Но непрактичность Марьи Ивановны въ дѣлахъ житейскихъ была необычайная и безъ сравненія превосходила непрактичность мужа. Послѣдній не родился хозяиномъ, скопидомомъ, но не отличался и дѣтской наивностью въ жизни, тогда какъ Марья Ивановна въ этомъ отношеніи была настоящее дитя. Ничего не стоило какому-нибудь торгашу-разносчику убѣдить ее набрать, часто въ долгъ, какихъ угодно бездѣлушекъ, особенно сколько-нибудь красивыхъ, и дочери должны были зорко смотрѣть, чобы она не поддалась обману со стороны какого-нибудь проходимца. Случалось, что Марья Ивановна въ отсутствіи

дочерей накупала такъ много всякихъ мелочей, что дочери должны были, если еще не было поздно, посылать въ догонку за продавцомъ и возвращать ему накупленное. *Шенрокъ.*

Школьная жизнь Гоголя.

Съ мая 1821 г. по іюнь 1828 г. Гоголь былъ ученикомъ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ. Къ сожалѣнію, школьная жизнь его почти совсѣмъ не отражается въ письмахъ къ родителямъ.

Кромѣ писемъ къ матери, при изученіи школьнаго періода жизни Гоголя, мы должны обратиться къ другимъ источникамъ, напр. отзывамъ о Гоголѣ-отрокѣ его школьныхъ товарищей и наставниковъ и нѣкоторымъ офиціальнымъ даннымъ.

Въ ряду источниковъ первымъ по времени документомъ является прошеніе отца Гоголя о принятіи сына въ число воспитанниковъ нѣжинской гимназіи — письмѣ, адресованномъ къ директору Кукольнику (отцу извѣстнаго писателя). Письмо это не достигло цѣли: оно было получено уже по смерти Кукольника, и отцу Гоголя пришлось вторично обратиться къ начальству гимназіи съ тою же просьбой, на которую уже послѣдовалъ благопріятный отвѣтъ. Гоголь былъ помѣщенъ въ число своекоштныхъ пансіонеровъ, а черезъ годъ устроенъ на казенный счетъ, такъ какъ родители были не въ силахъ платить ежегодно тысячу рублей за его образованіе. Поступленіе его въ самомъ концѣ учебнаго года не должно насъ удивлять, если вспомнимъ, что нѣжинская гимназія въ то время только начала свое существованіе и еще не получила правильной организаціи. Созданная наскоро и открытая лишь за полгода до поступленія Гоголя, она нуждалась даже въ учебномъ персоналѣ и была не богата воспитанниками; ей предстояло еще устройство почти всѣхъ частей школьнаго обихода. Въ это-то время черниговскій губернскій прокуроръ Бажановъ, въ качествѣ хорошаго знакомаго, увѣдомилъ отца Гоголя объ открытіи въ Нѣжинѣ гимназіи и совѣтовалъ ему отдать сына въ находящійся при ней пансіонъ. Подготовка мальчика оказалась крайне не блестящая: на пріемномъ испытаніи онъ обнаружилъ удовлетворительныя познанія единственно въ законѣ Божіемъ. Поступленіе его при такихъ условіяхъ объясняется, конечно, только исключительнымъ положеніемъ только что возникшаго учебнаго заведенія, хотя Гоголь и попалъ даже въ среднее отдѣленіе изъ трехъ, на которыя были раздѣлены по званіямъ вновь принятые воспитанники.

За первый годъ жизни Гоголя въ Нѣжинѣ письма его становятся нѣсколько больше по объему, но остаются по прежнему однообразными и дѣтскими по содержанію. Въ нихъ мы все еще не находимъ пока почти ничего, кромѣ сообщеній о состояніи своего здоровья и о своихъ нуждахъ. Существенную разницу съ письмами предшествующей поры можно видѣть только въ томъ, что

съ болѣе зрѣлымъ сравнительно возрастомъ и при измѣнившихся обстоятельствахъ Гоголю приходится испытывать и больше заботъ и затрудненій, нежели въ Полтавѣ. Въ новой обстановкѣ Гоголю было уже не такъ привольно, какъ прежде: въ одномъ изъ первыхъ нѣжинскихъ писемъ, очевидно, только что по возвращеніи послѣ вакаціи, онъ уже жалуется на тоску о родителяхъ и проситъ, чтобы они побывали у него въ томъ же мѣсяцѣ; говоритъ о боляхъ въ груди. Разлука съ родителями на болѣе продолжительное время, чѣмъ прежде, и съ меньшею надеждою на близкое свиданіе, послѣ полугодовой жизни въ семьѣ, большая отдаленность отъ нея, отсутствіе людей, кромѣ отпущеннаго съ нимъ дядьки (сближеніе съ другими названными ниже лицами могло произойти только по прошествіи нѣкотораго времени), наконецъ, еще не успокоившееся, не улегшееся чувство нѣкоторой осиротѣлости, одиночества по смерти любимаго брата, раздѣлявшаго съ нимъ въ Полтавѣ тоску разлуки съ домашними,— все это должно было производить самое тяжелое, удручающее дѣйствіе на мальчика. Онъ не спитъ, неутѣшно плачетъ, находя нѣкоторое облегченіе въ своемъ горѣ только въ участіи преданнаго дядьки, просиживающаго надъ его постелью цѣлыя ночи, наконецъ, онъ, что такъ естественно въ его возрастѣ, подъ вліяніемъ тяжелаго чувства разлуки и одиночества въ совершенно новой и чуждой пока сферѣ, преувеличиваетъ значеніе ощущаемой имъ физической боли. Все это представляетъ явленія очень обыкновенныя въ дѣтскомъ возрастѣ при подобныхъ случаяхъ, какъ и то, что настроеніе Гоголя, какъ и всякаго ребенка его лѣтъ, обыкновенно, перемѣнялось слишкомъ быстро. Сравнимъ для подтвержденія сказаннаго письма его отъ 13 и 14 августа 1821 г.: въ первомъ высказывается радость и спокойное, свѣтлое состояніе духа; второе проникнуто уже наивнымъ дѣтскимъ отчаяніемъ. Дѣло было въ томъ, что, получивъ отъ родителей обѣщаніе пріѣхать къ нему только въ октябрѣ, между тѣмъ какъ онъ прежде разсчитывалъ на болѣе скорое свиданіе, Гоголь еще сильнѣе поддался охватившей было его по возвращеніи изъ дому грусти, и теперь она совершенно вытѣсняетъ на короткое время свойственную дѣтскому возрасту безпечность и способность легко забыть непріятныя впечатлѣнія, и вотъ результатомъ такого тяжелаго настроенія является жалобное письмо, повидимому, очень напугавшее родителей. Было, въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ встревожиться; свое состояніе Гоголь описываетъ въ яркихъ краскахъ: «Весьма опечалился я, услыша, что вы пріѣдете еще въ октябрѣ-мѣсяцѣ. Ахъ, какъ бы я желалъ, если бы вы пріѣхали какъ можно поскорѣе и узнали бы *объ участи* своего сына! Прежде каникулъ питалъ я, что мнѣ здѣсь хорошо, а теперь—напротивъ того. О, если бы, дражайшіе родители, вы пріѣхали въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ, тогда бы вы услышали, что́ со мною дѣлается! Мнѣ послѣ каникулъ сдѣлалось такъ грустно, что всякій Божій день *слезы рѣкой льются*, и самъ не знаю, отчего, и особливо, когда вспомню объ васъ, *то градомъ такъ и льются*.

И теперь у меня грудь такъ болитъ, что даже не могу много писать. Простите мнѣ за мою дерзость, но нужда все заставитъ дѣлать. Прощайте, дражайшіе родители! далѣе слезы мѣшаютъ мнѣ писать». Слѣдующее письмо, заключавшее въ себѣ извиненія и оправданія Гоголя, даетъ основаніе предположить, что на свои жалобы онъ получилъ въ отвѣтъ увѣщанія и усовѣщиванія. Здѣсь онъ старается загладить свой необдуманный поступокъ, утверждая, что у него, дѣйствительно, очень болѣла грудь съ другого же дня по пріѣздѣ въ Нѣжинъ, но что теперь, (т.-е. когда онъ писалъ) онъ совершенно здоровъ и веселъ. Между тѣмъ наканунѣ тревожнаго письма онъ говорилъ, что былъ здоровъ; онъ писалъ въ первый разъ не въ день пріѣзда въ Нѣжинъ, а уже по полученіи извѣстій изъ дому («освѣдомившись, что вы находитесь здоровы, пишу къ вамъ...»). Все это отзывается еще ребячествомъ, какъ и приписка къ письму 14-го августа въ постскриптумѣ о томъ, что учениковъ еще не собралось и половины, заключающая въ себѣ какъ бы намекъ на то, что онъ слишкомъ рано привезенъ, что можно было бы побыть еще нѣсколько времени дома.

Но мало-по-малу Гоголь привыкъ, конечно, къ своему новому мѣсту воспитанія и достаточно освоился съ жизнью въ немъ: по крайней мѣрѣ, жалобы его прекращаются, и въ самой перепискѣ замѣчается довольно продолжительный, именно мѣсячный перерывъ, — вѣрный признакъ нѣкотораго успокоенія.

Уже вскорѣ по вступленіи въ школу Гоголь могъ чувствовать себя въ ней не совсѣмъ одинокимъ: въ числѣ товарищей онъ встрѣтилъ дѣтей короткихъ знакомыхъ отца, впослѣдствіи своихъ постоянныхъ спутниковъ въ поѣздкахъ домой на каникулы. (Это были Барановъ и А. С. Данилевскій, оставшійся другомъ Гоголя въ продолженіе всей жизни). Сверхъ того, при мальчикѣ находился еще дядька, котораго отецъ Гоголя получилъ позволеніе держать при пансіонѣ въ качествѣ служителя безплатно. Постоянная близость любимаго и преданнаго дядьки была большимъ утѣшеніемъ для ребенка въ разлукѣ его съ родителями, особенно на первое время. Заботливые родители, безкорыстно предлагая услуги своего дворовaго человѣка должны были имѣть въ виду именно этотъ уходъ за сыномъ и возможное облегченіе для ребенка времени первоначальнаго ознакомленія и постепеннаго освоенія съ неизвѣстнымъ ему школьнымъ міромъ.

Вскорѣ и въ числѣ воспитателей Гоголя нашлись также люди, расположенные къ нему и отчасти бывшіе въ короткихъ отношеніяхъ съ его родителями. Самъ глава заведенія, Иванъ Семеновичъ Орлай, познакомился и сошелся съ семействомъ отца Гоголя въ Кибинцахъ у Трощинскаго, еще до назначенія своего въ Нѣжинъ. Степень близости отношенія Орлая къ Гоголю можетъ быть опредѣлена по характеру упоминаній о немъ въ письмахъ (изъ которыхъ ясно, что онъ считался хорошимъ знакомымъ дома) и, главнымъ

образомъ, по той заботливости и особенному участію, которое онъ принималъ въ частныхъ дѣлахъ своего питомца, приказывая ему, напр., чаще писать къ матери и пр.

Такова была внѣшняя обстановка Гоголя въ заведеніи.

Обычное однообразіе школьной жизни прерывалось только театромъ въ стѣнахъ заведенія и поѣздками домой на каникулы.

Заботы Гоголя о гимназическомъ театрѣ и постановкѣ на сцену новыхъ пьесъ начались уже на второй годъ пребыванія его въ Нѣжинѣ. Ему, безспорно принадлежала иниціатива дѣла, съ которымъ изъ его товарищей врядъ ли кто и былъ знакомъ. Театръ, какъ видно, поглощалъ все вниманіе Гоголя: онъ заботится о немъ и съ радостью сообщаетъ объ удачахъ, при чёмъ сила увлеченія видна уже изъ умѣнія организовать дѣло и изъ самой иниціативы въ такомъ раннемъ возрастѣ. И дома Гоголь также хочетъ непремѣнно играть. «Сдѣлайте милость, объявите мнѣ, поѣду ли я домой на Рождество; то, по вашему обѣщанію, прошу мнѣ прислать роль. Будьте увѣрены, что я хорошо ее сыграю». Со словъ одного изъ школьныхъ товарищей Гоголя, извѣстно, что любовью къ театру и ко всему изящному Гоголь отличался въ школѣ и выдавался въ этомъ отношеніи между товарищами. Очевидно, это была страсть, а не мгновенная вспышка обыкновеннаго ребенка.

Любовь къ изящному, развившаяся въ ребенкѣ въ періодъ жизни въ домашнемъ кругу, вообще замѣтно проявилась во время его пребыванія въ школѣ. Не слишкомъ прилежный ученикъ, мало оказывавшій успѣховъ въ обязательныхъ предметахъ обученія, Гоголь съ явной охотой принимается за необязательные, т.-е. искусства. Онъ ждетъ съ нетерпѣніемъ разрѣшенія учиться музыкѣ и танцамъ, повторяетъ о своемъ желаніи въ нѣсколькихъ письмахъ сряду, проситъ прислать скрипку и смычокъ и т. п., высказываетъ охоту учиться танцовать, и самъ спѣшитъ записаться въ число занимающихся этими искусствами, еще не будучи окончательно увѣренъ въ согласіи на то родителей. «Я уже подписался хотѣвшимъ (т.-е. желающимъ) учиться на сихъ инструментахъ, также и танцованію, но не знаю, какъ вамъ будетъ угодно». Не получивъ отвѣта изъ дому, онъ уже рѣшается, несмотря на внѣшнюю робкую почтительность, заблаговременно заявить свое желаніе, очевидно, въ полномъ расчетѣ на разрѣшеніе. Вѣроятнѣе всего, что и родители относились поощрительно къ такому проявленію въ мальчикѣ эстетическихъ наклонностей: при несомнѣнной все-таки ограниченности ихъ средствъ, такъ явно обнаружившейся въ перепискѣ, особенно еще въ самыхъ первыхъ письмахъ Гоголя изъ Нѣжина, въ которыхъ ему приходилось по нѣскольку разъ сряду просить у родителей объ одномъ и томъ же, о присылкѣ денегъ или о покупкѣ нѣкоторыхъ нужныхъ книгъ, — они не отказывали ему въ концѣ концовъ въ просьбахъ и находили возможнымъ уплатить прибавочную сумму (около 100 руб. въ годъ) за обученіе сына искусствамъ.

Но кромѣ страсти къ изящному и отчасти безсознательнаго накопленія матеріала для будущихъ произведеній изъ разсказовъ отца или дѣда и видѣнныхъ въ дѣтствѣ малороссійскихъ комедій, для будущей творческой дѣятельности Гоголя необходимъ былъ и иной запасъ, данный самой жизнью и доставившій впослѣдствіи обильную пищу его фантазіи, уже получившей побужденіе работать въ извѣстномъ направленіи, и эту пищу онъ нашелъ, при необыкновенной врожденной наблюдательности, между прочимъ, и въ путевыхъ впечатлѣніяхъ во время своихъ поѣздокъ въ Нѣжинъ и обратно въ Васильевку. Искреннія, въ высшей степени прочувствованныя воспоминанія Гоголя о дѣтствѣ въ началѣ VI главы «Мертвыхъ Душъ» и особенно о поѣздкахъ и о дорогѣ имѣютъ, несомнѣнно, весьма важное автобіографическое значеніе. Всего важнѣе въ этомъ смыслѣ слѣдующія слова его послѣ длиннаго перечисленія предметовъ и людей, привлекавшихъ его вниманіе: «Я уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ». Изъ нихъ мы можемъ убѣдиться, что зародыши его великаго искусства проникать въ тайны внутренняго міра человѣка, дающіе ему право на названіе поэта-мыслителя, его глубокое сочувствіе людскимъ несчастіямъ и склонность «смѣяться сквозь слезы» имѣли свое начало еще въ дѣтской воспріимчивости и наблюдательности и воспитали въ немъ гуманное отношеніе къ ничтожному и падшему человѣку. Если припомнить, что въ другомъ мѣстѣ того же произведенія онъ говоритъ о дорогѣ: «сколько родилось въ ней чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, перечувствовалось дивныхъ впечатлѣній!» то мы должны будемъ признать, что, по крайней мѣрѣ, извѣстная доля этихъ впечатлѣній накопилась въ чуткомъ дѣтскомъ возрастѣ и несомнѣнно тогда развилась воспріимчивость къ нимъ, а равно и страстное сочувствіе впечатлѣніямъ длинной дороги зародилось навѣрно еще очень рано. *Шенрокъ.*

Занятія Гоголя въ гимназіи.

Гоголь представляется намъ красивымъ бѣлокурымъ мальчикомъ, въ густой зелени сада Нѣжинской гимназіи, у водъ поросшей камышомъ рѣчки, надъ которою взлетаютъ чайки, возбуждавшія въ немъ грезы о родинѣ. Онъ — любимецъ своихъ товарищей, которыхъ привлекала къ нему его неистощимая шутливость; но между ними немногихъ только, и самыхъ лучшихъ по нравственности и способностямъ, онъ избираетъ въ товарищи своихъ ребяческихъ затѣй, прогулокъ и любимыхъ бесѣдъ, и эти немногіе пользовались только въ нѣкоторой степени его довѣріемъ. Онъ многое отъ нихъ скрывалъ, повидимому, безъ всякой причины, или облекалъ таинственнымъ покровомъ шутки. Рѣчь его отличалась словами малоупотребительными, старинными или насмѣшливыми; но въ устахъ его все

получало такія оригинальныя формы, которыми нельзя было не любоваться.

Бывшіе наставники Гоголя аттестовали его, какъ мальчика скромнаго и «добронравнаго»; но это относится только къ благородству его натуры, чуждавшейся всего низкаго и коварнаго. Онъ дѣйствительно никому не сдѣлалъ зла, ни противъ кого не ощетинивался жесткою стороною своей души; за нимъ не водилось какихъ-нибудь дурныхъ привычекъ. Но никакъ не должно воображать его, что называется «смирною овечкою». Маленькія злыя ребяческія проказы были въ его духѣ, и то, что̀ онъ разсказываетъ въ «Мертвыхъ Душахъ» о *гусарѣ*, списано имъ съ натуры. Подобныя затѣи были между его товарищами въ большомъ ходу.

Можно сказать вообще, что Гоголь мало вынесъ познаній изъ Нѣжинской гимназіи высшихъ наукъ, а между тѣмъ онъ развился въ ней необыкновенно. Онъ почти вовсе не занимался уроками. Обладая отличною памятью, онъ схватывалъ на лекціяхъ верхушки и, занявшись передъ экзаменомъ нѣсколько дней, переходилъ въ высшій классъ. Особенно не любилъ онъ математики. Въ языкахъ онъ тоже былъ очень слабъ, такъ что, до переѣзда въ Петербургъ, едва ли могъ понимать безъ пособія словаря книгу на французскомъ языкѣ. Къ нѣмецкому и англійскому языкамъ онъ и впослѣдствіи долго питалъ комическое отвращеніе. Онъ, шутя, говаривалъ, что онъ «не вѣритъ, чтобы Шиллеръ и Гёте писали на нѣмецкомъ языкѣ: вѣрно, на какомъ-нибудь особенномъ, но быть не можетъ, чтобы на нѣмецкомъ». — Вспомните слова его: «по-англійски произнесутъ какъ слѣдуетъ птицѣ и даже физіономію сдѣлаютъ птичью, и даже посмѣются надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ сдѣлать птичьей физіономіи». Эти слова написаны имъ не изъ одного только побужденія попрекнуть русскую публику равнодушіемъ къ родному языку.

Зато въ рисованіи и въ русской словесности онъ сдѣлалъ большіе успѣхи. Въ гимназіи было тогда, да есть и до сихъ поръ, нѣсколько хорошихъ пейзажей, историческаго стиля картинъ и портретовъ. Вслушиваясь въ сужденія о нихъ своего учителя рисованія Павлова, человѣка необыкновенно преданнаго своему искусству, Гоголь уже въ школѣ получилъ основныя понятія объ изящныхъ искусствахъ, о которыхъ впослѣдствіи онъ такъ сильно, такъ пламенно писалъ въ разныхъ статьяхъ своихъ.

Что же касается литературныхъ успѣховъ, то пишущему эти строки случайно достались классныя упражненія на заданныя темы Кукольника, Гребенки и Гоголя, который назывался и подписывался, во время пребыванія своего въ гимназіи, полнымъ своимъ именемъ: *Гоголь-Яновскій*. Сочиненія Гоголя на заданныя темы отличаются уже нѣкоторою опытностію, разумѣется, ученическаго пера, и силою слова, составляющею одно изъ существенныхъ достоинствъ его первоначальныхъ сочиненій. Литературныя занятія были его страстію. Слово въ эту эпоху вообще было какою-то новостію, къ которой не успѣли

приглядѣться. Самый процессъ примѣненія его, какъ орудія, къ выраженію понятій, чувствъ и мыслей казался тогда восхитительною забавою. Это было время появленія первыхъ главъ «Евгенія Онѣгина», — время, когда книги не читались, а выучивались наизусть. Въ этотъ-то трепетный жаръ къ поэзіи, который Пушкинъ и его блистательные спутники разнесли по всей Россіи, раскрылись первыя сѣмена творчества Гоголя, но выражались сперва разумѣется, безцвѣтными и безплодными побѣгами, какъ и у всѣхъ дѣтей, которымъ предназначено быть замѣчательными писателями.

По разсказу Высоцкаго, соученика Гоголя и друга первой его юности, охота писать стихи выказалась впервые у Гоголя по случаю его нападокъ на товарища Б-на, котораго онъ преслѣдовалъ насмѣшками за низкую стрижку волосъ и прозвалъ Разстригою Спиридономъ. Вечеромъ, въ день именинъ Б-на, 12-го декабря, Гоголь выставилъ въ гимназической залѣ транспарантъ собственнаго издѣлія, съ изображеніемъ чорта, стригущаго дервиша, и съ слѣдующимъ акростихомъ:

Се образъ жизни нечестивой,
Пугалище монаховъ всѣхъ,
Инóкъ монастыря строптивой,
Разстрига, сотворившій грѣхъ,
И за сіе-то преступленье
Досталъ онъ титулъ сей.
О чтецъ! имѣй терпѣнье,
Начальныя слова въ устахъ запечатлѣй.

Вскорѣ за тѣмъ Гоголь написалъ сатиру на жителей Нѣжина, подъ заглавіемъ: «Нѣчто о Нѣжинѣ или дуракамъ законъ не писанъ», и изобразилъ въ ней типическія лица разныхъ сословій. Для этого онъ взялъ нѣсколько торжественныхъ случаевъ, при которыхъ то или другое сословіе наиболѣе выказывало характеристическія черты свои, и по этимъ случаямъ раздѣлилъ свое сочиненіе на слѣдующіе отдѣлы: «Освященіе церкви на Греческомъ кладбищѣ», «Выборъ въ Греческій магистратъ», «Всеѣдная ярмарка», «Обѣдъ у предводителя П***», «Роспускъ и съѣздъ студентовъ». Высоцкій имѣлъ копію этого довольно обширнаго сочиненія, списанную съ автографа; но Гоголь, находясь еще въ гимназіи, выписалъ ее отъ него изъ Петербурга, подъ предлогомъ — будто бы потерялъ подлинникъ, и уже не возвратилъ.

Другой соученикъ и другъ дѣтства и первой молодости Гоголя, Н. Я. Прокоповичъ, сохранилъ воспоминаніе о томъ, какъ Гоголь, бывши еще въ одномъ изъ первыхъ классовъ гимназіи, читалъ ему наизусть свою стихотворную балладу, подъ заглавіемъ «Двѣ рыбки». Въ ней, подъ двумя рыбками, онъ изобразилъ судьбу свою и своего брата — очень трогательно, сколько припомнитъ г. Прокоповичъ тогдашнее свое впечатлѣніе.

Каковы бы ни были эти первыя литературныя попытки, но онѣ обнаруживали уже, къ чему былъ призванъ въ жизни даровитый

юноша. Между тѣмъ Гоголь до конца жизни сомнѣвался (разумѣется, по временамъ), «точно ли поприще писателя есть его поприще», и ему можно, поэтому, вѣрить, что онъ не придавалъ большой важности своимъ первымъ опытамъ въ стихахъ и въ прозѣ.

Не ограничиваясь первыми успѣхами въ стихотворствѣ, Гоголь захотѣлъ быть журналистомъ, и это званіе стоило ему большихъ трудовъ. Нужно было написать самому статьи почти по всѣмъ отдѣламъ, потомъ переписать ихъ и, что всего важнѣе, сдѣлать обертку наподобіе печатной. Гоголь хлопоталъ изо всѣхъ силъ, чтобъ придать своему изданію наружность печатной книги, и просиживалъ ночи, разрисовывая заглавный листокъ, на которомъ красовалось названіе журнала: «Звѣзда». Все это дѣлалось, разумѣется, украдкою отъ товарищей, которые не прежде должны были узнать содержаніе книжки, какъ по ея выходѣ изъ редакціи. Наконецъ перваго числа мѣсяца книжка журнала выходила въ свѣтъ. Издатель бралъ иногда на себя трудъ читать вслухъ свои и чужія статьи. Все внимало и восхищалось. Въ «Звѣздѣ», между прочимъ, помѣщена была повѣсть Гоголя: «Братья Твердиславичи» (подражаніе повѣстямъ, появлявшимся въ тогдашнихъ современныхъ альманахахъ), и разныя его стихотворенія. Все это написано было такъ называемымъ «высокимъ» слогомъ, изъ-за котораго бились и всѣ сотрудники редактора. Гоголь былъ комикомъ во время своего ученичества только на дѣлѣ: въ литературѣ онъ считалъ комическій элементъ слишкомъ низкимъ.

Новое литературное направленіе заставило его бросить журналистику. Воротясь однажды, послѣ каникулъ, въ гимназію, онъ привезъ на малороссійскомъ языкѣ комедію, которую играли на домашнемъ театрѣ Трощинскаго, и изъ журналиста сдѣлался директоромъ театра и актеромъ. Кулисами служили ему классныя доски, а недостатокъ въ костюмахъ дополняло воображеніе артистовъ и публики. Съ этого времени театръ сдѣлался страстью Гоголя и его товарищей, такъ что, послѣ предварительныхъ опытовъ, ученики сложились и устроили себѣ кулисы и костюмы, копируя, разумѣется, по указаніямъ Гоголя, театръ, на которомъ подвизался его отецъ: другого никто не видалъ. Начальство гимназіи воспользовалось этою страстью, чтобы заохотить воспитанниковъ къ изученію французскаго языка, и ввело въ репертуаръ Гоголева театра французскія пьесы. Тутъ-то и Гоголю пришлось познакомиться съ французскимъ языкомъ, который вообще малороссіянамъ, не пріученнымъ къ нему съ дѣтства, кажется гораздо труднѣе и, главное, противнѣе даже нѣмецкаго. Русскія пьесы, однакожъ, не выводились, и преданіе гласитъ, что Гоголь особенно отличался въ роляхъ старухъ. Театръ, основанный Гоголемъ въ гимназіи, процвѣлъ, наконецъ, до того, что на представленія его съѣзжались и городскіе жители. Нѣкоторые изъ нихъ помнятъ его до сихъ поръ въ роли Простаковой, и говорятъ, что онъ исполнялъ ее превосходно. Этому можно повѣрить.

Еще мы знаемъ автора «Мертвыхъ Душъ» въ роли хранителя книгъ, которыя выписывались имъ на общую складчину. Складчина

была невелика, но тогдашніе журналы и книги не трудно было и при малыхъ средствахъ пріобрѣсть всѣ, сколько ихъ ни выходило. Важнѣйшую роль играли «Сѣверные Цвѣты», издававшіеся барономъ Дельвигомъ; потомъ слѣдовали отдѣльно выходившія сочиненія Пушкина и Жуковскаго, далѣе — нѣкоторые журналы. Книги выдавались библіотекаремъ для чтенія по очереди. Получившій для прочтенія книгу долженъ былъ, въ присутствіи библіотекаря, усѣсться чинно на скамейку въ классной залѣ, на указанномъ мѣстѣ, и не вставать съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не возвратитъ книги. Этого мало: библіотекарь собственноручно завертывалъ въ бумажки большой и указательный пальцы каждому читателю, и тогда только ввѣрялъ ему книгу. Гоголь берегъ книги, какъ драгоцѣнность, и особенно любилъ миніатюрныя изданія. Страсть къ нимъ до того развилась въ немъ, что, не любя и не зная математики, онъ выписалъ «Математическую энциклопедію» Перевощикова, на собственныя свои деньги, за то только, что она издана была въ шестнадцатую долю листа. Впослѣдствіи эта причуда миновалась въ немъ; но первое изданіе «Вечеровъ на хуторѣ» еще отзывается ею. *Кулишъ.*

Пансіонная жизнь въ гимназіи и ея вліяніе на питомцевъ.

Жизнь въ пансіонѣ была привольная: дѣти пользовались хорошимъ помѣщеніемъ, большой свободой и могли даже устраивать сообща удовольствія, изъ которыхъ на первомъ планѣ долженъ быть поставленъ, конечно, гимназическій театръ. Весною и осенью къ ихъ услугамъ былъ обширный лицейскій садъ, въ которомъ они рѣзвились и проводили большую часть внѣклассnаго времени. При тогдашнихъ ограниченныхъ требованіяхъ отъ учащихся на долю послѣднихъ выпадало не мало досужихъ часовъ, да и самое приготовленіе къ занятіямъ происходило у нихъ нерѣдко въ саду, подъ обаятельнымъ небомъ Украйны, такъ что иные изъ воспитанниковъ умудрялись даже, забравъ съ собой необходимый письменный матеріалъ, въ видѣ карандашей и бумаги, обдумывать и отчасти набрасывать свои сочиненія, сидя гдѣ-нибудь въ саду на деревѣ. Безпечность и игры устанавливали между школьниками живое общеніе и теплыя товарищескія отношенія, сохранившія для иныхъ значеніе на всю жизнь. Немного, правда, выносили они изъ стѣнъ учебнаго заведенія, но юность ихъ катилась привольно и весело, и у нихъ всегда оставалось достаточно свободнаго времени для чтенія, для собственныхъ любимыхъ занятій и для впечатлѣній жизни. Отсюда вытекаютъ всѣ свѣтлыя и темныя стороны тогдашняго лицейскаго быта. Въ многолюдной толпѣ почти предоставленныхъ себѣ мальчиковъ, не всегда получившихъ предварительно хорошее домашнее воспитаніе, было, разумѣется, несравненно больше такихъ,

которые, пользуясь предоставленнымъ имъ привольемъ, упивались, преимущественно, прелестями малороссійскаго климата и наслажденіями на лонѣ природы, и изъ такихъ выходили очень часто самые заурядные люди. Вѣчно веселый, кудрявый мальчикъ Гребенка, безцеремонно перелѣзающій черезъ плетень къ своему сосѣду учителю Кулжинскому за альманахами и журналами, живо переноситъ насъ въ патріархальные нравы лицея Безбородко въ концѣ двадцатыхъ и даже въ первой половинѣ тридцатыхъ годовъ, т.-е. уже нѣсколько позже Гоголя. Но Гребенка, эта «воплощенная юность», по сочувственному отзыву о немъ любившаго его наставника, былъ уже натура богатая, исключительная, тогда какъ преобладающее большинство составляли тѣ «существователи», которые, по словамъ Гоголя, при встрѣчѣ съ первыми затрудненіями готовы были отказаться отъ своихъ идеаловъ и «навострить лыжи обратно въ скромность своихъ недальнихъ чувствъ и удовольствоваться ничтожностью почти вѣчною». Не муча себя честолюбивыми заботами и стремленіями, они, по примѣру отцовъ и дѣдовъ, избирали себѣ невидное мирное поприще, терялись въ глуши и исчезали, по окончаніи курса, изъ виду своихъ болѣе энергичныхъ товарищей, направлявшихся обыкновенно въ Петербургъ. Но, съ другой стороны, не мало въ ихъ средѣ и такихъ, которымъ, къ чести ихъ, снисходительный надзоръ начальства не помѣшалъ сдѣлаться со временемъ серіозными и дѣльными людьми, а нѣкоторымъ даже получить впослѣдствіи весьма почетную извѣстность. Являвшаяся у болѣе даровитыхъ и развитыхъ юношей страсть къ литературѣ и чтенію должна была, естественно, провести рѣзкую грань между молодыми людьми съ склонностью къ умственному труду—и будущими корнетами и титулярными совѣтниками.

Между воспитанниками уже тогда выдвигались люди серіознаго труда и мысли, какъ извѣстный впослѣдствіи профессоръ П. Г. Рѣдкинъ, еще въ лицейское время работавшій много и дѣльно. Для Гоголя и Данилевскаго[1]) лицейскіе годы были полезны, преимущественно, той умственной пищей, которую имъ доставляло хорошее чтеніе, постепенно развивая ихъ и воспитывая въ нихъ эстетическое чувство. Для перваго изъ нихъ, впрочемъ, недостатокъ правильнаго систематическаго труда въ школѣ остался роковымъ, сдѣлавъ изъ него человѣка, обязаннаго рѣшительно всѣмъ своимъ богатымъ природнымъ дарованіямъ, а никакъ не ученью. Но, съ другой стороны, это была одна изъ тѣхъ, натуръ, которыя требуютъ особенно осторожнаго съ ними обращенія и которымъ безпощадная школьная регламентація съ ея нивелирующимъ давленіемъ, можетъ-быть, полезная для обыкновеннаго большинства, могла бы скорѣе причинить вредъ,—потому, во-первыхъ, что въ нихъ мало гибкости, а во-вторыхъ, лучшая учительница такихъ избранныхъ людей все-таки ихъ природа. Данилевскій же хотя не былъ натурой геніальной, но также былъ

[1]) Другъ Гоголя.

хорошо одаренъ отъ природы и во всякомъ случаѣ далеко не принадлежалъ къ числу людей дюжинныхъ; его живая воспріимчивость, сохранившаяся до послѣднихъ дней, его тонкое эстетическое чувство и замѣчательный интересъ къ литературѣ достаточно говорятъ за это.

Артистическая жилка въ школьное время не была чужда Данилевскому такъ же, какъ и Гоголю. Въ гимназическомъ театрѣ Данилевскій тоже былъ однимъ изъ дѣятельныхъ актеровъ или, точнѣе, актрисой, потому что чрезвычайно красивая наружность его заставила кружокъ товарищей разъ навсегда отдать ему женскія роли. Такъ въ «Эдипѣ въ Аѳинахъ» Базили игралъ Эдипа, Данилевскій—Антигону; въ «Фингалѣ» ему приходилось всегда изображать Моину. Но сценическимъ дарованіемъ, по собственному откровенному сознанію, Данилевскій не отличался вовсе и подвизался на товарищеской сценѣ, больше благодаря охотѣ и счастливой наружности, хотя неизмѣримо уступалъ Кукольнику и Гоголю, настоящимъ мастерамъ дѣла. Такъ въ «Недорослѣ» Гоголь и Кукольникъ приводили въ восторгъ публику дѣйствительно блестящимъ исполненіемъ: первый отличался въ роли Простаковой, тогда какъ послѣдній превосходно игралъ Митрофана. Въ этихъ роляхъ оба, по единодушному признанію всѣхъ, кто ихъ видѣлъ на сценѣ, были неподражаемы. Кукольникъ же тогда обращалъ на себя вниманіе наклонностью къ драмѣ и трагедіи: когда онъ исполнялъ послѣднюю сцену трагедіи Сумарокова: «Димитрій Самозванецъ», онъ, послѣ эффектно произнесенныхъ заключительныхъ словъ, падалъ на полъ какъ трупъ, чѣмъ производилъ сильное впечатлѣніе; онъ изумлялъ также публику патетическимъ исполненіемъ заглавной роли въ «Фингалѣ» Озерова.

Театръ съ его волненіями, торжественной обстановкой (конечно, не въ первое время, когда кулисами были классныя доски) и съ его многократными репетиціями вносилъ въ жизнь воспитанниковъ, безъ сомнѣнія, много необычайнаго, праздничнаго, что̀ еще болѣе способствовало ихъ сближенію. Но и въ обыкновенное время у нихъ не было недостатка въ развлеченіяхъ. Въ обыденномъ домашнемъ быту воспитанники постоянно встрѣчались другъ съ другомъ и забавлялись шалостями, изобрѣтаемыми Гоголемъ и другими рѣзвыми мальчиками: такъ, однажды Гоголь, передразнивая учителя физики Шапалинскаго, попался ему на глаза, что послѣдній, сильно разсердившись, схватилъ его и долго трясъ за плечи, и какъ Севрюгинъ, учитель пѣнія, замѣчая, что Гоголь иногда фальшивилъ и не былъ въ состояніи пѣть въ тактъ съ товарищами, приставлялъ ему скрипку къ самому уху, называя его грухаремъ, что, разумѣется, возбуждало общее веселье. Гоголь любилъ всѣ искусства вообще, любилъ и пѣть; но между тѣмъ какъ онъ дѣлалъ большіе успѣхи въ рисованіи, пѣніе не давалось ему, благодаря недостатку музыкальнаго слуха. Но въ хорѣ онъ участвовалъ, когда во время рекреаціи воспитанники пѣли стихи:

Златые наши дни, теките!
Красуйся ты, нашъ русскій царь, и пр.

Совершенно особый міръ представляла больница, служившая для нѣкоторыхъ воспитанниковъ своего рода клубомъ. Въ больницѣ особенно фигурировалъ другъ Гоголя Высоцкій, который сидѣлъ обыкновенно съ зонтикомъ. У него съ Гоголемъ было много общаго, но Высоцкій былъ гораздо авторитетнѣе. Ихъ соединяло другъ съ другомъ въ особенности то, что, по словамъ Гоголя, они «скоро поняли другъ друга» и ихъ «сроднили глупости людскія», надъ которыми они вмѣстѣ потѣшались.

Въ концѣ 1826 года Гоголю предстояло на непродолжительное время разстаться съ Данилевскимъ, оставившимъ по какому-то случаю гимназію высшихъ наукъ и перешедшимъ въ Московскій университетскій пансіонъ. Въ письмѣ къ Высоцкому, отъ 17 января 1827 г., Гоголь сообщалъ между прочимъ: «Я здѣсь совершенно одинъ: почти всѣ оставили меня; не могу безъ сожалѣнія и вспомнить о вашемъ классѣ. Много и изъ моихъ товарищей удалилось. Лукашевичъ поѣхалъ въ Одессу, Данилевскій тоже выбылъ. Не знаю, куда понесетъ его».

Но недолго оставался Данилевскій въ Москвѣ: скоро онъ соскучился по товарищамъ и вернулся снова въ Нѣжинъ. Въ Москвѣ онъ пробылъ меньше года. 26 іюня 1827 г. Гоголь писалъ Высоцкому: «Данилевскій находится теперь въ Москвѣ, не могу навѣрное сказать—гдѣ, но, кажется, въ пансіонѣ», а въ декабрѣ того же года онъ былъ уже снова въ Нѣжинѣ.

Въ іюнѣ 1828 г. Гоголь и Данилевскій кончили курсъ въ гимназіи высшихъ наукъ—оба дѣйствительными студентами.

Шенрокъ.

Литературныя и художественныя занятія Гоголя.

Не чувствуя никакой склонности къ ученью, Гоголь съ первыхъ лѣтъ своего пребыванія въ школѣ интересовался необязательными занятіями. Уже въ первыхъ письмахъ домой начинаются запросы родителямъ: «Если угодно вамъ будетъ, чтобъ я учился танцовать, и играть на скрипкѣ и фортепіано, такъ извольте заплатить 10 рублей въ мѣсяцъ. Я уже подписался, хотѣвъ учиться на сихъ инструментахъ, также и танцовать, но не знаю, какъ вамъ будетъ угодно» (отъ 10 декабря 1821 года). Но больше всего успѣховъ сдѣлалъ Николай Васильевичъ въ рисованіи, и въ этой сферѣ онъ одержалъ, кажется, первую побѣду надъ своими товарищами, показавъ имъ свое превосходство надъ ними. Гоголь съ ранняго дѣтства любилъ рисовать, эта привычка сохранилась на всю жизнь. «Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи», говорилъ онъ самъ о себѣ. Въ Нѣжинской гимназіи нашелся хорошій учитель рисованія, человѣкъ необыкновенно преданный своему искусству, К. С. Павловъ. Онъ направлялъ желаніе мальчика и способствовалъ его развитію. Уже на третій годъ своего пребыванія въ школѣ, онъ рисовалъ пастелью картинки.

Онъ отсылалъ ихъ домой, и ему доставляло большое удовольствіе говорить о своихъ успѣхахъ живописи. «Извините, что я вамъ не посылалъ картинъ, пишетъ онъ 22 января 1824 года. Вы видно, не поняли, что я вамъ говорилъ: потому что эти картины, которыя я вамъ хочу послать, были рисованы пастельными карандашами, и не могутъ никакъ дня пробыть, чтобъ не потереться, ежели сейчасъ не вставить въ рамки; и для того прошу васъ и повторяю прислать мнѣ рамки такой величины, какъ я вамъ писалъ, т.-е. двѣ такихъ, которыя бы имѣли $^3/_4$ аршина въ длину и $^1/_2$ аршина въ ширину, а одну такую, которая бы имѣла $1^1/_4$ длины и $^1/_4$ ширины, да еще маленькихъ двѣ $^1/_4$ и 2 вершка длины и $^1/_4$ ширины». Въ этомъ же письмѣ Гоголь пишетъ: «Ежели бы вы увидѣли, какъ я теперь рисую! (Я говорю о себѣ безъ всякаго самолюбія)». Въ письмѣ безъ даты, отнесеннымъ издателями къ концу 1824 г., Гоголь пишетъ: «Я трудился долго и, наконецъ, успѣлъ нарисовать 3 картины, а 4-ю еще только что началъ, и можно сказать, что стоитъ чего нибудь. Ежели бъ вы ихъ повидѣли, то вѣрно бы, не могли повѣрить, что я рисовалъ... Прошу васъ покорнѣйше заказать рамки... Вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившимъ рисункамъ».

Другимъ поприщемъ, на которомъ честолюбіе Николая Васильевича могло находить удовлетвореніе, были сценическія представленія. Здѣсь Гоголь является первымъ лицомъ. Онъ пользовался своими впечатлѣніями, вынесенными изъ домашняго театра Трощинскаго, и указаніями своего отца, къ которому онъ обращался съ просьбами о полотнѣ, костюмахъ и другихъ нужныхъ пособіяхъ для театра. Онъ былъ не только актеромъ, но и декораторомъ, бутафоромъ и режиссеромъ. Между прочимъ онъ поставилъ и одну изъ комедій своего отца. Театръ при училищѣ возникъ въ 1827 году, но отдѣльныя представленія были гораздо раньше. Уже въ январѣ 1824 года Гоголь извѣщалъ отца о томъ, что первой пьесой, которая пойдетъ у нихъ будетъ «Эдипъ въ Аѳинахъ», трагедія Озерева, и обѣщаетъ сообщить, какъ онъ сыграетъ свою роль. По отзывамъ всѣхъ товарищей Гоголя, онъ былъ прекрасный актеръ. Игра Гоголя не была простой имитаціей; она была творчествомъ. Гоголю особенно удавались роли комическія: онъ игралъ Василису въ пьесѣ Крылова «Урокъ дочкамъ», Простакову въ «Недорослѣ». На учениковъ гимназіи игра Николая Васильевича производила огромное впечатлѣніе: они всѣ думали, что Гоголь поступитъ на сцену, что у него громадный сценическій талантъ, что онъ затмилъ бы и знаменитыхъ комиковъ-артистовъ, если бы вступилъ на сцену. «Если бы онъ поступилъ на сцену, онъ былъ бы Щепкинымъ»,—говоритъ А. С. Данилевскій. Очевидно, первые театральные дебюты были удачны и выдвинули Гоголя впередъ. Въ концѣ 1824 года онъ, съ сознаніемъ собственнаго достоинства, писалъ отцу: «Сдѣлайте милость, объявите мнѣ, поѣду ли я домой на Рождество; то, по вашему обѣщанію, прошу мнѣ прислать роль. Будьте увѣрены, что я ее хорошо сыграю, чѣмъ я вамъ буду много благодаренъ».

Въ игрѣ Гоголя было много творчества и реализма. Вотъ разсказъ одного изъ товарищей объ игрѣ Гоголя: «Вотъ является дряхлый старикъ въ простомъ кожухѣ, въ бараньей шапкѣ и въ смазныхъ сапогахъ. Опираясь на палку, онъ едва передвигается, доходитъ, кряхтя, до скамьи и садится. Сидитъ, трясется, кряхтитъ, хихикаетъ и кашляетъ, да, наконецъ, захихикалъ и закашлялъ такимъ удушливымъ и сильнымъ старческимъ кашлемъ, съ неожиданнымъ прибавленіемъ, что вся публика грохнула и разразилась неудержимымъ смѣхомъ». Извѣстно что Гоголь, въ началѣ своей жизни въ Петербургѣ пытался пойти на сцену, держалъ даже экзаменъ и провалился: современенная школа театральной игры, ходульной и неестественной, не могла бы помириться съ такими проблесками творчества и реализма.

Наконецъ, еще въ одной области Гоголь могъ развернуть свои дарованія — въ литературѣ. Во вторую половину своего пребыванія въ гимназіи, Николай Васильевичъ особенно предавался литературной и журнальной дѣятельности, но начало ея падаетъ на первый, интересующій насъ періодъ жизни Гоголя въ гимназіи. Гоголь находился въ счастливыхъ условіяхъ: гимназія жила въ литературной атмосферѣ. «Литература процвѣтала въ нашей гимназіи, «вспоминаетъ одинъ товарищъ Гоголя», и уже проявлялись таланты Гоголя, Кукольника, Николая Прокоповича, Данилевскаго, Родзянки и другихъ, оставшихся неизвѣстными по обстоятельствамъ ихъ жизни или рано сошедшихъ въ могилу». Нужно отмѣтить, что литературныя занятія не встрѣчали поощренія со стороны школы, и литературный интересъ не получалъ возбужденій на урокахъ словесности. «Профессоръ Никольскій о древнихъ и западныхъ литературахъ не имѣлъ никакого понятія. Въ русской литературѣ онъ восхищался Херасковымъ и Сумароковымъ; Озерова, Батюшкова и Жуковскаго находилъ недовольно классическими, а языкъ и мысли Пушкина тривіальными, сознавая, впрочемъ, ихъ гармонію». Воспитанники гимназіи выписывали въ складчину журналы, и Гоголь былъ ихъ хранителемъ. «Книги выдавались библіотекаремъ для чтенія по очереди. Получавшій для прочтенія книгу долженъ былъ въ присутствіи библіотекаря усѣсться чинно на скамейку въ классной залѣ, на указанномъ ему мѣстѣ, и не вставать съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не возвратитъ книги. Этого мало: библіотекарь собственоручно завертывалъ въ бумажку большой и указательный пальцы каждому читателю, и тогда только ввѣрялъ ему книгу». Не мало книгъ Гоголь выписывалъ изъ дома и изъ библіотеки Трощинскаго въ Кибинцахъ. Книги, которыя проситъ мальчикъ въ своихъ первыхъ письмахъ изъ школы, — различные учебники, но уже въ 1823 году онъ обращается съ просьбой выслать «Вѣстникъ Европы», въ 1824 году онъ проситъ прислать ему комедію: «Бѣдность и благородство души», «Ненависть къ людямъ и раскаяніе», «Богатонъ или провинціалъ въ столицѣ»; въ другомъ письмѣ этого же года онъ говорилъ о «Со-

браніи образцовыхъ сочиненій въ стихахъ». Не разъ встрѣчаются, кромѣ того, просьбы прислать книгъ «на дорогу для разогнанія скуки» во время поѣздки домой на каникулы.

До насъ не дошли первые литературные опыты Гоголя; у насъ есть только заключеніе о нихъ его товарищей. По словамъ А. С. Данилевскаго, въ Нѣжинѣ Гоголь писалъ во вкусѣ Бестужева, и у него встрѣчались пышныя описанія природы, лѣса и т. п. Въ лицейскомъ журналѣ «Звѣзда», издававшемся Гоголемъ, была помѣщена его повѣсть «Братья Твердиславичи» (подражаніе повѣстямъ, появлявшимся въ тогдашнихъ современныхъ альманахахъ). Въ «Авторской исповѣди» Гоголь сообщилъ «первые мои опыты, первыя упражненія въ сочиненіяхъ были почти всѣ въ лирическомъ и серіозномъ родѣ». Но уже въ первые годы гимназической жизни съ этими вліяніями Марлинскаго и страшныхъ повѣстей современныхъ альманаховъ начало бороться вліяніе поэзіи А. С. Пушкина. А. С. Данилевскій вспоминалъ о томъ, какъ онъ, Гоголь и Прокоповичъ собирались втроемъ и читали «Онѣгина» Пушкина, который выходилъ тогда по главамъ. Уже въ это время Гоголь восхищался Пушкинымъ. Въ письмѣ 1824 года Николай Васильевичъ пишетъ домой: «Вы писали мнѣ про стихи, которые я точно забылъ: 2 тетради со стихами и одна «Эдипъ», которыя, сдѣлайте милость, пришлите мнѣ скорѣе. Также вы писали про одну новую балладу и про Пушкина поэму «Онѣгинъ»; то прошу васъ, нельзя ли мнѣ и ихъ прислать? Еще нѣтъ ли у васъ какихъ-нибудь стиховъ? то и тѣ пришлите». Судя по всѣмъ даннымъ, нужно признать, что первые опыты Гоголя были подражаніями произведеніямъ, переполнявшимъ современную литературу, — подражаніями не по содержанію, а по «высокому» стилю. Намъ кажется, письмо Николая Васильевича отъ 13 іюня 1824 года, первое изъ сохранившихся, представляетъ ясные слѣды литературныхъ занятій автора. До сихъ поръ письма Гоголя были извѣщеніями, ихъ стиль былъ дѣловымъ, безъ картинныхъ выраженій, безъ образовъ, безъ эпитетовъ. Въ этомъ письмѣ встрѣчаются литературныя фразы, отдѣланныя въ стилѣ того времени; ужъ съ этихъ поръ реторика начинаетъ вить гнѣздо въ произведеніяхъ Гоголя. «Я вамъ писалъ о пріятномъ путешествіи, которое мы скоро предпримемъ, о радостномъ нашемъ свиданіи, о удовольствіяхъ, которыя я буду вкушать. Развѣ это такой мелочный предметъ, который должно оставить безъ вниманія? Вѣрьте, любезные родители, что вся, такъ сказать жизнь моя основана на этомъ. Сіе блаженное время я почитаю центромъ моихъ желаній, источникомъ моихъ удовольствій... Ожидаю со дня на день сего времени (отъѣзда). Уже вижу все милое сердцу, вижу васъ, вижу милую родину, вижу тихій Пселъ, мерцающій сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, насладясь истиннымъ счастіемъ, забывъ протекшія быстро горести. Одна счастливая минута можетъ вознаградить за годы скорбей». Очевидно, Гоголь старался объ усвоеніи принятаго

литературнаго стиля: письмо отъ 1 октября 1824 года, въ которомъ онъ поздравлялъ свою мать со днемъ ангела, безукоризненно съ точки зрѣнія тѣхъ требованій, которыя предъявлялись въ то время стилю. Этотъ навыкъ писать очень помогъ Гоголю въ тѣхъ письмахъ, которыя онъ писалъ матери послѣ смерти отца.

Въ занятіяхъ литературныхъ и художественныхъ, на подмосткахъ гимназическаго театра, мальчикъ — Гоголь находилъ удовлетвореніе своему честолюбію и своему стремленію выдѣлиться и выказать свое превосходство надъ товарищами. *Щеголевъ.*

Товарищескій кружокъ Гоголя.

«Не останавливаясь на подробной характеристикѣ этой товарищеской среды Гоголя (говоритъ Кояловичъ), такъ какъ это—по важности и интересу своему могло бы послужить предметомъ цѣлаго отдѣльнаго изслѣдованія, — упомянемъ только имена этихъ товарищей и напомнимъ вкратцѣ, какими интересами жила въ гимназіи эта талантливая молодежь».

«Всѣмъ извѣстный П. Г. Рѣдкинъ (онъ былъ старше Гоголя на одинъ курсъ), очень скоро по своемъ вступленіи въ Нѣжинскую гимназію высшихъ наукъ, задумалъ грандіозное дѣло: составить изъ переводовъ лучшихъ иностранныхъ писателей полный курсъ всеобщей исторіи по самой подробной программѣ. Къ нему присоединились его однокурсники: В. И. Любичъ-Романовичъ, извѣстный переводчикъ, и В. В. Тарновскій, бывшій впослѣдствіи, во время крестьянской реформы, послѣдовательно членомъ отъ правительства въ черниговскомъ по улучшенію крестьянскаго быта комитетѣ, членомъ редакціонныхъ комиссій и членомъ отъ правительства въ полтавскомъ губернскомъ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіи, чѣмъ и записалъ свое имя въ исторію. Къ этимъ тремъ вскорѣ присоединились и другіе товарищи Гоголя. К. М. Базили, небезызвѣстный впослѣдствіи дѣятель въ области литературы и политики, который самою своей судьбой, приведшей его въ Нѣжинскую гимназію, могъ оказать особаго рода вліяніе на будущаго творца «Тараса Бульбы». Свидѣтель ужасовъ константинопольской рѣзни грековъ въ 1821 году, Базили привезъ своимъ товарищамъ разсказы о всемъ, что такъ жестоко поразило его въ самый нѣжный возрастъ, и воспоминанія о чемъ, конечно, не могли не сопутствовать ему и въ этой новой жизни, которая началась для него съ переѣздомъ въ Россію. Къ нимъ же скоро присоединился и Н. В. Кукольникъ, будущій авторъ драмы «Рука Всевышняго отечество спасла», который поражалъ своей начитанностью и знаніями не только товарищей, но и учителей. Къ той же группѣ надо причислить и въ высшей степени симпатичнаго и кроткаго, талантливаго Гребенку, дарованія

котораго, согрѣтыя лучами великолѣпнаго генія его земляка и товарища, распустились впослѣдствіи въ прекрасный цвѣтокъ и дали современному обществу нѣсколько поэтическихъ разсказовъ и повѣстей изъ малороссійской жизни, на которыхъ замѣтно вліяніе Гоголя. Наконецъ, нельзя не вспомнить и Н. Я. Прокоповича, имя котораго навсегда слилось съ именемъ его знаменитаго друга, котораго онъ не долго пережилъ, съ которымъ до конца дѣлилъ всѣ горести и радости его шумной и тревожной славы».

Эта характеристика товарищеской среды Гоголя, сдѣланная Кояловичемъ, вполнѣ подтверждается и нижеслѣдующимъ отрывкомъ изъ дневника одного изъ школьныхъ пріятелей поэта.

«...Въ ту пору литература процвѣтала въ нашей гимназіи, и уже проявились таланты товарищей моихъ: Гоголя, Кукольника, Николая Прокоповича, Данилевскаго, Родзянко и другихъ, оставшихся неизвѣстными по обстоятельствамъ ихъ жизни или рано сошедшихъ въ могилу. Эта эпоха моей жизни и теперь, на старости, наводитъ мнѣ умилительныя воспоминанія. Жизнь вели мы веселую и дѣятельную, усердно занимались; къ поэзіи особенно пристрастился я...»

Одновременно съ этимъ составился у насъ и другой кружокъ по почину старѣйшаго изъ студентовъ, П. Рѣдкина... Вообще, научное и литературное воспитаніе наше дѣлалось, можно сказать, самоучкою... Профессоръ словесности Никольскій о древнихъ и о западныхъ литературахъ не имѣлъ никакого понятія. Въ русской литературѣ онъ восхищался Херасковымъ и Сумароковымъ; Озерова, Батюшкова и Жуковскаго находилъ недовольно классическими, а языкъ и мысли Пушкина тривіальными, сознавая, впрочемъ, нѣкоторую гармонію въ его стихахъ. Шалуны товарищи въ 5-мъ и 6-мъ классахъ, обязанные еженедѣльною данью стихотворенія, переписывали бывало изъ журналовъ и альманаховъ мелкія стихотворенія Пушкина, Языкова, кн. Вяземскаго и представляли профессору за свои, хорошо зная, что онъ современною литературою вовсе не занимался. Профессоръ торжественно подвергалъ строгой критикѣ стихотворенія эти, изъявлялъ, сожалѣніе что стихъ былъ гладокъ, а толку мало; «ода не ода», говорилъ онъ, «элегія не элегія, а чортъ знаетъ что»; затѣмъ начиналъ поправлять. Помнится, и «Демонъ» Пушкина былъ переправленъ и передѣланъ на ладъ профессора нашего къ неописанному веселію всего класса...»

«... До самаго 1826 года изъ всѣхъ нашихъ преподавателей только профессоръ математики Шапалинскій, воспитанникъ бывшаго Виленскаго университета, и профессоръ французской и нѣмецкой литературы, Ландраженъ и Зингеръ, совладали съ своимъ предметомъ. Лѣтомъ, бывало, Шапалинскій водилъ насъ за городъ, верстъ за пять и за десять, съ инструментами снимать планы. Любили мы его и учились прилежно; до сей поры засѣли въ моей памяти иныя тригонометрическія формулы... Французская и нѣмецкая литература была намъ не по сердцу, и тѣ изъ моихъ товарищей, кто прежде

не зналъ этихъ языковъ, не выучились даже говорить, хотя по положенію и подъ страхомъ остаться безъ чаю или безъ дессерта слѣдовало въ рекреаціонныхъ залахъ и во время гуляній говарить день по-французски и день по-нѣмецки. Зато русская литература процвѣтала...» *Коялович.*

Жизнь Гоголя въ Петербургѣ и его первая поѣздка за границу.

Гоголь пріѣхалъ въ Петербургъ въ послѣднихъ числахъ декабря 1828 года. По свидѣтельству Г. П. Данилевскаго, онъ былъ привезенъ туда его однофамильцемъ. Съ этихъ поръ началась для Гоголя новая жизнь, во многомъ отличающаяся отъ прежней, школьной, но въ сущности представляющая столько очевидныхъ чертъ сходства, что она является скорѣе послѣдовательнымъ продолженіемъ развитія, начавшагося въ предыдущемъ періодѣ, нежели какимъ-нибудь рѣшительнымъ и рѣзкимъ поворотомъ въ иномъ направленіи. Правда, развитіе это подъ вліяніемъ цѣлой совокупности обстоятельствъ, которыхъ не ожидалъ Гоголь и на которыя не могъ расчитывать во время своихъ мечтаній въ Нѣжинѣ, но которыя, однако, не замедлили тотчасъ же самымъ настоятельнымъ образомъ заявить о себѣ по пріѣздѣ его въ столицу, — было значительно иначе направлено жизнью, нежели какъ ему представлялось заранѣе, но отнюдь не мѣняло своего существеннаго характера, такъ что первые годы жизни Гоголя въ Петербургѣ mutatis mutandis относились къ годамъ его ранней юности, какъ попытки привести въ исполненіе задуманный и постепенно измѣненный планъ къ первоначальному его замыслу, и въ этомъ-то отношеніи дѣйствительно справедливы приведенныя раньше слова Кулиша: «съ переселеніемъ съ юга на сѣверъ для Гоголя начинается новый періодъ его существованія, столь рѣзко отличный отъ предшествовавшаго, какъ отличается у птицъ время опереннаго состоянія отъ времени неподвижнаго сидѣнія въ родномъ гнѣздѣ». Конечно, не тотчасъ стало возможно Гоголю твердо и увѣренно испытать свои силы въ томъ направленіи, которое зависѣло отъ сложившагося міросозерцанія его и нажитыхъ убѣжденій; должно было пройти не мало времени, пока онъ примѣнился къ требованіямъ извѣстной доли внѣшнихъ условій петербургской жизни, именно тѣхъ, которыя были не добровольно избраны имъ, а, такъ сказать, навязаны судьбою, независимо отъ его воли. Въ Петербургѣ Гоголя поразили всевозможныя неудачи съ разныхъ сторонъ. Въ причинахъ для разочарованія не было недостатка на самыхъ первыхъ порахъ: неудачи обрушивались на него одна тяжелѣе другой, и общее впечатлѣніе было самое невыгодное и безотрадное. Рѣзкимъ показался ему переходъ отъ привольной домашней жизни къ стѣсненіямъ столицы. Какъ бы въ насмѣшку надъ преждевременными увлеченіями, жизненныя невзгоды и трудности первоначальнаго устройства тот-

часъ же дали себя знать столь чувствительнымъ образомъ, что при одномъ воспоминаніи о нихъ въ первомъ письмѣ изъ Петербурга у Гоголя вызываются рѣзкія несдержанныя выраженія. Матеріальныя затрудненія, какъ видно изъ этого письма, сказались во всѣхъ подробностяхъ житейскаго обихода, начиная отъ найма квартиры и кончая условіями съ мелкими комиссіонерами, къ услугамъ которыхъ приходилось обратиться для доставки привезенныхъ изъ дому писемъ къ разнымъ «покровителямъ». Въ нѣсколькихъ письмахъ Гоголь подробно исчисляетъ всѣ неизбѣжныя издержки на дорогу и на обзаведеніе, отчасти въ видѣ отчета о своихъ дѣлахъ, отчасти въ видѣ жалобы на совокупность обрушившихся на него неблагопріятныхъ обстоятельствъ, въ числѣ которыхъ была даже потеря по курсу, понесенная имъ при отправленіи изъ родины тотчасъ по выѣздѣ изъ Чернигова. Первое письмо проникнуто сильнымъ раздраженіемъ и почти все наполнено извѣстіями практически-житейскаго характера, которыя повторяются отчасти и въ слѣдующихъ письмахъ, но уже не занимаютъ тамъ главнаго мѣста, уступая мѣсто мыслямъ и впечатлѣніямъ иного рода.

Неудачи были такъ неожиданны и въ то же время такъ жестоки по своимъ размѣрамъ, что онѣ не могли не произвести на Гоголя самаго подавляющаго дѣйствія. Онѣ повергли его на нѣкоторое время въ состояніе тяжелой апатіи, близкой къ отчаянію, изъ которой онъ, однако, скоро нашелъ выходъ, благодаря своей дѣятельной и самоувѣренной натурѣ. Степень его подавленности видна изъ собственнаго сознанія его тотчасъ по пріѣздѣ, когда онъ жалуется на хандру, помѣшавшую ему не только заняться приведеніемъ въ порядокъ своихъ дѣлъ, но даже писать письма. Какъ видно, онъ совершенно опустилъ руки сначала, но ненадолго.

Словомъ, это было первое столкновеніе юношескихъ мечтаній съ дѣйствительностью, на этотъ разъ оказавшейся по истинѣ суровой. Но если, вступивши въ чужую для себя сферу совершеннымъ новичкомъ, Гоголь позволяетъ овладѣть собою разочарованью, то потомъ душевная боль остраго характера постепенно смягчается и, послѣ продолжительной энергической борьбы съ неудачами, ему удается, наконецъ, умѣривши энтузіазмъ и вооружившись терпѣніемъ, овладѣть обстоятельствами и подчинить ихъ теченіе преслѣдованію цѣлей, составлявшихъ для него главную задачу существованія. Не легко было ему убѣдиться въ неосновательности своихъ иллюзій относительно Петербурга, послѣ того какъ онъ привыкъ соединять съ самымъ представленіемъ о немъ, всѣ лучшія свои надежды, но тѣмъ больше чести его энергіи, чѣмъ рѣшительнѣе и неожиданнѣе былъ выдержанный имъ ударъ.

«Что за бѣда посидѣть какую-нибудь недѣлю безъ обѣда? то ли еще будетъ на жизненной дорогѣ?» Это уже не фразы незнакомаго съ жизнью школьника, а сознательныя слова человѣка, приготовляющагося къ тяжелымъ испытаніямъ жизни, переставшаго воображать,

что на его долю достанутся одни трофеи и лавры. Если первыя петербургскія письма продолжаютъ, повидимому, носить на себѣ отпечатокъ такой же неудовлетворительности и тревожнаго состоянія духа, той же досады на всякаго рода неудачи и препятствія, какими были проникнуты послѣднія письма изъ Нѣжина, то, съ другой стороны, мы замѣчаемъ въ то же время въ перепискѣ явные слѣды благотворнаго вліянія большей степени самостоятельности, которою пользовался Гоголь теперь впервые въ своей жизни: при болѣе внимательномъ сравненіи легко убѣдиться, что вмѣсто нетерпѣливаго и безотрадно удрученнаго настроенія послѣднихъ лѣтъ школьной жизни подъ тяжкимъ гнетомъ неподдающихся никакимъ перемѣнамъ условій, онъ получалъ теперь полный просторъ для попытокъ къ осуществленію своихъ плановъ на дѣлѣ, въ самой жизни, въ чемъ, естественно, должна была заключаться для его энергической натуры нѣкоторая прелесть и во всякомъ случаѣ обильный источникъ надеждъ и утѣшеній. Испытанія казались ему только неизбѣжнымъ временнымъ зломъ, своего рода школой, преддверіемъ къ настоящей жизни, освѣщенной достойнаго разумнаго существа цѣлью. Такимъ образомъ первыя впечатлѣнія Гоголя въ Петербургѣ и его быстрое разочарованіе въ немъ не только интересны, какъ фактъ, но имѣютъ и несравненно важнѣйшее значеніе для біографіи, показывая намъ юношу въ рѣшительную минуту испытанія, когда должна была выясниться степень прочности и глубины убѣжденій, уже не разъ имъ прежде высказанныхъ въ интимныхъ бесѣдахъ, какъ устныхъ, такъ и письменныхъ, съ разными наиболѣе близкими людьми. Теперь ему самому представлялся случай провѣрить ихъ достоинства, испытать свои силы и состоятельность составленныхъ плановъ и выработаннаго идеала. Таковы были первыя впечатлѣнія Гоголя въ столицѣ.

Два обстоятельства особенно обращаютъ на себя вниманіе въ первыхъ письмахъ Гоголя изъ Петербурга. Во-первыхъ, сразу обнаружилось, до какой невѣроятной степени доходило незнакомство домашняго круга Гоголя и его самого съ отдаленной столицей и наивное представленіе о ея фантастическомъ блескѣ, великолѣпіи и удобствахъ жизни и, во-вторыхъ, послѣ быстраго разочарованія Петербургомъ въ Гоголѣ пробуждается страстная потребность предаться воспоминаніямъ прошлаго, оцѣнить только что покинутую родину и все то, что онъ готовъ былъ недавно считать какою-то мрачной могилой, возбуждавшей въ немъ только желчь и отвращеніе. Описанія Петербурга, заключающіяся въ этихъ письмахъ, поражаютъ въ то же время и наблюдательностью автора и самымъ характеромъ сообщаемыхъ о немъ свѣдѣній, показывающихъ, что авторъ предполагалъ въ своей корреспонденткѣ-матери, несмотря на большой интересъ къ Петербургу, полнѣйшее отсутствіе сколько-нибудь удовлетворительнаго представленія объ этомъ городѣ. Благодаря этой провинціальной наивности, къ безпощаднымъ ударамъ общихъ условій столичной жизни не замедлили присоединиться во множествѣ и мелкія непріятныя случайности. Все

это вмѣстѣ такъ подѣйствовало на Гоголя, что даже внѣшнимъ видомъ Петербурга онъ не остался доволенъ, говоря, что «воображалъ его гораздо красивѣе и великолѣпнѣе», и рѣшилъ, что всѣ слухи, которые о немъ распускали, были лживы... Но такое недовольство настоящимъ и разочарованіе въ боготворимой прежде столицѣ заставили Гоголя оглянуться назадъ: въ немъ снова вспыхнуло чувство горячей любви къ родной Малороссіи со всею непосредственностью горячаго молодого увлеченія. Примкнувъ въ Петербургѣ къ малороссійскому кружку, состоявшему отчасти изъ бывшихъ школьныхъ товарищей, и поощряемый встрѣченной въ петербургскомъ обществѣ симпатіей и интересомъ къ малороссійской жизни и быту, Гоголь скоро почувствовалъ сильную потребность оживить въ своей памяти просящіеся наружу образы и, какъ человѣкъ практическій, вмѣстѣ съ тѣмъ не могъ не понять, какъ кстати было воспользоваться такимъ настроеніемъ и, удовлетворяя своимъ художественнымъ стремленіямъ, въ то же время извлечь матеріальныя выгоды, столь важныя для него при тогдашнихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Можетъ-быть, объ этомъ своемъ предположеніи говоритъ Гоголь въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ второго письма: «Въ Петербургѣ менѣе 120 руб. никогда мнѣ не обходится въ мѣсяцъ. Какъ въ этомъ случаѣ не приняться за умъ, за вымыселъ, какъ бы добыть этихъ проклятыхъ, подлыхъ денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мірѣ? вотъ я и рѣшился... Когда наши въ полѣ—не робѣютъ. Но какъ много еще и отъ меня закрыто тайною, и я съ нетерпѣніемъ желаю вздернуть таинственный покровъ, то въ слѣдующемъ письмѣ извѣщу васъ объ удачахъ или неудачахъ». Правда, мы читаемъ затѣмъ въ слѣдующемъ письмѣ, въ самомъ его началѣ, какъ бы обѣщанное извѣщеніе объ исходѣ блеснувшихъ надеждъ, въ которомъ Гоголь говоритъ о предполагавшейся и едва не осуществившейся даже поѣздкѣ за границу, но едва ли эта поѣздка могла имѣть какое-либо отношеніе къ пріобрѣтенію денегъ и къ ней въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, конечно, не могла быть примѣнена приведенная Гоголемъ пословица. Между тѣмъ въ письмѣ, хотя и въ другой части его, гораздо ниже, Гоголь уже обращается къ матери съ извѣстной просьбой о доставленіи ему подробныхъ свѣдѣній о Малороссіи, для чего, между прочимъ, проситъ ее имѣть корреспондентовъ въ разныхъ мѣстахъ своего повѣта. Особенно подтверждаютъ нашу догадку слова слѣдующаго письма: «Я думаю, вы не забудете моей просьбы извѣщать меня постоянно объ обычаяхъ малороссіянъ. Я все съ нетерпѣніемъ ожидаю вашего письма. Время свое я такъ расположилъ, что и самое отдохновеніе, если не теперь, то въ скорости принесетъ мнѣ существенную пользу». Наконецъ, въ томъ же письмѣ отъ 30-го апрѣля Гоголь высказываетъ весьма опредѣленно занимавшія его въ то время мысли и предположенія; «Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ папенькины малороссійскія комедіи: «Овца-Собака» и «Романъ и Параска». Здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское, что я постараюсь попробовать,

нельзя ли одну изъ нихъ поставить на здѣшній театръ. За это, по крайней мѣрѣ, достался бы мнѣ хотя небольшой сборъ; а, по моему мнѣнію, ничего не должно пренебрегать,—на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ—третьему, и такъ далѣе. Самая малость иногда служитъ большою помощью». Такъ преимущественно съ практической точки зрѣнія смотрѣлъ сначала Гоголь на свои литературные опыты, на малороссійскія повѣсти, не придавая имъ, можетъ-быть, того значенія, какое онъ придавалъ прежде «Ганцу Кюхельгартену», и не предвидя еще своего будущаго призванія. Тѣмъ не менѣе результатомъ обращенія къ воспоминаніямъ о родинѣ и о впечатлѣніяхъ отрочества являются чудныя страницы «въ Сорочинской ярмаркѣ». Замѣчательно художественныя описанія природы, описанія родныхъ мѣстъ, связанныхъ съ воспоминаніями юности (Пселъ, самыя Сорочинцы), картина ярмарки—все это было, безъ всякаго сомнѣнія, воспроизведеніемъ наиболѣе яркихъ и глубокихъ впечатлѣній, таившихся въ его душѣ. Эту повѣсть, несмотря на вліяніе комедій отца, откуда взяты многіе эпиграфы и цѣлая комическая сцена, слѣдуетъ, однако, считать гораздо болѣе самостоятельною, нежели слѣдующую, «Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы». «Сорочинская ярмарка» была написана во второй половинѣ 1829 года, судя по тому, что Гоголь, сочиняя ее, уже имѣлъ подъ руками комедіи своего отца, которыя онъ проситъ прислать ему въ письмѣ отъ 30-го апрѣля этого года. Напротивъ, «Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы», написанный гораздо позже, на основаніи уже доставленныхъ изъ дому источниковъ, за которые въ первый разъ благодаритъ Гоголь свою мать въ письмѣ отъ 24 іюля 1829 года, повидимому, представляетъ трудъ компилятивный, мозаичный, составленный наскоро на основаніи нѣсколькихъ источниковъ, едва ли не предпринятый, главнымъ образомъ, изъ соображеній экономическаго характера и потому блѣдный въ сравненіи съ первымъ опытомъ, какъ представлявшимъ переработку собственныхъ впечатлѣній. Въ самомъ дѣлѣ, во второмъ письмѣ изъ Петербурга Гоголь довольно подробно намѣчаетъ ту программу, которой должны придерживаться его мать и другіе собиратели необходимыхъ для него свѣдѣній, и уже, очевидно, имѣетъ въ виду опредѣленный сюжетъ, для котораго подыскиваетъ матеріалъ, но когда желаніе его было исполнено, то оказалось, что почти все содержаніе повѣсти составилось изъ разныхъ отрывковъ, слѣды сшивки которыхъ могутъ быть легко замѣчены при нѣсколько внимательномъ разсмотрѣніи. Гоголь проситъ, напр., въ письмѣ прислать описаніе костюма и указать точное и вѣрное названіе платья временъ догетманскихъ, особенно костюма дьячка, далѣе самое подробное описаніе свадьбы и, наконецъ, разсказы о повѣрьяхъ, духахъ и домовыхъ, при чёмъ прямо и прежде всего указываетъ кромѣ коляды на обряды объ Иванѣ Купалѣ. Въ повѣсти мы также находимъ описанія костюмовъ въ двухъ мѣстахъ: краткое въ началѣ и подробное при описаніи свадьбы, далѣе по-

дробно разсказаны повѣрья объ Иванѣ Купалѣ, и, наконецъ, въ серединѣ повѣсти мы находимъ цѣлый эпизодъ, заключающій въ себѣ описаніе свадьбы со всѣми подробностями,—эпизодъ довольно мало и притомъ искусственно связанный съ остальнымъ изложеніемъ, такъ что онъ, по нашему мнѣнію, даже нарушаетъ отчасти единство и цѣлость всей повѣсти. Но въ слѣдующихъ повѣстяхъ Гоголя мы опять замѣчаемъ, несомнѣнно, больше самостоятельности и таланта.

Въ то же время жажда разумной дѣятельности, не мѣшавшая Гоголю иногда легко и свысока относиться къ нѣкоторымъ принятымъ на себя скромнымъ обязанностямъ, искала для себя удовлетворенія на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ и должна была поставить его сначала въ высшей степени тягостное и неопредѣленное положеніе какого-то безпрерывнаго блужданія, до тѣхъ поръ, пока съ теченіемъ времени для него не разъяснился понемногу вопросъ о направленіи своей будущей дѣятельности и способѣ примѣненія силъ для осуществленія своего идеала. Поэтому мы должны строго различать въ его петербургской жизни прежде всего этотъ періодъ мучительныхъ колебаній и постепеннаго уясненія неопредѣленныхъ стремленій, — періодъ, ярко характеризуемый постоянными порываніями и невѣрными шагами, вѣроятно, самый тяжелый въ его жизни, кромѣ послѣдняго десятилѣтія, — періодъ, представляющій непрерывную борьбу съ самимъ собой и внѣшними обстоятельствами, при чёмъ каждый шагъ на пути превращенія первоначальныхъ фантастическихъ мечтаній во сколько нибудь реальные образы заключалъ въ себѣ серіозное пріобрѣтеніе, взятое съ бою.

Семилѣтняя жизнь Гоголя въ Петербургѣ, обнимающая все время первой его молодости, по отношенію къ внутреннему развитію писателя, представляетъ послѣдовательно сперва столкновеніе извѣстныхъ намъ неопредѣленно-гуманныхъ стремленій его юности съ дѣйствительностью и непродолжительное разочарованіе, затѣмъ, подъ вліяніемъ встрѣтившихся обстоятельствъ, постепенную переработку и видоизмѣненіе этихъ мечтаній, наконецъ, послѣ долгихъ колебаній и уклоненій въ разныя стороны и особенно временныхъ увлеченій исторіей, представлявшейся Гоголю одно время настоящимъ его призваніемъ, его спеціальностью, опредѣленіе имъ уже истиннаго своего призванія и потомъ окончательное поглощеніе мечтаній дѣйствительностью. Самыя отношенія Гоголя къ негостепріимной столицѣ, съ которою въ значительной степени были связаны эти мечтанія, въ разсматриваемый промежутокъ времени также неодинаковы: прежнее убѣжденіе въ ничѣмъ незамѣнимой важности Петербурга для людей, желающихъ посвятить свои силы высокому общественному служенію, оставаясь незыблемымъ въ своемъ основаніи, теряетъ, однако, подъ конецъ значительную долю приписываемаго ей исключительнаго значенія. По крайней мѣрѣ, какъ безотчетное увлеченіе Петербургомъ,

такъ и сознательное предпочтеніе его родному югу, и даже пламенно любимой Малороссіи, не надолго омраченное на первыхъ порахъ легкимъ разочарованіемъ, лишь не скоро уступаетъ мѣсто обратному стремленію изъ него въ любимый край, и то вовсе не вслѣдствіе недовольства самой столицей, а только невозможнымъ ея климатомъ. Такимъ образомъ и подъ вліяніемъ горячей любви къ родинѣ, не особенно продолжительное пребываніе Гоголя въ Петербургѣ составляетъ цѣлый періодъ его жизни, который можетъ быть раздѣленъ, въ свою очередь, на нѣсколько небольшихъ, поддающихся болѣе или менѣе естественному и отчетливому разграниченію отдѣловъ. При изученіи этого періода необходимо установить для болѣе удовлетворительнаго уясненія послѣдующаго изложенія исходную точку отправленія, затѣмъ отмѣтить извѣстныя грани, и, наконецъ, остановившись на нихъ подробнѣе, прослѣдить въ общихъ чертахъ развитіе Гоголя со времени самаго пріѣзда въ Петербургъ.

Но цѣлый рядъ разочарованій и неудачъ въ Петербургѣ произвелъ вскорѣ на Гоголя настолько удручающее впечатлѣніе, что онъ, какъ извѣстно, задумалъ оставить Петербургъ и пуститься за границу. Въ самомъ началѣ столичной жизни онъ было отдался съ жадностью наблюденіямъ надъ новымъ, незнакомымъ ему міромъ, осмотрѣлъ и изучилъ городъ и его окрестности (Екатерингофъ и пр.), но вскорѣ имъ овладѣли попеременно — сперва безотчетная, но сильная тоска по родинѣ, а потомъ еще болѣе сильное и болѣе неясное ему самому стремленіе куда-то вдаль, въ чужіе края. Очевидно, Гоголь не нашелъ въ Петербургѣ того, что̀ искалъ и на что страстно надѣялся (Данилевскій зналъ объ этомъ, но мало тогда ему сочувствовалъ и не могъ раздѣлять его фантастическихъ стремленій).

Подобно тому какъ въ Нѣжинѣ Гоголь не могъ примириться съ низменными стремленіями «существователей», такъ и о петербургской жизни онъ отзывался вскорѣ съ презрѣніемъ: «Тишина въ Петербургѣ необыкновенная; никакой духъ не блеститъ въ народѣ, всѣ служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все погрязло въ низменныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ»... Между тѣмъ Гоголя манило что-то необыкновенное; его юношескій пылъ требовалъ идеаловъ, и онъ все еще не терялъ надежды найти что-то необходимое ему на чужбинѣ. Онъ еще не догадывался или не хотѣлъ знать, что обыденная жизнь вездѣ одинакова, что никуда нельзя уйти отъ житейской прозы. Въ душѣ его былъ запросъ на что-то призрачно-грандіозное, на что дѣйствительность не могла дать отвѣта. Его тянуло въ какую-то фантастическую страну счастья и разумнаго, производительнаго труда. По словамъ покойнаго Данилевскаго, такой страной представлялась ему Америка. Не тамъ ли, мечталъ онъ, «передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности», какъ онъ писалъ

своей матери? Но онъ былъ еще въ полномъ смыслѣ «зеленый» юноша, и никто даже изъ товарищей не вѣрилъ, чтобы постоянно мѣнявшіяся мечты его могли быть близки къ осуществленію, да и денегъ на большую поѣздку у него недостало бы. Его словамъ и не придавали особеннаго значенія — одни, думая, что онъ по странной привычкѣ, замѣчавшейся въ немъ чуть не съ дѣтства, забавляется мистификаціей и не желаетъ открыть имъ свое настоящее намѣреніе; другіе — нисколько не сомнѣваясь, что если фантазія его и искренна, то изъ нея ничего не выйдетъ. А между тѣмъ вотъ какая перспектива рисовалась его пылкому воображенію: «Пресмыкаться — другое дѣло *тамъ*, гдѣ каждая минута — богатый запасъ опытовъ и знаній; но изжить вѣкъ, гдѣ не представляется впереди совершенно ничего, гдѣ всѣ лѣта, проведенныя въ ничтожныхъ занятіяхъ, будутъ тяжкимъ упрекомъ звучать душѣ, — это убійственно!» Едва ли всѣ эти планы Гоголя не могутъ быть объяснены преимущественно неудовлетворенностью настоящимъ, потому что они мигомъ исчезли, когда онъ вошелъ въ кругъ Плетнева и Пушкина и могъ считать свою жизнь достаточно наполненною.

Въ одномъ изъ писемъ къ матери Гоголь дѣлаетъ такое оправданіе своей фантастической поѣздки: «Вотъ вамъ мое признаніе: одни только гордые помыслы юности, проистекавшіе, однакожъ, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ далеко»... Основнымъ психологическимъ мотивомъ поѣздки Гоголя было невольное поэтическое влеченіе, созрѣвшее на почвѣ его поэтическаго воображенія и только поддержанное всѣми другими жизненными обстоятельствами. *Шенрокъ.*

Остальные годы жизни Гоголя.

Въ 1839 году Гоголь пріѣхалъ въ Москву вмѣстѣ съ М. П. Погодинымъ, въ домѣ котораго остановился и жилъ до новаго выѣзда за границу въ 1840 году. Здоровье его поправилось; онъ былъ очень веселъ и шутливъ; но объ «Мертвыхъ душахъ» онъ ни съ кѣмъ не говорилъ и на вопросъ о нихъ отвѣчалъ съ неудовольствіемъ, что «у него ничего готоваго нѣтъ». 26-го октября того же года онъ уѣхалъ вмѣстѣ съ однимъ близкимъ семействомъ въ Петербургъ для того, чтобъ взять двухъ своихъ сестеръ изъ патріотическаго института. Въ Петербургѣ онъ остановился сначала у Плетнева, а черезъ двѣ недѣли переѣхалъ къ Жуковскому, который жилъ тогда во дворцѣ. Въ продолженіе дороги въ Петербургъ, Гоголь былъ очень веселъ и заставлялъ хохотать своихъ спутниковъ, но въ Петербургѣ совершенно перемѣнился, встрѣтивъ какія-то неудачи, которыя привели его опять въ затруднительное положеніе насчетъ

денегъ. Затѣмъ 22-го декабря вмѣстѣ съ тѣмъ же семействомъ и двумя своими сестрами, возвратился онъ въ Москву.

По возвращеніи, Гоголь началъ читать «Мертвыя Души» и въ разное время прочелъ шесть главъ. Читалъ также отрывки изъ комедіи «Тяжба» и начало италіанской повѣсти «Аннуціанта», которое потомъ было нѣсколько передѣлано и составило статью «Римъ», напечатанную въ «Москвитянинѣ». Великимъ постомъ пріѣхала къ Гоголю мать и жила вмѣстѣ съ нимъ и дочерьми также у Погодина. 9-го мая, въ день именинъ Гоголя, обѣдали у него всѣ его пріятели и знакомые въ саду, что повторялось всякій разъ, когда Гоголю случалось проводить этотъ день въ Москвѣ. Гоголь уже собирался ѣхать въ Римъ, откуда обѣщалъ непремѣнно черезъ годъ воротиться.

Осенью 1840 года Гоголь сдѣлался очень боленъ, и послѣ этой болѣзни характеръ его совершенно перемѣнился.

Наступило время возвращенія Гоголя въ Россію. «Мы давно уже его ждали», говоритъ С. Т. Аксаковъ въ своихъ «Запискахъ», и даже ждать перестали. Наконецъ, 18 октября 1841 года внезапно Гоголь явился у насъ въ домѣ. Въ этотъ годъ послѣдовала новая, большая перемѣна въ Гоголѣ, не въ отношеніи къ наружности, а въ отношеніи къ его нраву и свойствамъ. Впрочемъ, и по наружности онъ сталъ худъ, блѣденъ — и тихая покорность волѣ Божіей слышна была въ каждомъ его словѣ. Гастрономическаго направленія и прежней проказливости какъ-будто никогда и не бывало. Иногда — очевидно, безъ намѣренія — слышался юморъ и природный его комизмъ; но смѣхъ слушателей, прежде непротивный ему или незамѣчаемый имъ, въ настоящее время сейчасъ заставлялъ его перемѣнить тонъ разговора. Покуда переписывались первыя шесть главъ «Мертвыхъ Душъ», Гоголь прочелъ мнѣ, моему сыну Константину и М. П. Погодину остальныя пять главъ. Онъ читалъ ихъ у себя на квартирѣ, т.-е. въ домѣ Погодина, и ни за что не согласился, чтобъ кто-нибудь слышалъ ихъ, кромѣ насъ троихъ. Онъ требовалъ отъ насъ критическихъ замѣчаній. Я не могъ ихъ дѣлать и сказалъ Гоголю, что, слушая «Мертвыя Души» въ первый разъ, никакой въ свѣтѣ критикъ, если только онъ способенъ принимать поэтическія впечатлѣнія, не въ состояніи будетъ замѣчать недостатковъ его поэмы; что если онъ хочетъ моихъ замѣчаній, то пусть дастъ мнѣ чисто переписанную рукопись въ руки, чтобъ я на свободѣ прочелъ ее, и, можетъ-быть, не одинъ разъ. Тогда дѣло другое. Но Гоголь не могъ этого сдѣлать. Рукопись поспѣшно переписывалась и немедленно была отослана въ цензуру, въ Петербургъ. По полученіи рукописи изъ цензуры немедленно приступили къ печатанію 2500 экземпляровъ. Обертка была нарисована самимъ Гоголемъ. Несмотря на то, что Гоголь былъ сильно занятъ изданіемъ «Мертвыхъ Душъ», очевидно было, что онъ часъ отъ часу болѣе разстраивался духомъ и даже тѣломъ: онъ почувствовалъ головокруженіе и одинъ разъ впалъ въ такой сильный обморокъ, что долго лежалъ безъ всякой

помощи, потому что это случилось наверху, въ мезанинѣ, гдѣ онъ жилъ и гдѣ у него на ту пору никого не было. Вдругъ дошли до насъ слухи стороной, что Гоголь собирается уѣхать за границу и очень скоро. Мы сначала не повѣрили и спросили самого Гоголя, который отвѣчалъ неопредѣленно: «можетъ-быть»; но вскорѣ сказалъ рѣшительно, что онъ ѣдетъ, что онъ не можетъ долѣе оставаться, потому что не можетъ писать, и потому что такое положеніе разрушаетъ его здоровье. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого объясненія, часовъ въ семь послѣ обѣда, вдругъ вошелъ къ намъ Гоголь, съ образомъ Спасителя въ рукахъ, съ сіяющимъ и просвѣтленнымъ лицомъ. Онъ сказалъ: «Я все ждалъ, что кто-нибудь благословитъ меня образомъ; но никто не сдѣлалъ этого. Наконецъ, Иннокентій благословилъ меня — и теперь я могу объявить, куда я ѣду: я ѣду ко Гробу Господню». Гоголь провожалъ преосвященнаго Иннокентія, и тотъ на прощаніе благословилъ его образомъ. Иннокентію, какъ архіерею, весьма естественно было такъ поступить, но Гоголь видѣлъ въ этомъ указаніе свыше. Всѣ разспросы объ отъѣздѣ за границу были Гоголю непріятны. Одинъ разъ спросили его: «Съ какимъ намѣреніемъ онъ пріѣзжалъ въ Россію: съ тѣмъ ли, чтобъ остаться въ ней навсегда, или съ тѣмъ, чтобы скоро уѣхать?» Гоголь съ досадою отвѣчалъ: «Съ тѣмъ, чтобы проститься». Но эта была неправда: и письменно и словесно онъ высказывалъ прежде совсѣмъ другое намѣреніе. На вопросъ: «надолго ли онъ ѣдетъ?» Гоголь отвѣчалъ различно. Сначала сказалъ, что уѣзжаетъ на два года, потомъ — на шесть лѣтъ, а одинъ разъ сказалъ, что ѣдетъ на десять лѣтъ. Послѣдній отвѣтъ, вѣроятно, вырвался у него въ досадѣ на скучные вопросы. Одна пожилая женщина, любимая и уважаемая Гоголемъ, сказала ему, что она будетъ ожидать отъ него описанія святыхъ мѣстъ. Гоголь отвѣчалъ: «Да, я опишу вамъ ихъ, но для этого мнѣ надобно очиститься и быть достойнымъ». Печатаніе «Мертвыхъ Душъ» приходило къ концу, и къ отъѣзду Гоголя успѣли переплести десятка два экземпляровъ, которые ему нужно было раздарить въ Москвѣ и взять съ собою въ Петербургъ. Первые совсѣмъ готовые экземпляры были получены 21-го мая прямо къ намъ въ домъ, къ обѣду. У насъ было довольно гостей, по случаю именинъ моего сына Константина, и всѣ обѣдали въ саду. Это былъ въ то же время и прощальный обѣдъ съ Гоголемъ. Здѣсь онъ въ третій разъ обѣщалъ, что черезъ два года будетъ готовъ второй томъ «Мертвыхъ Душъ», вдвое толще перваго, но пріѣхать для его печатанія уже не обѣщалъ. 23-го мая, въ полдень, послѣ завтрака, Гоголь уѣхалъ изъ нашего дома».

Въ концѣ сентября 1842 года Гоголь былъ опять въ Римѣ, и опять поселился въ Via Felice, № 126, 3 piano, гдѣ онъ былъ окруженъ идиллическими сценами, изображенными имъ въ статьѣ «Римъ».

Здоровье Гоголя въ продолженіе 1843 и 1844 годовъ вообще находилось въ лучшемъ состояніи, и онъ дѣятельно трудился надъ

вторымъ томомъ «Мертвыхъ Душъ». По его письмамъ, мы находимъ его весною въ Ниццѣ, потомъ во Франкфуртѣ и, наконецъ, зимою, опять во Франкфуртѣ. Изъ писемъ къ нему разныхъ особъ видно, что онъ провелъ мѣсяцъ или больше въ Остэнде, гдѣ купался въ морѣ. Одинъ изъ его друзей, въ письмѣ изъ Парижа, отъ 6 ноября 1844 года, такъ вспоминалъ это время: «Письма ваши очень порадовали бы меня, если бъ не замѣтно было въ нихъ отсутствія той бодрости, которою въ Остэнде вы и *насъ* и *всѣхъ* оживляли». Это показываетъ, что онъ провелъ время своего купанья въ морѣ не безъ друзей и знакомыхъ и что только для людей, знавшихъ его издали, онъ казался въ Остэнде несчастнымъ ипохондрикомъ или мизантропомъ, вѣчно одинокимъ и задумчивымъ.

Въ началѣ 1845 года Гоголь сдѣлался очень боленъ. Онъ бросался въ разныя стороны, ища въ переѣздахъ изъ одного мѣста въ другое облегченія приступившихъ къ нему недуговъ тѣлесныхъ и душевныхъ. Иногда ему казалось, что онъ уже умираетъ, и въ такія минуты онъ горько жалѣлъ, что не написалъ ничего истинно полезнаго для ближнихъ. Всѣ печатныя свои произведенія считалъ онъ слишкомъ ничтожными въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ была полна душа его въ предчувствіи загробной жизни. Единственнымъ достойнымъ дѣломъ считалъ онъ свои письма къ друзьямъ нравственно-религіознаго содержанія; и потому, лишь только оправился нѣсколько отъ болѣзни, немедленно занялся собираніемъ ихъ для печати. Такъ составилась его «Переписка съ друзьями», надѣлавшая столько шуму въ обществѣ, которое вовсе не ожидало такой книги отъ своего любимаго писателя.

Несмотря однакожъ на то, что почти всѣ вооружились противъ поворота его духовной дѣятельности, онъ продолжалъ итти своимъ путемъ, и въ 1848 году привелъ въ исполненіе давно задуманное имъ путешествіе въ Іерусалимъ, съ которымъ онъ мистически связывалъ окончаніе «Мертвыхъ душъ».

Онъ совершилъ переѣздъ чрезъ пустыни Сиріи въ сообществѣ своего соучастника по гимназіи, Базили — того самаго, съ которымъ онъ хотѣлъ стрѣляться на пистолетахъ безъ курковъ. Базили, занимая значительный постъ въ Сиріи, пользовался особеннымъ вліяніемъ на умы туземцевъ. Для поддержанія этого вліянія, онъ долженъ былъ играть роль полномочнаго вельможи, который признаетъ надъ собой только власть «Великаго Падишаха». Каково же было изумленіе арабовъ, когда они увидѣли его въ явной зависимости отъ его тщедушнаго и невзрачнаго спутника! Гоголь, изнуряемый зноемъ песчаной пустыни и выходя изъ терпѣнія отъ разныхъ дорожныхъ неудобствъ, которыя, ему казалось, легко было бы устранить, не разъ увлекался за предѣлы обыкновенныхъ жалобъ и сопровождалъ свои жалобы такими жестами, которые, въ глазахъ туземцевъ, были доказательствомъ ничтожности грознаго сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опасно въ ихъ

УЧЕНИЧЕСКАЯ
МОСКОВСКОЙ II ГИМНАЗІИ

странствованіи черезъ пустыни, такъ какъ ихъ охраняло больше всего только высокое мнѣніе арабовъ о значеніи Базили въ русскомъ государствѣ. Онъ упрашивалъ поэта говорить ему наединѣ, что угодно, но при свидѣтеляхъ быть осторожнымъ. Гоголь соглашался съ нимъ въ необходимости такого поведенія, но при первой досадѣ позабывалъ дружескія условія и обращался въ избалованнаго ребенка. Тогда Базили рѣшился вразумить пріятеля самымъ дѣломъ и принялъ съ нимъ такой тонъ, какъ съ послѣднимъ изъ своихъ подчиненныхъ. Это заставило поэта молчать, а мусульманамъ дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь «Великаго Падишаха» и что выше его нѣтъ визиря въ имперіи.

Изъ Іерусалима Гоголь возвратился въ родную семью свою, къ матери и сестрамъ, въ село Васильевку, и здѣсь занялся продолженіемъ второго тома «Мертвыхъ Душъ», какъ это видно изъ его писемъ.

Каковы бы ни были достоинства этого похищеннаго у насъ судьбою произведенія, но актъ его созданія интересенъ уже потому, что Гоголь такъ долго готовился къ нему, такъ много для него страдалъ и томился жаждою свѣта и истины. Этотъ актъ христіански-поэтическаго творчества совершился въ Васильевкѣ — и потомъ сама Васильевка дѣлается для насъ уголкомъ въ высшей степени интереснымъ. Но по одному ли этому обстоятельству она интересна? Здѣсь протекло дѣтство нашего поэта; сюда онъ нетерпѣливо рвался, бывало, изъ надоѣвшей школы, чтобъ обновить свои силы послѣ томительныхъ экзаменовъ; здѣсь онъ, въ ранней юности, по собственнымъ словамъ его, былъ «окружаемъ почти съ утра до вечера весельемъ» и, наконецъ, сюда, безъ сомнѣнія, часто улетала за свѣжими чувствами его творческая фантазія изъ отдаленнаго сѣвера и чужого юга. Бросимъ же взглядъ на эту счастливую точку нашего обширнаго отечества, къ которой долго-долго будутъ обращаться мысли многихъ и многихъ тысячъ людей со всѣхъ концовъ его.

Дорога къ деревнѣ Васильевкѣ изъ Полтавы замѣчательна въ томъ отношеніи, что на пространствѣ тридцати верстъ нѣсколько разъ перемѣняетъ свой характеръ. Ровная плоскость пахотныхъ полей склоняется въ долины, накропленныя кой-гдѣ свѣтлыми пятнами воды. Поднимаетесь изъ долинъ на возвышенность — и передъ вами то, что собственно называется степью: невспаханная площадь во все пространство широкаго горизонта, со скирдами сѣна и стадами овецъ и рогатаго скота. Далѣе вы встрѣтите остатки старинныхъ лѣсовъ, гдѣ чаще всего видны дубы, свидѣтели татарскихъ набѣговъ и расправъ съ поляками. Скудная водою и богатая камышами рѣка Голтва нѣсколько разъ покажетъ вамъ свои «загогулины», между селъ, спускающихся съ косогоровъ къ водѣ, между плоскихъ и гладкихъ какъ столъ возвышенностей, усѣянныхъ скирдами, и между густыхъ рощъ, обѣщающихъ — хотя напрасно — вдали обширные лѣса. Если ваши лошади бѣгутъ быстро, какъ бѣжали тѣ, на которыхъ ѣхалъ

я, вы будете всю дорогу гоняться за развивающимися вдали заманчивыми видами, и скоро передъ вами появится бѣлая съ зеленою крышею, небольшая церковь объ одной главѣ, на холмѣ, тихо склоняющемся во всѣ стороны, соотвѣтственно плавнымъ линіямъ степныхъ долинъ и возвышенностей — Васильевская церковь.

Церковь стоитъ впереди села, которое закатилось въ долину, противоположную взъѣзду на плоскій церковный холмъ и выказывается только своими деревьями, черными «дымарями» да верхами хлѣбныхъ скирдъ. Съ правой стороны церкви, за небольшою купою дубовъ, видно господское гумно, предупреждающее путника, что тутъ не нуждаются въ хлѣбѣ; съ лѣвой — густой старый садъ или, пожалуй, роща, въ которой уютно укрылся помѣщичій домъ, со своими службами, амбарами и другими пристройками. Издали видны только красныя деревянныя кровли съ бѣлыми трубами, и кажется, что домъ со всѣхъ сторонъ окутанъ деревьями; но когда вы подъѣдете ближе, передъ вами, сквозь веселую рѣшетку, откроется просторный, весь зеленый дворъ, симметрически обставленный съ трехъ сторонъ постройками, которыя пріятно рисуются на садовой зелени.

Садъ въ деревнѣ Васильевкѣ имѣетъ лѣсной характеръ и лѣтомъ долженъ быть очень прохладенъ. Гоголь, въ свои пріѣзды домой, подсаживалъ лѣсныя деревья въ саду, гдѣ только находилъ для нихъ мѣсто. Домъ, въ которомъ теперь помѣщается семейство покойнаго Гоголя, построенъ не очень давно. Не въ немъ протекло дѣтство Гоголя. На этомъ самомъ мѣстѣ стоялъ низенькій, ветхій домикъ, украшенный затѣйливыми зубцами вдоль крыши, крыльцомъ съ намеками на готическій вкусъ, боковыми башенками и остроконечными окнами по угламъ. Гоголю, видно, дорого было воспоминаніе объ этомъ домикѣ, потому что онъ хранилъ собственноручный рисунокъ съ него въ своей записной книгѣ.

Истинное украшеніе дома составляетъ прекрасный грудной портретъ Гоголя, въ натуральную величину, писанный Моллеромъ около 1841 года въ Римѣ. Гоголь просилъ Моллера написать его съ веселымъ лицомъ, «потому что христіанинъ не долженъ быть печаленъ» — и художникъ подмѣтилъ очень удачно привлекательную улыбку, оживляющую уста поэта; но глазамъ его онъ придалъ выраженіе тихой грусти, отъ которой рѣдко бывалъ свободенъ Гоголь. Судя по этому портрету, авторъ «Мертвыхъ Душъ» одаренъ былъ наружностью, которая не бросалась въ глаза съ перваго взгляда, но оставляла пріятное впечатлѣніе въ томъ, кто его видѣлъ, а при повторенныхъ свиданіяхъ заохочивала изучать себя и, наконецъ, дѣлалась дорогою для сердца. Высокій лобъ, полузакрытый спущенными наискось свѣтлорусыми, лоснящимися волосами, тонкій съ небольшимъ горбомъ носъ, нѣсколько нагнувшійся надъ русыми усами, глаза, которые въ Малороссіи называютъ карими, съ тонкими, поднятыми какъ бы отъ удивленія бровями и легкій румянецъ щекъ на свѣтломъ, почти бѣломъ цвѣтѣ всего лица: таковъ былъ Гоголь въ то время,

когда первый томъ «Мертвыхъ Душъ» былъ написанъ, а второй и третій существовали только въ его умѣ.

Къ осени Гоголь переѣхалъ въ Москву, гдѣ друзья встрѣтили его съ восторгомъ и окружили самыми почтительными и нѣжными заботами. Онъ велъ жизнь уединенную, но любилъ посидѣть и помолчать въ кругу хорошо извѣстныхъ ему людей и старыхъ пріятелей, а иногда оживлялся юношескою веселостью—и тогда не было предѣла его затѣйливымъ выходкамъ и смѣху. Особенно привлекалъ его къ себѣ домъ Аксаковыхъ, гдѣ онъ слушалъ и самъ пѣвалъ народныя пѣсни. Гоголь до конца жизни сохранилъ страсть къ этимъ произведеніямъ поэзіи и, по возвращеніи изъ Іерусалима, болѣе полугода бралъ уроки сербскаго языка у Бодянскаго, для того, чтобъ понимать красоты пѣсенъ, собранныхъ Вукомъ Караджичемъ. Пѣсня русская вообще увлекала его сердце непобѣдимою силою, какъ живой голосъ всего огромнаго населенія его отечества.

Здоровье Гоголя очень поправилось въ это время. С. Т. Аксаковъ говоритъ о немъ въ своихъ запискахъ: «Я никогда не видалъ Гоголя такъ здоровымъ, крѣпкимъ и бодрымъ физически, какъ въ эту зиму, то есть въ ноябрѣ и декабрѣ 1848 и въ январѣ и февралѣ 1849 года. Не только онъ пополнѣлъ, но тѣло на немъ сдѣлалось очень крѣпко. Обнимаясь съ нимъ ежедневно, я всегда щупалъ его руки. Я радовался и благодарилъ Бога. Надобно замѣтить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не могъ выносить сильнаго холода и что теперь онъ одѣвался очень легко. Но не долго предавался я радостнымъ надеждамъ на совершенное возстановленіе его здоровья. Съ появленіемъ первыхъ оттепелей, Гоголь сталъ задумчивѣе, вялѣе, и хандра, очевидно, стала имъ овладѣвать. Однако 19-го марта, въ день его рожденья, который онъ всегда проводилъ у насъ, я получилъ отъ него слѣдующую довольно веселую записку: «Любезный другъ, Сергѣй Тимоѳеевичъ, имѣютъ сегодня подвернуться вамъ къ обѣду два пріятеля: Петръ Михайловичъ Языковъ и я, оба грѣховодники и скоромники. Упоминаю объ этомъ обстоятельствѣ по той причинѣ, чтобы вы могли приказать прибавить кусокъ бычачины на одно лишнее рыло».

Гоголь чувствовалъ, что суровая сѣверная зима дѣйствуетъ вредно на его здоровье, но въ его планы не входили уже поѣздки за границу, и потому онъ избралъ своимъ зимовьемъ Одессу, откуда намѣревался проѣхать въ Грецію или въ Константинополь.

Спутникъ его былъ М. А. Максимовичъ, съ которымъ онъ договорилъ заѣзжаго изъ Василькова (Кіевской губерніи) еврея, съ извѣстною будкою на колесахъ, называющеюся, неизвѣстно почему, бричкою, или шарабаномъ. Въ нее предполагалось положить вещи, а сами путешественники намѣревались сѣсть въ рессорную бричку, принадлежавшую Максимовичу. Но еврей, порядившійся везти Гоголя, надулъ его самымъ плутовскимъ образомъ. Ему нужно было только остаться подъ этимъ предлогомъ въ Москвѣ до полученія паспорта,

а потомъ онъ начисто отперся отъ своего словеснаго обязательства. Гоголь былъ въ страшной досадѣ, но дѣлать было нечего. И вотъ путешественники пріискиваютъ себѣ другого «долгаго» извозчика изъ православныхъ.

Страннымъ иному покажется, что Гоголь не былъ въ состояніи ѣхать на почтовыхъ; но таковы именно были тогдашнія обстоятельства. По крайней мѣрѣ, онъ считалъ необходимымъ отказать себѣ въ этомъ удобствѣ и предпочесть медленную и дешевую ѣзду быстрой и дорогой. Между тѣмъ мнѣ извѣстно, что онъ везъ матери рублей полтораста серебромъ въ подарокъ.

Путешественники наши подвигались впередъ довольно медленно; но Гоголь не чувствовалъ, повидимому никакой скуки и постоянно обнаруживалъ самое спокойное состояніе души, какъ во время ѣзды, такъ и на постоялыхъ дворахъ. Его все занимало въ дорогѣ, какъ ребенка, и онъ часто, для выраженія своихъ желаній, употреблялъ языкъ, какимъ любятъ объясняться между собою школьники. Такъ, напримѣръ, ложась спать, онъ «отправлялся къ Храповицкому», а когда желалъ только отдохнуть, то говаривалъ своему спутнику: «Не пойти ли намъ къ Полежаеву?» Хаживалъ онъ также къ «Обѣдову» и къ другимъ господамъ по разнымъ надобностямъ, и все это безъ малѣйшаго вида шутки. Когда надоѣдало ему сидѣть и лежать въ бричкѣ, онъ предлагалъ товарищу «пройти пѣхондачка» и мимоходомъ собиралъ разные цвѣты, вкладывалъ ихъ тщательно въ книжку и записывалъ ихъ латинскія и русскія названія, которыя говорилъ ему Максимовичъ. На станціяхъ онъ покупалъ молоко, снималъ сливки и очень искусно дѣлалъ изъ нихъ масло, съ помощью деревянной ложки. Въ этомъ занятіи онъ находилъ столько же удовольствія, какъ и въ собираніи цвѣтовъ.

Гоголь зимовалъ въ Одессѣ, а изъ Одессы въ послѣдній разъ переѣхалъ въ свое предковское село и провелъ тамъ въ послѣдній разъ самую цвѣтущую часть весны; потомъ уѣхалъ въ Москву, гдѣ ожидала его смерть.

Наступила осень; съѣхались въ городъ разсѣянные вокругъ Москвы обитатели дачъ. Жизнь Гоголя потекла тѣмъ же порядкомъ, какъ въ прошломъ году. Онъ уже не чувствовалъ себя одинокимъ во время своихъ отдыховъ. Въ Москвѣ зимою проживало два-три семейства, въ которыхъ онъ былъ принятъ какъ родной. Тамъ каждый былъ проникнутъ глубокимъ уваженіемъ къ нему, каждый зналъ его привычки, его любимыя удовольствія, и всѣ старались угодить ему. Отправляясь туда на обѣдъ или вечеръ, онъ не имѣлъ надобности надѣвать ненавистный для него фракъ или совѣтоваться съ модою касательно цвѣта и покроя своего жилета, тѣмъ болѣе, что въ Москвѣ вообще меньше, нежели въ Петербургѣ, соблюдаются уставы своенравнаго comme il faut. За столомъ въ пріятельскихъ домахъ онъ находилъ любимыя свои кушанья и, между прочимъ, вареники, которые онъ очень любилъ и за которыми не разъ разсказывалъ, что

одинъ изъ его знакомыхъ, на родинѣ, всякій разъ, какъ подавались на столъ вареники, непремѣнно произносилъ къ нимъ слѣдующее воззваніе: «Вареныки-побиденыки! сыромъ боки позапыханы, масломъ очи позалываны!»

Это обстоятельство, между прочимъ, показываетъ, до какой степени Гоголь чувствовалъ себя своимъ въ домахъ московскихъ друзей своихъ. Онъ могъ ребячиться тамъ такъ же, какъ и въ родной Васильевкѣ, могъ распѣвать украинскія пѣсни своимъ, какъ онъ называлъ, «козлинымъ» голосомъ, могъ молчать, сколько ему угодно, и находилъ всегда не только внимательныхъ слушателей въ тѣ минуты, когда ему приходила охота читать свои произведенія, но и строгихъ критиковъ.

Никому не приходило и на мысль въ концѣ 1851 и въ началѣ 1852 года, что Гоголю не долго жить на свѣтѣ. Онъ былъ совершенно здоровъ и чувствовалъ только слабость физическихъ силъ, которыя надѣялся подкрѣпить весною на родинѣ въ занятіяхъ садоводствомъ.

Сколько главъ второго тома его поэмы было написано имъ вновь — навѣрное неизвѣстно. Нѣкоторымъ изъ друзей своихъ онъ читалъ до семи, а судя по его заботамъ о представленіи рукописи въ цензуру, надобно думать, что это было уже полное, замкнутое созданіе. Какъ бы то ни было, однакожъ, почувствовавъ приближеніе смерти, Гоголь вознамѣрился раздать по главѣ своей поэмы лучшимъ друзьямъ своимъ. Позвавъ къ себѣ графа Толстого, онъ просилъ его принять на сохраненіе его бумаги, а по смерти его отвезти къ одной духовной особѣ и просить ея совѣта, что напечатать и что оставить въ рукописи. Графъ отказался принять бумаги, чтобъ не показать больному, что и другіе считаютъ его положеніе безнадежнымъ — и это дружеское самоотверженіе имѣло послѣдствія ужасныя.

Въ волненіи мрачныхъ чувствъ, явившихся въ душѣ его при видѣ близкой смерти, Гоголь подвелъ свое твореніе подъ строгую критику человѣка, покаявшагося во всѣхъ своихъ прегрѣшеніяхъ и готоваго предать духъ свой въ руцѣ Божіи. Онъ призналъ себя недостойнымъ сосудомъ и органомъ истины, которую хотѣлъ выразить своимъ твореніемъ и потому самое твореніе представлялось ему вреднымъ для ближнихъ, какъ все, что не отъ истины. Изливъ свою душу предъ Создателемъ въ горячей молитвѣ, продолжавшейся до трехъ часовъ ночи, онъ рѣшился исполнить подвигъ высокаго самоотверженія, за который уже однажды былъ награжденъ духовнымъ ликованіемъ и возрожденіемъ сожженнаго «въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ».

Въ три часа ночи онъ разбудилъ своего мальчика Семена, надѣлъ теплый плащъ, взялъ свѣчу и велѣлъ Семену слѣдовать за собою въ кабинетъ. Въ каждой комнатѣ, чрезъ которую они проходили, Гоголь останавливался и крестился. Въ кабинетѣ приказалъ онъ мальчику открыть какъ можно тише трубу и, отобравъ изъ портфеля нѣкоторыя бумаги, велѣлъ свернуть ихъ въ трубку, связать

тесемкою и положить въ каминъ. Мальчикъ бросился предъ нимъ на колѣни и убѣждалъ его не жечь, чтобъ не жалѣть, когда выздоровѣетъ. «Не твое дѣло», отвѣчалъ Гоголь и самъ зажегъ бумаги. Обгорѣли углы тетрадей, и огонь сталъ потухать. Гоголь велѣлъ развязать тесемку и ворочалъ бумаги, крестясь и тихо творя молитву, до тѣхъ поръ, пока онѣ превратились въ пепелъ. Окончивъ свое auto-da-fe, онъ отъ изнеможенія опустился въ кресло. Мальчикъ плакалъ и говорилъ: «Что вы сдѣлали!» — «Тебѣ жаль меня?» сказалъ Гоголь, обнялъ его, поцѣловалъ и самъ заплакалъ. Потомъ онъ воротился въ спальню, крестясь по прежнему въ каждой комнатѣ, легъ на постель и заплакалъ еще сильнѣе. Это было въ ночь съ понедѣльника на вторникъ первой недѣли Великаго поста.

На другой день онъ объявилъ о томъ, что сдѣлалъ, графу Толстому съ раскаяніемъ; жалѣлъ, что отъ него не приняли бумагъ и приписывалъ сожженіе ихъ вліянію нечистаго духа.

Съ этого времени онъ впалъ въ мрачное уныніе, не пускалъ къ себѣ никого изъ друзей своихъ или допускалъ ихъ только на нѣсколько минутъ и потомъ просилъ удалиться, подъ предлогомъ, что ему дремлется, или что онъ не можетъ говорить. На всѣ убѣжденія принять медицинскія пособія, онъ отвѣчалъ, что они ему не помогутъ, и, уступивъ уже не задолго передъ кончиною настояніямъ друзей, безпрестанно просилъ, чтобъ его оставили въ покоѣ. Такъ прошли первая недѣля поста и половина второй. Все свое время Гоголь проводилъ въ молитвѣ или въ молчаливомъ размышленіи, почти не говорилъ ни съ кѣмъ, но, повинуясь, видно, долговременной привычкѣ мыслить на бумагѣ, писалъ дрожащею рукою изреченія изъ Евангелія.

Гоголь скончался 21 февраля 1852 г. Тѣло его, какъ почетнаго члена Московскаго университета, перенесено было въ университетскую церковь; 24-го февраля происходило отпѣваніе его въ присутствіи градоначальника, попечителя московскаго учебнаго округа и многихъ почетныхъ лицъ древней русской столицы. Гробъ вынесенъ былъ изъ церкви профессорами университета и до самаго Данилова монастыря несенъ преимущественно студентами, при многочисленномъ стеченіи народа. Гоголь похороненъ подлѣ своего друга, поэта Языкова. На его надгробномъ камнѣ вырѣзаны слѣдующія слова пророка Іереміи: «Горькимъ моимъ словомъ посмѣюся». *Кулишъ.*

Общій характеръ творчества Гоголя.

Когда Гоголь впервые вступилъ въ литературное поприще съ своими «Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки» — это были еще юношескія, свѣжія вдохновенія поэта, свѣтлыя какъ украинское небо: все въ нихъ ясно и весело, самый юморъ простодушенъ и поэтиченъ; еще не слыхать того грустнаго смѣха, который послѣ

является единственнымъ честнымъ лицомъ въ произведеніяхъ Гоголя, и самое особенное свойство таланта поэта, — «свойство очертить всю пошлость пошлаго человѣка», выступаетъ здѣсь еще наивно и добродушно, и легко и свѣтло оттого на душѣ читателя, какъ свѣтло и легко на душѣ самого поэта: надъ нимъ какъ-будто еще развернулось своимъ шатромъ его родное небо, онъ еще вдыхаетъ благоуханіе черемухъ своей Украйны. Здѣсь проявляется въ особенности необычайная тонкость его поэтическаго чувства. Можетъ-быть, ни одинъ писатель не одаренъ былъ такимъ полнымъ, гармоническимъ сочувствіемъ съ природою, ни одинъ писатель не постигъ такъ пластической красоты, — красоты полной, «существующей для всѣхъ и каждаго», никто, наконецъ, такъ не полонъ былъ сознанія о «прекрасномъ» физически и нравственно человѣкѣ, какъ этотъ писатель, призванный очертить пошлость пошлаго человѣка, и потому самому ни одинъ писатель не обдаетъ души вашей такой тяжелой грустью, какъ Гоголь, когда онъ, какъ безпощадный анатомикъ, по частямъ разнимаетъ человѣка... Въ «Вечерахъ на хуторѣ» еще не видать этого безпощаднаго анализа: юморъ еще только причудливо-граціозенъ: въ гомерическомъ ли изображеніи пьянаго Каленика, отплясывающаго гопака на улицѣ въ майскую ночь, въ простодушномъ ли очеркѣ характера Ивана Ѳедоровича Шпоньки, въ которомъ таится уже однако зерно глубокаго созданія характера Подколесина. Въ этомъ бытѣ, — простомъ и вмѣстѣ поэтическомъ бытѣ Украйны, поэтъ еще видитъ свою красавицу Оксану, свою Галю — чудное существо, которое спитъ въ «божественную ночь, очаровательную ночь», — спитъ, распустивъ черныя косы, подъ украинскимъ небомъ, когда на этомъ небѣ «серпомъ стоитъ мѣсяцъ», тутъ все еще полно таинственнаго обаянія, и прозрачность озера, и фантастическія пляски вѣдьмъ, и ликъ утопленницы-паночки, запечатлѣнный какой-то свѣтлой грустью. А Сорочинская ярмарка, съ ея шумомъ и толкотнею, а кузнецъ Вакула, а исполинскіе образы двухъ братьевъ Карпатскихъ горъ, осужденныхъ на страшную казнь за гробомъ, эти дантовскіе образы народныхъ преданій. Все это еще то свѣтло, то таинственно и обаятельно-чудно, какъ лепетъ ребенка, какъ сказки народа.

Но не долго любовался поэтъ этимъ бытомъ, радовался безпечной радостью художника, возсоздавая этотъ бытъ. Онъ кончилъ его апоѳеозу эпопеею о «Тарасѣ Бульбѣ» и «легендой о Віѣ», гдѣ вся природа его страны говоритъ съ нимъ шелестомъ травъ и листьевъ въ прозрачную лѣтнюю ночь, и гдѣ между тѣмъ въ тоскѣ безысходной, въ замираніи сердца, мчащагося съ вѣдьмою по безконечной степи философа Хомы Брута, слышится тоска самого поэта и невольно переходитъ на читателя. Уже и здѣсь Гоголь взглянулъ окомъ аналитика на дѣйствительность: простодушно, какъ прежде, принялся было онъ чертить истинно-человѣческія фигуры Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны и остановился въ тяжеломъ раздумьи надъ страшнымъ трагическимъ fatum, лежащимъ въ самой

непосредственности ихъ отношенія, — съ гиперболически-веселымъ юморомъ изобразилъ безплодныя существованія Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и, кончая свою картину, вынужденъ былъ однако воскликнуть: «скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Съ этой минуты онъ даже взялъ въ руки анатомическій ножъ, съ этой минуты обильно потекли уже «сквозь зримый міру смѣхъ» «незримыя слезы». Гиперболическій юморъ достигаетъ крайнихъ предѣловъ своихъ въ «Носѣ», оригинальнѣйшемъ и причудливѣйшемъ произведеніи, гдѣ все фантастично и вмѣстѣ съ тѣмъ все въ высшей степени поэтическая правда, гдѣ все понятно безъ толкованія, и гдѣ всякое толкованіе убило бы поэзію...

Все глубже и глубже опускался скальпель анатомика, и, наконецъ, въ «Ревизорѣ» одинъ уже смѣхъ только выступилъ честнымъ и карающимъ лицомъ, а между тѣмъ тому, кто понимаетъ великое общественное значеніе этой комедіи (а кто же не понимаетъ его теперь, и для кого оно не уяснилось?), очевидны сквозь этотъ смѣхъ слезы. Вся эта бездна мелочныхъ, но въ массѣ тяжелыхъ грѣховъ и преступленій, разверзающаяся съ ужасающей постепенностью передъ глазами зрителей, прежде спокойная, невозмутимая, какъ болотная тина, и словно развороченная однимъ прикосновеніемъ пустого проѣзжаго чиновника изъ Петербурга, этотъ страхъ передъ призракомъ, принятымъ за дѣйствительную грозу закона, глубокій смыслъ того факта, что тревожная совѣсть городскихъ властей ловится на такую бренную удочку, — все это ясно и понятно уже каждому въ наше время; что же касается до господъ, до сихъ поръ, можетъ-быть, удивляющихся тому, какъ могъ городничій, обманувшій трехъ губернаторовъ, принять за ревизора проѣзжаго свища, то остается только подивиться чистотѣ ихъ совѣсти, которую никогда не тревожили призраки, вызванные ея собственнымъ тревожнымъ состояніемъ. *Григорьевъ.*

Постепенное развитіе и видоизмѣненіе творчества Гоголя за періодъ 1832—1842 гг.

Незадолго до отъѣзда изъ Петербурга въ Москву, Гоголь напечаталъ вторую часть «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки». Въ «Ночи наканунѣ Ивана Купала», помѣщенной въ первой части этого сборника (1831 г.), современникамъ слышались звучные отголоски фантастическаго разсказа Тика. Вообще фантастическое составляло существенный элементъ во всѣхъ повѣстяхъ, изъ которыхъ сложились «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки». Лѣтомъ 1832 года мысль Гоголя занята была совершенно другимъ: онъ обдумывалъ планъ комедіи. Изданіемъ «Вечеровъ на хуторѣ» закончился романтическій періодъ его юности: призраки украинскаго суевѣрія, то ужасные, то очаровательные, отлетѣли отъ него навсегда, и почти

въ началѣ 1833 года (въ письмѣ отъ 1-го февраля) на запросъ Погодина о «Диканьскихъ вечерахъ», Гоголь отъ души искренно воскликнулъ: «Чортъ съ ними! Я не издаю ихъ... прибавлять сказки не могу. Я даже позабылъ, что я творецъ этихъ «Вечеровъ», и вы только напомнили мнѣ объ этомъ... Да обрекутся они неизвѣстности, покамѣстъ что нибудь *извѣстное, великое, художническое* не изыдетъ изъ меня! Но я стою въ бездѣйствіи, въ неподвижности. Мелкаго не хочется, великое не выдумывается». «Миргородъ», вышедшій въ 1834 году, но составленный изъ повѣстей, написанныхъ въ 1832—1833 гг. открылъ уже читателю новую сторону въ произведеніяхъ Рудаго Паньки. Въ этомъ сборникѣ, служащимъ *продолженіемъ* «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки», только одинъ разсказъ беретъ содержаніе изъ фантастическаго міра — «Вій». Но даже и въ этой повѣсти, богатой художественными картинами малороссійской жизни, изъ-подъ пера молодого автора вылились слѣдующія строки: «Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзненно мучиться, какъ-будто *вдругъ среди бѣшенаго вихря веселія и закружившейся головы кто-нибудь запѣлъ пѣсню объ угнетенномъ народѣ*». Въ «Тарасѣ Бульбѣ», рисуя картину бѣшеной подъ музыку пляски запорожцевъ, поэтъ предается такимъ размышленіямъ: «Только въ одной музыкѣ есть воля человѣку. Онъ въ оковахъ вездѣ. Онъ самъ себѣ куетъ еще тягостнѣйшія оковы, нежели налагаетъ на него общество и власть — вездѣ, гдѣ только коснулся жизни. Онъ рабъ, но онъ воленъ только, потерявшись въ бѣшеномъ танцѣ, гдѣ душа его не боится тѣла и возносится вольными прыжками, готовая возвеселиться на вѣчность». «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» (1832 г.) уже завершается знаменательнымъ восклицаніемъ автора: «Скучно въ этомъ свѣтѣ, господа!» Къ двадцатитрехлѣтнему юношѣ, еще недавно такъ беззаботно смѣявшемуся въ «Вечерахъ» какъ-будто уже «примѣшалась болѣзнь, которою одержимо было все его поколѣніе — неудовлетвореніе и тоска». Позже, въ эпоху душевныхъ и тѣлесныхъ страданій, въ мучительную эпоху созданія второй части «Мертвыхъ душъ», это восклицаніе съ новою силою звучитъ въ устахъ Гоголя. Изъ груди поэта, озирающаго современность, вырывается болѣзненный вопль: «И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь, все мельчаетъ и мелеетъ, и *возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки*, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже, пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!» С. Т. Аксаковъ справедливо замѣтилъ: «Свѣжи, прелестны, благоуханны, художественны были разсказы въ Диканькѣ»; но въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ», въ «Тарасѣ Бульбѣ» уже являлся великій художникъ, съ глубокимъ и важнымъ значеніемъ». «Великій меланхоликъ» (какъ называлъ Гоголя Пушкинъ) уже переставалъ развлекать себя невинными беззаботными сценами и начиналъ углублять испытующій взоръ въ *дѣйствительность*, его окружавшую.

Тихонравовъ.

Творчество Гоголя въ періодъ созданія „Мертвыхъ душъ“ и генетическая его связь съ предшествующими произведеніями.

Приступая къ созданію «Мертвыхъ душъ», Гоголь былъ уже творцомъ «Ревизора». И первый томъ «Мертвыхъ душъ», дѣйствительно, носитъ ясные слѣды своей связи съ «Ревизоромъ». Тѣ же «пошлости», по выраженію поэта, повседневной жизни, тѣ же ничтожные характеры; даже отдѣльные типы «Мертвыхъ душъ» сходны съ типами «Ревизора», напоминаютъ ихъ, какъ, напримѣръ, типъ почтмейстера въ поэмѣ и въ комедіи особенно поражаетъ своимъ сходствомъ; сходны же полиціймейстеръ въ поэмѣ и городничій въ комедіи, Ноздревъ и Хлестаковъ; кстати припомнимъ близкій къ послѣднимъ типъ Собачкина въ драматическомъ «Отрывкѣ». Нѣкоторые типы «Мертвыхъ душъ» имѣютъ длинную исторію въ развитіи художественныхъ образовъ Гоголя. Такъ, напримѣръ, типъ ограниченной старушки, преданной одному мелкому домашнему хозяйству—соленью, варенью, печенью,—угощенью всѣмъ этимъ домочадцевъ и гостей и вмѣстѣ съ тѣмъ преданной сбереженью, страсти къ скупости, уже намѣченъ Гоголемъ въ отрывкѣ «Учитель» 1830 года (Анна Ивановна); то же въ «Шпонькѣ» 1832 года (мать Гр. Гр. Сторченка). Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» 1835 года этотъ типъ получаетъ дальнѣйшее развитіе въ образѣ Пульхеріи Ивановны и, наконецъ, завершается въ Коробочкѣ «Мертвыхъ душъ». Даже нѣкоторыя детали въ обрисовкѣ Коробочки сходны съ деталями въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ»: напримѣръ, дребезжащій экипажъ Пульхеріи Ивановны, шумъ отъ котораго слышенъ былъ возлѣ самыхъ мельницъ, когда пани въѣзжала со двора, «хотя это разстояніе было не менѣе двухъ верстъ»,—напоминаетъ экипажъ Коробочки, шумъ и визгъ отъ котораго «разбудили на другомъ концѣ города будочника, который, поднявъ свою алебарду, закричалъ съ просонья, что стало мочи: «кто идетъ?» но... слышалось только издали дребезжанье, и проч.

Если первый томъ «Мертвыхъ душъ» естественно связанъ съ предыдущими произведеніями Гоголя по общности образовъ, по юмористическому воззрѣнію, по лирическому воодушевленію, по манерѣ очерчивать лица и предметы сжато и выпукло, то несомнѣнно также, что «Мертвыя души» выше всего предыдущаго, написаннаго Гоголемъ, не только по времени появленія, но и по силѣ творчества, по развитію таланта Гоголя, который достигаетъ въ поэмѣ высшихъ предѣловъ.

Прежде всего въ «Мертвыхъ душахъ» поражаетъ разнообразіе и законченность въ обрисовкѣ не только основныхъ типовъ, ихъ обрисовки, но и лицъ и предметовъ, входящихъ въ детали, въ сравненія. Часто поэтъ выставляетъ оправданія своей обстоятельности, своей манеры закруглять всѣ образы, подвертывающіеся въ разсказѣ; но замѣчанія его въ этомъ случаѣ оттѣняютъ только юмористическую сторону. Не говоря уже о тѣхъ мѣткихъ и характеристическихъ

очеркахъ, въ какихъ обрисовываетъ Гоголь Петрушку и Селифана, разные типы крестьянства изъ мертвыхъ и бѣглыхъ душъ, двухъ обитателей мирнаго уголка, Кифу Мокіевича и его сына, которые «нежданно, какъ изъ окошка, выглянули въ концѣ поэмы»: поэтъ не оставляетъ безъ обрисовки, хотя въ нѣсколькихъ штрихахъ, —и дѣвчонки, которую дала Коробочка показать дорогу Селифану, и отставного чиновника, заклекнувшаго навѣки въ ситцевомъ халатѣ у окна низенькаго домика въ уѣздномъ городишкѣ, образъ котораго съ двумя-тремя типичными особенностями мелькнулъ передъ Гоголемъ, когда онъ задумался о возможной судьбѣ Чичикова послѣ неудачъ на службѣ. Мало того, также обстоятельно вырисовываетъ Гоголь даже мухъ, лошадей (напримѣръ Гнѣдаго, Засѣдателя и Чубараго— тройку Чичикова), собакъ (на дворѣ Коробочки и на псарнѣ Ноздрева), птицъ которыя упоминаются имъ при сравненіяхъ, при описаніяхъ. Невольно вспоминаются при этомъ образы животныхъ у нашихъ лучшихъ баснописцевъ: у Дмитріева, у Крылова. То же самое въ изображеніи неодушевленныхъ предметовъ: какой-нибудь шкатулки Чичикова, часовъ Коробочки, шарманки Ноздрева, люстры и графинчика Плюшкина, и т. д., и т. д. Еще замѣчательнѣе эти молдавскія тыквы, которыя подвернулись Гоголю подъ руки при обрисовкѣ лица Собакевича. «Мужское круглое лицо Собакевича, широкое, какъ молдавскія тыквы, называемыя горлянками, изъ которыхъ дѣлаютъ на Руси балалайки, двухструнныя, легкія балалайки, красу и потѣху ухватливаго двадцатилѣтняго парня, мигача и щеголя, и подмигивающаго и посвистывающаго на бѣлогрудыхъ и бѣлошейныхъ дѣвицъ, собравшихся послушать его тихоструннаго треньканья».

Такія сжатыя картины въ деталяхъ составляютъ одну изъ самыхъ характеристическихъ особенностей въ творчествѣ Гоголя. Немало, вѣроятно, поработалъ Гоголь и надъ созданіемъ живого образнаго языка поэмы. Не даромъ въ 1840 году онъ просилъ выслать къ нему, за границу, миніатюрные экземпляры для дороги «Онѣгина», «Горе отъ ума», басенъ Дмитріева и русскихъ пѣсенъ Сахарова, чтобы «назвучаться русскими звуками и рѣчью», постоянно опасаясь «нагрѣшить противъ языка», какъ онъ самъ выражается въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ.

Успѣхъ перваго тома «Мертвыхъ душъ» въ русской литературѣ былъ почти неслыханный дотолѣ. Мы теперь можемъ судить только приблизительно объ этомъ впечатлѣніи по воспоминаніямъ, преимущественно талантливой молодежи 40-хъ годовъ, И. С. Тургенева, В. В. Стасова и другихъ. Но не внѣшней формой, не одной художественной отдѣлкой поражали нарисованные поэтомъ типы и явленія жизни; они поражали глубокимъ внутреннимъ значеніемъ, отношеніемъ къ самымъ животрепещущимъ вопросамъ современности.

Критика Бѣлинскаго успѣла уже многое уяснить Гоголю въ его предшествующихъ созданіяхъ. Но было много противниковъ и въ об-

ществѣ, и особенно въ литературѣ, которые не хотѣли признать за произведеніями Гоголя болѣе глубокаго значенія и даже сожалѣли, что онъ, способный, по ихъ мнѣнію, на изображеніе смѣшныхъ комическихъ сценъ — «побасенокъ», вздумалъ касаться современной жизни и дерзнулъ выставлять въ «карикатурахъ» современность, клеветать на нее. Въ горячемъ лирическомъ порывѣ, въ началѣ VII главы, перваго тома «Мертвыхъ душъ» Гоголь возсталъ за силу смѣха, который достоинъ встать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ, который не имѣетъ ничего общаго съ «кривляньемъ балаганнаго скомороха». «Мертвыя души» критика разсматривала, какъ энциклопедію русской жизни, современной Гоголю. Самъ поэтъ старался изобразить свойства русскаго человѣка отъ простого мужика до барина. Нерѣдко отъ своихъ обыденныхъ провинціальныхъ типовъ Гоголь обращается къ типамъ столичнымъ: отъ Коробочки къ аристократкѣ, отъ Ноздрева къ человѣку въ чинахъ, съ благородной наружностью. Невольно припоминается замѣчаніе Гоголя въ одномъ изъ его писемъ послѣ перваго представленія «Ревизора»: «провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны; но жизнь петербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти. Малѣйшая черта ея — и какъ тогда заговорятъ мои соотечественники.

По собственному опредѣленію Гоголя, его «Мертвыя души» изображаютъ «пошлость» въ жизни, герои его «плутоватые люди»; но эти плуты совсѣмъ не злодѣи: они самые обыкновенные «скучные» характеры, и вся эта жизнь, состоящая изъ множества «мелочей», такъ обыкновенна, что Гоголь то и дѣло отмѣчаетъ, что то или другое явленіе — «все то же, что вездѣ». Вотъ здѣсь-то и проявляется особенно рѣзко основное свойство таланта Гоголя — угадывать человѣка, выставлять неуловимыя особенности жизни, — «тысячи тѣхъ мелочей, по выраженію поэта, которыя кажутся только тогда мелочами, когда внесены въ книгу, а покамѣстъ обращаются въ свѣтѣ, почитаются за весьма важныя дѣла. Но за всей этой смѣшной, пошлой стороной жизни возвышается другая сторона — благородная, идеальная. Достаточно вспомнить это глубоко задушевное обращеніе Гоголя, послѣ картины Плюшкинской ничтожности, мелочности, гадости: «забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество, — забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ, — не подымете потомъ». Такъ и въ другихъ произведеніяхъ одной какъ-будто нечаянно оброненной фразой Гоголь ярче освѣщаетъ высокое, грустное и въ этихъ образахъ, созданныхъ имъ изъ смѣшного и презрѣннаго. Достаточно припомнить того молодого чиновника въ повѣсти «Шинель», который позволилъ себѣ посмѣяться, по примѣру другихъ, надъ Акакіемъ Акакіевичемъ; но «вдругъ остановился, какъ будто... все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ... и долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чи-

новникъ... съ своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» и въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «я братъ твой». И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости». Въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголь не разъ изъ-за своихъ поэтическихъ созданій выступаетъ самъ передъ читателями и стремится сказать слово въ защиту ничтожнаго, пошлаго, мелочного, составляющаго предметъ его поэзіи. Эта защита ничтожнаго въ жизни, какъ предмета искусства, защита смѣха проводится и въ другихъ произведеніяхъ Гоголя этого времени: въ передѣлкѣ напечатанной уже повѣсти «Портретъ», въ «Театральномъ разъѣздѣ» и въ послѣдней передѣлкѣ «Ревизора». Кромѣ того, передѣлка «Портрета», какъ передѣлка и напечатаннаго ранѣе «Тараса Бульбы», дополняютъ представленіе о развитіи творчества Гоголя.

Владимировъ.

Постепенный ростъ художественнаго творчества Гоголя.

Одновременно съ обращеніемъ Гоголя отъ свѣтлаго міра юношескихъ грезъ къ сухой и черствой житейской прозѣ, мы замѣчаемъ соотвѣтствующую перемѣну и въ сферѣ фантастическихъ образовъ, создаваемыхъ богатой творческой силой его генія. Какъ извѣстно, область фантастическаго занимаетъ весьма видное мѣсто въ его созданіяхъ. Какъ ни странно могло бы показаться это въ такомъ великомъ художникѣ-реалистѣ, Гоголь всегда или долго имѣлъ болѣе или менѣе сильную склонность къ таинственному и волшебному, такъ что въ значительной части его произведеній этотъ элементъ играетъ важную роль, и даже въ сюжетѣ «Мертвыхъ Душъ» иные не безъ основанія находили что-то фантастическое. Такое присутствіе въ Гоголѣ постояннаго стремленія въ міръ чудеснаго на ряду съ величайшей способностью изображать повседневную жизнь никакъ не можетъ быть объясняемо исключительно внѣшними причинами, какъ, напримѣръ, вліяніемъ родной украинской поэзіи и впечатлѣніями дѣтства; несомнѣнно, напротивъ, что оно имѣло болѣе глубокіе корни въ самомъ психическомъ складѣ этой богато одаренной натуры. Особенное значеніе въ данномъ случаѣ, конечно, необходимо приписать сильному возбужденію дѣятельности воображенія, такъ неутомимо работавшаго въ дни юности Гоголя.

Но характеръ фантастическихъ образовъ въ произведеніяхъ Гоголя постепенно мѣняется соотвѣтственно его духовному росту и происходившимъ въ немъ внутреннимъ перемѣнамъ. Въ раннюю пору юности фантазія Гоголя была настроена свѣтло и радостно, что неизбѣжно должно было отразиться на характерѣ его чудныхъ грезъ въ «Вечерахъ на хуторѣ», — грезъ, плѣнительныхъ свѣжестью и нѣжнымъ благоуханьемъ этихъ раннихъ, роскошныхъ цвѣтовъ

его творчества. Обаятельная веселость автора имѣла тогда своимъ источникомъ безграничную вѣру въ собственныя силы и въ свѣтлую звѣзду счастія, манившую его въ безпредѣльный просторъ жизни, а также и упоеніе тѣми осязательными успѣхами, которые давали ему отрадное чувство нравственнаго самоудовлетворенія. Охлаждающія юношескій пылъ неудачи, дрязги и мелочи обыденной колеи еще не успѣли подорвать въ Гоголѣ его лучшія мечты, и постепенное разставаніе съ ними совершалось не безъ внутренней борьбы. Напротивъ, въ часы горя и грусти Гоголь, какъ-будто на зло ненавистной судьбѣ, долго сохранялъ счастливую способность находить убѣжище въ смрадной дѣйствительности, въ неистощимомъ калейдоскопѣ чудныхъ созданій своего генія.

Въ «Авторской исповѣди» Гоголь прямо объясняетъ происхожденіе своихъ первыхъ произведеній тѣмъ, что на него «находили припадки тоски», и что для того, «чтобы развлекать себя самого, онъ придумывалъ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего, и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала».

Такъ было вначалѣ, когда потребность время отъ времени переноситься отъ скучной дѣйствительности въ міръ привлекательныхъ фантастическихъ грезъ была особенно сильна въ Гоголѣ. Она удовлетворяла тогда его жаждѣ къ прекрасному и освѣжала его духъ, утомленный впечатлѣніями обыденной жизни. Чѣмъ глубже западали въ его душу тяжелые осадки, захваченные со дна мутнаго теченія наблюдаемой имъ жизни, тѣмъ громче говорило страстное желаніе отдохнуть отъ нихъ, забыться среди создаваемыхъ его пылкимъ воображеніемъ картинъ. Гоголь находитъ наслажденіе погружаться на нѣкоторое время въ поэтическую музыку очаровательныхъ образовъ, и пока беззаботно рисовалъ въ своемъ представленіи обаятельныя картины природы, плѣнительныхъ дѣвушекъ, дорогія, при всемъ комизмѣ, стороны родного украинскаго быта. Точно такъ же и въ его историческихъ изученіяхъ всегда выступали на первый планъ, съ одной стороны, заманчивыя своей таинственностью, а съ другой — поражающія воображеніе грандіозностью и величіемъ эпохи крестовыхъ походовъ, быстраго возрастанія политическаго могущества и мгновеннаго расцвѣта образованности арабской. Хотя въ послѣднемъ случаѣ мы указываемъ примѣръ, повидимому, не прямо подтверждающій склонность Гоголя къ фантастическому, такъ какъ примѣръ этотъ взятъ изъ области исторіи; но не слѣдуетъ забывать, что Гоголь былъ всего менѣе историкомъ и что при занятіяхъ исторіей въ немъ всегда сказывался прежде всего художникъ, и притомъ художникъ, способный интересоваться въ наукѣ особенно тѣмъ, что, благодаря густому туману вѣковъ, давало приволье пылкому

воображенію, неохотно мирившемуся со скучными, прозаическими интересами повседневной жизни.

Но годы шли, и жизнь налагала на Гоголя свою тяжелую руку: полетъ фантазіи, наиболѣе свободной по самой сущности отъ суроваго давленія будничной прозы, тѣмъ не менѣе неизбѣжно отражаетъ всѣ колебанія и перемѣны въ духовной жизни человѣка. Особенно слѣдуетъ признать роковую власть надъ создаваемыми ею образами со стороны господствующаго настроенія извѣстной личности въ данное время. Только тогда возможно созданіе такихъ чудныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ наивныхъ образовъ разныхъ нечистыхъ и колдуновъ, — въ томъ родѣ, какъ мы видимъ это въ «Вечерахъ на хуторѣ», — когда на душѣ еще нѣтъ тяжелаго груза заботъ, и сохраняется неприкосновеннымъ юношескій вкусъ къ сказочнымъ, эффектнымъ сюжетамъ. Со временемъ все это исчезаетъ и понемногу замѣняется стремленіемъ къ возстановленію душевнаго равновѣсія, нарушеннаго житейской сутолкой, въ направленіи болѣе близкомъ къ той самой удручающей будничной прозѣ, отъ которой не можетъ совсѣмъ укрыться поэтъ въ чудномъ мірѣ своихъ завѣтныхъ мечтаній. Существенная разница заключается здѣсь въ томъ, что юношескія грезы фантазіи Гоголя были гораздо дальше отъ дѣйствительной жизни, что въ нихъ, въ самомъ дѣлѣ, можно было почерпнуть отраду и освѣженіе; тогда какъ позже онѣ теряютъ свою кристальную чистоту, загрязняемыя цѣпкой тиной повседневныхъ мелочей. Ростъ художественнаго творчества Гоголя обнаруживался больше всего въ прогрессѣ неподражаемаго искусства улавливать и передавать незамѣтныя для другихъ, но весьма характерныя черты явленій окружающей жизни; но чѣмъ ярче и выпуклѣе становилось это изображеніе, тѣмъ больше исчезалъ тотъ наивный фантастическій колоритъ, которымъ были окрашены его первыя созданія, и въ самую сферу изображенія таинственнаго и чрезвычайнаго все больше проникалъ все тотъ же назойливый и грустный элементъ обыденной житейской прозы.

Это мы видимъ еще въ повѣсти «Вій», гдѣ «Гоголь съ рѣдкимъ мастерствомъ поставилъ въ центръ страховъ именно такого равнодушнаго человѣка, какъ Хома Брутъ, ибо надо было много ужасовъ, чтобы доконали они Хому Брута, и поэтъ могъ развернуть передъ своимъ героемъ всю страшную цѣпь чертовщины». Положимъ, что собственно черта эта встрѣчается и прежде въ творчествѣ Гоголя: слѣдуетъ вспомнить особенно «Заколдованное мѣсто» и «Пропавшую грамоту»; но въ «Віи» гораздо больше вполнѣ реальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненныхъ юмора бытовыхъ картинъ. Творческое воспроизведеніе жизни замѣтно растетъ здѣсь въ ширь и въ глубь и охватываетъ собою не одного человѣка или одинъ только случай, а цѣлую группу лицъ и довольно сложную фабулу; но чѣмъ сложнѣе и рельефнѣе рисунокъ Гоголя, тѣмъ увѣреннѣе вступаетъ въ свои права его художественный реализмъ. Нѣтъ нужды, что фанта-

стическая канва въ повѣсти «Вій» несравненно богаче, нежели, напр., въ «Заколдованномъ мѣстѣ», и что вымыселъ разукрашенъ здѣсь болѣе яркими и прихотливыми узорами, но въ сущности ростъ реализма становится не менѣе явнымъ, нежели ростъ фантастическаго элемента.

«Хома Брутъ молодецъ, сильный, равнодушный, безпечный, любитъ плотно поѣсть и пьетъ весело и добродушно. Онъ человѣкъ прямой: хитрости у него, когда онъ, напримѣръ, хочетъ отпроситься отъ своего дѣла или бѣжать, довольно наивныя. Онъ и лжетъ-то, какъ-то не стараясь; въ немъ нѣтъ экспансивности—онъ слишкомъ лѣнивъ даже для этого». Всю эту совершенно вѣрную характеристику можно въ значительной степени примѣнить и къ личности дѣда нѣкоторыхъ разсказовъ въ «Вечерахъ на хуторѣ»; но здѣсь какъ сюжетъ, такъ и психологическая сторона повѣсти гораздо ярче, глубже и совершеннѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ равномѣрной степени возвысился и интересъ бытовой и описательный. «Величайшее мастерство Гоголя,—говоритъ все тотъ же цитированный нами авторъ,—выказалось въ той постепенности, съ которой намъ сообщается въ разсказѣ таинственное; оно началось съ полукомической прогулки на вѣдьмѣ, и правильное развитіе дошло до ужасной развязки смерти сильнаго человѣка отъ страха. Поэтъ заставляетъ насъ переживать шагъ за шагомъ съ Хомой всѣ ступени развитія этого чувства. При этомъ Гоголю было на выборъ два пути: можно было итти аналитически—говорить о душевномъ состояніи героя, или синтетически—говорить образами. Онъ выбралъ второй путь: душевное состояніе своего героя онъ объективировалъ, а работу аналитическую представилъ читателю».

Чувство страха въ читателяхъ этой повѣсти постепенно усиливается: «Начиная съ момента, когда сотникъ послалъ въ Кіевъ за Хомой, *даже комическія сцены* (напр., въ бричкѣ) *не веселы*, потомъ идетъ сцена съ упрямымъ сотникомъ, его страшныя проклятія, красота мертвой, толки дворни, дорога до церкви, запертая церковь, лужайка передъ ней, залитая луной, тщетныя старанія себя ободрить, которыя только сильнѣе развиваютъ чувство страха, болѣзненное любопытство Хомы, мертвая грозитъ пальцемъ... Весьма напряженное чувство нѣсколько отдыхаетъ за день. Вечеромъ тяжелыя предчувствія, ночью — новые ужасы. Вамъ кажется, что уже всѣ ужасы исчерпаны, но поэтъ находитъ новыя краски, т.-е. не новыя—онъ сгущаетъ прежнія».

До такой степени искусства возвышается здѣсь Гоголь! но здѣсь же мы находимъ кульминаціонный пунктъ его творчества въ области фантастическаго,—по крайней мѣрѣ, въ прежнемъ вкусѣ; послѣ этого наступаетъ поворотъ въ другую сторону.

Самая страсть къ фантастическому начинаетъ ослабѣвать въ Гоголѣ и временами уступаетъ мѣсто чистѣйшему реализму. Въ «Миргородѣ» впервые являются повѣсти, совершенно свободныя отъ фан-

тастическаго элемента (если не считать въ «Вечерахъ на хуторѣ» неоконченную повѣсть объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ). Такою повѣстью были «Старосвѣтскіе помѣщики» и затѣмъ поэма «Тарасъ Бульба», которая какъ бы поглощаетъ въ себя все бытовое и историческое въ повѣсти «Страшная месть», оставляя міръ таинственныхъ страховъ и фантастическихъ приключеній на долю повѣсти «Вій». Въ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» опять нѣтъ фантастическаго элемента, хотя и встрѣчаются несомнѣнныя уклоненія въ сторону условной, а не фотографической правды, и, наконецъ, то же самое находимъ потомъ въ повѣстяхъ «Носъ», «Портретъ», «Невскій проспектъ», «Шинель», а вмѣстѣ съ тѣмъ во всѣхъ названныхъ петербургскихъ повѣстяхъ есть также и прямо фантастическій элементъ. На этомъ теперь и остановимся.

Въ петербургскій періодъ Гоголь почти совершенно утратилъ способность и желаніе давать волю прихотливому полету фантазіи и развлекать себя свѣтлыми образами и картинами, и если онъ еще отдавался по временамъ затѣйливой игрѣ представленій, придумывая смѣшныя сцены и положенія, то эта была уже работа воображенія совершенно иного рода; здѣсь не было уже никакого отраднаго чувства, ничего волшебнаго и обаятельнаго. Самый вымыселъ получилъ теперь характеръ черезчуръ обыденный и сѣрый, нисколько не заслоняя собой поразительнаго реализма общаго содержанія тѣхъ повѣстей, въ которыя его вводитъ авторъ. Въ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» встрѣчаются мелкіе фантастическіе штрихи, предназначенные единственно для усиленія комизма; но въ петербургскихъ повѣстяхъ одни достигаютъ до предѣловъ цѣлыхъ невѣроятныхъ эпизодовъ или даже составляютъ преобладающее содержаніе цѣлаго произведенія, какъ мы видимъ это особенно въ повѣсти «Носъ».

«Есть мнѣніе, очень распространенное, что «Носъ» есть шутка своеобразной авторской фантазіи и авторскаго остроумія. Оно невѣрно, потому что въ разсказѣ можно усмотрѣть опредѣленную художественную цѣль—заставить людей почувствовать окружающую ихъ пошлость: фантастическое является здѣсь для того, чтобы служить цѣлямъ все болѣе торжествующаго реализма». Собственно говоря, именно въ наиболѣе проникнутыхъ суровымъ реализмомъ повѣстяхъ, какъ, напр., въ «Шинели», мы особенно часто встрѣчаемъ мелкое неправдоподобіе или, вѣрнѣе, условное правдоподобіе; но, пораженные яркостью и правдивостью цѣлой картины, мы этого не замѣчаемъ. Никто, конечно, не могъ бы поставить автору въ упрекъ невѣроятный подборъ именъ, какія попадались священнику передъ крещеніемъ Акакія Акакіевича, тѣмъ болѣе, что поэтъ несомнѣнно руководился здѣсь тонкимъ художественнымъ расчетомъ, изображая гоненіе судьбы на бѣднаго будущаго титулярнаго совѣтника, начавшееся съ самаго появленія его на свѣтъ. Тѣмъ не менѣе, не со-

ставляя нисколько нарушенія истиннаго реализма, такія мелкія отступленія отъ требованій фотографической правды встрѣчаются нерѣдко въ петербургскихъ повѣстяхъ Гоголя. Внѣшнее неправдоподобіе сюжета въ «Носѣ», имѣло, конечно, второстепенное, такъ сказать, служебное значеніе, давая возможность автору сосредоточить вокругъ разсказа о вымышленномъ происшествіи изображеніе пошлости въ разныхъ слояхъ петербургскаго населенія. Благодаря этому обстоятельству, автору въ небольшой повѣсти удается обрисовать характеръ понятій и интересовъ петербургскихъ мастеровыхъ, полицейскихъ, различныхъ подонковъ чиновничьяго и даже газетнаго міра, пошлую пустоту и жалкій уровень развитія женскаго округа въ низшихъ слояхъ общества и пр. Все это было предметомъ усиленнаго изученія Гоголя въ началѣ 30-хъ годовъ, когда подъ вліяніемъ сходныхъ наблюденій онъ написалъ «Женитьбу», «Утро дѣлового человѣка», «Отрывокъ», и пр.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя отрицать, что въ данномъ отношеніи повѣсть «Носъ» представляетъ извѣстное сходство съ комедіями Гоголя, хотя вниманіе читателя здѣсь сосредоточено преимущественно на главномъ фантастическомъ приключеніи; отдѣльныя же лица, кромѣ майора Ковалева и цырюльника Ивана Яковлевича, обрисованы только вскользь. Вся проза уличной толкотни, безучастнаго и сухого равнодушія къ нуждамъ ближняго со стороны мелкихъ представителей офиціальнаго міра, комическая безполезность совѣтовъ и сожалѣній, въ случаѣ какой-нибудь бѣды, совѣтовъ, не помогающихъ горю и не выводящихъ изъ затруднительнаго положенія, — начиная съ равнодушнаго доклада слуги о томъ, что полицеймейстера нѣтъ дома и кончая комическимъ совѣтомъ доктора Ковалеву положить носъ въ банку со спиртомъ, а мѣсто, гдѣ онъ былъ, обмывать холодной водой, — все это до избитой и жалкой казенщины выраженій пошлыхъ людей, даже о такихъ высокихъ и серіозныхъ предметахъ, какъ польза отечества и польза юношества, — все это является снова воспроизведеннымъ позже въ болѣе полномъ и яркомъ видѣ въ повѣсти «Шинель».

Въ «Невскомъ проспектѣ» и въ «Шинели» авторъ пользуется фантастическимъ элементомъ явно для того, чтобы дать отдыхъ отъ гнетущаго чувства грусти какъ себѣ, такъ и читателямъ. Для этой цѣли авторъ какъ бы позволяетъ фантазіи насильственно разорвать преграду, отдѣляющую дѣйствительность отъ міра желаній. Такой же смыслъ можно признать за фантастическимъ элементомъ въ повѣсти «Портретъ», съ той, однако, существенной оговоркой, что въ послѣдней въ отличіе, отъ обѣихъ ранѣе названныхъ повѣстей, желанія героя устремлены не на предметы вопіющей нужды или настоятельной нравственной потребности, а на пустую приманку богатства и роскоши.

Въ заключеніе настоящей главы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько дополнительныхъ замѣчаній, касающихся повѣсти «Шинель»,

хотя принадлежащей къ сравнительно позднѣйшему времени, творчества Гоголя, но времени, еще невыясненному съ полной точностью.

Въ этой повѣсти, проникнутой глубокой грустью автора и оставляющей положительно самое тяжелое впечатлѣніе изо всѣхъ произведеній Гоголя, мы встрѣчаемъ изображеніе частью сходныхъ предметовъ и лицъ, какіе уже были описаны въ повѣсти «Носъ». Здѣсь передъ нами, между прочимъ, открывается тотъ же міръ мастеровыхъ, полицейскихъ и мелкихъ чиновниковъ. Но при этомъ чисто внѣшнемъ сходствѣ,—не входя въ подробный разборъ основной идеи обоихъ произведеній, такъ какъ это завлекло бы насъ слишкомъ далеко,—мы должны отмѣнить существенную разницу между обѣими повѣстями, заключающуюся въ томъ, что всѣ подробности разсказа въ «Шинели» гораздо сосредоточеннѣе сгруппированы около личности Акакія Акакіевича и случившагося съ нимъ печальнаго происшествія. Здѣсь, между прочимъ, наиболѣе ярко обрисована отталкивающая пошлость мелкаго чиновничьяго міра и его мертвое равнодушіе къ нуждамъ ближняго и къ собственнымъ профессіональнымъ обязанностямъ. При этомъ чрезвычайно характерно и заслуживаетъ вниманіе массовое, такъ сказать, гуртовое изображеніе чиновниковъ: мимоходомъ живо представленъ жалкій уровень ихъ развитія, ихъ обыденный бытъ и привычки, усвоенные ими пріемы въ обращеніи съ просителями, ихъ любимыя развлеченія и интересы; но *нигдѣ*, кромѣ главнаго героя, не выдѣляется ни одна чиновничья личность. Чиновники всѣ сразу выступаютъ на сцену и одновременно сходятъ съ нея по требованію нити разсказа, передъ пропажей новой шинели, въ день общаго торжества у одного изъ начальниковъ. Всѣ лица, кромѣ героя повѣсти и портного Петровича, выведены затѣмъ, чтобы раскрыть съ художественной полнотой мысль, намѣченную въ словахъ: «какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной, образованной свѣтскости и, Боже! даже въ томъ человѣкѣ, котораго считаютъ благороднымъ и честнымъ». Автора поразили въ жизни не только случаи безпощаднаго гоненія судьбы на жалкихъ и беззащитныхъ людей, но и тупая, безсознательная жестокость иногда, повидимому, или даже и въ самомъ дѣлѣ, не злыхъ людей, по разнымъ мелкимъ побужденіямъ дѣлающихся ея орудіемъ въ преслѣдованіи какой-нибудь несчастной жертвы и безсознательно принимающихъ на себя роль гонителей или палачей. Мы желали бы обратить вниманіе въ разсматриваемой повѣсти также и на эту сторону ея идеи, заслоняемую обыкновенно для большинства читателей и даже критиковъ плачевной судьбою главнаго героя. Еще прежде, напр., въ повѣсти «Носъ» и во многихъ другихъ случаяхъ, Гоголь слегка затрогивалъ уже данный вопросъ, не обращая, впрочемъ, пока на него особаго вниманія; но въ «Шинели» эта мысль получаетъ большую опредѣленность и значеніе, какъ и самыя краски сгущены въ ней сильнѣе. Здѣсь мы снова находимъ тѣ же безполезные совѣты домовой хозяйки и одного изъ товарищей Акакія

Акакіевича, порекомендовавшаго ему обратиться за содѣйствіемъ къ значительному лицу.

Что̀ касается фантастическаго конца разсказа, то его, конечно, требовало до послѣдней степени напряженное чувство состраданія и грусти, выразившееся въ словахъ: «исчезло и скрылось существо, никѣмъ не защищенное, никому не дорогое» и проч.

Наконецъ, никогда не исчезающая потребность прибѣгать къ мечтѣ и къ воображаемымъ свѣтлымъ образамъ для того, чтобы сколько-нибудь забыться отъ гнетущаго кошмара тоскливой дѣйствительности и удовлетворить хотя на минуту неискоренимому жаланію лучшаго, не сказалась ли позже въ измышленныхъ воображеніемъ Гоголя не фантастастическихъ въ буквальномъ смыслѣ слова, но во всякомъ случаѣ и не реальныхъ личностей нѣкоторыхъ героевъ второго тома «Мертвыхъ душъ»? *Шенрокъ.*

Жизнерадостный характеръ колядокъ и щедривокъ[1]).

Наканунѣ праздника Рождества Христова или на первый день праздника, вечеромъ, когда мягкій, таинственный полусвѣтъ разливается на усыпанной снѣгомъ землѣ, и на далекихъ небесахъ затеплятся, словно божественныя лампады, безчисленныя звѣзды въ южнорусскихъ селахъ молодые парни (парубки) ходятъ небольшими толпами по улицамъ, останавливаются передъ окнами зажиточныхъ домохозяевъ и звонкимъ голосомъ поютъ величальныя пѣсни, уподобляя домохозяина солнцу, жену его лунѣ, дѣтей ихъ звѣздамъ и высказывая имъ пожеланія всякаго благополучія....

Да бувай здоровъ и въ вику довгій,
Самъ собою, зъ своею жоною,
За усимъ родомъ.

Дай же тоби, Боже, чого жадаешь,—
Здоровье въ твій домъ на челядочку,
Щастя на двирь, на худобочку.

Далеко въ морозномъ воздухѣ несется радостная праздничная пѣсня, и просвѣтляется духъ селянина, освѣжаетъ его сердце свѣт-

---

[1]) Малорусская колядка — рождественская величальная пѣсня и затѣмъ — самое славленіе, самый походъ съ такими пѣснями примыкаетъ къ малорусскому же тѣсному значенію слова *коляда* — вечеръ 24-го декабря. Это значеніе, повидимому, древнѣе восточно-малорусскаго обычая, по которому «колядовать» начинаютъ лишь съ вечера перваго дня Рождества Христова. Гоголь («Ночь подъ Рождество») могъ еще и въ Полтавской губерніи зазнать обычай начинать колядованіе съ «богатої куті» 24-го декабря, существованіе котораго подтверждается старинными сѣверными и южными и новыми свидѣтельствами. Цѣль колядокъ и щедривокъ, какъ она высказывается въ замѣткахъ и послѣсловіяхъ этихъ пѣсенъ, есть *дімъ звеселити. Вайда* (ватага) колядовщиковъ спрашиваетъ подъ окномъ хаты:

Отъ сего діму, отъ веселому,
Ци повелите колядовати,

Колядовати, дімъ звеселити
Дімъ звеселити, діти збудити?

На это хозяинъ, выглянувъ въ окно, отвѣчаетъ: «весельтеся, весельте!» Значитъ, колядовщики, возвеселяя домъ, и сами себя веселятъ. *Потебня.*

лой надеждой на счастье. Выглянувъ въ окошечко, крестьянинъ говоритъ колядовщикамъ: «весельтеся, весельте», т.-е. веселитесь сами себѣ на утѣху, и возвеселите мой домъ, мою семью. И въ хату врываются чистые звуки величальной пѣсни, врываются многообѣщающія пожеланія женить сына, выдать дочь замужъ, пожеланія урожая хлѣба и умноженія скота. Все тяжелое и смутное, что тревожитъ крестьянскую душу въ длинныя осеннія ночи, когда на соломенную крышу падаютъ крупныя капли холоднаго дождя, въ воздухѣ стоитъ сырая мгла, и шумливый вѣтеръ врывается въ наклонившуюся на бокъ дымовую трубу, угнетающія заботы, сомнѣнія и опасенія исчезаютъ, забываются подъ обольстительнымъ вліяніемъ веселой праздничной пѣсни. Колядка очаровываетъ воображеніе чертами, образами неземного счастья, наполняетъ бѣдную жизнь фантастическимъ довольствомъ, изъ укромной и сумрачной хатенки ведетъ въ чертоги богача, гдѣ повсюду блеститъ золото и серебро, поднимаетъ слушателя въ лучезарныя надзвѣздныя пространства. Точно по мановенію волшебнаго жезла отворяется небо; взору смертнаго представляются святые престолы и золотые кресты, и сама Богоматерь вьетъ изъ розъ вѣнки, чтобы украсить ими чело земныхъ тружениковъ-хлѣборобовъ, достойныхъ божественной любви и ласки. Въ рождественскихъ пѣсняхъ, колядкахъ и щедривкахъ, милосердное и сострадательное божество нисходитъ на землю, посѣщаетъ бѣдныя людскія жилища и щедрой рукой раздаетъ довольство и счастье. Солнце обнаруживаетъ родительскую заботливость о крестьянскомъ домохозяйствѣ. Мѣсяцъ дружелюбно разговариваетъ съ людьми и открываетъ имъ, въ какой хатѣ въ предстоящемъ году будетъ свадебное веселье. Добрый молодецъ колядокъ не простой парубокъ, а богатырь, пренебрегающій вороными конями и червонцами и любящій только дѣвушекъ-красавицъ. Дѣвушка въ колядкахъ не простая деревенская дивчина:

Въ хату пришла — паны стричаютъ, Шапки знимаютъ, іи питаютъ:
Паны стричаютъ, шапки знимаютъ, Чи ты царивна? чи ты кроливна?

Крестьянскій дворъ окруженъ бѣлокаменными стѣнами; ворота сдѣланы изъ желтой мѣди. Въ хатѣ столы накрыты дорогими коврами; на столахъ стоятъ кубки, наполненные виномъ. Подарки, которые парень вручаетъ молодой дѣвушкѣ, обладаютъ большими достоинствами; золотой перстень блеститъ, какъ огонь; нитки крупнаго жемчуга тяготятъ бѣлую шею. Даже конь въ колядкахъ не простой, общеизвѣстный деревенскій конь, малосильный, захудалый, принятый однимъ иностранцемъ-путешественникомъ за животное особой породы — «conjaka»: золотая грива покрываетъ его широкую грудь; серебряныя копыта разбиваютъ подвернувшійся подъ ноги камень; глаза, подобные терновымъ ягодамъ, читаютъ всякое письмо.

Этотъ цѣсенный идеализмъ чего-нибудь да стоитъ! Вѣковая личная имущественная зависимость, понижавшаяся иногда до степени рабства, сокрушила бы въ духовномъ отношеніи темнаго безграмот-

наго мужика, если бы его не поддерживала постоянно чародѣйка-пѣсня, уносящая мысль и чувство куда-то далеко-далеко, гдѣ и свѣтло, и тепло, и уютно. Удрученные бѣдствіями, угнетенные горемъ находятъ въ очаровательномъ мірѣ поэзіи утѣшеніе; озлобленные и ожесточенные—успокоеніе и миръ души. Горе, вылившееся въ пѣснѣ дѣлается полугоремъ, и міръ, представленный черезъ призму поэзіи, получаетъ новую привлекательность. *Сумцовъ.*

Колядованье и щедрованье въ Малороссіи.

Въ первый вечеръ Рождества Христова мужчины, женщины, дѣвушки и дѣти ходятъ колядовать подъ окна, а наканунѣ Новаго года щедровать (щедровать значитъ желать во всемъ изобилія и богатства). Домохозяевъ и господъ восхваляютъ или поздравляютъ со святымъ и щедрымъ вечеромъ. Есть колядчики, которые при пѣніи бьютъ въ бубны, звонятъ въ колокольчики и именуютъ въ своихъ пѣсняхъ хозяевъ, ихъ дѣтей или величаютъ ихъ особыми прозваніями. Колядуютъ до полуночи. Дѣвушки, ходя подъ окна, стараются подойти тихо и прислушиваются, что говорятъ, и изъ этихъ словъ выводятъ разныя для себя предзнаменованія. Колядскія пѣсни поютъ протяжно и за каждымъ стихомъ произносятъ: *святый вечиръ и добрый вечиръ*, а иногда отдѣльно. По окончаніи пѣсни поздравляютъ съ праздникомъ и святымъ вечеромъ, или Рождествомъ Христовымъ.

Иные изъ колядниковъ, подходя подъ окно, говорятъ: *чи колядовать?* или: *благословите вечиръ славить*; имъ отвѣчаютъ: *добре*. И одинъ изъ колядниковъ произноситъ громко и скоро:

Колядую, колядую,
Ковбасу чую.
Сидитъ дьядько на стилицы,
Вбуваетця въ постильцы.
Здоровъ дьядьку износы,
А мыни вынеси ковбасы.
Добрый вечиръ
Добрый вечиръ!
Добрымъ людямъ!
Ой нашъ Царю, Царю,
Небесный Сапарю!
Пашли, Боже, многа лита
Сему господарю.
Добрый вечиръ.

Дѣвушки поютъ:

Ой якъ бье, такъ бье,
На шатры, на городъ.
Соколе, соколе ясный!
Молодче красный,
Пане Стефане вельможный!
Вывели ему коня въ наряди.
Соколе, соколе ясный!
Молодче красный,
Пане Стефане вельможный!
Винъ коня взявъ,
Шапочки не снявъ,
Не поклонывся.
Соколе, соколе ясный!
Молодче красный,
Пане Стефане вельможный!
Вывели ему дивку въ наряди.
Соколе, соколе ясный!
Молодче красный,
Пане Стефане вельможный!
Винъ дивку взявъ,
Шапочку снявъ
И поклонывся.
Соколе, соколе ясный!
Молодче красный,
Пане Стефане вельможный!
Боже! дай вечиръ добрый
Дай пиригъ довгій,
А якъ не дасте
То самы съѣсте.

Колядка взрослыхъ:

Чи дома панъ господарь?
А я знаю, що винъ дома,
Сидитъ же винъ въ конци стола,
А на ему шуба люба,
А на шуби поясочекъ,
А на поясочку калиточка,
А въ калитоци симъ шиляжечкивъ.
Сіому тому по шиляжечку,
А намъ, братцы, по пирожечку;
Ще того мало,
Дайте кусокъ сала;
Ще того трышки,
Дайте лемишки.
Дай, Боже, вечиръ добрый,
Дайте пиригъ довгій.
Поздравляемъ васъ зъ праздникомъ.

Въ Подлѣсьи дѣти поютъ:

Эй коляду, коляду!
Дайте мачку и кутю!
Якъ не дасте, откажите,
Моихъ ножекъ не зябите.
Я дитинка маленкая,
Моя ножка босенкая,
Мыкъ, мыкъ,
Вынесте колядникъ.

Когда вообще колядующимъ выносятъ что-нибудь, тогда благодарятъ:

Спасибо тоби, дядьку,
И шелягивъ кипа.
Щобъ же у тебе у поли
Всего було вдоволи.

Въ заключеніи говорятъ: добрый вечиръ и всѣмъ на здоровье.

Ишовъ, перійшовъ мисяцъ по небу.
Святый вечиръ!
Да стрився мисяцъ съ ясною зорею.
Святый вечиръ!
Ой, заря, заря, де у Бога була?
Святый вечиръ!
Де у Бога була, де маешь стати?
Святый вечиръ!
Де маю стати?—у пана Ивана.
Святый вечиръ!
У пана Ивана, на его двори.
Святый вечиръ!
Да на его двори, да у его хаты!
Святый вечиръ!
А у его хаты да дви радости.
Святый вечиръ!
Первая радость—сына жениты.
Святый вечиръ!
Другая радость—дочку выдаваты.
Святый вечиръ!
Сына жениты, молодца Евфимка.
Святый вечиръ!
Дочку отдавати, молоду Настусю.
Святый вечиръ!
Бувай же здоровъ, молодче Евфимку!
Святый вечиръ!
Да не самъ зъ собою: зъ отцемъ, зъ матерью.
Святый вечиръ!
И зъ милымъ Богомъ и зъ всимъ родомъ.
Святый вечиръ!
Зъ Исусомъ Христомъ, святымъ Рождествомъ!
Святый вечиръ!

По окончаніи пѣсни говорятъ: *Поздравляемъ васъ, пане добродію, и пане матко, и всихъ вашихъ зъ святымъ вечиромъ. Дай, Боже, вамъ довго житы да веселиця.* Колядовщикамъ высылаютъ денегъ, или дарятъ чѣмъ другимъ. Если долго имъ не даютъ, то продолжаютъ пѣть, пока не вышлютъ. Случается, что имъ ничего не даютъ, тогда говорятъ, что хозяинъ и хозяйка скупиндяги (скупые).

Слѣдующія пѣсни поютъ во время праздничныхъ забавъ:

Ой, въ Кіеви да на рыночку,
Та на жовтымъ песочку,
Тамъ дивочка садъ сажала,
Садъ сажала, поливала,
Поливаючи, примолвляла:
Рости, саду, высче мене,
Высче мене, красче мене!
Ой, гула, гула крутая гора,
Що не вродилась швкова трава,
Тылько вродила зелене вино.
Красная паня вино стерегла,
Вино стерегла, крипко заснула.
Якъ налитили райскіи пташечки,
Одзябали зелене вино,
Да пробудили красну панну.
Ой, скоражъ вона тоби учула,
Своимъ рукавцемъ на нихъ махнула.
Ой, шуги, въ луги! райскія пташки,
А мини вина самой надобно:
Брата жениты, сестру отдаваты,
Сама молода зарученая.
Да чому ты, дивчино, гуляты не йдешь?
Ой, якъ же мини гуляты пійты,
Що мои братики за війска пріихали?
Привезли мини три подарочка:
Першій подарокъ—золотой перстень,
Другій подарокъ—зеленая сукня,
Третій подарокъ—перловая нитка.
Золотой перстень, якъ огонь, сіяе,
Зеленая сукня слидъ заметае,
Перлова нитка голову обвязуе.
А въ сего пана скамья заслана,
Та на сей скамьи три кубци стоятъ;
Въ першемъ кубци медокъ солодокъ,
У другимъ кубци крипкіе вино.
У третьимъ кубци зелене вино.
Зелене вино—для пана сего,
Крипкіе вино—для жинки его.
Медокъ солодокъ—для дитокъ его.
Въ тому саду три корыстоньки:
Перша корысть—то оришиньки;
Другая корысть—то вышеньки,
Третья корысть—то яблучки.
Оришками чечоватися,
Яблучками подкидатися.
Да бувай здорова зъ батькомъ, матерью,
И зъ милымъ Богомъ, и зо всимъ родомъ,
Іисусомъ Христомъ, святымъ Рождествомъ.

Щедрованье — собственно праздникъ мальчиковъ и дѣвочекъ, которые щедруютъ вечеромъ подъ окнами. Случается, что участвуютъ въ щедрованіи молодыя женщины и парубки, но въ такомъ случаѣ они подвергаются посмѣянію, и имъ ничего не даютъ. Чтобы получить что-нибудь отъ домохозяевъ, они притворяются подъ голоса дѣтей, однако ихъ голоса узнаютъ. Это они дѣлаютъ изъ одной шалости.

Мальчики щедруютъ и поютъ вездѣ единообразно: или очень протяжно, или скоро:

Щедрикъ ведрикъ.
Дайте варенику,
Грудучку кашки,
Кильце ковбаски.
Ще того мало,
Дайте сала;
Ще того тришки
Дайте лемишки.
Аба дайте ковбасу,
Я до дому понесу;
А якъ дасте кышку,
То зьимъ у затышку.
Дай, Боже, вечиръ добрый!
Дайте пиригъ довгій,

Поздравляемъ васъ зъ праздникомъ.
Васильева маты
Пишла щедроваты.
У стола стояла,
Золотой крестъ держала,
И золоту кадилницю.
Христитеся, люды!
Отъ вамъ Христосъ буде[1]).
Богу свичу ставте.
А намъ пиригъ дайте.

Послѣ пѣнія приговариваютъ:

Вечиръ добрый!
Давайте пиригъ довгій,
А хоть коротенькій,
Дабы смашненькій.
Маланка ходыла,
Васыля просила:
Васыльку, мій батьку,
Пусты мене въ хатку.
Я жита не жала,
Честный крестъ держала,
Золоту кадыльнычку,
Срыбну хрыстыннычку.
Радуйтеся, люды!
Къ вамъ Христосъ буде.
Богу свичу ставьте.
А намъ пиригъ дайте,
А на тарылочку и денежку.

Да сивъ Христосъ до вечеряти.
Щедрый вечиръ,
Добрый вечиръ,
Добрымъ людямъ
На здоровье!
Да пришлажъ къ нему Божая Маты.
Щедрый вечиръ,
Добрый вечиръ,
Добрымъ людямъ
На здоровье!

Терещенко.

Досвѣтки и посидѣлки.

Съ поворотомъ солнца на зиму, съ уменьшеніемъ дня начинаетъ уменьшаться деревенская работа. Хлѣбъ собранъ и сложенъ на току въ высокихъ скирдахъ. Изъ дворовъ слышатся тяжелые удары цѣповъ по снопамъ. Въ пожелтѣвшихъ полевыхъ стерняхъ поселился паукъ и сталъ выводить свои причудливыя сѣти. Съ наступленіемъ длинныхъ и темныхъ сентябрьскихъ вечеровъ для исполненныхъ силы и энергіи деревенскихъ парней и дѣвушекъ наступаетъ досужее время. Не дремать же имъ по отцовскимъ хатамъ подъ тихое и однообразное жужжаніе материнскаго веретена! Деревенская молодежь собирается по временамъ въ просторной избѣ какой-нибудь бездѣтной вдовы и здѣсь ищетъ развлеченія въ пѣсняхъ и пляскѣ.

Начало вечерничныхъ гуляній различно, смотря по мѣстности, равно какъ по мѣстностямъ различается и степень ихъ продолжительности. Въ Оренбургской губерніи вечерницы бываютъ отъ Успенія

---

[1]) Въ простонародіи господствуетъ мнѣніе, что родившійся Христосъ невидимо ходитъ на святой вечеръ и въ Новый годъ къ добрымъ людямъ и ниспосылаетъ на нихъ благословеніе, потому здѣсь и сказано: *отъ вамъ Христосъ буде.*

до Сырной недѣли, въ Олонецкой губерніи отъ Рождества Христова до Великаго поста. Въ большей части Великороссіи и почти повсемѣстно въ Малороссіи вечерницы начинаются со дня Самсона-лѣтопроводца и продолжаются всю осень и зиму. Въ малорусской народной поэзіи начало вечернихъ гуляній отмѣчено коротко и выразительно:

Вже минули суныченьки и полуныченьки,
Вже настали осиннии та вечерниченьки.

Вечернія собранія молодежи въ разныхъ мѣстахъ носятъ разныя названія: вечерницы, вечереньки, посидѣлки, досвѣтки, оденки, супрядки, улицы, бесѣдки. Различіе между вечерницами и улицами въ Малороссіи состоитъ въ томъ, что первыя бываютъ зимой въ хатѣ, вторыя — лѣтомъ на улицѣ. Вечерницы сложнѣе, продолжительнѣе и сопряжены съ бо́льшимъ весельемъ и бо́льшими расходами. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Великороссіи вечереньки отличаются отъ досвѣтокъ. Первыя бываютъ вечеромъ, при чемъ веселятся дѣвушки и парни; вторыя наступаютъ послѣ ухода парней и короткаго сна дѣвушекъ и состоятъ въ собраніи исключительно дѣвицъ, занимающихся шитьемъ, пряжей и пѣснями. Посидѣлки повсемѣстно состоятъ въ собраніи молодыхъ людей обоего пола. Вечернія супрядки въ гор. Котельницѣ, Вятской губ. состоятъ въ собраніи исключительно женщинъ. Въ Астраханской губ. отъ вечеринокъ отличаются посидки, въ которыхъ менѣе оживленія. На посидкахъ бываютъ и замужнія женщины.

Мѣстныя отличія малорусскихъ вечерницъ незначительны, какъ можно видѣть изъ слѣдующихъ этнографическихъ данныхъ.

«Въ Галичинѣ, какъ только окончится работа на полѣ и въ огородѣ, настаетъ пряденіе. Во все это время замужнія женщины и дѣвушки, управившись дома, идутъ «съ кужельемъ на хаты», гдѣ кому нравится, и тамъ прядутъ до вечера. Такія сходбища много способствуютъ поддержанію мѣстной народной жизни. На нихъ младшія отъ старшихъ выучиваются пѣснямъ, сказкамъ, пословицамъ, загадкамъ, вспоминаютъ и сохраняютъ въ памяти минувшее, былое. Сходбища эти бываютъ не только днемъ, но также и по вечерамъ, и тогда они называются вечерницами. На вечерницы вмѣстѣ съ женщинами сходятся и мужчины, остающіеся ночью безъ всякой работы. Вечерницами богаты въ особенности филипповки. Вечерницы походятъ однѣ на другія, и только вечерницы въ день св. Андрея Первозваннаго имѣютъ отличный характеръ».

Въ юго-западномъ краѣ для вечерницъ выбирается большая хата какой-либо вдовы или такого хозяина, у котораго малая семья. Дѣвушки назначаютъ день для первыхъ вечерницъ, и вечеромъ, приходя съ работой, приносятъ разные припасы: пшеничную муку, творогъ, масло, картофель и т. д.; каждая должна что-нибудь принести, хотя въ незначительномъ количествѣ. Освѣщеніе каждая изъ

дѣвушекъ обязана доставлять поочередно. Въ дѣятельномъ участіи дѣвушекъ въ устроеніи вечерницъ обнаруживается предпріимчивый характеръ малорусской женщины, по признанію этнографовъ, болѣе предпріимчивый, чѣмъ характеръ малороссовъ-мужчинъ. Часть принесенныхъ припасовъ употребляется на ужинъ, а другая, большая часть, остается въ пользу хозяйки или хозяина дома.

Въ Полтавщинѣ осеннія и зимнія встрѣчи молодежи происходятъ на вечерницахъ, досвѣткахъ и грищѣ. Досвѣтки — собраніе молодыхъ дѣвушекъ, сходящихъ въ какую-нибудь избу для работы. Досвѣтки можно раздѣлить на двѣ части: на вечерницы и собственно досвѣтки. Дѣвушки сговариваются, избираютъ какую-нибудь женщину и поручаютъ ей устроить свои собранія, принося кто что можетъ изъ провизіи, припасаемой дома секретно. Забравъ всѣ принадлежности работы и не забывая провизіи, дѣвушки отправляются съ вечера въ избранную избу и занимаются работой (это вечерницы), тамъ ночуютъ, встаютъ чрезвычайно рано и снова работаютъ, распѣвая пѣсни (это досвѣтки). На вечерницахъ всегда, а на досвѣткахъ очень рѣдко являются парни. У каждаго изъ нихъ есть своя забота, у кого же нѣтъ, тѣ идутъ съ товарищами провести время. Сначала работа идетъ чинно, потомъ начинаются шутки; парни стараются мѣшать дѣвушкамъ работать, эти бьютъ ихъ по рукамъ веретенами, гребнями и чѣмъ попадется. Разсказываютъ сказки, поютъ пѣсни. Иной парубчина хватитъ на скрипкѣ горлицу или метелицу, и начинается пляска. Въ то время, какъ вечерницы и досвѣтки представляются учрежденіями постоянными и правильными, грище является собраніемъ импровизованнымъ, въ родѣ пикника. Точно такъ же избирается домъ, нанимается музыка, и припасается угощеніе. На грище идутъ собственно веселиться, потому что дѣлается это во время праздниковъ.

Въ Воронежской губерніи вечерницы устраиваются молодежью обоего пола, преимущественно въ осенніе вечера, въ хатѣ одинокой старухи. Дѣвушки являются съ работой и съѣстными припасами, въ числѣ которыхъ курица и яйца составляютъ необходимую принадлежность; парни приходятъ съ балалайками, скрипками и гармониками. Сначала время идетъ въ разговорахъ и остротахъ, потомъ слѣдуютъ пѣсни съ музыкой и пляскою, наконецъ — приготовленіе ужина и самый ужинъ.

Великорусскія посидѣлки очень сходны съ малорусскими вечерницами. Чтобы не вдаваться въ утомительныя подробности и не повторяться, ограничимся описаніемъ вечеринки или пирища въ сѣверной Россіи. Пирище устраивается въ межговѣнье (т.-е. не въ посты), отъ Покрова до Филипповскаго поста и отъ Рождества Христова до Великаго поста, въ домахъ, принадлежащихъ одинокимъ старухамъ или бѣднымъ поселянамъ, за небольшую плату. Люди зажиточные не допускаютъ устройства вечеринокъ въ своихъ домахъ, изъ опасенія подвергнуть ихъ вліянію нечистой силы на три года.

Вечеринки бываютъ обыкновенно по вторникамъ и воскресеньямъ, и въ понедѣльникъ и въ среду тогда, когда въ эти дни случится праздникъ. Расходы на вечеринку уплачиваются парнями сообща или однимъ молодцомъ. Дѣвушки являются съ прялками. Въ видѣ дозора приходятъ матери, а вслѣдъ съ ними и старухи-бабушки, каждая съ своей работой. Старушки усаживаются въ печномъ углу, а дѣвушки по лавкамъ. Вечерницы начинаются въ 6 часовъ пополудни, а кончаются въ 12, 1 или 3 часа утра. Изба освѣщена лучиной, иногда свѣчами, которыя становятся на грядахъ въ видѣ люстръ. Парни обыкновенно входятъ толпой. Дѣвушки конфузятся, но не надолго; онѣ начинаютъ пѣть пѣсни, молодцы дружно подхватываютъ, и раздается веселый, стройный хоръ. Парни — охотники пошутить, порвать нитку, кинуть веретено въ уголъ, затушить свѣчку; но старухи этихъ шутокъ не любятъ, разсердятся, пошумятъ, и порядокъ скоро возстановляется. На вечеринкахъ дѣвушки ходятъ съ молодцами попарно, играютъ въ сосѣди, въ веревку, поютъ веселыя пѣсни или импровизируютъ шутливыя двустишія.

Въ восточной, средней и западной Россіи посидѣлки не представляютъ крупныхъ отличій отъ сѣверно-русскихъ пирищъ.

У южныхъ славянъ также встрѣчаются вечерницы. У болгаръ лѣтомъ бываютъ гулянья за околицей села; осенью и зимой, начиная съ 21-го ноября, въ Болгаріи бываютъ «седѣнки», т.-е. посидѣлки. Дѣвушки и замужнія женщины собираются въ одной избѣ для общей работы и общаго веселья. Впрочемъ, «момицы» (замужнія женщины) рѣдко посѣщаютъ сидянки. Обыкновенно, сидянки представляютъ собраніе 4—8 момъ (дѣвицъ) и одинаковаго числа ергеней (парней). За каждой дѣвушкой слѣдуетъ мать, тетка или какая-нибудь другая родственница. На сидянкахъ момы прядутъ, распѣвая пѣсни, а ергени забавляютъ ихъ и смѣшатъ пѣснями.

Повсемѣстно на вечерницахъ поютъ пѣсни. Вечерничныя пѣсни многочислены и разнообразны. Въ нихъ нѣтъ такихъ чертъ, которыя давали бы поводъ выдѣлить ихъ въ самостоятельный пѣсенный отдѣлъ. Вечерничныя пѣсни вполнѣ бытовыя; нѣтъ въ нихъ ни религіозно-миѳическихъ ни историческихъ мотивовъ. Содержаніе, большей частью, неважное, — небольшія сценки изъ семейной жизни, выраженіе любовныхъ желаній, безобидныя шутки и т. п.

Изъ вечерничныхъ пѣсенъ наибольшій бытовой интересъ представляютъ пѣсни шутливыя; къ тому же пѣсни послѣдняго разряда не лишены художественнаго достоинства. Любопытнѣе всего, между великорусскими и малорусскими шутливыми вечерничными пѣснями обнаруживается большое сходство. Ограничимся однимъ примѣромъ. На далекой юго-западной окрайнѣ русской земли, въ Холмской Руси, во время уличныхъ игръ, преимущественно во время «кривого танця», дѣвушки поютъ пѣсни, въ которой дѣвичьей красотѣ противопоставляется парубоцкое безобразіе. Между прочимъ, поютъ:

Ой, диво дивное, диво!
Пошли дивоньки на жниво;
Жнутъ дивоньки жито, пшеницю,
А парубоньки куколь, митлыцю.
Чого дивоньки красныя?
Бо йдять пироги мясные,
Масломъ поливаютъ,
Перцемъ посыпаютъ.
А парубоньки блидныи,
Бо йдятъ пироги пистныи,
Золою (щелокомъ) поливаютъ
И попеломъ посыпаютъ.

Въ Переяславскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи во время «кривого танця» дѣвушки поютъ подобную пѣсню:

Дивоцькая краса —
Якъ литняя роса,
Въ меду ся купала,
Въ меду выгравала.
Помалу ступайте,
Пылу не збивайте,
Шматя не валяйте.
На дивонькахъ шматя —
То шовкъ та китайка,
На парубочкахъ краса
Якъ зимняя роса,
Въ смоли ся купала,
Въ дегти выгравала.
Кармазинова крайка.
А на парубкахъ шматя —
То михъ та ряднина,
Зъ заткала шапки,
Зъ клочья пояснина.

Подобнаго рода шутливыя пѣсни встрѣчаются въ Великой и Малой Россіи на свадьбахъ, при чемъ подруги невѣсты насмѣшки направляютъ на родныхъ и пріятелей жениха, преимущественно на свата.

Въ Тверской губерніи дѣвушки на вечерницахъ на приведенный мотивъ поютъ:

Пряльюшки, попрядальюшки!
А что же вамъ, пряльюшки,
Прясть-то будетъ?
Старымъ старушкамъ — охлопочковъ,
Молодымъ молодушкамъ — чесанный ленъ,
Краснымъ дѣвушкамъ — бумажкы куделя,
Молодцамъ щегольцамъ — омяльица.
Пряльюшки, попрядальюшки!
Что же вамъ, пряльюшки,
Ѣсть-то будетъ?
Старымъ старушкамъ — хлѣбъ да вода,
Молодымъ молодушкамъ — хмель да сыта,
Краснымъ дѣвушкамъ — колачики,
Молодцамъ-то щегольцамъ — дурынды[1]) кусокъ.
Пряльюшки, попрядальюшки!
А гдѣ же вамъ, пряльюшки,
Спать-то будетъ?
Старымъ старушкамъ — на печи въ углу,
Молодымъ молодушкамъ — на войлочкѣ,
Краснымъ дѣвушкамъ — на перинѣ пуховой,
Молодцамъ-то щегольцамъ — со свиньями въ хлѣву.
Пряльюшки, попрядальюшки!
Чѣмъ-то васъ, пряльюшки,
Будетъ-то будить?
Молодцовъ-то щегольцевъ — полѣномъ по пятамъ,
Красныя дѣвушки, пусть онѣ спятъ;
Въ люди то выйдутъ — намаются,
Всякой-то заботы напріймаются.

[1]) Выбоина изъ коноплянаго масла.

Въ Архангельской губерніи дѣвушки на бесѣдахъ иногда импровизируютъ двустишія, въ которыхъ высказываютъ свое мнѣніе о томъ или другомъ односельчанинѣ. Напримѣръ:

Александру — палка: Жена его бахвалка.

Смыслъ понятенъ. Александръ долженъ бить палкой свою жену за хвастовство.

Алексѣю — дуга: Жена его слуга.

т.-е. такая послушная, что хоть запрягай ее въ телѣгу, и она повезетъ,

Семену-то доска: Жена его баска.

т.-е. срисовать портретъ красавицы и любоваться имъ.

Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ буковинскихъ русиновъ или высказывается сожалѣніе, что «молоди парубочки не носятъ горилочки», на вечерницы, или выражается желаніе дѣвушекъ, чтобы парубки подолѣе сидѣли на вечерницахъ. Въ одной малорусской пѣснѣ родители порицаютъ сына за посѣщеніе вечерницъ, повидимому, на томъ основаніи, что посѣщеніе вечерницъ отвлекаетъ парубка отъ дѣла. Въ южно-русскихъ и буковинскихъ пѣсняхъ находятся указанія, что мать не пускаетъ дочь на улицу или на вечерницы. Простонародный пѣсенный мотивъ непусканія дѣвушки на вечерницы и вызываемыя тѣмъ сѣтованія послѣдней на мать вошли, между прочимъ, въ «Кобзарь» Шевченко. Встрѣчаются малорусскія пѣсни съ такого рода содержаніемъ: замужняя женщина не можетъ заснуть въ лунную ночь, когда по улицамъ разносятся громкія пѣсни парубковъ и дивчатъ. Она проситъ мужа отпустить ее на вечерницы. Вся ея родня находитъ невозможнымъ исполнить эту просьбу, считая посѣщеніе вечерницъ замужней женщиной дѣломъ неприличнымъ, и мужъ даже грозитъ женѣ нагайкой. *Сумцовъ.*

Русалки по понятіямъ украинскаго народа.

Сообразно съ понятіемъ украинскаго народа о русалкахъ, нужно различать три вида и поколѣнія ихъ. Во-первыхъ — первобытныя, коренныя русалки, представляемыя въ видѣ взрослыхъ блѣднолицыхъ дѣвчатъ, съ русыми длинными, распущенными волосами. Родина ихъ, главное мѣстопребываніе — Днѣпръ; отсюда онѣ расходятся по другимъ рѣкамъ, озерамъ и самороднымъ криницамъ и тамъ пріумножаютъ свой родъ изъ рода людского — умершими безъ крещенія дѣтьми и утопленницами. Дѣвчата, кинувшіяся въ воду съ какого-либо горя, подхватывались русалками и обращались въ нихъ, и только тѣмъ и отличаются, что у нихъ зеленые волосы. Что касается

до умершихъ безъ крещенія дѣтей, то русалки любятъ красть ихъ изъ земли и уносить ихъ въ свои воды; онѣ крадутъ ихъ даже изъ-подъ порога, гдѣ полагается самое надежное имъ убѣжище отъ всякой нечеловѣческой силы, какъ по собственному свойству порога, такъ и по дѣйствію переступанія, которое и новорожденныхъ животныхъ предохраняетъ отъ нечистой силы. До семи лѣтъ, говорятъ, есть надежда спасти душу дѣтей, украденныхъ русалками, — особливо ежегодными панихидами въ первый понедѣльникъ петровокъ. Но если въ семь лѣтъ они не будутъ искуплены молитвами, тогда уже навсегда остаются въ русалкахъ. Эта порода русалокъ представляется въ видѣ дѣвочекъ-семилѣтокъ, съ русыми кудрявыми волосами, въ бѣлой сорочкѣ, безъ пояса. Въ разныхъ мѣстахъ южной Руси онѣ зовутся мавками (т.-е. навками, мертвушами); но здѣсь, на Украйнѣ, это названіе неизвѣстно. Рожденныя на землѣ русалочки, выходя изъ воды во всю Зеленую недѣлю, радостно бѣгаютъ по полямъ, особенно по житамъ, трепля въ ладони и приговаривая:

Ухъ, ухъ, соломяный духъ,
Мене мати породила,
Нехрещену положила.

А тѣ изъ нихъ, которыя своими невѣнчанными матерями были потоплены въ водѣ, тѣ любятъ болѣе сидѣть и колыхаться на березкахъ, приговаривая:

Новыи бильця
Новое барыльце!
Мене мати не колыхала
Да воду пускала.

Тѣ же поговорки у русалочекъ, когда онѣ купаются или когда онѣ щекочутъ до смерти попавшихся имъ дѣвчатъ и молодицъ, которыхъ онѣ вообще не любятъ, несмотря, что тѣ для нихъ такъ усердно ломятъ и кладутъ на окнахъ горячій хлѣбъ, дабы онѣ питались его паромъ; что тѣ для нихъ (въ сѣверной сторонѣ) вѣшаютъ на деревьяхъ и наметки, и полотенца на сорочки, и пряжу; дѣвчата вѣшаютъ имъ на березкахъ вѣнки. Лоскотъ (т.-е. щекотка) есть единственный способъ, которымъ всѣ русалки, большія и малыя, наносятъ смерть человѣку; и для того онѣ пристаютъ къ людямъ подъ разными предлогами:

Ой, бѣжить, бѣжить мила дѣвчинка,
А за нею да русалочка.
Ты послухай мене, красна панночко!
Загадаю тебѣ три загадочкы;
Якъ угадаешь, до батька пущу:
Коли жъ не вгадаешь, до себѣ возьму,
Ой, що росте безъ кореня,
А що бѣжитъ безъ повода,
А що цвѣте да безъ цвѣту?
Камень росте безъ кореня,
Вода бѣжитъ безъ повода,
Папороть цвѣте безъ цвѣту!
Дѣвчинка загадочкы не вгадала.
Русалочка дѣвчинку залоскотала.

На украинскихъ степяхъ дѣвчата уже съ перваго дня Зеленой недѣли выходятъ изъ своего села или хутора не иначе, какъ имѣя при себѣ траву полынь, на тотъ случай, что можетъ выбѣжать ру-

салка изъ-за степной могилы или изъ озерной долины, и станетъ спрашивать: «а що мати варила?» и тогда надо отвѣчать: «борщъ да полынь!» и надо при этомъ показать ей полынь. Подобно тому, если итти купаться на зеленыхъ святкахъ (разумѣется — не въ Сухій четвергъ), то надо сперва бросить въ воду нелюбимую русалками траву, говоря: «отъ вамъ полынь!» и будетъ изъ воды сказано: «сама ты изгынь!» и можно тогда купаться безбоязненно. А если кинуть мяту, говоря: «отъ вамъ мята!» тогда будетъ въ отвѣтъ: «ты жъ наша мати!» или: «тутъ тобѣ и хата!» а если сказать: «отъ вамъ петрушка!» и бросить ее въ воду, тогда русалки воскликнутъ: «ты же наша душка!» и начнутъ щекотать. Русалки болѣе всякаго зелья любятъ петрушку; и по этой примѣтѣ я полагаю, что извѣстная игра въ дра́бушки есть представленіе русалокъ, которыя вообще очень любятъ плясать и кружиться; и для того въ продолженіе всѣхъ петровокъ выходятъ онѣ изъ воды на берегъ по ночамъ и особенно при свѣтѣ мѣсяца. Игра въ дра́бушки или въ дра́ба состоитъ въ томъ, что двѣ дѣвушки, ставъ другъ къ другу лицомъ, схватываются протянутыми впередъ руками и, соступясь ногами близко, вертятся скоро, приговаривая на распѣвъ:

Дро́бъ, дро́бъ, соли дро́бъ;
На камени бочка.
Петрова дочка
Не рабо́тничка.
Выгнала бычка
За воро́течка.

Пасись, пасись, бычку,
Поки спряду мычку!
Бычокъ не пасеться,
Мычка не прядеться
Ставъ бычокъ па̀стись,
Стала мычка прястись.

Потомъ онѣ вертятся скоро въ другую сторону, чтобы развертѣться, приговаривая:

Дробу, дробу, дробушечкы
Наѣвшися перушечкы,

Гиля, гиля до воды,
Наѣвшися лободы!

Говорятъ, что русалки иногда успѣваютъ заманить къ себѣ овчаря съ сопѣлкою и заставляютъ его играть себѣ всю ночь; и тамъ, гдѣ онъ притопывалъ имъ ногою въ ладъ, остается ямка въ землѣ, и даже на камнѣ, если онъ сидитъ на немъ, играючи на сопѣлкѣ; а тамъ на землѣ, гдѣ плясали и кружились русалки, еще лучше трава зеленѣетъ. За Десною извѣстна троицкая пѣсенка сложенія украинскаго:

Русалочкы, земляночкы,
На дубъ лѣзли, коры грызли,
Звалилися, забилися.

Ясно, что здѣсь идетъ рѣчь о русалочкахъ-мавкахъ, рожденныхъ на землѣ, на сухомъ дубѣ, который весьма могъ и къ нимъ относиться. *Максимовичъ.*

Вѣдьма по представленіямъ малорусскаго народа.

Вотъ портретъ старой вѣдьмы: пожилая женщина, чаще старуха, высокая, тонкая, худая, костлявая, нѣсколько сгорбленная, растрепанные или выбившіеся изъ-подъ платка волосы, большіе, съ сердитымъ выраженіемъ глаза, желтые или сѣрые, косой изъ-подъ насупленныхъ бровей взглядъ, всегда въ бокъ, а иногда прямо въ глаза другому человѣку; въ зрачкахъ «мальчики» головою внизъ, ротъ широкій, губы тонкія, подбородокъ выдавшійся впередъ, руки длинныя. Вѣдьма ночью, когда всѣ домашніе уснутъ, садится на лопату, которой сажаютъ хлѣбы въ печь, вылетаетъ на ней въ трубу и летитъ въ Кіевъ, на Лысую гору, куда собираются всѣ вѣдьмы и черти на такъ называемый шабашъ. Шабашъ бываетъ подъ большіе праздники, въ особенности же «пидъ Велыкдень и Здвиженя»; начинается онъ, «якъ люди обиснуть», и продолжается «до первыхъ пивнивъ». Извѣстно, что всѣ вѣдьмы и черти стараются до первыхъ пивнивъ убраться домой, во-свояси, иначе имъ уже не придется попасть туда до слѣдующей ночи. На шабашѣ происходитъ пляска, черти любезничаютъ съ вѣдьмами.

Говорятъ, что вѣдьма, желая отправиться на промыселъ, снимаетъ рубашку, намазываетъ все свое тѣло какою-то мазью, ставитъ послѣ этого въ печку горшокъ съ какою-то жидкостью, разогрѣваетъ ее, и когда жидкость начинаетъ испаряться, въ то время вѣдьма схватываетъ кочергу или помело, садится верхомъ какъ на лошадь, и улетаетъ вмѣстѣ съ парами жидкости въ трубу. Въ это время вѣдьма обладаетъ способностью перекидываться на собакъ, кошекъ и птицъ, летать подъ облака, давать по своему желанію извѣстное направленіе тучамъ, задерживать дождевыя тучи. Вѣдьмы могутъ снимать съ неба звѣзды и прятать ихъ у себя въ хатѣ или, при своихъ полетахъ на шабашъ, сметать съ неба звѣзды своимъ помеломъ, отчего мы и видимъ иногда массу падающихъ звѣздъ.

По общепринятому мнѣнію, вѣдьмы передъ смертію долго и сильно страдаютъ. Чтобы узнать, отчего вѣдьма передъ смертію страшно мучится, надо взять хомутъ, стать у хатняго порога и посмотрѣть сквозь хомутъ на умирающую,—увидишь, что она со всѣхъ сторонъ окружена бѣсами, которые и мучатъ ее. Дабы избавить вѣдьму отъ продолжительной предсмертной агоніи, надо прорубить надъ нею потолокъ и вынуть изъ него одинъ изъ сволочковъ, или же положить ей подъ голову ножъ: тогда она сейчасъ умретъ. Когда вѣдьма умираетъ, страшно мучится и такъ стонетъ и корчится, что, при видѣ страданій ея, ни у кого не хватаетъ духу оставаться въ хатѣ. Она до тѣхъ поръ не умретъ, пока не просверлятъ дыры въ потолкѣ или, по другимъ, въ стѣнѣ надъ дверью. Послѣ смерти распространяется отъ трупа страшный смрадъ, и трупъ въ тотъ же день разлагается.

Погребаютъ женщинъ, слывшихъ вѣдьмами, по обыкновенному христіанскому обряду, какъ и прочихъ умершихъ естественною смертію крестьянокъ, но иногда хоронятъ ихъ поздно вечеромъ. Это бываетъ тогда, когда родственники умершей, боясь посѣщеній ея изъ могилы, просятъ священника прочитать надъ нею «заклятни молитвы», а потому желаютъ, чтобы было поменьше народа при исполненіи этого обряда.

Если вѣдьма передъ смертію говоритъ домашнимъ, что она будетъ ходить къ нимъ и послѣ смерти, то, чтобы избавиться отъ этихъ ужасныхъ посѣщеній, ее прибиваютъ къ гробу коломъ изъ «квачальной осоки» или, по крайней мѣрѣ, осиновымъ колкомъ прибиваютъ крышку ко гробу. Иные говорятъ, что однѣ родимыя вѣдьмы могутъ вставать изъ могилъ, а вредная дѣятельность ученыхъ вѣдьмъ съ смертію ихъ вполнѣ прекращается; другіе же утверждаютъ, что всѣ вѣдьмы и послѣ смерти могутъ являться въ разныхъ видахъ, хотя вообще умершія вѣдьмы оставляютъ свои могилы рѣже, чѣмъ упыри. Ходятъ умершія души съ длиннымъ серпанкомъ; онъ такъ и волочится по землѣ; ходятъ онѣ дѣтей грызть, пить изъ нихъ кровь, а также хватать тѣхъ дѣтей, которые воруютъ до Спаса изъ чужихъ садовъ яблоки. Чтобы вѣдьма перестала выходить изъ могилы, приглашаютъ священника отслужить заклятый надъ могилой молебенъ, откапываютъ трупъ, переворачиваютъ его лицомъ внизъ и вбиваютъ въ затылокъ осиновый колъ. Та изъ умершихъ вѣдьмъ, которая послѣ смерти не была прибита коломъ и заклята, встаетъ каждую ночь изъ могилы и ходитъ домой, но теперь она уже не можетъ измѣнять своего вида и не ходитъ доить коровъ, а ходитъ въ свою хату «вечеряты». Войдя въ хату, она будитъ кого-нибудь изъ домашнихъ и заставляетъ его давать ей вечерю, и если онъ чѣмъ-либо не угодитъ ей, жестоко бьетъ его. Вѣдьма будитъ и заставляетъ себѣ прислуживать одного и того же изъ домашнихъ, оставляя другихъ въ покоѣ, а когда прислуживающее ей лицо умираетъ, она перестаетъ ходить.

По мнѣнію мѣстныхъ крестьянъ-малороссовъ, существуетъ два вида вѣдьмъ, имѣющихъ своихъ представителей между мужчинами и женщинами: вѣдьмы и вѣдьмачи прирожденные и вѣдьмы и вѣдьмачи ученые. Первымъ таинственная сила вѣдовства дается отъ природы, вторыя пріобрѣтаютъ ее или отъ первыхъ путемъ ученія, или получаютъ ее отъ чертей взамѣнъ своей души. Первые въ своихъ отношеніяхъ къ обыкновеннымъ людямъ проявляютъ нѣкоторыя черты доброжелательства, помогая однимъ въ болѣзняхъ или защищая другихъ отъ злокозненныхъ нападеній своихъ злобныхъ сестеръ—ученыхъ вѣдьмъ. По такому характеру дѣятельности прирожденныхъ вѣдьмъ и вѣдьмачей ихъ часто смѣшиваютъ съ знахарками и знахарями, отъ которыхъ они, однако, существенно отличаются способностію къ превращеніямъ, каковой способности ни знахарки ни знахари не имѣютъ. Притомъ природные вѣдьмачи (вѣдьмуны, вѣдьмаки)

являются начальниками всѣхъ вѣдьмъ и вѣдьмачей ученыхъ своего околотка и называются упырями (опыряками). Хотя, впрочемъ, послѣднее названіе чаще относятъ къ блуждающимъ по ночамъ мертвецамъ, но, при ближайшихъ разспросахъ, оказывается, что эти мертвецы-кровопійцы, большею частію, были при жизни вѣдьмачами или, по крайней мѣрѣ, большими грѣшниками, находились въ сношеніи съ чертями. Ученые вѣдьмы и вѣдьмачи зловреднѣе природныхъ; на ихъ-то счетъ и должно быть отнесено большинство сказаній о разнаго рода козняхъ и напастяхъ, причиняемыхъ вѣдьмами сельскому люду.

Чудесная способность къ превращеніямъ, ночные полеты, умѣнье, какъ говоритъ, народъ, морочить, отводить глаза, страшный даръ господства надъ самой природой, отдающій въ распоряженіе вѣдьмъ и вѣдьмачей грозу, дождь, градъ, бурю и засуху,—качества эти ставятъ вѣдьмъ и вѣдьмачей въ глазахъ народа въ одинъ рядъ съ колдунами и волшебниками. Наконецъ, посмертная дѣятельность, оставленіе могилъ для ночныхъ посѣщеній жилищъ и нападенія на живыхъ людей, преимущественно же на дѣтей, съ цѣлью высасыванія изъ нихъ крови, пожиранія или умерщвленія ихъ, представляютъ вѣдьмъ-упырей близко родственными по дѣятельности, почти тождественными съ разными кровожадными существами—олицетвореніемъ смертоносной язвы или просто смерти.

Такимъ образомъ широкій размахъ народной фантазіи захватилъ въ представленіи о природныхъ и ученыхъ вѣдьмахъ и вѣдьмачахъ оба великія начала жизни: начало добра и начало зла, въ ихъ вѣчно длящейся борьбѣ, и олицетворяетъ идеи дуализма въ изстари излюбленныхъ образахъ, умѣя и въ скромной обстановкѣ сельскаго быта отыскать слѣды ихъ борьбы, при чёмъ, хотя свѣтлое начало обрисовывается слабѣе и блѣднѣе, чѣмъ противоположное ему темное, выступающее обыкновенно рѣзче и ярче, однако и въ этихъ дико звучащихъ для современнаго слуха отголоскахъ старинныхъ вѣрованій мы находимъ въ основѣ вѣчную идеальную правду: торжество свѣта надъ тьмою вездѣ, гдѣ разсказъ не ограничивается сообщеніемъ одного какого-либо эпизода борьбы, а передаетъ весь ея ходъ.

Ивановъ и Чубинскій.

Вѣдьмы, по народнымъ вѣрованіямъ, доятъ по ночамъ чужихъ коровъ; выдаивая коровъ до крови, вѣдьмы тѣмъ самымъ портятъ ихъ; пугаютъ людей, превращаясь въ разныхъ животныхъ: въ собакъ, свиней, сорокъ и различные неодушевленные предметы. Онѣ же снимаютъ съ неба звѣзды (падающія) и прячутъ у себя подъ «покутьемъ» или въ погребахъ. Имъ также извѣстно искусство скрадывать съ неба дождь и росу, которые онѣ уносятъ въ завязанныхъ сосудахъ съ собой и хранятъ въ своихъ домахъ. Онѣ могутъ управлять какъ дождевыми, такъ и градовыми тучами; слѣдовательно, въ ихъ власти задержать

дождь и тѣмъ причинить засуху и голодъ или навести градъ. Имъ приписываютъ также закрутки, или заломы на нивахъ, которыя онѣ закручиваютъ съ двоякою цѣлью: съ одной стороны, чтобы причинить смерть тому хозяину нивы, который вздумалъ бы самолично, безъ помощи знахаря, вырвать заломъ, съ другой стороны, чтобы такимъ способомъ перетянуть къ себѣ чужое хлѣбное зерно. Вѣдьмы, какъ и упыри, сосутъ кровь у людей, въ особенности у парней и дѣвушекъ, и тѣмъ причиняютъ имъ смерть. Моровое повѣтріе и скотскіе падежи также приписываются вѣдьмамъ.

Вѣрованіе въ вѣдьмъ настолько распространено въ Малороссіи, что въ каждомъ селѣ вамъ укажутъ на одну или нѣсколько вѣдьмъ. Въ этомъ случаѣ не представляютъ исключенія даже большіе университетскіе города, какъ Кіевъ и Харьковъ, въ которыхъ жители предмѣстій имѣютъ своихъ вѣдьмъ. Вѣдьмы кіевскія извѣстны всей Россіи.

За вѣдьмъ признаютъ преимущественно женщинъ глубокой старости. Народу именно кажется подозрительной долговѣчность такихъ женщинъ, т.-е. онъ думаетъ, что свой вѣкъ вѣдьма можетъ продлить посредствомъ чародѣйства. Иногда, впрочемъ, въ число вѣдьмъ засчитываютъ и молодыхъ замужнихъ женщинъ или вдовъ, но никогда, кажется, вѣдьмой не признаютъ дѣвушку.

Крестьяне дѣлятъ вѣдьмъ, по ихъ происхожденію, на двѣ категоріи: родимыхъ и ученыхъ; изъ нихъ прирожденныя вѣдьмы не такъ вредны, какъ наученныя. Внѣшнимъ признакомъ, по которому можно узнать вѣдьму, служитъ небольшой хвостъ. Но этотъ признакъ недоступенъ для людей, такъ какъ вѣдьмы старательно прячутъ его ото всѣхъ. Если при изслѣдованіи у какой-либо женщины, обвиняемой въ «видіомствѣ», не окажется хвоста, то ее въ такомъ случаѣ признаютъ за ученую вѣдьму, потому что хвостъ—необходимая принадлежность собственно прирожденной вѣдьмы.

Вѣдьмы стоятъ въ тѣсной связи съ чортомъ и при его помощи совершаютъ всѣ тѣ дѣйствія, какихъ обыкновенный человѣкъ сдѣлать не въ состояніи. По нѣкоторымъ вѣрованіямъ, чтобы сдѣлаться вѣдьмой, женщинѣ необходимо отречься отъ Бога и записать свою душу чорту. Чортъ, въ свою очередь, обязывается исполнять малѣйшія требованія записавшейся ему женщины. Слетаясь на Лысую гору (по другимъ сказаніямъ—на Бабину или Осіянську), вѣдьмы входятъ въ ближайшую связь съ чертями. Есть, впрочемъ, и другія средства, помимо непосредственнаго сношенія съ чортомъ, сдѣлаться вѣдьмой. Эти секреты извѣстны прирожденнымъ вѣдьмамъ, которыя передаютъ ихъ своимъ ученицамъ. Въ однихъ мѣстахъ женщина, которая хочетъ сдѣлаться вѣдьмой, должна въ полночь на Юрія пойти на коровій бродъ, набрать въ ротъ воды со слѣда коровы-первенца, покропить этой водой *фигуру* на распутьи, снять съ себя всю одежду и, развѣсивъ рубашку на фигурѣ, затѣмъ лѣзть на фигуру вверхъ ногами. Въ другихъ мѣстахъ вѣдьма, взявъ кусокъ

своего сыра, отправляется вмѣстѣ съ ученицей къ рѣкѣ. Когда вѣдьма раздробитъ сыръ и броситъ его въ воду, тотчасъ сбѣгаются всевозможные гады и быстро расхватываютъ этотъ сыръ. Вѣдьма, указавъ на это своей ученицѣ, говоритъ: «Такъ растерзаютъ черти твою душу на томъ свѣтѣ за ремесло вѣдьмы». Если ученица не устрашится и примется учиться, тогда вѣдьма начинаетъ давать ей уроки колдовства. Хотя изъ приведенныхъ двухъ обрядовъ не видно, чтобы желающая научиться «видіомству» прямо сносилась съ чертями и отъ нихъ получала свои знанія, но практикуемое при этомъ поруганіе креста (фигуры), собираніе всякаго рода гадовъ, какъ извѣстно, принадлежащихъ къ излюбленнымъ тварямъ чорта, а главное,— слова учительницы, обращенныя къ ученицѣ, что она, дѣлаясь вѣдьмой, тѣмъ самымъ передаетъ свою душу чертямъ,—все это указываетъ на участіе въ дѣйствіяхъ вѣдьмъ дьявольской силы.

Самыми усердными послѣдователями чорта являются женщины. Мужчины рѣдко бываютъ вѣдунами, да и то имъ принадлежитъ въ этомъ случаѣ особеннаго рода роль; они являются, такъ сказать, примирителями двухъ началъ—гуманнаго и дьявольскаго. Вѣдьмакъ, по народному вѣрованію, становится во главѣ вѣдьмъ; ему извѣстны всѣ вѣдьмы и чаровницы; самъ онъ ничего дурного не дѣлаетъ людямъ, а напротивъ, старается быть имъ полезнымъ, насколько это возможно въ его положеніи: распоряжаясь вѣдьмами, удерживаетъ вѣдьмъ отъ причиненія людямъ большого зла. На Лысой горѣ онъ предсѣдательствуетъ въ годичномъ засѣданіи вѣдьмъ и опредѣляетъ, что и какъ должны дѣлать вѣдьмы въ теченіе всего годового періода ихъ дѣятельности. Вѣдьмакъ — это человѣкъ, который родился отъ вѣдьмы. Онъ всегда представлялся старикомъ съ длинной сѣдой бородой и длинными волосами на головѣ. Длинные волосы на головѣ—необходимая принадлежность вѣдьмака, потому что они скрываютъ присущій ему рогъ.

Другая спеціальность, приписываемая также мужчинамъ, это знахарство. Знахари, впрочемъ, не имѣютъ дѣла съ нечистой силой и дѣлаютъ людямъ преимущественно добро: вылѣчиваютъ наговорами отъ болѣзней, предсказываютъ будущее, отвращаютъ всякія бѣдствія, причиняемыя людямъ вѣдьмами и т. п.

Кромѣ безвреднаго знахарства мужчины также занимаются чародѣйствомъ (чарівники, чаклуны), которое уже не можетъ обойтись безъ участія нечистой силы. Но, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, число мужчинъ-чародѣевъ совершенно ничтожно по сравненію съ числомъ женщинъ, посвящающихъ себя этому занятію.

Теперь естественно возникаетъ вопросъ: есть ли существенная разница между чаровницами и собственно вѣдьмами?

Чаровницы, такъ же какъ и вѣдьмы, по своему происхожденію, дѣлятся на двѣ категоріи: однѣ—урожденныя, другія—научившіяся своему искусству отъ первыхъ. Прирожденная чаровница дѣлаетъ добро или зло людямъ, смотря по тому, подъ какой планетой она

родилась. Наученная — та, которая, заключивъ союзъ съ чортомъ, обрекается дѣлать людямъ только зло. Такимъ образомъ по своему происхожденію и дѣленію на категоріи чаровницы почти не разнятся отъ вѣдьмъ. Но дѣятельность ихъ нѣсколько отлична. Чаровница разнымъ зельемъ и приговорами можетъ мѣшать во всѣхъ дѣлахъ человѣку, можетъ разстроить семейное счастье, заставить того или другого человѣка полюбить нелюбимую имъ особу, можетъ сдѣлать что-либо вредное для здоровья человѣка или причинить ему смерть, можетъ, наоборотъ, сдѣлать такъ, чтобы кому-либо была во всемъ удача, можетъ обратить человѣка въ волка и т. п. Притомъ для чаровницы не обязательно дѣйствовать такъ или иначе; она дѣлаетъ, что ей хочется или за что получаетъ выгоды; она дѣйствуетъ, какъ наемница, изъ-за денегъ. Дѣятельность же вѣдьмъ носитъ болѣе опредѣленный характеръ, заранѣе очерченный; дѣятельность вѣдьмъ, можно сказать, невольная, такъ какъ она заранѣе опредѣляется на весь годъ. Въ этомъ именно и заключается существенная разница между вѣдьмами и чаровницами. Впрочемъ, надобно сказать, что сфера дѣятельности вѣдьмъ то расширяется, то суживается, смотря по мѣстности и по мѣрѣ того, какъ испаряются въ народѣ суевѣрія. Тогда какъ въ иныхъ мѣстахъ южной Руси вѣдьмы умѣютъ дѣлать очень многое, въ другихъ за ними оставляется лишь умѣнье доить чужихъ коровъ, превращаться въ разные предметы и летать на Лысую гору. Уже одно обстоятельство показываетъ, что въ теченіе времени происходили измѣненія въ области вѣрованій о дѣятельности вѣдьмъ.

Въ старину сфера знанія вѣдьмъ значительно была расширена противъ нынѣшняго. На это указываютъ самыя имена: вѣдунъ, или видьмакъ, видьмачъ, вѣдьма и вѣщица (въ сѣверныхъ губерніяхъ и у сербовъ) или вѣщая жонка (въ старину). Въ широкомъ понятіи *вѣдать* и *вѣщать* совмѣщались всѣ отправленія чародѣйства. О болѣе широкомъ значеніи слова *вѣдать* и, слѣдовательно, о тождествѣ съ чародѣйствомъ можетъ, напримѣръ, свидѣтельствовать слѣдующая формула присяги, по которой клялись служилые люди въ 1598 году въ вѣрности избранному на царство Борису Годунову: «Ни въ платьѣ, ни въ иномъ ни въ чемъ лиха никакова не учинити и не испортити, ни зелья лихово, ни коренья не давати и не велѣти давати... да и людей своихъ съ *вѣдомствомъ* не посылати и *вѣдуновъ* не добывати на государское лихо... и на слѣду всякимъ вѣдомскимъ мечтаньемъ не испортити и *вѣдомствомъ* по вѣтру никакого лиха не насилати... а хто такое, вѣдовское дѣло, похочетъ мыслити или дѣлати и того поимати». Очевидно, что здѣсь не полагается никакой разницы между чародѣйствомъ и вѣдовствомъ.

Изложенныя раньше вѣрованія относительно вѣдьмъ показываютъ, что въ представленіи народа вѣдьмы являются врагами мирныхъ людей: онѣ нарушаютъ ихъ покой, причиняютъ разстройство здоровья, ущербъ имуществу, иногда даже посягаютъ на жизнь

людей и производятъ общественныя бѣдствія, каковы: моръ и голодъ. Для совершенія этихъ дѣяній онѣ входятъ въ богопротивную связь съ чертями.

Признавая дѣятельность вѣдьмъ столь вредною для человѣческаго общества и, слѣдовательно, столь преступною, народъ издавна выискивалъ средства для того, чтобы узнавать виновницъ, предупреждать и пресѣкать ихъ преступныя дѣянія. Естественно, что въ старину, когда народъ былъ грубѣе и когда его понятія не расходились съ понятіями высшихъ сословій, и онъ принималъ большое участіе въ отправленіи правосудія, средства для испытанія вѣдьмъ и для ихъ наказанія были разнообразнѣе, гораздо реальнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ жесточе, нежели впослѣдствіи.

Въ настоящее время, для того чтобы узнать, кто изъ женщинъ въ селѣ занимается «видіомствомъ», крестьяне оставляютъ на великопостныя заговѣны немного сыра отъ пирога и съ нимъ идутъ въ церковь въ день Пасхи. Кто это сдѣлаетъ, тотъ увидитъ всѣхъ вѣдьмъ, стоящихъ въ церкви, съ доенками на головѣ. Другіе, съ цѣлью получить возможность увидѣть вѣдьмъ, портящихъ коровъ, подлазятъ подъ новую борону или подъ новыя ворота. Стараются также имѣть собаку-первака, которая можетъ видѣть вѣдьму, когда та доитъ корову, и можетъ разорвать ее, если только вѣдьма не успѣетъ превратиться въ птицу и улетѣть.

Вообще считается крайне труднымъ дѣломъ поймать вѣдьму на мѣстѣ преступленія, такъ какъ она въ такихъ случаяхъ старается превратиться въ какое-либо животное или вещь. Но инымъ удавалось, говорятъ, схватить то животное или тотъ предметъ, напр. колесо или иглу, или клубокъ съ нитками, въ которые превращались вѣдьмы; у пойманнаго животнаго отрубали когти, а колесо или клубокъ втыкали на колъ и вѣшали на воротахъ. Затѣмъ уже поутру находили посаженной на колъ женщину, или же оказывалось, что какая-либо женщина на селѣ, неизвѣстно почему вдругъ лишалась пальцевъ и т. п. Хорошимъ средствомъ поймать преступницу считается — взять изъ новыхъ, еще неношенныхъ штановъ очкуръ (гашникъ), освятить его вмѣстѣ съ пасхой, и съ нимъ караулить вѣдьму въ сараѣ. Какъ только вѣдьма придетъ, нужно ей набросить петлю на шею и держать крѣпко, несмотря на то, что она будетъ превращаться и въ собаку, и въ волка, и въ лягушку и т. п.

Если, несмотря на всѣ мѣры подобнаго рода, вѣдьма все-таки производитъ пакости, въ такомъ случаѣ для ея открытія обращаются къ пособію знахаря, и тотъ уже указываетъ виновницу.

Съ женщинами, заподозрѣнными въ видіомствѣ, потерпѣвшіе обыкновенно расправляются самолично, посредствомъ побоевъ. При этомъ, конечно, удостовѣряются, имѣетъ ли подозрѣваемая необходимый признакъ—хвостъ. «Случалось», говоритъ Маркевичъ, «поймать иную вѣдьму; коль скоро начиналась съ нею расправа, необходимая въ такихъ случаяхъ, оказывалось, что она не вѣдьма, а самозванка».

Въ прежнее время женщинъ, заподозрѣнныхъ въ причиненіи засухи, подвергали испытанію водою. Водѣ народомъ приписывается, кромѣ плодородящей и цѣлебной силы, еще очистительная и вѣщая сила. Напр., для предотвращенія зловредной способности умершихъ вѣдьмъ и колдуновъ отводить тучи и тѣмъ причинять засуху, вырываются ихъ трупы изъ земли и бросаются въ воду или же водой поливаются ихъ могилы. Въ силу такого важнаго значенія воды, она употреблялась также для испытанія вѣдьмъ.

Легкій способъ испытанія вѣдьмъ водою состоялъ въ томъ, что подозрѣваемыхъ въ причиненіи засухи заставляли носить воду изъ рѣки или пруда черезъ поля и поливать ею фигуру, или крестъ, выставляемый обыкновенно близъ села или на раздорожьи. Которая изъ женщинъ выносила это испытаніе, та избавлялась отъ подозрѣнія въ видіомствѣ.

Болѣе труднымъ и вмѣстѣ самымъ ходячимъ способомъ испытанія водою считалось топленіе женщинъ въ водѣ, такъ какъ признавалось, что вѣдьмы не тонутъ въ водѣ, хотя бы онѣ были связаны по рукамъ и ногамъ. Процессъ испытанія вѣдьмъ водою въ Малороссіи состоялъ въ томъ, что во время бездождія жители собирали всѣхъ женщинъ и приводили ихъ къ рѣкѣ или пруду. Приведенныхъ къ водѣ скручивали веревками, иногда даже навязывали имъ на шею камень, и бросали въ глубокое мѣсто; невинныхъ, которыя тотчасъ же начинали тонуть, вытягивали изъ воды, съ помощью веревокъ, а тѣхъ, которыя держались поверхъ воды, признавъ за вѣдьмъ, обрекали на смерть. Обычай испытанія вѣдьмъ водою сохранялся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Женщинъ, обвиняемыхъ въ причиненіи засухи и голода, мора и другихъ подобныхъ бѣдствій, обрекали на смерть и сжигали или топили ихъ, или же закапывали живыми въ землю.

Ефименко.

Народныя представленія малороссовъ о чертяхъ.

Черти происходятъ другъ отъ друга. Они подобно людямъ, родятся, женятся, но не умираютъ. Нѣкоторымъ людямъ даже приходилось присутствовать при свадьбѣ чорта.

Однажды самый старый чортъ вздумалъ сравняться съ Богомъ. Для этого онъ велѣлъ выстроить чертямъ высокую башню. Когда была окончена башня, всѣ черти взобрались туда, чтобы полюбоваться своими работами, но Богъ разрушилъ это зданіе, и черти летѣли оттуда сорокъ дней и сорокъ ночей, и который куда попалъ, тамъ находится и до настоящаго времени, получивъ отъ того мѣста, въ которое упалъ, свое названіе: который упалъ въ воду—«водянык», въ лѣсъ—«лісовык», въ болото—«болотяныкъ», на поле—«полевой», въ очеретъ—«очеретяныкъ» и т. д.

Чорта народъ представляетъ въ видѣ человѣка небольшого роста, чернаго, ноги у него собачьи или куриныя, хвостъ короткій, морда широкая, носъ длинный, глаза,—какъ раскаленные уголья, волосы черные, длинные и жесткіе, руки длинныя, съ длинными когтями, рога бараньи или козьи, одежда на немъ нѣмецкая, шляпа высокая.

Видѣвшій чертей замѣчаетъ у нихъ рога на головѣ, тщательно закрываемые круглою шляпой съ широкими полями, собачью морду, хвостъ крючкомъ, когти на рукахъ и ногахъ. Одежда ихъ: коротенькая курточка, узкіе панталоны. Чортъ любитъ иногда принимать на себя видъ заблудившагося козленка; онъ является проѣзжему и такъ жалобно блеетъ, что путникъ беретъ его къ себѣ въ повозку и, лаская, говоритъ: «козочка», «козочка», а онъ повторяетъ: «козочка», «козочка». Путникъ въ испугѣ бросаетъ его на землю, послѣ чего мнимый козленокъ исчезаетъ. Чортъ любитъ искушать людей и дѣлать имъ вредъ.

Человѣкъ, сгоравшій желаніемъ разбогатѣть, рѣшился погубить свою душу и пошелъ въ полночь на перекрестную дорогу, тамъ троекратнымъ свистомъ вызвалъ чорта. Сатана не замедлилъ явиться къ нему и спрашиваетъ его:

— Чего ты хочешь?

— Богатства.

— Хорошо. Запиши же мнѣ свою душу.

Человѣкъ въ испугѣ отговаривается неимѣніемъ чернилъ; но чортъ, подавъ ему ножикъ, посовѣтовалъ разрѣзать мизинный палецъ руки и на поданной бумажкѣ принудилъ его записать собственною кровью свою душу. По возвращеніи домой, онъ видитъ у себя дома несмѣтное богатство и живетъ, не боясь растратить его.

Черти выходятъ изъ своего логовища и нашептываютъ человѣку, которому вздумаютъ повредить, чтобы онъ шелъ воровать, пьянствовать, разбивать, разрисовывая въ его воображеніи все это такими красками, настоящую же жизнь—такою скверною, безобразною, или зовутъ его, особенно пьянаго, въ такое мѣсто, гдѣ онъ можетъ погибнуть. Черти особенно часто привязываются къ музыкантамъ, которые чаще всего встрѣчаются съ чертями.

Вѣрятъ, что въ пустыхъ, старыхъ, полуразрушенныхъ зданіяхъ непремѣнно живутъ черти и тамъ по ночамъ свищутъ. Въ полуразрушенныхъ, не дѣйствующихъ мельницахъ черти мелятъ нюхательный табакъ. Мѣсто, куда чортъ заведетъ человѣка, покажется такимъ прекраснымъ, что, какъ говорится, глаза разбѣгаются: тамъ и прислуга для гостя, и гостепріимство, и музыка, и пляски; гость, какъ бы въ какомъ обаяніи, проведетъ тамъ ночь. Послѣ ужина, состоящаго изъ богатыхъ яствъ, слуга подноситъ трубку, и гость съ наслажденіемъ предается этому. Наконецъ, его уводятъ въ спальню на мягкіе пуховики, и тутъ-то онъ отдыхаетъ, какъ никогда еще не отдыхалъ. Пропѣли пѣтухи—все кончено. Гость видитъ себя въ какомъ-нибудь пустырѣ, лежащимъ въ грязномъ мѣстѣ, или

въ болотѣ, или камышѣ, или же сидящимъ на какомъ-нибудь бугрѣ и сосущимъ вмѣсто трубки комокъ засохшей земли или скотскаго помету. Опомнившись, онъ крестится и плюетъ во всѣ стороны; а гдѣ-нибудь въ углу спрятавшійся чертенокъ, въ круглой соломенной шляпѣ, одѣтый во фракъ, изъ-подъ котораго виднѣется собачій хвостъ, скалитъ ему зубы и хохочетъ во все свое чертово горло. Ночевавшій въ чортовомъ болотѣ почти всегда заболѣваетъ. *Чубинскій.*

Упыри въ народныхъ вѣрованіяхъ.

По однимъ представленіямъ нашего народа, упырь есть ублюдокъ отъ чорта или вовколака и вѣдьмы. Отсюда и поговорка: *упыръ и неневный усімъ відьмамъ родичъ кревный.* Но онъ живетъ какъ обыкновенный человѣкъ, отличающійся лишь злостью. По другому вѣрованію, упыри имѣютъ только образъ человѣческій, и въ сущности они настоящіе черти. Есть и такое вѣрованіе, что упыри—это трупы вѣдьмъ, колдуновъ и другихъ людей, въ которыхъ послѣ ихъ смерти помѣстились черти и приводятъ ихъ въ движеніе. Упыремъ, впрочемъ, можетъ сдѣлаться всякій человѣкъ, если только его *овѣетъ* степной вѣтеръ. По внѣшнему виду упырь въ однихъ мѣстахъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновеннаго человѣка, въ другихъ мѣстахъ представляютъ человѣкомъ съ очень румянымъ лицомъ. На правой сторонѣ Днѣпра есть еще особый видъ упырей. Упырями тамъ называютъ дѣтей съ большой головой, съ длинными руками и ногами, словомъ — страдающихъ размягченіемъ костей, или англійскою болѣзнью. Такіе уроды «безъ костей» носятъ названіе *одміны* (по великорусски обмѣнишъ, или сѣдунъ), потому что ихъ подбрасываетъ людямъ нечистая сила взамѣнъ выкраденныхъ человѣческихъ младенцевъ. Въ Проскуровскомъ уѣздѣ Подольской губерніи народъ знаетъ дѣленіе упырей на двѣ категоріи—живыхъ и мертвыхъ. Отличительные признаки мертвеца-упыря тѣ, что у него лицо красное, лежитъ онъ въ гробу навзничь и никогда не разлагается; у живого лицо тоже красное, хотя бы онъ былъ старикъ, и, кромѣ того, чрезвычайно крѣпкое тѣлосложеніе. Эта крѣпость тѣлосложенія необходима ему потому, что, по мѣстному вѣрованію, ему приходится таскать на своей спинѣ мертваго упыря; послѣдній безъ перваго не можетъ быть вреденъ, такъ какъ онъ не можетъ ходить.

По общераспространенному вѣрованію малороссовъ, упыри-мертвецы днемъ покоятся въ могилахъ, будто живые, съ краснымъ или, лучше, окровавленнымъ лицомъ. Ночью встаютъ изъ гробовъ и бродятъ по свѣту. При этомъ они летаютъ по воздуху или вылазятъ на могильные кресты, производятъ шумъ, пугаютъ путниковъ, гоняясь за ними. Но болѣе страшны тѣмъ, что, входя въ дома, бросаются на сонныхъ людей, въ особенности на младенцевъ, и выса-

сываютъ у нихъ кровь, причиняя этимъ смерть. Хожденіе ихъ по свѣту продолжается, какъ и остальной нечисти, до тѣхъ поръ, пока не запоютъ пѣтухи. Чуму и другія эпидемическія болѣзни, также засуху, неурожаи и другія общественныя бѣдствія тоже приписываютъ упырямъ и упырицамъ. Упырь-одмина, кажется, не вредитъ людямъ, тѣмъ болѣе, что онъ вовсе не ходитъ, а лишь можетъ сидѣть или лежать на одномъ мѣстѣ. Онъ приноситъ даже пользу потому, что, отличаясь провидѣніемъ будущаго, занимается предсказываніемъ того, что должно случиться съ людьми. Такой упырь, собственно говоря, никогда не умираетъ; когда его похоронятъ, онъ появляется въ другомъ мѣстѣ и начинаетъ вновь предсказывать будущее.

Избавлялись отъ упырей, выходящихъ изъ могилъ, тѣмъ, что откапывали ихъ трупы и пробивали грудь осиновымъ коломъ. Но это средство не всегда помогало. Тогда считали необходимымъ прибѣгнуть къ болѣе радикальному средству — сжечь трупъ упыря. А если за упыря признавали живого человѣка, то онъ долженъ былъ погибнуть на кострѣ. И дѣйствительно, въ старину у насъ, какъ и на Западѣ, во время засухъ и мора сожигали на огнѣ упырей и вѣдьмъ. Для того, чтобы окончательно лишить упыря возможности вредить людямъ, передъ сожженіемъ его прибѣгали къ разнымъ символическимъ дѣйствіямъ: завязывали ему глаза, забивали глотку землей и т. п. *Ефименко.*

Повѣрья о кладахъ.

Кладовъ, по понятію народа, существуетъ множество, но всѣ они почти заклятые, и человѣкъ не можетъ ими пользоваться потому, что ими владѣетъ сатана. Обыкновенно деньги и другія цѣнныя вещи закапывались въ землю, и ихъ поручали или чорту, или желали, чтобы кто-нибудь воспользовался ими, и такіе счастливцы нерѣдко бывали.

Клады очищаются посредствомъ огня; они горятъ, большею частью, въ Великую субботу, ночью; нечистые — съ вечера, а чистые — передъ разсвѣтомъ; и кто видитъ, какъ они горятъ, въ особенности чистые, то можетъ смѣло подойти и бросить на то мѣсто платокъ или портянку; деньги въ такомъ случаѣ подымутся наверхъ и останутся въ такомъ растояніи, какова толщина брошенной вещи, и человѣку не будетъ большого труда взять ихъ; а если горятъ нечистыя деньги или заклятыя, то по очищеніи входятъ глубоко въ землю, и ихъ никто не находитъ.

Кладъ по народному понятію, можетъ найти только тотъ, «кому на роду написано». Когда закапываютъ кладъ, то его заклинаютъ на нѣсколько головъ; и если уже надъ нимъ пропало нѣсколько головъ, на сколько онъ заклятъ, то тогда кладъ тотъ дается вся-

кому. Иногда бываетъ такъ, что кто-нибудь услышитъ, на сколько головъ заклинается кладъ, и притомъ неизвѣстно какихъ, тотъ употребляетъ хитрость: убиваетъ столько головъ животныхъ и бросаетъ на то заклятое мѣсто. Послѣ этого кладъ дается безъ труда.

Повѣрій про клады существуетъ множество, но всѣ они сходятся на томъ, что клады стерегутъ черти. Чистый кладъ можно взять безъ опасности потерять жизнь: стоитъ только подмѣтить, когда горитъ онъ, и бросить на то мѣсто, гдѣ горитъ огонекъ, что-нибудь изъ одежды или обуви. Если брошенъ будетъ сапогъ, то кладъ будетъ въ землѣ по колѣно, если же бросить шапку, то придется рыть въ ростъ человѣка. Нечистый кладъ добыть труднѣе: здѣсь нужно необыкновенное присутствіе духа, при видѣ разныхъ привидѣній. Одно нечистое скверное слово можетъ испортить все дѣло: кладъ, хотя бы уже и открытый, пойдетъ обратно въ землю и больше никогда не выйдетъ.

Клады, по вѣрованію народа, бываютъ двухъ родовъ: добрые и злые. Деньги и все драгоцѣнное закапываютъ въ землю съ цѣлью или сокрыть отъ грабежа и насилія, или укрыть отъ завладѣнія прямыми наслѣдниками. Въ первомъ случаѣ клады бываютъ добрые, а въ послѣднемъ — злые.

Человѣкъ скупой, зарывая свои деньги въ землю, всегда заклинаетъ ихъ, говоря: «Щобъ ці гроши одкопали такі руки, какі закопали». Такими кладами постоянно завладѣваетъ чортъ, въ видѣ козы, кота, собаки. Отыскать такіе клады и воспользоваться ими очень трудно, потому что предварительно нужно отогнать чорта, который очень ревностно охраняетъ свое сокровище; впрочемъ, если кому и удается, то такіе клады никогда не пойдутъ въ пользу. Нашедшій такой кладъ непремѣнно будетъ воромъ, или разбойникомъ, или пьяницей, или, наконецъ, найденный кладъ будетъ у него украденъ. Мѣста добрыхъ кладовъ обнаруживаются или огнемъ, или привидѣніями, по большей части, въ видѣ дряхлыхъ, сѣдыхъ стариковъ. Если кто увидитъ, что горятъ деньги и пожелаетъ воспользоваться ими, то долженъ непремѣнно на мѣстѣ появленія огня положить изъ чего бы то ни было крестикъ и бросить туда свою вещь. Опытные и расторопные всегда бросаютъ сапогъ, или подстилку изъ сапога, утверждая, что въ такомъ случаѣ горѣвшія деньги будутъ покрыты слоемъ земли такой толщины, какой толщины бываетъ подстилка; если кто броситъ шапку, то деньги горѣвшія войдутъ въ землю на глубину, соотвѣтствующую росту того человѣка. Если кому обнаружится мѣсто клада въ какомъ-нибудь привидѣніи, то онъ долженъ это привидѣніе перекрестить и поклониться ему. Въ такомъ случаѣ привидѣніе само собой разсыпается кучей серебра или золота.

Утверждаютъ, что денегъ никогда не слѣдуетъ закапывать въ глиняныхъ сосудахъ, потому что онѣ очень глубоко войдутъ въ землю. Лучше всего закапывать деньги въ деревянныхъ ящикахъ.

Нѣкоторые клады закапываются на извѣстное число лѣтъ, по большей части — на семь. По прошествіи урочнаго времени кладъ превращается въ какое-нибудь животное: свинью, кошку, собаку и т. д. Тогда слѣдуетъ только толкнуть это животное, и оно разсыпется деньгами. *Чубинскій.*

Малорусская сказка о кузнецѣ и чортѣ, легшая въ основу повѣсти Гоголя: „Ночь предъ Рождествомъ“.

Въ основѣ разсказа: «Ночь предъ Рождествомъ» лежитъ малорусская сказка о кузнецѣ и чортѣ, дополненная подробностями изъ другихъ малороссійскихъ преданій и повѣрій. Сказку эту въ болѣе полномъ видѣ мы находимъ между малороссійскими простонародными балладами, гдѣ она носитъ названіе «Кузнецъ». Кузнецъ Яремка былъ мастеръ своего дѣла и порой любилъ пѣсенку спѣть, поплясать, поиграть на своей свирѣли, и пѣлъ и читалъ на клиросѣ. Въ кузницѣ у него подлѣ горнила, на самой печкѣ, висѣлъ намалеванный на холстѣ чортъ, повѣшенный кверху ногами. Яремка выпачкалъ чорта грязью и дегтемъ, выжегъ у него очи и всячески издѣвался надъ чортомъ. Чортъ рѣшился отомстить кузнецу, нанялся къ нему въ работники въ видѣ цыгана и сталъ перековывать старыхъ и больныхъ людей въ молодыхъ и здоровыхъ. Народу и денегъ повалила бездна. Но однажды работникъ-цыганъ отлучился, а старый баринъ Яремкинъ приходитъ къ Яремкѣ съ приказомъ перековать его въ молодца. Яремка сталъ перековывать, вынулъ изъ огня обгорѣлыя кости стараго барина и молотомъ разбилъ ихъ вдребезги. Яремка осужденъ, какъ убійца. Идетъ онъ изъ острога въ родимую хату проститься съ ней навѣки и приглашаетъ священника съ молитвой; но какъ только священникъ началъ кропить забытый чортовъ портретъ надъ дверями, является пропавшій работникъ-цыганъ и обѣщается Яремку выручить изъ бѣды, если онъ не будетъ кропить его святой водой. Сказано — сдѣлано. Послѣ этого Яремка снялъ чортовскій портретъ, отнесъ въ кузницу и бросилъ въ огонь. Холстъ сгорѣлъ, а проклятый метнулся въ трубу. И съ этой поры чортъ почернѣлъ еще хуже; его борода обгорѣла, и его любимое мѣсто осталось — кузнечныя трубы.

И у Гоголя въ «Вечерѣ наканунѣ Рождества» главнымъ лицомъ разсказа является кузнецъ Вакула, который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и хорошій маляръ. «Торжествомъ его (малярнаго) искусства была одна картина, намалеванная на стѣнѣ церковной на правомъ притворѣ, на которой изобразилъ онъ св. Петра въ день страшнаго суда, съ ключами въ рукахъ, изгонявшаго изъ ада злого духа: испуганный чортъ метался во всѣ стороны, предчувствуя свою погибель, а заключенные прежде грѣшники били и гоняли его кнутами, полѣньями и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Въ то время, когда живописецъ трудился надъ этой картиною и писалъ ее на большой деревянной доскѣ, чортъ всѣми силами старался мѣшать ему: толкалъ невидимо

подъ руку, поднималъ изъ горнила въ кузницѣ золу и обсыпалъ ею картину; но, несмотря на все, работа была покончена, доска внесена въ церковь и вдѣлана въ стѣну притвора, и съ той поры чортъ клялся мстить кузнецу. Одна только ночь оставалась ему шататься на бѣломъ свѣтѣ, но и въ эту ночь онъ выискивалъ чѣмъ-нибудь выместить на кузнецѣ свою злобу и для этого рѣшился украсть мѣсяцъ». На этомъ необычайномъ обстоятельствѣ основана вся цѣпь событій, совершившихся наканунѣ Рождества. Развязка ихъ тоже въ общихъ чертахъ напоминаетъ собою окончаніе малорусской сказки въ пересказѣ Л. Боровиковскаго. Когда Вакула кузнецъ, желая исполнить прихоть возлюбленной красавицы Оксаны, задумалъ прибѣгнуть къ помощи чорта и отдаться ему, чортъ вскочилъ кузнецу на шею, началъ отъ радости галопировать и думать про себя: «теперь-то попался кузнецъ! теперь-то я вымещу на тебѣ, голубчикъ, всѣ твои малеванья и небылицы, взводимыя на чертей». Но Вакула, схвативъ чорта за хвостъ, сотворилъ крестъ, и чортъ сдѣлался тихъ, какъ ягненокъ. «Постой же, — сказалъ онъ, стаскивая его за хвостъ на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грѣхи добрыхъ людей и честныхъ христіанъ!» Тутъ кузнецъ вскочилъ на него верхомъ и поднялъ руку для крестнаго знаменія. «Помилуй Вакула! — жалобно простоналъ чортъ, — все, что для тебя нужно, все сдѣлаю; отпусти только душу на покаяніе: не клади на меня страшнаго креста!» «А, вотъ какимъ голосомъ запѣлъ, нѣмецъ проклятый! Теперь я знаю, что дѣлать. Вези меня сейчасъ же на себѣ! Слышишь, неси, какъ птица!» «Куда?» произнесъ печально чортъ. «Въ Петербургъ, прямо къ царицѣ!» И кузнецъ обомлѣлъ отъ страха, чувствуя себя поднимающимся на воздухъ. Такимъ образомъ и у Гоголя чортъ, желая отомстить кузнецу маляру, самъ попадается въ бѣду и силой крестнаго знаменія вынуждается оказать услугу кузнецу. Разница только въ способѣ чортовской услуги; но эта разница, по всей вѣроятности, зависѣла отъ разницы самой редакціи сказки у Гоголя, которая во всякомъ случаѣ вѣрна стариннымъ русскимъ представленіямъ о чортѣ, попадающемъ впросакъ.

На этомъ общемъ фонѣ народной сказки Гоголь помѣстилъ въ своемъ «Вечерѣ наканунѣ Рождества» и другія частныя черты изъ малороссійскихъ народныхъ повѣрій и разсказовъ. Летанье вѣдьмъ на метлѣ черезъ печную трубу и знакомство ихъ съ чертями — общепризнанный народною миѳологіею фактъ.

Петровъ.

Народныя преданія въ повѣсти Гоголя „Вій“.

Еще вѣрнѣе народнымъ преданіямъ повѣсть Гоголя «Вій», о которомъ самъ авторъ ея говоритъ слѣдующее: «Вій есть колоссальное созданіе простонароднаго воображенія. Такимъ именемъ называется у малороссіянъ начальникъ гномовъ, у котораго вѣки на глазахъ идутъ

до самой земли. Вся эта повѣсть есть народное преданіе. Я не хотѣлъ ни въ чемъ измѣнить его и разсказываю почти въ такой же простотѣ, какъ слышалъ». Намъ остается только разсмотрѣть, какъ воспользовался Гоголь готовыми народными преданіями. Въ основѣ этой повѣсти Гоголя собственно лежатъ два народныя преданія: объ упырѣ и Віи. Въ малорусскихъ сказкахъ разсказывается объ упырѣ, какъ одинъ человѣкъ получилъ отъ царя приказаніе читать три ночи псалтырь надъ его умершей дочерью-волшебницей, стоявшей въ церкви. Ему угрожала явная смерть, но отъ нея онъ спасается благодаря совѣтамъ старичка (св. Николая) и даже женится на бывшей волшебницѣ. И у Гоголя философъ Хома Брутъ такимъ же образомъ читаетъ три ночи псалтырь надъ убитой имъ вѣдьмой, дочерью сотника, испытываетъ разные ужасы и, наконецъ, на третью ночь погибаетъ отъ нечистой силы. Его отыскало въ церкви чудовище Вій, призванное для этого убитой вѣдьмой въ церковь. Въ народныхъ преданіяхъ этотъ Вій составляетъ предметъ особаго сказанія и представляется приземистымъ, коренастымъ существомъ, у котораго вѣки опущены до земли. Когда ихъ насильно поднимутъ, отъ глазъ Вія летятъ молніи и вихри.

Петровъ.

Отношеніе поэмы Стороженка „Марко проклятый“ къ произведеніямъ Гоголя.

Въ поэмѣ «Марко проклятый» есть нѣкоторыя черты, роднящія ее съ произведеніями Гоголя.

Поэма «Марко проклятый» имѣетъ въ виду изобразить ту эпоху въ жизни малорусскаго народа, которую изобразилъ Гоголь въ «Тарасѣ Бульбѣ», и такими же крупными, размашистыми штрихами. Личная судьба самого Марка проклятаго напоминаетъ судьбу героя Гоголевской повѣсти «Страшная месть». Въ послѣдней разсказывается, что при Стефанѣ Баторіи жили два казака, Иванъ и Петръ, и жили дружно, какъ братъ съ братомъ; наконецъ, Петръ изъ зависти рѣшился погубить своего названнаго брата Ивана и столкнулъ его съ малюткой сыномъ въ глубокій провалъ между Карпатскими горами. На судѣ Божіемъ Иванъ просилъ Господа сдѣлать такъ, чтобы все потомство измѣнника Петра не имѣло на землѣ счастія; чтобы послѣдній въ родѣ былъ такой злодѣй, какого еще и не бывало на свѣтѣ, и чтобы отъ каждаго его злодѣйства дѣды и прадѣды его не имѣли покоя въ гробахъ и, терпя муку, невѣдомую на свѣтѣ, подымались изъ могилъ. «И когда придетъ часъ мѣры въ злодѣйствахъ тому человѣку, — говоритъ Иванъ, — подыми меня, Боже, изъ того провала на конѣ на самую высокую гору, и пусть придетъ онъ ко мнѣ, и брошу я его съ этой горы въ самый глубокій провалъ».

Послѣдній изъ потомковъ вѣроломнаго Петра и является главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ повѣсти Гоголя «Страшная месть». Это былъ колдунъ, который зарѣзалъ свою жену, убилъ своего зятя и внука, хотѣлъ обольстить свою родную дочь и убилъ святого старца-схимника, признавшаго его неслыханнымъ грѣшникомъ, которому нѣтъ помилованія. Гонимый внутреннимъ страхомъ, колдунъ вскочилъ на коня и направился было черезъ Каневъ и Черкасы въ Крымъ, но, противъ собственной воли, заѣхалъ совсѣмъ въ другую сторону, къ Карпатскимъ горамъ. Чудесный всадникъ ухватилъ колдуна рукою, поднялъ на воздухъ и бросилъ его въ пропасть. Въ то же время поднялись изъ земли мертвецы, вскочили въ пропасть, подхватили колдуна и вонзили въ него свои зубы. Нѣкоторые мотивы этой повѣсти, имѣющей основаніе въ народныхъ легендахъ о великомъ грѣшникѣ, примѣняются къ Марку проклятому, отецъ котораго жилъ и дѣйствовалъ тоже при Стефанѣ Баторіи. Будучи вскормленъ кровью вмѣсто матерняго молока, Марко сдѣлался неукротимымъ, кровожаднымъ человѣкомъ. Въ гнѣвѣ онъ чуть не убилъ своего отца, сжегъ вмѣстѣ съ хатою свою бывшую невѣсту и ея мужа, влюбился въ родную сестру и, наконецъ, убилъ свою родную сестру и мать. Тѣнь отца поднялась съ того свѣта и прокляла Марка: «Проклынаю и я тебе, сыну, зъ того свиту; не прыйме тебе ни земля ни пекло; будешъ ты, оглашенный, якъ той Каинъ, блукаты по свиту до страшнаго суду, ажъ поки добрыми дилами та щырымъ покоянъемъ не спасешъ своеи души и загубленныхъ тобою душъ!... Носыся жъ по свиту зъ тяжкою твоею совистью и симы головами, що суботы Божой будемо до тебе приходыть». Съ послѣднимъ словомъ онъ кинулъ Марку отсѣченныя головы и пропалъ. И пошелъ Марко бродить по бѣлу свѣту съ этими головами, совѣтовался съ монахами и попами, и одинъ только пустынникъ въ Карпатскихъ горахъ обнадежилъ его милостію Божіею, если онъ будетъ исполнять святой законъ Господа и Его волю не изъ корысти и благъ будущей жизни, а на утѣху и великую радость своей души и сердцу. Былъ Марко и въ «пеклѣ», т.-е. въ аду, куда путь шелъ черезъ дупло, на высокой горѣ, въ Галицкой землѣ. Тамъ онъ толкался по пеклу цѣлую ночь и поразгонялъ всѣхъ чертей; но загубленныя имъ души сказали ему: «Тикай, Марко, звидци! На симъ свити ты насъ не вырятуешь, а тильки на тимъ!» Съ тѣхъ поръ Марко, этотъ вѣчный украинскій жидъ, ходитъ съ своею страшною сумою по бѣлому свѣту и творитъ добрыя дѣла для спасенія себя и загубленныхъ имъ душъ. Въ войну Хмельницкаго съ поляками Марко являлся въ самыя критическія минуты и выручалъ казаковъ изъ бѣды, помогалъ раненымъ и погребалъ убитыхъ.

Петровъ.

УЧЕНИЧЕСКАЯ
КОСТРОМСКОЙ ГИМНАЗІИ
БИБЛІОТЕКА

Украинскій и великорусскій элементы въ произведеніяхъ Гоголя.

Изъ біографическихъ свѣдѣній о Гоголѣ мы узнаемъ, что дѣдъ нашего поэта Аѳанасій Гоголь былъ въ свое время полковымъ писаремъ и женатъ на внучкѣ полковника Танскаго. Одно уже названіе писаря показываетъ, что онъ могъ получить образованіе въ Кіевской академіи или, по крайней мѣрѣ, въ одной изъ семинарій, которыя занимали тогда мѣсто нынѣшнихъ гимназій, «и кто знаетъ, — говоритъ Кулишъ, — не изъ его ли разсказовъ заимствовалъ Гоголь разныя обстоятельства жизни стариннаго бурсака, находимыя нами въ повѣсти «Вій». Если это и не такъ, то можно сказать почти навѣрное, что съ него онъ рисовалъ своего идиллическаго Аѳанасія Ивановича. Отъ него Гоголь могъ заимствовать и остатки старинныхъ преданій, заключающихся въ «Пропавшей грамотѣ», «Тарасѣ Бульбѣ» и т. п. Къ тому нужно прибавить, что въ семействѣ Гоголя должны были сохраняться и родовыя литературныя преданія. Одинъ изъ предковъ его по женской линіи, Танскихъ, несомнѣнно, воспитывался въ Кіевской академіи и въ свое время слылъ знаменитымъ стихотворцемъ, который притомъ же писалъ свои стихотворенія на украинскомъ языкѣ. Можетъ-быть, подъ вліяніемъ этихъ-то семейныхъ литературныхъ преданій Гоголь любилъ въ своей молодости старинныя малороссійскія произведенія. Вслѣдствіе этого самая рѣчь Гоголя, когда онъ воспитывался въ Нѣжинской гимназіи, отличалась словами малоупотребительными, старинными или насмѣшливыми.

Еще тѣснѣе были у Гоголя связи съ новѣйшей украинской литературой и ея важнѣйшими представителями — Котляревскимъ, Гулакомъ-Артемовскимъ и особенно отцомъ своимъ. Большая часть эпиграфовъ къ его «Вечерамъ на хуторѣ близъ Диканьки» взята изъ сочиненій этихъ и другихъ современныхъ имъ украинскихъ писателей. Самый тонъ разсказовъ, карикатурно-юмористическихъ, совершенно въ духѣ этихъ писателей. Мѣстами даже есть заимствованія и подражанія. Совершенно справедливо Кулишъ видитъ сходство гоголевскаго Голопупенка въ «Сорочинской ярмаркѣ» съ окарикатуреннымъ Энеемъ въ «Энеидѣ» Котляревскаго. «Эхъ, хватъ! за это люблю!» говоритъ Черевикъ, немного подгулявши и видя, какъ нареченный зять его налилъ кружку величиною съ полкварты и, нимало не морщившись, выпилъ до дна, хвативъ ее потомъ вдребезги. «Что скажешь, Параска? какого жениха я тебѣ досталъ! Смотри, смотри, какъ онъ молодецки тянетъ пѣнную!» По мнѣнію Кулиша, это есть перефразированная рѣчь карикатурнаго Зевеса у Котляревскаго объ Энеѣ, кстати поставленная эпиграфомъ къ третьей главѣ «Сорочинской ярмарки»:

Чи бачишъ, вінъ який парнище?
На світі трохи е такихъ:
Сивуху такъ, якъ брагу, хлыще!
Я въ парубкахъ кохаюсь сихъ.

Въ той же «Сорочинской ярмаркѣ» супруги Черевики, Солопій и Хивря, напоминаютъ намъ басню Гулака-Артемовскаго о соименныхъ супругахъ, но являются въ иныхъ положеніяхъ, сходныхъ съ положеніями героевъ комедій отца Гоголя. Солопія, который хотѣлъ было продать на сорочинской ярмаркѣ свою кобылу, морочатъ точно такъ же, какъ москаль обманываетъ мужика въ комедіи Гоголя-отца: «Собака-вивця», и очень можетъ быть, что самый эпиграфъ къ X главѣ «Сорочинской ярмарки» заимствованъ изъ этой утраченной нынѣ комедіи. Любовныя похожденія Хиври съ поповичемъ Аѳанасіемъ Ивановичемъ напоминаютъ намъ похожденія Хомы Григоровича въ другой комедіи отца Гоголя: «Простакъ». Этотъ Хома Григоровичъ даже является героемъ предисловія къ «Вечерамъ на хуторѣ близъ Диканьки».

Совмѣщая въ своихъ украинскихъ повѣстяхъ всѣ элементы прежней и современной украинской литературы, Гоголь является достойнымъ завершителемъ новой украинской литературы перваго періода ея развитія. Но онъ не ограничивался одними интересами собственно украинской литературы и очень рано сталъ увлекаться чисто художественными стремленіями. «Русская литература того времени,—говоритъ одинъ изъ воспитанниковъ «Гимназіи высшихъ наукъ» въ Нѣжинѣ,—была проникнута духомъ Байрона: Чайльдъ-Гарольдовъ и Онѣгиныхъ можно было встрѣчать не только въ столицахъ, но даже у насъ, въ гимназическомъ саду». Младшій профессоръ нѣмецкой словесности Зингеръ (съ 1824 г.) открылъ намъ новый живописный родникъ истинной поэзіи. Любовь къ человѣчеству, составляющая поэтическій элементъ твореній Шиллера, по свойству своему прилипчивая, быстро привилась и къ намъ и много способствовала развитію характера многихъ. До Зингера на нѣмецкихъ лекціяхъ обыкновенно отдыхали сномъ послѣобѣденнымъ. Онъ умѣлъ разогнать эту сонливость увлекательнымъ преподаваніемъ,— и не прошло года, какъ у новаго профессора были ученики, переводившіе «Донъ-Карлоса» и другія драмы Шиллера; а вслѣдъ за тѣмъ и Гёте, и Кёрнеръ, и Виландъ, и Клопштокъ, и всѣ, такъ называемые, классики германской литературы, не исключая даже и своеобразнаго Жанъ-Поль Рихтера, въ теченіе четырехъ лѣтъ были любимымъ предметомъ изученія многихъ учениковъ Зингера. Кстати замѣтить, что развитію германизма между нѣжинцами много способствовалъ «Телеграфъ», коего изданіе въ Москвѣ началъ тогда Н. А. Полевой. Гоголь не могъ остаться въ сторонѣ отъ этихъ художественныхъ стремленій къ литературѣ, и мы видимъ, что онъ участвуетъ въ представленіи лучшихъ тогдашнихъ комедій русскихъ: «Недоросль», «Урокъ дочкамъ», и издаетъ въ гимназіи рукописные журналы со статьями, писанными высокимъ слогомъ. По выходѣ изъ гимназіи онъ еще болѣе подчиняется художественному направленію тогдашней русской литературы. Одинъ изъ украинскихъ разсказовъ Гоголя: «Страшная месть» представляетъ, по нашему мнѣнію, попытку

создать по народнымъ преданіямъ титаническій, мрачный типъ злодѣя въ духѣ байронизма. Мы имѣемъ основаніе думать, что типъ цыгана въ «Сорочинской ярмаркѣ» Гоголя, противорѣчащій народнымъ взглядамъ на цыганское племя, созданъ подъ вліяніемъ поэмъ Пушкина «Цыгане». Нѣкоторые видятъ въ Гоголѣ вліяніе даже столь второстепеннаго писателя, какъ Марлинскій. Но въ послѣдствіи времени заправляющую роль въ художественномъ развитіи Гоголя имѣлъ А. С. Пушкинъ. «Мы знаемъ изъ «Переписки съ друзьями»,— говоритъ Кулишъ, — что первыя главы «Мертвыхъ душъ» читаны были уже Пушкину, а въ «Авторской исповѣди» говорится даже, что сюжеты «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» даны были Гоголю Пушкинымъ. Слѣдовательно, можно предполагать не безъ основанія, что Пушкинъ много содѣйствовалъ Гоголю въ созданіи если не типовъ, то плана его комедіи и поэмы. Вспомните теперь, какъ скоро были написаны одно за другимъ такія созданія, какъ «Тарасъ Бульба», «Ревизоръ», первая часть «Мертвыхъ душъ», вмѣстѣ съ другими, менѣе замѣчательными пьесами, и посмотрите, что дѣлаетъ Гоголь по смерти Пушкина: пишетъ и жжетъ. У него нѣтъ одобряющаго авторитета, нѣтъ равносильнаго генія, который бы указалъ ему прямой путь поэтической дѣятельности. Словомъ, смерть Пушкина положила въ жизни Гоголя такую рѣзкую грань, какъ и переѣздъ изъ Малороссіи въ столицу. При жизни Пушкина Гоголь былъ однимъ человѣкомъ, послѣ его смерти сдѣлался другимъ».

Художественный элементъ въ творческой дѣятельности Гоголя не позволилъ ему остаться въ тѣсной сферѣ украинскихъ интересовъ и литературы и былъ однимъ изъ могущественныхъ средствъ къ сліянію въ его произведеніяхъ украинскихъ интересовъ съ сѣверно-русскими и образованію цѣльнаго русскаго міровоззрѣнія. «Скажу вамъ одно слово насчетъ того, какая у меня душа,—хохлацкая или русская»,— писалъ Гоголь въ 1844 году къ А. О. Смирновой,—«потому что это, какъ я вижу изъ письма вашего, служило одно время предметомъ вашихъ разсужденій и споровъ съ другими. На это вамъ скажу, что я самъ не знаю, какая у меня душа,—хохлацкая или русская. Знаю только то, что никакъ бы не далъ преимущества ни малороссіянину передъ русскимъ ни русскому передъ малороссіяниномъ. Обѣ природы слишкомъ щедро одарены Богомъ, и, какъ нарочно, каждая изъ нихъ порознь заключаетъ въ себѣ то, чего нѣтъ въ другой,—явный знакъ, что онѣ должны пополнять одна другую. Для этого самыя исторіи ихъ прошедшаго быта даны имъ непохожія одна на другую, дабы порознь воспитались различныя силы ихъ характеровъ, чтобы потомъ, сліявшись воедино, составить собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ. На сочиненіяхъ же моихъ не основывайтесь и не выводите оттуда никакихъ заключеній о мнѣ самомъ. Они всѣ писаны давно, во время глупой молодости, пользуются пока незаслуженными похвалами и даже не совсѣмъ заслуженными порицаніями, и въ нихъ виденъ покамѣстъ писатель, еще

не утвердившійся ни на чемъ твердомъ. Въ нихъ, точно, есть кой-гдѣ хвостики душевнаго состоянія моего тогдашняго, но безъ моего собственнаго признанія ихъ никто и не замѣтитъ и не увидитъ».

Въ этомъ художественномъ сочетаніи интересовъ двухъ племенъ русскаго народа состоитъ величайшая заслуга Гоголя, которую признаютъ и украинскіе писатели. Въ эпилогѣ къ «Чорной Радѣ» Кулишъ говоритъ слѣдующее о Гоголѣ: «Обратясь къ современной великорусской жизни, онъ дохнулъ свободнѣе; матеріалы у него были всегда подъ рукою, и только сознаніе недостаточности собственнаго саморазвитія останавливало его творчество. Все-таки онъ оставилъ намъ памятникъ своего таланта въ нѣсколькихъ повѣстяхъ, комедіяхъ и, наконецъ, въ «Мертвыхъ душахъ», этой великой попыткѣ произвесть нѣчто колоссальное. Приверженцы развитія украинскихъ началъ въ литературѣ ничего въ немъ не потеряли, а всѣ русскіе вообще выиграли. Да развѣ мало украинскаго вошло въ «Мертвыя души»? Сами москвичи признаютъ, что не будь Гоголь украинецъ, онъ не произвелъ бы ничего подобнаго (К. Аксаковъ). Но созданіе «Мертвыхъ душъ», или, лучше сказать, — стремленіе къ созданію (выраженное Гоголемъ въ его «Исповѣди» и во множествѣ писемъ), имѣетъ другое высшее значеніе. Гоголь, уроженецъ Полтавской губерніи, которая была поприщемъ послѣдняго усилія извѣстной партіи украинцевъ (приверженцевъ Мазепы) разорвать государственную связь съ народомъ великорусскимъ, поэтъ, воспитанный украинскими народными пѣснями, пламенный до заблужденія бардъ казацкой старины, возвышается надъ исключительною привязанностію къ родинѣ и загорается такой пламенной любовью къ нераздѣльному русскому народу, какой только можетъ желать отъ украинца уроженецъ сѣверной Россіи. Можетъ-быть, это — самое великое дѣло Гоголя по своимъ послѣдствіямъ, и, можетъ-быть, въ этомъ-то душевномъ подвигѣ болѣе, нежели въ чемъ-либо другомъ, оправдывается зародившееся въ немъ еще съ дѣтства предчувствіе, что онъ сдѣлаетъ что-то для общаго добра. Со временъ Гоголя взглядъ великороссовъ на натуру украинца перемѣнился: почуяли въ этой натурѣ способности ума и сердца необыкновенныя, поразительныя; увидѣли, что народъ, посреди котораго явился такой человѣкъ, живетъ сильною жизнію и, можетъ-быть, предназначается судьбою къ восполненію духовной натуры сѣверно-русскаго человѣка. Поселивъ это убѣжденіе въ русскомъ обществѣ, Гоголь совершилъ подвигъ болѣе патріотическій, нежели тѣ люди, которые славятъ въ своихъ книгахъ одну сѣверную Русь и чуждаются южной. Съ другой стороны, украинцы, призванные имъ къ сознанію своей національности, имъ же самимъ устремлены къ любовной связи ея съ національностью сѣверно-русскою, которой величіе онъ почувствовалъ всей глубиной души своей и заставилъ насъ также почувствовать. Назначеніе Гоголя было — внести начало глубокаго и всеобщаго сочувствія между двухъ народовъ, связанныхъ матеріально и духовно, но разрозненныхъ старыми недоумѣніями и недостаткомъ взаимной оцѣнки. *Петровъ.*

Правдивость изображенія жизни, народность, простота вымысла и лиризмъ, какъ отличительныя свойства повѣстей Гоголя.

Задача реальной поэзіи въ томъ состоитъ, чтобы извлекать поэзію изъ простой жизни, и потрясать души вѣрнымъ изображеніемъ этой жизни. И какъ сильна и глубока поэзія Гоголя въ своей наружной простотѣ и мелкости! Возьмите его «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ»: что въ нихъ? Двѣ пародіи на человѣчество, въ продолженіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, пьютъ и ѣдятъ, ѣдятъ и пьютъ, а потомъ, какъ водится изстари, умираютъ. Но отчего же это очарованіе? Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни животной, уродливой, карикатурной, и между тѣмъ принимаете такое участіе въ персонажахъ повѣсти, смѣетесь надъ ними, но безъ злости. И потомъ, вы такъ живо представляете себѣ актеровъ этой глупой комедіи, такъ ясно видите всю ихъ жизнь, вы, который, можетъ-быть, никогда не бывалъ въ Малороссіи, никогда не видалъ такихъ картинъ и не слыхалъ о такой жизни! Отчего это? Оттого, что это очень просто и, слѣдовательно, очень вѣрно; оттого, что авторъ нашелъ поэзію и въ этой пошлой и нелѣпой жизни, нашелъ человѣческое чувство, двигавшее и оживлявшее его героевъ: это чувство—привычка. Знаете ли вы, что такое привычка — это странное чувство, о которомъ Пушкинъ сказалъ:

Привычка небомъ намъ дана:
Замѣна счастія она.

Можете ли вы предположить возможность мужа, который рыдаетъ надъ гробомъ своей жены, съ которою сорокъ лѣтъ грызся, какъ кошка съ собакою? Понимаете ли вы, что можно грустить о дурной квартирѣ, въ которой мы жили много лѣтъ, къ которой мы привыкли, какъ душа къ тѣлу, и съ которою у насъ соединяются воспоминанія о простой однообразной жизни, о живомъ трудѣ и сладкомъ досугѣ и, можетъ-быть, о нѣсколькихъ сценахъ любви и наслажденія, и которую вы мѣняете на великолѣпныя палаты? Понимаете ли вы, что можно грустить о собакѣ, которая десять лѣтъ сидѣла на цѣпи и десять лѣтъ вертѣла хвостомъ, когда вы мимо нея проходили?... О, привычка—великая психологическая задача, великое таинство души человѣческой! Холодному сыну земли, сыну заботъ и помысловъ житейскихъ замѣняетъ она чувства человѣческія, которыхъ лишила его природа или обстоятельства жизни. Для него она истинное божество, истинный даръ Провидѣнія, единственный источникъ его радостей и (дивное дѣло!) радостей человѣческихъ! Но что̀ она для человѣка въ полномъ смыслѣ этого слова? Не насмѣшка ли судьбы? И онъ платитъ ей свою дань, и онъ прилѣпляется къ пустымъ вещамъ и пустымъ людямъ, и горько

страдаетъ, лишаясь ихъ! И что же еще? Гоголь сравниваетъ ваше глубокое человѣческое чувство, вашу высокую, пламенную страсть, съ чувствомъ привычки жалкаго получеловѣка и говоритъ, что его чувство привычки сильнѣе, глубже и продолжительнѣе вашей страсти, и вы стоите передъ нимъ потупя глаза и не зная, что отвѣчать, какъ ученикъ, не знающій урока передъ своимъ учителемъ!... Такъ вотъ гдѣ часто скрываются пружины лучшихъ нашихъ дѣйствій, прекраснѣйшихъ нашихъ чувствъ! О бѣдное человѣчество! жалкая жизнь! И однакожъ вамъ все-таки жаль Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны! вы плачете о нихъ,—о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли! О, Гоголь истинный чародѣй, и вы не можете представить, какъ я сердитъ на него за то, что онъ и меня чуть не заставилъ плакать о нихъ, которые только пили и ѣли и потомъ умерли!

Совершенная истина жизни въ повѣстяхъ Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льститъ жизни, но и не клевещетъ на нее; онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней прекраснаго, человѣческаго, и, въ то же время, не скрываетъ нимало и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его; начиная отъ гардероба Ивана Никифоровича до русскихъ мужиковъ, идущихъ по Невскому проспекту въ сапогахъ, запачканныхъ известью; отъ колоссальной физіономіи богатыря Бульбы, который не боялся ничего въ свѣтѣ, съ люлькою въ зубахъ и саблею въ рукахъ, до стоическаго философа Хомы, который не боялся ничего въ свѣтѣ даже чертей и вѣдьмъ, когда у него люлька въ зубахъ и рюмка въ рукахъ.

«Прекрасный человѣкъ Иванъ Ивановичъ! Онъ очень любитъ дыни. Это его любимое кушанье. Какъ только отобѣдаетъ и выйдетъ въ одной рубашкѣ подъ навѣсъ, сейчасъ приказываетъ Гапкѣ принести двѣ дыни. И уже самъ разрѣжетъ, соберетъ сѣмена въ особую бумажку и начинаетъ кушать. Потомъ велитъ принести Гапкѣ чернильницу, и самъ, собственною рукою, сдѣлаетъ надпись надъ бумажкою съ сѣменами: «сія дыня съѣдена такого-то числа». Если при этомъ былъ какой-нибудь гость, то: «участвовалъ такой-то...» Иванъ Никифоровичъ чрезвычайно любитъ купаться и, когда сядетъ по горло въ воду, велитъ поставить также въ воду столъ и самоваръ, и очень любитъ пить чай въ такой прохладѣ».

Скажите, Бога ради, можно ли язвительнѣе, злобнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ добродушнѣе и любезнѣе наругаться надъ бѣднымъ человѣчествомъ?... И все оттого, что слишкомъ вѣрно! А вотъ, посмотрите на жизнь Филемона и Бавкиды:

«Нельзя было глядѣть безъ участія на ихъ взаимную любовь. Они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы: вы, Аѳанасій Ивановичъ; вы, Пульхерія Ивановна.—Это вы продавили стулъ, Аѳанасій Ивановичъ? — Ничего, не сердитесь, Пульхерія Ивановна, это я... Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ возвращался въ покои и говорилъ, приблизившись къ Пульхеріи

Ивановнѣ: — А что, Пульхерія Ивановна, можетъ-быть, пора закусить чего-нибудь? — Чего же бы теперь закусить, Аѳанасій Ивановичъ? развѣ коржиковъ съ саломъ, или пирожковъ съ макомъ, или, можетъ-быть, рыжиковъ соленыхъ!— Пожалуй, хоть и рыжиковъ или пирожковъ,—отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ, и на столѣ вдругъ являлась скатерть съ пирожками и рыжиками. За часъ до обѣда Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ снова, выпивалъ старинную серебряную чарку водки, заѣдалъ грибками, разными сушеными рыбками и прочимъ. Обѣдать садились въ двѣнадцать часовъ. За обѣдомъ обыкновенно шелъ разговоръ о предметахъ самыхъ близкихъ къ обѣду. «Мнѣ кажется, будто эта каша», говорилъ обыкновенно Аѳанасій Ивановичъ, «немного пригорѣла; вамъ этого не кажется, Пульхерія Ивановна?»—Нѣтъ, Аѳанасій Ивановичъ; вы положите побольше масла, тогда она не будетъ пригорѣлою, или вотъ возьмите этого соуса съ грибками и подлейте къ ней.—«Пожалуй», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ и подставлялъ свою тарелку: «попробуемъ, какъ оно будетъ»...— Вотъ попробуйте, Аѳанасій Ивановичъ, какой хорошій арбузъ.—«Да вы не вѣрьте, Пульхерія Ивановна, что онъ красный», говорилъ Аѳанасій Ивановичъ, принимая порядочный ломоть: «бываетъ, что и красный, да нехорошій».

Замѣчаете ли вы здѣсь всю тонкость Аѳанасія Ивановича, который хочетъ разными околичностями отвести глаза своей сожительницы отъ своего ужаснаго аппетита, котораго онъ какъ будто самъ стыдится? Но посмотримъ на его дальнѣйшіе подвиги.

«Послѣ этого Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ еще нѣсколько грушъ и отправлялся погулять по саду вмѣстѣ съ Пульхеріею Ивановной. Пришедши домой, Пульхерія Ивановна отправлялась по своимъ дѣламъ, а онъ садился подъ навѣсомъ... Немного погодя, онъ посылалъ за Пульхеріей Ивановной и говорилъ: «Чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна?»—Чего же бы такого?—говорила Пульхерія Ивановна;—развѣ я пойду скажу, чтобы вамъ принесли варениковъ съ ягодами, которыхъ приказала я нарочно для васъ оставить! —«И то добре», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ...— Или, можетъ-быть, вы съѣли бы кисельку?—«И то хорошо», отвѣчалъ Аѳанасій Ивановичъ. Послѣ чего все это немедленно было приносимо и, какъ водится, съѣдаемо. Передъ ужиномъ Аѳанасій Ивановичъ еще кое-что закусывалъ, въ половинѣ десятаго садились ужинать... Ночью иногда Аѳанасій Ивановичъ, ходя по спальнѣ, стоналъ. Тогда Пульхерія Ивановна спрашивала: «Чего вы стонете, Аѳанасій Ивановичъ?»—Богъ его знаетъ, Пульхерія Ивановна, такъ какъ будто немного животъ болитъ,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. «Можетъ-быть, вы бы чего-нибудь съѣли, Аѳанасій Ивановичъ?...»—Не знаю, будетъ ли оно хорошо, Пульхерія Ивановна, впрочемъ чего жъ бы такого съѣсть?—«Кислаго молочка или жиденькаго узвару съ сушеными грушами».—Пожалуй, развѣ только попробовать,—говорилъ Аѳанасій Ивановичъ. Сонная дѣвка отправлялась рыться по шкапамъ, и Аѳанасій Ивановичъ съѣдалъ тарелочку. Послѣ чего онъ обыкновенно говорилъ: «Теперь какъ будто сдѣлалось легче».

Какъ вы думаете объ этомъ? по-моему, такъ въ этомъ очеркѣ весь человѣкъ, вся жизнь его, съ ея прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ! А супружеская любовь двухъ старцевъ, а насмѣшечки Аѳанасія Ивановича надъ свою сожительницею, касательно внезапнаго пожара въ ихъ домѣ, или, что еще ужаснѣе, касательно его намѣренія итти на войну; страхъ доброй Пульхеріи Ивановны, ея возраженія, ея легкая досада и, наконецъ, чувство самодовольствія, испытываемое Аѳанасіемъ Ивановичемъ при мысли, что ему удалось

подшутить надъ своей дражайшей половиной! О, эти картины, эти черты—суть такіе драгоцѣнные перлы поэзіи, въ сравненіи съ которыми всѣ прекрасныя фразы нашихъ доморощенныхъ Бальзаковъ настоящій горохъ... И все это не придумано, не списано съ разсказовъ или съ дѣйствительности, но угадано чувствомъ, въ минуту поэтическаго откровенія! Если бы я вздумалъ выписывать всѣ мѣста, доказывающія, что Гоголь уловилъ идею описываемой жизни и вѣрно произвелъ ее, то мнѣ пришлось бы списать почти всѣ его повѣсти, отъ слова до слова.

Повѣсти Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія, если подъ народностью должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ, формахъ! слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно. Народность, чтобы отразиться, въ поэтическомъ произведеніи, не требуетъ такого глубокаго изученія со стороны художника, какъ обыкновенно думаютъ. Поэту стоитъ только мимоходомъ взглянуть на ту или другую жизнь, и она уже усвоена имъ. Какъ малороссу, Гоголю съ дѣтства знакома жизнь малороссійская, но народность его поэзіи не ограничивается одною Малороссіей. Въ его «Запискахъ сумасшедшаго», въ его «Невскомъ проспектѣ» нѣтъ ни одного хохла, все русскіе и, вдобавокъ, еще нѣмцы; а каково изображены имъ эти русскіе и эти нѣмцы.

Оригинальность у Гоголя состоитъ въ комическомъ одушевленіи, всегда побѣждаемомъ чувствомъ глубокой грусти. Въ этомъ отношеніи русская поговорка: «началъ во здравіе, а свелъ за упокой», можетъ быть девизомъ его повѣстей. Въ самомъ дѣлѣ, какое чувство остается у васъ, когда пересмотрите вы всѣ эти картины жизни, пустой, ничтожной, во всей ея наготѣ, во всемъ ея чудовищномъ безобразіи, когда досыта нахохочетесь, наругаетесь надъ нею? Я уже говорилъ о «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ»—объ этой слезной комедіи во всемъ смыслѣ этого слова. Возьмите «Записки сумасшедшаго», этотъ уродливый гротексъ, эту странную, прихотливую грезу художника, эту добродушную насмѣшку надъ жизнью и человѣкомъ, жалкою жизнью, жалкимъ человѣкомъ, эту карикатуру, въ которой такая бездна поэзіи, такая бездна философіи, эту психическую исторію болѣзни, изложенную въ поэтической формѣ, удивительную по своей истинѣ и глубокости, достойную кисти Шекспира; вы еще смѣетесь надъ простакомъ, но уже вашъ смѣхъ растворенъ горечью: это смѣхъ надъ сумасшедшимъ, котораго бредъ и смѣшитъ и возбуждаетъ состраданіе. Повѣсть о «Ссорѣ Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» съ этой стороны всего удивительнѣе. Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» вы видите людей пустыхъ, ничтожныхъ и жалкихъ, но, по крайней мѣрѣ, добрыхъ и радушныхъ; ихъ взаим-

ная любовь основана на одной привычкѣ: но вѣдь и привычка все же человѣческое чувство, но вѣдь всякая любовь, всякая привязанность, на чемъ бы она ни основывалась, достойна участія, слѣдовательно, еще понятно, почему вы жалѣете объ этихъ старикахъ. Но Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ—существа совершенно пустыя, ничтожныя и притомъ нравственно гадкія и отвратительныя, ибо въ нихъ нѣтъ ничего человѣческаго; зачѣмъ же, спрашиваю я васъ, зачѣмъ вы такъ горько улыбаетесь, такъ грустно вздыхаете, когда доходите до траги-комической развязки? Вотъ она, эта тайна поэзіи! вотъ онѣ, эти чары искусства! Вы видите жизнь, а кто видѣлъ жизнь, тотъ не можетъ не вздыхать!...

Комизмъ или юморъ Гоголя имѣетъ свой, особенный характеръ: это юморъ чисто русскій, юморъ спокойный, простодушный, въ которомъ авторъ какъ бы прикидывается простачкомъ. Гоголь съ важностью говоритъ о бекеши Ивана Ивановича, и иной простакъ не шутя подумаетъ, что авторъ и въ самомъ дѣлѣ въ отчаяніи оттого, что у него нѣтъ такой прекрасной бекеши. Да, Гоголь очень мило прикидывается; и хотя надо быть слишкомъ глупымъ, чтобы не понять его иронiи, но эта иронія чрезвычайно какъ идетъ къ нему. Впрочемъ, это только манера, а истинный-то юморъ Гоголя все-таки состоитъ въ вѣрномъ взглядѣ на жизнь и, прибавлю еще, нимало не зависитъ отъ карикатурности представляемой имъ жизни. Онъ всегда одинаковъ, никогда не измѣняетъ себѣ, даже и въ такомъ случаѣ, когда увлекается поэзіею описываемаго имъ предмета. Безпристрастіе его идолъ. Доказательствомъ этого можетъ служить «Тарасъ Бульба», эта дивная эпопея, написанная кистью смѣлою и широкою, этотъ рѣзкій очеркъ героической жизни младенчествующаго народа, эта огромная картина въ тѣсныхъ рамкахъ, достойная Гомера. Бульба герой, Бульба человѣкъ съ желѣзнымъ характеромъ, желѣзной волей; описывая подвиги его кровавой мести, авторъ возвышается до лиризма и въ то же время дѣлается драматикомъ въ высочайшей степени, и все это не мѣшаетъ ему по мѣстамъ смѣшить васъ своимъ героемъ. Вы содрогаетесь Бульбы, хладнокровно лишающаго мать дѣтей, убивающаго собственной рукой родного сына, ужасаетесь его кровавыхъ тризнъ надъ гробомъ дѣтей, и вы же смѣетесь надъ нимъ, дерущимся на кулачки съ своимъ сыномъ, пьющимъ горѣлку съ своими дѣтьми, радующимся, что въ этомъ ремеслѣ они не уступаютъ батюшкѣ, и изъявляющимъ свое удовольствіе, что ихъ добре пороли въ бурсѣ. И причина этого комизма, этой карикатурности изображеній заключается не въ способности или направленіи автора находить во всемъ смѣшныя стороны, но въ вѣрности жизни. Если Гоголь часто и съ умысломъ подшучивалъ надъ своими героями, то безъ злобы, безъ ненависти; онъ понимаетъ ихъ ничтожность, но не сердиться на нее; онъ даже какъ-будто любуется ею, какъ любуется взрослый человѣкъ на игры дѣтей, которыя для него смѣшны своею наивностью, но которыхъ онъ не имѣетъ желанія раздѣлить. Но, тѣмъ не менѣе, это

все-таки юморъ, ибо не щадитъ ничтожества, не скрываетъ, не скрашиваетъ его безобразія, ибо, плѣняя изображеніемъ этого ничтожества, возбуждаетъ къ нему отвращеніе. Это юморъ спокойный, и, можетъ-быть, тѣмъ скорѣе достигающій своей цѣли. И вотъ, замѣчу мимоходомъ, вотъ настоящая нравственность такого рода сочиненій. Здѣсь авторъ не позволяетъ себѣ никакихъ сентенцій, никакихъ нравоученій; онъ только рисуетъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и ему нѣтъ дѣла до того, каковы онѣ, и онъ рисуетъ ихъ безъ всякой цѣли, изъ одного удовольствія рисовать. Послѣ «Горя отъ ума» я не знаю ничего, на русскомъ языкѣ, что бы отличалось такой чистѣйшею нравственностью и что бы могло имѣть сильнѣйшее и благодѣтельнѣйшее вліяніе на нравы, какъ повѣсти Гоголя. О, предъ такою нравственностью я всегда готовъ падать на колѣни! Въ самомъ дѣлѣ, кто пойметъ Ивана Ивановича Перерепенко, тотъ вѣрно разсердится, если его назовутъ Иваномъ Ивановичемъ Перерепенкомъ.

Нравственность въ сочиненіи должна состоять въ совершенномъ отсутствіи притязаній со стороны автора на нравственную или безнравственную цѣль. Факты говорятъ громче словъ; вѣрное изображеніе нравственнаго безобразія могущественнѣе всѣхъ выходокъ противъ него. Однакожъ, не забудьте, что такія изображенія только тогда вѣрны, когда безцѣльны, когда созданы, а создавать можетъ одно вдохновеніе, а вдохновеніе можетъ быть доступно одному таланту, слѣдовательно, только одинъ талантъ можетъ быть нравственнымъ въ своихъ произведеніяхъ!

Итакъ, юморъ Гоголя есть юморъ спокойный, спокойный въ самомъ своемъ негодованіи, добродушный въ самомъ своемъ лукавствѣ.

Гоголь сдѣлался извѣстнымъ своими «Вечерами на хуторѣ». Это были поэтическіе очерки Малороссіи, очерки полные жизни и очарованія. Все, что можетъ имѣть природа прекраснаго, сельская жизнь простолюдиновъ — обольстительнаго, все, что̀ народъ можетъ имѣть оригинальнаго, типическаго — все это радужными цвѣтами блеститъ въ этихъ первыхъ поэтическихъ герояхъ Гоголя. Это была поэзія юная, свѣжая, благоуханная, роскошная, упоительная, какъ поцѣлуй любви... Читайте вы его «Майскую ночь», читайте ее въ зимній вечеръ у пылающаго камелька, и вы забудете о зимѣ съ ея морозами и метелями; вамъ будетъ чудиться эта свѣтлая, прозрачная ночь благословеннаго юга, полная чудесъ и тайнъ; вамъ будетъ чудиться эта юная, блѣдная красавица, жертва ненависти злой мачехи, это оставленное жилище съ однимъ раствореннымъ окномъ, это пустынное озеро, на тихихъ водахъ котораго играютъ лучи мѣсяца, на зеленыхъ берегахъ котораго пляшутъ вереницы безплотныхъ красавицъ... Это впечатлѣніе очень похоже на то, которое производитъ на воображеніе «Сонъ въ лѣтнюю ночь» Шекспира. «Ночь предъ Рождествомъ» есть цѣлая, полная картина домашней жизни народа, его маленькихъ радостей, его маленькихъ горестей, словомъ, тутъ вся поэзія его жизни. «Страшная месть» составляетъ теперь pendant

къ «Тарасу Бульбѣ», а обѣ эти огромныя картины показываютъ, до чего можетъ возвышаться талантъ Гоголя. Но я никогда бы не кончилъ, если бы сталъ разбирать «Вечера на хуторѣ». «Арабески» и «Миргородъ» носятъ на себѣ всѣ признаки зрѣющаго таланта. Въ нихъ меньше этого упоенія, этого лирическаго разгула, но больше глубины и вѣрности въ изображеніи жизни. Сверхъ того, онъ здѣсь расширилъ свою сцену дѣйствія и, не оставляя своей любимой, своей прекрасной, своей ненаглядной Малороссіи, пошелъ искать поэзіи въ нравахъ средняго сословія въ Россіи. И, Боже мой, какую глубокую и могучую поэзію нашелъ онъ тутъ! Мы, москали, и не подозрѣвали ея!... «Невскій проспектъ» есть созданіе столь же глубокое, сколько и очаровательное; это двѣ полярныя стороны одной и той же жизни, это высокое и смѣшное о бокъ другъ другу. На одной сторонѣ этой картины, бѣдный художникъ, безпечный и простодушный, какъ дитя, замѣчаетъ на Невскомъ проспектѣ женщину-ангела, одно изъ тѣхъ дивныхъ созданій, которое могло производить только его художественное воображеніе; онъ слѣдитъ за нею, онъ дрожитъ, онъ не смѣетъ дохнуть, ибо онъ еще не знаетъ ея, но уже обожаетъ ее, а всякое обожаніе робко и трепетно; онъ замѣчаетъ ея благосклонную улыбку — и «кареты казались ему недвижны, мостъ растягивался и ломался на своей аркѣ, домъ стоялъ крышею внизъ, будка и аллебарда часового, вмѣстѣ съ золотыми словами и нарисованными ножницами, блестѣла, казалось, на самой рѣсницѣ его глазъ». Задыхаясь отъ упоенія и трепетнаго предчувствія блаженства, онъ входилъ за нею въ третій этажъ большого дома, и что же представляется ему?... Она, все такъ же прекрасная, очаровательная, она смотритъ на него глупо, нагло, какъ бы говоря ему: «Ну! что же ты?...» Онъ бросается вонъ. Я не хочу пересказывать его сна, этого дивнаго, драгоцѣннаго перла нашей поэзіи второго и единственнаго послѣ сна Татьяны Пушкина: здѣсь Гоголь поэтъ въ высочайшей степени. Кто читаетъ эту повѣсть въ первый разъ, для того въ этомъ дивномъ снѣ дѣйствительность и поэзія, реальное и фантастическое, такъ тѣсно сливаются, что читатель изумляется, узнавши, что все это только сонъ. Представьте себѣ бѣднаго, оборваннаго, запачканнаго художника, потеряннаго въ толпѣ звѣздъ, крестовъ и всякаго рода совѣтниковъ: онъ толкается между ними, уничтожающими его своимъ блескомъ, онъ стремится къ ней, а они безпрестанно разлучаютъ его съ нею, они, эти кресты и звѣзды, которые смотрятъ на нее безъ всякаго упоенія, безъ всякаго трепета, какъ на свои золотыя табакерки... И какое пробужденіе послѣ этого сна! и какъ можно жить послѣ такого пробужденія? И онъ точно не живетъ въ дѣйствительности, онъ весь въ грезахъ... Наконецъ, въ его душѣ блеснулъ обманчивый, но радужный лучъ надежды: онъ рѣшается на самоотверженіе, онъ хочетъ принести ей въ жертву, какъ Молоху, даже честь свою... «А я только что теперь проснулась, меня привезли въ семь часовъ утра, я была совсѣмъ пьяна», — это говоритъ

ему она, все такъ же прекрасная, очаровательная... Послѣ этого можно ли было жить даже и въ грезахъ?... И нѣтъ художника: онъ сошелъ въ темную могилу, никѣмъ не оплаканный, и міръ не зналъ, какая высокая и ужасная драма была разыграна въ этой грѣшной, страдальческой душѣ.

На другой сторонѣ этой картины вы видите Пирогова и Шиллера; того Пирогова, о которомъ я уже говорилъ; того Шиллера, который хотѣлъ отрѣзать себѣ носъ, чтобы избавиться отъ излишнихъ расходовъ на табакъ; того Шиллера, который говоритъ съ гордостью, что онъ швабскій нѣмецъ, а не русская свинья, и что у него есть король въ Германіи; того Шиллера, который «еще съ двадцатилѣтняго возраста, съ того времени, которое русскій живетъ на фуфу, измѣрилъ всю свою жизнь и положилъ себѣ, въ теченіе 10 лѣтъ, составить капиталъ изъ 50 тысячъ и у котораго это было такъ вѣрно и неотразимо, какъ судьба, потому что скорѣе чиновникъ позабудетъ заглянуть въ швейцарскую своего начальника, нежели нѣмецъ рѣшится перемѣнить свое слово»; наконецъ того Шиллера, который положилъ цѣловать жену свою въ сутки не болѣе двухъ разъ, и чтобы какъ-нибудь не поцѣловать лишній разъ, никогда не клалъ перцу болѣе одной ложечки въ свой супъ». Чего вамъ еще? Тутъ весь человѣкъ, вся исторія его жизни!...

А Пироговъ?... О, объ немъ объ одномъ можно написать цѣлую книгу!... Вы помните его волокитство за глупою блондикою, съ которою онъ составляетъ такую отличную пару, его ссору и отношенія съ Шиллеромъ; помните, какіе ужасные побои претерпѣлъ онъ отъ флегматическаго Отелло; помните, какимъ негодованіемъ, какою жаждою мести закипѣло сердце поручика, и помните, какъ скоро прошла его досада отъ съѣденныхъ кондитерскихъ пирожковъ и прочтенія «Пчелы»?... Чудные пирожки! Чудная «Пчела»! Пискаревъ и Пироговъ—какой контрастъ! Оба они начали въ одинъ день, въ одинъ часъ преслѣдованія своихъ красавицъ, и какъ различны для обоихъ нихъ были слѣдствія этихъ преслѣдованій! О, какой смыслъ скрытъ въ этомъ контрастѣ! И какое дѣйствіе производитъ этотъ контрастъ! Пискаревъ и Пироговъ... одинъ въ могилѣ, другой доволенъ и счастливъ, даже послѣ неудачнаго волокитства и ужасныхъ побоевъ!... Да, господа, скучно на этомъ свѣтѣ.

«Портретъ» есть неудачная попытка Гоголя въ фантастическомъ родѣ. Здѣсь его талантъ падаетъ, но онъ и въ самомъ паденіи остается талантомъ. Первой части этой повѣсти невозможно читать безъ увлеченія; даже, въ самомъ дѣлѣ, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое въ этомъ таинственномъ портретѣ, есть какая-то непобѣдимая прелесть, которая заставляетъ васъ насильно смотрѣть на него, хотя вамъ это и страшно. Прибавьте къ этому множество юмористическихъ картинъ и очерковъ во вкусѣ Гоголя; вспомните квартальнаго надзирателя, разсуждающаго о живописи, потомъ эту мать, которая привела къ Черткову свою дочь, чтобы снять съ нея

портретъ, и которая бранитъ балы и восхищается природою, — и вы не откажете въ достоинствѣ и этой повѣсти. Но вторая ея часть рѣшительно ничего не стоитъ; въ ней совсѣмъ не видно Гоголя. Это явная придѣлка, въ которой работалъ умъ, а фантазія не принимала никакого участія.

Вообще надо сказать, фантастическое какъ-то не совсѣмъ дается Гоголю, и мы вполнѣ согласны съ мнѣніемъ г. Шевырева, который говоритъ, что «ужасное не можетъ быть подробно: призракъ тогда страшенъ, когда въ немъ есть какая-то неопредѣленность; если же вы въ призракѣ умѣете разглядѣть слизистую пирамиду, съ какими-то челюстями вмѣсто ногъ и языкомъ вверху, тутъ ужъ не будетъ ничего страшнаго, и ужасное переходитъ просто въ уродливое». Но зато картины малороссійскихъ нравовъ, описаніе бурсы (впрочемъ, немного напоминающее бурсу Нарѣжнаго), портреты бурсаковъ, и особенно этого философа Хомы, и философа не по одному классу семинаріи, но философа по духу, по характеру, по взгляду на жизнь... О несравненный *Dominus* Хома! какъ ты великъ въ своемъ стоическомъ равнодушіи ко всему земному, кромѣ горѣлки! Ты натерпѣлся горя и страха, ты чуть не попался въ когти къ чертямъ, но ты все забываешь за широкою и глубокою ендовою, на днѣ которой схоронена твоя храбрость и твоя философія; ты на вопросъ о видѣнныхъ тобою страстяхъ машешь рукою и говоришь: «Много на свѣтѣ всякой дряни водится!» У тебя половина головы посѣдѣла въ одну ночь, а ты оттопываешь трепака, да такъ, что добрые люди, смотря на тебя, плюютъ и восклицаютъ: «Вотъ это какъ долго танцуетъ человѣкъ!» Пусть судитъ всякій, какъ хочетъ, а по мнѣ, такъ философъ Хома стоитъ философа Сковороды! Потомъ, помните ли вы невольное путешествіе философа Хомы, помните ли попойку въ шинкѣ, этого Дороша, который, нагрузившись пѣнникомъ, вдругъ захотѣлъ узнать, непремѣнно узнать, чему учатъ въ бурсѣ (шуточное дѣло!), этого резонера, который божился, что «все должно оставить такъ, какъ есть, что Богъ знаетъ, какъ нужно», и, наконецъ, этого казака съ сѣдыми усами, который рыдалъ о томъ, что остался круглымъ сиротою... А эти поучительныя бесѣды на кухнѣ, гдѣ «обыкновенно говорилось обо всемъ: и о томъ, кто пошилъ себѣ новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видѣлъ волка»? А сужденія этихъ умныхъ головъ о чудесахъ въ природѣ? а портретъ пана сотника?... и кто перечтетъ?... Нѣтъ, несмотря на неудачу въ фантастическомъ, эта повѣсть есть дивное созданіе. Но и фантастическое въ ней слабо только въ описаніи привидѣній, а чтенія Хомы въ церкви, возстаніе красавицы, явленіе Вія — безподобны.

Я еще мало говорилъ о «Тарасѣ Бульбѣ», и не буду слишкомъ распространяться о немъ, ибо, въ такомъ случаѣ, у меня вышла бы еще статья, не менѣе самой повѣсти... «Тарасъ Бульба» есть отрывокъ, эпизодъ изъ великой эпопеи жизни цѣлаго народа. Если

въ наше время возможна гомерическая эпопея, то вотъ вамъ ея высочайшій образецъ, идеалъ и прототипъ!... Если говорятъ, что въ «Иліадѣ» отражается вся жизнь греческая въ ея героическій періодъ, то развѣ однѣ піитики и реторики прошлаго вѣка запретятъ сказать то же самое и о «Тарасѣ Бульбѣ» въ отношеніи къ Малороссіи XVI вѣка?... И въ самомъ дѣлѣ, развѣ здѣсь не все казачество, съ его странною цивилизаціею, его удалою, разгульною жизнію, его безпечностію и лѣнью, неутомимостью и дѣятельностію, его буйными оргіями и кровавыми набѣгами?... Скажите мнѣ, чего нѣтъ въ картинѣ, чего недостаетъ къ ея полнотѣ? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не бьется ли здѣсь огромный пульсъ всей этой жизни? Этотъ богатырь Бульба со своими могучими сыновьями; эта толпа запорожцевъ, дружно отдирающая на площади трепака; этотъ казакъ, лежащій въ лужѣ, для показанія своего презрѣнія къ дорогому платью, которое на немъ надѣто, и какъ бы вызывающій на драку всякаго дерзкаго, кто бы осмѣлился дотронуться до него хоть пальцемъ; этотъ кошевой, поневолѣ говорящій краснорѣчивую, витіеватую рѣчь о необходимости войны съ бусурманами, потому что «многіе запорожцы позадолжались въ шинки жидамъ и своимъ братьямъ столько, что ни одинъ чортъ теперь и вѣры нейметъ»; эта мать, которая является какъ бы мимоходомъ, чтобы заживо оплакать дѣтей своихъ, какъ всегда являлась въ тотъ вѣкъ женщина и мать въ казацкой жизни... А жиды и ляхи, а любовь Андрея и кровавая месть Бульбы, а казнь Остапа? И какая поэзія энергическая, могучая, какъ эта запорожская сѣчь, «то гнѣздо, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!»

Что еще сказать вамъ? Можетъ-быть, вы мало удовлетворены и тѣмъ, что я уже сказалъ; что дѣлать! Гораздо легче чувствовать и понимать прекрасное, нежели заставлять другихъ чувствовать и понимать его. Если одни изъ читателей, прочтя мою статью, скажутъ: «это правда», или, по крайней мѣрѣ: «во всемъ этомъ есть и правда»; если другіе, прочтя ее, захотятъ прочесть и разобранныя въ ней сочиненія, — мой долгъ выполненъ, цѣль достигнута.

Но какой же общій результатъ выведу я изъ всего сказаннаго мною? Что такое Гоголь въ нашей литературѣ? Гдѣ его мѣсто въ ней? Чего должно ожидать намъ отъ него, отъ него, еще только начавшаго свое поприще, и какъ начавшаго! Не мое дѣло раздавать вѣнки безсмертія поэтамъ, осуждать на жизнь или смерть литературныя произведенія; если я сказалъ, что Гоголь поэтъ, я уже все сказалъ, я уже лишилъ себя права дѣлать ему судейскіе приговоры. Теперь у насъ слово «поэтъ» потеряло свое значеніе: его смѣшали съ словомъ «писатель». У насъ много писателей, нѣкоторые даже съ дарованіемъ, но нѣтъ поэтовъ. «Поэтъ» — высокое и святое слово, въ немъ заключается неумирающая слава. Но дарованіе имѣетъ свои степени; Козловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Шиллеръ, эти

люди поэты — но равны ли они? Развѣ не спорятъ еще и теперь, кто выше: Шиллеръ или Гете? Развѣ общій голосъ не назвалъ Шекспира царемъ поэтовъ, единственнымъ и несравненнымъ? И вотъ задача критики: опредѣлить степень, занимаемую художникомъ въ кругу своихъ собратій. Но Гоголь еще только началъ свое поприще; слѣдовательно, наше дѣло высказать свое мнѣніе о его дебютѣ и о надеждахъ въ будущемъ, которыя подаетъ этотъ дебютъ. Эти надежды велики, ибо Гоголь владѣетъ талантомъ необыкновеннымъ, сильнымъ и высокимъ. По крайней мѣрѣ, въ настоящее время онъ является главою литературы, главою поэтовъ; онъ становится на мѣсто, оставленное Пушкинымъ. Предоставимъ времени рѣшить, чѣмъ и какъ кончится поприще Гоголя, а теперь будемъ желать, чтобы этотъ прекрасный талантъ долго сіялъ на небосклонѣ нашей литературы, чтобы его дѣятельность равнялась его силѣ.

Я забылъ еще объ одномъ достоинствѣ его произведеній: это — лиризмъ, которымъ проникнуты его описанія такихъ предметовъ, которыми онъ увлекается. Описываетъ ли онъ бѣдную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощеніе святого чувства любви, — сколько тоски, грусти и любви въ его описаніи! Описываетъ ли онъ юную красоту, — сколько упоенія, восторга въ его описаніи! Описываетъ ли онъ красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссіи, — это сынъ, ласкающійся къ обожаемой матери! Помните ли вы его описаніе безбрежныхъ степей днѣпровскихъ? Какая широкая, размашистая кисть! какой разгулъ чувства! Какая роскошь и простота въ этомъ отношеніи! Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши у Гоголя! *Бѣлинскій.*

Красоты природы въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“.

Въ описаніи вѣчныхъ красотъ природы Гоголь является сыномъ юга, не только спокойно, съ любовью наслаждающимся ея красотами, подобно Пушкину или Тургеневу, но онъ весь охваченъ безпредѣльнымъ восторженнымъ обаяніемъ. Гоголь, можетъ-быть, иной разъ уступаетъ другимъ нашимъ мастерамъ слова въ блестящей обрисовкѣ деталей, доступныхъ болѣе спокойному созерцанію наблюдателя, но общій фонъ картины выступаетъ у него всегда съ особенно поразительной яркостью. Детали часто являются и у него, и иначе быть не можетъ по самому характеру его творчества, но не въ нихъ заключается главная сила его описаній.

Въ первой части «Вечеровъ» талантъ Гоголя, какъ живописателя природы, проявлялся съ особеннымъ блескомъ въ «Майской ночи», во второй — въ «Ночи передъ Рождествомъ». Въ сравненіи съ этими роскошными картинами блѣднѣетъ описаніе знойнаго малороссійскаго

дня въ «Сорóчинской ярмаркѣ» и является уже нѣсколько натянутымъ и вычурнымъ. Зато изображеніе «задумавшагося» вечера и обаятельной украинской ночи въ «Утопленницѣ» и зимней ночи — въ другой названной повѣсти съ остальными лучшими описаніями Гоголя, кажется, не имѣютъ себѣ равныхъ во всей русской литературѣ. Въ обѣихъ повѣстяхъ такой волшебной кистью нарисована картина чуднаго сіянія звѣздной ночи, спокойно и съ невыразимой нѣгой разлитою повсюду, насколько простирается поле зрѣнія, такъ искусно уловлено и представлено производимое въ такія поэтическія минуты дѣйствіе природы на человѣка, что невыразимая прелесть одинъ разъ нѣжной, благоухающей, весенней, въ другой — морозной рождественской ночи живо чувствуется при чтеніи въ продолженіе всего разсказа, отличающагося замѣчательной художественной выдержанностью.

Кромѣ того, съ особеннымъ искусствомъ умѣетъ Гоголь украшать повѣствованіе въ разныхъ мѣстахъ, какъ бы изящной рамкой, отдѣльными описательными штрихами, въ высшей степени гармонирующими съ остальнымъ изложеніемъ. При помощи ихъ иногда удается Гоголю немногими словами заставить читателя перенестись въ изображаемую обстановку, живо почувствовать и пережить самое настроеніе дѣйствующихъ лицъ подъ вліяніемъ природы въ разныя времена сутокъ и года. Уже въ «Сорóчинской ярмаркѣ» прекрасно представлено общее тревожное, подъ вліяніемъ страшныхъ разсказовъ, настроеніе всѣхъ собесѣдниковъ, собравшихся провести вечеръ въ хатѣ Солопія Черевика, — настроеніе, совершенно исчезающее съ наступленіемъ утра. Электрически потрясающее дѣйствіе всякой ничтожной внезапности, подготовленное предшествующимъ настроеніемъ, также тонко подмѣчено Гоголемъ еще въ этой его ранней повѣсти: послѣ паническаго страха, который нагналъ на все общество разсказъ о красной свиткѣ, неожиданный стукъ моментально поражаетъ всѣхъ непреодолимымъ ужасомъ. Это психологическое наблюденіе, при другой обстановкѣ и отъ другихъ причинъ, нашло себѣ впослѣдствіи приложеніе въ извѣстной сценѣ появленія Бобчинскаго и Добчинскаго, стремительно ворвавшихся въ комнату городничаго, какъ разъ въ минуту самаго напряженнаго страха всѣхъ присутствующихъ.

Въ «Майской ночи» невыразимое обаяніе чувствуется въ двухъ-трехъ предложеніяхъ, рисующихъ передъ читателями нѣгу весенняго вечера. «Было то время, когда, утомленные дневными трудами и заботами, парубки и дѣвушки шумно собирались въ кружокъ, въ блескѣ чистаго вечера, выливать свое веселье въ звуки, всегда неразлучные съ унынiемъ. И задумавшійся вечеръ мечтательно обнималъ синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль». И здѣсь описаніе природы находится въ прекрасной гармоніи съ внутреннимъ міромъ человѣка.

Но особеннаго совершенства достигаетъ Гоголь въ этомъ отношеніи въ «Ночи передъ Рождествомъ», гдѣ читатель какъ будто

видитъ передъ собой темную ночь, дышитъ здоровымъ морознымъ воздухомъ и чувствуетъ во всѣхъ жилахъ веселье и бодрость. «Чудно блещетъ мѣсяцъ! Трудно разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить весело смѣющаяся ночь. Подъ плотнымъ кожухомъ тепло; отъ мороза еще живѣе горятъ щеки, на шалости самъ лукавый подталкиваетъ сзади». Все это дѣйствительно какъ-будто «живетъ и движется передъ нами». *Шенрокъ.*

Женскіе и мужскіе типы въ „Вечерахъ“.

Всего ярче субъективное содержаніе замѣчается въ представленныхъ Гоголемъ образахъ молодыхъ дѣвушекъ. Если значительное большинство типовъ, очерченныхъ въ «Вечерахъ», представляется несомнѣнно въ комическомъ свѣтѣ; то, съ другой стороны, юный поэтъ не щадилъ красокъ для идеальнаго изображенія Ганны, Пидорки, Оксаны. Онъ съ любовью рисуетъ ихъ обаятельно-граціозную, иногда отчасти лукавую женственность и освѣщаетъ ихъ бенгальскимъ огнемъ восторженнаго лиризма. Желая, по возможности, украсить любимые типы, окружить ихъ блестящимъ ореоломъ и произвести наиболѣе разительное впечатлѣніе на читателя, въ противоположность безпощадному анализу при обрисовкѣ прочихъ лицъ, Гоголь въ данномъ случаѣ заботливо избѣгаетъ черезчуръ отчетливыхъ, грубо-реальныхъ штриховъ, пользуясь эффектами и увлекая читателей захватывающей роскошью и изяществомъ неожиданныхъ сравненій. При описаніи молодой женской красоты, которая нѣсколько позже, подъ вліяніемъ изученія искусствъ, представлялась ему, преимущественно, со стороны изящества и пластичности формъ, Гоголь любитъ изображать яркій румянецъ щекъ, черныя брови и глубокій, проницательный взоръ. Здѣсь уже позволительно видѣть не одни только слѣды наблюденій надъ преобладающими типами малороссійскихъ красавицъ или вліянія народныхъ пѣсенъ, но и отраженіе личнаго вкуса автора, какъ и въ томъ, что прекрасная дѣвушка является у него неизмѣнно на порѣ «восемнадцатой весны». Наконецъ, вниманіе автора каждый разъ устремлено, преимущественно, на обаяніе юной красоты, но внутренній міръ молодой женщины имъ иногда едва затронутъ.

Идеалъ красивой дѣвушки вырабатывался у Гоголя постепенно и, слѣдя за развитіемъ его, можно уловить любопытную послѣдовательность. Въ «Успѣхѣ посольства» (отрывокъ имъ неконченной повѣсти «Страшный кабанъ») читатель узнаетъ о красотѣ Катерины не столько изъ описанія ея авторомъ, сколько изъ своеобразныхъ сравненій ея собесѣдника, чисто въ малороссійскомъ вкусѣ; напр.: «сталъ ли бы я убирать простую кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанѣ», и дальнѣйшаго комическаго поясненія: «не-

легкая понесла бы меня къ батькѣ, когда есть такая хорошенькая дочка». Отъ себя Гоголь не прибавляетъ ничего къ изображенію Катерины, но старается дѣйствовать на воображеніе читателя щедро расточаемыми эпитетами («прекрасная», «прелестная», «бѣлокурая красавица»; бѣлокурый цвѣтъ фигурируетъ здѣсь какъ единственное исключеніе) и только въ одномъ мѣстѣ упоминаетъ объ очевидно нравившемуся ему лично въ нѣкоторыхъ красивыхъ дѣвушкахъ пристальномъ взглядѣ (въ слѣдующемъ выраженіи: «пронзительный взоръ ея, казалось, прожигалъ внутренность»). Въ «Сорóчинской ярмаркѣ» находимъ уже болѣе яркое и отчетливое изображеніе женской красоты, но еще слишкомъ внѣшнее и матеріальное. «На возу сидѣла хорошенькая дочка, съ круглымъ личикомъ, *съ черными бровями, ровными дугами поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно улыбавшимися розовыми губками*». Собственно уже въ началѣ повѣсти, описывая Пселъ, Гоголь мимоходомъ сравниваетъ рѣку и ея отраженія съ смотрящейся въ зеркало красавицей, любующейся прелестью собственнаго отраженія. Образъ послѣдней здѣсь только вскользь промелькнулъ въ творческой фантазіи автора, тогда какъ вскорѣ этимъ же самымъ поэтическимъ образомъ, распространивъ его, Гоголь воспользовался при изображеніи Оксаны въ «Ночи передъ Рождествомъ» и затѣмъ панночки въ «Тарасѣ Бульбѣ». Съ тѣхъ поръ идеализація молодой женщины надолго идетъ у Гоголя crescendo. Красота Пидорки въ «Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала» облагорожена тонкими поэтическими штрихами и сравненіями, напр.: «Полненькія щечки казачки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда умывшись Божьею росой, горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только что поднявшимся солнышкомъ». Въ этомъ поэтическомъ образѣ упоеніе женской красотой какъ бы сливается съ восторженнымъ гимномъ природѣ. Въ Пидоркѣ юный авторъ «Вечеровъ» еще замѣтнѣе, чѣмъ прежде, лелѣетъ и оберегаетъ сочувственный образъ отъ холоднаго прикосновенія свойственнаго ему разлагающаго анализа. Явно щадя въ своихъ произведеніяхъ бравыхъ казаковъ и юныхъ казачекъ, Гоголь выказываетъ къ нимъ иногда нѣкоторое пристрастіе, не углубляясь въ характеристику ихъ внутренней безсодержательности и пустоты, которая едва лишь мелькнула въ «Сорóчинской ярмаркѣ», но была совершенно заслонена художественной идеализаціей въ слѣдующихъ разсказахъ. Такъ, еще гораздо эффектнѣе и привлекательнѣе, чѣмъ Пидорка, хотя и нѣсколько прозрачно идеально, изображена Ганна въ «Майской ночи»: «Дверь распахнулась со скрипомъ, и дѣвушка, на порѣ семнадцатой весны, *обвитая сумерками*, переступила черезъ порогъ. Въ полуясномъ мракѣ горѣли привѣтно, будто звѣздочки, ясныя очи, блистало красное коралловое монисто, и отъ орлиныхъ очей парубка не могла укрыться даже краска, стыдливо вспыхнувшая на щекахъ ея». Развиваясь далѣе, образъ прекрасной женщины достигаетъ у Гоголя послѣдней степени обаянія въ неподражаемомъ

изображеніи Оксаны и ослѣпительной красоты гордой панночки въ «Тарасѣ Бульбѣ». Въ послѣднихъ такъ много плѣнительной граціи и такъ живо представлено обворожительное дѣйствіе ихъ красоты, что, очевидно, Гоголю удалось, наконецъ, въ этихъ образахъ выразить въ совершенствѣ то, что имъ только затрогивалось прежде и что раньше лишь страстно просилось излиться изъ глубины души на бумагу. Мы должны здѣсь по необходимости коснуться и поэмы «Тарасъ Бульба», такъ какъ именно въ ней нашла свое полное выраженіе вся совокупность чаръ женской красоты, которыя въ разное время производили обаяніе на Гоголя. Такъ, панночка снова изображена «черноглазою и бѣлою, какъ снѣгъ, озаренный утреннимъ румянцемъ солнца». Въ этихъ словахъ опять ясно слышится знакомая намъ нота пылкаго увлеченія наружной красотой женщины. Но дальше мы читаемъ: «глаза ея, глаза чудесные, пронзительно-ясные, *бросали взглядъ долгій, какъ постоянство*".

Почти въ каждомъ изъ юношескихъ произведеній Гоголь съ любовью рисуетъ съ разными видоизмѣненіями въ сущности все тотъ же обаятельный образъ, посвящая ему, послѣ горячо любимой украинской природы, самые роскошные цвѣты свѣжей юношеской фантазіи. Въ нравственномъ отношеніи его занимаютъ, напротивъ, два существенно различные типа молодыхъ дѣвушекъ; его воображеніе одинаково плѣняютъ какъ простодушныя красавицы, привлекательныя душевной чистотой и какой-то голубиной кротостью, вполнѣ гармонирующими съ ихъ наружной прелестью, но въ то же время не чуждыя при всемъ простодушіи прекраснаго въ своей наивности эстетическаго чувства,—такъ, съ другой стороны, онъ любитъ изображать прихотливыхъ, избалованныхъ кокетокъ, которыхъ самая недоступность дѣлаетъ особенно очаровательными. Къ первому разряду типовъ слѣдуетъ отнести Параску, Пидорку и Ганну.

Любопытно сходство между Параской и Ганной въ ихъ отношеніяхъ къ природѣ и къ чувству любви. Изобразивъ прелестную картину отраженій въ водахъ Псёла въ началѣ «Сорочинской ярмарки», Гоголь продолжаетъ: «Красавица наша (Параска) задумалась, глядя на роскошь вида, и позабыла даже лущить свой подсолнечникъ, которымъ исправно занималась во все продолженіе пути». Тѣ же самыя черты, которыя лишь слегка затронуты въ изображеніи Параски, въ болѣе тонкомъ развитіи являются въ Ганнѣ. Не, говоря уже о томъ, что эстетическое чувство выражается въ Ганнѣ съ той же непосредственностью, но и возбуждается въ ней сходной картиной природы, вообще чрезвычайно любимой Гоголемъ. «Какъ тихо колышется вода, какъ-будто дитя въ люлькѣ!» говорила Ганна, указывая на прудъ, угрюмо обставленный темнымъ кленовымъ лѣсомъ и оплакиваемый вербами, потопившими въ немъ жалобныя свои вѣтви. Даже нѣкоторыя любимыя Гоголемъ сравненія повторяются въ обоихъ случаяхъ почти въ тождественной формѣ: напр., и тамъ и здѣсь мы находимъ «огненныя, одѣтыя холодомъ искры и падающія на се-

ребряную грудь рѣки зеленыя кудри деревъ»; кромѣ уже указанныхъ строкъ, этимъ образамъ соотвѣтсвуетъ еще слѣдующій: «Какъ безсильный старецъ, держалъ онъ (прудъ) въ холодныхъ объятіяхъ своихъ далекое темное небо, осыпая ледяными поцѣлуями огненныя звѣзды, которыя тускло рѣяли среди теплаго океана ночного воздуха»; наконецъ, тотъ же образъ является еще разъ, хотя уже совершенно самостоятельно, безъ отношенія къ очарованію, возбуждаемому имъ въ человѣкѣ, въ извѣстномъ описаніи Днѣпра въ разсказѣ «Страшная месть».

Съ неподражаемой наивностью также выдаетъ себя любовь дѣвушки, иногда еще смутно сознаваемая ею. Увѣренія Грицка, что онъ не скажетъ ничего худого, вызываютъ въ Параскѣ такія мысли: «Можетъ-быть, это правда, только мнѣ чудно... вѣрно, это лукавый!... Сама, кажется, знаешь, что не годится такъ, а силы недостаетъ взять у него руку». Еще типичнѣе наивное признаніе задумавшейся Ганны: «Да тебѣ только стоитъ, Левко, слово сказать — и все будетъ по-твоему. Я знаю это по себѣ: иной разъ не послушала бы тебя, а скажешь слово — и невольно дѣлаю, что̀ тебѣ хочется». Эстетическое чувство Пидорки сказалось въ своеобразныхъ, задушевно-поэтическихъ сравненіяхъ: «Ивасю мой милый! Ивасю мой любый! бѣги къ Петрусю, мое золотое дитя, какъ стрѣла изъ лука; разскажи ему все: любила бы его карія очи, цѣловала бы его бѣлое личико, да не велитъ судьба моя».

Но постепенно этотъ простодушный типъ уступаетъ въ мечтахъ Гоголя типу противоположному, лукавому. Точку соприкосновенія между обоими типами и переходъ отъ одного къ другому можно видѣть у него въ изображеніи любующейся собственной прелестью дѣвушки. Сначала у послѣдней мы не находимъ и намека на то высокомѣрное самоуслажденіе, которое должно было вскорѣ выступить для того, чтобы ярче и рельефнѣе оттѣнить царственное величіе недоступной красоты. Безсознательное кокетство замѣчается уже въ представительницахъ перваго типа, но оно еще вполнѣ невинно и безобидно. Такъ, въ «Успѣхѣ посольства» Катерина, раздосадованная ухаживаніемъ за ней Ониська, приняла на себя сердитый видъ и воскликнула: «Ей Богу, Онисько, если ты въ другой разъ это сдѣлаешь (обнимешь), то я прямехонько пущу тебѣ въ голову вотъ этотъ горшокъ», но тотчасъ же и смягчилась, а Гоголь такъ говоритъ объ этомъ дальше: «При семъ словѣ сердитое личико немного прояснѣло, и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорила ясно: «Я не въ состояніи буду этого сдѣлать». Параска уже отъ души любуется своимъ отраженіемъ въ зеркалѣ, но подъ вліяніемъ исключительнаго настроенія и увлеченная соблазнившимъ ее мачехинымъ очипкомъ. Она счаслива любовью жениха и, отдаваясь мечтамъ объ ожидающемъ ее счастьѣ, не можетъ устоять противъ искушенія. Все въ ней ликуетъ, и отъ граціозной задумчивости она незамѣтно переходитъ, какъ истинная казачка, къ захватывающему увлеченію люби-

мымъ танцемъ. Здѣсь радость чистая, увлеченіе безвредное. Съ большимъ сочувствіемъ Гоголь говоритъ о ней: «Подперши локтемъ хорошенькій подбородокъ свой, задумалась Параска, одна сидя въ хатѣ. Много грезъ обвивалось около русой головки. Иногда вдругъ легкая усмѣшка трогала ея алыя губки, и какое-то радостное чувство поднимало темныя ея брови, иногда снова облако задумчивости опускало ихъ на карія, свѣтлыя очи».

Напротивъ, Оксана и панночка—кокетки pur-sang: онѣ наслаждаются не столько сознаніемъ своей красоты, сколько лестной мыслью о ея могущественной власти надъ людьми. Онѣ находятъ—по крайней мѣрѣ, первая—удовольствіе въ томъ, чтобы мучить и презирать тѣхъ, которые имѣли несчастіе ихъ полюбить. Поэтому для полнаго и яркаго ихъ изображенія необходимо описаніе ихъ жертвъ, которыя также поразительны своимъ сходствомъ. Здѣсь Гоголя снова увлекала мысль представить женщину на пьедесталѣ, какъ въ изображеніи Алкиноі, тогда какъ кузнецъ Вакула и Андрій, въ свою очередь, соотвѣтствуютъ очарованному Алкиноей юношѣ Телеклесу. Убѣдительное подтвержденіе можно видѣть въ слѣдующихъ сопостановленіяхъ. Не напоминаетъ ли восхищеніе Телеклеса передъ Алкиноей эти строки: «И онъ (Андрій) остался также изумленнымъ передъ нею. Не такою воображалъ онъ ее видѣть: это была не она, не та, которую онъ зналъ прежде; ничего не было въ ней похожаго на ту, но вдвое прекраснѣе и чудеснѣе была она теперь, чѣмъ прежде: тогда было въ ней что-то неконченное, недовершенное; теперь это было произведеніе, которому художникъ далъ послѣдній ударъ кисти». И здѣсь и тамъ не описаніе, а апоѳеозъ.

Поразительно сходно изображено и впечатлѣніе, произведенное всѣми тремя женщинами на ихъ поклонниковъ. Сдѣлаемъ сличеніе.

«Въ изумленіи, въ благоговѣніи повергнулся юноша къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надъ нимъ полубогини канула на его пылающія щеки.

«Трудно разсказать, что выражало смугловатое лицо чудной дѣвушки: и суровость въ немъ была видна, и сквозь суровость какая-то издѣвка надъ смутившимся кузнецомъ, и едва замѣтная краска досады разливалась по лицу, и все это такъ смѣшалось, и такъ было неизобразимо хорошо, что расцѣловать ее милліонъ разъ вотъ все, что можно было сдѣлать тогда наилучшаго.

«И ощутилъ Андрій въ своей душѣ благоговѣйную боязнь и сталъ недвижимъ передъ нею». Совершенно такое говоритъ кузнецъ Оксанѣ: «Что мнѣ до матери? ты у меня мать и отецъ, и все что ни есть дорогого на свѣтѣ!» какъ и Андрій восклицаетъ передъ панночкой: «А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?»

Въ пожилыхъ женщинахъ воображеніе Гоголя прежде всего поражалось извращеніемъ тѣхъ привлекательныхъ физическихъ и нравственныхъ качествъ, объ изображеніи которыхъ было говорено

выше. Онъ содрогается при мысли о томъ «періодѣ, когда воспоминаніе остается человѣку, какъ представитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесятъ лѣтъ гонятъ холодъ въ нѣкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы, и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія». То же впечатлѣніе рельефнѣе выражено въ заключительныхъ строкахъ «Сорочинской ярмарки»: «Еще страннѣе, еще неразгаданнѣе чувство пробудилось бы въ глубинѣ души при взглядѣ на старушекъ, на ветхихъ лицахъ которыхъ вѣяло равнодушіе могилы», и пр. Въ пожилыхъ женщинахъ Гоголь, по преимуществу, видитъ пошлость и разные недостатки: сварливость, мелкое любопытство, страсть къ сплетнямъ.

Типъ сварливой женщины нерѣдко встрѣчается въ малороссійскихъ народныхъ сказкахъ. См. напр., въ «Народныхъ южно-русскихъ сказкахъ» Рудченка сказки «Злая Химка и чортъ» и др. Въ наиболѣе полномъ развитіи у Гоголя этотъ рядъ женскихъ типовъ мы находимъ въ «Ночи передъ Рождествомъ». Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сравнить мысленно кокетливую, несмотря на свое безобразіе и старость, Хиврю, и, съ другой стороны, правда, красивую и обходительную, но все же вѣдьму, Солоху, вѣдьму, окруженную многочисленными поклонниками, но предпочитающую изъ нихъ того, отъ котораго можно ожидать больше выгоды. Въ Хиврѣ (въ «Сорочинской ярмаркѣ») соединяются, главнымъ образомъ, двѣ типическія черты: своенравіе сварливой замужней бабы и запоздалое кокетство. Если первая черта отсутствуетъ въ Солохѣ, то она является зато въ той же повѣсти въ лицѣ кумовой жены, при чемъ кумъ — лицо, явно соотвѣтствующее Солопію Черевику. Такимъ образомъ типъ Хиври не только развивается здѣсь дальше, но такъ сказать, дифференцируется. Но очевидное сходство между отношеніями Хиври къ поповичу Аѳанасію Ивановичу и Солохи — къ дьячку Осипу Никифоровичу замѣчательно и совпаденіемъ нѣкоторыхъ второстепенныхъ подробностей; напримѣръ, оба среди своихъ любовныхъ увлеченій вспоминаютъ о бурсѣ, объ отцѣ Кондратіи или о безыменномъ отцѣ протопопѣ, приводятъ тексты и проч.

Юные парубки занимаютъ Гоголя или проявленіемъ въ ихъ могучихъ натурахъ казацкихъ чертъ, своимъ беззавѣтнымъ разгуломъ, удалью и безстрашіемъ,—и въ такомъ случаѣ нѣтъ существеннаго различія между ними и пожилыми казаками,—или же они должны служить почти только для полноты картины вмѣстѣ съ изображеніемъ любимыхъ ими дѣвушекъ. Если имъ приписывается красота, то Гоголь едва лишь даетъ мелькнуть ихъ образу передъ читателемъ, да и самый образъ этотъ гораздо менѣе ярокъ въ сравненіи съ идеализованными образами дивчинъ. Вотъ, напримѣръ, какъ изображаетъ Гоголь Петра Безроднаго въ «Вечерѣ наканунѣ Ивана Купала»: «Чернобровымъ дивчатамъ и молодицамъ мало было нужды до родни его. Онѣ говорили только, что если бы одѣть его въ новый жупанъ, затянуть краснымъ поясомъ, надѣть на голову

шапку изъ черныхъ смушекъ съ щегольскимъ синимъ верхомъ, привѣсить къ боку турецкую саблю, дать въ одну руку малахай, въ другую люльку въ красивой оправѣ, то заткнулъ бы онъ за поясъ всѣхъ парубковъ тогдашнихъ». По степени развитія образа эта характеристика недалеко ушла отъ слишкомъ общей характеристики Катерины въ «Успѣхѣ посольства». Въ «Майской ночи» изъ устъ Ганны вырывается болѣе поэтическое и яркое описаніе, но все-таки не дающее опредѣленнаго представленія о наружности Левка: «Я тебя люблю, чернобровый казакъ! За то люблю, что у тебя каріе очи, и какъ поглядишь ты ими, у меня какъ-будто на душѣ усмѣхается: и весело и хорошо ей; что привѣтливо моргаешь ты чернымъ усомъ своимъ; что ты идешь по улицѣ, поешь и играешь на бандурѣ, и любо слушать тебя»... Впрочемъ, такое обаяніе производитъ, наоборотъ, Оксана въ кузнецѣ, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ: «Оксана засмѣялась, и кузнецъ почувствовалъ, что внутри его все засмѣялось. Смѣхъ этотъ какъ-будто разомъ отозвался въ сердцѣ и въ тихо-встрепенувшихся жилахъ, и за всѣмъ тѣмъ досада запала въ его душу, что онъ не во власти расцѣловать такъ пріятно засмѣявшееся лицо».

Наконецъ, Грицко въ «Сорочинской ярмаркѣ» представленъ «съ загорѣвшимъ, но исполненнымъ пріятности лицомъ и огненными глазами, стремившимися видѣть насквозь». Но ни въ изображеніи его ни мужественнаго, загорѣлаго кузнеца Вакулы нѣтъ и блѣднаго намека на тотъ прекрасный образъ, который являетъ собою Андрій въ «Тарасѣ Бульбѣ»; впечатлѣніе, произведенное послѣднимъ на паночку, опять сходно, но гораздо изящнѣе выражено, нежели увлеченіе Ганны Левкомъ. Она, казалось, также была поражена видомъ казака, представшаго во всей красѣ и силѣ юношескаго мужества, который казалось, и въ самой неподвижности своихъ членовъ уже обличалъ развязную вольность движеній; ясною твердостью сверкалъ глазъ его, смѣлою дугою выгнулась бархатная бровь, загорѣлыя щеки блистали всею яркостью дѣвственнаго огня, и, какъ шелкъ, лоснился молодой черный усъ». Такимъ образомъ, въ Андріи слились тѣ черты, которыя намѣчены были уже въ Петрѣ Безродномъ, Левкѣ и кузнецѣ Вакулѣ. И съ этой стороны, слѣдовательно, въ «Тарасѣ Бульбѣ» находимъ завершеніе и объединеніе всего, что прежде было затронуто порознь въ «Вечерахъ на Хуторѣ близъ Диканьки».

Въ старшемъ поколѣніи казаковъ, оставляя въ сторонѣ извѣстныя идеальныя черты запорожскаго типа, обрисованнаго наиболѣе опять-таки въ «Тарасѣ Бульбѣ», а изъ «Вечеровъ на Хуторѣ»— въ «Страшной мести» (которая имѣетъ также много сходныхъ чертъ съ «Тарасомъ Бульбой» и должна быть разсмотрѣна въ связи съ этимъ послѣднимъ произведеніемъ) въ лицѣ мужа Катерины, пана Данилы Бурульбаша,—кромѣ невозмутимаго хладнокровія, безпечности, упрямства, отмѣтимъ особенно комическую способность съ непостижимой быстротой переходить отъ однихъ впечатлѣній къ другимъ, совер-

шенно противоположнымъ, и страсть къ національнымъ танцамъ. Когда оскорбленный неучтивыми замѣчаніями «затѣйливаго разсказчика», дьячокъ Ѳома Григорьевичъ совсѣмъ уже собрался показать ему дулю, хозяйка догадалась «поставить на столъ горячій книшъ съ масломъ, и рука Ѳомы Григорьевича вмѣсто того, чтобы показать шишъ, протянулась къ книшу и, какъ всегда водится, всѣ начали прихваливать мастерицу-хозяйку». Солоцій Черевикъ особенно комично переходитъ въ мгновеніе ока отъ страха, возбужденнаго въ немъ разсказомъ о красной свиткѣ, къ негодованію на дерзкаго парня, обнявшаго его дочь, и отъ негодованія—къ самому дружелюбному разговору съ обидчикомъ. У казака Чуба такъ же легко смѣняется досада на прибившаго его кузнеца Вакулу мыслію о предстоящемъ свиданіи съ Солохой. *Шенрокъ.*

Романтическіе мотивы въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“ и „Арабескахъ“.

Самое увлеченіе Гоголя украинской стариной находится въ несомнѣнной связи съ увлеченіемъ историческими романами Вальтеръ-Скотта, этого колосса романтизма. Вальтеръ-Скоттъ, далъ нашему писателю форму изображенія того поэтическаго матеріала, который онъ черпалъ изъ сокровищницы родной старины. Проф. Дашкевичъ, пріурочивая произведенія украинской литературы XIX стол. къ тремъ главнымъ теченіямъ, замѣчаетъ, что одно изъ нихъ было именно романтическое, соединившееся съ этнографическимъ и историческимъ изученіемъ южнорусскаго эпоса; къ этому романтическому теченію несомнѣнно примыкаетъ такое произведеніе Гоголя, какъ «Тарасъ Бульба». Указываютъ и на нѣкоторыхъ другихъ представителей романтизма, повліявшихъ на творчество Гоголя. Такъ въ разсказѣ Гоголя «Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы» находятъ мотивы повѣсти романтика Тика «Чары любви»; «Сорочинскую ярмарку» Гоголя еще одинъ изъ современныхъ ему критиковъ (Царынный) сопоставлялъ съ разсказомъ «Вѣкъ рыцарства» Фуке. Отмѣчаютъ также и вліяніе Гофмана. Въ этомъ отношеніи, мнѣ кажется, особенно сильно напрашивается на сравненіе разсказъ Гоголя «Носъ» съ нѣкоторыми повѣстями Гофмана, напр. съ «Исторіей о потерянномъ отраженіи въ зеркалѣ» или даже съ повѣстью Шамиссо «Петръ Шлемиль», гдѣ человѣкъ теряетъ свою тѣнь; во всѣхъ этихъ разсказахъ выступаетъ на первый планъ романтическая галлюцинирующая двойственность, которая составляетъ особенность романтической психологіи и которую можно наблюдать не только у Гофмана, но и у Клейста (въ «Амфитріонѣ») и у Ахима Арнима (въ пьесѣ «Оба Вальдемара»). Само собою разумѣется, что приведенными примѣрами далеко еще не исчерпываются тѣ романтическіе штрихи, которые невольно или сознательно Гоголь наложилъ на свои поэтическіе образы. Но не въ нихъ, соб-

ственно говоря, заключается внутренняя связь нашего писателя съ романтизмомъ. Вѣдь и самый романтизмъ, какъ явленіе литературное и общественное, не можетъ быть сведенъ только къ причудамъ въ содержаніи и формѣ или къ крайностямъ въ воззрѣніяхъ. Романтизмъ, понимаемый въ широкомъ значеніи этого слова, создалъ цѣлое міровоззрѣніе, далъ цѣлый рядъ положительныхъ и величественныхъ идеаловъ, предъ которыми иногда тускнѣли блестящіе выводы вѣка разума. Романтизмъ имѣлъ свою религію, свое искусство, свою политику и науку. Въ противоположность вѣку разума съ его раціонализмомъ, романтики выдвигаютъ въ дѣлахъ вѣры на первый планъ религіозное чувство: вмѣсто разсудочной поэзіи XVIII ст. проповѣдуется независимость художественнаго творчества; на мѣсто отвлеченныхъ разсужденій въ науку исторіи проникаетъ строгое критическое и сравнительное изслѣдованіе; въ литературѣ вмѣсто аристократизма XVIII ст. возникаетъ интересъ къ старинѣ и народности; въ соціологіи механическое объясненіе соціальныхъ явленій смѣняется органическимъ и т. д. Изъ этой обширной области романтическаго міросозерцанія, овладѣвшаго обществомъ въ началѣ XIX столѣтія, нѣкоторые мотивы несомнѣнно должны были, по естественному ходу вещей, проникнуть и во внутренній міръ нашего поэта. Правда, мы привыкли поэзію Гоголя сознавать, главнымъ образомъ, какъ изображеніе отрицательной стороны дѣйствительности, да и самъ Гоголь сознавалъ ее такъ въ эпоху творчества «Мертвыхъ Душъ»; однако надо признаться, что Гоголь всегда былъ въ значительной степени склоненъ къ восторженности и къ идеализаціи, которыя или по простому совпаденію или въ силу опредѣленныхъ вліяній на нашего поэта выливались иногда въ форму ходячихъ тогда романтическихъ мотивовъ. И это уже были не случайные штрихи романтизма, о которыхъ мы говорили выше, но лучшіе его идеальные завѣты, отъ которыхъ писатель-реалистъ не могъ отказаться при всемъ реализмѣ своихъ произведеній и по которымъ онъ тосковалъ безконечно. По личнымъ моимъ впечатлѣніямъ, такими романтическими мотивами въ произведеніяхъ Гоголя являются его отношеніе къ религіи, искусству и природѣ.

Если разсматривать эти мотивы въ хронологическомъ и генетическомъ порядкѣ, то на первый планъ придется поставить отношеніе Гоголя къ природѣ. Первый міръ, въ который вступилъ Гоголь своими «Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки», былъ поэтическій міръ Украйны. Для поэта-романтика міръ украинской природы, повѣрій, преданій и быта былъ бы самой благодарной почвой. Однако Гоголь не впалъ въ крайности романтизма. Правда, онъ замѣтно идеализируетъ въ своихъ повѣстяхъ Украйну; тѣмъ не менѣе по свойству своего таланта черты украинскаго быта онъ рисуетъ настолько реально, насколько позволялъ ему находившійся у него подъ руками народно-поэтическій матеріалъ. Но въ то же время обычная восторженность Гоголя искала себѣ пищи и нерѣдко сквозь

жизнерадостный смѣхъ юмористической повѣсти прорывалась въ видѣ того или другого лирическаго эпизода. Такое лирическое настроеніе автора въ данной серіи повѣстей особенно замѣтно проявляется при изображеніи картинъ природы. Гоголь уже въ этотъ ранній періодъ своего творчества какъ бы предчувствовалъ свой идеальный «далеко отторгнутый отъ земли и возвеличенный образъ», о которомъ онъ говоритъ въ эпоху творчества «Мертвыхъ душъ», но, не находя его въ украинскомъ бытѣ, онъ его воплощалъ въ украинской природѣ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли назвать лучшія его картины природы реальными? Знаменитыя его описанія украинской ночи («Майская ночь») или Днѣпра («Страшная месть»), эти чудныя картины, при всей своей пластичности невольно поднимаются надъ землею подобно этому неуловимому, «отторгнутому отъ земли» идеалу. Вглядимся въ эти картины. Вотъ лѣтній день. Передъ нами *неизмѣримый* голубой *океанъ*, который сладострастно сжимаетъ въ своихъ объятіяхъ влюбленную землю; а на землѣ недвижно стоятъ *подоблачные* дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ на нихъ цѣлыя живописныя массы листьевъ: куда достигнутъ они, тамъ прыщетъ *золото;* куда не проникнетъ, тамъ лежитъ *темная какъ ночь* тѣнь... Какія краски и какіе контрасты! А вотъ лѣтняя ночь. Передъ нами опять *необъятный* небесный *сводъ*, онъ горитъ и дышитъ; въ этомъ необъятномъ сводѣ движется *океанъ* благоуханій; подъ нимъ лежитъ земля *вся* въ серебряномъ свѣтѣ, а на этомъ громадномъ *морѣ* серебрянаго *свѣта* лежитъ огромная *тѣнь* полныхъ мрака лѣсовъ... Какіе могучіе штрихи! Тутъ все громадно и величественно; тутъ нѣтъ деталей. Или вотъ передъ вами *величественный* Днѣпръ. Днемъ это голубая зеркальная *дорога*, *безъ мѣры* въ ширину, *безъ конца* въ длину, рѣющая по зеленому *міру;* никто кромѣ солнца и голубого неба не глядитъ въ середину этого необъятнаго зеркала. Ночью это безконечное *темное лоно*, въ которомъ отдались разомъ *всѣ звѣзды*, осыпавшіяся съ Божіей ризы. Въ бурю это — водяные *холмы*, ударяющіеся о прибрежныя *горы*, надъ которыми *горами* же по нему ходятъ черныя тучи... Вглядимся, наконецъ, въ гоголевскую степь. Это опять зелено-золотой *океанъ*, по немъ брызнули *милліоны* разныхъ цвѣтовъ, а надъ нимъ — *тысячи* птичьихъ голосовъ. Какъ это все сильно, характерно, но не детально! Даже въ «Мертвыхъ душахъ», гдѣ изложеніе Гоголя отличается, по преимуществу, объективнымъ спокойствіемъ, его не покидаетъ манера рисовать лирически-восторженныя, широкія картины природы. Вспомнимъ, какъ представляется Гоголю Русь изъ его «прекраснаго далека». Это опять *необъятный просторъ*, это — сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль... Можно ли возвышеннѣе говорить о той формѣ поверхности, которую принято называть равниной? Во всѣхъ этихъ картинахъ Гоголя мы не видимъ детальной отдѣлки: онъ рисуетъ ихъ сильными взмахами кисти, крупными мазками, самыми яркими красками, и вырастающіе отсюда идеально величественные образы

наиболѣе соотвѣтствуютъ восторженному настроенію поэта. Дѣйствительно, читая эти описанія, не столько видишь самыя картины, сколько переживаешь какое-то чудное настроеніе. И невольно хочется воскликнуть, какъ восклицаетъ Гоголь въ одномъ изъ этихъ описаній («Майская ночь»): «А на душѣ и необъятно, и чудно, и толпы серебряныхъ видѣній стройно встаютъ въ ея глубинѣ»... И это не только мое личное впечатлѣніе. Нѣкоторые критики произведеній Гоголя давно уже указали на то, что Гоголь идеализировалъ украинскую природу и жизнь и въ изображеніи ихъ допускалъ, какъ выражается Кулишъ, «эскизность манеръ», т.-е. писалъ наброски, эскизы, не проникая въ глубину своего сюжета. Этотъ характерный терминъ: «эскизность манеръ» именно заставляетъ насъ вспомнить объ отношеніи къ изображенію природы романтиковъ, для которыхъ поэтическій ландшафтъ сводился къ величественной, ярко, крупно и широко нарисованной картинѣ, и, наоборотъ, всякій опредѣленный контуръ, всякое ясное очертаніе казалось сухимъ и прозаичнымъ. Но картины природы у Гоголя не только величественны: онѣ еще и живы. Всѣ его громадные силуэты живутъ самою полною жизнью. Необъятный небесный сводъ горитъ и дышитъ, земля нѣжится въ его объятіяхъ, лѣса толпятся къ зеркалу Днѣпра и любуются своимъ свѣтлымъ зракомъ и т. п.; даже необъятный просторъ Руси глядитъ на поэта полными ожиданія очами!... Иногда эти живые силуэты принимаютъ самый фантастическій видъ. «Любо глянуть съ середины Днѣпра», говорилъ Гоголь («Страшная месть»), «на высокія горы, на широкіе луга, на зеленые лѣса! Горы тѣ — не горы: подошвы у нихъ нѣтъ; внизу ихъ, какъ и вверху, острая вершина, и подъ ними и надъ ними высокое небо. Тѣ лѣса, что стоятъ на холмахъ, не лѣса: то волосы, поросшіе на косматой головѣ лѣсного дѣда. Подъ нею въ водѣ моется борода, и подъ бородою и надъ волосами высокое небо. Тѣ луга — не луга: то зеленый поясъ, перепоясавшій по серединѣ круглое небо; и въ верхней половинѣ прогуливается мѣсяцъ». Сколько тутъ величественной, чисто миѳологической фантазіи! Тутъ нелишне вспомнить, что подъ перомъ Гоголя даже картина Невскаго проспекта въ сумерки (въ повѣсти того же имени) получаетъ какой-то таинственный, фантастическій характеръ. Эта вторая черта гоголевскихъ картинъ природы, ихъ фантастическая живость, опять заставляетъ насъ вспомнить о ландшафтѣ романтиковъ, напр. о пресловутомъ романтическомъ Waldeinsamkeit, полномъ таинственной жизни, населенномъ эльфами и демонами. Таковы всѣ ландшафты Тика, Новалиса, Гофмана... Но подобная параллель съ романтиками дѣлается не въ укоръ Гоголю. Эта параллель доказываетъ только, что Гоголь къ своей родной природѣ примѣнилъ то сердечное отношеніе, которое выдвинули романтики, что онъ любилъ свою родную природу и созерцалъ ее съ благоговѣйнымъ восторгомъ и настоящимъ энтузіазмомъ влюбленнаго, для котораго нѣтъ въ любимомъ предметѣ ни контуровъ ни

деталей, но есть только одинъ полный обаянія и именно отторгнутый отъ земли образъ. Восторженное настроеніе поэта создавало идеальный образъ, а романтизмъ давалъ этому образу соотвѣтствующую форму.

Но вотъ Гоголь вступаетъ въ новый міръ. Повѣстями, вошедшими въ сборникъ «Арабески» (1835), начался новый періодъ въ литературной дѣятельности Гоголя: изъ міра украинской поэзіи онъ вступилъ въ тотъ самый міръ пошлости, изображеніе котораго онъ вскорѣ сталъ считать своей поэтической задачей. Повидимому, въ сѣренькой чиновничьей средѣ Петербурга не могло быть пищи для восторженнаго настроенія Гоголя. Но это только такъ кажется на первый взглядъ. Правда, въ петербургской жизни не было ни поэзіи народной жизни ни поэзіи природы; но зато въ ней былъ симпатичный для Гоголя міръ художниковъ, міръ искусства; въ немъ-то Гоголь и искалъ этого «далеко отторгнутаго отъ земли и возвеличеннаго образа», въ которомъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, промелькнетъ передъ нами опять довольно опредѣленный и современный Гоголю романтическій мотивъ. Въ самомъ дѣлѣ, вспомнимъ, какъ изображаетъ Гоголь міръ художниковъ. И «Портретъ» и «Невскій проспектъ» — обѣ повѣсти рисуютъ намъ печальную картину того, что свободное художество и чистое вдохновеніе гибнутъ отъ соприкосновенія съ грубою и пошлою дѣйствительностью; въ первомъ случаѣ элементомъ этого грубаго и пагубнаго реализма являются деньги, на которыя художникъ промѣнялъ свое свободное творчество, а во второмъ — женщина, которая отвергла чистый порывъ души художника. Въ обоихъ случаяхъ Гоголь, согласно обычному пріему романтиковъ, поставилъ личность художника несравненно выше обыденной, реальной жизни, окружилъ его ореоломъ идеала и изъ міра пошлости восхитилъ въ романтическій міръ, созданный собственной фантазіей поэта. Не подлежитъ сомнѣнію, что тутъ мы встрѣчаемся съ отраженіемъ романтической теоріи, въ частности теоріи Шлегеля, о свободѣ художественнаго творчества. Въ то время, къ которому относятся вышеуказанныя повѣсти Гоголя, романтическія темы: «поэтъ» и «художникъ» получили уже право гражданства въ нашей литературѣ. Стоитъ перелистать, напр., «Московскій Вѣстникъ» М. П. Погодина, и мы встрѣтимъ тамъ рядъ стихотворныхъ произведеній и прозаическихъ разсужденій, посвященныхъ тому взгляду на поэтическое творчество, который былъ навѣянъ нѣмецкой романтикой. Даже этотъ сюжетъ гоголевскихъ повѣстей — соприкосновеніе идеальнаго міра художника въ широкомъ смыслѣ этого слова съ реальнымъ міромъ пошлости — не разъ затрогивался и другими нашими писателями и даже раньше Гоголя. Таковы произведенія кн. Одоевскаго: «Послѣдній квартетъ Бетховена», «Импровизаторъ», «Себастьянъ Бахъ», Полевого: «Живописецъ», «Аббадона», Павлова: «Именины», Пушкина: «Египетскія ночи» и т. д. Посмотримъ, въ чемъ же заключается задача этого романтическаго гоголевскаго художника.

Художникъ,—котораго по духовной структурѣ врядъ ли отдѣляетъ Гоголь отъ геніальнаго поэта или музыканта, или вообще всякой вдохновенной натуры, — по его мнѣнію, неизбѣжно нравственно падаетъ, если только спускается въ низменную сферу обыденной жизни, потому что становится ничтожнымъ человѣкомъ. Какъ тутъ кстати вспомнить, что и пушкинскій поэтъ (ст. «Поэтъ») въ тѣ минуты, когда его не посѣщаетъ вдохновеніе, теряетъ свой величественный обликъ:

И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ...

Но зато какъ высоко встанетъ художникъ надъ толпою, когда онъ не погрязнетъ въ пошлой дѣйствительности, выйдетъ побѣдителемъ изъ борьбы съ грубымъ реализмомъ жизни и взлелѣетъ свое созданіе. Гоголь рисуетъ намъ и этотъ моментъ изъ жизни художника. Герой повѣсти «Портретъ», нравственно павшій художникъ, съ видомъ знатока приближается къ картинѣ своего дотолѣ неизвѣстнаго товарища, который сберегъ въ себѣ божественную искру генія. «Боже, что́ онъ увидѣлъ!» восклицаетъ авторъ. «Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло предъ нимъ произведеніе художника». Припомнимъ тутъ кстати, что и Жуковскій называетъ въ одномъ своемъ произведеніи (въ повѣсти «Вадимъ Новогородскій») свое поэтическое творчество, свою музу «тихою», «непорочною, какъ сама природа». «И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть», говоритъ авторъ о художникѣ-творцѣ этого дивнаго созданія, «хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя бы мысль о томъ, чтобы показаться черни»... Тутъ опять напрашивается на сравненіе «поэтъ» Пушкина, который тоже далекъ отъ мысли искать одобренія черни (ср. стих. «Поэтъ и Черни»). «Оно возносилось скромно»... продолжаетъ Гоголь о созданіи художника. «Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осѣнившей его мысли. Вся картина была — мгновеніе, но то мгновеніе, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе». Трудно идеальнѣе и возвышеннѣе говорить о человѣческомъ творчествѣ. Но не трудно замѣтить, что идеалъ поэта здѣсь слишкомъ неуловимъ и туманенъ, какъ всякій романтическій образъ: онъ весь складывается изъ «божественныхъ чертъ», изъ «тайныхъ явленій», изъ чего-то «невыразимо выразимаго», какъ говоритъ Гоголь, и все это созданіе — только мгновеніе, но такое мгновеніе, къ которому надо готовиться всю жизнь. Взглядъ Гоголя

на искусство былъ замѣченъ уже почти его современниками. Ап. Григорьевъ, комментируя ту же повѣсть Гоголя («Портретъ»), по поводу вышеизложеннаго взгляда его замѣчаетъ, что Гоголь именно указалъ законы художественнаго творчества. Идеалъ художника, указанный Гоголемъ, по пониманію Ап. Григорьева, заключается въ томъ, чтобы за рельефными фигурами художественнаго произведенія таилось еще что-то, что зоветъ насъ къ безконечному и что связываетъ ихъ самихъ съ безконечнымъ незримою связью. Послѣдняя мысль о незримой связи конечнаго съ безконечнымъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что самый коментарій Ап. Григорьева къ романтическому идеалу Гоголя отзывается тоже романтизмомъ, и это вполнѣ понятно, такъ какъ самъ критикъ въ своихъ воззрѣніяхъ опирался на Шеллинга, связь котораго съ романтической школой неоспорима. Впрочемъ, еще до Ап. Григорьева, Гегель, опредѣляя прекрасное какъ безконечное въ конечномъ, подъ романтической формой искусства разумѣлъ тотъ видъ прекраснаго, въ которомъ идея, внутреннее содержаніе чувства беретъ перевѣсъ надъ явленіемъ. Не трудно видѣть, что взглядъ Гоголя на искусство можетъ быть подведенъ подъ эту именно философскую формулу. Но если Гоголь взглянулъ глазами романтика на искусство, которое, очевидно, онъ понималъ въ широкомъ смыслѣ этого слова, то и во взглядѣ его на поэзію, не на поэзію отрицательной стороны жизни, но на поэзію положительнаго идеала, — долженъ промелькнуть опять-таки романтическій мотивъ. Его идеалъ, этотъ «далеко отторгнутый отъ земли и возвеличенный образъ» (какъ онъ самъ выражается) можетъ быть «прекраснымъ удѣломъ» не только для художника-живописца, но и для того счастливаго писателя, о которомъ Гоголь говоритъ въ вышеприведенномъ лирическомъ отступленіи. Этого счастливаго писателя Гоголь болѣе всего видитъ въ Пушкинѣ и его именно поэзію опредѣляетъ романтическими штрихами. Вотъ какъ онъ говоритъ о поэзіи Пушкина въ статьѣ, носящей заглавіе: «Въ чемъ же, наконецъ, существо русской поэзіи, и въ чемъ ея особенность?» «Пушкинъ данъ былъ міру на то, чтобы доказать собою, что́ такое самъ поэтъ, и ничего больше, — что́ такое поэтъ, взятый не подъ вліяніемъ какого-нибудь времени или обстоятельствъ и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего... При мысли о всякомъ поэтѣ представляется больше или меньше личность его самого... У одного Пушкина ея нѣтъ. Что схватишь изъ его сочиненія о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ, какъ человѣка! На мѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только не находящій отклика». Тутъ Гоголь впадаетъ даже въ нѣкоторую крайность, легко, впрочемъ, объяснимую его романтической точкой зрѣнія на искусство. Поэзія Пушкина, которой, во всякомъ случаѣ, нельзя отказать въ субъективномъ элементѣ, представляется ему чѣмъ-то романтически-неуловимымъ, на все откликающимся и въ то же время ни отъ

чего не зависимымъ чуднымъ образомъ. Какъ это напоминаетъ Новалиса съ его пресловутымъ опредѣленіемъ романтическаго творчества. Поэзія, по мнѣнію Новалиса, есть не что иное, какъ міръ неопредѣленныхъ, неуловимыхъ настроеній: Stimmungen, unbestimmte Empfindungen, nicht bestimmte Empfindungen und Gefühle... То, что Новалисъ говоритъ о субъективномъ настроеніи поэта, у Гоголя примѣняется къ объективному образу поэтическаго творчества. Необходимо оговориться, впрочемъ, что Гоголь глубоко цѣнитъ въ Пушкинѣ пониманіе русской дѣйствительности, слѣдовательно признаетъ за его поэзіей національный характеръ; но въ то же время призваніе его видитъ не въ изображеніи только «самой правды жизни, но и въ изображеніи того, что «еще лучше ея», какъ онъ самъ выражается. «На то и призваніе поэта», говоритъ Гоголь, «чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ, въ очищенномъ и лучшемъ видѣ. Все показало въ Пушкинѣ, что онъ на то былъ рожденъ и къ тому стремился». Итакъ, идеалъ того счастливаго писателя, о которомъ такъ восторженно говоритъ Гоголь, того поэта положительной стороны жизни — это очищенная и просвѣтленная жизнь, — то, что лучше жизненной правды. Въ этомъ взглядѣ Гоголя на поэзію легко чувствуется та же романтическая мысль о незримой связи конечнаго съ безконечнымъ, которую подмѣтилъ Ап. Григорьевъ въ воззрѣніяхъ нашего поэта на искусство. *Замотинъ.*

Реальный и романтическій элементы въ „Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки“.

Среди различныхъ путей, какими писатель того времени шелъ на розыски настоящей «народности», былъ, какъ мы знаемъ, одинъ путь, повидимому, самый прямой и удобный. Народная жизнь въ ея далекомъ прошломъ съ ея миѳами, преданіями и обрядами, съ ея историческими воспоминаніями, давала художнику сразу обильнѣйшій матеріалъ для литературнаго сюжета и готовые образцы для внѣшней его отдѣлки. Писатель могъ воспользоваться также и тѣмъ матеріаломъ, который онъ находилъ въ современной ему жизни простонародья, въ міросозерцаніи котораго были еще такъ живы традиціи и воспоминанія старины. Въ обоихъ случаяхъ онъ стоялъ у самаго источника «народности», понятой, правда въ нѣсколько узкомъ смыслѣ, но, во всякомъ случаѣ, неподдѣльной. Эти богатства, таящіяся въ жизни народной массы, были къ тридцатымъ годамъ уже достаточно разработаны, и мы знаемъ, что критика такую разработку поощряла. Но и помимо критики на эту же сторону народной жизни обратила тогда свое вниманіе и наука, еще очень не совершенная, но, тѣмъ не менѣе, авторитетная въ глазахъ общества.

Изслѣдованіе народной старины, начавшееся еще въ XVIII вѣкѣ, подвигалось успѣшно и быстро. Если пріемы этого изслѣдованія

были мало научны, то результаты его оказались все-таки плодотворны. Старина воскресла подъ перомъ историковъ, юристовъ, издателей старинныхъ памятниковъ, въ особенности собирателей народныхъ пѣсенъ, повѣрій и обрядовъ. Къ тридцатымъ годамъ запасъ такихъ археологическихъ, историческихъ и этнографическихъ матеріаловъ былъ достаточно обширенъ и богатъ, и писатель-художникъ могъ имъ легко воспользоваться. Пользовались имъ, какъ извѣстно, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь — Гоголь въ особенности, — и такая разработка старины иной разъ обогащала нашу изящную словесность; но, какъ уже было замѣчено, литература могла и пострадать отъ неумѣлаго стремленія писателя поддѣлаться подъ эту старину и отъ неизбѣжной въ такихъ случаяхъ фальсификаціи «народности». И дѣйствительно, въ нашей словесности тѣхъ годовъ существовали всѣ эти три вида разработки народныхъ древностей — и простое, весьма цѣнное, собираніе самихъ памятниковъ старины, и художественная переработка ихъ и, наконецъ, поддѣлка подъ старое — въ большинствѣ случаевъ, неудачная его фальсификація. Рѣдко, очень рѣдко удавалось художнику реставрировать старину настолько правдоподобно, чтобы она казалась истинно народной и старинной. Пушкинъ въ своихъ «Сказкахъ» и въ своемъ «Борисѣ» подходилъ къ этому идеалу довольно близко, подходилъ и Жуковскій также въ своихъ «Сказкахъ» — но это были исключенія. Обыкновенно, въ произведеніяхъ съ такимъ народнымъ и археологическимъ колоритомъ царило полное смѣшеніе стараго съ новымъ, русскаго съ иноземнымъ, и въ лучшемъ смыслѣ получалась та амальгама, та мозаичная работа съ подборомъ старинныхъ образовъ и романтически-сентиментальныхъ положеній, какая намъ дана, напр., въ сочиненіяхъ Катенина — тогда достаточно популярнаго писателя...

Въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки» смѣшеніе реальнаго элемента съ романтическимъ составляетъ, дѣйствительно, отличительную черту всего замысла художника. Впрочемъ, былъ ли у Гоголя замыселъ, когда онъ сочинялъ эти повѣсти? Мы знаемъ, какъ случайно онѣ возникли: авторъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ ихъ художественномъ значеніи, онъ писалъ ихъ отчасти скуки ради, отчасти имѣя въ виду матеріальную выгоду, а главное писалъ ихъ потому, что часто вспоминалъ о своей Малороссіи и находилъ отраду въ этихъ воспоминаніяхъ. Быть можетъ, эти разсказы и вышли такъ непринужденно естественны и такъ разнообразны потому, что авторъ при ихъ созданіи не преслѣдовалъ никакой опредѣленной цѣли, — ни назидательной ни литературной. Смѣшеніе же романтическихъ образовъ съ чисто бытовыми картинами произошло такъ же невольно и неумышленно. Въ Гоголѣ романтическій лиризмъ всегда боролся съ зоркостью наблюдателя-жанриста, и по этому первому, самостоятельному и относительно зрѣлому произведенію никакъ нельзя было рѣшить, куда клонятся симпатіи автора — къ реальному ли изображенію жизни, или къ символизаціи ея въ романтическихъ образахъ. И то и другое въ «Вечерахъ» смѣшано и слито.

Передъ нами рядъ фантастическихъ легендъ самаго опредѣленнаго романтическаго характера, съ совсѣмъ воздушными образами вмѣсто живыхъ людей и съ большой примѣсью суевѣрія. Рядомъ съ этими легендами — много жанровыхъ картинъ, съ реальными аксессуарами, съ относительно естественной композиціей, и даже одинъ разсказъ о Шпонькѣ и его тетушкѣ, выдержанный весь, безъ малѣйшаго отклоненія, въ стилѣ строжайшаго реализма. Такое совмѣщеніе въ душѣ художника двухъ противоположныхъ пріемовъ и направленій творчества тѣмъ болѣе оригинально, что почти всегда эти направленія смѣшиваются или идутъ параллельно въ одномъ и томъ же разсказѣ. Такъ уже въ «Сорочинской ярмаркѣ» въ реальную жизнь начинаетъ вторгаться легенда. Въ разсказѣ объ «Ивановой ночи», полный ужаса и романтическихъ страстей, вставлены живые, съ натуры списанные, портреты. Въ «Майской ночи» сельская идиллія, веселая и живая, сплетена даже неестественно съ печальной легендой. Въ фантастическое сказаніе о «Страшной мести» введенъ цѣлый рядъ эпизодовъ изъ казацкой жизни, нарисованныхъ необычайно правдиво и реально. Въ «Ночи передъ Рождествомъ» фантастика совсѣмъ переплелась съ дѣйствительностью, какъ и въ «Пропавшей грамотѣ» и въ «Заколдованномъ мѣстѣ». Въ одной только «Повѣсти о Шпонькѣ»— какъ мы замѣтили — реализмъ въ искусствѣ проявился безъ всякой примѣси романтической грезы или мечты, и авторъ далъ намъ первый примѣръ истинно художественной юмористической повѣсти. Во всѣхъ остальныхъ разсказахъ онъ одновременно и юмористъ-бытописатель и сентиментальный романтикъ.

«Вечера на Хуторѣ» стояли, такимъ образомъ, на распутьи двухъ литературныхъ теченій, стараго — романтическаго и новаго — реальнаго, и скорѣе принадлежали прошлому, чѣмъ открывали дорогу новому.

Романтика въ нихъ преобладала. Она проявлялась, прежде всего, въ обиліи фантастическаго элемента, которымъ большинство этихъ повѣстей было насквозь пропитано. Эта фантастика была тогда очень распространена въ нашей словесности. Богатѣйшій родникъ ея имѣли мы въ нашихъ собственныхъ народныхъ преданіяхъ и сказкахъ; кромѣ того, многое перенесено было къ намъ съ Запада. Изъ дебрей, преимущественно, нѣмецкаго романтизма перелетали на русскую землю вѣдьмы, лѣшіе, оборотни и всякая нечисть. Повѣсти Тика, напр., читались охотно, и самъ Гоголь заимствовалъ у него завязку своего «Вечера наканунѣ Ивана Купалы». Чудесное приходило къ намъ и съ Востока, съ горъ Кавказа. Правда, повѣсти Гоголя вносили нѣчто свое въ эту чертовщину, а именно, тотъ же малороссійскій юморъ, который по репликамъ вѣдьмъ и чертей заставлялъ всѣхъ догадываться, что они проживаютъ не въ ущельяхъ финскихъ горъ, не въ дремучихъ лѣсахъ Муромскихъ, а на Лысой горѣ подъ Кіевомъ. Но это этнографическое отличіе ничуть не мѣняло ихъ роли и ихъ участія въ людской жизни.

Читатель, еще задолго до этихъ «Вечеровъ», любилъ, какъ мы въ нашемъ дѣтствѣ, чтобы съ героемъ повѣсти случалось непремѣнно что-нибудь необыкновенное, чтобы въ жизнь его вмѣшивались свѣтлые и темные духи — именно потому, что русскій читатель тогда былъ еще ребенкомъ.

Повѣсти Гоголя въ этомъ смыслѣ вполнѣ отвѣчали господствующему вкусу. Но это чудесное, подсказанное народными легендами, интересовало Гоголя не только какъ извѣстный рычагъ дѣйствія: оно совпадало съ одной очень важной стороной его собственнаго міросозерцанія. Зародыши суевѣрія и наивной вѣры съ дѣтства таились въ Гоголѣ; съ годами они окрѣпли. Эти малороссійскіе черти и вѣдьмы превратились со временемъ въ настоящаго чорта, въ существованіе котораго Гоголь вѣрилъ и отъ котораго предостерегалъ Аксакова; старые народные мрачные духи, подъ вліяніемъ религіи, отожествились тогда въ его пониманіи съ принципомъ зла и, конечно, о комическомъ ихъ вторженіи въ жизнь человѣка не могло быть и рѣчи.

Но помимо этой существенной роли, какую чудесное играло въ міросозерцаніи нашего автора, міръ призраковъ удовлетворялъ во дни его юности и другой потребности его духа, именно — жаждѣ свободы. Выворотить человѣческую жизнь наизнанку, поставивъ въ ней все вверхъ дномъ, сдѣлать ее рядомъ неожиданностей, пока въ большинствѣ случаевъ очень пріятныхъ для человѣка, значило тогда для скромнаго и нуждающагося мелкаго чиновника — испытать хоть въ мечтахъ свободный размахъ своей энергіи и воли, которая такъ была стѣснена въ жизни. Очень часто, когда обстоятельства слагаются невесело, охотно мечтаешь о томъ, какъ бы хорошо было, если бы они вдругъ, по щучьему велѣнію, какъ говорятъ, перемѣнились. Такъ могло быть и съ Гоголемъ.

Таившееся въ немъ суевѣріе и страхъ передъ зломъ въ мірѣ нашло себѣ выраженіе въ такихъ повѣстяхъ, какъ «Вечеръ наканунѣ Ивана Купалы» и «Страшная месть», а невинная мечта о благосклонномъ вмѣшательствѣ этихъ силъ въ жизнь человѣка отразилась въ «Майской ночи» и въ особенности въ «Ночи передъ Рождествомъ».

Но помимо чудеснаго, которое придаетъ этимъ повѣстямъ такой романтическій характеръ, само изображеніе малороссійскаго быта грѣшитъ нерѣдко излишней романтической красотой. Конечно, сравнительно со всѣми прежними опытами въ этомъ родѣ, «Вечера на Хуторѣ» могутъ быть названы первой правдивой картиной южнорусскаго быта, написанной безъ всякой тенденціи — дидактической или сентиментальной. Но это отсутствіе тенденціи и даже обиліе вѣрно схваченныхъ и правдиво изображенныхъ типовъ не спасаютъ «Вечера на Хуторѣ» отъ упрека въ идеализаціи и въ не совсѣмъ правдоподобной компановкѣ разсказа. Одно время критика очень придирчиво высчитывала разныя ошибки, которыя Гоголь допустилъ въ об-

рисовкѣ малорусскаго народнаго характера и въ описаніи различныхъ народныхъ обрядовъ; она оказалась, однако, неправдой: почти все, что Гоголь говорилъ о малорусской жизни, было фактически вѣрно; онъ ничего не измыслилъ и не исказилъ; но вопросъ не въ этомъ — вѣрно ли онъ срисовалъ детали. Онѣ могли быть всѣ списаны съ натуры или взяты изъ народныхъ пѣсенъ. Если Гоголь въ чемъ погрѣшилъ противъ правды, такъ это въ компановкѣ этихъ деталей и въ привычкѣ слишкомъ оттѣнять красивую и яркую сторону изображаемой имъ жизни.

Въ компановкѣ повѣстей допущены, дѣйствительно, нѣкоторыя странности, съ реализмомъ не вполнѣ согласныя. Могла ли свадьба устроиться такъ быстро, какъ она устроилась на ярмаркѣ въ Сорочинцахъ, и могъ ли цыганъ такъ хитро спрятать всѣ нити своей интриги и своего «чудеснаго» вмѣшательства въ ходъ сватовства парубка — это остается на совѣсти автора; могла ли майская ночь пройти такъ безумно-весело съ такимъ импровизированнымъ крестьянскимъ маскарадомъ, съ такой правильно организованной остроумной уличной демонстраціей хлопцовъ противъ начальства — это также сомнительно; какимъ образомъ вся ночь предъ Рождествомъ обратилась въ сплошную буффонаду, невѣроятно запутанную и невѣроятно смѣшную, какимъ образомъ всѣ дѣйствующія лица этого фарса могли позволить случайностямъ такъ играть съ собой — тоже мало понятно. Впрочемъ, можетъ быть, въ этой малопонятливости и заключался умыселъ художника; но, во всякомъ случаѣ, въ его планы отнюдь не входило заставлять своихъ крестьянъ иной разъ говорить совсѣмъ городской выхоленной рѣчью, а въ «Вечерахъ» такая рѣчь въ устахъ парубковъ и дѣвчатъ совсѣмъ не рѣдкость. Послушать ихъ любовные разговоры — и въ нихъ даже не замѣтно поддѣлки подъ народную рѣчь, до того ихъ слова отборны и литературны...

Помимо этихъ довольно явныхъ отступленій отъ реализма и житейской правды, нельзя не указать и на описанія природы, какъ на образецъ художественной, но никакъ не реальной пейзажной живописи. Мы съ дѣтства привыкли благоговѣть передъ этими описаніями и учимъ ихъ наизусть; но едва ли, созерцая настоящую природу Малороссіи, мы о нихъ когда-либо вспомнимъ. Конечно, тѣ страницы «Вечеровъ», гдѣ насъ спрашиваютъ, «знаемъ ли мы украинскую ночь», и гдѣ намъ говорятъ, какъ «чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ» — эти страницы ослѣпительны по блеску метафоръ, красотѣ образовъ и торжественному настроенію созерцателя, но это не описанія того, что видишь и что желалъ бы другого заставить видѣть, это — восторгъ по поводу видѣннаго, и, какъ таковой, онъ субъективенъ въ крайней степени.

Нельзя назвать реальной живописью и тѣ портреты, преимущественно женскіе, которые нерѣдко авторъ вставляетъ въ свои разсказы. Въ нихъ очень много красоты, но жизни мало. Когда видишь,

какъ на возу сидитъ хорошенькая дочка Солопія Черевика — «съ круглымъ личикомъ, съ черными бровями, ровными дугами, поднявшимися надъ свѣтлыми карими глазами, съ безпечно улыбающимися розовыми губками, съ повязанными на головѣ красными и синими лентами, которыя вмѣстѣ съ длинными косами и пучкомъ полевыхъ цвѣтовъ богатою короной покоятся на ея очаровательной головкѣ», то такому портрету вѣришь, хотя и не узнаешь въ немъ крестьянки. Но когда затѣмъ читаешь про дочку Коржа, какъ «ея щеки были свѣжи и ярки, какъ макъ самаго тонкаго розоваго цвѣта, когда, умывшись Божьей росою, — горитъ онъ, распрямляетъ листики и охорашивается передъ только что поднявшимся солнышкомъ; какъ брови ея, словно черные шнурочки, ровно нагнувшись, какъ-будто глядятся въ ясныя очи; какъ ротикъ ея, кажись, на то и созданъ, чтобы выводить соловьиныя пѣсни; какъ волосы ея черны, какъ крылья ворона, и мягки, какъ молодой ленъ» — то такому портрету уже не вѣришь, хотя и любуешься имъ, какъ любуешься и на первый выходъ Ганны, когда она на «порѣ семнадцатой весны, обвитая сумерками, робко оглядываясь и не выпуская ручки двери, переступаетъ черезъ порогъ; когда въ полуясномъ мракѣ горятъ привѣтно, будто звѣздочки, ея ясныя очи»...

Всѣ эти женскіе портреты — типичные образцы ходячей красоты, символы женскаго внѣшняго совершенства и убранства. Эти деревенскія красавицы не хрупки, не блѣдны, не воздушны, какъ дѣвы тогдашней романтики; онѣ не разсѣиваются въ туманѣ, напротивъ того, онѣ всѣ очень здоровы, румяны, какъ былинныя красавицы, но онѣ все-таки сродни своимъ блѣднымъ сестрамъ, онѣ также съ реальной жизнью имѣетъ мало общаго, хотя и носятъ на себѣ отпечатокъ здоровья.

Такъ же точно и любовныя рѣчи этихъ красавицъ и ихъ обожателей едва ли не подслушаны Гоголемъ; вѣрнѣе, что они отзвукъ народныхъ малороссійскихъ пѣсенъ.

Такая идеализація типовъ — явленіе, однако, не постоянное. Подкрашены, въ большинствѣ случаевъ, только молодые типы — тѣ, вокругъ которыхъ сплетается любовная романтическая завязка. Чѣмъ дѣйствующее лицо старше — тѣмъ оно реальнѣе обрисовано. Старики и старухи иногда даже смахиваютъ на карикатуры — такъ усердно авторъ при изображеніи ихъ, не соблюдая мѣры, гнался за реализмомъ.

Такимъ образомъ, «Вечера на Хуторѣ», при многихъ вѣрныхъ бытовыхъ деталяхъ, при относительно естественномъ языкѣ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица, наконецъ, при, безспорно, «народныхъ» сюжетахъ историческихъ, легендарныхъ и бытовыхъ, были все-таки произведеніемъ, созданнымъ скорѣе въ старомъ стилѣ, сентиментально-романтическомъ, чѣмъ въ стилѣ новомъ, который требовалъ тѣсной связи искусства и жизни. Одна только «повѣсть объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ» давала понять, что́ авторъ

способенъ создать въ этомъ новомъ реальномъ стилѣ. Но эта повѣсть осталась неоконченной, и застѣнчивый Иванъ Ѳедоровичъ — родственникъ Подколесина, его тетушка-амазонка и ея дворня, Григорій Григорьевичъ, хитрый плутъ, и его благонравныя сестрицы промелькнули передъ нами и исчезли, чтобы появиться, однако, вновь въ «Женитьбѣ», «Ревизорѣ» и Мертвыхъ Душахъ».

Итакъ, въ исторіи жизни и творчества Гоголя «Вечерамъ на Хуторѣ близъ Диканьки» должно быть отведено, несмотря на незатѣйливость ихъ содержанія, мѣсто очень видное. Эти повѣсти были первымъ оригинальнымъ произведеніемъ нашего автора, въ которомъ «народность», понимаемая не въ широкомъ, а въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, нашла себѣ художественное воплощеніе. Гоголь являлся передъ нами и какъ бытописатель современной ему простонародной малороссійской жизни и какъ романтикъ, творчески пересоздающій старыя преданія и легенды. Онъ смѣшивалъ въ своемъ произведеніи оба стиля, отдавая пока предпочтеніе романтическому, въ которомъ онъ выдерживалъ даже описанія природы и характеристику многихъ дѣйствующихъ лицъ, — что не мѣшало ему изображать другія лица и иныя положенія съ неподдѣльной простотой и трезвостью истиннаго реалиста. Въ этомъ смѣшеніи двухъ стилей, равно какъ и въ чередованіи веселья и грусти, смѣха и слезъ, сказывались не только неустановившееся пока направленіе его творчества, но также та внутренняя борьба, которая происходила въ самомъ авторѣ: идеализмъ романтика никакъ не могъ ужиться со способностью реалиста видѣть насквозь всю пошлость и грязь той дѣйствительности, которую хотѣлось бы понять и истолковать въ иномъ, возвышенномъ и идеальномъ смыслѣ.

Послѣ юношескаго мечтательнаго сентиментализма, какъ онъ выразился въ «Ганцѣ» и отчасти въ «Вечерахъ на Хуторѣ», художникъ вступалъ теперь въ новый фазисъ своего духовнаго развитія; въ немъ, послѣ упорной борьбы, крѣпъ все болѣе и болѣе трезвый, юмористическій взглядъ на окружающую его дѣйствительность, который и достигъ своего полнаго выраженія въ комедіяхъ и въ «Мертвыхъ Душахъ».

На этой ступени художественнаго созерцанія жизни Гоголь однако не устоялъ. Неудовлетворенный однимъ созерцаніемъ, онъ сталъ упорно доискиваться ея религіозно-нравственнаго смысла, и вновь романтикъ восторжествовалъ надъ реалистомъ. Художникъ произнесъ тогда осужденіе всему тому, что онъ успѣлъ надумать и высказать, и онъ захотѣлъ все это передумать и пересказать по-новому.

Котляревскій.

Художественное, философское и автобіографическое значеніе повѣсти «Портретъ».

Надъ повѣстью «Портретъ» Гоголь трудился долго, часто ее передѣлывалъ, и въ сороковыхъ годахъ написалъ ее почти-что заново, что̀ указываетъ на особое значеніе, какое онъ придавалъ ей. Если въ выборѣ сюжета и въ главномъ мотивѣ повѣсти, т.-е. въ противорѣчіи истиннаго искусства съ ремесломъ, и въ исторіи о таинственномъ портретѣ, въ которомъ заключена частица души оригинала, съ котораго онъ списанъ, нашъ писатель, по всѣмъ вѣроятіямъ, былъ связанъ извѣстными литературными традиціями и воспоминаніями, то въ разработкѣ темы и, главнымъ образомъ, въ развитіи двухъ основныхъ ея мыслей Гоголь былъ вполнѣ оригиналенъ и субъективенъ.

Повѣсть была лишена всякаго мѣстнаго бытового интереса, не говоря уже о соціальномъ. Это былъ разсказъ общаго типа, въ которомъ можно было безъ нарушенія правдоподобности замѣнить всѣ русскія имена лицъ и мѣстъ иностранными. Скажемъ больше: при такой замѣнѣ повѣсть выиграла бы въ стилѣ; она все-таки по стилю западно-романтическая и спеціально нѣмецкая. Не будь въ ней нѣкоторыхъ мыслей, выстраданныхъ самимъ Гоголемъ, можно было бы подумать, что онъ написалъ ее, вспоминая Гофмана или Тика.

Въ повѣсть включено два эпизода; разсказъ о гибели таланта художника Черткова и разсказъ о страшномъ ростовщикѣ. При всей занимательности этихъ двухъ эпизодовъ и мастерствѣ, съ какимъ они изложены, не въ нихъ смыслъ повѣсти. Легенда о ростовщикѣ и объ антихристѣ—простая сказка, а исторія гибели художника—подтвержденіе старой, мало интересной, истины о томъ, что нельзя служить Богу и мамонѣ, что погоня за успѣхомъ и служеніе святому, истинному призванію трудно примиримы.

«Портретъ»—славословіе искусства и болѣе полное и художественное повтореніе тѣхъ мыслей, какія Гоголь высказывалъ въ своемъ гимнѣ скульптурѣ, живописи и музыкѣ, въ своемъ воззваніи къ генію, въ статьѣ о Пушкинѣ и въ другихъ своихъ лирическихъ изліяніяхъ. Когда злой геній шепчетъ художнику: «Ты думаешь, что долгими усиліями можно постигнуть искусство, что ты выиграешь и получишь что-нибудь? Да, ты получишь завидное право кинуться съ Исаакіевскаго моста въ Неву или, завязавъ шею платкомъ, повѣситься на первомъ гвоздѣ; а труды твои первый маляръ, накупивъ ихъ на рубль, замажетъ грунтомъ, чтобы нарисовать на немъ какую-нибудь красную рожу. Брось свою глупую мысль! Все дѣлается на свѣтѣ для пользы. Бери же скорѣе кисть и рисуй портреты со всего города! Бери все, что ни закажутъ; но не влюбляйся въ свою работу, не сиди надъ нею дни и ночи: время летитъ скоро, и жизнь не останавливается. Чѣмъ больше смастеришь ты въ день своихъ картинъ, тѣмъ больше

въ карманѣ будетъ у тебя денегъ и славы»—когда злой геній шепчетъ эти слова, онъ повторяетъ то, что всегда говорилось всѣми, кто оплакивалъ гибель таланта въ сѣтяхъ моды. Немного новаго, хотя много красиваго, давали и тѣ страницы повѣсти, на которыхъ Гоголь стремился передать читателю впечатлѣнія истиннаго, высокаго вдохновенія и искусства. Припомнимъ одну страничку, и тотъ, кто имѣлъ случай читать романтическія повѣсти тридцатыхъ годовъ, найдетъ въ словахъ Гоголя много знакомаго, хотя, конечно, долженъ будетъ признать силу этой красивой и патетической рѣчи.

«Чистое, непорочное, прекрасное, какъ невѣста, стояло передъ нимъ (Чертковымъ) произведеніе художника. И хоть бы какое-нибудь видно было въ немъ желаніе блеснуть, хотя бы даже извинительное тщеславіе, хотя мысль о томъ, чтобы показаться черни,—никакой, никакихъ! Оно возносилось скромно. Оно было просто, невинно, божественно, какъ талантъ, какъ геній. Изумительно-прекрасныя фигуры группировались непринужденно, свободно, не касаясь полотна, и, изумленныя столькими устремленными на нихъ взорами, казалось, стыдливо опустили прекрасныя рѣсницы. Въ чертахъ божественныхъ лицъ дышали тѣ тайныя явленія, которыхъ душа не умѣетъ, не знаетъ пересказать другому: невыразимо выразимое покоилось на нихъ; и все это было наброшено такъ легко, такъ скромно-свободно, что, казалось, было плодомъ минутнаго вдохновенія художника, вдругъ осѣнившей его мысли. Вся картина была мгновеніе, но то мгновенье, къ которому вся жизнь человѣческая есть одно приготовленіе. Невольныя слезы готовы были покатиться по лицамъ посѣтителей, окружавшихъ картину. Казалось, всѣ вкусы, всѣ дерзкія, неправильныя уклоненія вкуса слились въ какой-то безмолвный гимнъ божественному произведенію».

Никогда, говоря объ искусствѣ, Гоголь не возвышался до такой красоты выраженія, и если невыразимое, дѣйствительно, поддается до извѣстной степени выраженію, то такая степень на этой страницѣ достигнута, и въ писателѣ чувствуется и творецъ изящнаго, и удивительно тонкій его цѣнитель.

Но не эти страницы въ «Портретѣ» самыя цѣнныя. Есть въ этой повѣсти двѣ мысли, съ которыми не встрѣчаешься въ однородныхъ повѣстяхъ того времени, и очень важныхъ въ исторіи развитія взглядовъ самаго Гоголя на искусство. Одна мысль касается вопроса о степени приближенія искусства къ жизни, т.-е. о границахъ истиннаго реализма въ художественномъ воспроизведеніи дѣйствительности.

Гоголь описываетъ впечатлѣніе, произведенное портретомъ на художника: «Чертковъ,—разсказываетъ онъ,—съ жадностью ухватился за картину, но вдругъ отскочилъ отъ нея пораженный страхомъ. Темные глаза нарисованнаго старика глядѣли такъ живо и вмѣстѣ мертвенно, что нельзя было не ощутить испуга. Казалось, въ нихъ неизъяснимо странною силою удержана была часть жизни. Это были не нарисованные, это были живые, это были человѣческіе

глаза... Не смѣя думать о томъ, чтобы взять портретъ съ собою, Чертковъ выбѣжалъ на улицу. «Что это?» думалъ онъ самъ про себя: «искусство или сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законовъ природы? Какая странная, какая непостижимая задача! Или для человѣка есть такая черта, до которой доводитъ высшее познаніе искусства и черезъ которую шагнувъ, онъ уже похищаетъ несоздаваемое трудомъ человѣка, онъ вырываетъ что-то живое изъ жизни, одушевляющей оригиналъ. Отчего же этотъ переходъ за черту, положенную границею для воображенія, такъ ужасенъ? Или за воображеніемъ, за порывомъ слѣдуетъ, наконецъ, дѣйствительность, та ужасная дѣйствительность, на которую соскакиваетъ воображеніе съ своей оси какимъ-то постороннимъ толчкомъ, та ужасная дѣйствительность, которая представляется жаждущему ее тогда, когда онъ, желая постигнуть прекраснаго человѣка, вооружается анатомическимъ ножомъ, раскрываетъ его внутренность и видитъ отвратительнаго человѣка? Непостижимо! Такая изумительная, такая ужасная живость! Или черезчуръ близкое подражаніе природѣ такъ же противно, какъ блюдо, имѣющее черезчуръ сладкій вкусъ?» Но это было, во всякомъ случаѣ, произведеніе искусства, «которое, хотя оно было не окончено, однако носило на себѣ рѣзкій признакъ могущественной кисти; но, при всемъ томъ, эта сверхъестественная живость глазъ возбуждала какой-то невольный упрекъ художника. Всѣ чувствовали, что это верхъ истины, что изобразить ее въ такой степени можетъ только геній, но что этотъ геній уже слишкомъ дерзко перешагнулъ границы воли человѣка».

Если мы вспомнимъ, что въ тѣ годы, когда «Портретъ» былъ написанъ, въ талантѣ Гоголя происходила упорная борьба его романтическихъ вкусовъ съ все болѣе и болѣе созрѣвавшей способностью реальнаго бытописанія, то эти размышленія художника надъ границами приближенія искусства къ жизни пріобрѣтаютъ особое значеніе. Талантъ Гоголя, дѣйствительно, приближалъ художника къ той чертѣ, которая отдѣляетъ искусство отъ самой жизни. Съ каждымъ годомъ анатомическая зоркость его артистическаго взгляда возрастала. Жизнь теряла тотъ постепенный привлекательный образъ, который она имѣла, когда художникъ смотрѣлъ на нее взглядомъ романтика; грязь и грѣховность этой жизни переходила на страницы созданій поэта. У него—строгаго моралиста отъ рожденія—могла явиться мысль, не служитъ ли искусство самому грѣху, когда такъ правдиво его воспроизводитъ? Эту робкую, тревожную мысль онъ и высказалъ въ своемъ «Портретѣ». Предчувствовалъ ли онъ, что со временемъ онъ въ ней укрѣпится и все созданное имъ въ реальномъ стилѣ сочтетъ грѣхомъ передъ человѣчествомъ и въ частности передъ русской жизнью? Пока эта мысль была высказана лишь въ видѣ догадки, и, увлекаемый своимъ талантомъ, Гоголь не давалъ ей власти надъ своимъ творчествомъ. Онъ, наоборотъ, старался, чтобы именно частица жизни, самой будничной, оставалась въ его созданіяхъ. Онъ

не убѣгалъ грѣха жизни, а шелъ ему смѣло навстрѣчу. Но замѣчательно все-таки, что именно въ годы этого смѣлаго творчества такая мысль остановила на себѣ его вниманіе.

Въ томъ же «Портретѣ» Гоголь высказалъ и другую мысль, которой также суждено было со временемъ восторжествовать въ его творчествѣ. Это была мысль о религіозномъ призваніи искусства и поэта въ жизни—мысль старая, нѣмецкая по происхожденію. Художникъ, написавшій знаменитый портретъ ростовщика, который былъ не кто иной, какъ самъ антихристъ, долженъ былъ искупить свой грѣхъ—свой невольный грѣхъ артиста. Онъ и искупилъ его постомъ и молитвой, иноческой жизнью и своимъ же искусствомъ, которое онъ всецѣло посвятилъ Богу. Міръ дѣйствительный далеко отошелъ отъ него, и ему здѣсь на землѣ уже свѣтилъ міръ небесный. Стоя на краю могилы, раскаявшійся художникъ говорилъ своему сыну: «Дивись, мой сынъ, ужасному могуществу бѣса. Онъ во все силится проникнуть; въ наши дѣла, въ наши мысли и даже въ самое вдохновеніе художника. Безчисленны будутъ жертвы этого адскаго духа, живущаго невидимо, безъ образа, на землѣ. Это тотъ черный духъ, который врывается къ намъ даже въ минуту самыхъ чистыхъ и святыхъ помышленій. Горе, сынъ мой, бѣдному человѣчеству... Но слушай, что мнѣ открыла въ часъ святого видѣнія сама Божія Матерь. Когда я трудился надъ изображеніемъ пречистаго лика Дѣвы Маріи, лилъ слезы покаянія о моей протекшей жизни и долго пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, чтобы быть достойнѣе изобразить божественныя черты ея, я былъ посѣщенъ вдохновеніемъ, я чувствовалъ, что высшая сила осѣнила меня, и ангелъ возносилъ мою грѣшную руку, я чувствовалъ, какъ шевелились на мнѣ волоса мои, и душа вся трепетала. Тогда же предсталъ мнѣ во снѣ пречистый ликъ Дѣвы, и узналъ, что въ награду моихъ трудовъ и молитвъ сверхъестественное существованіе этого демона въ портретѣ будетъ невѣчно». Случай, разсказанный въ «Портретѣ», конечно, случай исключительный, и портретъ, списанный съ антихриста, хотя бы безъ вѣдѣнія художника, могъ требовать отъ него покаянія; но, читая эту повѣсть и припоминая нѣкоторыя мысли, которыми Гоголь былъ занятъ въ послѣдніе годы своей жизни, нельзя опять не подивиться страннымъ совпаденіямъ... Гоголя, какъ извѣстно, преслѣдовали списанные имъ съ натуры портреты; онъ думалъ, что онъ совершилъ тяжкій грѣхъ, отдавшись свободно своему вдохновенію, онъ вѣрилъ, что на немъ лежитъ обязанность искупить все имъ сотворенное новой творческой работой, и онъ у Бога также просилъ вдохновенія, чтобы Онъ помогъ ему на новомъ пути уже не простого воспроизведенія дѣйствительности, а ея возсозданія въ идеальныхъ образахъ. Постомъ и молитвой замаливалъ и Гоголь свой грѣхъ реалиста-художника.

Но все это случилось значительно позже; въ серединѣ тридцатыхъ годовъ эта религіозная мысль лишь промелькнула въ «Портретѣ», не возбудивъ пока особенно сильной тревоги въ душѣ благочестиваго художника.

Котляревскій.

Природа, обычаи и преданія Украйны въ повѣстяхъ Гоголя.

Уже въ первыхъ малороссійскихъ повѣстяхъ, которыя Гоголь началъ писать съ 1829 года, выразился положительный характеръ его таланта, направленнаго къ внимательному изученію дѣйствительности. Среди разныхъ невзгодъ своей петербургской жизни, онъ съ особенной любовью обращается къ воспоминаніямъ первой юности: этимъ объясняется страстное одушевленіе, съ какимъ онъ описываетъ природу и нравы родной Малороссіи. Въ апрѣлѣ 1829 года онъ пишетъ матери: «Вы имѣете тонкій наблюдательный умъ, вы много знаете обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщить мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно. Въ слѣдующемъ письмѣ я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ все это называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ; равнымъ образомъ названія платья, носимаго нашими крестьянскими дѣвками до послѣдней ленты, также нынѣшними замужними и мужиками. Вторая статья: названіе точное и вѣрное платья, носимаго до временъ гетманскихъ. Вы помните, разъ мы видѣли въ нашей церкви одну дѣвку, одѣтую такимъ образомъ. Объ этомъ будетъ нужно разспросить старожиловъ: я думаю, Анна Матвѣевна или Агаѳія Матвѣевна много знаютъ кое-чего изъ древнихъ годовъ. Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская ни малѣйшихъ подробностей. Объ этомъ можно разспросить Демьяна, котораго мы видѣли учредителемъ свадебъ и который зналъ, повидимому, всевозможные повѣрья и обычаи. Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, о Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть, кромѣ того, какіе-либо духи или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами. Множество носится между простымъ народомъ повѣрій, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ и проч. На этотъ случай совѣтую имѣть корреспондентовъ въ разныхъ мѣстахъ нашего повѣта». Такъ приступилъ Гоголь къ своимъ повѣстямъ, составившимъ два тома «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки». Мы не будемъ подробно разбирать ихъ: укажемъ только, въ чемъ состоитъ главное ихъ значеніе. Тутъ вы находите, во-первыхъ, пластичныя описанія украинской природы; во-вторыхъ, ярко обрисованы многіе народные обычаи, и живьемъ выступаетъ типъ запорожца съ его безпечностью и разгуломъ, такъ же какъ многіе прекрасные типы женщинъ; въ-третьихъ, съ живымъ мѣстнымъ колоритомъ воспроизведены народныя преданія о колдунахъ, о вѣдьмахъ, о чертяхъ, о кладахъ и проч. Въ повѣсти «Утопленница» обаятельно описана мѣсячная ночь съ ея чарами. Левко идетъ въ лѣсъ къ старому господскому дому, о которомъ носятся недобрые разсказы. Онъ за-

дремалъ надъ прудомъ, убаюканный пѣснію соловья... протираетъ глаза, и видитъ: «Какое-то странное, упоительное сіяніе примѣшалось къ блеску мѣсяца... Серебряный туманъ палъ на окрестность. Запахъ отъ цвѣтущихъ яблонь и ночныхъ цвѣтовъ лился по всей землѣ». Левко глядитъ въ прудъ и видитъ чудо: старинный домъ отразился тамъ въ новомъ видѣ. «Вмѣсто мрачныхъ ставней—веселыя стеклянныя окна и двери. Сквозь чистыя стекла мелькала позолота. И вотъ почудилось, будто окно отворилось. Притаивши духъ, не дрогнувъ и не спуская глазъ съ пруда, онъ, казалось, переселился въ глубину его и видитъ: прежде выставился въ окно бѣлый локоть, потомъ выглянула привѣтливая головка, съ блестящими очами, тихо свѣтлѣвшими сквозь темно-русыя волны волосъ и оперлась на локоть; и видитъ: она качаетъ слегка головою, она машетъ, она усмѣхается... Сердце его вдругъ забилось... Вода задрожала, и окно закрылось снова». Левко отошелъ отъ пруда, но при лунномъ свѣтѣ домъ ему все кажется новымъ. Его оглушали пѣсни соловьевъ, а когда онъ замиралъ въ томленіи, «слышался шелестъ и трещаніе кузнечиковъ или гудѣніе болотной птицы, ударявшей скользкимъ носомъ своимъ въ широкое водное зеркало! Онъ настроилъ бандуру и запѣлъ:

«Ой, місяцю, місяченьку!
И ты, зоря ясна!
Ой, свіитіть тамъ по подврью,
Де дівчина красна».

И вотъ, въ окнѣ показалась та самая панночка, которую онъ видѣлъ въ пруду,— блѣдная, какъ блескъ мѣсяца. «Парубокъ,— говорила она,—найди мнѣ мою мачеху!... я награжу тебя... у меня есть зарукавья, шитыя шелкомъ, кораллы, ожерелья. Я подарю тебѣ поясъ, унизанный жемчугомъ. У меня золото есть... Парубокъ, найди мнѣ мою мачеху! Она страшная вѣдьма: мнѣ не было отъ нея покоя на бѣломъ свѣтѣ. Она мучила меня: заставляла работать, какъ простую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела румянецъ своими нечистыми чарами со щекъ моихъ. Погляди на бѣлую шею мою: они не смываются! они ни за что не смоются, эти синія пятна отъ желѣзныхъ когтей ея!...» Итакъ, это была дѣвушка, которая, не вытерпѣвъ гоненій мачехи, бросилась въ прудъ и обратилась въ русалку; но и мачеха, ставши русалкой, скрылась въ пруду, такъ что панночка не можетъ отличить ея между подругами. Левко вдругъ увидѣлъ на берегу: «въ тонкомъ, серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ-будто тѣни, въ бѣлыхъ, какъ убранныйландышами лугъ, рубашкахъ». Онѣ стали играть въ ворона, и Левко узналъ вѣдьму въ той, которая усерднѣе другихъ представляла ворона, со злобой хватая дѣвушекъ. Изъ этого примѣра видно, какъ искусно Гоголь связываетъ поэтическія преданія народа съ обаяніемъ роскошной природы: лѣсная тишина, блескъ мѣсяца, его свѣтлое отраженіе въ пруду передъ старымъ, заброшеннымъ домомъ, звонкія

пѣсни соловьевъ — все это наводитъ сонъ на влюбленнаго Левко, и въ грезахъ сна ему видится то, что уже создала народная фантазія подъ вліяніемъ этихъ чаръ природы: блѣдныя русалки, словно связанныя изъ прозрачныхъ облаковъ, свѣтятся насквозь при серебряномъ мѣсяцѣ, а одна тихо льетъ слезы, смотря изъ очарованнаго терема. Народныя преданія тутъ, конечно, значительно пріукрашены или, лучше сказать, пересозданы фантазіею поэта; но мы все-таки понимаемъ ихъ смыслъ, чувствуемъ ихъ наивную прелесть. Мы замѣчаемъ также, что рядомъ съ этой прелестью природы, одушевленной въ народныхъ вымыслахъ, является у Гоголя и обыденная, неприкрашенная жизнь съ ея горемъ и заботами: жалобы русалки на свою мачеху уже не относятся къ одному сказочному міру. Тамъ, гдѣ принимаетъ участіе нечистая сила, Гоголь, согласно народному воззрѣнію, чаще всего вноситъ въ описаніе юморъ, но его юморъ, какъ человѣка образованнаго, нагляднѣе выставляетъ всю нескладицу суевѣрія. Такъ, напр., въ повѣсти «Ночь передъ Рождествомъ», гдѣ очень живо описаны обычаи колядованія и веселая гулянка парубковъ, чорту приходится играть самую незавидную роль. Удалой кузнецъ Вакула осѣдлалъ его и заставляетъ его везти себя въ Петербургъ, чтобы выпросить у царицы башмачокъ для своей балованной красавицы Оксаны. Вотъ, сидя на чортѣ, онъ «пролетѣлъ, какъ муха, подъ самымъ мѣсяцемъ, такъ что, если бы не наклонился немножко, то зацѣпилъ бы его шапкою... Все было свѣтло въ вышинѣ. Воздухъ, въ легкомъ серебряномъ туманѣ, былъ прозраченъ. Все было видно, и даже можно было замѣтить, какъ вихремъ пронесся мимо ихъ, сидя на горшкѣ, колдунъ; какъ звѣзды, собравшись въ кучу, играли въ жмурки; какъ облакомъ клубится въ сторонѣ цѣлый рой духовъ; какъ плясавшій при мѣсяцѣ чортъ снялъ шапку, увидѣвши кузнеца, скачущаго верхомъ; какъ летѣла возвращавшаяся назадъ метла, на которой, видно, только что съѣздила, куда нужно, вѣдьма... много еще дряни встрѣчали они». Тутъ мы замѣчаемъ уже явную насмѣшку надъ суевѣрными сказаніями. Казачья удаль особенно хорошо очерчена въ повѣстяхъ: «Пропавшая грамота» и «Заколдованное мѣсто». Въ первой вы узнаете, какъ смѣлый запорожецъ добываетъ у чертей свою шапку съ зашитою въ нее грамотой къ царицѣ. Безпечно на дьявольскомъ пиру онъ «придвинулъ миску съ нарѣзаннымъ саломъ и окорокъ ветчины, взялъ вилку, мало чѣмъ поменьше тѣхъ вилъ, какими мужикъ беретъ сѣно, захватилъ ею самый увѣсистый кусокъ, подставилъ корку хлѣба— и глядь, и отправилъ въ чужой ротъ: вотъ-вотъ возлѣ самыхъ ушей, и слышно даже, какъ чья-то морда жуетъ и щелкаетъ зубами на весь столъ». Еще два раза повторилось то же, и казакъ взбѣленился, привскочилъ къ вѣдьмамъ: «Что вы, Иродово племя, задумали смѣяться, что ли, надо мною? Если не отдадите, сей же часъ, моей казацкой шапки, то я, будь католикъ, когда не переворочу свиныхъ рылъ вашихъ на затылокъ». Въ разсказѣ «Заколдованное мѣсто»

точно такъ же лихому дѣду бѣсовская сила не даетъ въ пляскѣ выметнуть на вихорь ногами ловкую штуку, и потомъ загоняетъ въ лѣсъ, гдѣ онъ, думавъ достать кладъ, выкопалъ изъ земли котелъ со всякимъ соромъ. Такъ всѣ эти дѣйствія нечистой силы становятся обманомъ воображенія. *Водовозовъ.*

Запорожье.

Степь раздольная
Далеко вокругъ
Широко лежитъ,
Ковылемъ-травой
Разстилается!
Ахъ ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась.
Кольцовъ.

...Витеръ віе — повивае,
По полю гуляе,
На могили кобзарь сидить
Та на кобзи грае...
Кругомъ его степъ, якъ море
Широке, синее;
За могилою могила,
А тамъ тилько мріе.
Шевченко.

...Иду шляхомъ; солнце сяе,
Витеръ съ травами говоре,
Передъ мною и за мною
Степъ колышется, якъ море;
А затихне витеръ буйный,—
Степъ, мовъ камень, не двигнетця,
И, якъ килимомъ богатымъ,
Весь квитками уберетця.
Онъ нагнулась тирса била,
Звиробой скрутивъ стебельци,
Червоніе материнка,
Якъ зирки горять козельци;
Крикнувъ перепелъ въ ярочку,
Стрепетъ приснувъ надъ тернами
По кущамъ мижъ дерезою
Ходютъ дрохвы табунами.
Тихо всюди; тилько де-де
Витерочекъ пронесетця,
Та на землю изъ-пидъ неба
Писня жайворонка льетця.
Щеголевъ.

«Малороссія, пространство земли отъ Словечны до Днѣпра, отъ Клевели до Орели и отъ обѣихъ Галиціи до Сѣвернаго Донца, по сознанію всѣхъ путешественниковъ и естествоиспытателей, ее посѣщавшихъ, есть одна изъ прекраснѣйшихъ странъ Европы; богатая Днѣпромъ и пастбищами, на востокѣ и югѣ она изумляетъ безбрежностію плодородныхъ степей, на сѣверѣ изобилуетъ лѣсами, на западѣ плѣняетъ множествомъ холмовъ, потоковъ и рѣкъ. Цвѣтъ ея неба напоминаетъ путешественникамъ Италію. Климатъ ея благорастворенный, растительность изумительная, и произведенія земли столь разнообразны, что знаменитый Линней предполагалъ ее «колыбелью послѣ потопа». «То, что писано современниками объ этой землѣ (Малороссіи), текущей молокомъ и медомъ, представляется нынѣ невѣроятнымъ. Опалинскій говоритъ, что всякое зерно, брошенное на землю, взрыхленную деревянной сохой, давало урожай

баснословный; а Ржончинскій приводитъ одинъ случай, что изъ посѣва 50 корцевъ собрано жита 1500 копенъ. Травы были такъ высоки, что огромные волы скрывались въ нихъ почти по самые рога, а плугъ, оставленный на полѣ, въ нѣсколько дней покрывался растительностью. По свидѣтельству того же писателя, плодородіе земли, душистость злаковъ и обиліе цвѣтовъ до такой степени благопріятствовали въ Украйнѣ пчеловодству, что пчелы водятся тамъ не только въ лѣсахъ и деревьяхъ, но и по берегамъ рѣкъ и просто въ землѣ; что тамъ поселяне истребляютъ скитающіеся рои пчелъ для защиты отъ нихъ роевъ осѣдлыхъ, и что образовавшіяся случайно на землѣ ямы часто бываютъ наполнены медомъ, такъ что огромные медвѣди, попавшись туда, околѣваютъ отъ обжорства. Въ окрестностяхъ Подольскаго-Каменца и Ржончинскій зналъ одного пасѣчника, у котораго 12 ульевъ дали въ одно лѣто 100 роевъ, изъ которыхъ 40 было сохранено, а остальные побиты ради меду; а Опалинскій, говоря объ обиліи пасѣкъ въ Червонной Руси, упоминаетъ объ одномъ землевладѣльцѣ, который собираетъ ежегодно по пяти тысячъ бочекъ медовой десятины. Подобнымъ образомъ, по словамъ Опалинскаго, одинъ изъ крупныхъ украинскихъ землевладѣльцевъ собралъ въ одинъ разъ 10 тысячъ воловъ десятины со стадъ; а когда семилѣтній сборъ поголовщины былъ замѣненъ ежегоднымъ, то ему каждый годъ приходилось по тысячѣ воловъ съ его имѣній». «И бысть намъ сіе путное шествіе печально и унываливо, бяше бо видѣти ни града, ни села... Пустыня велія и звѣрей множество: козы дикія, и волцы, лоси, медвѣди... А земля зѣло удобна и хлѣбородна, и овощу всякого много, сады, что дикій лѣсъ: яблоки, орѣхи, воложскіе, сливы, дули... Не погрѣшу эту землю назвать золотою, понеже всего много въ ней родится».

Такова была природа Малороссіи. Но что касается собственно Запорожья, то здѣсь природа носила двойственный характеръ: по мѣстамъ она представляла такое же изобиліе, какимъ отличалась вообще вся Малороссія, а по мѣстамъ граничила съ крайнимъ недостаткомъ, свойственнымъ собственно Запорожью. То и другое требуетъ подробнаго разсмотрѣнія. «Славное войско запорожское низовое» занимало одну изъ тѣхъ окраинъ южно-русскихъ степей, гдѣ уже искони вѣковъ носились «киммерійскіе мраки», волновались «скиѳскія тѣни», сгущались «половецкіе туманы», осаживались «татарская мгла» и гдѣ съ незапамятныхъ временъ происходили ожесточенныя, кровопролитныя боевыя схватки между различными наѣздниками, полу-дикарями, полуварварами, полукочевыми, полуосѣдлыми. Весь районъ запорожскихъ казаковъ потеперешнему опредѣляется двумя губерніями: Екатеринославскою и Херсонскою, за исключеніемъ въ этой послѣдней уѣздовъ Ананьевскаго и Тираспольскаго и градоначальства Одесскаго. Взятое въ такихъ предѣлахъ, Запорожье называлось у московитовъ Заднѣпровскою Украйной, а у поляковъ — Низомъ или Дикимъ полемъ. Характеръ мѣстности — по преимуществу *степ-*

ной. Много оригинальности и своеобразія въ южно-русскихъ степяхъ теперь, но еще больше оригинальности и своеобразія было въ нихъ въ отдаленныя отъ насъ времена. И въ самомъ дѣлѣ. Что̀ такое представляли изъ себя эти степи въ давнемъ прошломъ? Онѣ представляли собою безпредѣльную, раскинувшуюся зеленую скатерть, безбрежную шелковистую пелену съ живописными скалами, многоводными рѣками, плодоносными островами и вѣчно зеленѣющими балками и долинами. И сколько здѣсь разнообразія?! Вотъ разстилается логъ, тянется оврагъ; тамъ, по берегамъ рѣкъ, скалы выступаютъ изъ-за скалъ; тутъ мелодически журчитъ ручей или живописно извивается чистая, какъ хрусталь, рѣка; вотъ высятся небольшіе пригорки, холмятся курганы или могилы (tumuli), «звучащіе игрой труда и жизни человѣка»; а тамъ у текучихъ водъ, чернѣютъ дремучіе, дѣвственные густолиственные лѣса. Все это чрезвычайно живописно и величественно, на всемъ этомъ отдыхаетъ взоръ и освѣжается мысль; здѣсь, въ этой необозримой, безкрайной, неподвижной пустотѣ можно расплыться, забыться о самомъ себѣ и любоваться лишь одними красотами природы. «Широко ты, степь, пораскинулась»!... Но при всемъ томъ здѣсь, среди этого моря степей, въ былыя времена лишь изрѣдка можно было встрѣтить слѣдъ проявленія человѣческой жизни; только изрѣдка, да и то по окраинамъ, изъ-за густой «торсы» и желтаго «бурунчука» показывался здѣсь одиночный скиталецъ — чабанъ и снова невидимо, какъ мимолетный призракъ, скрывался въ ней; изрѣдка, изъ-за высокаго «буркуна» и бѣлаго, какъ морская пѣна, пушистаго ковыля показывалась «чумацкая шапка та довгій батигъ»... Да, это были своего рода terra incognita — невѣдомая земля, это было своего рода bonum nullius — ничье благо, это былъ особаго вида, скажемъ вмѣстѣ съ другими, травяной лѣсъ. Дорогъ здѣсь не было, кромѣ трехъ новыхъ и двухъ старыхъ, отвѣчныхъ шляховъ. То были: Бутуринскій, Изюмскій и Калміусскій шляхи и Черный (иначе Шпаковъ) съ Муравскимъ шляхомъ. Степи эти отдѣляли тогда собой весь міръ славянскихъ людей отъ міра мусульманскихъ; для татаръ онѣ были естественною и вполнѣ надежною охраною ихъ кочевьевъ, а для русскихъ представляли собой безграничный океанъ зелени, скрывавшій въ себѣ все то, что можетъ приводить въ ужасъ и содроганіе, и проникнуть куда мало кто отваживался. Русскому человѣку здѣсь всегда представлялась опасность; здѣсь онъ каждую минуту былъ насторожѣ, ибо въ каждой балкѣ, подъ каждымъ яворомъ или чернокленомъ, подобно черной гадинѣ, могъ скрываться тайный врагъ, жадно пожиравшій его своими зоркими очами и всегда готовый вонзить въ сердце его, если не калену стрѣлу, то пулю быструю.

Расположеніе лѣсной растительности запорожскаго края показываетъ, что она держалась, главнымъ образомъ, и по преимуществу въ мѣстахъ низменныхъ, наиболѣе влажныхъ, и только здѣсь достигала большихъ размѣровъ. Таковы были, напр., лѣса, росшіе по

рѣкамъ Самарѣ и Конскимъ Водамъ: ихъ густота и обширность такъ были велики, что тамъ расхаживали только одни хищные звѣри да дикія птицы, а человѣкъ, даже вооружённый, едва за нѣсколько верстъ могъ свободно объѣзжать ихъ. Поражающею густотою отличались и многіе изъ тѣхъ запорожскихъ лѣсовъ, которые росли по такъ называемымъ балкамъ, т.-е. широкимъ долинамъ, окаймленнымъ сверху покатыми возвышенностями и на днѣ, увлажненнымъ ключевыми и атмосферными водами. И здѣсь лѣсъ разростался нерѣдко до того, что человѣку не было никакой возможности пробраться черезъ него: одни звѣри да птицы господствовали въ немъ.

Таковы лѣса запорожскіе. Относительно самой флоры лѣсной нужно сказать, что въ запорожскихъ владѣніяхъ росли почти всѣ тѣ породы деревьевъ, которыя свойственны Сѣверной Америкѣ, что происходитъ, быть можетъ, отъ сходства климата той и другой страны: суровая зима, палящее лѣто, вѣтреная и непостоянная погода обусловливали и извѣстные виды древесной растительности.

Но если страна запорожскихъ казаковъ, говоря вообще, не могла назваться богатою въ отношеніи лѣса, то зато въ отношеніи воды она была несравненно счастливѣе. Представляя изъ себя обширную равнину, наклонную къ морю, въ разныхъ направленіяхъ изрѣзанную оврагами и только въ одномъ — съ сѣвера на югъ — разграниченную балками, страна запарожскихъ казаковъ въ томъ же направленіи, но почти черезъ самую средину свою, пропускала одну изъ бо́льшихъ на всемъ русскомъ югѣ рѣкъ, рѣку Днѣпръ, со множествомъ большихъ и малыхъ притоковъ его, несущихъ въ него свои воды, начиная отъ самыхъ значительныхъ, Самары и Буга, и кончая самыми мелкими, въ родѣ Каменки и Малой Сурки, коихъ число

Зъ устя Дніпра та й до вершины —
Симъ сотъ ричокъ ще й чьтыри.

На всемъ пространствѣ запорожскихъ владѣній Днѣпръ имѣлъ десять переправъ. Способъ переправы у казаковъ практиковался такой же, какой практикуется и теперь: употреблялись лодки, плоты, поромы и пр.

Земля запорожскихъ казаковъ была очень плодородна. Здѣсь, на пространствѣ нѣсколькихъ десятковъ или сотенъ десятинъ, можно было найти и дикій чай, и шалфей, и ковыль, и цикорій, и куколь, и незабудку, и бузину, и сурѣпку, и спаржу, и чеснокъ, и лукъ, и хрѣнъ, и ромашку, и множество другихъ видовъ растительности. Все это, при первомъ же блескѣ весенняго солнца, скоро поднимается изъ земли, быстро возрастаетъ и въ короткое время достигаетъ почти полнаго развитія, а при обильныхъ дождяхъ и подъ вліяніемъ западныхъ и южныхъ вѣтровъ, земля запорожскихъ казаковъ съ успѣхомъ производила и всякаго рода хлѣбъ, свойственный вообще всей южно-русской полосѣ. Вмѣстѣ съ появленіемъ растительности, появлялись и животныя, прилетали и птицы; изъ

животныхъ тутъ были: олени, дикія козы, кабаны, барсуки, выдры, сугаки, волки, лисицы, зайцы, медвѣди, лани, байбаки, лоси, дикія кошки, буйволы; были также дикія лошади. «Они ходили, говоритъ очевидецъ Бопланъ, отъ 50 до 60 головъ и нерѣдко заставляли насъ браться за оружіе, потому что издали мы принимали ихъ за татарскую конницу. Такъ богато было Запорожье разными животными. Не меньше того оно богато было и птицами. Изъ птицъ, водившихся въ запорожскихъ предѣлахъ, были: дикіе гуси, лебеди, дрохвы, бакланы, бабы-птицы, цапли, журавли, аисты, ястребы, орлы, соколы, куропатки, скворцы, коростели, дупеля, голуби, колпицы, тетерева, стрепеты, огари и др.

Вотъ привлекательная сторона запорожскихъ владѣній: днѣпровской долины, ближайшихъ къ ней окрестностей, самарскаго побережья, смежныхъ съ нимъ земель, вообще большей части правой и лѣвой стороны днѣпровскихъ степей. Здѣсь были прекрасныя пастбища для скота, безконечныя нетры для птицъ и необозримыя пространства для звѣрей; здѣсь, именно въ этой части запорожскихъ владѣній, нужно искать ту «Палестину», тотъ «обѣтованный рай», который текъ молокомъ и медомъ и который былъ предметомъ глубокаго благоговѣнія въ глазахъ всякаго казака; эта Самарь и Посамарье съ ея священнымъ Пустынно-Николаевскимъ монастыремъ:

Славно жить на кошу:
Я земли не пашу,
Я травы не кошу,
А парчу все ношу,
Сыплю золотомъ...
На войнѣ не тужу,
А на смерть колочу,
Безъ войны я кучу,
Да кучу, какъ хочу,
Въ свою голову!...

Но то же Запорожье, по мѣстамъ и въ иное время, носило и противоположный этому характеръ. Разсказъ Папроцкаго выразительными чертами рисуетъ мѣстность, въ которой гнѣздилось казачество. Становится понятнымъ, почему она оставалась «дикими полями», безлюдною пустынею, не принадлежащею никому изъ сосѣднихъ народовъ. Это были пространства безплодныя, опустошаемыя саранчою, удаленныя отъ поселеній настолько, что человѣкъ рисковалъ умереть голодною смертью во время переходовъ. Нѣкоторыя только мѣста изобиловали рыбою и дичью, да на большихъ разстояніяхъ были разбросаны оазисы богатой растительности для пастьбы скота. Удалиться за пороги — значило подвергнуть себя многимъ лишеніямъ, которыя могъ выдерживать только человѣкъ съ желѣзною натурою. Чтобы войско могло стоять въ этой пустынѣ кошемъ, отряды его должны были заниматься охотою и рыболовствомъ. Даже добываніе соли сопряжено было съ далекими переѣздами и опасностями, и потому казаки вялили рыбу, натирая ее древесною золою вмѣсто соли... *Казакъ сиромаха* — было давнишнею народною поговоркою на Украйнѣ, гдѣ сиромахою обыкновенно называется волкъ, въ смыслѣ голоднаго скитальца. Казакъ и убожество, казакъ и нужда — эти два понятія

имѣли всегда близкое сродство. Вспомнимъ распространенное по Украйнѣ изображеніе запорожца съ надписью:

Казакъ душа правдива
Сорочки не мае и т. д.

Характеромъ безплодія отличалось, по преимуществу, такъ называемое «Дикое поле», теперь «Чисто-поле», «Пусто-поле». Хотя у поляковъ именемъ «Дикаго-поля» называлось вообще все Запорожье, но есть основаніе думать, что это была только часть запорожскихъ владѣній, по преимуществу, съ правой стороны Днѣпра. Дикое поле начиналось на западѣ отъ р. Синюхи, притока Буга, и тянулось на востокъ къ правому берегу Днѣпра, по верховьямъ рр. Ингульца, Саксагани, Базавлука и Мокрой Суры; на сѣверѣ оно граничило съ гетманщиной, а на югѣ со степями ногайскихъ татаръ, въ паланкахъ Кайдацкой, Буго-гардовской и Ингульской. Это была дикая, малоплодная пустыня; въ ней не было ни деревушки ни хаты, кромѣ рѣдко разбросанныхъ казацкихъ жилищъ — бурдюковъ. Здѣсь путешественники не только не находили необходимаго для себя пропитанія, но даже лишались зачастую и самой жизни.

Но не одно Дикое поле отличалось такими ужасами; безхлѣбье и безводье были частыми явленіями и во всей краинѣ запорожской, а голодные и оттого дико-свирѣпые волки рыскали цѣлыми стаями повсемѣстно; они нападали на путешественниковъ, разрывали ихъ, пожирали скотъ и въ ночное время поднимали въ степи такой адскій вой и дикое пѣніе, отъ котораго всякое живое существо приходило въ ужасъ и содроганіе. Еще больше того было здѣсь гадовъ, слѣпней, комаровъ и мошекъ, «крылатыхъ шпилекъ запорожскихъ омутовъ». «Берега днѣпровскіе замѣчательны безчисленнымъ количествомъ мошекъ: утромъ летаютъ мухи обыкновенныя, безвредныя; въ полдень являются большія, величиною съ дюймъ, нападаютъ на лошадей и кусаютъ до крови; но самые мучительные и самые несносные комары и мошки появляются вечеромъ: отъ нихъ невозможно спать иначе, какъ подъ казацкимъ пологомъ, т.-е. въ небольшой палаткѣ, если только не захочешь имѣть распухшаго лица. Я могу въ этомъ поручиться, потому что самъ былъ проученъ на опытѣ: опухоль лица моего едва опала черезъ три дня, а вѣки такъ раздулись, что я почти не могъ глядѣть: страшно было взглянуть на меня... Чтобы избавиться отъ мучительныхъ комаровъ и мошекъ, одно средство — прогонять ихъ дымомъ; для сего надобно содержать постоянный огонь». Но что это въ сравненіи съ тѣми бѣдствіями, которыя постигали запорожскій край отъ множества водившейся здѣсь саранчи? Это былъ страшный бичъ Запорожья; она истребляла не только травы степныя, произрастанія земныя, не только всѣ посѣвы хлѣбные и листья древесные, но даже пожирала самую одежду, особенно зеленыхъ и красныхъ цвѣтовъ, и на далекое разстояніе заражала воздухъ зловоннымъ и отвратитель-

нымъ смрадомъ. Саранча летитъ не тысячами, не милліонами, но тучами, занимая пространство на пять или шесть миль въ длину, и на двѣ или на три мили въ ширину. Приносимая въ Украйну почти ежегодно изъ Татаріи, Черкасіи, Бассы и Мингреліи восточнымъ или юго-восточнымъ вѣтромъ, она пожираетъ хлѣбъ еще на корнѣ и траву на лугахъ; гдѣ только тучи ея пронесутся или остановятся для отдохновенія, тамъ черезъ два часа не останется ни былинки, и дороговизна на съѣстные припасы бываетъ ужасная. Бѣдствія увеличиваются въ триста разъ болѣе, когда саранча не пропадетъ до наступленія осени... Нѣтъ словъ описать саранчу: она совершенно наполняетъ воздухъ и помрачаетъ свѣтъ дневной. Полетъ ея лучше всего сравнить съ снѣжными хлопьями, разсыпанными вьюгою во всѣ стороны. Когда она сядетъ, все поле покрывается ею, и раздается только шумъ, который она производитъ, пожирая растенія; оголивъ поле въ часъ или въ два, туча поднимается и летитъ далѣе по вѣтру. Въ это время исчезаетъ свѣтъ солнца, и небо покрывается какъ-будто мрачными облаками.

Но и саранчою не оканчивались бѣдствія, постигавшія запорожскій край. Много приходилось терпѣть еще отъ заразительныхъ лихорадокъ и особенно отъ страшной болѣзни, извѣстной подъ именемъ чумы, моровой язвы или наглой смерти. И это бѣдствіе не было рѣдкимъ явленіемъ на Запорожьѣ.

Вотъ непривлекательная сторона того удѣла, который достался на долю запорожскихъ казаковъ. Страшный зной лѣтомъ, невыносимый холодъ и лютая стужа зимой довершали общую картину и всего вообще Запорожья и Дикаго поля въ особенности, гдѣ холодъ, вслѣдствіе открытой, почти голой поверхности, вслѣдствіе своего положенія на сѣверъ, особенно давалъ о себѣ знать.

Но, безъ всякаго сомнѣнія, изъ всѣхъ климатическихъ неудобствъ запорожскаго края однимъ изъ наиболѣе чувствительныхъ былъ въ зимнее время холодъ. Бопланъ въ этомъ отношеніи даетъ прекрасное описаніе. «Хотя Украйна», говоритъ онъ, «лежитъ подъ одинаковою широтою съ Нормандіею, однакожъ стужа въ ней суровѣе, и съ нѣкотораго времени не только жители, особенно люди военные, но даже кони и вообще вьючный скотъ, не въ силахъ переносить холода нестерпимаго. Счастливъ еще тотъ, кто спасается отъ смерти, отморозивъ пальцы, уши, носъ, щеки или другія части тѣла. Въ сихъ членахъ естественная теплота исчезаетъ иногда мгновенно, зараждается антоновъ огонь и они отпадаютъ. Человѣкъ теплокровный хотя не можетъ вдругъ отморозить членовъ, но отъ стужи появляются у нихъ вереды. Вереды сначала бываютъ въ горошину, но черезъ нѣсколько дней, иногда черезъ нѣсколько часовъ, увеличиваются и покрываютъ весь членъ, который потомъ отваливается»... «Обыкновенно стужа охватываетъ человѣка вдругъ и съ такою силою, что безъ предосторожностей невозможно избѣжать смерти. Люди замерзаютъ двоякимъ образомъ: одни скоро; смерть ихъ можно

назвать даже спокойною, ибо они умираютъ во время сна, безъ долговременныхъ страданій. Кто пустится въ дорогу на конѣ или въ повозкѣ, но не возьметъ необходимыхъ предосторожностей, худо одѣнется и притомъ не можетъ перенести жестокой стужи, тотъ сперва отмораживаетъ оконечности рукъ и ногъ, потомъ нечувствительно самые члены, и мало-по-малу приходитъ въ забытье, похожее на оцѣпенѣніе: въ это время сильная дремота клонитъ васъ ко сну. Если дадутъ вамъ уснуть, вы заснете, но никогда уже не пробудитесь; если же соберете всѣ свои силы и прогоните сонъ, или спутники васъ разбудятъ, — жизнь ваша спасена... Другіе умираютъ не такъ скоро, но смерть ихъ труднѣе и мучительнѣе. Природа человѣческая не въ состояніи даже перенести тѣхъ мученій, которыя приводятъ страдальцевъ почти въ бѣшенство. Такой смерти не избѣгаютъ люди и самаго крѣпкаго тѣлосложенія. Стужа проникаетъ въ почки и обхватываетъ поясницу: всадники отмораживаютъ подъ бронею животъ, особенно кишки и желудокъ. Потому-то страдалецъ чувствуетъ неутолимый голодъ. Принявъ пищу самую легкую, напримѣръ, бульонъ, онъ извергаетъ ее немедленно и съ болью мучительною и коликами нестерпимыми, стонетъ безпрестанно и жалуется, что внутренности раздираются».

Такова характеристика запорожскихъ владѣній. Много здѣсь удобствъ и привлекательности, но много же здѣсь неудобствъ и непривлекательности. Уже одинъ Днѣпръ мало казался гостепріимнымъ для всякаго путешественника. Грозенъ и дикъ онъ въ настоящее время, но еще грознѣе, еще болѣе дикимъ онъ казался въ прошлую пору, въ тѣ молодыя для Руси времена. Такимъ грознымъ, дикимъ, недоступнымъ дѣлали Днѣпръ какъ обиліе его заливовъ, гирлъ, болотъ и рукавовъ, такъ и множество его острововъ, корчей, заборовъ и пороговъ. По сказанію Боплана, съ южной стороны Днѣпра острововъ было болѣе десяти тысячъ, и всѣ они были покрыты такою густою травою, такимъ непроглядным камышомъ и высокими деревьями, что неопытные моряки издали принимали огромныя деревья за мачты кораблей, плавающихъ по днѣпровскимъ водамъ, а всю массу острововъ за одинъ сплошной, огромной величины островъ. «Однажды», говоритъ Бопланъ, «преслѣдуя казаковъ на возвратномъ пути съ Чернаго моря, турецкія галеры проникли до самой скарбницы, но тамъ, въ лабиринтѣ острововъ и рукавовъ, запутались и не могли найти выхода. Казаки грянули на нихъ изъ ружей съ челновъ, закрытыхъ камышами, потопили множество галеръ и такъ напугали турокъ, что они никогда съ тѣхъ поръ не смѣли выходить въ Днѣпръ далѣе четырехъ или пяти миль отъ устья». Но что это въ сравненіи съ днѣпровскими порогами! Кто не видѣлъ пороговъ, кто не пытался проѣзжать черезъ нихъ, тотъ никогда не можетъ себѣ представить всей грозности, всего ужаса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего величія, какимъ обдаетъ Днѣпръ всякаго путешественника. Кровь ледянѣетъ въ жилахъ, уста смыкаются, сердце перестаетъ биться. Уже издали

можно узнать приближеніе пороговъ, — узнать можно по тому страшному шуму, оглушительному реву воды, которая, вливаясь въ промежутки между пороговъ, сильно пѣнится, высоко вздымается вверхъ и быстро стремится вырваться изъ своихъ тисковъ, желая какъ бы все пожрать своимъ теченіемъ, за все какъ бы судорожно хватаясь и все мгновенно увлекая. Картина еще страшнѣе выходитъ, когда на Днѣпрѣ схватится вѣтеръ или буря, такъ называемая *полоса*. «Изъ всѣхъ вѣтровъ, заключенныхъ въ мѣхахъ Эола, онъ (сѣверо-восточный) самый злой, коварный и опасный. Какъ сила дурного глаза, губительно его вліяніе; какъ чаша испитой неблагодарности, снѣдаетъ грудь ядовитое дуновеніе его», сказалъ одинъ изъ эллиновъ о греческихъ вѣтрахъ, и это же можно примѣнить къ днѣпровскимъ. Изъ періодическихъ вѣтровъ съ большимъ постоянствомъ дуетъ здѣсь сѣверо-восточный вѣтеръ, достигая наибольшей силы около двухъ часовъ дня. «Имъ (лоцманамъ) опасенъ только вѣтеръ, и потому они отваливаютъ лишь въ самую тихую погоду, когда, что называется, не шелохнется. Но и въ самый благопріятный день схватываются полосы, и если такая полоса застанетъ барку при входѣ въ порогъ, гдѣ уже нельзя ни поворотить ни бросить якорь, тогда, съ крѣпкой надеждой на Бога, лоцманъ пускается въ опасный путь». Полосы эти схватываются во всякое время дня и совершенно внезапно. Вотъ Днѣпръ спокоенъ и тихъ; въ его водахъ, какъ въ чистомъ хрустальномъ зеркалѣ, отображается ясное безоблачное небо. Но это спокойствіе обманчиво, оно непродолжительно. Не проходитъ и нѣсколькихъ минутъ, какъ вдругъ Днѣпръ поворонѣлъ, надъ нимъ разражается страшная буря, дико завоетъ свирѣпый вѣтеръ, и вмигъ вся поверхность воды превращается въ цѣлыя горы во всѣ стороны брызжущей пѣны. Еще хуже того бываетъ въ осеннее время. Тогда среди яснаго, тихаго и теплаго дня воздухъ вдругъ холодѣетъ и начинаетъ мутиться. Небо изъ синяго дѣлается сначала сѣрымъ, а потомъ совершенно темнымъ; оно какъ бы наливается тяжелымъ свинцомъ. Днѣпръ кажется тогда черной, ужасающихъ размѣровъ гадиной, готовой всякаго пожрать въ своей невмѣстимой пасти: тогда всѣ предметы естественной величины выходятъ до чудовищной; былинка представляется деревомъ, небольшой камень — огромной скалой, маленькій стрижъ (птица) — огромнымъ орломъ.

По всему этому среди безконечныхъ гирлъ Днѣпра, среди его глубокихъ лимановъ, корчей и пороговъ, не рискуя головой, могъ свободно плавать опытный и очень опытный пловецъ; среди его безчисленныхъ острововъ, топкихъ болотъ, среди непроглядныхъ камышей могъ не потеряться только тотъ, кто отлично и во всѣхъ подробностяхъ изучилъ Днѣпръ и его долину: въ противномъ случаѣ, одна малѣйшая ошибка, одинъ неосторожный шагъ человѣка вели къ завѣдомой гибели его, непремѣнной смерти. Но вотъ эта-то дикость, вотъ эта-то неприступность Днѣпра и привлекала «низовыхъ молодцовъ», запорожскихъ казаковъ. Здѣсь, за неприступными по-

рогами, среди безчисленныхъ острововъ, непроходимыхъ камышей, вѣковыхъ лѣсовъ; здѣсь, въ безплодныхъ и знойныхъ «поляхъ», въ безводныхъ и дикихъ степяхъ,—здѣсь-то удальцы и находили себѣ надежное убѣжище, прочную колыбель, всеобъемлющее лоно. «Сичь—мати, а великій лугъ—батько!...» Сюда не могла досягать ни рука королевскаго чиновника, ни рука пана-узурпатора, ни власть короннаго гетмана, ни даже распоряженіе самого короля Рѣчи Посполитой. Здѣсь же «молодцы» не боялись ни набѣговъ татаръ ни наѣздовъ турокъ. Такъ было уже въ началѣ существованія запорожской общины и до самого 1638 года, когда поляки впервые, и то лишь отчасти, проникли и ознакомились съ запорожскими трущобами, придавая этому знакомству чрезвычайно важное значеніе.

Съ низовья вѣтеръ вѣетъ,
Повѣваетъ,
Вѣтеръ лодочки лелѣетъ
И качаетъ,
Гей, хлопцы, живо, живо!
Въ Сѣчи водка, въ Сѣчи пиво...
Будемъ отдыхать.

Дружно въ весла! чайку, чайку
Обгоняйте!
Про Подкову, Наливайку
Запѣвайте.
Гей, хлопцы, пойте пѣсни,
Словно птицы въ поднебесьи
Вольныя поютъ.

Эварницкій.

Запорожская община или „товариство“.

Запорожское войско, по своему происхожденію, положенію вблизи рубежа враговъ своихъ и христіанства и по особеннымъ формамъ своего учрежденія, составляло родъ военнаго братства, которое можемъ сравнить съ католическими монашеско-рыцарскими орденами. Подобно имъ, казачество было связано узами *общины* (societas), вѣры (religio) и *призванія* или цѣли своего учрежденія (vocatio).

Подобно рыцарямъ, запорожцы были связаны священными обѣтами: *товарищества*, ибо всѣ казаки, безъ различія званія, лѣтъ и происхожденія, дѣлались братьями-товарищами, называли своего куренного и кошевого атамановъ *батькомъ*, отцомъ, а казаковъ *братчиками;* обѣтомъ *вѣры*, требовавшимъ, чтобы никто не могъ быть запорожскимъ казакомъ, если не былъ *русскимъ православнымъ*, такъ что пришельцы всѣхъ другихъ націй и религій, христіане и нехристіане, принимались въ общину не иначе, какъ послѣ принятія ими обрядовъ восточной православной Церкви. Объ этомъ войско говоритъ положительно въ своемъ *наказѣ*, данномъ депутатамъ, отправленнымъ въ комиссію составленія новаго уложенія (1767 года, іюля 23) въ § 8: «Въ войско запорожское, изъ разныхъ націй, для проживательства и службы, малолѣтними и уже совершенныхъ лѣтъ люди приходятъ, по принятіи ими закона *греко-россійскаго* и на вѣрность его императорскаго величества присяги, записываются въ службу и выучась совсѣмъ какъ должны *регулы* казацкой, живутъ». Они обрекались обѣту *послушанія* (votum obedientiae), ибо не только вся военная община, но

даже служители церкви запорожской, считая себя отдѣльною отъ всѣхъ русскихъ епархій паствою, повиновались только одному начальству: кошевому или кошу (магистру grand-maître на Западѣ). Они возлагали на себя обѣтъ безбрачія (castitatis), и такъ строго его исполняли, что во всѣхъ видѣнныхъ нами запорожскихъ бумагахъ, а ихъ у насъ тысячи, даже не упоминается о женщинахъ. Только неженатые считались собственно «товариствомъ», или запорожскимъ воинствомъ, участвовали въ военныхъ подвигахъ и могли получать войсковыя должности и званія. Всякое преступленіе противъ этого основного, быть можетъ, обѣта, совершенное въ кошѣ, даже сокрытіе въ немъ родной женщины (матери, сестры, дочери) считалось уголовнымъ преступленіемъ, и преслѣдовалось жестоко, даже смертною казнью. Женщинѣ навсегда было воспрещено посѣщеніе не только Сѣчи, но даже ретраншамента, гдѣ стоялъ русскій гарнизонъ, что весьма сходно съ подобнымъ же закономъ (claustrum) въ католическихъ рыцарскихъ орденахъ. Наконецъ, та же цѣль, то же призваніе: война съ врагами христіанства и защита христіанскихъ государствъ (славянскихъ или другихъ, для исторіи все равно), отъ наѣздовъ сарацинъ, или татарскихъ ногаевъ, собирали равно и католическихъ рыцарей и запорожское товарищество, подъ ихъ знамена, прапоры и хоругви. Замѣтимъ еще, что, подобно всѣмъ рыцарскимъ монашескимъ орденамъ въ западной церкви, и запорожцы особенное благоговѣніе имѣли къ Пресвятой Богородицѣ Дѣвѣ Маріи, ибо она считалась патронкою войска, и вездѣ, гдѣ была Сѣчь, воздвигали немедленно храмъ, во имя Покрова Пресвятой и Пренепорочной Матери и Богочеловѣка.

Понятіе объ *общинѣ*, или *товариществѣ* (орденѣ, по-польски zakon), встрѣчаемъ на каждомъ шагу въ дѣйствіяхъ Запорожья. Изъ всѣхъ видѣнныхъ нами документовъ мы убѣждались, что никто въ запорожскомъ войскѣ не составлялъ *лица*, отдѣльнаго отъ *міра*, *громады*, т.-е. *товарищества*. Всѣ безъ исключенія запорожцы, пока были дѣйствительно или считались въ казачествѣ: кошевой, старшины, полковники, куренные атаманы или простые товарищи, дѣйствовали только *міромъ*, цѣлымъ обществомъ (en corps), отъ имени всего вообще или части войска, т.-е. *товарищества*. Куренные казаки не должны были имѣть никакой другой собственности ни въ войскѣ ни за границею онаго, кромѣ зимовника, на запорожской землѣ выстроеннаго, стадъ, жалованья и денегъ, заработанныхъ промыслами или добытыхъ на войнѣ. Даже, по древнему обыкновенію «бросать лясы», т.-е. жребій, на земли и рѣчки, ежегодно повторяемому, — взявъ во вниманіе непрочность многихъ заимниковъ, несмотря на свое названіе, устраиваемыхъ только для временнаго пребыванія, — должно полагать, что въ XVI и XVII столѣтіяхъ казакъ не имѣлъ другой собственности, кромѣ коня и оружія. Въ одной старинной сказкѣ, слышанной нами въ Звенигородкѣ (Кіевской губ.), отставной запорожецъ, въ глубокой старости, говоритъ о своемъ пріемѣ

въ войско слѣдующимъ образомъ: «Итакъ, я пришелъ въ Сѣчь и заявился въ куренѣ, а якъ уже мене совсѣмъ приняли, то атаманъ при собраніи всѣхъ отвелъ мени въ куренѣ три аршина въ длину, та два въ ширину, сказалъ: вотъ тебѣ *домовина*[1]), а якъ помрешь, то зробимъ еще короче». Съ 1760 годовъ, при Калнишевскомъ, старшины завели себѣ обширные и богатые зимовники, развели стада и табуны, такъ что атаманъ кошевой, при наѣздѣ татаръ 1769 года, потерявъ табунъ въ 600 лошадей, могъ скоро обзавестись другимъ. А это казалось войску расколомъ и началомъ разныхъ клеветъ и даже громкихъ нареканій на кошъ и старшину. Все въ войскѣ было собственностью или всей общины, или, по крайней мѣрѣ, куреня.

Въ самыхъ даже формахъ письменныхъ сношеній — это дѣйствіе *міромъ* было необходимымъ условіемъ. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Въ 1688 году, когда русское правительство, намѣреваясь воевать противъ Крыма и сосредоточивая свои войска на Украйнѣ, сочло нужнымъ построить крѣпость на рѣкѣ Самарѣ (Усть-Самару) на землѣ запорожской, подъ названіемъ Богородицкаго ретраншамента, то въ царской грамотѣ Іоанна и Петра Алексѣевичей и Софьи Алексѣевны сказано: «Нашего царскаго величества поданному, низового запорожскаго войска кошевому атаману Григорію Сагайдачному и *всему* при тебѣ будучему поспольству нашего царскаго величества милостивое слово».

Взаимно въ 1683 году войско запорожское универсалъ свой о церкви запорожской такою формулою начинаетъ: «Григорій Ивановичъ, атаманъ, на тотъ часъ кошевой, судья, писарь, асаулъ и мы, атаманы всѣхъ куреней, и все товариство куренное, низовое войско, царскаго ихъ пресвѣтлаго величества, Запорожское». Въ 1734 году на посланіе хана крымскаго Колтанъ-Гирея, Запорожье отвѣтъ свой начинаетъ: «Листъ вашъ ганскій до *насъ*, войска запорожскаго низового, присланный, благопріятне *мы*, войско, до своихъ рукъ одобрили[2]) и оный по обычаю нашему войсковому въ *общей радѣ* нашей, всѣмъ вслухъ вычитали» и пр., а оканчиваютъ такъ: «Вашему ганскому величеству всего добра желатели и нижайшіе до услугъ. Атаманъ кошевый войска запорожскаго низового зъ товариствомъ».

Россійскіе начальники и командовавшіе войсками, даже въ походахъ, ордера и депеши свои подписывали почти такимъ же образомъ. Графъ Румянцовъ въ 1769 году формальные свои ордера такъ начинаетъ: «Господину атаману кошевому войска запорожскаго Калнишевскому, съ войсковою старшиною и товариствомъ», и въ письмѣ болѣе дружескомъ, нежели официальномъ, пишетъ: «Достойно-почтенные господинъ кошевой атаманъ и все общество войска запорожскаго».

Предлагаемъ здѣсь еще два любопытныхъ документа объ участіи всей общины во всѣхъ дѣлахъ войска. 1) Когда, послѣ увольн-

---

[1]) Гробъ.

[2]) Получили.

ненія отъ должности кошевого Филиппа Ѳедорова, войско призвало въ это званіе Петра Калнишевскаго и вмѣстѣ просило быть его ходатаемъ въ Петербургѣ, то актъ избранія и полномочія былъ слѣдующаго содержанія: «Мы, всѣхъ куреней атаманы, со всѣмъ куреннымъ товариществомъ, съ *стариками* и молодыми добросовѣстными казаками, и старшина и все войско, выбравъ Петра Ивановича Калнишевскаго — атамана, паки къ командованію надъ войскомъ запорожскимъ упросили его» и проч. Столь любопытный документъ такъ ратификованъ: «во увѣреніе твердости, въ заключеніе вышеописаннаго, всѣ вообще атаманы и все товарищество, тако жъ *старики* и старшины войсковые, на семъ, при *общемъ круговомъ* собраніи, подписуемся». 2) Кошевой, въ 1766 году будучи въ Петербургѣ, имѣлъ нужду занять для войсковыхъ надобностей 1000 руб. Расписка, имъ данная, подписана всѣми его товарищами и скрѣплена рукою писаря, положившаго подпись атамана кошевого, и немедленно отослана въ кошъ для ратификаціи.

До сихъ поръ сохранившаяся пословица «терпи казакъ, атаманомъ будешь» доказываетъ, что, по правамъ товарищества, всякій казакъ могъ быть избранъ старшиною и атаманомъ; но власть сего послѣдняго прекращалась немедленно, какъ скоро другое лицо было избрано на его мѣсто. Тогда кошевой, судья, куренный атаманъ дѣлался опять казакомъ — товарищемъ, исключая только, что долговременною службою достигнувшіе до старшинскихъ должностей (писаря, судьи, есаула войсковыхъ), сохраняли титулъ «войсковыхъ старшинъ» и послѣ сдачи должности. «Въ войскѣ запорожскомъ», говоритъ кошъ въ докладѣ своемъ Сенату 30 ноября 1767 года, «служатъ и въ Сѣчи Запорожской жительство имѣютъ изъ шляхетства и гражданъ; *но все общество* войска запорожскаго, *равно* его имп. в-ву отправляютъ войсковую службу, тѣмъ паче между онымъ раздѣленій на особливыя каждаго состоянія нѣтъ». Эти простыя слова — лучшій историческій документъ ихъ орденскаго равенства.

Не можемъ не обратить вниманія читателей на слово «старики», употребляемое на грамотахъ запорожскихъ, равное слову въ капитулахъ seniores, «старшіе». Мы видѣли, что правленіе въ запорожскомъ войскѣ было чисто демократическое и патріархальное вмѣстѣ; хотя власть кошевого и старшины была велика, но сила ихъ, какъ чиновъ избирательныхъ, зависѣла отъ воли и добраго къ нимъ расположенія *посполъства*, общины, т.-е. толпы простыхъ и грубыхъ, а часто и весьма буйныхъ головъ казацкихъ. Несмотря на обстоятельства, требовавшія иногда строгой тайны, всѣ бумаги нужно было сообщать «вслухъ» всему войску на площади и требовать его воли, его рѣшенія. Кто же могъ ручаться за добрыя распоряженія, за здравый смыслъ толпы бездомной, любящей всегда вольницу, насилія, неповиновеніе, а еще болѣе пьянство? Вся сила старшины и слѣдственно коша лежала на старикахъ, которыхъ нравственное вліяніе на войско было удивительное. Во всѣхъ важнѣйшихъ бумагахъ,

напр. всеподданнѣйшихъ челобитныхъ и рапортахъ, грамотахъ къ ханамъ крымскимъ, наказахъ отъ всего войска и проч., послѣ слова «кошевой» и «войсковая старшина» помѣщалось въ титулѣ и въ подписи слово *старики*. Старики были заслуженные и преклонныхъ лѣтъ казаки, *войсковые старшины*, а не простые казаки. Они такъ любили войско, что уже слились съ нимъ въ одно нераздѣльное тѣло. Такіе запорожцы, которые изъ своего отечества никакихъ воспоминаній не могли принести, будучи заведены въ войско въ дѣтствѣ, и по-казачьему воспитаны, міръ свой считали въ кошѣ и все, что было внѣ онаго, казалось имъ чуждо и даже непріязненно. Это были истинныя опоры войска, а иногда виновники его бѣдствій.

Это насъ заставляетъ упомянуть еще объ одной точкѣ сходства запорожской общины съ орденскими регулами — это объ *молодикахъ*. Изъ многихъ примѣровъ мы видимъ, что при кошевомъ, при главныхъ старшинахъ въ Сѣчи и въ походахъ, находилось всегда отъ 30 до 50 *молодиковъ*, т.-е. весьма молодыхъ, въ куренѣ записанныхъ казаковъ, которые исправляли при нихъ должности *хлопцевъ* (пажей) и готовились такимъ образомъ въ казачье званіе. Обыкновенно избирались они изъ того куреня, изъ котораго происходили кошевой или старшины. Кромѣ того, не только при старшинѣ, но и при всякомъ старомъ казакѣ былъ молодикъ (часто ихъ дѣти и племянники съ ними или къ нимъ въ запорожье пришедшіе), которые *выслуживали* свои годы, а послѣ поступали въ *куренные*, т.-е. настоящее товарищество. По сравненію, всѣхъ *наймитовъ* молодыхъ по паланкамъ называли *молодиками*, для различія отъ просто рабочихъ, поденщиковъ. Но хотя запорожцы охотно принимали всякаго въ свое общество и, испытавъ его удальство или усердіе, приписывали къ куренямъ въ товарищество, однакожъ крѣпко смотрѣли, чтобъ они были люди вольные: дворяне, поповичи, татары или казаки, все равно, но поселянъ не принимали, — развѣ чрезъ злоупотребленіе тѣхъ, которые ихъ въ товарищество предлагали и были за нихъ *порукою* (то же, что parrains въ рыцарствѣ). Равнымъ же образомъ, всякій казакъ безъ затрудненія увольняется изъ онаго, чтобы тѣмъ доказать казачью вольность.

Товарищество оставляло Запорожье или по *женитьбѣ*, или для службы въ Малороссіи, гдѣ ихъ жаловали чинами и землями, какъ мы этого имѣемъ многіе примѣры. Многіе оставались вѣрными друзьями войска до послѣднихъ дней.

Наконецъ, нѣкоторое понятіе о «товариствѣ» распространилось и внѣ предѣловъ войска запорожскаго, ибо въ послѣдніе годы его существованія встрѣчаемъ факты, достойные упоминанія исторіи. Между 1763 и 1774 годами, между русскими особенно военными, которые или бывали сами въ Сѣчи (астрономъ Эйлеръ, генералы Исаковъ и Бибиковъ), или знали запорожцевъ въ Петербургѣ (какъ графъ Браницкій), или вмѣстѣ съ запорожцами дѣлали походъ турецкій и крымскій, явилась охота, мода или прихоть вступать

въ запорожское товарищество (разумѣется—номинально) и записываться по куренямъ. До сихъ поръ не можемъ иначе объяснить этотъ феноменъ, какъ считая его преддверіемъ или послѣдствіемъ знаменитаго *греческаго прожекта*, когда въ Россіи все мечтало о войнѣ съ турками для возстановленія греческихъ классическихъ республикъ. Быть можетъ, въ эту эпоху виновники проекта считали Запорожье передовымъ постомъ, вѣчно вооруженнымъ, хранимымъ русскими витязями, врагами исламизма. *Скальковскій.*

Составъ, раздѣленіе и управленіе низового запорожскаго войска.

Войско запорожское состояло изъ *старшины* и *товарищества*, раздѣленнаго на *курени*. Столицею войска была Сѣчь, которая въ переносномъ смыслѣ называлась *кошемъ*, т.-е. военнымъ станомъ. Въ ближайшемъ смыслѣ «кошъ» или «сѣчь» былъ укрѣпленный городокъ, окруженный валомъ и палисадами, и самой оригинальной постройки. Сколько судить можемъ по мѣстности и дошедшимъ до насъ документамъ, онъ состоялъ изъ трехъ частей: предмѣстья, или такъ называемаго *крамнаго базара*, гдѣ всякій курень и пріѣзжіе гости имѣли свои *крамы* (лавки) и шинки для торговли и гдѣ были жилища базарныхъ атамановъ и войскового *кантаржея*, или хранителя вѣсовъ и мѣръ. Это предмѣстье называлось *Гассанъ-Геашею*. Укрѣпленная башня (башта) съ воротами и пушками вела уже собственно въ «кошъ», т.-е. обширную площадь, на которой стояло 37 особеннаго рода зданій, въ видѣ казармъ или амбаровъ построенныхъ, именуемыхъ *куренями;* всѣ они звѣздообразно въ полукругъ сходились у другой стѣны или укрѣпленія. Въ семъ послѣднемъ пространствѣ, между стѣною и рѣкою Подпольною, была уже *паланка*, т.-е. жилище кошевого и старшины, соборная сѣчевая церковь Покрова Божіей Матери, покровительницы войска, домъ духовенства, войсковая казна и канцелярія. Третья часть составляла отдѣльное укрѣпленіе, къ западу отъ коша лежащее, цитадели, въ которой съ 1735 года находился русскій комендантъ съ гарнизономъ изъ ландмилицейскихъ полковъ, и который именовался *Ново-Сыченскимъ* ретраншементомъ. Всѣ строенія были деревянныя; домъ кошевого былъ простая поселянская изба, «безъ роскоши и излишества», какъ говорили грамотные запорожцы, и даже безъ «кладовой», прибавимъ отъ себя, зная одинъ примѣръ, что имущество, кошевого хранилось въ куренѣ, къ которому онъ принадлежалъ въ общей скарбницѣ, и атаманъ онаго получалъ слѣдующее кошевому жалованье. Сѣчь съ трехъ сторонъ окружена была водою рѣчки Подпольной, которая посредствомъ рукава или рѣчки *Сысиной*, соединялась съ Днѣпромъ. Со стороны степи большая дорога вела по

теченію Базавлука, а близъ впаденія въ нее р. Солоной былъ мостъ, называвшійся «Церковнымъ мостикомъ». Рѣчка Подпольная была такъ глубока, что запорожскія военныя лодки и обширные дубы, даже греческіе и турецкіе суда (тумбасы) съ большимъ грузомъ могли ходить по ней и даже стоять спокойно на якорѣ, какъ бы въ отличной гавани; но собственно портомъ былъ заливъ этой рѣчки, теперь уже обмелѣвшій, который назывался уступомъ.

Что значило слово *кошъ*, рѣшить трудно. По-польски слово *кошъ* или *кошикъ* (koszyk) значитъ *корзина*; не отъ сходства ли Сѣчи, окруженной палисадами, названа она кошемъ или корзиною? Не менѣе похоже на истину толкованіе запорожскаго разсказчика Никиты Коржа, говорящаго: «стада (въ Запорожьи) зиму и лѣто кочевали въ степи; для холодныхъ же ночей и противъ степныхъ вѣтровъ чабаны и скотари имѣли «коши». Это былъ родъ шалаша изъ войлоковъ, поставленнаго на двухъ колесахъ, чтобы можно было въ случаѣ нужды перевозить его съ мѣста на мѣсто. Въ такомъ кошѣ была кабица (очажокъ) для огня, гдѣ пастухи сушились, грѣлись и варили пищу». Такимъ образомъ можно полагать, что запорожцы свою столицу, куда возвращались, какъ домой, для отдыха и зимовки, называли изъ подражанія «кошемъ». Мы находили даже выраженіе: «укрѣпленіе кошей», вмѣсто Сѣчи,—вѣроятно, въ младенчествѣ Запорожья, жилища ихъ, похожія на постушьи или ногайскіе коши, собранныя вмѣстѣ и окруженныя валомъ или какою-нибудь естественною преградою, составляли Сѣчь. Оріенталисты говорятъ, что *кошъ* по-турецки значитъ «собирать»; слѣдственно слово кошъ могло изображать сборное мѣсто всего войска. Въ переносномъ смыслѣ «кошъ» значитъ главная квартира, станъ или лагерь войска, ибо въ реляціяхъ находимъ подпись: «зъ коша на Черталѣ», «данъ въ кошѣ на Чигаклеѣ» и т. п., и кромѣ того значилъ управленіе войскомъ, котораго канцелярія употребляла формулу. «Изъ коша войска запорожскаго низового», «въ кошъ войска запорожскаго», «донести кошу» и проч.

Кошъ или Сѣчь и ея курени были исключительно назначены для обиталища *товарищества*, такъ какъ войско состояло только изъ холостыхъ, по куренямъ записанныхъ «товарищей», а женатые, хотя бы изъ «товарищества» происходившіе, и поселяне жили въ паланкахъ, были подданствомъ» войска. «Товарищество» или холостые казаки были первые владѣльцы земли; имъ раздавались ежегодно степи и рѣчки для зимовниковъ, скотоводства, земледѣлія, звѣриной охоты и рыболовства, что называлось «бросать *лясы* (жребій) на рѣчки». По окончаніи жребія остальные «безъ угнетенія однакожъ кореней» можно было отдавать старшинѣ, духовенству, поселянамъ и даже гостямъ, хотя бы то были «чабаны» татарскіе и волошскіе.

Слово «курень» до сихъ поръ въ Малороссіи значитъ шалашъ изъ плетня и соломы съ отверстіемъ вверху для дыма. Коржъ, очевидецъ, такъ ихъ описываетъ: *курени сѣчевые* не походили на обыкновенные пастушьи шалаши, но дѣлались изъ рубленаго и рѣзанаго

лѣса, потому что *Великій Лугъ*[1]) имъ изобиловалъ. Курени были такъ обширны, что болѣе 400 казаковъ могло вмѣщаться во всякомъ; они строились безъ всякихъ перегородокъ и чулановъ и имѣли видъ залы. Вокругъ, подлѣ стѣнъ, до самыхъ дверей, стояли столы, а кругомъ столовъ узкія скамьи. Первое мѣсто было подъ иконами (гдѣ во время трапезы садился куренный атаманъ); передъ ними стояли богатыя паникадила и навѣшивались лампады, которые въ большіе праздники зажигались. Печи для приготовленія хлѣба были устроены въ особомъ отдѣленіи, гдѣ помѣщался и кухарь (поваръ) куренный, и въ куреняхъ бывали только *губы* (печки), большею частію, изразцовыя. Курени имѣли свою собственность общественную или куренную, шинки и лавки на сѣчевомъ базарѣ, дворы около куреней и въ паланкахъ; эта собственность не могла быть никогда отчуждена частному лицу.

Патріархальное уваженіе къ куреню своему было такъ велико, что даже кошевые всегда по его регустрамъ считались, свое частное имущество въ скарбницѣ куренной сохраняли, иногда въ куренѣ жили и отъ куреня депутатами быть въ важныхъ случаяхъ не отказывались.

Запорожское низовое войско управлялось своею собственною «старшиною», которая раздѣлялась на степени и званія.

Кошевой атаманъ, первое лицо въ войскѣ, «главный его командиръ», былъ гражданскій, военный и даже духовный начальникъ Запорожья. Какъ главный судья, онъ былъ владыка жизни и смерти всякаго казака, рѣшая окончательно и исполняя судебные приговоры, даже смертные, несмотря на строгія запрещенія русскаго правительства. Онъ входилъ отъ своего имени въ «дипломатическія» сношенія съ сосѣдними государствами (Крымомъ, турецкими крѣпостями и Польшею) и властями пограничными. Онъ утверждалъ всѣ выборы войсковыхъ чиновъ, распредѣленіе по куренямъ земель, рѣчекъ, угодій, царскаго жалованья, провіанта, войсковыхъ доходовъ, военной добычи и пр. Равно утверждалъ пріемъ казаковъ въ товарищество и увольненіе его изъ войска. На его имя адресовались царскія, ханскія и духовныя грамоты, указы сената, ордера начальниковъ, рапорты подчиненныхъ и проч. Но эта обширная власть, и, съ перваго взгляда, безпрекословная, была однакожъ весьма ограничена: 1) самою же общиною, сходкою старшины или войсковою радою, которой надобно было сообщать всякое важное дѣло, всякую даже бумагу и обыкновенною формулою: «а що, братчики (или диты), будемъ теперь робыты?» кошевой спрашивалъ ея мнѣнія прежде, нежели рѣшался на что-либо; 2) временемъ, ибо званіе кошевого продолжалось только одинъ годъ и зависѣло отъ выбора товарищества.

---

[1]) *Лугъ* значитъ у насъ низменные берега рѣкъ, покрытые травою или мелкимъ камышомъ, способные къ сѣнокошенію. Урочище *Великій Лугъ* есть большой низменный островъ, облитый со всѣхъ сторонъ Днѣпромъ и р. *Конскія Воды* и перерѣзанный рѣчками или каналами, которыя называются: *Бугушъ, Кунигумъ, Перебоини* и проч.

Войсковая старшина. Это званіе присвоивалось только четыремъ лицамъ: кошевому судьѣ, писарю и есаулу войсковымъ, но оставалось какъ титулъ только тѣмъ казакамъ «старымъ и заслуженнымъ», которые несли уже всѣ или одно изъ упомянутыхъ четырехъ званій и, по увольненіи отъ оныхъ, въ войскѣ и при куренѣ своемъ оставались. Въ общихъ собраніяхъ они имѣли первое послѣ дѣйствительныхъ старшинъ мѣсто; въ куреняхъ послѣ куреннаго атамана участвовали въ тайномъ совѣтѣ или сходкахъ, а въ военное время въ походахъ командовали большими отрядами, имѣя въ командѣ своей полковниковъ. *Судья* былъ главный представитель войскового суда для разбора дѣлъ гражданскихъ и уголовныхъ; въ отсутствіе кошевого командовалъ въ Сѣчи на его правахъ и тогда назывался «наказный кошевой атаманъ; кромѣ того, хранилъ въ качествѣ кошевого казначея войсковой «скарбъ и армату». *Писарь войсковой* былъ генеральнымъ секретаремъ или, лучше сказать, первымъ министромъ войска, въ которомъ кошевые и судьи не знали и не должны были знать грамоты; писарь не только составлялъ, но и подписывалъ всѣ бумаги; подписывалъ же не свое имя, а цѣлую формулу. Ихъ должность такъ высоко цѣнилась и уважалась въ Запорожьѣ, что въ теченіе всего послѣдняго коша съ 1734 по 1775 годъ только 4 войсковые писаря избирались и то одинъ послѣ другого.

Полковники были двоякаго рода: *походные* и «до паланки». Первые назначались при опредѣленіи отрядовъ для занятія постовъ на сушѣ и на водѣ, для поимки воровъ и гайдамаковъ, для поѣздки въ столицу за всемилостивѣйшимъ жалованьемъ и провіантомъ и тому подобное. Тогда къ нимъ назначалась и *особая полковая старшина:* есаулъ или поручикъ-адъютантъ и писарь или секретарь, для переписки съ кошемъ, такъ какъ полковники вообще грамоты не знали и не должны были знать. Они назывались «походною старшиною» для отличія отъ обыкновенной, посылаемой ежегодно «на правленіе» въ паланки, которая именовалась въ просторѣчіи *паланочнымъ панствомъ.* Во всякую паланку назначался полковникъ, есаулъ, писарь, подъесаулій и подписарій; «три пана и три пидпанка», какъ говоритъ Коржъ. Полковникъ въ знакъ своей власти получалъ перначъ, который носилъ за поясомъ, и *значокъ,* или знамя, который несъ хорунжій полковой впереди его команды. Всякая паланка имѣла свои печати, нѣсколько разъ перемѣнявшіяся.

Весьма замѣчательно званіе *куреныхъ атамановъ,* коренного основанія войска. Судя по ихъ вліянію и глубокому уваженію къ нимъ и войска и самой старшины, можно полагать, что ихъ учрежденіе принадлежитъ къ самымъ древнимъ и патріархальнымъ временамъ и обычаямъ Запорожья. Казакъ, не бывши куреннымъ атаманомъ, не могъ быть ни войсковымъ старшиною ни тѣмъ болѣе кошевымъ.

Войсковые служители были слѣдующіе: 1) *Войсковой довбишъ* (барабанщикъ и литаврщикъ), который, званіемъ стоя ниже полковой старшины, былъ однакожъ важнымъ лицомъ въ войскѣ; въ 1-й день

января каждаго года и въ большихъ радахъ онъ ударомъ въ литавры или барабанъ сзывалъ войско на площадь и давалъ сигналъ, что кошевой подъ знаменемъ становился. Кромѣ того, онъ былъ посылаемъ въ званіи полицеймейстера, для привоза въ Сѣчь болѣе важныхъ преступниковъ, для побужденія къ скорой уплатѣ податей, для повѣрки сборовъ и высылки изъ зимовниковъ замѣшкавшихся казаковъ. Онъ также лично присутствовалъ при исполненіи судебныхъ приговоровъ. 2) *Войсковой пушкарь* управлялъ артиллеріею, хранилъ порохъ, свинецъ и ядра, командовалъ *гармашами*, или канонерами, а вдобавокъ посылался для пріема жалуемаго войску отъ казны провіанта, пороха и свинца. Въ его вѣдѣніи была пушкарня, гдѣ содержались преступники. 3) *Войсковой толмачъ* былъ переводчикомъ съ сношеніяхъ съ татарами, греками, молдаванами и поляками и употребляемъ для посылки въ чужіе края «по секретамъ», т.-е. къ развѣдыванію о заграничныхъ происшествіяхъ. 4) *Войсковой кантаржей* былъ хранителемъ войсковыхъ вѣсовъ и мѣръ и смотрѣлъ за сборомъ войсковыхъ доходовъ въ предмѣстьѣ или базарѣ Сѣчи, гдѣ всѣ промышленники вносили въ кошевой скарбъ извѣстную плату и *ралецъ* или подарки: «на старшину», на «войско» и на «церковь». 5) *Шафари* были на перевозахъ: Кодацкомъ и Никитинскомъ черезъ Днѣпръ, Самарскомъ черезъ р. Самару и Баго-Гардовомъ черезъ р. Бугъ. Они собирали доходы, производили издержки, нужныя для содержанія команды и строеній, и вмѣстѣ наблюдали за благочиніемъ на перевозахъ, что было довольно важно въ лѣтнее время, по причинѣ значительной въ томъ краѣ торговли. Никитинскому шафарю представлялась еще обязанность угощать и содержать на «войсковой коштъ» пограничныхъ коммиссаровъ, собиравшихся у «Никитина перевода», для рѣшенія взаимныхъ споровъ и жалобъ между Крымомъ и запорожскимъ войскомъ. 6) *Канцелярія* войсковая, состоявшая изъ писарей, подписаріевъ, канцеляристовъ и подканцеляристовъ, наполнялась казаками же, могущими достигать подобно другимъ и даже скорѣе «писарскихъ» должностей и чиновъ. 7) Наконецъ *атаманъ* сѣчевой *школы*, или учитель и начальникъ свѣтскаго образованія дѣтей, которыя воспитывались на счетъ войска, подъ надзоромъ начальника сѣчевыхъ церквей. Войсковой *стадникъ*, смотрѣвшій за стадами общественными, всему войску принадлежащими, и *громадскіе атаманы*, т.-е. головы селеній и городовъ, надъ женатыми казаками и подданствомъ, были послѣдніе чины въ запорожской чиновной іерархіи. *Скальковскій.*

Выборъ войсковой старшины у запорожскихъ казаковъ.

У каждаго народа свои нравы и обычаи, и чѣмъ первобытнѣе народъ, тѣмъ устойчивѣе его нравы и обычаи; народъ, стоящій на самой низшей ступени развитія, возводитъ исполненіе обычаевъ въ культъ; народъ, хотя и болѣе развитой, чѣмъ первобытный, но

еще не создавшій себѣ опредѣленныхъ законовъ, живущій только преданіями, считаетъ свои обычаи непреложнымъ закономъ. Для человѣка, живущаго преданіями, отступить отъ какого-либо обычая—значитъ потерять честь и навлечь не только на себя, но и на весь свой родъ и даже на самое общество, среди котораго онъ живетъ, вѣчную поруху и вѣчное безславіе. Такъ бываетъ у всѣхъ народовъ въ первыя времена ихъ общественнаго развитія. Запорожскіе казаки, съ ихъ общественнымъ устройствомъ, основывающимся на преданіи, не составляли въ этомъ отношеніи исключенія. Въ основѣ всей казацкой общины ихъ лежалъ обычай; по обычаю они не допускали въ Сѣчь женщинъ, по обычаю судили преступниковъ, по обычаю раздѣлялись на курени и паланки, по обычаю ежегодно мѣняли всю свою старшину. Дѣлежъ земли и выборъ старшины происходили у запорожскихъ казаковъ перваго января каждаго новаго года. Вотъ какъ это дѣлалось. Еще за нѣсколько дней до наступленія новаго года, всѣ казаки, бывшіе въ зимовникахъ, на рѣкахъ, озерахъ, степяхъ и занимавшіеся тамъ кто домашнимъ хозяйствомъ, кто рыбною ловлею, а кто звѣриной охотою,—всѣ спѣшили, въ виду предстоящаго дѣлежа земли и выбора старшины, въ столицу своей казацкой общины, Сѣчу. Въ самый день перваго января новаго года они поднимались на ноги особенно рано, тотчасъ же умывались холодною водой, выряжались въ самое лучшее платье—штофныя узорчатыя черкески, красные съ широкими вылетами кафтаны, сафьяновые сапоги, высокія шапки, пестрые шелковые пояса, вооружались саблями, пистолетами, кинжалами, ятаганами, и спѣшили, по звону колоколовъ, въ сѣчевую церковь, непремѣнно Покрова Пресвятой Богородицы; въ церкви они слушали сперва заутреню, потомъ обѣдню. Божественную службу у нихъ правили всегда два іеромонаха кіевскаго Спасо-Преображенскаго, Межигорскаго монастыря, отъ которыхъ требовалась особенная трезвость жизни и умѣнье краснорѣчиво говорить проповѣди; при іеромонахахъ были два діакона, непремѣнно голосистыхъ, два дьячка, пономарь и цѣлый хоръ пѣвчихъ, старшаго и младшаго возрастовъ, учившихся чтенію и пѣнію въ сѣчевой школѣ и жившихъ на особыхъ общинныхъ правахъ независимо отъ общаго сѣчевого управленія. Войдя въ церковь, казаки становились по особымъ мѣстамъ: старшина—за такъ называемыми бокунами, или стасидіями, простые казаки длинными рядами, одинъ за другимъ, среди церкви. Служба происходила въ этотъ день съ особенною торжественностью и благолѣпіемъ: во время заздравной ектеніи, послѣ членовъ царской фамиліи россійскаго дома, назывались по именамъ четыре человѣка сѣчевой старшины: кошевой, судья, писарь и есаулъ; во время заупокойной ектеніи прочитывались имена убитыхъ на брани казаковъ, написанныя на особой лопаточкѣ, которую діаконъ держалъ въ рукѣ во время чтенія передъ алтаремъ; а при чтеніи священникомъ Евангелія, казаки брались за ручки своихъ сабель и вынимали ихъ до половины изъ ноженъ, въ знакъ готовности сражаться за слово Божіе съ невѣрными народами.

По окончаніи божественной службы, казаки расходились изъ церкви по куренямъ для обѣда. Придя въ курень, они молились на иконы, поздравляли одинъ другого съ праздникомъ, потомъ снимали съ себя на время дорогое верхнее платье и садились за общій столъ, называвшійся у нихъ сырнымъ, уступая всегда куренному атаману мѣсто въ красномъ углу подъ образами, гдѣ висѣла неугасаемая лампада, и стояла карнавка, т.-е. кружка для опусканія въ нее денегъ. Отобѣдавъ, чѣмъ Богъ послалъ—соломахой, тетерею, щербою, ухой, рыбой, иногда дичиной, рѣдко галушками и еще рѣже варениками, и обильно запивъ ради большого праздника горѣлкою, пивомъ, медомъ, брагою или варенухою, казаки вставали изъ-за стола, молились Богу, благодарили атамана, куренного кухаря, одинъ другого, бросали по одному, иногда по два, по три гроша въ карнавку для закупки провизіи къ слѣдующему дню, потомъ поодѣвшись въ верхнее платье, всѣ высыпали изъ куреней на площадь для предстоящей войсковой рады. Между тѣмъ кошевой атаманъ отдавалъ приказаніе войсковому довбишу и барабанщику итти въ свой курень, взять оттуда всегда хранившіяся у него литаврныя палки, затѣмъ итти въ церковь, гдѣ у запорожскихъ казаковъ находились всѣ ихъ войсковые клейноты, или войсковые знаки, отыскать тамъ же литавры и потомъ бить въ нихъ два сбора казаковъ на раду. Довбишъ шелъ въ церковь, выносилъ оттуда литавры, билъ въ нихъ сперва одинъ разъ «мелкою дробью»; на бой литавръ являлся прежде всего войсковой есаулъ, который также входилъ въ церковь, бралъ оттуда большое войсковое знамя, иначе стягъ, корогву или прапоръ, выносилъ его на площадь и ставилъ около церкви. Тутъ довбишъ снова билъ въ литавры уже два раза. На его бой спѣшили, какъ пчелы на медъ, казаки на радную или вѣчевую площадь, гладко выровненную, усыпанную пескомъ, обставленную кругомъ, въ видѣ правильной подковы, тридцатью восемью куренями, имѣвшую одну пушкарню или артиллерійскій цейхгаузъ, цѣлую сотню торговыхъ лавокъ и оканчивающуюся обыкновенно на южной сторонѣ сѣчевою церковью съ особою при ней колокольнею, замѣнявшею собою боевую башню, а на сѣверной окраинѣ—предмѣстьемъ съ особыми дворами для пришлыхъ мастеровыхъ и торговыхъ людей.

За простыми казаками выступала на площадь сѣчевая старшина: кошевой атаманъ, войсковой судья, войсковой писарь, войсковой есаулъ и тридцать восемь куренныхъ атамановъ, каждый со знакомъ своего достоинства: кошевой съ большой палицей или булавой, судья съ большой серебряною печатью, писарь съ перомъ и серебрянымъ каламаремъ или чернильницей, есаулъ съ малой палицей. Довбишъ, завидя идущую старшину, отдавалъ ей честь боемъ въ литавры. Вся старшина шла съ открытыми головами и, выйдя на средину, становилась на площади въ одинъ рядъ, другъ подлѣ друга, по старшинству своихъ членовъ, и кланялась на всѣ четыре стороны собравшемуся «славному низовому товариству». Товариство, тоже съ открытыми го-

ловами, становилось за куренными атаманами, кругомъ церкви, зачиная правымъ флангомъ отъ кошевого, кончая лѣвымъ флангомъ у войскового есаула; а иногда, при полномъ войсковомъ сборѣ, не вмѣстясь въ городкѣ Сѣчи, взлѣзало на курени, колокольню, канавы или становились по валу и по рѣкѣ. На поклоны старшины отвѣчало поклонами. Вслѣдъ за этимъ на площадь явиляся священникъ и предъ начатіемъ рады служилъ церковную службу. Послѣ окончанія службы кошевой атаманъ объявлялъ собравшемуся товариству о цѣли рады.

— Паны молодцы! у насъ теперь новый годъ; надлежитъ намъ, по нашему обычаю, произвести раздѣлъ между товарищами рѣкъ, озеръ, урочищъ, звѣриныхъ уходовъ и рыбныхъ ловель.

— Да, слѣдуетъ, слѣдуетъ! Будемъ дѣлить какъ искони заведено у насъ, по жребію, по лясамъ.

Тутъ выступалъ на сцену войсковой писарь, который заблаговременно расписывалъ по куренямъ всѣ угодья на маленькихъ ярлыкахъ, клалъ въ шапку всѣ ярлыки, встряхивалъ ихъ и предлагалъ куреннымъ атаманамъ подходить къ шапкѣ и разбирать ярлыки. Атаманы подходили и разбирали, писарь прочитывалъ, и что какому куреню доставалось, тѣмъ онъ и владѣлъ въ теченіе всего года, до новаго раздѣла; тутъ споровъ и прекословій не бывало: атаманы благодарили старшину и становились на свои мѣста. Такъ дѣлилась вся земля запорожскихъ казаковъ отъ устья рѣки Самары до верховья рѣки Конки и отъ порожистой части Днѣпра до устья Буга. Этотъ ежегодный по жребію дѣлежъ земли происходилъ въ виду неодинаковаго богатства запорожскихъ урочищъ: одни изъ нихъ были слишкомъ изобильны, другія—слишкомъ бѣдны. Поэтому, чтобы долговременное владѣніе богатыми угодьями не возбуждало зависти и не подавало повода къ раздорамъ въ средѣ товарищества, ихъ дѣлили каждый годъ по жребію. Въ такомъ случаѣ всякій доволенъ быть доставшимся ему угодьемъ и не думалъ завидовать товарищу, которому, по счастью, доставался лучшій жребій.

Послѣ дѣлежа угодій довбишъ вновь билъ въ литавры, и казаки вновь прибывали—иногда ихъ собиралось до пяти тысячъ человѣкъ. Тутъ кошевой атаманъ опять обращался съ рѣчью къ сѣчевому товариству.

— Паны молодцы! у насъ сегодня новый годъ; не желаете ли вы, по старому обычаю, перемѣнить свою старшину и вмѣсто нея выбрать новую.

Если товариство довольно было своею старшиною, то въ такомъ случаѣ на предложенный кошевымъ вопросъ отвѣчало:

— Вы, добрые паны, пануйте еще надъ нами!

Тогда кошевой, судья, писарь и есаулъ кланялись казакамъ, благодарили ихъ за честь и расходились по куренямъ. Если же товариство было недовольно чѣмъ-нибудь на свою старшину, то тогда, послѣ вызова кошевого, объявляло ему, чтобы онъ отнесъ свою бу-

лаву или палицу къ знамени и положилъ бы ее на шапку. Съ кошевымъ, оказавшимся несправедливымъ или въ чемъ-либо провинившимся, казаки не церемонились.

— Покинь, скурвый сыну, свое кошевое, ты уже казацкаго хлѣба наився! Иди себѣ прочь, негодный сыну, ты для насъ неспособенъ! Положи! положи!... Кошевой немедленно повиновался: онъ бросалъ на землю свою шапку, сверхъ шапки клалъ палицу, кланялся товариству, благодарилъ его за честь, которую оно оказывало ему въ теченіе года, и уходилъ въ свой курень. То же самое дѣлали судья, писарь и есаулъ. Впрочемъ, если изъ послѣднихъ кто-либо былъ угоденъ казакамъ, то они кричали, чтобъ онъ «не складывалъ съ себя своего чина», и онъ безпрекословно повиновался. Иногда, прежде чѣмъ отпустить старшину, товарищество требовало отъ нея отчета въ разныхъ дѣйствіяхъ и предлагало ей разные вопросы. Въ результатѣ, однако, рѣдко старшина оказывалась виновною: пользуясь своею властью всего лишь одинъ годъ и имѣя въ виду въ концѣ года отчетъ, она рѣдко дѣйствовала по собственному произволу, больше же по желанію всего войска, и потому рѣдко оказывалась виновною. Въ случаѣ удаленія старой старшины приступали къ избранію новой. При этомъ выступали на сцену чисто народныя начала: ни куренные атаманы никто другой изъ лицъ начальственныхъ не имѣли въ этомъ случаѣ никакого значенія, всѣмъ дѣломъ руководила чернь, такъ называемая «сиромашня». Естественно, что при этомъ поднимались споры, пререканія и раздоры, тѣмъ болѣе, что многіе въ этотъ день, праздника ради, иногда черезъ край хватали «пьяного зилья»—горѣлки. Спорили прежде всего о томъ, кого именно выбрать въ кошевые атаманы—каждый курень выставлялъ своего кандидата и настаивалъ на выборѣ именно его, а не другого кого-либо. Споры длились иногда по нѣсколько часовъ. Всѣ кандидаты, имена которыхъ выкрикивались на площади, должны были тотчасъ же оставлять площадь и уходить въ свои курени, чтобы своимъ личнымъ участіемъ не помогать своему избранію. Наконецъ, послѣ долгихъ споровъ, останавливались на одномъ изъ всѣхъ названныхъ кандидатовъ. Тогда изъ всего товарищества отдѣлялись десять человѣкъ казаковъ или больше и шли въ тотъ курень, гдѣ сидитъ выбранный въ кошевые казакъ. Пришедшіе объявляли избранному волю всего товарищества и просили его принять предлагаемую ему честь. Если избранный станетъ отговариваться, то двое изъ пришедшихъ казаковъ берутъ его подъ руки, двое или трое пихаютъ сзади, нѣсколько человѣкъ толкаютъ въ бока и ведутъ на площадь, приговаривая: «Иды, скурвый сыну, ибо намъ тебѣ треба, ты теперь нашъ батько, ты будешь у насъ паномъ». Такъ приводятъ избраннаго въ раду, тутъ вручаютъ ему палицу и объявляютъ желаніе всего войска видѣть его кошевымъ атаманомъ. Избранный, однако, по древнему обычаю, долженъ былъ сперва два раза отказаться отъ предлагаемой ему чести и только послѣ третьяго предложенія бралъ въ руки палицу. Тогда войско приказывало дов-

бишу пробить честь новому кошевому атаману, а старые сѣчевые казаки, «славные низовые лыцари», поочередно подходили къ нему и сыпали на бритую голову его песку или мазали макушку головы грязью, если на ту пору случится дождливая погода, въ знакъ того, чтобы онъ не забывалъ о своемъ низменномъ происхожденіи и не стремился бы къ возвышенію надъ всѣмъ товариществомъ. Кошевой долженъ былъ кланяться на всѣ четыре стороны и благодарить товарищество за честь, на что товарищество отвѣчало ему крикомъ: «Будь, пане, здоровый да гладкый! Дай тоби, Боже, лебедыный викъ, а журавлыный крыкъ!» Тѣмъ избраніе кошевого и оканчивалось. Въ тотъ же день, перваго января, и такимъ же порядкомъ, происходило избраніе судьи, писаря, есаула и куренныхъ атамановъ, съ тою только разницей, что войсковому судьѣ при избраніи вручали печать, войсковому писарю—чернильницу, а войсковому есаулу—жезлъ. Второго января избирали довбиша, потомъ слѣдующихъ за нимъ чиновъ: пушкаря, шафаря, кантаржея и другихъ. Далеко, однакоже, не всегда такъ мирно и такъ скоро оканчивались выборы новой старшины. Иногда, при общемъ голосованіи, страсти казаковъ до того разгорались, что дѣло доходило и до смертоубійствъ. Спорящіе въ такомъ случаѣ раздѣлялись въ концѣ концовъ на двѣ половины: одну составляли такъ называемые нижніе курени, а другую такъ называемые верхніе курени, и каждая сторона, желая видѣть кошевымъ атаманомъ своего кандидата, не признавала другого. Тогда начинался споръ, за споромъ слѣдовала ссора, за ссорой драка. Дерущіеся въ своемъ ожесточеніи доходили до того, что даже бросались на курени, разоряли ихъ, ломали все на своемъ пути и наносили одни другимъ великія обиды. Въ это время кандидаты той или другой стороны немедленно оставляли площадь и скрывались въ свои курени, сидя на запорахъ. Но это не спасало ихъ. Вотъ казаки одной какой-либо стороны вскакиваютъ въ курень, гдѣ сидитъ ихъ кандидатъ, тащатъ его на площадь и объявляютъ его кошевымъ. Но противная сторона не желаетъ видѣть объявленнаго кандидата кошевымъ: самъ выбранный отказывается отъ предлагаемой ему чести, не идетъ на площадь и упирается ногами. Но его сторонники не успокаиваются: они толкаютъ его въ шею, пихаютъ въ спину, бьютъ кулаками подъ бока и, когда онъ все такъ же будетъ упираться ногами, порвутъ на немъ все платье, выщиплютъ на головѣ чупрыну, помнутъ ему всѣ ребра, и можетъ статься, что все-таки противная сторона не признаетъ его своимъ кошевымъ. Въ подобныхъ случаяхъ перевѣсъ, разумѣется, остается всегда за болѣе сильною стороною.

Частая смѣна старшины происходила, конечно, въ видахъ гарантіи политической свободы въ средѣ запорожскихъ казаковъ; такъ понимало это и самое сѣчевое товарищество, но лица, не принадлежавшія къ запорожской общинѣ, объясняли это тѣмъ, что, часто смѣняя кошевыхъ, запорожскіе начальные казаки соблюдали будто бы свою личную выгоду, такъ какъ русскій дворъ обязанъ былъ дѣлать

всякому новому кошевому подарокъ 7000 рублей, которые онъ, обыкновенно, раздѣлялъ между начальными казаками для расположенія ихъ въ свою пользу. Избраніемъ войсковой старшины запорожская сиромашня иногда пользовалась, какъ случаемъ поживиться чужимъ добромъ. Въ предмѣстьѣ Сѣчи, на крамномъ базарѣ, у запорожцевъ всегда жили разнаго рода и различныхъ національностей ремесленники и торговцы; котляры, кузнецы, пушкари, шинкари, купцы. мелкіе торговцы изъ грековъ, армянъ, великороссіянъ и малороссіянъ, наѣзжавшіе въ Сѣчу для занятій ремеслами, промыслами и торговлею. Сиромашня, завидовавшая богатству ремесленниковъ и торговцевъ, во время избранія старшины дѣлала между собою стачку, съ цѣлью нападенія на «базарныхъ людей». Пользуясь всеобщей безурядицей, она неожиданно нападала на нихъ, разгоняла изъ предмѣстья, бросалась на ихъ лавки и шинки, вытаскивала оттуда товары, выпускала изъ бочекъ напитки и забирала все, что попадалось подъ руку. «Базарные люди» старались защищать свое добро. Они, въ свою очередь, составляли стачку, вооружались ружьями, дубинами, становились у сѣчевой колокольни и старались не впускать сиромашню въ свое предмѣстье, простаивая по днямъ и ночамъ у воротъ, ведшихъ изъ самой Сѣчи въ предмѣстье ея. Но сиромашня не унималась. Тогда противныя стороны схватывались между собою и нерѣдко дѣло доходило до жестокихъ дракъ и смертоубійствъ. Кошевой атаманъ, судья, писарь и есаулъ всѣми мѣрами старались унять враждовавшихъ, дѣйствуя, однако, не лично, а черезъ куренныхъ атамановъ и старыхъ «сивоухихъ» казаковъ. Послѣдніе, дѣйствуя частію палками, частію увѣщаніями, отвращали подъ конецъ сиромашню отъ хищныхъ намѣреній и водворяли спокойствіе въ Сѣчи. Но такія явленія были какъ исключенія: обыкновенно же запорожцы заканчивали важное дѣло избранія старшины генеральной попойкой и самымъ безшабашнымъ весельемъ, какое только можетъ выдумать вольная голова запорожца.

Послѣ окончанія избранія войсковой старшины, съ площади уносятся всѣ войсковые и властные знаки, и тутъ сцена сразу перемѣняется. На площадь выходятъ пѣвчіе, являются музыканты, выкатываются съ разными питьями бочки, вытаскиваются груды бубликовъ, выставляются куски сала, вывозятся цѣлые воза рыбы, колбасъ и всякаго рода лакомства на счетъ выбранной старшины, и тогда начинается настоящее разливанное море во всей Сѣчи: въ куреняхъ и на площадяхъ и на казацкихъ слободахъ. Тутъ звенитъ кобза, свиститъ сопилка, глухо гудитъ бубенъ, а тамъ раздается пѣсня изъ устъ цѣлой сотни сѣчевыхъ школяровъ,—пѣсня, громко, отчетливо и звонко разливающаяся по чистому морозному воздуху. А подъ звуки музыки уже носятся, какъ легкія тѣни, удалые казаки. И чего они не выдѣлываютъ своими неутомимыми ногами? Иной, прежде чѣмъ пуститься въ плясъ, неожиданно присядетъ на корточки, потомъ моментально подскочитъ вверхъ, снова опустится внизъ, затѣмъ молодецки возь-

мется въ боки и потомъ пойдетъ писать и передомъ и задомъ, и скокомъ и бокомъ, и направо и налѣво, и на головѣ и на рукахъ. Другой выскочитъ въ средину пляшущихъ, круто заломитъ на затылокъ свою красную съ острымъ верхомъ шапку и начинаетъ выбивать своими сафьянными на серебряныхъ подковахъ сапогами мелкаго казачка, поддерживая одной рукой свою звенящую саблю въ дорогой съ каменьями оправѣ, а другой взявшись за свой усъ, черный, какъ смоль, и длинный, какъ «дивича» коса. Только и видно отъ него, какъ то туда, то сюда мотается на казацкой головѣ, точно въ зеленомъ огородѣ созрѣвшій макъ, кончикъ красной шапки. А третій и шапку бросилъ, «къ нечистой матери» и носится какъ толкачъ, чѣмъ сало толкутъ, съ открытой гладко выбритой головой, высоко вскинувъ свою чупрыну на макушку, плотно заложивъ свои «страшенныя усища» за оба уха и сбросивъ съ себя верхнее платье, кунтушъ. Гуляй душа безъ кунтуша!... Четвертымъ и танцы нипочемъ: они закупили нѣсколько бочекъ горѣлки и раздаютъ ее даромъ всякому встрѣчному и поперечному. Всякъ спѣшитъ къ даровому «пойлу», кто съ котлами, кто съ горшками, кто съ ведрами, кто съ коновками, а кто съ цѣлыми куфами.

И тогда чего только не выдумаетъ изобрѣтательная фантазія запорожца? Вотъ подкатили запорожцы огромную бочку горѣлки къ хатѣ, что строится при всякомъ куренѣ, вылили въ нее горѣлку, повскакали сами въ хату, заперли за собою дверь, и плаваютъ по горѣлкѣ, какъ въ настоящей рѣкѣ... А вотъ цѣлый десятокъ добрыхъ молодцовъ уставили среди площади преогромный казанище, налили въ него водки, и деревянными ложками черпаютъ изъ него «пьяное питье», какъ черпаютъ борщъ, опрокидывая ложки подъ свои длинныя усища и закусывая любимымъ лакомствомъ — бубликами. И тутъ же около нихъ какой-нибудь «химерный запорожецъ» переродился въ чорта съ коротенькими рожками, куцымъ хвостикомъ, собачьими когтями, на тонкихъ ножкахъ, и, для большаго сходства съ нечистымъ, облился съ ногъ до головы дегтемъ. Настоящій чортъ!... А рядомъ съ «химернымъ запорожцемъ» какой-нибудь «молокососъ» споритъ со старымъ казакомъ, кто скорѣе вскарабкается на высокій, гладко выструганный столбъ, врытый въ землю, и, чтобы обмануть стараго «козарлюгу», мажетъ свои шаровары медомъ, быстро поднимается на самый верхъ столба и заливается веселымъ хохотомъ отъ неудачи «сивоусаго лыцаря». А тамъ, за городкомъ, Сѣчью, гарцуютъ на бойкихъ коняхъ нѣсколько человѣкъ лихихъ наѣздниковъ: они обгоняютъ другъ друга на коняхъ, стрѣляютъ на всемъ скаку изъ пистолетовъ въ воздухъ и тутъ же, бѣшено разгоняя своихъ коней, перепрыгиваютъ невѣроятно высокіе барьеры. Но были и такіе, которые предпочитали всякимъ «скокамъ, спивамъ и выгадкамъ» на площади игру въ «чупрундырь» въ куренѣ: они садились среди куреня, раздѣлялись на партіи и съ страшнымъ задоромъ рѣзались въ карты, при чемъ побѣдившая сторона всякій разъ усердно тягала побѣжденную за чубы; въ ку-

ренѣ стоялъ здоровый дружный и веселый хохотъ счастливыхъ побѣдителей, безмѣрно торжествовавшихъ свою побѣду надъ противниками.

Вездѣ шумъ, гамъ, крикъ, невообразимое веселье. А надъ всѣмъ этимъ опрокинулось высокое чистое небо, на которомъ плаваютъ миріады мигающихъ звѣздъ, и въ ночномъ холодномъ воздухѣ разливается мягкій серебристый свѣтъ луны.

Эварницкій.

Суды, наказанія и казни у запорожскихъ казаковъ.

Какъ въ выборѣ войсковой старшины и раздѣла земель, такъ и въ судахъ, наказаніяхъ и казняхъ запорожскіе казаки руководились не писанными законами, а «стародавнимъ обычаемъ, словеснымъ правомъ и здравымъ смысломъ». Писанныхъ законовъ отъ нихъ нельзя было ожидать прежде всего потому, что община казаковъ слишкомъ мало имѣла за собою прошлаго, чтобы выработать такіе или иные законы, привести ихъ въ систему и выразить на бумагѣ, а затѣмъ и потому, что вся историческая жизнь запорожскихъ казаковъ была наполнена почти безпрерывными войнами, не позволявшими имъ много останавливаться на устройствѣ внутреннихъ порядковъ своей жизни. Оттого самыя наказанія и казни у запорожскихъ казаковъ всего больше касались уголовныхъ и имущественныхъ преступленій; это — общее правило у всѣхъ народовъ, стоявшихъ и стоящихъ на первыхъ ступеняхъ общественнаго развитія: прежде всего человѣку нужно оградить свою личность и свое имущество, а потомъ уже думать о другихъ болѣе сложныхъ сочетаніяхъ общественной жизни. Оттого же у запорожскихъ казаковъ за такое преступленіе, какъ воровство, влекущее за собой въ благоустроенномъ государствѣ штрафъ или лишеніе свободы преступника, опредѣлялась смертная казнь: «у нихъ за едино путо или плеть вѣшаютъ на деревѣ». Обычай, взамѣнъ писанныхъ законовъ, признавался, какъ гарантія прочныхъ порядковъ въ Запорожьѣ, и русскимъ правительствомъ; такъ, императрица Екатерина II, вооружась противъ возстанія гайдамаковъ въ своемъ указѣ 1786 года 12 іюля, повелѣвала «поступать съ ними по всей строгости запорожскихъ обрядовъ». Нельзя сказать при этомъ, однако, чтобы запорожскіе судьи, руководствовавшіеся въ своей практикѣ исключительно обычаемъ, дозволяли себѣ произволъ и допускали волокиту дѣлъ: и незначительное число запорожскаго товарищества, и чисто народное устройство его, и полнѣйшая доступность всякаго члена казацкой общины къ высшимъ начальникамъ дѣлали судъ въ Запорожьѣ простымъ, скорымъ и правымъ въ полномъ и точномъ смыслѣ этихъ словъ; обиженный и обидчикъ словесно излагали передъ судьями сущность своего дѣла, словесно выслушивали рѣшеніе ихъ и тутъ же прекращали свои распри и недоразумѣнія, при

чемъ передъ судьями были одинаково равны — и простой казакъ и знатный товарищъ. Дошедшіе до насъ акты, касающіеся судебныхъ казацкихъ дѣлъ, показываютъ, что у запорожцевъ признавались право перваго займа (jus primae occupationis), право договора между товарищами, право давности владѣній — послѣднее, впрочемъ, допускалось только въ ничтожныхъ размѣрахъ, и то въ городахъ; оно касалось не пахотныхъ земель и угодій, бывшихъ всеобщимъ достояніемъ казаковъ, а небольшихъ при домахъ огородовъ и усадебныхъ мѣстъ; признавался обычай увѣщанія преступниковъ отстать отъ худыхъ дѣлъ и жить въ добромъ поведеніи; допускались слѣдствія «по самой справедливости, зрѣлымъ окомъ» во всякое время, кромѣ постныхъ дней первой седьмицы; практиковались предварительныя заключенія преступниковъ въ войсковую тюрьму или пушкарню, пристрастный судъ или пытки; наконецъ, дозволялась порука всего войска и духовныхъ лицъ за преступниковъ, особенно если эти преступники выказывали себя раньше съ выгодной для всего войска стороны, или почему-либо нужны были ему. Тѣ же акты и свидѣтельства даютъ нѣсколько примѣровъ гражданскаго и уголовнаго судопроизводства у запорожскихъ казаковъ. Изъ преступленій гражданскаго судопроизводства важнѣйшими считались дѣла о неправильной денежной претензіи, по неоплатному долгу, обоюднымъ ссорамъ, разнаго рода школамъ или потравамъ. Изъ преступленій уголовныхъ самыми большими считались: убійство казакомъ товарища; побои, причиненные казакомъ товарищу въ трезвомъ или пьяномъ видѣ; воровство чего-либо казакомъ у товарища и укрывательство краденой вещи; дерзость противъ начальства, особенно въ отношеніи чиновныхъ людей русскаго правительства; насилія, когда казакъ отнималъ у товарища лошадь, скотъ и имущество; дезертирство, т.-е. самовольная отлучка казака подъ разными предлогами въ степь во время похода противъ непріятеля; гайдамачество, т.-е. воровство лошадей, скота и имущества у мирныхъ поселенцевъ польскихъ и татарскихъ областей и проѣзжавшихъ по запорожскимъ степямъ купцовъ и путешественниковъ; пьянство во время походовъ на непріятеля, считавшееся уголовнымъ преступленіемъ и ведшее за собой строжайшее наказаніе.

Судьями у запорожскихъ казаковъ была вся войсковая старшина, т.-е. кошевой атаманъ, судья, писарь, войсковой есаулъ, довбишъ, паланочный полковникъ и иногда весь кошъ. Кошевой атаманъ считался высшимъ судьей, потому что онъ имѣлъ верховную власть надъ всѣмъ запорожскимъ войскомъ; рѣшеніе суда кошемъ иногда сообщалось особой бумагой, на которой писалось: «съ повелѣнія господина кошевого атамана такого-то войсковой писарь такой-то»; войсковой судья разбиралъ дѣла, давалъ совѣты ссорившимся сторонамъ, но не утверждалъ своихъ опредѣленій; войсковой писарь иногда излагалъ приговоръ старшины на радѣ, иногда извѣщалъ осужденныхъ, особенно когда дѣло касалось лицъ, жившихъ не въ самой Сѣчи, а въ паланкахъ, иначе отдаленныхъ отъ Сѣчи округахъ или

странахъ; войсковой есаулъ выполнялъ роль слѣдователя, исполнителя приговоровъ, полицейскаго чиновника: онъ разсматривалъ на мѣстѣ жалобы, слѣдилъ за исполненіемъ приговоровъ атамана и всего коша, преслѣдовалъ вооруженной рукой разбойниковъ, воровъ и грабителей; войсковой довбишъ былъ помощникомъ есаула, «приставомъ при экзекуціяхъ, тѣмъ, что называлось въ западной Европѣ prevôt, — онъ читалъ опредѣленія старшины и всего войска публично на мѣстѣ казни или на войсковой радѣ; куренные атаманы, весьма часто выполнявшіе роль судей въ средѣ казаковъ собственныхъ куреней, — при куреняхъ имѣли такую силу, что могли разбирать тяжбу между спорившими сторонами и тѣлесно наказывать виновнаго въ какомъ-либо проступкѣ; наконецъ, паланочный полковникъ, съ его помощниками, — писаремъ и есауломъ, жившій вдали отъ Сѣчи, завѣдывавшій пограничными разъѣздами и управлявшій сидѣвшими въ степи въ особыхъ хуторахъ и слободахъ казаками, во многихъ случаяхъ, за отсутствіемъ сѣчевой старшины, въ своемъ вѣдомствѣ также выполнялъ роль судьи.

Наказанія и казни опредѣлялись у запорожскихъ казаковъ, смотря по характеру преступленій. Изъ наказаній практиковались: привязываніе къ пушкѣ на площади за оскорбленіе начальства и особенно за денежный долгъ: если казакъ будетъ долженъ казаку и не захочетъ или не будетъ въ состояніи уплатить ему долгъ, то виновнаго приковываютъ къ пушкѣ и оставляютъ до тѣхъ поръ, пока или онъ самъ не заплатитъ своего долга, или кто другой не поручится за него; битье кнутомъ подъ висѣлицей за воровство и гайдамачество; поврежденіе членовъ — «изломленіемъ одной ноги на сходкѣ»; за нанесеніе ранъ въ пьяномъ видѣ ножомъ; ссылка въ Сибирь, вошедшая, впрочемъ, въ употребленіе только въ послѣднія времена историческаго существованія запорожскихъ казаковъ въ предѣлахъ Россіи, при императрицѣ Екатеринѣ II; наконецъ, преданія столѣтнихъ стариковъ указываютъ еще на одинъ видъ судебныхъ наказаній у запорожскихъ казаковъ, — сѣченіе розгами, но акты о томъ не говорятъ, и потому можно думать, что подобнаго рода наказаніе допускалось только какъ единичное явленіе, къ тому же мало гармонирующее съ честью запорожскаго «лыцаря».

Казни, какъ и наказанія, также опредѣлялись у запорожскихъ казаковъ, смотря по роду преступленій, совершонныхъ тѣмъ или другимъ лицомъ. Самою страшною казнью было *закапываніе* преступника живымъ въ землю; это дѣлали съ тѣмъ, кто убивалъ своего товарища: убійцу клали живого въ гробъ вмѣстѣ съ убитымъ и обоихъ закапывали въ землю; впрочемъ, если убійца былъ храбрый воинъ и добрый казакъ, то его освобождали отъ этой страшной казни и опредѣляли штрафъ. Но наиболѣе популярною казнью было забиваніе у позорнаго столба кіями: къ позорному столбу и кіямъ приговаривались лица, совершившія воровство или скрывшія уворованныя вещи, позволявшія себѣ прелюбодѣяніе, побои, насилія, дезертирство.

Позорный столбъ стоялъ на сѣчевой площади близъ сѣчевой колокольни; около него всегда лежала связка сухихъ дубовыхъ бичей съ головками на концахъ, называвшихся кіями и похожихъ на бичи, привязываемые къ цѣпямъ; кіи замѣняли у запорожцевъ великорусскіе кнуты. Если одинъ казакъ украдетъ что-либо маловажное у другого, въ самой ли то Сѣчи, или внѣ ея, и потомъ будетъ уличенъ въ воровствѣ, то его приводятъ на площадь, приковываютъ къ позорному столбу и, по обыкновенію, держатъ въ теченіе трехъ дней, а иногда и больше того, пока не уплатитъ деньги за украденную вещь. Во все время стоянія преступника у столба мимо него проходятъ товарищи; при чемъ одни изъ нихъ молча смотрятъ на привязаннаго; другіе, напившись пьяными, ругаютъ и бьютъ его; третьи предлагаютъ ему деньги; четвертые, захвативши съ собой горѣлку и колачи, поятъ и кормятъ его принесеннымъ; и хотя бы преступнику не въ охоту было ни пить ни ѣсть, тѣмъ не менѣе онъ долженъ былъ это дѣлать: «Пій, скурвый сыну, злодію! Якъ не будешь пить, то будемъ тебе, скурваго сына, бить!» кричали проходившіе. Но когда преступникъ выпьетъ, то пристававшіе къ нему казаки говорятъ: «Теперь же, брате, дай мы тебе трохи побьемъ!» Напрасно тогда преступникъ будетъ молить о пощадѣ; на всѣ просьбы его о помилованіи казаки упорно отвѣчаютъ: «За то мы тебе, скурвый сыну, и горилкою поимъ, что намъ тебе треба побить!» Послѣ этого они наносили нѣсколько ударовъ привязанному къ столбу и уходили; за ними являлись другіе. Обыкновенно, бывало такъ, что уже черезъ одни сутки преступника убивали до смерти, послѣ чего имущество его отбирали на войско; случалось, впрочемъ, что нѣкоторые изъ преступниковъ не только оставались въ живыхъ, но даже получали отъ пьяныхъ своихъ товарищей деньги. Иногда наказаніемъ кіями замѣнялась смертная казнь; въ такихъ случаяхъ у наказаннаго отбирали скотъ и движимое имущество, одну часть скота отдавали на войско, другую — паланочному старшинѣ, третью часть и все движимое имущество виновнаго женѣ и дѣтямъ его, если онъ былъ женатымъ человѣкомъ. Рядомъ съ позорнымъ столбомъ практиковались у запорожцевъ шибеница и желѣзный гакъ; къ нимъ присуждали за «великое» или нѣсколько разъ повторяемое воровство. *Шибеница* или висѣлицы ставились въ разныхъ мѣстахъ запорожскихъ вольностей надъ большими дорогами или шляхами и представляли изъ себя два столба съ поперечной перекладиной наверху и съ веревочнымъ сильцомъ, т.-е. петлей на перекладинѣ; для того чтобы совершить казнь, преступника сажали верхомъ на лошадь, подводили подъ висѣлицу, набрасывали на шею его петлю, лошадь быстро прогоняли вонъ, и преступникъ оставался висѣть въ петлѣ. *Желѣзный гакъ* или желѣзный крюкъ (съ нѣмецкаго Haken — крюкъ) — та же висѣлица, но съ замѣною петли веревкой съ стальнымъ острымъ крюкомъ на концѣ; преступника приводили къ висѣлицѣ, продѣвали подъ ребра острый крюкъ и оставляли его въ такомъ положеніи висѣть до тѣхъ

поръ, пока на немъ не разлагалось тѣло и не разсыпались кости, на страхъ злодѣямъ и ворамъ; снять трупъ повѣшеннаго не позволялось никому подъ угрозою смертной казни. Острая паля или острый колъ практиковались у поляковъ и у татаръ, и, вѣроятно, отъ нихъ заимствованъ запорожскими казаками: это—высокій деревянный столбъ съ желѣзнымъ шпицемъ наверху; для того, чтобы посадить на острую палю преступника, его поднимали нѣсколько человѣкъ по крутой лѣстницѣ и сажали на колъ; острый конецъ кола пронзалъ всю внутренность человѣка и выходилъ между позвонками на спину; запорожцы рѣдко, впрочемъ, прибѣгали къ такой казни, и о существованіи ея у нихъ есть только указанія въ приданіяхъ глубокихъ стариковъ, въ дошедшихъ же до насъ актахъ нѣтъ свидѣтельствъ. Зато поляки очень часто прибѣгали къ этой казни для устрашенія казаковъ; запорожцы называли смерть на острой палѣ «столбовой смертью»: «такъ умеръ покійникъ мій батько, такъ и я умру потомственною столбовою смертью». *Эварницкій.*

Казаки и евреи.

Южная Русь въ своей исторіи представляется до извѣстной степени классической страной жидотрепанія. Начиная съ дальнихъ удѣльныхъ временъ до нашихъ дней, много можно указать примѣровъ и мѣстныхъ, спорадическихъ, и такихъ, которые имѣли значеніе всенароднаго возстанія противъ іудеевъ. Это племя, всегда очень даровитое, давно уже лишенное отечества, разсѣянное по всему пространству земного шара, живущее посреди разныхъ иноплеменниковъ безъ всякой духовной связи съ ними, съ своими вѣрованіями и національными преданіями, гордое ими даже въ несчастьяхъ, всѣхъ чужихъ внутренно презиравшее, никѣмъ изъ чужихъ не любимое, никого не любившее,—это племя поставлено было вездѣ въ такое безысходное положеніе, что должно было искать средствъ къ существованію, которыя бы вели къ пользѣ его самого въ ущербъ туземному населенію. Куда ни являлся на житье іудей, онъ съ чрезвычайною проницательностью отыскивалъ слабыя стороны общества, хватался за нихъ и успѣвалъ. И въ южную Русь забравшись, іудеи пошли тѣмъ же путемъ. Въ XI столѣтіи въ Кіевѣ они составляли не малую часть населенія и притомъ, какъ видно, не бѣдствовавшую, но умѣвшую отыскать пути къ наживѣ. Они пріобрѣли довѣренность князя Святополка-Михаила и взяли въ свои руки управленіе нѣкоторыми княжескими доходами. Тогда они до того отягощали народъ, что, по смерти князя, въ Кіевѣ произошла самая намъ извѣстная жидотрепка,—многихъ пограбили и разорили, иныхъ поколотили; едва митрополитъ и бояре утишили расходившуюся толпу, призвавъ поскорѣе на княжескій столъ Владимира Мономаха.

Многое унеслось потокомъ времени, оставляя по себѣ воспоминанія, становившіяся все болѣе и болѣе тусклыми; смѣнялись этнографическія особи населенія, — іудеи, все такіе же, какъ прародители, продолжали являться въ южно-русскомъ краѣ, возбуждая противъ себя то въ одномъ углу, то въ другомъ нерасположеніе. Іудея вообще никогда не любили; въ іудеѣ не нуждался народъ, но іудей, съ неподражаемымъ нахальствомъ лѣзъ туда, гдѣ безъ него прежде обходились, и своею настойчивостью и пронырствомъ заставлялъ, наконецъ, принимать его. Когда южная Русь подпала подъ власть Польши, тутъ-то настало счастливое время для происковъ іудейскихъ. Мѣстный землянинъ (вотчинникъ), иначе шляхтичъ, воспринимавшій польскіе нравы, языкъ и мало-по-малу передѣлывавшійся въ поляка, сошелся съ іудеемъ до того, что услуги послѣдняго стали необходимы для существованія перваго. Не такъ относился къ іудею народъ, подвластный шляхтичу, и особенно казаки, цвѣтъ простого народа, пріобрѣтавшій себѣ большую свободу. Въ восьмидесятыхъ годахъ XVI вѣка встрѣчаемъ извѣстіе, что казаки, находившіеся подъ гетманствомъ шаха, трепали іудеевъ, занимавшихся винною продажею, за то, что одни возвысили цѣну на вино. Это было, такъ сказать, предостереженіе на будущее время; это были, такъ сказать, цвѣтки, изъ которыхъ когда-то родиться должны были ягодки. Народъ, смѣтливый, іудеи отлично видѣли всѣ общественныя щели, куда можно было имъ заползти и заложить гнѣздо своихъ выгодъ; русско-польскій шляхтичъ-работовладѣлецъ былъ по преимуществу сельскій хозяинъ-производитель; іудей оставался быть посредникомъ между производителемъ и потребителемъ и сталъ имъ исключительно. Іудей усматривалъ въ достояніи и правахъ владѣльца такіе источники и пути доходовъ, какихъ послѣдній не замѣчалъ, и въ этомъ случаѣ іудей становился наставникомъ владѣльца. Это наставленіе не обходилось владѣльцу даромъ. Іудей нашелъ для себя способъ вознагражденія, и такимъ способомъ былъ откупъ. Іудей давалъ владѣльцу впередъ круглую сумму за право распоряжаться и обращать въ свою пользу тотъ или другой владѣльческій доходъ, и владѣльцу показалась такая сдѣлка выгодною; прежде нужно было ему самому прилагать трудъ, надзоръ и бдительность, теперь же, не прилагая ничего такого, онъ могъ получать то же. Іудей показался его истиннымъ благодѣтелемъ. Но тутъ іудей сталъ до крайности невыносимъ подвластнымъ, съ которыхъ получалъ откупленный у владѣльца доходъ. Іудей въ этомъ случаѣ отличался чрезмѣрнымъ безсердечіемъ, рѣдко позволяя себѣ прямо дѣйствовать противъ закона, но умѣя съ искусствомъ расширять или суживать законныя рамки, ему предоставленныя. Кстати въ Рѣчи Посполитой въ тѣ времена отношенія владѣльцевъ къ подвластнымъ мало опредѣлялись обязательными для первыхъ законоположеніями, да и если были какія, то шляхтичъ, по своей шляхетской вольности, считалъ возможнымъ не исполнять ихъ; такой же произволъ передавался владѣльцемъ своему откупщику-іудею. И мы

видимъ, что нелюбовь къ іудеямъ простого русскаго народа скоро достигла крайнихъ предѣловъ ожесточенія. Съ послѣдняго десятилѣтія XVI вѣка до половины XVII происходили одно за другимъ казацкія возстанія. Простой народъ постоянно принималъ въ нихъ участіе, и злоба его къ іудеямъ выражалась рѣзче и свирѣпѣе, чѣмъ къ самимъ владѣльцамъ. Каждое изъ возстаній изобилуетъ одинакими пріемами этой злобы: разоряли синагоги и жилища іудеевъ, предавали поруганію ихъ святыни, при всякой возможности ихъ самихъ топили, вѣшали. Вражда къ іудейскому племени усилилась оттого, что, при фанатическомъ стремленіи поляковъ ввести въ народъ унію, православная церковь, потерявши большую часть своихъ духовныхъ чадъ между шляхетствомъ, становилась какъ бы исключительно мужицкою (хлопскою) вѣрою, и владѣльцы, потерявъ къ ней уваженіе какъ къ христіанскому вѣроисповѣданію, стали передавать откупщикамъ-іудеямъ въ своихъ маетностяхъ нѣкоторыя свои владѣльческія права, имѣвшія соприкосновеніе съ православною церковью и ея требами, такъ что, при своей обычной пронырливости, іудей-арендаторъ очутился хозяиномъ, блюстителемъ, распорядителемъ духовной жизни подвластныхъ. Наступила эпоха Богдана Хмельницкаго. Началось безпощадное истребленіе іудейскаго племени во всей южной Руси — и старыхъ и малыхъ. Эпоха эта оставила на іудеяхъ такое страшное впечатлѣніе, что они въ своихъ племенныхъ воспоминаніяхъ отмѣтили ее, какъ одну изъ эпохъ величайшихъ бѣдствій, постигшихъ израиля въ теченіе его многовѣковой скорбной жизни. Хмельницкій, какъ только въ періодъ своей борьбы съ Польшею показывалъ малѣйшую наклонность вести толки о возможности примиренія, всегда выставлялъ однимъ изъ главныхъ требованій, чтобъ іудеи отнюдь не жительствовали въ Украйнѣ. Дѣйствительно, при жизни Богдана Хмельницкаго никто изъ нихъ не осмѣливался показать носа въ казацкомъ краѣ. Проѣзжавшій чрезъ Малороссію при Богданѣ Хмельницкомъ вмѣстѣ съ антіохійскимъ патріархомъ арабъ, Павелъ-діаконъ, повсюду встрѣчалъ народное ликованіе, довольство и вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдъ разрушенія недавняго господства іудейскаго. Православный инокъ, забывая всякія христіанскія правила о прощеніи врагамъ, о предоставленіи Богу отмщенія за неправды человѣческія, расточаетъ похвалы безчеловѣчной свирѣпости, съ какой казаки искореняли іудеевъ, и восхищается тѣмъ, что не осталось ни единой души изъ людей этого «гнуснаго народа». Но проходили годы, десятилѣтія. Не знаемъ подлинно, въ какой годъ, но вообще въ концѣ XVII столѣтія іудеи стали снова исподволь появляться въ казацкой странѣ. Оказалось, что іудей ничѣмъ не изгонимъ, не выкуриваемъ, не выжигаемъ; его бьютъ, трутъ въ порошокъ, мнутъ, а онъ все тутъ, какъ тутъ. Что удивительнаго! Вѣдь у подножія Везувія стояли когда-то цвѣтущіе города; они были залиты лавою, засыпаны пепломъ, погреблись подъ землею, а на мѣсто ихъ построились другіе, явились новые обитатели края, долго не зная

и не подозрѣвая, что подъ плодородною почвою, которая привлекала новыхъ поселенцевъ, лежатъ посреди развалинъ груды костяковъ, которые когда-то въ свое время были живыми людьми и нежданно погибли отъ того самаго, что̀ и новымъ поселенцамъ угрожаетъ каждый часъ гибелью. Іудеевъ снова приманило въ Украйну то, что тамошніе гетманы для пополненія войскового скарба и для средствъ къ содержанію платнаго войска установили такъ называемыя *оранды*, т.-е. отдавали на откупъ доходы съ торговли виномъ и нѣкоторыми другими предметами, обращенные на войсковыя потребности. Іудеи были падки на всякіе откупà, какъ вòроны на трупы. Они мало-помалу стали пробираться въ Украйну царскаго владѣнія, стали тамъ селиться, брать откупà и заводить корчмы. Ихъ было еще немного, и они безъ страха вступали во владѣнія московскаго государства, куда ихъ никогда не пускали. Въ ихъ тогдашнемъ занятіи не представлялось ничего, что могло со временемъ стать исключительно занятіемъ іудейскаго племени. Но они вездѣ и всегда вели себя съ кажущеюся скромностью, чтобы впослѣдствіи нахально растолкать всѣхъ вокругъ себя и самимъ занять все мѣсто. *Костомаровъ.*

Жалобы польскихъ и русскихъ патріотовъ на западно-русское еврейство.

Въ исторіи XVI вѣка еврейство неуклонно перебиралось изъ Польши и распространялось на западной и юго-западной Руси. Оно въ качествѣ откупщиковъ и арендаторовъ постепенно захватывало въ свои цѣпкія руки народныя подати, повинности, промыслы и торговыя статьи. Въ первую половину XVII вѣка размноженіе еврейства и экономическое порабощеніе имъ коренного народа, какъ и слѣдовало ожидать, только преуспѣваютъ и преодолѣваютъ всѣ препятствія. Это энергическое въ дѣлѣ высасыванія народныхъ соковъ племя пользуется мягкостью славянской натуры, распущенностью и подкупностью чиновничества, взаимною непріязнью сословій и цѣлыхъ народностей, — словомъ, всѣми возможными способами для того, чтобы обходить направленныя противъ него постановленія, острымъ клиномъ врѣзаться въ организмъ Рѣчи Посполитой, засѣсть камнемъ въ его желудкѣ, совершенно подточить средніе торгово-промышленные классы и необоримою стѣною встать между высшими и низшими слоями населенія. Тороватые польскіе и ополяченные паны находили у еврейскихъ ростовщиковъ всегда готовый кредитъ для своихъ непроизводительныхъ расходовъ, а потому естественно оказывали всякое покровительство повсемѣстному распространенію еврейства и его стремленію къ захвату арендныхъ статей. Паны и шляхта охотно отдавали еврею свои имѣнія въ аренду; ибо никто болѣе его не вносилъ имъ арендной платы, никто не обезпечивалъ имъ

бо́льшихъ доходовъ и не избавлялъ ихъ такъ отъ всякихъ хлопотъ по управленію и хозяйству. Такимъ образомъ еврей въ одно и то же время удовлетворялъ и жадности и лѣни польскаго пана. Впослѣдствіи привычка пользоваться услугами ловкаго, смѣтливаго еврея внѣдрилась до такой степени, что польскій панъ безъ еврея-арендатора или еврея-фактора сдѣлался немыслимъ. А панамъ въ этомъ случаѣ стала подражать и вся имущая шляхта.

Разумѣется, давая высокую арендную плату за имѣніе, еврей, въ свою очередь, старался съ лихвою выжать ее изъ крестьянъ, всѣми способами умножалъ ихъ повинности, увеличивалъ поборы, вообще велъ самое хищническое хозяйство и сильно угнеталъ сельское населеніе. Отсюда сложились извѣстные латинскіе вирши, назвавшіе Рѣчь Посполитую шляхетскимъ небомъ, еврейскимъ раемъ и крестьянскимъ адомъ (Clarum regnum Polonorum—est coelum Nobiliorum — paradisus Iudaeorum — et infernus rusticorum).

Въ болѣе распространенномъ видѣ содержаніе сихъ виршей встрѣчаемъ уже въ первой половинѣ XVII вѣка въ сочиненіи одного изъ тѣхъ польскихъ патріотовъ, которые ясно сознавали темныя стороны своего государственнаго и общественнаго быта, но тщетно указывали на нихъ своимъ современникамъ. Вотъ въ какихъ яркихъ чертахъ одинъ изъ нихъ изображаетъ положеніе еврейства въ своемъ отечествѣ:

«Развѣ это не рай (еврейскій), когда у другихъ націй гнушаются симъ дурнымъ народомъ, а въ Польшѣ жиды у многихъ пановъ — любимые люди? Кто (у насъ) арендаторъ въ имѣніяхъ? Жидъ. Кто чтимымъ докторомъ? Жидъ. Кто славнѣйшимъ и состоятельнѣйшимъ купцомъ? Жидъ. Кто держитъ мельницы и корчмы? Жидъ. Кто мытникомъ и таможникомъ? Жидъ. Кто наивѣрнѣйшій слуга? Жидъ. Кто скорѣе добивается и выигрываетъ дѣло, хотя бы и несправедливое? Жидъ. Кто на сеймикахъ и сеймахъ получаетъ наибольшее вниманіе къ своимъ дѣламъ и привилегіямъ? Жидъ. Кто такъ счастливъ, чтобы ему всякія плутовства, увертки, предательства и другія несказанныя беззаконія благополучно сходили съ рукъ? Жидъ. Но какимъ же способомъ этотъ отверженный народъ отворилъ себѣ дверь въ такой рай? Отвѣтъ простой: у него золотой ключъ, посредствомъ котораго онъ всего достигаетъ. Горе тѣмъ панамъ, которые, къ великой кривдѣ христіанскому люду и въ ущербъ католической религіи, дѣлаютъ поблажки сему вредному народу, чѣмъ сильно отягчаютъ свою совѣсть и обездоливаютъ своихъ подданныхъ: отдаютъ въ аренду жидамъ мѣстечки, села, таможни, мыто, мельницы, корчмы! Давно ли все это запрещено сеймовыми конституціями?» Затѣмъ слѣдуютъ ссылки на статутъ Сигизмунда-Августа, или сеймъ Петроковскій 1565 г., конституціи 1567 и 1538 гг.: «Теперь все дѣлается наоборотъ. Всѣ помянутыя статьи (для нихъ запрещенныя) жиды арендуютъ въ Польшѣ, Литвѣ, Руси, на Волыни, Подоліи и т. д. Этотъ злой народъ сидитъ на арендахъ въ

городахъ и селахъ; жиды мытниками и жупниками (арендаторы соляной регаліи), жиды на постоялыхъ дворахъ; у нихъ монополія: никакихъ потребныхъ вещей нельзя нигдѣ достать помимо жида». Между прочимъ авторъ жалуется, что жиды-арендаторы заставляютъ крестьянъ работать даже въ праздники и лишаютъ ихъ возможности посѣщать храмы Божіи, что приходящихъ къ нимъ по дѣлу женщинъ склоняютъ къ измѣнѣ ихъ мужьямъ, что отняли торги у мѣщанъ, промыслы и заработки у ремесленниковъ, отчего города и мѣстечки обѣднѣли и т. д.

Почти тѣми же чертами оттѣняетъ значеніе еврейства для польско-русскаго государства Іосифъ Верещинскій, занимавшій католическо-епископскую каѳедру въ Кіевѣ въ концѣ XVI вѣка — одинъ изъ лучшихъ польскихъ писателей своего времени, человѣкъ ученый и знакомый съ Талмудомъ. «Жиды», говоритъ онъ, «очень тягостны намъ и нашимъ подданнымъ. Они выцѣдили почти всѣ наши имѣнія; они околдовали насъ, какъ цыгане, и заразили своимъ дыханіемъ, какъ волки; разоряютъ насъ, какъ хотятъ, и всѣхъ отъ низшаго сословія до высшаго, къ стыду нашему, водятъ за носъ. Развѣ не жиды чрезъ руки армянъ перетащили всѣ сокровища Рѣчи Посполитой къ туркамъ и волохамъ? Развѣ не жиды чрезъ руки армянъ передаютъ чужимъ народамъ тайныя свѣдѣнія о дѣлахъ всего королевства польскаго? Вѣдь, на это направляетъ ихъ Талмудъ». (Слѣдуютъ изъ него выдержки.) «Развѣ жиды, вопреки государственному праву, не захватываютъ въ свои руки лучшія аренды? Законъ запрещаетъ имъ занимать общественныя и государственныя должности, на которыхъ они могли бы раздавать приказанія христіанамъ; а между тѣмъ, владѣя арендами, они не только повелѣваютъ христіанами, но и продѣлываютъ съ ними все, что вздумается, къ величайшей для насъ обидѣ. Развѣ жиды, вопреки государственному праву, не держатъ на откупѣ таможенъ, пошлинъ, чоповаго (акцизъ съ напитковъ)? Развѣ они, вопреки тому же праву, не держатъ у себя христіанской прислуги? Развѣ не противорѣчитъ сему праву и то, что жиды не хотятъ ходить въ желтыхъ шапкахъ? Даже защитники ихъ сознаются, что не разъ испытывали на себѣ (ихъ мошенничества) и все-таки своими ходатайствами способствуютъ тому, что дѣла жидовскія процвѣтаютъ, а мы, прочіе, и сами они — даемъ себя обманывать».

Если въ наше время, при всѣхъ наличныхъ средствахъ государственныхъ и общественныхъ, нельзя назвать успѣшною борьбу съ безпощадной еврейской эксплуатаціей и съ еврейскими обходами законовъ, то можно себѣ представить, какъ безнадежно въ этомъ отношеніи было положеніе среднихъ и низшихъ классовъ въ земляхъ Рѣчи Посполитой, при слабости исполнительной власти, подкупности лицъ, занимавшихъ земскіе и королевскіе уряды, и своеволіи пановъ. Многіе дошедшіе до насъ судебные и административные акты западной Руси того времени подтверждаютъ горькія жалобы польскихъ и русскихъ патріотовъ.

На Украйнѣ евреи-арендаторы явились вслѣдъ за первыми же колонистами-панами и шляхтою и, конечно, подъ ихъ покровомъ. Но особенный еврейскій гнетъ украинскому народу началъ чувствоваться съ 1625 года, т.-е. съ эпохи Куруковскаго договора или неудачнаго казацкаго возстанія, когда для многимъ поселенныхъ слободъ окончились льготные сроки и началось отбываніе всякаго рода повинностей и поборовъ. Да и какъ могло лѣнивое, легкомысленное панство не соблазняться услугами евреевъ, отъ которыхъ безъ всякихъ съ своей стороны хлопотъ оно разсчитывало получать тысячи и десятки тысячъ золотыхъ за аренды, только подъ условіемъ, чтобы никто кромѣ нихъ не курилъ и не продавалъ горѣлки.

Благодаря этимъ арендамъ уничтожались для народа прежняя вольная охота въ степяхъ и безмездная рыбная ловля въ рѣкахъ; въ особенности тяжело показалось ему (а главное казачеству) уничтоженіе свободы курить вино, варить пиво и медъ. Внося высокую арендную плату, евреи, ради своей наживы, кромѣ этихъ вольностей изобрѣли и другія тяжести. Между прочимъ они усилили такъ называемую поволовщину, т.-е. десятину съ приплода скота. Прежде она взималась разъ въ десять лѣтъ; а они, учащая ее постепенно, довели до ежегоднаго взиманія. Точно такъ же, умножая панщину, они достигли того, что стали выгонять на панскія работы каждый день и даже въ праздники. Изобрѣтательность евреевъ въ сочиненіи налоговъ и даней не имѣла предѣловъ. Съ ихъ помощію польскіе паны придумали, напримѣръ, слѣдующія, по выраженію русскаго лѣтописца «неслыханныя, нововымышленныя дани»; такъ напримѣръ, *дуды*, т.-е. пошлину за игру на дудкѣ, свирѣли, скрипкѣ, *повивачное* отъ новорожденныхъ дѣтей за повиваніе, *поемщину* отъ вступающихъ въ бракъ, *пороговщину* отъ каждаго рога воловьяго или коровьяго и т. д.

Свой гнетъ евреи не ограничили матеріальною или хозяйственною стороною, а распространили и на религіозныя потребности населенія. Польскіе и ополяченные паны и старосты въ своемъ легкомысліи и призрѣніи къ народу дошли до того, что, ради гнуснаго прибытка, стали отдавать въ аренду въ своихъ имѣніяхъ и староствахъ самыя православныя церкви, и ключи отъ нихъ вручали жидамъ-арендаторамъ. Такимъ образомъ не только кто хотѣлъ обвѣнчаться или окрестить ребенка, долженъ былъ платить за это жиду, но и въ воскресенье или другіе праздники онъ не давалъ ключей отъ церкви безъ оплаты ихъ пошлиной. Понятно, какъ подобныя неправды и притѣсненія раздражали народное чувство, и казацкія возстанія, конечно, происходили въ непосредственной связи съ этимъ народнымъ чувствомъ. Ненависть къ ляху и жиду росла въ русскомъ украинскомъ народѣ. Она неизбѣжно должна была вызвать впослѣдствіи еще болѣе рѣшительныя событія и перевороты.

Судебные акты эпохи наглядно свидѣтельствуютъ, что раздраженіе обывателей-христіанъ противъ евреевъ часто выражалось въ раз-

ныхъ насиліяхъ надъ ними, т.-е. въ грабежахъ, побояхъ и убійствахъ, а также въ обычныхъ обвиненіяхъ, взводимыхъ на евреевъ; таковы обвиненія въ убіеніи христіанскихъ дѣтей, въ колдовствѣ и въ общественныхъ бѣдствіяхъ, которыя посылаются на людей за попустительство властей въ отношеніи жидовъ. Но тѣ же акты показываютъ, что и евреи, съ своей стороны, не оставались въ долгу, и гдѣ чувствовали себя въ силѣ или большомъ количествѣ, тамъ они сами нападаютъ на христіанъ и даже убиваютъ; по нѣкоторымъ указаніямъ, они, подобно шляхтичамъ и казакамъ, носили сабли и не чуждались вооруженія. Много встрѣчаемъ жалобъ на обманы и коварство евреевъ; но и послѣдніе обременяютъ суды или безконечными денежными исками, или дѣлами о насиліи. Въ самыхъ судебныхъ приговорахъ, дошедшихъ до насъ, нерѣдко замѣчается явное пристрастіе къ еврейской сторонѣ, заставляющее подозрѣвать подкупность судей и наглядно подтверждающее жалобы вышеприведеннаго патріота. Притомъ въ исковыхъ и тяжебныхъ дѣлахъ еврей обыкновенно находилъ поддержку и заступничество со стороны того пана, у котораго онъ былъ арендаторомъ; разумѣется, чѣмъ сильнѣе былъ панъ, тѣмъ безнаказаннѣе могъ дѣйствовать его арендаторъ.

Въ концѣ концовъ, несмотря на разныя насилія и всякія потери, претерпѣваемыя отъ христіанскихъ обывателей, еврейство въ западной Россіи все множится и растетъ на горе и разореніе коренному русскому населенію. *Иловайскій.*

Поляки и казаки.

Документы XVI столѣтія наполнены жалобами на безпрерывныя разбойничьи нападенія, грабежи и убійства казаковъ. Польское правительство рѣшилось принять мѣры противъ этого зла, но приняло такія мѣры, которыя не могли не увеличить его. Въ 1590 года оно постановило: поставить казаковъ въ зависимость отъ польскаго главнокомандующаго, короннаго гетмана, безъ воли котораго они не должны ничего предпринимать; исключить въ холопство всѣхъ нереестровыхъ казаковъ, но и реестровыхъ обложить данью въ пользу пановъ. Это значило уничтожить историческую задачу казаковъ — борьбу съ азіатцами, порвать ихъ связь съ народомъ и, что составляло самую тяжелую новость, взять ихъ изъ непосредственной власти короля, утверждавшаго прежде свободно избраннаго гетмана, и подчинить ихъ, въ лицѣ польскаго гетмана, польской шляхтѣ. Эти тяжелыя и необдуманныя мѣры повели къ слѣдующимъ послѣдствіямъ. Не желавшіе выйти изъ казачества и многіе изъ реестровыхъ казаковъ нашли себѣ такой выходъ изъ тяжелаго положенія, который расширялся по мѣрѣ новыхъ стѣсненій и поставилъ вскорѣ Польшу на край гибели.

Давно уже (въ томъ же однако XVI ст.) изъ украинскаго казачества стала выдѣляться особая группа и утвердилась на Днѣпрѣ,

за порогами его, въ такъ называемой Сѣчи. Тутъ образовалась особая община людей, посвящавшихъ себя добровольно исключительной борьбѣ съ азіатскимъ міромъ или порвавшихъ всѣ связи съ польскимъ государствомъ и искавшихъ себѣ здѣсь спасенія. Они образовали новую отрасль украинскаго казачества, такъ называемую Запорожскую Сѣчь. Сюда-то устремились всѣ казаки, которые не могли вынести новаго порядка, установленнаго въ 1590 году, и особенно всѣ не желавшіе быть холопами. Они свободно, независимо избирали гетмановъ, составляли отряды для нападенія на татаръ, турокъ, а также и для нападенія на поляковъ. Въ девяностыхъ годахъ XVI столѣтія давали полякамъ знать о Сѣчи вожди: Косинскій, Лобода, Наливайко, которые выступили теперь еще съ новымъ знаменемъ, не только съ знаменемъ гражданской русской независимости, но и съ знаменемъ независимости религіозной противъ нововозникшей уніи. Поляки встревожились и стали жестоко расправляться съ новыми казацкими силами. Вопросъ казацкій готовился приблизиться къ разрѣшенію, но его отстрочили постороннія обстоятельства, отвлекшія вниманіе поляковъ въ другія стороны.

Въ девяностыхъ же годахъ XVI столѣтія начались волненія шляхты противъ Сигизмунда III, волненія, которыя продолжались и въ началѣ XVII столѣтія. Затѣмъ начались въ Россіи самозванческія смуты, которыя, какъ извѣстно, заняли поляковъ еще больше. Поляки теперь мало обращали вниманія на своеволія казаковъ, напротивъ готовы были терпѣть ихъ, только бы казаки шли вмѣстѣ въ ними въ Россію.

Многіе казаки имѣли безтактность увлечься общимъ потокомъ и обнаружить крайнее извращеніе своихъ историческихъ задачъ. Они вмѣстѣ съ поляками пошли въ восточную Россію, вмѣстѣ съ ними разрушали ея государственность и вмѣстѣ съ ними терзали русскій народъ. Къ чести однако западно-русскаго народа, явились въ этой странѣ люди, которые показали истинное пониманіе дѣлъ, именно, пониманіе того, что въ восточной и западной Россіи народъ одинъ, что этимъ половинамъ одного и того же народа не слѣдуетъ враждовать, а нужно думать объ общемъ ихъ врагѣ — Польшѣ, полякахъ. Такое народное вниманіе дѣлъ вышло изъ лучшаго тогда по чистотѣ силъ пункта братской дѣятельности, изъ Вильны. Когда Сигизмундъ III шелъ къ Смоленску въ 1609 году, подвергая на пути православныхъ преслѣдованію за противодѣйствіе уніи, то виленскіе мѣщане-братчики послали въ Смоленскъ предостереженіе, чтобы русскіе знали, чего ожидать отъ польскаго короля, который хочетъ властвовать и въ восточной Россіи; а когда Сигизмундъ подошелъ къ Смоленску и требовалъ сдачи, то поляки увидѣли на стѣнахъ крѣпости и нѣкоторыхъ мѣщанъ западно-русскихъ. Подъ вліяніемъ этихъ-то извѣстій и этихъ людей, жители Смоленска объявили полякамъ, что скорѣе сами зарѣжутъ своихъ женъ и дѣтей и всѣ погибнутъ, чѣмъ сдадутся полякамъ. Мало-по-малу и казаки стали проникаться тѣми же свѣт-

лыми взглядами, которые высказаны лучшими западно-русскими людьми. Опустошая Россію вмѣстѣ съ поляками, терзая вмѣстѣ съ ними русскихъ, казаки невольно приходили къ сознанію, что опустошаютъ и терзаютъ родное. Народное единство сказывалось невольно и заговаривало о себѣ среди самыхъ страшныхъ неистовствъ. Но казаки вмѣстѣ съ тѣмъ приходили и къ другому убѣжденію, которое должно было кореннымъ образомъ измѣнить ихъ политическое направленіе. Они видѣли, что родное русское, православное страдаетъ и на востокѣ и на западѣ Россіи отъ одного и того же врага: латинской Польши, отъ поляковъ-латинянъ.

Оба эти убѣжденія ясно сказались и рѣшительно измѣнили политику казаковъ, какъ только московское государство начало оправляться отъ самозванческихъ смутъ. Двигателемъ этого новаго направленія казаковъ былъ замѣчательный человѣкъ своего времени, до сихъ поръ не оцѣненный въ исторіи Малороссіи, Конашевичъ Сагайдачный, свободно избранный казацкій гетманъ, управлявшій обѣими частями казачества: украинскою и запорожскою, и имѣвшій такое значеніе, что поляки не осмѣливались не признавать его гетманства.

Когда въ 1618—1619 гг. Владиславъ, сынъ Сигизмунда, послѣ неудачнаго похода въ Россію, принужденъ былъ заключить съ нею миръ, то казаки, бывшіе тоже въ этомъ походѣ, заключили особую мировую или, лучше сказать, дружбу съ русскими восточной Россіи. Мало того, они торжественно сознались въ своемъ грѣхѣ, что воевали противъ русскихъ, и приняли разрѣшеніе отъ этого грѣха отъ бывшаго тогда въ Россіи іерусалимскаго патріарха Ѳеофана. Подъ вліяніемъ этого новаго направленія и подъ руководствомъ Конашевича Сагайдачнаго, казаки стали ближе и ближе становиться къ чисто народнымъ интересамъ западной Россіи, яснѣе и яснѣе опредѣлять свои отношенія къ Польшѣ. При ихъ содѣйствіи и подъ ихъ охраною, въ 1620 году возстановлена въ западно-русской церкви тѣмъ же патріархомъ Ѳеофаномъ высшая іерархія, безъ которой народъ изнемогалъ въ борьбѣ за вѣру и которая сильно подняла его не только религіозный, но и народный духъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ политикѣ казацкой произошелъ слѣдующій переворотъ. Уяснивъ себѣ, что Россія имъ родная страна, а Польша врагъ, они рѣшительно измѣнили свои старыя историческія отношенія къ азіатскому міру, къ татарамъ и туркамъ. Тѣ и другіе представлялись имъ теперь друзьями въ сравненіи съ Польшею. По свидѣтельству польскихъ писателей, казаки вступали теперь въ дружескія отношенія съ тѣми и другими на погибель Польши. Явился союзникъ казаковъ и на противоположной сторонѣ по отношенію къ Крыму и Турціи, шведскій король Густавъ-Адольфъ, съ которымъ враждовалъ польскій король Сигизмундъ III и какъ съ соперникомъ по дѣламъ шведскаго государства и какъ съ главою протестантовъ. Казаки имѣли дружескія сношенія и съ этимъ врагомъ Польши. Противъ Польши теперь легко могъ

образоваться союзъ Швеціи, Россіи и Турціи (Россія тогда тоже готовилась завоевать Польшу), и въ этомъ союзѣ западнорусскіе казаки могли занять первую роль, отъ которой зависѣло бы быть или не быть Польшѣ... Этотъ страшный кризисъ приблизился къ Польшѣ въ 1621 году, и разрѣшеніе его дѣйствительно зависѣло отъ казаковъ.

Противъ Польши выступилъ одинъ изъ указанныхъ враговъ, самый страшный и сильный тогда, турецкій султанъ Османъ II, при которомъ Турція имѣла огромное могущество. Польша собрала свои силы, но главная ея надежда въ этой борьбѣ была на западно-русскій народъ, на казаковъ. Русскіе западной Россіи очень хорошо понимали, что судьба Польши теперь въ ихъ рукахъ и рѣшились прямо высказать ей это, какъ бы послѣдній разъ вразумляя ее добрымъ словомъ. Когда въ 1620 году на сеймѣ обсуждалась предстоявшая война съ турками, то посолъ волынской земли Лаврентій Древинскій говорилъ между прочимъ: «Въ таковомъ нашемъ противу главнаго врага святаго креста предпріятіи смѣло могу сказать, что ваше королевское величество едва ли не большую часть ратниковъ потребуете отъ народа греко-россійскаго исповѣданія—того народа, который, если еще не удовлетворенъ пребудетъ въ своихъ нуждахъ и прошеніяхъ, то какъ можетъ въ защиту вашей державы преградою грудь свою представлять? Какъ можете усиліе свое употребить къ доставленію вѣчнаго мира, внутренняго въ домѣ своемъ покоя не имѣя? Съ какою искренностію, мужествомъ, ревностію начнетъ угашать своею кровію горящія стѣны своего отечества, внутренняго пламени пылающихъ домашнихъ стѣнъ угашаемаго не видя? Кто жъ, о Боже живый! явственно сего не видитъ, сколь великія притѣсненія и несносныя огорченія сей древній россійскій народъ въ разсужденіи благочестія своего претерпѣваетъ?... Итакъ,—заключаетъ Древинскій,—милосердія ради Божія, именемъ всея братія нашея всенижайше прошу ваше королевское величество сжалиться въ обидѣ не нашей, но Божіей... Въ противномъ случаѣ (что да отвратитъ Богъ), если совершенное успокоеніе на сеймѣ и увраченіе толь тяжкихъ язвъ не послѣдуетъ, то принужденныхъ себя увидимъ съ пророкомъ возопить: суди ми, Боже, и разсуди прю мою!» Сагайдачный, какъ бы въ подтвержденіе словъ Древинскаго, съ своей стороны, объявилъ полякамъ, что казаки не иначе примутъ участіе въ турецкой войнѣ, какъ если польское правительство признаетъ новопоставленную православную іерархію и оставитъ гоненія западнорусскаго народа. Король далъ на это согласіе, по всему видно, устное. Казаки стали рядомъ съ поляками. Польша при содѣйствіи ихъ одержала знаменитую побѣду надъ турками въ 1621 году подъ Хотиномъ, такъ называемую хотинскую побѣду.

Поляки жестоко отплатили за эту помощь. Они вспомнили теперь всю опасность, какою грозили имъ казаки, и обратили всѣ свои силы на то, чтобы сдавить ихъ. Начали они дѣло, впрочемъ, не прямо съ казаковъ, а вообще съ русскаго народа. Посыпались

на него съ ихъ стороны укоры въ измѣнѣ отечеству, въ готовности предаться туркамъ. Укоры и преслѣдованія обрушились больше всего на главный тогда центръ православія, на виленское братство. Православныхъ преслѣдовали въ судахъ, на улицѣ, въ домахъ; запрещали имѣть съ ними какія бы то ни было сношенія, даже говорить съ ними; въ братскій монастырь Св. Духа—новое средоточіе виленскаго братства послѣ отнятія у него Троицкаго монастыря—бросали камни изъ пращей и головешки. Было это въ самую Страстную седьмицу. Преслѣдованія эти были до крайности жестоки и невыносимы. «Вы, какъ огонь пожирающій, накинулись на насъ», говорили потомъ православные латинянамъ: «вы повернули намъ всю душу и переполнили ее горечью. Мы думали, что наступаетъ послѣдній день міра и страшный судъ».

Особенно виднымъ и неутомимымъ представителемъ латинопольскаго фанатизма былъ въ то время полоцкій уніатскій епископъ Іосафатъ Кунцевичъ, неистовствовавшій въ Бѣлоруссіи. Жестокости его вывели изъ терпѣнія русскихъ, и они его убили въ Витебскѣ въ 1623 году.

На разбирательствѣ этого злодѣянія обнаружилось одно явленіе, которое быстро потомъ развилось и потрясло всѣ основы польскаго государства. Жители Витебска, замышляя убить Кунцевича, вошли въ тайныя сношенія съ казаками и условились, чтобы, какъ только будетъ убитъ Кунцевичъ, казаки подняли возстаніе и вступили въ Бѣлоруссію. Въ бѣлорусской странѣ, бѣдной населеніемъ, разбросаннымъ на огромномъ пространствѣ, заговоръ этотъ не удался. Казаки не успѣли двинуться, правосудіе поразило виновныхъ въ убійствѣ. Но мысль о призывѣ казаковъ къ защитѣ народнаго дѣла упала на жизненную почву, и тѣмъ быстрѣе созрѣвала, что это дѣло выпало изъ рукъ аристократіи и подвергалось теперь той же участи въ изнеможенныхъ, дрожащихъ рукахъ мѣщанства.

Событіе витебское, въ которомъ были замѣшаны и казаки, повело къ очень важнымъ послѣдствіямъ. Латиняне-поляки и папа призывали всѣхъ къ преслѣдованію русскихъ. Польское правительство нашло теперь удобный случай употребить рѣшительныя мѣры противъ казаковъ. Оно лишило ихъ всѣхъ правъ и снова подчинило управленію короннаго гетмана. Казаки стали сильно волноваться. Запорожская сѣчь выставляла, одного за другимъ, вождей, какъ напримѣръ, Тараса, Павлюка, которые сокрушали польскую власть на Украйнѣ и жестоко расправлялись съ панами, жидами и ксендзами. Польша посылала противъ нихъ войско. Завязывалась упорная борьба. Успѣхъ чаще всего бывалъ на сторонѣ поляковъ, тогда еще очень воинственныхъ. Но Польша не могла окончательно расправиться съ казаками. Ее отвлекала шведская война съ 1626—1629 гг. Борьба возобновилась съ большею рѣшительностію въ 1631—1632 гг., между тѣмъ же Павлюкомъ и гетманомъ Конецпольскимъ. Но опять неожиданное событіе отсрочило ее. Въ 1632 г. умеръ Сигизмундъ III,

старый іезуитъ-грѣховодникъ, 45 лѣтъ томившій русскій народъ западной Россіи. Поляки занялись избраніемъ новаго короля, казаки лелѣяли надежды на лучшее будущее. Избранъ былъ на польскій престолъ сынъ Сигизмунда, Владиславъ, подъ именемъ IV.

Владиславъ имѣлъ много времени и случаевъ присмотрѣться къ началамъ правленія отца и оцѣнить ихъ. Онъ видѣлъ непомѣрное господство крайней латинской, іезуитской партіи и получилъ къ ней сильное нерасположеніе, тѣмъ болѣе, что она вносила въ литовско-польское государство иноземное вліяніе, разрушавшее всѣ древнія основы жизни, польской и западно-русской. Владиславъ задумалъ ослабить латинскую, іезуитскую партію и опереться на туземныя силы польскія и западно-русскія. Но въ Польшѣ онъ увидѣлъ на этомъ пути самыя грустныя и неодолимыя препятствія. Вмѣстѣ съ латинскимъ, іезуитскимъ господствомъ, въ Польшѣ развилось необычайное своеволіе, разнузданность шляхты, которая съ поразительною ненасытностью благами свободы и еще съ болѣе поразительнымъ неразумѣніемъ старалась какъ можно болѣе ограничить власть и средства короля. Для молодого, даровитаго и воинственнаго Владислава такое положеніе было невыносимо. Онъ задумалъ усилить свою власть. Твердую опору для подобнаго дѣла онъ видѣлъ въ западно-русскомъ народѣ. Историческія обстоятельства поставили его въ необходимость узнать ближе русскій народъ. До его слуха съ самой ранней юности доходили вопли этого народа, страдавшаго отъ неистовыхъ преслѣдованій за вѣру и народность. Онъ былъ избранъ на московскій престолъ и лишился его, благодаря тому же фанатическому отношенію Польши къ русскому народу. Онъ не могъ не вникнуть въ положеніе, въ свойства этого народа, понять, что русскій народъ имѣетъ на своей сторонѣ правоту дѣлу, и, что особенно было важно для Владислава, что этотъ народъ, несмотря на всѣ разрушительныя вліянія Польши, твердо хранитъ въ себѣ начало монархизма, слѣдовательно можетъ служить для Владислава самою надежною опорою въ его борьбѣ съ шляхтою за права власти. Представители западно-русскаго народа—казаки, выступили предъ Владиславомъ сами собой на первый планъ. Казаки знакомы были съ образомъ мыслей Владислава. Еще на избирательный сеймъ они послали своихъ депутатовъ и потребовали не только возстановленія своихъ правъ, но—неслыханное до тѣхъ поръ требованіе—требовали, чтобы ихъ допустили къ избранію короля, т.-е. желали стать рядомъ съ польскою шляхтою. Владиславъ, не сомнѣвавшійся въ своемъ избраніи, смѣло поддерживалъ желаніе русскихъ, ласкалъ казаковъ. Для православныхъ вообще по дѣламъ вѣры онъ дѣйствительно и сдѣлалъ много—добился значительныхъ льготъ. Признано законнымъ существованіе Кіевской православной митрополіи, на каѳедру которой тогда же возведенъ былъ знаменитый Петръ Могила, основатель кіевской академіи; дано право быть еще четыремъ православнымъ епархіямъ: львовской,

перемышльской, луцкой, и на мѣсто полоцкой учреждена епархія могилевская; возвращены также православнымъ нѣкоторые монастыри и приходскія церкви, и всѣмъ гражданамъ государства вмѣнено въ обязанность жить въ мірѣ и изъ-за различія по вѣрѣ не нарушать правъ другъ друга; дозволенъ даже свободный переходъ какъ изъ православія въ унію, такъ и изъ уніи въ православіе. Несмотря на протесты противъ этихъ правъ со стороны уніатскаго, латинскаго духовенства и папы, король утвердилъ ихъ. Но для казаковъ Владиславъ не могъ сдѣлать ничего. Поляки поняли еще яснѣе, чѣмъ прежде, опасность отъ казачества и накинулись на него съ бо́льшимъ еще озлобленіемъ. Депутаты казацкіе устранены были отъ избранія короля, и насчетъ ихъ правъ даны самыя сомнительныя обѣщанія. Дѣйствительный взглядъ поляковъ и дѣйствительныя ихъ намѣренія по отношенію къ казакамъ обнаружились на ближайшемъ сеймѣ въ 1635 г. Постановлено вновь и какъ можно строже подчинить казаковъ гетману коронному. Но такъ какъ это значило усилить Запорожскую сѣчь и вызвать на себя оттуда новую силу, то рѣшились употребить новую мѣру противъ этого несокрушимаго гнѣзда казаковъ. Постановили построить подлѣ Сѣчи (немного выше) крѣпость Кодакъ. Крѣпость эта должна была нанести смертельный ударъ запорожскому казачеству и всему западно-русскому дѣлу. Она запирала казаковъ въ Сѣчи, удерживала ихъ экспедиціи въ сторону Польши, въ Крымъ, въ Турцію, словомъ, держала Сѣчь въ осадномъ положеніи во всякое время. Само собою разумѣется, казаки смотрѣли на эту крѣпость съ самыми враждебными чувствами и немедленно же стали бунтоваться и громить ее. Но теперь было неблагопріятное время для казаковъ. Польша, спокойная отъ внѣшнихъ враговъ и оживленная избраніемъ новаго короля, могла двинуть противъ нихъ большія и бодрыя силы. Силы эти дѣйствительно двинулись, казаки жестоко поражены были гетманомъ Потоцкимъ въ самой Сѣчи. Успѣхъ этотъ вызвалъ новую и еще болѣе тяжелую мѣру противъ казаковъ. По опредѣленію сейма въ 1637 г., они подчинены новой власти—сеймовымъ комиссарамъ. Мѣра эта имѣла слѣдующій смыслъ. Когда казаки сами избирали себѣ гетмана, они зависѣли прямо отъ короля, а Польши какъ бы не знали. Подчиненіе ихъ коронному (польскому) гетману означало ослабленіе надъ ними королевской власти и усиленіе польской, шляхетской, отъ которой значительно зависѣлъ гетманъ коронный. Теперь же, подчиняя казаковъ уже не гетману, а сеймовымъ комиссарамъ, польская шляхта рѣшительно забирала казаковъ въ свои руки.

Взрывы отчаянныхъ возстаній, особенно подъ начальствомъ независимо избраннаго гетмана Остраницы, были отвѣтомъ казаковъ на эти новыя распоряженія. Но сила польская и теперь брала верхъ. Особенно сильный ударъ нанесъ теперь казакамъ свой человѣкъ, предавшійся полякамъ, князь Іеремія Вишневецкій, о которомъ народное преданіе потомъ гласило, что ему за это нѣтъ мѣста на томъ

свѣтѣ. Вишневецкій жестоко разорилъ самое гнѣздо казачества— Сѣчь запорожскую.

Послѣ этого передъ поляками была открыта и становилась безопасною вся Малороссія. Цѣлыя толпы пановъ и ксендзовъ устремились сюда и забирали все, что принадлежало даже реестровымъ казакамъ. Этимъ путемъ явились огромнѣйшія имѣнія Вишневецкихъ, Потоцкихъ, Конецпольскихъ, Калиновскихъ. Вмѣстѣ съ лишеніемъ земли, всѣ казаки обращались въ холопство и подвергались неистовому угнетенію. Поляки руководствовались явно мыслію истребить совершенно казачество. Они задумали даже задержать увеличеніе малороссійскаго населенія. Съ этою цѣлью они наложили особую плату за браки и особую поголовную плату за каждаго новорожденнаго мужского пола. Наконецъ, безразсуднѣйшее глумленіе, чтобы извлекать выгоды изъ всего и во всемъ давать чувствовать народу свое фанатическое господство надъ нимъ, они отдавали въ аренду жидамъ православныя церкви.

Подъ тяжестью всѣхъ этихъ мѣръ, казалось, истощились всѣ лучшія силы западной Россіи, вся ея надежда на казачество. Но поляки ошиблись въ своихъ расчетахъ. Малоросская земля и малороссійскія матери были болѣе плодородны, чѣмъ думали поляки. Незамѣтно, какъ бы случайно, всталъ одинъ человѣкъ малороссійскій, который вдругъ поднялъ погибавшее народное дѣло западной Россіи и всколебалъ самыя основы польскаго государства. Это былъ Богданъ Хмельницкій, сотникъ и потомъ писарь казацкій. Хмельницкій принадлежалъ къ реестровымъ казакамъ и владѣлъ имѣніемъ Субботово. Шляхтичъ Чаплинскій, слѣдуя примѣру другихъ пановъ, отнялъ у Хмельницкаго Субботово, мало того—похитилъ его жену и потомъ публично высѣкъ его малолѣтняго сына. Хмельницкій въ 1647 г. поѣхалъ въ Варшаву и на сеймѣ жаловался на Чаплинскаго. Поляки смѣялись надъ жалобою Хмельницкаго на похищеніе жены и утѣшали тѣмъ, что много есть красавицъ на свѣтѣ, Хмельницкій можетъ выбрать другую жену; что же касается до имѣнія, то въ этомъ случаѣ объявили, что удовлетворенія не можетъ быть. Хмельницкій отправился съ жалобой къ королю, съ которымъ давно уже былъ знакомъ лично. Владиславъ принялъ живое участіе въ положеніи Хмельницкаго, но долженъ былъ объявить, что самъ ничего не въ состояніи сдѣлать; при этомъ онъ прибавилъ то, что говорилъ еще при избраніи своемъ казацкимъ депутатамъ, что они имѣютъ сабли, имъ остается самимъ добиться своихъ правъ. Эту мысль король даже высказалъ письменно, писалъ въ этомъ смыслѣ къ казацкому полковнику Барабашу. Хмельницкій поѣхалъ назадъ и по пути дѣлился съ своими родичами своимъ горемъ и совѣтомъ короля. Мысли Хмельницкаго быстро облетали и поднимали духъ народа. Поляки обратили вниманіе на пропаганду Хмельницкаго, поймали его и доставили къ гетману Потоцкому. Народный вождь очутился на краю гибели. Но не даромъ онъ былъ выдвигаемъ тяже-

лою жизнью, не даромъ былъ знакомъ съ іезуитскимъ образованіемъ. Онъ разыгралъ передъ Потоцкимъ такую невинность, такъ искренне проливалъ слезы, что гетманъ повѣрилъ его невинности и даровалъ ему жизнь. Хмельницкій полетѣлъ въ Сѣчь, открылъ свою душу остаткамъ вольнаго казачества, призывалъ къ спасенію родины; но такъ какъ силы казацкія были слабы, то Хмельницкій понесся въ Крымъ, чтобы призвать на помощь историческихъ враговъ западной Россіи, татаръ. Призывъ Хмельницкаго между тѣмъ облеталъ западную Россію; въ Сѣчь стремились отовсюду казаки; Малороссія подымалась на смертельную борьбу съ Польшей.

*Коялович*ъ.

Общій планъ и содержаніе „Тараса Бульбы“.

Тарасъ Бульба — этотъ дивный типъ запорожца — написанъ широкими и крупными чертами. Это есть одно изъ тѣхъ созданій, которыя отмѣчены печатью народности и глубоко нарѣзываются на воображеніи читателя. Яркая картина Запорожья свѣжа, нова и исполнена какого-то удалого разгулья казачьяго. Эти широкія степи Малороссіи съ ихъ чудною растительностью поглощаютъ наше воображеніе. Очертимъ вкратцѣ содержаніе повѣсти. Два бурсака возвращаются изъ кіевской академіи въ хату отца своего, запорожца. Отецъ, на радостной встрѣчѣ съ дѣтьми, выходитъ съ однимъ изъ нихъ на кулачки. Мать привѣтствуетъ ихъ своею заботливою нѣжностью; но милыя дѣтки достались ей на одну ночь. Тарасъ Бульба, увлекаемый воинскимъ духомъ, нетерпѣливо хочетъ показать сыновьямъ Запорожье и обучить ихъ военному дѣлу. Ночь матери, проведенная безъ сна, и грустное ея прощаніе съ дѣтьми наводятъ слезы. Слѣдуетъ путешествіе трехъ всадниковъ, отца и двухъ сыновей, по широкимъ степямъ Малороссіи; ландшафтъ роскошный! Между тѣмъ въ этой пустынѣ авторъ искусно знакомитъ насъ съ различными характерами юношей: Остапа, суроваго и воинственнаго, и Андрія, нѣжнаго и мечтательнаго, которому въ сердце запала уже любовь къ очаровательной полячкѣ. Воспоминанія, которымъ предаются юноши въ степяхъ отчизны, прекрасно оживляютъ нѣмую картину ихъ странствія. А эти степи! «Чортъ васъ возьми, степи, какъ вы хороши!» вскрикнемъ мы вмѣстѣ съ авторомъ. За безмолвною степью слѣдуетъ шумная, живая картина дѣятельнаго Запорожья, *«этого гнѣзда, откуда вылетаютъ всѣ тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы, откуда разливается воля и казачество на всю Украину»*. Нетерпѣливый Тарасъ Бульба воспламенилъ народъ къ войнѣ, несмотря на упорство атамана кошевого. Народъ рѣшилъ послать молодежь на удалой набѣгъ; но въ то же самое время доносится вѣсть, что ляхи разорили Гетманщину и вмѣстѣ съ жидами обижаютъ православіе. Мигомъ закипѣло все Запорожье, и первый знакъ мести обнаружился на несчастныхъ жидахъ. Вся

Сѣчь вооружается. Ея ополченіе и походъ написаны тою же широкою и сильною кистью. Осаждаютъ Дубно и хотятъ взять его голодомъ. Однажды ночью Андрій узнаетъ отъ татарки, вылѣзшей изъ города тайнымъ проходомъ, о томъ, что его красавица-полячка томится голодомъ въ осажденномъ городѣ. Любовь побѣдила въ немъ всѣ другія чувства. Андрій измѣнилъ отчизнѣ и предался врагамъ. Закипѣла вся кровь отца при вѣсти объ измѣнѣ сына. Тарасъ въ битвѣ поднялъ руку на свое дѣтище, убилъ измѣнника и самъ похоронилъ его... Эта картина была ужасна, если бы черты воинственной дикости не объясняли ея возможности, и если бы потомъ не смягчена она была сильнымъ чувствомъ любви родительской.

Между тѣмъ въ войско донеслась новая вѣсть, что Сѣчь взята и разорена татарами. Атаманъ зоветъ казаковъ на изгнаніе татаръ; но Бульба хочетъ прежде освободить плѣнныхъ запорожцевъ отъ ляховъ. Оба войска, раздѣлясь на двѣ половины, простились и разстались. Страшно дрался Бульба; но сынъ его достался въ плѣнъ ляхамъ — и самъ Тарасъ едва не погибъ. Этотъ запорожецъ, котораго мы видѣли такимъ неумолимымъ къ его сыну, измѣнившему отчизнѣ, тутъ трогаетъ насъ своимъ чадолюбіемъ и истребляетъ въ душѣ первое впечатлѣніе своей жестокости. И во снѣ и наяву нѣтъ у него другой мысли, какъ освободить сына. Тарасъ въ Варшавѣ, гдѣ Остапъ заключенъ въ тюрьмѣ... Ему готовится казнь. Отецъ обѣщалъ жидамъ всѣ свои сокровища, и настоящія и будущія, если они ему выручатъ сына. Жиды хлопочутъ; но дѣло самъ же Бульба испортилъ своею горячностью... Насталъ день казни. Бульба на площади... Онъ видитъ своего сына, гордо идущаго впередъ на плаху; онъ слышитъ его рѣчь противъ еретиковъ: «Добре, сынку, добре!» говоритъ тихо Бульба, потупивъ въ землю свою сѣдую голову... Мучаютъ Остапа... кости его хрустятъ. Остапъ крѣпится... и въ припадкѣ мученій, вскрикиваетъ невольно: «Батько! гдѣ ты? Слышишь ли ты?» — «Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь милліонъ народа въ одно время вздрогнулъ».

Это славное: *слышу!* отдалось въ душѣ громко и глубоко, и, вѣрно, такимъ же звукомъ отдается въ душѣ каждаго изъ читателей. Это: *слышу!* останется навсегда памятнымъ въ нашей литературѣ, и если бы Гоголь не изобрѣлъ ничего другого, кромѣ этого славнаго *слышу!* то однимъ этимъ могъ бы заставить молчать всякую злонамѣренность критики. Повѣсть кончается славною местью Тараса полякамъ, поминками по Остапѣ, и чудную и страшною кончиною самого героя, которая фантастически заключаетъ этотъ огненный разсказъ. Старикъ Бульба, привязанный къ бревну, и его вѣющіе бѣлые волосы рѣзко запечатлѣются въ воображеніи.

Шевыревъ.

Характеристика Тараса Бульбы.

Вы возвышаетесь духомъ и предаетесь глубокой и важной думѣ, читая «Тараса Бульбу»; вы смѣетесь и хохочете, читая курьезную «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: отчего эта противоположность впечатлѣнія отъ двухъ произведеній одного и того же художника? — Отъ сущности дѣйствительности, возсозданной въ томъ и другомъ, оттого, что первое изображаетъ положеніе жизни, а другое — ея отрицаніе. Что такое Тарасъ Бульба? Герой, представитель жизни цѣлаго народа, цѣлаго политическаго общества въ извѣстную эпоху жизни. Что вы видите въ этой поэмѣ? что особенно поражаетъ васъ въ ней? Общество, составленное изъ пришельцевъ разныхъ странъ, изъ удалыхъ головъ, бѣжавшихъ — кто отъ нищеты, кто отъ родительскаго проклятія, кто отъ меча закона, и между тѣмъ — общество, имѣющее одинъ общій характеръ, твердо сплоченное и связанное какимъ-то крѣпкимъ цементомъ. Въ чемъ эта связь? въ православіи? Но оно такъ безтребовательно, такъ ограниченно и бѣдно въ своей сущности, что мало походитъ на религію. «Они приходили сюда, какъ будто возвращались въ свой собственный домъ, изъ котораго только за часъ передъ тѣмъ вышли. Пришедшій являлся только къ кошевому, который обыкновенно говорилъ: «Здравствуй. Что во Христа вѣруешь» — Вѣрую! отвѣчалъ приходившій. «И въ Троицу Святую вѣруешь? — Вѣрую. — «И въ церковь ходишь?» — Хожу. — А ну, перекрестись!» Пришедшій крестился. «Ну, хорошо», отвѣчалъ кошевой: «ступай же въ который самъ знаешь курень». Этимъ оканчивалась вся церемонія. Нѣтъ, тутъ была другая, сильнѣйшая связь: это—удальство, которому жизнь—копейка, голова—наживное дѣло; это жажда дикихъ натуръ, людей, кипящихъ избыткомъ исполинскихъ силъ,— жажда наполнить свою жизнь, тяготимую бездѣйствіемъ и праздностью. Что же лучше могло наполнить ее, удовлетворить дикій духъ человѣка могучаго, но безъ идей, безъ образованности, почти полудикаря, какъ не кровавая сѣча, какъ не отчаянное удальство во время войны, и не бѣшеная гульба во время мира? Оттого-то и въ этой гульбѣ нѣтъ ничего оскорбляющаго чувство, но какъ много поэтическаго: оттого-то эта гульба была, какъ превосходно выразился поэтъ, широкимъ разметомъ души. Итакъ, вотъ гдѣ основа и источникъ казацкой жизни и Запорожской сѣчи, «того гнѣзда, откуда вылетали тѣ гордые и крѣпкіе, какъ львы», и вотъ гдѣ основная идея поэмы Гоголя. Тарасъ Бульба является у него представителемъ этой жизни, идеи этого народа, апоѳеозомъ этого широкаго размета души. Дурной мужъ, какъ всѣ люди полудикой гражданственности, онъ любилъ своихъ сыновей, потому что изъ нихъ должны выйти важные лыцари, и онъ не любилъ бы и презиралъ бы дочерей своихъ, если бы имѣлъ ихъ, потому что онъ никакъ не могъ понять, что хорошаго въ человѣкѣ, если онъ не годится въ «лыцари». Онъ былъ

христіанинъ и православный по преданію, въ самомъ отвлеченномъ смыслѣ: рѣдко видѣлъ церковь Божію и въ правилахъ жизни своей руководствовался обычаемъ и собственными страстями, а не религіею, — и между тѣмъ зарѣзалъ бы родного сына за малѣйшее слово противъ религіи и фанатически ненавидѣлъ бусурмановъ. Онъ любилъ свою родную Украйну и ничего не зналъ выше и прекраснѣе удалого казачества, потому что чувствовалъ то и другое въ каждой каплѣ крови своей, и духъ того и другого нашелъ въ немъ свой настоящій сосудъ, рѣзкими, рельефными чертами выпечатлѣлся на его полудикой физіономіи и во всей его полудикой личности. Народную вражду онъ смѣшалъ съ личною ненавистью, и когда къ этому присоединился дикій фанатизмъ отвлеченной религіозности, то мысль о поганомъ католичествѣ, какъ называлъ онъ поляковъ, представлялась ему въ формѣ дымящейся крови, предсмертныхъ стоновъ и зарева пылающихъ городовъ, селъ, монастырей и костеловъ. Это лицо совершенно трагическое; его комизмъ только въ противоположности формъ его индивидуальности съ нашими — комизмъ чисто внѣшній. Вы смѣетесь, когда онъ дерется на кулачки съ роднымъ сыномъ и пресеріозно совѣтуетъ ему тузить всякаго, какъ онъ тузилъ своего батьку; но вы уже и не улыбаетесь, когда видите, что онъ попался въ плѣнъ, потянувшись за грошовою люлькою; но вы содрогаетесь, только еще видя, что онъ въ яростной битвѣ приближается къ оторопѣвшему сыну: сердце ваше предчувствуетъ трагическую катастрофу; но у васъ замираетъ духъ отъ ужаса, когда въ вашемъ слухѣ раздается этотъ комическій вопросъ: «Что, сынку?» но вы болѣзненно раздѣляете это мимолетное умиленіе желѣзнаго характера, въ словахъ Бульбы: «Чѣмъ бы не казакъ былъ? И станомъ высокій, и чернобровый, и лицо какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ бою — пропалъ, пропалъ безъ славы!...» А эта страшная жажда мести у Бульбы противъ красавицы-полячки, по мнѣнію его, чарами погубившей его сына, и потомъ — это море крови и пожаровъ, объявшее враждебный край, и среди него грозная фигура стараго фанатика, совершавшаго страшную тризну въ память сына; наконецъ, это омертвѣніе могучей души, оглушенной двукратнымъ потрясеніемъ, потерею обоихъ сыновей: «Неподвижный сидѣлъ онъ на берегу моря, шевеля губами и произнося: «Остапъ мой, Остапъ мой!» Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ тростникѣ кричала чайка; бѣлый усъ его серебрился, и слезы капали одна за другою»... А это безконечно-знаменательное: «слышу, сынку!» и эта вторая страшная тризна мщенія за второго сына, кончившаяся смертью мстителя, и какою смертью! Привязанный желѣзною цѣпью къ стоячему бревну, съ пригвожденною рукою, кричалъ онъ своимъ «хлопцамъ», что имъ надо дѣлать, чтобы спастись отъ непріятеля, и изъявлялъ свой восторгъ отъ ихъ удальства и проворства... Видите ли: у этого человѣка была идея, которою онъ жилъ и для которой онъ жилъ; видите ли: онъ не

пережилъ ея, онъ умеръ вмѣстѣ съ нею. Для нея убилъ онъ собственною рукою милаго сына, для нея онъ умеръ и самъ... Въ его душѣ жила одна идея, и всѣ другія были ему недоступны, враждебны и ненавистны. Грубость и ограниченность Бульбы принадлежатъ не его личности, но его народу и времени.

Бѣлинскій.

Лирическій элементъ въ „Тарасѣ Бульбѣ".

Въ «Тарасѣ Бульбѣ», гдѣ такъ блестяще удалось Гоголю изобразить поэтическія стороны казачества, въ которомъ «русскій характеръ получилъ могучій, широкій размахъ и крѣпкую наружность», лиризмъ нерѣдко прорывается неудержимымъ потокомъ и особенной силы достигаетъ въ концѣ шестой главы, въ извѣстной патетической сценѣ между прекрасной панночкой и Андріемъ. Но если взглянуть на все это съ точки зрѣнія автора, то нельзя не согласиться, что глубокій лиризмъ, которымъ проникнуты эти мѣста, заставляетъ читателей переживать высокое поэтическое наслажденіе. Словомъ, въ «Тарасѣ Бульбѣ» можно искать не столько трезвой исторической правды, отъ которой поэма дѣйствительно далека уже по своему «лирическому теченію», сколько отвлеченія отъ всего будничнаго, прозаическаго, — идеальныхъ сторонъ казачества, собранныхъ вмѣстѣ, въ одномъ волшебномъ фокусѣ. Иначе и быть не могло, такъ какъ Гоголь ровно настолько интересовался исторіей, насколько она затрогивала его воображеніе и чувство, а страстно любимыя имъ народныя пѣсни, его главной источникъ, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ вліянія на его душу, естественно представляютъ жизнь съ ея поэтической стороны. Пѣсни, какъ мы раньше говорили, сохраняли свою чудную власть надъ Гоголемъ во всю его жизнь, и его горячее воображеніе къ родинѣ въ «Мертвыхъ душахъ» не могло ихъ забыть; изъ него видно, что любовь къ русскимъ пѣснямъ была чуть ли не самой чувствительной струной въ патріотической лирѣ Гоголя. Не даромъ онъ прежде всего устремляется къ ней мыслью, желая найти въ Россіи, что бы достойнымъ образомъ можно было противопоставить «дерзкимъ дивамъ» Запада. «Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города; ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышишь, и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? какая непостижимая связь таится между нами?»

«Тарасъ Бульба» — глубоко субъективное произведеніе: но особенно, изображая разговоръ Андрія съ полячкой, Гоголь гораздо

больше чувствовалъ потребность излить поэтическое преклоненіе передъ женщиной, давая полную волю идеализаціи послѣдней, нежели заботился о соблюденіи исторической вѣрности. Ему было не до того. Поэтому здѣсь всюду слышатся лирическія ноты, но особенно въ этихъ словахъ: «Бросила прочь она отъ себя платокъ, отдернула налѣзавшіе на очи длинные волосы косы своей, и вся разлилась въ жалостныхъ рѣчахъ, выговаривая ихъ тихимъ-тихимъ голосомъ, подобно тому, какъ вѣтеръ, поднявшись прекраснымъ вечеромъ, пробѣжитъ вдругъ по густой чащѣ приводнаго тростника: зашелестятъ, зазвучатъ и понесутся вдругъ унывно-тонкіе звуки, и ловитъ ихъ съ непонятной грустью остановившійся путникъ, не чуя ни погасающаго вечера, ни несущихся веселыхъ пѣсенъ народа, бредущаго отъ полевыхъ работъ и жнивъ, ни отдаленнаго стука гдѣ-то проѣзжающей телѣги». Или: «Полный чувствъ, вкушаемыхъ не на землѣ, Андрій поцѣловалъ въ благовонныя уста, прильнувшія къ щекѣ его, и небезотвѣтны были благовонныя уста. Они отозвались тѣмъ же, и въ этомъ обоюдно-сліянномъ поцѣлуѣ ощутилось то, что одинъ разъ въ жизни дается чувствовать человѣку». И тотчасъ послѣ этихъ словъ переходъ: «И погибъ казакъ! и пропалъ для всего казацкаго рыцарства» и проч. Трогательное предсмертное прощаніе казаковъ съ родиной также, конечно, всецѣло принадлежитъ поэзіи, а никакъ не исторіи, какъ и разсказъ объ артистическомъ восторгѣ иностранца-инженера, съ увлеченіемъ аплодирующаго своимъ непріятелямъ, «месье запорогамъ».

Нѣкоторыя лирическія мѣста являются въ «Тарасѣ Бульбѣ» подъ явнымъ и непосредственнымъ вліяніемъ народныхъ пѣсенъ. Приведемъ примѣръ. Въ описаніи боя съ поляками есть, между прочимъ, слѣдующее мѣсто: «Не по одному казаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго изъ нихъ въ очи, — нѣтъ ли между ними одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска, и вѣчно не будетъ между ними одного милѣйшаго всѣхъ». Въ малорусскихъ пѣсняхъ Максимовича мы находимъ совершенно подобное содержаніе въ слѣдующей пѣснѣ:

У Глуховѣ у городѣ
Стрѣльнули зъ гарматы;
Не по одномъ козаченьку
Заплакала мати.
У Глуховѣ у городѣ
Стрѣльнули зъ ружницы;
Не по одномъ козаченьку
Заплакали сестрици.

У Глуховѣ у городѣ
Поплетены сѣтки;
Не по одномъ козаченьку
Заплакали дѣтки.
На быстрому на озерѣ
Геть! плавала качка;
Но по одномъ козаченьку
Заплакала козачка» и пр.

Пѣсни же и представленіе объ ихъ исполнителяхъ-бандуристахъ внушили Гоголю и эту лирическую тираду: «И пойдетъ дыба по всему

свѣту, и все, что ни народится потомъ, заговоритъ о немъ» (т.-е. объ убитомъ казакѣ); «ибо далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую мастеръ много повергнулъ дорогого, чистаго серебра, чтобы далече по городамъ, лачугамъ, палатамъ и весямъ разносился красный звонъ, сзывая всѣхъ равно на святую молитву».

Вліяніе пѣсенъ, несомнѣнно, сильно способствовало яркому, праздничному и торжественному колориту всего содержанія «Тараса Бульбы»,—торжественному, несмотря на общій трагическій отпечатокъ, который носитъ на себѣ повѣсть; но удаленіе Гоголя отъ всего обыденнаго въ поэмѣ вовсе не ослабляетъ ея художественнаго значенія и не приближаетъ ее къ натянутой аффектаціи бездарныхъ писателей. Гоголь же, почерпая свое вдохновенье въ такомъ прекрасномъ и свѣтломъ источникѣ, какъ народная поэзія, несомнѣнно правдиво и художественно передалъ намъ въ своей поэмѣ то, что пережилъ и глубоко прочувствовалъ малороссійскій народъ.

Другія лирическія мѣста являются въ «Тарасѣ Бульбѣ» уже просто подъ вліяніемъ личныхъ чувствъ и размышленій автора. Сюда, вѣроятно, слѣдуетъ отнести это прекрасное мѣсто: Что-то пророчитъ имъ (Остапу и Андрію) и говоритъ это благословенье (матери)? Благословенье ли на побѣду надъ врагомъ и потомъ веселый возвратъ въ отчизну съ добычей и славой на вѣчныя пѣсни бандуристамъ, или же?... Но не извѣстно будущее, стоитъ оно передъ человѣкомъ подобно осеннему туману, поднявшемуся изъ болотъ: безумно летаютъ въ немъ вверхъ и внизъ, черкая крыльями, птицы, не распознавая въ очи другъ друга, голубка— не видя ястреба, ястребъ — не видя голубки, никто не знаетъ, какъ далеко летаетъ отъ своей погибели»... Этотъ образъ такъ нравился Гоголю, что былъ имъ повторенъ въ сокращенномъ видѣ въ той же повѣсти: «Но не вѣдалъ Бульба, что готовитъ Богъ человѣку завтра, и сталъ позабываться сномъ, и, наконецъ, заснулъ». Прекрасное, исполненное глубокаго лиризма, описаніе величественныхъ звуковъ органа и вообще католическаго богослуженія, несомнѣнно, явилось у Гоголя какъ результатъ заграничныхъ впечатлѣній, преимущественно римскихъ, что ясно уже изъ того, что вся эта часть главы отсутствуетъ въ первоначальной редакціи и является только въ исправленной.

Шенрокъ.

Историко-этнографическое значеніе повѣсти „Тарасъ Бульба“.

Цѣльныя повѣсти Гоголя, изображающія казачество: «Вій», «Пропавшая грамота», «Страшная месть» и «Тарасъ Бульба», рисуютъ, съ одной стороны, внутренній бытъ малороссійскаго казачества Лѣвобережной Украйны, съ его вѣрованіями и преданіями, съ другой — бытъ Запорожья, его походы и войны.

Эти произведенія не могутъ быть названы строго историческими повѣстями, и самъ творецъ никогда не считалъ ихъ таковыми, а просто называлъ повѣстями и былями. Дѣйствительно, они не могутъ быть пріурочены къ какому-либо опредѣленному времени; дѣйствующія въ нихъ лица не историческія, а типы той или другой эпохи; поэтому перечисленныя повѣсти имѣютъ лишь историко-этнографическое значеніе.

Мы не будемъ касаться религіозныхъ воззрѣній и вѣры малорусскаго народа въ духовъ, демонологіи его, а извлечемъ лишь тѣ черты, которыя воскрешаютъ предъ нами жизнь малороссійскаго вообще, и запорожскаго въ частности, казачества.

Характеристика Гоголемъ казачества и изображеніе имъ жизни Малороссіи прошлыхъ вѣковъ вытекали и всецѣло обусловливались основнымъ взглядомъ поэта на ту историческую роль, которую казачество призвано было выполнить на исторической аренѣ и которую оно, дѣйствительно, выполнило съ великою честью. Герои гоголевскихъ повѣстей часто выражаютъ ясно свой взглядъ на эту роль. Данило Бурульбашъ говорилъ о себѣ: «Слава Богу, ни въ одномъ еще безчестномъ дѣлѣ не былъ; всегда стоялъ за вѣру православную и отчизну». Тотъ же взглядъ выражаетъ и Тарасъ Бульба: «теперь благослови, мать, своихъ дѣтей: моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за вѣру Христову, а не то пусть лучше пропадутъ, чтобы и духу ихъ не было на свѣтѣ». Гуляютъ ли казаки, они пьютъ «за вѣру», «за Сѣчь», «за славу и всѣхъ христіанъ, какіе живутъ на свѣтѣ!» Умирающіе на войнѣ казаки, при послѣднемъ вздохѣ своемъ, заботятся только о родинѣ: «Пусть же станетъ на вѣчныя времена православная Русская земля и будетъ ей вѣчная честь!» Гоголь весь былъ проникнутъ благоговѣніемъ предъ идеаломъ казачества, и это благоговѣніе онъ вынесъ изъ изученія его исторіи по лѣтописямъ, народнымъ пѣснямъ и тѣмъ немногимъ историческимъ документамъ, какіе были въ ту пору доступны для историка.

Въ изображеніи жизни и характеристикѣ казачества Гоголь никогда не смѣшивалъ двухъ составныхъ его частей: малорусскаго казачества вообще, разселившагося въ городахъ и селахъ по обѣимъ сторонамъ Днѣпра, и запорожскаго—въ частности, жившаго общей военной жизнью въ своей, защищаемой одной храбростью, крѣпости Сѣчи. Трудящійся, заботливый хозяинъ-казакъ, когда живетъ въ своемъ хуторѣ, является у него и добрымъ, хотя часто грубымъ, мужемъ и нѣжно любящимъ отцомъ, ни на минуту не забывающимъ ни цѣли своей жизни — борьбы за вѣру и родину съ врагами ея,—ни своего долга внушить сыну тѣ же понятія о своемъ назначеніи. Жена Данила въ «Страшной мести» обращается къ мужу съ такими словами: «погляди на сына! Кто пригрѣетъ бѣдное дитя? Кто приголубитъ его? Кто выучитъ его летать на ворономъ конѣ, биться за волю и вѣру, пить и гулять по-казацки?» Но образцомъ заботливаго отца является

Бульба: онъ отдаетъ своихъ сыновей въ школу, заботится объ ихъ успѣхахъ и грозитъ Остапу, что онъ «не увидитъ Запорожья вовѣки, если не выучится въ академіи всѣмъ наукамъ» (вспомнимъ ученье Сагайдачнаго, Хмельницкаго). Когда же сыновья окончили академію, Бульба самъ ведетъ ихъ въ Запорожье, хлопочетъ о томъ, чтобы они прошли военную школу на практикѣ, создаетъ даже для этого поводъ къ войнѣ противъ Польши и Турціи, самъ убиваетъ родного сына за измѣну и жестоко мститъ за казненнаго въ Варшавѣ. Въ этомъ изображеніи домовитости казаковъ и личныхъ высокихъ качествъ семьянина нѣтъ ни одной черты, которая не могла бы быть подтверждена или документами, или лѣтописями, или народными пѣснями.

Точно такъ же вѣрно представлена и домашняя обстановка казаковъ: описаніе ихъ жилищъ, внутренняго устройства и убранства, пищи, одежды, вооруженія, хозяйства — все это можетъ быть провѣрено по иллюстраціоннымъ актамъ, документамъ юридическимъ и записками современниковъ...

Описывая Сѣчь, занятія казаковъ въ мирное время, ихъ общественный строй, обычаи на войнѣ, Гоголь также строго и близко держится названныхъ нами источниковъ. Поэтому представлять подробно изображеніе хуторной и сѣчевой жизни казаковъ мы полагаемъ излишнимъ: кто же въ наше время не читалъ «Страшной мести», «Тараса Бульбы» и другихъ Гоголевскихъ произведеній, живо воскрешающихъ эту жизнь? Мы хотѣли лишь указать, что изображеніе казацкой жизни исторически вѣрно у Гоголя, и онъ съ полнымъ правомъ говоритъ объ этомъ въ одномъ мѣстѣ своей повѣсти «Тарасъ Бульба», котораго «свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ да въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болѣе на Украйнѣ бородатыми старцами-слѣпцами въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа, — во вкусѣ того браннаго, труднаго времени, когда начинали разыгрываться схватки и битвы на Украйнѣ за унію». Повтореніе нами этого описанія, какъ предмета всѣмъ и каждому давно и хорошо извѣстнаго, утомило бы только вниманіе читателей...

Съ полнымъ безпристрастіемъ рисуетъ Гоголь разбойническій характеръ казачества въ военное время, о чемъ онъ упоминаетъ и въ своемъ «Взглядѣ на составленіе Малороссіи», объясняя этотъ характеръ условіями тогдашней непрерывной кровавой борьбы съ сосѣдями: «Дыбомъ всталъ бы нынѣ волосъ», говоритъ онъ, «отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые пронесли вездѣ запорожцы»..... «пожары обхватывали деревни; скотъ и лошади, которые не угонялись за войскомъ, были избиваемы тутъ же на мѣстѣ... скирды неубраннаго хлѣба сжигались, а на нивы, еще не тронутыя серпомъ, выпускались табуны коней». Эти свирѣпства тѣмъ ужаснѣе, что они падали на голову беззащитныхъ православныхъ же поселянъ и горожанъ, изъ среды которыхъ выходили и сами запорожцы. Еще большія жестокости постигали польскую шляхту,

католическое духовенство и евреевъ. Картинами такихъ ужасовъ особенно богаты лѣтописи эпохи Хмельницкаго.

Изображая свѣтлыя стороны казачества и не закрывая глазъ отъ его печальныхъ, темныхъ сторонъ, Гоголь еще въ «Страшной мести» отмѣчаетъ происшедшій въ казачествѣ расколъ, когда многіе вліятельные и богатые казаки стали тянуть въ сторону Польши. «Порядку нѣтъ въ Украйнѣ; полковники и есаулы грызутся, какъ собаки, между собою; нѣтъ старшей головы надъ всѣми. Шляхетство наше все перемѣнило на польскій обычай, переняло лукавство... продало душу, принявши унію». То же повторяетъ онъ и въ «Тарасѣ Бульбѣ»: «тогда вліяніе Польши начинало уже оказываться на русскомъ дворянствѣ. Многіе перенимали уже польскіе обычаи, заводили роскошь, великолѣпную прислугу, соколовъ, ловчихъ, обѣды, дворы. Тарасу это было не по сердцу. Онъ любилъ простую жизнь казаковъ и перессорился съ тѣми изъ своихъ товарищей, которые были наклонны къ Варшавской сторонѣ, называя ихъ холопьями польскихъ пановъ.

Такимъ образомъ, Гоголь, представляя точно духъ казачества, важнѣйшія стороны его жизни, отмѣтилъ и важнѣйшія эпохи въ ней; но мы напрасно искали бы въ его произведеніяхъ буквальной исторической точности. Гоголь рѣшительно избѣгалъ ея и тѣмъ сдѣлалъ свои произведенія не старѣющими. Онъ писалъ въ то время, когда точная исторія казачества была еще невозможна: собираніе актоваго матеріала, не говоря объ изученіи его, только что начиналось; Гоголь не могъ согласить противорѣчивыхъ лѣтописей, уклонялся поэтому отъ характеристикъ и именъ историческихъ дѣятелей и не дѣлалъ никогда точнаго опредѣленія времени и мѣста изображаемыхъ событій. Пользуясь народными пѣснями, онъ отражаетъ вполнѣ ихъ вліяніе на своихъ произведеніяхъ: послѣднія, какъ и пѣсни, неточны; какъ и пѣсни, они изображаютъ лишь духъ и характеръ своихъ героевъ; какъ и пѣсни, они проникнуты горячимъ чувствомъ любви къ родинѣ, вѣчно свѣжимъ и живымъ, глубоко проникающимъ въ сердце читателя. Не лицъ и событія представляетъ изъ исторіи Малороссіи Гоголь, а воспѣваетъ казацкую славу: «не погибнетъ ни одно великодушное дѣло и не пропадетъ, какъ малая порошинка съ ружейнаго дула, казацкая слава. Будетъ, будетъ бандуристъ, съ сѣдою по грудь бородою, а можетъ еще полный зрѣлаго мужества, но бѣлоголовый старецъ, вѣщій духомъ, и скажетъ онъ про нихъ (казаковъ) свое густое, могучее слово». Это густое, могучее слово и сказалъ лучше другихъ самъ Гоголь; онъ—истинный бандуристъ, поющій съ горячей любовью о подвигахъ казачества: «и», скажемъ словами народной думы, «вже ёго слава», благодаря произведеніямъ Гоголя, «не вмре, не поляже; буде слава помижъ царями, помижъ панами, помижъ православными хрестіанами... отъ ныни до вика!»

Каманинъ.

Южно-русскій народный элементъ въ повѣсти „Тарасъ Бульба“.

Повѣсть «Тарасъ Бульба» основана, главнымъ образомъ, на письменныхъ источникахъ, а именно лѣтописяхъ и историческихъ сочиненіяхъ Боплана, Туманскаго, псевдо-Конискаго, Стрыйковскаго, князя Мышецкаго, Шерера и др.; но при новыхъ передѣлкахъ этой повѣсти Н. В. Гоголь въ значительной мѣрѣ воспользовался и малорусскими народными думами и пѣснями. Такъ, напримѣръ, о сборѣ охочекомонныхъ казаковъ Гоголь говоритъ такъ: «кромѣ рейстровыхъ казаковъ, считавшихъ обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, въ случаѣ большой потребности, набрать цѣлыя толпы охочекомонныхъ: стоило только есауламъ пройти по рынкамъ и площадямъ всѣхъ селъ и мѣстечекъ и прокричать во весь голосъ, ставши на телѣгу: «эй, вы, пивники, броварники! полно вамъ пиво варить, да валяться позапечьямъ, да кормить своимъ жирнымъ тѣломъ мухъ! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречикосѣи, овцепасы, баболюбы! полно вамъ за плугомъ ходить, да пачкать въ землѣ свои желтые чоботы, да подбираться къ жинкамъ и губить силу рыцарскую! пора доставать казацкой славы». Это мѣсто представляетъ переложеніе, съ необходимыми сокращеніями, въ прозу начальныхъ стиховъ думы о Коновченкѣ по тексту, изданному Лукашевичемъ въ его сборникѣ «Малороссійскія и червонорусскія народныя думы и пѣсни». Въ другомъ мѣстѣ «Тараса Бульбы», въ новой его редакціи, Гоголь такъ выражается о народныхъ источникахъ своей повѣсти: «свѣтлица была убрана во вкусѣ того времени, о которомъ живые намеки остались только въ пѣсняхъ, да въ народныхъ думахъ, уже не поющихся болѣе въ Украйнѣ бородатыми старцами слѣпцами въ сопровожденіи тихаго треньканья бандуры, въ виду обступившаго народа». Разсказъ о томъ, какъ Закрутыгуба (Мосій Шило) притворнымъ принятіемъ магометанства освободилъ своихъ товарищей казаковъ изъ неволи, съ галеры, выступившей изъ Трапезонта, основанъ на обширной думѣ о Самойлѣ Кишкѣ, по сборнику Лукашевича. Въ концѣ первой главы «Тараса Бульбы» прощаніе матери съ сыновьями, отправляющимися на войну, заимствовано изъ народной пѣсни. Въ восьмой главѣ, въ изображеніи казацкой славы, есть нѣкоторые мотивы казацкой думы «Походъ на поляковъ». Въ девятой главѣ «Тараса Бульбы», въ позднѣйшей редакціи, прибвалены Гоголемъ слѣдующія слова: «и какъ грянула она (пушка), а за нею слѣдомъ три другія, четырекратно потрясши глухоотвѣтную землю, — много нанесли онѣ горя! Не по одному казаку взрыдаетъ старая мать, ударяя себя костистыми руками въ дряхлыя перси; не одна останется вдова въ Глуховѣ, Немировѣ, Черниговѣ и другихъ городахъ. Будетъ, сердечная, выбѣгать всякій день на базаръ, хватаясь за всѣхъ проходящихъ, распознавая каждаго

изъ нихъ въ очи, нѣтъ ли между ихъ одного, милѣйшаго всѣхъ; но много пройдетъ черезъ городъ всякаго войска и вѣчно не будетъ между ними одного, милѣйшаго всѣхъ». Эта прибавка представляетъ обработку отрывковъ изъ разныхъ малорусскихъ думъ и пѣсенъ. Начало ея обнаруживаетъ подражаніе слѣдующимъ стихамъ пѣсни «о выходѣ на линію»:

У Глуховѣ у городѣ стрельнули въ гарматы;
Не по одномъ казаченьку заплакала мати.

Конецъ прибавки напоминаетъ пѣсню «Иванъ Коновченко», которою Гоголь уже воспользовался для характеристики охочекомонныхъ. Въ десятой главѣ вѣрный товарищъ Тараса Бульбы, спасая его отъ смерти въ степи, выражается при этомъ словами южно-русскихъ народныхъ пѣсенъ. *Петровъ.*

„Тарасъ Бульба“, какъ отраженіе любви Гоголя къ старинѣ.

Скучно было Гоголю среди обстановки старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Но во дни юности онъ любилъ эту жизнь и не переставалъ любить ее позже, какъ не могъ позабыть скромныхъ и милыхъ его сердцу Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. У многихъ установился взглядъ, будто данная повѣсть есть сатира на то, какъ «не хорошо» людямъ быть чуждыми всякихъ высшихъ интересовъ, что Гоголь вложилъ въ эту повѣсть «великую и простую мысль», что «не тѣлесная, а духовная жизнь есть истинно человѣческая жизнь, что ничтожество грозитъ тому, кто пренебрежетъ интересами духа въ пользу плоти». Ничего подобнаго нѣтъ: все это «словесные кривотолки», вопреки яснымъ выраженіямъ автора въ началѣ повѣсти о старосвѣтскихъ помѣщикахъ и вопреки всему колориту тихой задумчивости и любовной мягкости, какою проникнутъ разсказъ о жизни тѣхъ старожиловъ, которые такъ непохожи на малороссіянъ, «наводняющихъ Петербургъ ябедниками», или поручиковъ, какіе оставляютъ послѣ себя отъ уютной усадьбы «кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, да заросшій ровъ», на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ гостепріимный живописный домикъ. Самъ Гоголь не могъ довольствоваться уединенной жизнью ея владѣтелей, но онъ, какъ гость, любилъ «иногда сойти въ сферу» такой идиллической обстановки, — и ничтожество этой старосвѣтской жизни никогда не представлялось ему достойнымъ безпощаднаго отрицанія и литературнаго осмѣянія.

Отъ этого безмятежнаго міра, «гдѣ ни одно желаніе не перелетаетъ черезъ частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, и за плетень сада», или отъ міра мятущагося и суетнаго въ своей пошлости, гдѣ ждутъ десятки лѣтъ, чтобы утишить мстительное чувство судейскимъ приговоромъ, Гоголь уходилъ въ міръ былого или въ область

фантастики. Повѣсть «Тарасъ Бульба» (первая редакція 1833 г.) явилась отраженіемъ его любви къ старинѣ, которая представлялась ему въ эффектныхъ героическихъ подвигахъ, охваченная сильными страстями и обвѣянная чарующими звуками исторической малорусской пѣсни-думы. Это результатъ его работы надъ малорусской исторіей, которую онъ думалъ написать во многихъ томахъ большого, цѣльнаго сочиненія. «Исторіи» никакой Гоголь не написалъ, а создалъ «Тараса Бульбу», апоѳеозъ народной борьбы за свою вѣру и свое счастье, художественный гимнъ умирающему прошлому своей родины, разсказъ-былину, повѣсть-думу, использовавъ, главнымъ образомъ, своеобразные пріемы народнаго пѣснотворчества въ формахъ ритмической прозы, столь характерной для эпопеи изъ былой казацкой жизни. Такъ было нѣкогда и съ невѣдомымъ поэтомъ XII вѣка, который задумалъ исторически разсказать о походѣ князя Игоря Сѣверскаго «по былинамъ сего времени», согласно правдивому изображенію событій, а не «по замышленію Баяню»; но поэтическій талантъ увлекъ автора именно въ эту сферу, болѣе близкую его душевному складу, и «появилось «Слово о полку Игоревѣ» — историческая пѣсня, стариннѣйшая дума о давнишнихъ борцахъ за благо и счастье южнорусской земли. Власть художественнаго генія, окрыленнаго поэзіей народнаго творчества, вопреки всѣмъ преднамѣреннымъ планамъ и постороннимъ задачамъ авторовъ, одинаково привела обоихъ писателей и въ XII, и въ XIX вѣкахъ къ созданію не того, что они хотѣли изобразить, а того что могли сотворить.

Житецкій.

Старина въ „Тарасѣ Бульбѣ“.

О широкомъ знакомствѣ Гоголя съ матеріалами по малорусской этнографіи свидѣтельствуетъ одна изъ записныхъ книжекъ его «Подручная энциклопедія», начатая имъ еще въ 1826 году въ Нѣжинѣ и представляющая изъ себя обширную тетрадь въ 490 страницъ, гдѣ масса всякихъ свѣдѣній, но преобладаютъ записи, относящіяся къ Малороссіи: здѣсь и малороссійскій словарь и вирши запорожцевъ Потемкину, и описаніе малороссійскихъ игръ, и списокъ наиболѣе употребительныхъ въ Малороссіи именъ, даваемыхъ при крещеніи и малороссійскія загадки, преданія и обычаи, обряды и пѣсни, и описаніе малороссійскихъ кушаній, свадебъ, старинной одежды. Очень много изъ этой сокровищницы перешло и въ повѣсти Гоголя. Источникомъ же для характеристики чудной украинской природы служили ему его непосредственныя впечатлѣнія. Онъ былъ влюбленъ въ природу и открывалъ въ ней все новыя и новыя прелести. Конечно, нельзя искать въ повѣстяхъ Гоголя этнографической точности, какъ того требовалъ Кулишъ: въ ихъ основѣ лежала дѣйствительность, переработанная творческой фантазіей. Это часто родникъ поэзіи.

По прекрасному выраженію автора О. Куликовскаго, здѣсь «сѣрые тона жизни удалены, изъ нея взято все яркое, колоритное; показанъ праздникъ жизни. Жизнь наряжена въ костюмъ легенды, и легенда сливается съ жизнью. И все озарено волшебнымъ свѣтомъ — это какъ бы феерія при бенгальскомъ освѣщеніи; вездѣ поэзія, одни поэтическіе образы; изумительная поэзія, великое мастерство. Но слишкомъ уже много поэзіи — она утомляетъ; въ ней поэтъ не проявляетъ должной экономіи и въ ней нѣтъ еще настоящей глубины изображенія жизни».

Еще болѣе романтическаго элемента мы находимъ въ «Тарасѣ Бульбѣ». Здѣсь романтизмъ органически слитъ съ реализмомъ; здѣсь много исторически вѣрныхъ и реальныхъ подробностей, особенно въ изображеніи Запорожья, а главное — схваченъ и правдиво изображенъ общій духъ эпохи; но характеры идеализированы, дѣйствующія лица обрисованы необычными героическими чертами; ихъ дѣянія выходятъ за предѣлы возможнаго, это не только запорожскіе, но національные малорусскіе герои, и вся повѣсть представляетъ изъ себя нѣчто въ родѣ эпической поэмы или героической эпопеи. При составленіи «Тараса Бульбы» Гоголь пользовался главными тогдашними источниками — казацкими лѣтописями, пресловутой исторіей Руссовъ, Бопланомъ, Шереромъ, исторіей о казакахъ князя Мышецкаго, а изъ пособій — Бантышъ-Каменскимъ. Всего этого мало было для историческаго изслѣдованія о Малороссіи, о которомъ мечталъ Гоголь, — но вполнѣ достаточно было для исторической повѣсти или эпопеи. Чисто историческій элементъ въ «Тарасѣ Бульбѣ» незначителенъ: малорусская исторія не знаетъ ни Тараса Бульбы, ни его сыновей, ни остальныхъ дѣйствующихъ лицъ. Хронологія повѣсти сбивчива: событія, о которыхъ идетъ разсказъ, естественнѣе всего отнести къ XVII вѣку, а между тѣмъ авторъ относитъ ихъ къ XV вѣку. И однако эта дивная историческая повѣсть, ибо въ ней вѣрно очерченъ или, точнѣе, угаданъ духъ и колоритъ эпохи — ея нравы, обычаи и даже характеры. Тараса Бульбы не было, но подобныя личности несомнѣнно въ XVII вѣкѣ существовали. Авторъ въ своей творческой фантазіи обобщилъ черты ихъ характеровъ и создалъ правдивый художественный типъ. Тарасъ Бульба, по запорожскому обычаю, относился къ женѣ пренебрежительно — но какою правдою звучатъ его слова о силѣ материнскаго благословенія: «молитва материнская и на водѣ и на землѣ спасаетъ». Несмотря на явные анахронизмы, правдиво изображены и бурса и Запорожская Сѣчь; описаніе послѣдней близко напоминаетъ народное ея изображеніе у бывшаго запорожца Коржа. Дѣло здѣсь не въ исторически вѣрныхъ деталяхъ, а въ правильномъ воспроизведеніи общей исторической картины, главнымъ источникомъ которой являются не сухія лѣтописи, въ которыхъ разочаровался Гоголь, а народныя историческія пѣсни. Пѣсня, по словамъ Гоголя — это народная исторія, живая, яркая, исполненная красокъ. Пѣсни для Малороссіи все; и

поэзія, и исторія, и отцовская могила. Историкъ не долженъ искать въ нихъ показаній дня и числа битвъ; но когда онъ «захочетъ узнать бытъ, стихіи характера, всѣ изгибы и оттѣнки чувствъ, волненій, страданій, веселій изображаемаго народа, когда захочетъ испытать духъ минувшаго вѣка, тогда онъ будетъ удовлетворенъ вполнѣ, и исторія народа разоблачится предъ нимъ въ ясномъ величіи». Вотъ какой матеріалъ былъ положенъ Гоголемъ въ основу его «Тараса Бульбы». Онъ воспользовался историческими малорусскими пѣснями, главнымъ образомъ, думами, которыя въ то время опубликовали и Максимовичъ и Срезневскій. Одинъ изъ героевъ «Тараса Бульбы», Моисей Шило, взятъ изъ думы о Самуилѣ Кошкѣ; вышеприведенное выраженіе о силѣ родительской молитвы выхвачено изъ другой думы — объ «Олексіѣ Поповичѣ». Вотъ почему съ эпической точки зрѣнія, свойственной думамъ, Гоголь изображаетъ и событія той эпохи, и едва ли правы критики, обвиняющіе его въ томъ, что онъ жестокое изображаетъ въ симпатичномъ видѣ. Свою личную точку зрѣнія, исторически вѣрную и далекую отъ оправданія жестокостей, Гоголь выражаетъ въ слѣдующихъ словахъ: «дыбомъ сталъ бы нынѣ волосъ отъ тѣхъ страшныхъ знаковъ свирѣпства полудикаго вѣка, которые пронесли вездѣ запорожцы». Гоголь въ своемъ «Тарасѣ Бульбѣ», говоритъ Ефименко, «идеализируетъ дѣйствительность... Но ошибки его ничтожны по сравненію съ тѣми правильными взглядами, которыми онъ освѣтилъ извѣстныя стороны южно-русской исторіи... Гоголь правъ въ томъ отношеніи, что, дѣйствительно, въ борьбѣ съ Польшей, потребовавшей крайняго напряженія силъ, казачество развернуло всю скрывавшуюся въ немъ до тѣхъ поръ энергію и разомъ выросло въ казацкій народъ... То, что мы называемъ историческими обобщеніями и новымъ освѣщеніемъ фактовъ, внесеннымъ Гоголемъ въ пониманіе украинскаго казачества и южнорусской исторіи, теперь сдѣлалось общимъ мѣстомъ, извѣстнымъ всѣмъ и каждому. Но мы забываемъ, что все это только потому и сдѣлалось общимъ мѣстомъ, что былъ Гоголь, который силою своего таланта, своей могучей образности, неизгладимо втиснулъ свое пониманіе въ душу каждаго». *Багалѣй.*

Тарасъ Бульба, какъ идеалъ малорусскаго казака, съ точки зрѣнія современниковъ-патріотовъ.

«Тарасъ Бульба»—высшая точка въ художественной идеализаціи Гоголемъ Малороссіи. Эта идеализація, начавшись довольно поверхностнымъ интересомъ, съ какимъ мы встрѣчаемся въ первыхъ письмахъ по этому поводу къ матери, постепенно выросла въ истинную страсть, которая и помогла Гоголю понять интуитивно характерныя черты прошлаго малорусской народности и воплотить ихъ въ «Тарасѣ». Впрочемъ, къ тому времени, когда Гоголь писалъ «Та-

раса», онъ успѣлъ уже собрать много поэтическихъ и историческихъ матеріаловъ. Онъ много работалъ надъ лѣтописями, научными трудами и историческими пѣснями. Тарасъ—продуктъ упорнаго труда. Отовсюду стремился Гоголь извлечь характерныя черты малорусскаго казачества, чтобы воплотить ихъ въ образъ Тараса. И Тарасъ является идеаломъ малорусскаго казака, какимъ онъ представляется романтическому воображенію малорусскихъ патріотовъ. Не только времени Гоголя, но и ближайшихъ десятилѣтій послѣ, до 60-хъ годовъ включительно. Вся правда, которая была въ этомъ представленіи собрана и воплощена въ Тарасѣ. А нельзя сказать, чтобы этой правды было мало. Патріоты-романтики, несомнѣнно, знали и любили свой народъ. Разсматривая его сквозь цвѣтное стекло патріотизма, они многаго не замѣчали и многое навязывали ему; тѣмъ не менѣе многое, благодаря своей любви и знанію, угадывали вѣрно. Тарасъ идеализированъ въ духѣ романтизма. Ему навязано положеніе феодала, рыцарство; ни того ни другого не было въ реальномъ малорусскомъ полковникѣ; казацкій полковникъ былъ демократичнѣе и менѣе вліятеленъ; интересы, которые онъ отстаивалъ, были реальные и болѣе прозаическіе; но при всемъ томъ въ Тарасѣ вѣрно схвачены типичные черты малорусскаго характера—упрямство сдержанной энергіи, флегматичность и широкій размахъ, лукавство, беззаботность, — все черты неразвернувшейся энергической натуры. Тарасъ чрезвычайно типичный малороссъ. Въ его созданіи Гоголь доходитъ до широкаго художественнаго обобщенія, доступнаго только очень крупнымъ талантамъ,—до созданія національнаго типа.

Такимъ образомъ всѣ произведенія Гоголя, написанныя на сюжеты изъ малорусскаго народнаго быта и старины, всецѣло могутъ быть отнесены къ романтической школѣ.

Мы не умаляемъ ихъ значенія; напротивъ, мы признаемъ, что историческое значеніе повѣстей и художественное значеніе Тараса очень велико, но все же эта романтическая струя не является настоящей родной стихіей Гоголя. Полнаго развитія его талантъ достигаетъ въ тѣхъ произведеніяхъ, въ которыхъ Гоголь, освободившись отъ романтизма, является художникомъ-реалистомъ. Эти произведенія въ началѣ чередуются съ романтическими, идетъ борьба между двумя стихіями въ творчествѣ, но постепенно, по мѣрѣ созрѣванія таланта художника, Гоголь все рѣшительнѣе становится на свой истинный путь—реализма. Однако, отзвуки романтизма въ творчествѣ Гоголя являются и позже. Романтизмъ въ настроеніи и міросозерцаніи постепенно все болѣе крѣпнетъ и подъ конецъ жизни вполнѣ овладѣваетъ Гоголемъ.

Количество литературныхъ источниковъ повѣстей Гоголя далеко не выяснено. Указывали (проф. Котляревскій) на повѣсти Погодина; надо думать, что болѣе значительно вліяніе нѣмецкой романтической литературы, на сравненіе съ которой не было обращено должнаго вниманія въ силу предразсудка, что Гоголь не зналъ нѣмецкаго

языка. Отзвуки представленій, почерпнутыхъ изъ нѣмецкой романтики, мы находимъ даже въ «Страшной мести».

Таково, напримѣръ, представленіе о родовомъ замкѣ колдуна. Родовой замокъ съ родовымъ кладбищемъ— обычная принадлежность нѣмецкой романтики, но родовой замокъ надъ Днѣпромъ, да еще принадлежащій представителю демократической среды—казаку—это историческій абсурдъ, и врядъ ли можно сомнѣваться, что это представленіе проникло изъ какого-нибудь изображенія западной феодальной жизни. Черты феодальныхъ отношеній навязываются Гоголемъ малорусской казацкой старинѣ не только въ такихъ частностяхъ. Источникомъ этого явленія надо считать, съ одной стороны, романтизмъ, съ другой—перенесеніе Гоголемъ въ старину современныхъ ему крѣпостническихъ отношеній. Отъ этого недостатка не свободна даже лучшая изъ малорусскихъ повѣстей Гоголя—«Тарасъ Бульба», создавая которую Гоголь дѣйствительно много и обстоятельно работалъ надъ изученіемъ малорусской старины.

«Тарасъ Бульба» является, несомнѣнно, лучшимъ изъ романтическихъ произведеній Гоголя. Въ этой повѣсти талантъ Гоголя уже достигаетъ полнаго своего развитія и хотя остается еще въ области, чуждой его истинному характеру, но создаетъ нѣчто законченно—художественное. Такой вполнѣ законченной фигурой является самъ Тарасъ Бульба, въ высокой степени характерный образъ казака-малоросса, въ которомъ романтическая идеализація и нѣкоторое отклоненіе отъ исторической правды не заслоняютъ подлинной типичности.

Время дѣйствія повѣсти XV вѣкъ. Бульба представляется однимъ изъ первыхъ полковниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ является дворяниномъ, даже феодаломъ. Онъ, напримѣръ, единовластно правитъ своимъ полкомъ, рѣшаетъ вопросы о войнѣ и мирѣ, ведетъ свою собственную политику. Гоголь такъ говоритъ о дѣйствіяхъ Бульбы: «Самоуправно входитъ (Бульба) въ села, гдѣ только жаловались на притѣсненія арендаторовъ и на прибавку новыхъ пошлинъ съ дыма. Самъ со своими казаками производилъ надъ ними расправу. И положилъ себѣ правиломъ, что въ трехъ случаяхъ всегда слѣдуетъ взяться за саблю, именно: когда комиссары не уважали въ чемъ старшинъ и стояли передъ ними въ шапкахъ, когда глумились надъ православіемъ и не чтили обычая предковъ и, наконецъ, когда враги были бусурманы и турки, противъ которыхъ онъ считалъ во всякомъ случаѣ позволительнымъ поднять оружіе во славу христіанства».

Въ другомъ мѣстѣ Гоголь говоритъ, что Остапъ и Андрей были отданы въ духовную академію, потому что таковъ былъ обычай «почетныхъ сановниковъ того времени».

Наконецъ, отправляясь въ Сѣчь, Бульба отдаетъ приказаніе своему есаулу Токвачу явиться со всѣмъ полкомъ, какъ только онъ подастъ о себѣ вѣсть, и впослѣдствіи мы видимъ, что «собственный» полкъ Бульбы приходитъ на помощь къ запорожцамъ подъ

Дубно. Все это исторически невѣрно, начиная съ того, что въ XV вѣкѣ не было еще кіевской академіи. Неточно изображены самыя отношенія: выборный казацкій полковникъ превратился въ самовластнаго герцога, по произволу распоряжающагося полкомъ. Но всѣ эти неточности, хотя препятствуютъ видѣть въ повѣсти реальную картину историческаго быта, не лишаютъ ея значенія исторической повѣсти. Историческій характеръ повѣсти спасаетъ типъ Тараса, въ которомъ при всѣхъ отступленіяхъ отъ исторической точности слишкомъ много характернаго для малорусской народности и малорусскаго казачества въ частности. Яркая типическая фигура Тараса и отчасти фигуры его сыновей совершенно заслоняютъ собой детали картины, сосредоточивая на себѣ вниманіе читателя.

Коробка.

Казачество въ повѣсти „Тарасъ Бульба“ и типичность выведенныхъ въ ней лицъ.

«Тарасъ Бульба» — историческая повѣсть, въ которой самымъ причудливымъ образомъ слиты элементы романтизма съ элементами реализма. Поэтъ изображаетъ въ исторически-вѣрныхъ, реалистическихъ чертахъ бытъ и нравы Запорожья и въ то же время явно идеализируетъ ихъ. Онъ и рисуетъ и воспѣваетъ. Бытовыя сцены написаны кистью художника-жанриста, характеры же героевъ представлены такъ, какъ это приличествуетъ только поэту-романтику, которому историческое прошлое рисуется въ необычномъ, героическомъ освѣщеніи, не соотвѣтствующемъ дѣйствительности. Этой двойственности произведенія отвѣчаетъ и перемежающійся тонъ повѣствованія, то простой и спокойно эпическій, то приподнятый, восторженный и даже мѣстами вычурный. Все это не мѣшаетъ высокому художественному достоинству повѣсти. Въ Гоголѣ реалистъ уживался съ романтикомъ и оба были — великіе поэты. Ихъ голоса сливались въ стройный дуэтъ, въ симфонію, въ которой не было поэтической фальши. Мало того, романтическая струя не оказывалась на этотъ разъ въ противорѣчіи съ психологическимъ реализмомъ замысла и изображенія, ибо *романтическія черты*, какъ и родственныя имъ черты *психологическаго сентиментализма*, несомнѣнно, имѣются въ обиходѣ національнаго уклада украинскаго народа. Можетъ-быть, ихъ отсутствіе въ повѣсти было бы въ ущербъ психологической и художественной правдѣ. Въ связи съ этимъ соображеніемъ нужно отмѣтить то, что въ «Тарасѣ Бульбѣ», какъ и во многихъ и притомъ величайшихъ произведеніяхъ Гоголя, живо сказалось характерное для его творчества стремленіе — улавливать черты *національной* психологіи и превращать бытовые и психологическіе типы *въ національные*.

Въ «Тарасѣ Бульбѣ» выведенныя лица носятъ яркій отпечатокъ малорусскаго національнаго уклада: это не только типы казацкіе,

запорожскіе, но и малороссійскіе, національные. Старикъ Бульба, Остапъ, Андрій, какъ и второстепенныя лица, — типичные «хохлы».

Извѣстно, какъ трудно *описывать* «національную физіономію» или, выражаясь точнѣе, какъ трудно *разбираться въ чертахъ и особенностяхъ національной психологіи*. Онѣ почти неуловимы для взора, невооруженнаго способностью различать и отдѣлять то, что принадлежитъ времени, быту, классу, сословію, отъ того, что̀ составляетъ отличительную особенность національности, *какъ таковой*. И всѣ характеристики національностей по большей части выходятъ такими топорными, шаблонными, пристрастными и вздорными, что было бы гораздо лучше, если бы ихъ авторы не брались за это дѣло, имъ непосильное. Но большіе художники, одаренные поэтическою интуиціею, умѣютъ такъ или иначе уловлять тонкіе оттѣнки національной психологіи и воспроизводить ихъ такъ, что мы ихъ чувствуемъ, хотя и не можемъ формулировать ихъ. И я убѣжденъ, что тотъ отдѣлъ психологической науки, который пока имѣетъ одно только заглавіе — «психологія этническая и національная», будетъ нѣкогда разработанъ, главнымъ образомъ, на матеріалѣ, доставляемомъ художественною литературою.

Возвращаясь къ Гоголю, какъ изобразителю малорусскаго національнаго уклада, укажемъ сперва на то, что и здѣсь, какъ и во всемъ, этотъ удивительный человѣкъ шелъ путемъ глубокой вдумчивости, долгихъ и пристальныхъ размышленій и тонкихъ наблюденій надъ людьми и въ особенности надъ самимъ собой. Его творчество было сознательное, рефлектирующее, «разумное», критическое. Онъ всегда старался разбираться въ своихъ вдохновеніяхъ и художническихъ интуиціяхъ и подвергать ихъ контролю разума. Такъ было это и въ данномъ случаѣ.

Если въ «Вечерахъ на хуторѣ» онъ воспроизводитъ черты украинскаго національнаго склада непроизвольно, больше чувствуя, чѣмъ понимая ихъ, то въ «Тарасѣ Бульбѣ» онъ уже ихъ понимаетъ, уже имѣетъ въ своемъ распоряженіи опредѣленный взглядъ на психологію малоросса, какъ таковую, и даже кое-что уяснилъ себѣ въ трудномъ вопросѣ о ея происхожденіи, ея историческомъ развитіи. Дѣло въ томъ, что созданію повѣсти предшествовали занятія малорусской исторіей, которыя шли, конечно, не по строго-методическому пути научныхъ изысканій, но, безъ сомнѣнія, сопровождались глубокими размышленіями и молніеносными прозрѣніями геніальнаго ума. Памятникомъ этихъ занятій осталась, между прочимъ, статья: «Взглядъ на составленіе Малороссіи», начатая въ 1833 году и напечатанная въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» въ апрѣльской книгѣ 1834 года (въ видѣ первой главы изъ «Исторіи Малороссіи»); потомъ она вошла въ «Арабески». — Здѣсь онъ старается разъяснить историческій процессъ образованія украинской націи, выдвигая впередъ Запорожье и казачество, какъ оплотъ и центръ малорусской народности, наложившіе на нее неизгладимый отпечатокъ. Тутъ мы читаемъ: «На-

конецъ цѣлыя деревни и села начали поселяться съ домами и семействами около этого грознаго оплота, чтобы пользоваться его защитою, съ условіемъ за то нѣкоторыхъ повинностей. И такимъ образомъ, мѣста около Кіева начали пустѣть, а между тѣмъ по ту сторону Днѣпра люднѣли. Семейные и женатые мало-по-малу отъ обращенія и сношенія съ ними получали тотъ же воинственный характеръ. Сабля и плугъ сдружились между собою и были у всякаго селянина. Между тѣмъ разгульные холостяки, вмѣстѣ съ червонцами, цехинами и лошадьми, стали похищать татарскихъ женъ и дочерей и жениться на нихъ. Отъ этого смѣшенія черты лица ихъ, вначалѣ разнохарактерныя, получили одну общую физіономію, болѣе азіатскую. И вотъ составился народъ, по вѣрѣ и мѣсту жительства принадлежавшій Европѣ, но между тѣмъ по образу жизни, обычаямъ, костюму, совершенно азіатскій, — народъ, въ которомъ такъ странно столкнулись двѣ противоположныя части свѣта, двѣ разнохарактерныя стихіи: европейская осторожность и азіатская безпечность, простодушіе и хитрость, сильная дѣятельность и величайшая лѣнь и нѣга, стремленіе къ развитію и усовершенствованію — и между тѣмъ желаніе казаться пренебрегающимъ всякое совершенствованіе».

Вотъ именно эти-то черты, ставшія національными и воспроизведены художественно въ знаменитой повѣсти, и это сдѣлано рукою великаго мастера. Но, согласно замыслу, онѣ представлены здѣсь въ казацкомъ и запорожскомъ обличьи, и съ этой стороны повѣсть является какъ бы художественною иллюстраціею къ вышеприведенной мысли Гоголя, о вліяніи казачества на образованіе малорусской національной психологіи.

Въ повѣсти, сказали мы, казачество и въ особенности Запорожье идеализированы или, точнѣе, опоэтизированы; художникъ воспроизводитъ ихъ романтически, выдвигая впередъ показную, симпатичную сторону нравовъ, характеровъ и понятій. Въ силу этого многое, въ существѣ дѣла варварское, кажется поэтическимъ, жестокое, звѣрское — благороднымъ, въ своемъ родѣ высокимъ и героическимъ; люди *красиво* убиваютъ и грабятъ; пьянство и дикій разгулъ превращаются въ поэзію душевнаго размаха, въ признакъ удали и широты... Однимъ словомъ, тутъ совершается та романтическая переоцѣнка и поэтизація такихъ вещей, отъ которыхъ Гоголь, если бы видѣлъ ихъ воочію, отвернулся бы съ ужасомъ и омерзѣніемъ. На разстояніи вѣковъ человѣческое звѣрство легко поэтизируется, въ особенности, если оно скрашивалось идеальными цѣлями, напр., идеей борьбы за вѣру, за отечество и т. д., и было сопряжено съ геройскимъ самоотверженіемъ. Борцамъ и героямъ прошлаго нельзя не отдать дань удивленія и уваженія, но поэту XIX вѣка не пристало описывать бойню съ наивностью и упоеніемъ, простительными Гомеру. Повѣсть Гоголя полна кровавыхъ описаній, вызывающихъ отвращеніе. Но онъ не имѣлъ въ виду такого эффекта, и въ повѣсти нѣтъ гуманной тенденціи, съ нимъ связанной.

Тарасъ — великій характеръ, истинный герой, человѣкъ идеи, христіанинъ, готовый положить голову за вѣру. И всѣ свои звѣрства онъ совершаетъ во имя идеи, и Гоголь думаетъ, что они отъ этого не просто звѣрства, а подвиги. Вотъ какъ описана въ послѣдней главѣ месть Тараса полякамъ за смерть Остапа.

«А что же Тарасъ? А Тарасъ гулялъ по всей Польшѣ со своимъ полкомъ, выжегъ 18 мѣстечекъ, близъ 40 костеловъ, и уже доходилъ до Кракова. Много избилъ онъ всякой шляхты... Не уважили казаки чернобровыхъ панянокъ, бѣлогрудыхъ свѣтлоликихъ дѣвицъ; у самыхъ алтарей не могли спастись онѣ: зажигалъ ихъ Тарасъ вмѣстѣ съ алтарями. Не однѣ бѣлоснѣжныя руки поднимались изъ огнистаго пламени къ небесамъ, сопровождаемыя жалкими криками, отъ которыхъ подвигнулась бы самая сырая земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу. Но не внимали ничему жестокіе казаки и, подымая копьями съ улицъ младенцевъ ихъ, кидали къ нимъ же въ пламя. «Это вамъ, вражьи ляхи, поминки по Остапѣ!» приговаривалъ только Тарасъ. И такія поминки по Остапѣ отправлялъ онъ въ каждомъ селеніи...

«Трава поникла бы отъ жалости долу», а художникъ написалъ эти эпическія строки безъ всякой жалости, заботясь только объ *артистическомъ* эффектѣ. Говорю объ эффектѣ «артистическомъ», а не о художественномъ, потому именно, что поэтъ тутъ не скорбитъ, не томится жалостью и состраданіемъ, а только рисуетъ, — какъ красиво подымались къ небесамъ бѣлоснѣжныя руки панянокъ, и какъ ловко казаки подхватывали копьями младенцевъ, и т. д., — рисуетъ и любуется рисункомъ.

Слѣдуетъ ли отсюда, что въ художнической натурѣ Гоголя заключались элементы «артистической жестокости» въ родѣ тѣхъ, какіе несомнѣнно были присущи Достоевскому? Думать такъ — значило бы не понимать Гоголя, который былъ не только истиннымъ художникомъ, но и человѣкомъ высоко-гуманнымъ. Дѣло объясняется проще: ошибкою поэта, увлеченнаго желаніемъ быть своего рода «Гомеромъ». Онъ явно подражаетъ пріемамъ стараго эпоса — отъ Гомера до «Слова о полку Игоревѣ»[1])! Онъ *хочетъ* писать наивно пластично и красочно — такъ, чтобы эпоха ожила подъ его перомъ, и не былъ бы виденъ авторъ, человѣкъ другого вѣка, другихъ понятій и нравовъ. По примѣру старинныхъ эпическихъ поэтовъ, онѣ не только повѣствуетъ и рисуетъ, но и воспѣваетъ «доблести» героевъ, превознося силу ихъ духа и ихъ кулака. Культомъ физической силы, отваги, удальства проникнута повѣсть Гоголя, представляющая собою любопытный образецъ *архаизирующаго* искусственнаго эпоса, своеобразно повторяющаго наивность, непосредственность и грубость стараго, послѣ того, какъ Вальтеръ-Скоттъ уже далъ образцы новаго эпоса — въ формѣ историче-

---

[1]) Вышеприведенное выраженіе: «трава поникла бы отъ жалости» прямо взято изъ «Слова».

скаго романа, который исторически-вѣрно воспроизводитъ жестокіе нравы средневѣковой старины и въ то же время проникнутъ гуманнымъ духомъ новаго времени.

Послѣ всего сказаннаго, читатель самъ припомнитъ мѣста, гдѣ Гоголь впадаетъ въ тонъ и манеру Гомера. Для образчика приведу лишь слѣдующія:

«Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крыльями, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца-перепела: такъ Тарасовъ сынъ, Остапъ, налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку...» (гл. VII).

«Тихо склонился онъ[1]) на руки подхватившимъ его казакамъ, и хлынула ручьемъ молодая кровь, подобно дорогому вину, которое несли въ стеклянномъ сосудѣ изъ погреба неосторожные слуги, поскользнулись тутъ же у входа и разбили дорогую сулею: все разлилось на землю вино, и схватилъ себя за голову прибѣжавшій хозяинъ... и т. д.».

Все это такъ и просится въ античные гексаметры, гдѣ такія сравненія и амплификаціи были умѣстнѣе, чѣмъ въ повѣсти, написанной въ XIX вѣкѣ.

Кромѣ Гомера, вводили Гоголя въ соблазнъ и малорусскія «думы». Въ повѣсти есть мѣста, воспроизводящія стиль и манеру «думъ», напр.: «Какъ орлы, озирали они (казаки) вокругъ себя очами все поле и чернѣющую вдали судьбу свою. Будетъ, будетъ все поле съ отлогами и дорогами покрыто торчащими ихъ бѣлыми костями, щедро обмывшись казацкою ихъ кровью и покрывшись разбитыми возами, расколотыми саблями и копьями... и т. д.».

Овсянико-Куликовскій.

Петербургскія повѣсти Гоголя.

Подъ вліяніемъ впечатлѣнія петербургской жизни, въ воображеніи Гоголя накоплялся обширный запасъ новыхъ картинъ и образовъ, требовавшихъ, въ свою очередь, выраженія въ словѣ. И здѣсь, какъ въ другихъ случаяхъ, его творчество работало методически, постепенно переходя отъ небольшихъ отрывковъ къ цѣлымъ, законченнымъ произведеніямъ. Въ одной изъ записныхъ книжекъ Гоголя сохранился небольшой отрывокъ неоконченной повѣсти подъ заглавіемъ «Страшная рука», въ которомъ нельзя не узнать первыхъ набросковъ, возникшихъ въ душѣ его новыхъ образовъ, послужившихъ первоначальной основой для такъ называемыхъ «петербургскихъ повѣстей». Это особенно явно при сличеніи одного мѣста третьяго отрывка съ нижеслѣдующей выдержкой изъ «Записокъ сумасшедшаго»:

---

[1]) Кукубенко.

«Я надѣлъ старую шинель и взялъ зонтикъ, потому что шелъ проливной дождикъ. На улицахъ не было никого; однѣ только бабы, накрывшись полами платья, да русскіе купцы подъ зонтиками, да курьеры попадались мнѣ на глаза. Изъ благородныхъ только нашъ братъ, чиновникъ, попался мнѣ. Я, какъ увидѣлъ его, тотчасъ сказалъ себѣ: «*Эге! нѣтъ, голубчикъ, ты не въ департаментъ идешь, ты спѣшишь вонъ за тою, что бѣжитъ впереди, и глядишь на ея ножки*». Въ третьемъ отрывкѣ повѣсти «Страшная рука» это мѣсто читается такъ: «Чортъ возьми, люблю я это время! Ни одного зѣваки на улицѣ. Теперь не найдешь ни одного изъ тѣхъ господъ, которые останавливаются, чтобы посмотрѣть на сапоги, на штаны, на фракъ или на шляпу, и потомъ, разинувши ротъ, поворачиваются нѣсколько разъ назадъ для того, чтобы осмотрѣть задній фасадъ вашъ[1]). Теперь раздолье мнѣ закутаться крѣпче въ свой плащъ. Какъ удираетъ этотъ любезный молодой франтъ съ личикомъ, которое можно упрятать въ дамскій ридикюль. Напрасно: не спасетъ новенькаго сюртучка, красу и заглядѣніе Невскаго проспекта. Крѣпче его, крѣпче, дождикъ! пусть онъ бѣжитъ, какъ мокрая крыса, домой. *А вотъ и суровая дама бѣжитъ въ своихъ пестрыхъ тряпкахъ*[2]*), поднявши платье, далѣе чего нельзя поднять, не нарушая послѣдней благопристойности. Куда дѣвался характеръ! и не ворчитъ, видя, какъ чиновная крыса въ вицъ-мундирѣ съ крестикомъ, запустивъ свои зеленые, какъ его воротникъ, глаза, наслаждается видомъ полныхъ, на каждомъ шагѣ трепещущихъ ногъ*». Здѣсь промелькнула мимоходомъ и черта, напоминающая «Невскій проспектъ». Это сличеніе показываетъ, однако, что въ позднѣйшей переработкѣ Гоголь не распространилъ, какъ онъ дѣлалъ прежде, но сузилъ первоначальный набросокъ.

Другая картина, въ началѣ второго отрывка «Страшной руки», повторена съ нѣкоторымъ измѣненіемъ въ «Шинели», а именно вотъ это мѣсто: «Какъ страшно, когда каменный тротуаръ прерывается деревяннымъ, какъ деревянный даже пропадаетъ, когда отдаленный будочникъ спитъ, когда кошки, безсмысленныя кошки, однѣ спѣваются и бодрствуютъ! Но человѣкъ знаетъ, что онѣ не дадутъ сиг-

---

[1]) Ср. въ «Невскомъ проспектѣ». «Есть множество такихъ людей, которые, встрѣтившись съ вами, непремѣнно посмотрятъ на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назадъ, чтобы посмотрѣть на ваши фалды. Я до сихъ поръ не могу понять, отчего это бываетъ. Сначала я думалъ, что они сапожники, но однакоже, ничуть не бывало: они, большею частью, служатъ въ разныхъ департаментахъ» и пр.; въ «Шинели»: «Ни одинъ разъ въ жизни не обратилъ онъ (Акакій Акакіевичъ) вниманія на то, что дѣлается и происходитъ всякій день на улицѣ, на что, какъ извѣстно, всегда посмотритъ его же братъ, молодой чиновникъ, простирающій до того проницательность своего бойкаго взгляда, что замѣтитъ даже, у кого на другой сторонѣ тротуара отпоролась внизу панталонъ стремешка,— что вызываетъ всегда лукавую усмѣшку на лицѣ его».

[2]) Ср. въ «Запискахъ сумасшедшаго»: «И зачѣмъ ей выѣзжать въ такую дождевую пору! Утверждай теперь, что у женщинъ не велика страсть до всѣхъ этихъ тряпокъ».

нала и не поймутъ его несчастья, если внезапно будетъ атакованъ мошенниками, выскочившими изъ этого темнаго переулка, который распростеръ къ нему мрачныя объятія».

Всѣ эти сопоставленія ясно показываютъ, что въ душѣ Гоголя всегда жила потребность естественнаго и правдиваго изображенія дѣйствительности, являвшаяся неизбѣжнымъ слѣдствіемъ его тонкой наблюдательности, о которой мѣтко выразился Анненковъ, что «его лица не покидала постоянная, какъ бы приросшая къ нему наблюдательность». Гоголю не было, такимъ образомъ, нужды придумывать сложные сюжеты и обставлять ихъ постепенное развитіе вымученными эффектами; ему необходима была только внѣшняя фабула, въ которую онъ и вкладывалъ уже готовое содержаніе. Потому онъ высоко понимаетъ и цѣнитъ значеніе простоты въ истинно художественныхъ произведеніяхъ, и охотно допуская въ нихъ высокіе, вдохновенные лирическіе порывы, въ то же время онъ — отъявленный врагъ натянутаго и напускного. Образцомъ ложной аффектаціи и заказныхъ восторговъ былъ для него со школьной скамьи товарищъ его, Кукольникъ, котораго онъ всегда презиралъ какъ писателя и которому далъ насмѣшливое прозвище «возвышеннаго». Гоголь, напримѣръ, никакъ не могъ мириться съ его безвкусіемъ и отъ всей души возмущался на него за то, что онъ «Пушкина все по прежнему не любитъ: «Борисъ Годуновъ» ему не нравится». Надо помнить при этомъ, что эстетическій вкусъ Гоголя въ значительной степени образовался самъ собою, независимо отъ постороннихъ вліяній, которыя и не могли бы имѣть особаго значенія для него, даже если бы они и существовали, потому что онъ чувствовалъ непреодолимое внутреннее отвращеніе ко всему навязываемому извнѣ и особенно ко всему ходульному, — отвращеніе, которое не могло быть заглушено ничѣмъ. Если въ раннемъ дѣтствѣ, какъ говорятъ, онъ и поддался ненадолго вліянію произведеній, написанныхъ въ реторическомъ духѣ, то это была неважная, почти неизбѣжная уступка естественной неустойчивости возраста.

Въ статьѣ о Пушкинѣ Гоголь разсказываетъ, между прочимъ, слѣдующее: «Я всегда чувствовалъ въ себѣ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди. Одинъ изъ нихъ взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: Хорошій живописецъ выбираетъ дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свѣжіе — хорошо растущее, а не сухое». Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость знать, что нравится и не нравится толпѣ». Очевидно, сужденіе взрослаго сосѣда нисколько не поколебало Гоголя ребенка въ его намѣреніи нарисовать сухое дерево, точно такъ же, какъ въ школѣ на него не произвели ни малѣйшаго впечатлѣнія увѣщеванія начальства, направленныя противъ смѣлаго реализма его

игры на сценѣ гимназическаго театра; Гоголь твердо стоялъ на своемъ и не могъ перемѣнить мнѣнія, потому что внутренній голосъ говорилъ въ немъ громче и убѣдительнѣе. Та же самостоятельность сужденій отличала его и впослѣдствіи.

Въ статьѣ о Пушкинѣ, развивая далѣе свою мысль и объясняя особенно причины непониманія въ нѣкоторыхъ случаяхъ поэта толпою, Гоголь говоритъ между прочимъ: «Поэту остаются два средства» (чтобы привлечь на свою сторону толпу): «или натянуть, сколько можно выше, свой слогъ, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само по себѣ не сохраняетъ сильнаго жара: тогда толпа почитателей, толпа народа — на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ: быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случаѣ — прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма». Ниже онъ заключаетъ статью словами: «Но, увы! это неотразимая истина: что чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе воображаетъ онъ чувства, знакомыя однимъ поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣе уменьшается кругъ обступившей его толпы и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечесть по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ цѣнителей». И здѣсь Гоголь, какъ всегда, остается вполнѣ самостоятельнымъ въ своихъ сужденіяхъ, не слушая толковъ никакого общепризнаннаго ареопага. «Мнѣ всегда было странно слушать», говорилъ онъ, «сужденіе многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, покамѣстъ еще не слышалъ ихъ толковъ о небольшихъ поэтическихъ произведеніяхъ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно испытать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика». Эти толки заурядныхъ литераторовъ, какъ извѣстно, были Гоголемъ потомъ охарактеризованы въ «Театральномъ разъѣздѣ». Во всю жизнь свою Гоголь исключительно дорожилъ мнѣніемъ Пушкина и, можетъ-быть, нѣкоторыхъ членовъ пушкинскаго кружка, напр. Жуковскаго. По словамъ всѣхъ, знавшихъ Гоголя, онъ ставилъ гораздо выше мнѣнія обыкновенныхъ людей, какихъ-нибудь узкихъ спеціалистовъ, нежели толки литераторовъ. Сужденія же толпы воспроизводятся имъ не только въ «Театральномъ разъѣздѣ», но и въ другихъ произведеніяхъ, напр. въ «Портретѣ», гдѣ напр. квартальный, по-своему любившій оцѣнивать произведенія искусства, совѣтуетъ отнести тѣнь «куда-нибудь въ другое мѣсто», такъ какъ подъ носомъ слишкомъ видное мѣсто, а домохозяинъ высказываетъ согласіе повѣсить «на стѣну генерала со звѣздой, или князя Кутузова портретъ» и негодуетъ на Черткова за то, что онъ «вонъ мужика нарисовалъ, мужика въ рубахѣ»...

Такимъ образомъ, задолго до «Мертвыхъ душъ», Гоголь касался столь занимавшаго его впослѣдствіи вопроса объ изображеніи обы-

денной стороны жизни. Высказаннымъ здѣсь принципамъ Гоголь оставался вѣренъ и впослѣдствіи, но одно изображеніе пошлости никогда не удовлетворяло его, и въ немъ постоянно жило стремленіе къ чему-то высокому, исключительному, подъ вліяніемъ котораго поэтъ создавалъ себѣ свой собственный, идеальный міръ.

Несомнѣнно, что вопросы объ искусствѣ были для Гоголя всегда не только однимъ предметомъ отвлеченнаго, теоретическаго интереса; такими они дѣйствительно были и остались для него въ сферѣ живописи, музыки, скульптуры; но все, что касается области слова и особенно поэзіи, имѣло всегда для него значеніе близкое, первостепенное, захватывающее. Въ статьѣ о Пушкинѣ впервые были имъ высказаны взгляды на художественное творчество, и замѣчательно, что въ нихъ Гоголь обсуждаетъ вопросъ не со стороны, какъ присяжный литературный критикъ, но говоритъ преимущественно то, что имѣло въ его глазахъ самое близкое къ нему и обширное значеніе и болѣе или менѣе, хотя бы косвеннымъ образомъ, относилось къ его трудамъ или къ созданіямъ наиболѣе дорогихъ для него писателей.

Тонко оцѣнивъ художественныя красоты «Бориса Годунова» Пушкина, Гоголь былъ сильно возмущенъ невниманіемъ къ этому произведенію со стороны публики и такихъ литераторовъ, какъ Кукольникъ, и тогда же, въ недавно изданномъ отрывкѣ «Борисъ Годуновъ», сдѣлалъ попытку охарактеризовать нелѣпые толки профановъ, какъ позже онъ повторилъ это въ болѣе совершенномъ видѣ въ «Портретѣ» и, наконецъ, «Театральномъ разъѣздѣ». Такимъ образомъ уже тогда былъ сдѣланъ первый шагъ къ созданію этихъ произведеній. Кромѣ того, въ статьѣ о Пушкинѣ мы встрѣчаемъ слѣдующія строки, показывающія, что идея «Портрета» созрѣвала въ умѣ Гоголя одновременно съ статьей о Пушкинѣ, т.-е. въ 1832 году: «Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ, представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнію, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: «это вяло, это слабо, это нехорошо, это нимало не похоже на то, что было». *Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій; но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ.* Основываясь на поразительномъ совпаденіи мыслей, заключающихся въ этихъ строкахъ съ главной идеей «Портрета», а также и на томъ внѣшнемъ, повидимому, незначительномъ обстоятельствѣ, что оба произведенія слѣдуютъ одно за другимъ въ той же самой записной тетради Гоголя, мы имѣемъ, кажется, несомнѣнное право сдѣлать заключеніе о существованіи между ними внутренней, органической связи. Съ другой стороны, повѣсти «Портретъ» и «Невскій проспектъ», написанныя почти одно-

временно, въ свою очередь, связаны одной общей нитью, представляя одна — художника-идеалиста, гибнущаго отъ полнаго незнакомства съ пошлостью обыденной жизни, другая — художника, погибающаго отъ поглощенія этою самою пошлостью его высшихъ стремленій.

Въ обѣихъ повѣстяхъ, прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе самый выборъ сюжета и главныхъ дѣйствующихъ лицъ.

Появленіе художниковъ въ качествѣ героевъ обѣихъ повѣстей, принадлежащихъ къ одному и тому же времени, никакъ нельзя считать случайнымъ совпаденіемъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, необходимо обратить вниманіе на значительную близость Гоголя въ первые годы его петербургской жизни къ кружку художниковъ, посѣщавшихъ классы Академіи художествъ. Любовь къ рисованію, замѣтно проявлявшаяся еще въ Гоголѣ-ребенкѣ, съ новой силой заговорила въ немъ тотчасъ по пріѣздѣ въ столицу, гдѣ онъ получалъ возможность на досугѣ иногда заниматься любимымъ искусствомъ подъ руководствомъ опытныхъ и свѣдущихъ людей; въ тяжелое время своей департаментской службы Гоголь находилъ иногда часы для посѣщенія музеевъ и картинныхъ галлерей. Страсть ко всему изящному была въ немъ очень сильна еще въ юности: по свидѣтельству Данилевскаго, во время своей первой заграничной поѣздки Гоголь накупилъ множество разныхъ не большихъ, но чрезвычайно изящныхъ и красивыхъ вещей, которыя особенно пришлись ему по вкусу; извѣстно также, что онъ жадно присматривался за границею къ произведеніямъ архитектуры и наслаждался живописью и величественной мозаикой католическихъ храмовъ. Вскорѣ у него сложились опредѣленные взгляды и симпатіи въ сферѣ изящнаго, но особенно онъ восторгался готической архитектурой, какъ это видно изъ его статьи: «Объ архитектурѣ нынѣшняго времени». По возвращеніи въ Петербургъ, при его живомъ интересѣ къ искусству, онъ, конечно, нерѣдко посѣщалъ Эрмитажъ и выставки Академіи художествъ и, наконецъ, въ свободное время поспѣшилъ воспользоваться возможностью продолжать свои любимыя занятія живописью. Общая страсть скоро сблизила его съ петербургскими художниками. Хотя отношенія Гоголя въ этой сферѣ намъ неизвѣстны, за исключеніемъ развѣ знакомства его съ Брюлловымъ, и, можетъ-быть, даже ни съ кѣмъ изъ художниковъ Гоголь не былъ связанъ особой пріязнью, но сочувствіе его этой горсти честныхъ тружениковъ, поклонниковъ искусства, скромно уединившихся въ своихъ бѣдныхъ студіяхъ отъ бѣшеной суеты многолюдной столицы, — не подлежитъ сомнѣнію. Во всякомъ случаѣ, кругъ этотъ былъ достаточно извѣстенъ Гоголю, и онъ относился къ нему совершенно иначе, нежели къ прозаической толпѣ петербургскихъ чиновниковъ, полицейскихъ и военныхъ.

Лѣтомъ 1830 года Гоголь по три раза въ недѣлю отправлялся въ пять часовъ вечера въ Академію художествъ для занятій живописью и оставался тамъ часа два. Впечатлѣнія, вынесенныя имъ отъ знакомства съ міромъ художниковъ, были таковы: «Не говоря

уже объ ихъ талантѣ», писалъ Гоголь матери: «нельзя отказаться отъ нихъ навѣки! Какая скромность при величайшемъ талантѣ! Объ чинахъ и въ поминѣ нѣтъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ статскіе и даже дѣйствительные статскіе совѣтники». Въ самомъ дѣлѣ, въ тѣ времена это что-нибудь значило. Такое же выгодное мнѣніе о художникахъ отразилось и въ произведеніяхъ Гоголя.

Въ «Невскомъ проспектѣ» Гоголь даетъ подробную характеристику петербургскаго художника и его обстановки, и видно, что жизнь художника и бытъ его были ему хорошо извѣстны. «Это исключительное сословіе», говоритъ Гоголь, «очень необыкновенное въ томъ городѣ, гдѣ все или чиновники, или купцы, или ремесленники-нѣмцы. Это былъ художникъ. Не правда ли, странное явленіе — художникъ въ землѣ снѣговъ, въ странѣ финновъ, гдѣ все мокро, гладко, ровно, блѣдно, сыро и туманно». При этомъ противоположеніи художниковъ почти всему остальному населенію Петербурга, нѣтъ никакого сомнѣнія, на чьей сторонѣ симпатія автора, и это немедленно подтверждается дальнѣйшимъ изложеніемъ. «У нихъ всегда почти на всемъ сѣренькій, мутный колоритъ — неизгладимая печать сѣвера. При всемъ томъ они съ истиннымъ наслажденіемъ трудятся надъ своей работой. Они часто питаютъ въ себѣ истинный талантъ, и если бы только дунулъ на нихъ свѣжій воздухъ Италіи, онъ бы, вѣрно, развился такъ же вольно, широко и ярко, какъ растеніе, которое выносятъ, наконецъ, изъ комнаты на чистый воздухъ».

Желая воплотить въ художественный образъ торжество суровой дѣйствительности надъ восторженной юношеской идеализаціей, Гоголь представляетъ въ «Невскомъ проспектѣ» обаятельный образъ, разукрашенный пылкимъ юношескимъ воображеніемъ прекрасной женщины какимъ-то лживымъ, обманчивымъ призракомъ, скрывающимъ за собой довольно пошлое и совсѣмъ не поэтическое содержаніе. Его собственныя прежнія горячія мечты, подъ вліяніемъ которыхъ онъ создалъ своихъ граціозныхъ Пидорку, Ганну и Оксану, теперь, повидимому, представляются ему прекраснымъ сномъ, отъ котораго онъ пробудился, и возвращеніе къ которому болѣе невозможно. Въ «Невскомъ проспектѣ» молодую, очаровательную своей красотой женщину ставитъ на пьедесталъ уже не авторъ, а мечтатель-художникъ, неисправимый идеалистъ, грезы котораго не имѣютъ ровно ничего общаго съ жалкой дѣйствительностью. Художникъ Пискаревъ полонъ восторговъ безкорыстнаго юношескаго увлеченія, высоко цѣнимаго Гоголемъ: сила его впечатлительности далеко превосходитъ впечатлительность обыкновенныхъ людей. Это натура избранная. Вѣдь и его, какъ Гоголя, влекутъ къ себѣ тѣ стороны женской красоты, которыя могутъ возбуждать чисто художественное наслажденіе.

Другую, болѣе широкую идею хотѣлъ выразить Гоголь въ «Невскомъ проспектѣ», — печальную идею о торжествѣ въ жизни начала пошлаго надъ возвышеннымъ, благороднымъ и честнымъ. Это горькое убѣжденіе, вынесенное авторомъ изъ горькаго опыта жизни,

проявляется различнымъ образомъ, но съ одинаковой силой, въ «Невскомъ проспектѣ» и «Портретѣ». Въ послѣднемъ Гоголь, очевидно, хотѣлъ выразить какъ свои мысли объ искусствѣ и о томъ, какъ слѣдуетъ служить ему, такъ и показать гибельное столкновеніе между пошлостью свѣта и самыми прекрасными, самыми святыми идеалами юноши-художника. *Шенрокъ.*

Свѣтлыя стороны характера у дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“.

Старосвѣтскіе помѣщики — это два живые, яркіе портрета во вкусѣ Теньера, снятые вѣрно съ малороссійской жизни. Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, говоря выраженіемъ самого автора, — Филимонъ и Бавкида Малороссіи, представляютъ добрую, вѣрную, гостепріимную чету, прожившую свой вѣкъ душа въ душу, безъ вреда и пользы ближнему. Весь домашній бытъ ихъ долженъ быть списанъ вѣрно, потому что это не можетъ быть несхоже: такъ оно ярко и живо. Все окруженіе этой семейной картины, вся эта малороссійская природа, тучная и плодоносная, составляетъ живой ландшафтъ, которымъ она прекрасно обставлена. Эти два лица старика и старушки, эти два портрета служатъ явнымъ обличеніемъ тѣмъ критикамъ, которые ограничиваютъ талантъ автора одною карикатурою. Авторъ изобразилъ намъ ихъ не съ одной смѣшной стороны. Малороссійская доброта, теплая дружба, которая связываетъ ихъ и за могилою, эти веселыя шутки, которыми мужъ какъ-будто сердитъ жену для разнообразія въ жизни — все это черты, схваченныя рѣзко съ самой природы. А заботливость доброй супруги передъ ея кончиною о своемъ мужѣ, который остается безъ присмотра, эти слезы, черезъ пять лѣтъ брызнувшія изъ глазъ добраго старика, когда подали ему на столъ любимое кушанье покойницы — все это черты, показывающія кисть, одушевленную чувствомъ, какъ живую и художественную. *Шевыревъ.*

Тѣневая сторона повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“.

Быстро кончились юношескія мечтанія Гоголя. Его молодыя поэтическія грезы скоро уступили мѣсто серіознѣйшимъ и глубочайшимъ мыслямъ о жизни людской, о страшномъ противорѣчіи между идеаломъ человѣка и дѣйствительнымъ человѣкомъ съ неустойчивостью его природы, съ искаженіями въ немъ образа и подобія Божія, которыя поражали въ живой дѣйствительности проницательныя очи поэта. И то, что у поэта «тоски по идеалу», Лермонтова, оставалось безъ опредѣленія, получило у Гоголя реальнѣйшее выраженіе. Гоголь

не тоскуетъ противорѣчіемъ между дѣйствительностью и идеаломъ, но прямо указываетъ, ярко изображаетъ это противорѣчіе, какъ оно проявляется въ жизни.

Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» это противорѣчіе выражено въ удивительно простыхъ и задушевныхъ формахъ. Съ геніальнымъ чутьемъ истины великій поэтъ не остановился на какихъ-либо глазарѣжущихъ извращеніяхъ человѣческой природы. Нѣтъ, онъ беретъ самыхъ обыкновеннѣйшихъ изъ обыкновенныхъ людей, даже, можно сказать, лучшихъ людей въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, добрѣйшихъ и благороднѣйшихъ, — но, Боже, какое поразительное ничтожество въ ихъ жизни! Эти два старичка, живущіе безъ интересовъ, облагораживающихъ человѣческое существованіе, безъ умственной дѣятельности, стали рабами плотскихъ привычекъ, подобные растеніямъ. Души ихъ спятъ безпробудно, и, казалось бы, разбуди ихъ — жизнь ихъ сразу сдѣлается содержательною и истинно-человѣческою. Великая и простая мысль вложена въ это произведеніе Гоголя, — та мысль, что не тѣлесная, а духовная жизнь есть истинно человѣческая жизнь; что ничтожество грозитъ тому, кто пренебрежетъ интересами духа въ пользу плоти. *Введенскій.*

Отношеніе повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“ къ изображенію событій дѣйствительной жизни.

На основаніи многихъ данныхъ никакъ нельзя согласиться, что, изображая «старосвѣтскихъ помѣщиковъ», Гоголь будто бы рисовалъ портреты своихъ домашнихъ. Мнѣніе это крайне наивно и односторонне. Но отдѣльныя черты изъ жизни близкихъ, безъ сомнѣнія, могли быть внесены имъ въ собранный для повѣсти матеріалъ. Такъ, Гоголь воспользовался слухами объ увозѣ тайкомъ его дѣдомъ будущей своей жены въ разсказѣ объ Аѳанасіи Ивановичѣ и его молодости. Далѣе въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» нашли себѣ отраженіе отчасти обстановка Гоголева дѣтства, картина обычнаго малороссійскаго помѣщичьяго гостепріимства и прочее. Добродушные выговоры Пульхеріи Ивановны приказчику и ея ни для кого нестрашные выѣзды на ревизію, о которыхъ всюду знали задолго до ея пріѣзда, представляютъ много сходства съ такими же выговорами и ревизіями Марьи Ивановны Гоголь, хотя общій складъ жизни и привычекъ, изображенныхъ въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ», больше всего напоминалъ бытъ нѣкоторыхъ знакомыхъ и сосѣдей Гоголя, напр. стариковъ Зарудныхъ. Въ самомъ описаніи выѣздовъ помѣщицы на ревизію есть подробность, не относящаяся, конечно, къ изображенію М. И. Гоголь: когда Пульхерія Ивановна выѣзжала на дрожкахъ, «воздухъ наполнялся странными звуками, такъ что вдругъ были слышны и флейта, и бубны, и барабанъ». Любопытно, что и здѣсь за-

мѣчается сходство между «Повѣстью объ Иванѣ Ѳедоровичѣ Шпонькѣ и его тетушкѣ» и «Старосвѣтскими помѣщиками»; въ повѣсти о Шпонькѣ читаемъ о бричкѣ: «Это была та самая бричка, въ которой еще ѣздилъ Адамъ». Подобной патріархальности не могла быть и слѣдовъ у родителей Гоголя, уже близко знакомыхъ съ Д. П. Трощинскимъ, въ домѣ котораго они нерѣдко бывали. Наконецъ, мы находимъ въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» собственное откровенное признаніе Гоголя о страхѣ, который ему причиняли разные слышанные имъ въ дѣтствѣ голоса. Такіе же голоса слышались ему и незадолго до смерти... Наконецъ, личныя впечатлѣнія вообще нерѣдко передаются въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» прямо отъ лица автора и мѣстами переходятъ въ «лирическія отступленія»; напр.: «Пять лѣтъ прошло съ того времени. Какого горя не уноситъ время! Какая страсть уцѣлѣетъ въ неравной битвѣ съ нимъ!» и проч.; или: «Боже», думалъ я, глядя на него, «пять лѣтъ всеистребляющаго времени!» и проч.

Оканчивается повѣсть такъ же печально, какъ и всѣ другія въ «Миргородѣ», при чемъ мимоходомъ сказалось уже тогда выяснившееся крайнее несочувствіе Гоголя къ ухищреннымъ нововведеніямъ въ хозяйствѣ во вкусѣ Манилова (новый помѣщикъ «купилъ шесть прекрасныхъ англійскихъ серповъ» и проч.) при полномъ неумѣньѣ взяться за дѣло, но особенно тяжелое чувство, испытываемое при видѣ постепеннаго исчезновенія дорогихъ и близко знакомыхъ съ дѣтства чертъ стариннаго быта и замѣны ихъ несимпатичной и притязательной новизной. *Шенрокъ.*

Внѣшнія формы, въ которыя отлились отношенія старосвѣтскихъ помѣщиковъ къ самимъ себѣ, гостямъ, дворнѣ.

Какъ коренное свойство, доброта нашихъ «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» проникаетъ всѣ ихъ сношенія съ людьми: она налагаетъ своеобразный колоритъ на ихъ взаимныя отношенія, на отношенія къ гостямъ, ближайшимъ сосѣдямъ и, наконецъ, на управленіе дворней, чѣмъ и исчерпывалось все ихъ стремленіе къ общественности. Разнообразясь въ проявленіи сообразно съ особымъ характеромъ личныхъ чувствованій, возникавшихъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, доброта ихъ выражалась въ слѣдующихъ формахъ.

Взаимныя ихъ отношенія дышали нѣжной любовью, на которую «нельзя было глядѣть безъ участія». Любовь эта брала свое начало въ далекомъ прошломъ; источникомъ ея была страсть, заставившая ихъ преодолѣть въ молодости немалыя препятствія: Аѳанасій Ивановичъ «увезъ Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдавать за него». Потомъ неослабной поддержкой для обоюдной привязанности явились ихъ совмѣстная жизнь и постепенно возрастающая привычка, которыя должны были имѣть для усиленія дру-

жественнаго чувства тѣмъ большее значеніе, что у нихъ никогда не было дѣтей. При безмятежномъ спокойствіи жизни, ихъ взаимная нѣжная любовь протекала скрытно, давая весьма слабыя указанія на истинную глубину и силу привязанности. Проявлялась она у нихъ прежде всего въ деликатномъ обхожденіи: «они никогда не говорили другъ другу ты, но всегда вы, вы Аѳанасій Ивановичъ; вы Пульхерія Ивановна». У Пульхеріи Ивановны, какъ натуры болѣе дѣятельной, подвижной, чувство это находило себѣ и болѣе ясное обнаруженіе—въ ея предупредительныхъ заботахъ объ удобствахъ жизни неразлучнаго друга многихъ лѣтъ. У Аѳанасія Ивановича, флегматика по природѣ, избалованнаго тщательнымъ уходомъ жены, чувство глубокой симпатіи выражается въ пассивномъ слѣдованіи вкусамъ Пульхеріи Ивановны и ея совѣтамъ, которые являются къ нему на помощь въ нерѣдкія минуты безвольнаго недоумѣнія («чего бы такого поѣсть мнѣ, Пульхерія Ивановна? или безсознательныхъ капризовъ («какъ будто эта каша пригорѣла»),—слабаго остатка послѣднихъ, непроизвольныхъ уже попытокъ человѣческой природы къ оригинальности, самостоятельности. Этимъ нѣжнымъ чувствомъ дышитъ и его добродушное подшучиваніе надъ боязливостью Пульхеріи Ивановны («А если бы вдругъ загорѣлся домъ нашъ? Я самъ думаю пойти на войну»). Въ этихъ шуткахъ Аѳанасія Ивановича проявилось, конечно, прежде всего общечеловѣческое стремленіе къ развлеченію въ монотонной жизни, среди однообразныхъ впечатлѣній,—стремленіе, въ которомъ незанятыя физическія и духовныя силы ищутъ себѣ выхода, дѣла; Гоголь, приписавъ эту черту именно Аѳанасію Ивановичу, совершенно ничѣмъ незанятому, а не хлопотливой Пульхеріи Ивановнѣ, проявилъ большое художественное чутье. Но въ этомъ подшучиваніи нельзя не замѣтить свойственнаго всякому человѣку, но у Аѳанасія Ивановича безотчетнаго желанія полюбоваться чувствомъ любящаго насъ друга и еще и еще разъ воочію осязаніемъ убѣдиться въ томъ, что и безъ этого не вызываетъ у насъ никакихъ сомнѣній. И Пульхерія Ивановна, трепещущая при одной мысли, что многолѣтнее спокойствіе совмѣстной жизни съ Аѳанасіемъ Ивановичемъ можетъ внезапно нарушиться отъ стихійной ли силы (напр., пожара) или по капризу Аѳанасія Ивановича, которому надумается вдругъ покинуть неразлучнаго товарища своей жизни и уйти на войну, Пульхерія Ивановна поддается на удочку шутокъ, вызывая у Аѳанасія Ивановича самодовольную улыбку.

Вотъ всѣ признаки, которые слабо говорили наблюдательному взору посторонняго лица о дѣйствительной силѣ дружественной привязанности старичковъ, хотя и давали художнику достаточно основаній выбрать ихъ въ натурщики для сюжета изъ жизни классическихъ друзей Филемона и Бавкиды. Но стоило только ихъ жизни, похожей на ровную поверхность стоячаго озера, по которой трудно судить о глубинѣ и свойствахъ дна, всколебаться отъ приближенія смерти, и ихъ взаимная привязанность раскрывалась во всей

глубинѣ много лѣтъ укрѣплявшейся привычки, съ неподдѣльной искренностью и неослабѣвающею отъ дѣйствія времени силою. Въ послѣднія минуты земныхъ заботъ, когда человѣкъ, устремясь невидимою силою отъ земного поприща, бросаетъ прощальные взоры тому, что было самаго дорогого для него въ жизни, что составляло ея смыслъ и значеніе, въ эти минуты Пульхерія Ивановна всѣми своими помыслами обратилась къ Аѳанасію Ивановичу. Отъ предусмотрительныхъ заботъ ея о благополучіи покидаемаго ею Аѳанасія Ивановича не отвлекла ея даже мысль о невѣдомомъ будущемъ, которая естественно и неотвязно является почти у всякаго человѣка. Не меньшую силу и глубину привязанности выказалъ и Аѳанасій Ивановичъ къ опередившему его на жизненномъ пути спутнику. Со смертію Пульхеріи Ивановны для Аѳанасія Ивановича исчезъ весь смыслъ жизни. Всеистребляющее время даже не утѣшило, не ослабило жаркой печали въ груди уже «безчувственнаго старика, котораго, казалось, не возмущало ни одно сильное ощущеніе души». Послѣдняя мысль и послѣднія слова Аѳанасія Ивановича, когда онъ умиралъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ неуменьшающагося горя, были посвящены Пульхеріи Ивановнѣ, рядомъ съ которой онъ приказалъ похоронить себя, въ полной увѣренности, что и за гробомъ они будутъ вести неразлучно вѣчную жизнь.

Такъ выразилась основная черта ихъ характера доброта въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.

То же свойство проникало отношенія «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» ко всему окружающему и прежде всего къ сосѣдямъ, которые наѣзжали къ нимъ въ гости: здѣсь оно проявлялось въ видѣ заботливаго радушія и чистосердечнаго гостепріимства: «эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей».

Заслышавъ приближеніе экипажа, старички «заботливо выходили навстрѣчу къ гостямъ». Вниманіе къ пріѣхавшимъ у того и у у другого, согласно съ особенностями характера каждаго, принимало свою особую форму: Аѳанасій Ивановичъ велъ тихую бесѣду съ сосѣдомъ, а Пульхерія Ивановна хлопотала объ угощеніи.

Аѳанасій Ивановичъ «всегда слушалъ съ пріятною улыбкою гостей, пріѣзжавшихъ къ нему; иногда и самъ говорилъ, но больше разспрашивалъ», что вполнѣ соотвѣтствовало его флегматической натурѣ. Самый разговоръ дышалъ добротою и участіемъ: Аѳанасій Ивановичъ» не принадлежалъ къ числу такихъ стариковъ, которые надоѣдаютъ вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго».

Въ этомъ новое доказательство добросердечнаго расположенія Аѳанасія Ивановича ко всему окружающему: у него не поднимается ни вражда ни огорченіе при видѣ новой, выступающей на смѣну прежней жизни, въ которой ему уже нѣтъ мѣста. «Онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются всѣ добрые старики, хотя оно

нѣсколько похоже на любопытство ребенка, который въ то время, когда говоритъ съ вами, разсматриваетъ печатку вашихъ часовъ». Здѣсь мы видимъ, что доброта «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» находилась на степени безразличной силы, свойства, не принявшаго, несмотря на долголѣтнюю жизнь, опредѣленнаго направленія и формы: сочувствіе у нихъ къ чужимъ удачамъ и неудачамъ вызывается не характеромъ и поступками собесѣдника, не опредѣляется личными убѣжденіями и симпатіями лица сочувствующаго. Это безразличіе въ проявленіи участія указываетъ на его слабость: здѣсь нѣтъ совмѣстнаго переживанія вызывающихъ наше участіе явленій людской жизни, въ формѣ котораго мы выражаемъ преданность руководящимъ началамъ собственной жизни, ея завѣтнымъ мечтамъ и убѣжденіямъ; здѣсь скорѣе внѣшнее, хотя и вполнѣ доброжелательное любопытство къ совершенно для насъ постороннему, сущность котораго мы даже не стараемся разгадать и оцѣнить съ точки зрѣнія общихъ началъ нравственной дѣятельности. Стоитъ сравнить это участіе Аѳанасія Ивановича къ неудачамъ гостя съ истиннымъ состраданіемъ, чтобы понять всю слабость сочувствія старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Состраданіе является участіемъ прежде всего въ страданіи другихъ и затѣмъ въ уменьшеніи его и устраненіи. У старосвѣтскихъ помѣщиковъ не обнаруживается не только попытокъ къ уменьшенію и устраненію страданія гостя, но даже нѣтъ ощущеніе чужого страданія.

Но если добрые старички были неспособны въ своемъ участіи къ гостю на страстныя эмоціи, зато они выказывали необыкновенную, вполнѣ безкорыстную, готовность угостить пріѣхавшаго всѣмъ, что у нихъ было лучшаго. Въ угощеніи главная роль выпадала на долю радушной хозяйки: Пульхерія Ивановна подводила гостя поочередно къ безчисленнымъ произведеніямъ малороссійской кухни, подробно выясняя цѣлебныя свойства и предупредительно дѣлясь драгоцѣнными секретами о способѣ приготовленія каждаго кушанья.

Гостепріимные хозяева, заботясь о гостѣ, ни за что не отпускали его вечеромъ, хотя тотъ и жилъ обыкновенно въ 3 или 4 верстахъ отъ нихъ. И гость, уступая увѣщаніямъ радушныхъ старичковъ, оставался ночевать, что вызывалось отчасти и необходимостью, такъ какъ кучеръ, такъ же гостепріимно принятый, оказывался послѣ обильныхъ угощеній непробудно спящимъ.

Добротою же проникнуты были и отношенія старосвѣтскихъ помѣщиковъ къ дворнѣ. Проявилась она здѣсь въ нетребовательности и слабомъ надзорѣ за своимъ добромъ. Аѳанасій Ивановичъ, отстранившій себя почти совсѣмъ отъ веденія хозяйства, мало имѣлъ общенія съ крѣпостными и потому, естественно, что никакого неудовольствія или гнѣва они у него не вызывали.

Но и Пульхерія Ивановна, на которой «лежало все бремя правленія», не была требовательна къ своей дворнѣ и слабо присматривала за цѣлостью и сохранностью своею имѣнія. Дворовыя дѣвки «большею частью, бѣгали на кухню и спали»; если же и заняты

были, то эта работа походила больше на развлеченіе: заключалась она въ шитьѣ «какимъ-нибудь бездѣлушекъ» и чисткѣ ягодъ. Благодаря добротѣ господъ, слабо присматривавшихъ за тѣмъ, что у нихъ было, хозяйственные продукты расходились по рукамъ приказчика, войта, дворовыхъ и ихъ кумовьевъ и знакомыхъ. Даже лѣсъ сильно порѣдѣлъ отъ опустошеній приказчика и войта, и хотя это было замѣчено Пульхеріей Ивановной, но она по своей добротѣ ограничилась всего лишь слабою угрозою приказчика. Единственно, въ чемъ Пульхерія Ивановна проявляла свою строгость, это въ надзорѣ за нравственностью дворовыхъ дѣдушекъ... Но и это не противорѣчитъ общему душевному складу Пульхеріи Ивановны, дышавшей добротой: здѣсь проявлялись не жестокость или злоба сердца, а лишь убѣжденіе, что этимъ она исполняетъ свою господскую обязанность блюсти за нравственностью подвѣдомственныхъ ей крѣпостныхъ. Въ обращеніи П. И. съ дворовыми мы видимъ, какъ доброта, вытекавшая не изъ разумныхъ побужденій, а всего лишь изъ спокойнаго состоянія организма, приноситъ скорѣе вредъ, чѣмъ пользу; дворовые и приказчикъ балуются въ бездѣліи и воруютъ. Только доброта, прирожденная разумною и сознательною любовью къ ближнему и сердечнымъ желаніемъ ему блага, есть дѣйствительно хорошее и человѣколюбивое свойство, всегда, въ концѣ концовъ, благотворно дѣйствующее на тѣхъ, на кого она изливается.

Вотъ всѣ тѣ внѣшнія формы, въ которыя отливалась неизмѣнная доброта старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Кореннымъ недостаткомъ этой всеобъемлющей доброты было безволіе, въ основѣ его не было сильнаго, напряженнаго стремленія къ проявленію въ дѣйствіи. Не идя дальше внутренняго настроенія, оно не принесло въ сущности никакихъ благихъ результатовъ. Это царство было, говоря словами Гончарова объ одномъ изъ дѣйствующихъ лицъ «Обрыва», «какимъ то всеобщимъ благоволеніемъ, добротою ко всему на свѣтѣ, — такое чувство, — если только это чувство, — какимъ свѣтятся глаза у людей сытыхъ, безшабашныхъ, всѣмъ удовлетворенныхъ и не вѣдающихъ горя и нуждъ».

Самая смерть Пульхеріи Ивановны объясняется все тѣмъ же кореннымъ свойствомъ характера и жизни старосвѣтскихъ помѣщиковъ — неизмѣннымъ спокойствіемъ духа, не привыкшаго разбираться въ окружающихъ фактахъ.

У человѣка съ развитою способностью мышленія всякое чувство, всякая мысль переживаетъ рядъ такъ называемыхъ въ психологіи задерживающихъ моментовъ, т.-е. прежде, чѣмъ перейти въ убѣжденіе, овладѣть чувствомъ и волею человѣка, выразиться въ органической дѣятельности, они подвергаются аналитическому дѣйствію рефлексіи, разносторонне взвѣшивающей и оцѣнивающей ихъ, — и страшно много требуется убѣдительной силы въ мысли и напряженной стремительности въ чувствѣ, чтобы умственно развитой человѣкъ сразу всецѣло отдался имъ.

Ничего подобнаго не произошло съ мыслью о смерти, пришедшей на умъ Пульхеріи Ивановнѣ въ связи съ бѣгствомъ одичавшей кошки. Образъ кошки связанъ въ Малороссіи съ различными повѣрьями (напр., съ оборотничествомъ вѣдьмъ). Вѣроятно, и Пульхеріи Ивановнѣ, по исчезновеніи кошки, вспомнилась какая-нибудь суевѣрная примѣта или просто разсказъ о смерти, приходившей къ кому-нибудь въ видѣ кошки; и чувство старческой усталости и физической обремененности, подсказывавшее ей, навѣрное, уже и раньше мысль о близкомъ расчетѣ съ жизнью, явилось удобною почвой для того, чтобы случайно возникшая суевѣрная мысль о смерти моментально, безо всякой повѣрки и анализа, на которые П. И. и прежде-то никогда не была способна, перешла въ прочное убѣжденіе.

Итакъ, причина съ перваго разу странной, но въ сущности дѣла вполнѣ естественной смерти П. И. кроется въ слабости духа. Смерть здѣсь произошла по коренному закону существованія организмовъ, основаннаго на неустанной борьбѣ органическаго цѣлаго и на его противодѣйствіи внѣшнему давленію и внутреннему разложенію: всякая органическая единица борется тѣмъ съ большимъ успѣхомъ противъ неблагопріятныхъ условій существованія, чѣмъ болѣе она развила свои дѣятельныя стороны и присущія ей способности. Излишній покой и бездѣйствіе приводятъ организмъ къ разложенію, т.-е. къ гибели, такъ какъ ослабляютъ его способность къ борьбѣ съ привходящими въ него вредными элементами. Этому же закону подчинена и жизнь духа въ періодъ его совмѣстнаго существованія съ тѣломъ, съ великою художественною чуткостью къ сокровеннымъ основамъ бытія, присущею вообще великимъ поэтамъ, изобразилъ Гоголь и въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики». Обладающій жизненною силою человѣческій организмъ, когда въ него попадаетъ вредный элементъ, напр., заноза въ тѣло, или выбрасываетъ его черезъ нагноеніе, или изолируетъ его отъ кровеносныхъ тканей посредствомъ отвердѣнія смежныхъ клѣтокъ; въ больномъ же тѣлѣ отъ этого можетъ произойти зараженіе всей крови; (антоновъ огонь) и смерть. Такъ въ здоровомъ духѣ мысль о смерти могла бы вызвать только развѣ минутный гнетъ и потомъ была бы выброшена или, какъ у меланхоликовъ мысль о самоубійствѣ, могла бы подвергнуться изолированію чрезъ забвеніе послѣ болѣе или менѣе продолжительнаго безсознательнаго состоянія (напр., въ горячкѣ). Слабый же, не привыкшій къ дѣятельности духъ П. И., проведшей всю жизнь въ умственномъ бездѣйствіи, сразу подпалъ подъ власть тяжелой мысли и не перенесъ ея. Итакъ и смерть П. И. вытекаетъ изъ основной черты жизни и характера этихъ старичковъ—спокойствія, какъ и все въ этой повѣсти[1]).

---

[1]) Здѣсь намъ припоминаются глубокія мысли двухъ ученыхъ, которые даютъ точку зрѣнія для оцѣнки и уясненія задачъ человѣческой жизни. Въ своемъ извѣстномъ трудѣ «Человѣкъ какъ предметъ воспитанія» педагогъ-мыслитель Ушинскій такъ высказывается о смыслѣ жизни: «Трудъ свободный, излюбленный, задушевный

Иначе объясняется смерть Аѳ. И., хотя она произошла при очень сходныхъ обстоятельствахъ; умеръ Аѳ. Ив. вслѣдствіе разлуки съ П. И., нарушившей весь строй его жизни. Окликъ же въ саду, принятый Аѳ. Ив. за зовъ П. И., не можетъ быть сравниваемъ по своему впечатлѣнію съ исчезновеніемъ забѣглой кошки. Исчезновеніе кошки породило у П. И. мысль о смерти, перешедшую при благопріятныхъ обстоятельствахъ въ убѣжденіе и, наконецъ, осуществившуюся; наоборотъ, самый окликъ, послышавшійся Аѳ. И., есть порожденіе воображенія, занятаго образомъ П. И., мыслью о ея смерти и о своей близкой кончинѣ. *Флеровъ.*

Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, какъ семьяне и помѣщики.

Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна — хорошіе люди: а) они незлобивы — мирно живутъ между собою, кротко обращаются съ дворовыми, со всѣми крѣпостными, и даже съ приказчикомъ, обкрадывающимъ ихъ; б) Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна очень гостепріимны: угощаютъ гостя всѣмъ, что есть у нихъ лучшаго, сочувственно разспрашиваютъ его о горѣ и радостяхъ, стараются занять разговорами, заботятся о немъ, боятся, чтобы не случилось съ нимъ какой-нибудь непріятности; все это они дѣлаютъ безкорыстно, единственно по добротѣ сердца; в) эти старички глубоко и искренно любятъ другъ друга: у Пульхеріи Ивановны нѣтъ другой заботы, какъ только объ Аѳанасіи Ивановичѣ: цѣлый день она думаетъ и хлопочетъ о томъ, чѣмъ бы хорошимъ накормить его; умирая, Пульхерія Ивановна забываетъ о себѣ и заботится только, чтобы Аѳанасій Ивановичъ послѣ нея не почувствовалъ въ чемъ-нибудь лишенія. Аѳанасій Ивановичъ, съ своей стороны, заботится, чтобы сдѣлать что-нибудь пріятное для Пульхеріи Ивановны, старается развлечь свою подругу шутками; любовь его особенно выразилась въ неутѣшномъ горѣ по умершей; г) старички отличались довольствомъ, душевнымъ спокойствіемъ: не было желаній, не было страстей, возмущающихъ обыкновенно жизнь людей.

Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна, какъ помѣщики, имѣя все готовое, вели пустую жизнь, безъ высшихъ интересовъ, заботились только о матеріальныхъ благахъ. Въ изображеніи пустоты жизни у Го-

---

есть единственное доступное человѣку счастье, и только на этомъ пути душа остается въ нормальномъ положеніи, не извращаясь и не увлекаясь частностями. Наслажденіе и страданіе — цвѣты и терніи жизни, но не сама жизнь; жизнь же есть процессъ дѣятельности прогрессивной, свободной и вытекающей изъ самой души». То же говоритъ и отецъ современной философіи Кантъ: «Чѣмъ болѣе мы думали, чѣмъ болѣе дѣйствовали, тѣмъ болѣе жили... Вся стоимость жизни измѣряется тѣмъ употребленіемъ, которое мы изъ нея дѣлаемъ, и тѣмъ дѣломъ, которое мы себѣ предлагаемъ».

голя обнаруживается особое искусство, высшая степень художественности — каждая мелочь имѣетъ значеніе: а) домикъ былъ съ галлереей, чтобы громъ и молнія не безпокоили — нужно было затворять ставни и при этомъ не замочить ноги; подъ кленомъ постоянно былъ разостланъ коверъ, чтобы безъ хлопотъ можно было опуститься на него для отдыха; изъ этого видно, что здѣсь много заботились о спокойствіи; б) у дома фруктовый садъ; во дворѣ дорожки протоптаны только отъ кухни къ кладовой и отъ той же кухни къ столовой; на дворѣ нѣтъ ничего, кромѣ воза съ дынями, гусей съ гусенятами; заборы обвѣшаны сушеными фруктами; подъ однимъ деревомъ постоянно варились фрукты, подъ другимъ кучеръ перегонялъ водку на персиковые листья, на черемуховый цвѣтъ и проч.; здѣсь много заботились о ѣдѣ и питьѣ; в) объ изяществѣ, красотѣ не было заботы: были огромныя печи для тепла, множество соломы для топки печей; всѣ вещи были старинной работы, грубыя, непокрашенныя, полы глиняные — ничего не было для красоты; не изящны картины, похожія на темныя пятна, ковры съ цвѣтами, похожими на птицъ, и птицами, похожими на цвѣты; въ комнатѣ Пульхеріи Ивановны только сѣмена и лоскутки; г) не было духовныхъ интересовъ: ни книги ни музыкальнаго инструмента; слухъ хозяевъ настолько неприхотливъ, что «поющія двери» ихъ не смущаютъ. Низенькая галлерея, окружающая весь домъ, конечно, страшно темнитъ комнаты; но что за бѣда! здѣсь не читаютъ, не пишутъ, вообще не работаютъ, — можно бы и еще поубавить свѣту: «ложку за ухо не занесутъ»; напротивъ, сильный свѣтъ можетъ обезпокоить стариковъ; д) труда настоящаго не было: Аѳанасій Ивановичъ «иногда ѣздилъ къ косарямъ и жнецамъ и смотрѣлъ довольно пристально на ихъ работу»— «глазѣлъ», какъ говорятъ; каждое утро отъ бездѣлья, прогнавши гусей съ крыльца, онъ бесѣдовалъ съ приказчикомъ, но пользы отъ этого не было. Пульхерія Ивановна разъ только собралась обревизовать лѣсъ и нашла страшныя опустошенія; но она удовлетворилась объясненіемъ приказчика, что лѣсъ «громомъ побило, и черви проточили», дубы «такъ-таки совсѣмъ пропали»; е) работы не было, — чѣмъ же наполнять дни? Утромъ кофе, потомъ два завтрака, обѣдъ, отдыхъ; послѣ отдыха фрукты, прогулка по саду, двѣ послѣобѣденныя закуски, ужинъ; иногда и ночью Аѳанасій Ивановичъ закусывалъ, каждое кушанье требовало обстоятельнаго обсужденія; въ теплый и свѣтлый день Аѳанасій Ивановичъ любилъ пошутить надъ Пульхеріей Ивановной. Самый полный день былъ, когда пріѣзжали гости: заботы Пульхеріи Ивановны о кушаньяхъ и напиткахъ удвоивались: гостя усердно угощали, занимали разсказами о способѣ приготовленія закусокъ и «цѣлительныхъ» напитковъ, участливо разспрашивали о горестяхъ и радостяхъ, занимали и политическими разговорами, а Аѳанасій Ивановичъ добродушно шутилъ, пугая Пульхерію Ивановну.

Старички были счастливы, но это счастіе было не прочно: люди дѣловые, съ широкими и многочисленными интересами, потерпѣвъ

неудачу въ одномъ-другомъ, не могутъ унывать, потому что у нихъ остается еще много интересовъ, много дѣла. Не то у людей, ведущихъ пустую жизнь: пропала кошечка Пульхеріи Ивановны, которую она постоянно держала при себѣ, когда не была занята кормленіемъ Аѳанасія Ивановича или угощеніемъ гостей. Не стало кошечки — часть времени осталась незанятою: въ это незанятое время Пульхерія Ивановна скучаетъ, задумывается. Жизнь текла такъ ровно: хлопоты о приготовленіи закусокъ, кормленіе мужа, ласканіе кошечки, угощеніе гостей; шутки Аѳанасія Ивановича «вотъ; слава Богу, день и прошелъ!»; но пропала кошечка: это что-то необыкновенное, вѣрно не къ добру; въ жизни явилась прорѣха. На одеждѣ прорѣха — значитъ она скоро износится: не то же ли самое и въ жизни? У Пульхеріи Ивановны явилось подобное предположеніе; суевѣріе укрѣпило эту мысль: одичавшая кошечка утратила свой обыкновенный образъ, значитъ, это не кошка, а что-то другое: «Это смерть моя приходила», рѣшила Пульхерія Ивановна. Не имѣвшая повода вступать въ жизненную борьбу, а потому слабая духомъ, Пульхерія Ивановна совсѣмъ растерялась, захирѣла, потеряла аппетитъ; послѣднее хуже всего: она утратила главный интересъ своей жизни — жизнь рушится, потому что жить нечѣмъ; по пословицѣ — «умираетъ не старый, а поспѣлый», тотъ, кто сказалъ послѣднее слово въ жизни. Пульхерія Ивановна сказала послѣднее слово: назначила мѣсто для могилы, выбрала для себя платье, другое платье назначила для передѣлки на халатъ, заклинала Явдоху заботиться объ Аѳанасіи Ивановичѣ; больше ничего не оставалось, и она незамѣтно угасла. Умеръ духовно и Аѳанасій Ивановичъ: ему теперь не съ кѣмъ бесѣдовать, «чего бы такого покушать»; только физически крѣпкій организмъ, хорошо упитанный, держался, какъ дуплистое дерево съ выгнившею серединой. Физически Аѳанасій Ивановичъ умеръ тоже отъ пустой причины: ему показалось, что Пульхерія Ивановна его зоветъ. Итакъ «сняли голову не большой горой, а соломинкой».

Опустѣлъ уютный уголокъ — имѣніе взято въ опеку. «Избы, почти совсѣмъ лежавшія на землѣ, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали, большею частью, числиться въ бѣгахъ». Настоящій владѣтель пріѣзжалъ очень рѣдко, а опека перевела всѣхъ куръ въ деревнѣ. Очевидно, наслѣднику «шестью англійскими серпами» (которые онъ выписалъ для улучшенія имѣнія) не удержать имѣнія отъ окончательнаго паденія, которое началось еще при жизни старичковъ. Итакъ Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна умерли отъ пустыхъ причинъ, и все, созданное ими, разрушилось по пословицѣ: «что Маша напряла, то мышка скрала». *Барсовъ.*

Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ.

Совсѣмъ другой міръ, чѣмъ «Ревизоръ», представляетъ намъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. Этотъ міръ случайностей, неразумности; это отрицаніе жизни, пошлая, грязная дѣйствительность. Но какимъ же образомъ могла она сдѣлаться содержаніемъ художественнаго произведенія, и не унизилъ ли художникъ своего таланта, сдѣлавъ изъ него такое употребленіе? Резонеры, которымъ доступна одна внѣшность, а не мысль, отвѣтятъ намъ утвердительно на этотъ вопросъ. Мы думаемъ напротивъ. Тутъ задача въ томъ, чтобы въ основаніи художественнаго произведенія лежала общая идея, и чтобы изображенія поэта были не списками съ частныхъ явленій (эти списки — суть призраки), но идеалы, для того перешедшіе въ дѣйствительность явленія, чтобы каждый изъ нихъ былъ выраженіемъ идеи, представителемъ цѣлаго ряда безконечнаго множества явленій одной идеи и, будучи въ этомъ значеніи общимъ, былъ бы въ то же время единымъ — живою, замкнутою въ самой себѣ особеностью. Всякая частность есть случайность, и если ея значеніе низко и пошло — она оскорбляетъ человѣческое эстетическое чувство; но общее, хотя бы и отрицательной стороны жизни, уже дѣлается предметомъ знанія и теряетъ свою случайность.

Изображая отрицательныя явленія жизни, поэтъ нисколько не думаетъ писать сатиры. Рисуя нравственныхъ уродовъ, поэтъ дѣлаетъ это совсѣмъ не скрѣпя сердце, какъ думаютъ многіе: нельзя сердиться и творить въ одно и то же время; досада портитъ желчь и отравляетъ наслажденіе, а минута творчества есть минута высочайшаго наслажденія. Поэтъ не можетъ ненавидѣть свои изображенія, каковы бы они ни были; напротивъ, скорѣе онъ ихъ любитъ, потому что они представляются ему уже просвѣтленными идеею.

Были два пріятеля-сосѣда, соединенные другъ съ другомъ неразрывными узами взаимной пошлости, привычки и праздности. Мы не будемъ ихъ описывать послѣ изображенія, сдѣланнаго поэтомъ. Если, читатели, вы помните и знаете Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — были они искренними друзьями и вдругъ сдѣлались страшными врагами и прожили все свое имѣніе, стараясь доѣхать другъ друга судомъ. А отчего? Стоитъ привести по нѣскольку чертъ характера каждаго — и вы поймете причину этого страннаго явленія. Иванъ Ивановичъ былъ человѣкъ весьма солидный, самаго тонкаго обращенія, терпѣть не могъ грубыхъ или непристойныхъ словъ, и когда потчевалъ какого-нибудь знакомца табакомъ, то говорилъ: «смѣю ли просить, государь мой, объ одолженіи?» а если незнакомаго, то: «смѣю ли просить, государь мой, не имѣя чести знать чина, имени и отчества, объ одолженіи?» Онъ любилъ лежать на солнцѣ подъ навѣсомъ въ одной рубашкѣ только послѣ обѣда, а вечеромъ

надѣвалъ бекешь, выходя со двора; но самая рѣзкая черта его характера была та, что, съѣвши дыню, онъ завертывалъ въ бумажку сѣмена и надписывалъ: «сія дыня съѣдена такого-то числа», а если при этомъ былъ гость, то: «участвовалъ такой-то». Присовокупите къ этому портрету страшную скупость и высокую цѣну, придаваемую земнымъ благамъ — и Иванъ Ивановичъ весь передъ вами. Иванъ Никифоровичъ отличался отъ своего друга толстотою и любилъ употреблять въ разговорѣ непристойныя слова, къ крайнему неудовольствію достойнаго Ивана Ивановича; любилъ въ жаркіе дни выставлять на солнце спину, садиться по горло въ воду, куда ставилъ столъ и самоваръ и пилъ чай; любилъ въ комнатѣ лежать въ натурѣ, и когда потчевалъ кого изъ своей табакерки табакомъ, то просто говорилъ: «одолжайтесь». Теперь вы видите всю эту жизнь, понятную только въ произведеніи художника, но случайную, безсмысленную и глупо-животную въ дѣйствительности. Оба героя — призраки (въ томъ смыслѣ, который мы выше придали этому слову), и все, что они ни дѣлаютъ, есть призракъ, пустота, безсмыслица. Въ ихъ характерахъ лежитъ, какъ необходимость, ихъ ссора. Ивану Ивановичу захотѣлось имѣть у себя ружье Ивана Никифоровича; зачѣмъ? — не спрашивайте: онъ самъ этого не знаетъ. Мы думаемъ, что это было безсознательнымъ желаніемъ чѣмъ-нибудь наполнить свою праздную пустоту, потому что пустота, вслѣдствіе праздности, тяжка и мучительна для всякаго человѣка, какъ бы ни былъ онъ пошлъ. Иванъ Никифоровичъ, по такой же причинѣ, не хотѣлъ уступить ему своего ружья, хотя тотъ и обѣщалъ ему за него приличное вознагражденіе — бурую свинью и мѣшокъ гороха. Завязался крупный разговоръ, въ которомъ Иванъ Никифоровичъ, грубый въ своихъ выходкахъ, назвалъ Ивана Ивановича, этого до крайности деликатнаго и щекотливаго со стороны своей чести и аттенціи человѣка, назвалъ его — о, ужасъ! гусакомъ...

Великая, безконечно великая черта художественнаго генія этотъ гусакъ! Если бы поэтъ причиною ссоры сдѣлалъ дѣйствительно оскорбительныя ругательства, пощечину, драку — это испортило бы все дѣло. Нѣтъ, поэтъ понялъ, что въ мірѣ призраковъ, которому онъ давалъ объективную дѣйствительность, и забавы, и понятія, и удовольствія, и горести, и страданія, и самое оскорбленіе — все призрачно, безсмысленно, пусто и пошло. Не думайте, чтобы эти два чудака были отъ природы созданы такими: нѣтъ, природа справедлива къ людямъ — она каждому даетъ въ мѣру чего и сколько ему нужно. Конечно, эти чудаки и отъ природы были небойкіе люди, но и имъ нашлась бы своя ступенька на безконечной лѣстницѣ человѣческой и гражданской дѣятельности; они могли бы быть хорошими мужьями, отцами, хозяевами и имѣть, сообразно съ занимаемымъ ими мѣстечкомъ въ цѣпи явленій духа, свою благообразность формы; но воспитаніе, животная лѣнь, праздность, невѣжество — вотъ что сдѣлало ихъ такими. Ихъ хотятъ примирить и почти было

успѣли въ этомъ; уже Иванъ Никифоровичъ полѣзъ въ карманъ, чтобы достать рожокъ и сказать «одолжайтесь», но вдругъ лукавый дернулъ его замѣтить, что не стоитъ сердиться изъ пустого слова «гусакъ». Видите ли: если бы онъ гусака замѣнилъ птицею или выразился какъ-нибудь иначе, они снова были бы друзьями, но роковое слово было сказано, и снова прадѣдовскіе карбованцы полетѣли изъ желѣзныхъ сундуковъ въ карманы подьячихъ, и имѣніе, внѣшнее и внутреннее благосостояніе, вся жизнь была истощена въ тяжбѣ. Десять лѣтъ прошло, головы ихъ убѣлились сѣдиною, и поэтъ восклицаетъ: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа! Да! грустно думать, что человѣкъ, этотъ благороднѣйшій сосудъ духа, можетъ жить и умереть призракомъ и въ призракахъ, даже и не подозрѣвая возможности дѣйствительной жизни! И сколько на свѣтѣ такихъ людей, сколько на свѣтѣ Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей!...

Бѣлинскій.

Минорный тонъ повѣстей, вошедшихъ въ „Миргородъ“.

Гоголь возвратился домой уже не тѣмъ счастливымъ, исполненнымъ свѣтлыхъ надеждъ юношей, какимъ выѣхалъ изъ деревни три года назадъ со своимъ другомъ Данилевскимъ. За этотъ промежутокъ времени онъ утратилъ самое дорогое въ жизни — радужное царство молодыхъ мечтаній, которыми такъ украшается юность, представляющая міръ въ своемъ пылкомъ, свѣжемъ воображеніи, усыпающемъ все цвѣтами. Теперь, напротивъ, когда эта розовая пелена спала, когда во всей ужасающей наготѣ раскрылся передъ нимъ возмутительный омутъ житейской пошлости, и онъ глубоко почувствовалъ суровый трагизмъ жизни, всегда скрытый подъ ея будничной монотонностью, — многое изъ знакомаго ему съ ранняго дѣтства предстало въ иномъ свѣтѣ. Если первыя впечатлѣнія пріѣзда на родину были свѣтлы и отрадны, то вскорѣ же дала себя знать и горечь, непріятно охватывающая почти каждаго при возвращеніи на мѣсто, когда-то дорогое и близкое, но давно покинутое и сильно перемѣнившееся. Все, что въ заманчивомъ видѣ рисовала мечта, что представлялось послѣ долгой разлуки привлекательнымъ издали, въ дѣйствительности оказалось такимъ же или еще болѣе убогимъ и печальнымъ, какимъ было въ глазахъ поэта передъ первымъ отъѣздомъ въ столицу. Какъ послѣ высокихъ минутъ художественнаго наслажденія досаденъ переходъ къ обычнымъ очерствляющимъ впечатлѣніямъ повседневной жизни, такъ и радости первой встрѣчи со всѣмъ близкимъ должны были вскорѣ уступить мѣсто тяжелому чувству совершенно иного характера. Безъ сомнѣнія, нѣкоторыхъ изъ деревенскихъ знакомыхъ Гоголь не засталъ въ живыхъ по возвращеніи, другихъ нашелъ постарѣвшими или опустившимися, иныхъ — обремененными нуждой и заботами; любимые его дяди Кося-

ровскіе были оба далеко, — словомъ, передъ нимъ предстала въ своемъ возмутительномъ ужасѣ неумолимая проза жизни, съ которой съ такимъ трудомъ можетъ мириться человѣкъ, но которая всегда надъ нимъ торжествуетъ. Таково было передъ нимъ настоящее, а въ близкомъ будущемъ его ожидалъ тотъ же Петербургъ, какъ и при первомъ отъѣздѣ въ него, но уже лишенный прежняго своего обаянія и ореола. Мы не настаиваемъ, впрочемъ, на буквальной вѣрности каждаго слова въ послѣднихъ выраженіяхъ, потому что за отсутствіемъ положительныхъ документальныхъ данныхъ и живыхъ свидѣтелей, помнящихъ это время, трудно представить точныя свѣдѣнія; но намъ важно отмѣтить и очертить самое настроеніе, несомнѣнно, выразившееся въ «Миргородѣ».

Представляя себѣ *такимъ образомъ* настроеніе Гоголя по возвращеніи его изъ Петербурга въ деревню, мы основываемся, во-первыхъ, на томъ исполненномъ искренней грусти изображеніи родной Малороссіи, которое является у него во многихъ мѣстахъ въ «Миргородѣ», особенно въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ», а во-вторыхъ, и главнымъ образомъ, на одномъ мѣстѣ въ отрывкѣ «Римъ«, имѣющемъ несомнѣнное автобіографическое значеніе. Тамъ, между прочимъ, читаемъ: «Грустное чувство овладѣло княземъ» (по возвращеніи въ вѣчный городъ), — «чувство, *понятное каждому пріѣзжающему*, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, домой, когда все, что ни было, кажется еще старѣе, еще пустѣе, и когда тягостно говоритъ всякій предметъ, знаемый въ дѣтствѣ; и чѣмъ веселѣе были сопряженные съ нимъ случаи, тѣмъ сокрушительнѣе грусть, насылаемая имъ на сердце». Само собою разумѣется, что описанное выше настроеніе не могло быть постояннымъ, можетъ-быть, не было и преобладающимъ, но оно *существовало* и отразилось въ творчествѣ Гоголя. Что касается «Миргорода», то нѣтъ сомнѣнія, что въ немъ мы не находимъ уже того ровнаго, свѣтлаго настроенія, которымъ отъ начала до конца проникнуты «Вечера на хуторѣ» (исключая отчасти «Страшную месть»). Здѣсь уже нѣтъ прежней заразительной юношеской веселости, но, наоборотъ, часто, слишкомъ часто слышатся довольно трагическія ноты. Укажемъ, напримѣръ, на слѣдующія строки въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ»: «Я до сихъ поръ не могу позабыть двухъ старичковъ прошедшаго вѣка, которыхъ, увы! теперь уже нѣтъ, но душа моя полна еще до сихъ поръ жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себѣ, что пріѣду со временемъ опять на ихъ прежнее, нынѣ опустѣвшее жилище, и увижу кучу развалившихся хатъ, заглохшій прудъ, заросшій ровъ на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ низенькій домикъ, и ничего болѣе... Грустно, мнѣ заранѣе грустно!» Такая же тоска слышится въ заключительныхъ строкахъ этой же повѣсти и «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: «Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, по-

тянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливмя на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость проняла меня насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣта небо... Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!» Подобное настроеніе въ «Вечерахъ на хуторѣ» можетъ быть указано лишь въ единственномъ мѣстѣ, именно въ послѣднихъ строкахъ повѣсти «Сорочинская ярмарка»; въ «Вечерахъ» же, въ описаніяхъ природы выражается или восторгъ, или упоительная нѣга, но нигдѣ нѣтъ и въ поминѣ того сумрачнаго настроенія, которое наводится иногда непогодой; тамъ, напротивъ, изображаются исключительно или яркіе, солнечные дни (въ началѣ «Сорочинской ярмарки»), или ясный вечеръ, или же обаятельная ночь. Метель въ «Ночи передъ Рождествомъ» и буря на Днѣпрѣ въ «Страшной мести» представлены преимущественно съ художественной и картинной стороны. Напротивъ, въ «Миргородѣ» такія описанія, какъ описаніе степи въ «Тарасѣ Бульбѣ» или усадьбы сотника въ «Віи», т.-е. возбуждающія отрадное или — въ первомъ случаѣ — восторженное чувство, становятся рѣдкими. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже солнечный свѣтъ является не ослабляющимъ, а усиливающимъ грусть; напр. при описаніи похоронъ Пульхеріи Ивановны: «Священники были въ полномъ облаченіи, солнце свѣтило, грудные младенцы плакали на рукахъ матерей, жаворонки пѣли, дѣти въ рубашонкахъ бѣгали и рѣзвились по дорогѣ». Вспоминая о страхѣ, который наводили на него таинственные голоса, слышанные имъ въ дѣтствѣ, Гоголь также говоритъ, что «день обыкновенно въ это время былъ ясный и солнечный; тишина была мертвая» и проч., но такому дню онъ охотно предпочелъ бы въ подобныя минуты ужаса ночь «самую бѣшеную и бурную». Въ «Тарасѣ Бульбѣ» встрѣчаемъ уже изображеніе сѣраго дня («день былъ сѣрый; зелень сверкала ярко; птицы щебетали какъ-то въ разладъ»)...

Замѣчательно, что, начинаясь сценами незначительными и забавными, каждая изъ повѣстей въ «Миргородѣ» становится, по мѣрѣ разсказа, все болѣе трагическою и потрясающею. Особенно чувствуется это въ «Тарасѣ Бульбѣ», гдѣ беззаботный смѣхъ читателя, возбуждаемый началомъ первой главы, къ концу ея постепенно переходитъ въ тяжелую, сосредоточенную грусть, и это чувство потомъ постоянно возрастаетъ, уступая лишь по временамъ мѣсто поэтическому восторгу при такихъ описаніяхъ, какъ степи и устройства Запорожской сѣчи; тонъ изложенія становится все болѣе возвышеннымъ и удаленнымъ отъ того обыденнаго, которымъ начинается повѣсть, и, наконецъ, доходитъ до захватывающаго трагическаго паѳоса въ сценѣ между прекрасной полячкой и Андріемъ, въ опи-

саніи осады Дубна, битвъ казаковъ за родину и проч. Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» также замѣчается постепенный переходъ отъ мирной идилліи къ глубокому трагизму; вся вторая половина повѣсти проникнута грустью, но особенно ровное пока настроеніе читателя омрачается простымъ, трогательнымъ діалогомъ, въ которомъ Пульхерія Ивановна сообщаетъ мужу свое предчувствіе смерти. Здѣсь, впрочемъ, могла бы быть найдена связь съ «Вечерами на хуторѣ»; такъ, подобное мѣсто, хотя гораздо менѣе художественное, находимъ и въ «Страшной мести». Въ самомъ дѣлѣ, поразительное сходство открывается при сличеніи.

Въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ»:

«— Что это съ вами, Пульхерія Ивановна? Ужъ не больны ли вы?

«— Нѣтъ, я не больна, Аѳанасій Ивановичъ! я хочу вамъ объявить одно особенное происшествіе. Я знаю, что я этимъ лѣтомъ умру; смерть моя уже приходила за мною. — Я прошу васъ, Аѳанасій Ивановичъ, чтобы вы исполнили мою волю», и прочее.

Въ «Страшной мести»:

«— Что-то грустно мнѣ, жена! — сказалъ панъ Данило: — и голова болитъ у меня, и сердце болитъ; какъ-то тяжело мнѣ! видно, гдѣ-то недалеко уже ходитъ смерть моя».

Далѣе слѣдуютъ утѣшенія жены со стороны Аѳанасія Ивановича въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и пана Данила со стороны Катерины въ «Страшной мести», и потомъ чрезвычайно похожія предсмертныя просьбы беречь и холить своихъ любимцевъ (въ первомъ случаѣ — Аѳанасія Ивановича, во второмъ — сына Данилина, Ивана).

«— Слушай, жена моя! — сказалъ Данило: — не оставляй сына, когда меня не будетъ: не будетъ тебѣ отъ Бога счастія, если ты кинешь его, ни въ томъ ни въ этомъ свѣтѣ; тяжело будетъ гнить моимъ костямъ въ сырой землѣ, а еще тяжелѣе будетъ душѣ моей».

«— Смотри мнѣ, Явдоха, — говорила Пульхерія Ивановна, обращаясь къ ключницѣ, которую нарочно велѣла позвать:—когда я умру, чтобы ты глядѣла за паномъ, чтобы берегла его, какъ глаза своего, какъ свое родное дитя. Не своди съ него глазъ, Явдоха, я буду молиться за себя на томъ свѣтѣ, и Богъ наградитъ тебя. Не забывай же, Явдоха: ты уже стара, тебѣ не долго жить,—не набирай грѣха на душу! Когда же не будешь за нимъ присматривать, то не будетъ тебѣ счастія на свѣтѣ: я сама буду просить Бога, чтобы не давалъ тебѣ благополучной кончины», и прочее.

Шенрокъ.

Характерныя черты главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ повѣсти «Шинель»[1]).

Акакій Акакіевичъ служитъ вѣчнымъ чиновникомъ для письма, «какъ-будто и родился совсѣмъ готовымъ въ вицмундирѣ и съ лысиной на головѣ». Письмо, буквы — вотъ предметъ, которымъ тѣсно ограничивалась вся жизнь и дѣятельность. Онъ и подсмѣиваетъ, и подмигиваетъ, и помогаетъ губами, добравшись до какой-нибудь изъ своихъ буквъ-фаворитокъ; онъ и на улицѣ видитъ однѣ свои, ровнымъ почеркомъ выведенныя, строки; дома, даже для собственнаго удовольствія, онъ переписываетъ бумаги, замѣчательныя не по красотѣ слога, а по адресу къ какому-нибудь новому или важному лицу. Такъ въ переписываніи заключался для Акакія Акакіевича цѣлый міръ — послѣдній предѣлъ его желаній, его радости и утѣхи. Другую сторону его характера составляетъ необыкновенная его робость, запуганность. Департаментскіе сторожа не обращаютъ на него и вниманія, словно пролетѣла обыкновенная муха; начальники обходятся съ нимъ холодно, деспотически; молодые чиновники надъ нимъ потѣшаются, сыплютъ ему на голову бумажки, называя это снѣгомъ — и Акакій Акакіевичъ все переноситъ молчаливо; развѣ ужъ шутка очень невыносима, когда толкаютъ его подъ руку, мѣшая заниматься, онъ жалобно скажетъ: «Оставьте меня! зачѣмъ вы меня обижаете?» Третьею чертою его служитъ необыкновенная разсѣянность: онъ ходитъ по улицѣ вѣчно въ какой-то забывчивости и опомнится развѣ тогда, когда лошадиная морда, неизвѣстно откуда взявшись, помѣстится ему на плечо и напуститъ ноздрями цѣлый вѣтеръ въ щеку; дома онъ хлебаетъ наскоро свои щи, вовсе не замѣчая ихъ вкуса, ѣстъ съ мухами и со всѣмъ тѣмъ, что ни пошлетъ Богъ на ту пору. Эта разсѣянность происходила не отъ какихъ-нибудь увлеченій, а отъ совершеннаго бездѣйствія ума. Онъ говорилъ особеннымъ языкомъ, изъясняясь, большею частію, предлогами, нарѣчіями и, наконецъ, такими частицами, которыя рѣшительно не имѣютъ никакого значенія. Если же дѣло было очень затруднительно, то онъ даже имѣлъ обыкновеніе совсѣмъ не оканчивать фразы, такъ что весьма часто, начавши рѣчь словами: «Это, право, совершенно того...» а потомъ уже и ничего не было, и самъ онъ позабывалъ, думая, что все уже выговорилъ. И такая крайняя ограниченность желаній, напоминающая въ немъ скорѣе машину, чѣмъ человѣка, пугливость и разсѣянность — вотъ главныя свойства Акакія Акакіевича. Между тѣмъ Гоголь вездѣ указываетъ въ этомъ бѣдномъ чиновникѣ и другія черты: природную мягкость и добродушіе, совѣстливость, необычайное трудолюбіе, даже наклонность къ созданію идеала изъ того, что даетъ жизнь человѣку. Мы думаемъ поэтому, что при благопріятныхъ обстоятельствахъ Акакій Акакіевичъ могъ бы быть инымъ человѣкомъ: онъ не бли-

---

[1]) См. объ этомъ стран. 59 и 60.

сталъ бы умомъ, не хваталъ бы съ неба звѣздъ, но явился бы скромнымъ, добросовѣстнымъ и полезнымъ дѣятелемъ. Ему однако суждено отупѣть, сдѣлаться притчею со своимъ вицмундиромъ рыжевато-мучного цвѣта, къ которому всегда что-нибудь прилипало: или кусочекъ сѣнца, или какая-нибудь ниточка, — со своимъ капотомъ вмѣсто шинели. Такъ произошло отъ его жалкаго общественнаго положенія, отъ мертвой формы, которая сковывала всю его жизнь, и отъ крайней бѣдности. Гоголь чрезвычайно удачно сосредоточиваетъ всю драму его микроскопической жизни на шинели. Акакій Акакіевичъ, наконецъ, рѣшается на великій подвигъ, понуждаемый петербургскимъ климатомъ: онъ задумалъ *сшить себѣ новую шинель*. И дѣйствительно, это предпріятіе стоило для Акакія Акакіевича болѣе заботы и самоотверженія, чѣмъ въ старину для иного полководца покорить цѣлое царство. Получая 400 руб. въ годъ жалованья (около 10 руб. сер. въ мѣсяцъ на нынѣшнія деньги), онъ во многомъ долженъ былъ себѣ отказывать. Гоголь подробно описываетъ, какъ онъ ходилъ къ Петровичу, самоучкѣ-портному, чинившему старое платье, жалобно умоляя его исправить капотъ; какъ хитрилъ съ нимъ (тутъ нашелся умъ и у Акакія Акакіевича), чтобъ онъ взялъ подешевле, какъ, собирая деньги, толковалъ съ нимъ о новой шинели, и проч. Сближеніе этихъ двухъ бѣдныхъ людей не столько смѣшитъ, сколько наводитъ грусть. «Такъ этакъ-то! вотъ какое ужъ, точно, никакъ неожиданное, того... этого бы никакъ... этакое-то обстоятельство!» разсуждалъ Акакій Акакіевичъ, пораженный невозможностью ходить въ своемъ старомъ капотѣ; но потомъ собрался съ мыслями и взялся за дѣло. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ скопилъ сорокъ рублей, откладывая отъ каждаго истраченнаго рубля по грошу, но нужно еще было достать сорокъ рублей: онъ рѣшился не употреблять чаю по вечерамъ, не зажигать свѣчки, на улицѣ ступать какъ можно легче и осторожнѣе по камнямъ и плитамъ, чтобъ не истереть подметокъ, и проч. Онъ питался духовно, нося въ мысляхъ своихъ *вѣчную идею будущей шинели*. «Съ этихъ поръ какъ будто самое существованіе его сдѣлалось *полнѣе*, какъ-будто онъ женился... какъ-будто бы *какая-то пріятная подруга жизни* согласилась съ нимъ проходить жизненную дорогу,—и подруга эта была не кто другой, какъ *та же шинель*, на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ безъ износу. Онъ сдѣлался какъ-то *живѣе*, даже *тверже* характеромъ, какъ человѣкъ, *который уже опредѣлилъ и поставилъ себѣ цѣль*. Итакъ, шинель для Акакія Акакіевича то же, что для другого мечта о какой-нибудь идеальной красавицѣ, или грезы объ искусствѣ, объ Италіи, или думы о славѣ, объ ученой карьерѣ, о высокомъ положеніи въ обществѣ. По крайней мѣрѣ, Акакій Акакіевичъ тутъ не менѣе испыталъ заботъ и идеальныхъ томленій, но изъ бѣдной среды, въ которой жилъ онъ, для него и не могло возникнуть другого идеала, кромѣ шинели на толстой ватѣ, на крѣпкой подкладкѣ. Видя, какой идеалъ даетъ жизнь человѣку, мы можемъ судить и

о самой жизни. Гоголь до конца обрисовываетъ намъ типъ Акакія Акакіевича съ его *вѣчною идеею*, съ шинелью. Какъ онъ былъ счастливъ, когда, наконецъ, достигъ своей цѣли, какъ тѣшился, сравнивая новую шинель со старымъ капотомъ! Онъ даже послѣ обѣда въ тотъ день ничего не писалъ, а такъ немножко посибаритствовалъ на постели, пока не стемнѣло. Но вотъ въ тотъ же день ночью его ограбили: шинель исчезла, какъ мимолетное видѣніе. Что долженъ былъ тогда чувствовать Акакій Акакіевичъ? То же, что чувствуютъ и всѣ люди, когда предметъ ихъ долгихъ мечтаній, для котораго поднято было много трудовъ, принесено много жертвъ, безвозвратно отъ нихъ ускользаетъ. Но горе Акакія Акакіевича было посущественнѣе многихъ горестей, основанныхъ на себялюбивыхъ грезахъ. Ему приходилось не только оплакивать потерянныя жертвы и деньги, нажитыя многолѣтнимъ, кровнымъ трудомъ, но и вновь терпѣть отъ мороза; онъ встрѣчалъ не просто равнодушіе въ людяхъ, отъ которыхъ могъ ждать участія, но долженъ былъ сносить ихъ грубыя выходки и свирѣпое распеканіе. Запуганный значительнымъ лицомъ, онъ весь внѣ себя идетъ, разиня ротъ, по улицѣ, а вѣтеръ дуетъ на него, по петербургскому обычаю, со всѣхъ четырехъ сторонъ, изо всѣхъ переулковъ. Онъ схватилъ горячку, и умеръ. Нѣсколько дней спустя послѣ его смерти, сторожъ былъ посланъ къ нему на квартиру съ приказаніемъ отъ начальства, чтобы онъ немедленно явился, но сторожъ долженъ былъ нести отвѣтъ: «Не можетъ прійти».— Почему?—«Да такъ: ужъ онъ умеръ; четвертаго дня похоронили». И на мѣсто Акакія Акакіевича посадили другого чиновника. Машина шла своимъ порядкомъ, перемалывая все, что въ нее ни попадалось. «Такъ исчезло существо,—говоритъ Гоголь,—переносившее покорно канцелярскія насмѣшки и безъ всякаго чрезвычайнаго дѣла сошедшее въ могилу, но для котораго все-таки, хоть передъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ *свѣтлый гость* въ видѣ шинели, оживившій на мигъ *бѣдную жизнь*». Осмыслить совершенно обыденный предметъ, шинель, какъ это дѣлаетъ Гоголь, не въ какомъ-нибудь фантастическомъ образѣ, а поднявъ изъ самой глубины жизни насущный вопросъ о судьбѣ бѣднаго служащаго человѣка,—вотъ тема, какую можетъ задать себѣ и искусно выполнить только великій талантъ, и повѣсть Гоголя займетъ свое мѣсто въ исторіи нашего общественнаго быта. Рядомъ съ типомъ Акакія Акакіевича выведенъ типъ *значительнаго лица*, котораго правиломъ было: «строгость, строгость и строгость». Гоголь очень кстати представляетъ, что онъ отъ природы былъ чрезвычайно добрый и милый человѣкъ, но генеральскій чинъ совершенно сбилъ его съ толку: любя общество, онъ молчалъ тамъ, гдѣ встрѣчались люди хоть чиномъ его пониже, и этимъ самъ себя жестоко наказывалъ; онъ и рѣчь свою и всѣ пріемы, канцелярскій порядокъ направилъ къ тому, чтобы внушать страхъ, хотя въ этомъ не было никакой нужды; онъ упивался мыслью, что слово его можетъ убить человѣка, и въ то же время мучился совѣстью,

что безъ вины распекъ какого-нибудь бѣдняка, который и безъ того дрожалъ передъ нимъ. Мы видимъ, что здѣсь тупость и забитость— то же раболѣпство передъ пустою формою, за недостаткомъ серіозной мысли и серіознаго дѣла, какъ и у Акакія Акакіевича, только въ другомъ видѣ. Оба эти человѣка взаимно объясняютъ другъ друга, и существованіе одного нельзя предположить безъ существованія другого. *Водовозовъ.*

Акакій Акакіевичъ и Макаръ Дѣвушкинъ.

Представимъ себѣ умнаго, впечатлительнаго юношу, еще не знающаго жизни, но предугадывающаго ее по тому немногому, что онъ видѣлъ и слышалъ. Онъ получилъ хорошее литературное образованіе: узналъ Гомера, Софокла и Горація, читалъ Шекспира, Сервантеса, Гете, Шиллера, знаетъ Жуковскаго, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, но совсѣмъ не знакомъ ни съ Тургеневымъ, ни съ Толстымъ, ни съ Островскимъ, не видѣлъ новыхъ пьесъ, не читалъ новыхъ журналовъ. Дадимъ ему въ руки «Бѣдныхъ людей» и попросимъ у него отчета въ его впечатлѣніи.

Я убѣжденъ, что впечатлѣніе будетъ очень сильное, и представленіе о томъ, что такое художественное произведеніе, будетъ поколеблено въ самомъ основаніи. Юноша сразу замѣтитъ близкое родство «Бѣдныхъ людей» и «Шинели» Гоголя и въ отношеніи искусства изображенія, конечно, отдастъ предпочтеніе Акакію Акакіевичу передъ Макаромъ Дѣвушкинымъ. Какъ у Гоголя все ясно, пластично, сильно, и, главное, какъ весело и живо разсказана вся немногосложная жизнь героя до великаго событія—пріобрѣтенія новой шинели включительно! Какъ здѣсь, напротивъ, все вяло, тоскливо, растянуто! Но скоро юноша начнетъ понимать, что Акакій Акакіевичъ все-таки же только комическая фигура, хоть и написанная геніальнымъ художникомъ. Его сердечно жаль по человѣчеству, и только; онъ братъ нашъ, но братъ младшій, обиженный судьбою, доведенный ею почти до идіотизма. Читателю никогда не приходитъ охота поставлять себя на его мѣсто или хоть посмотрѣть на него, какъ на равнаго. Всякій улыбается при мысли представить себѣ Акакія Акакіевича влюбленнымъ или великодушнымъ, вообще тѣмъ, что въ романахъ называется героемъ. Ну, какой онъ герой? Куда ему? Вся жизнь его, хоть и не по его винѣ, такая пустая и ничтожная, что и жизнью-то ее нельзя назвать, а развѣ прозябаніемъ. Въ этомъ, положимъ, трагедія, но трагедія человѣческой жизни вообще; трагедія въ томъ, что масса человѣчества поставлена въ такія условія, что даже и страданія людей и самая смерть ихъ кажутся жалкими и ничтожными.

Не то у Достоевскаго; у него маленькій, забитый «чиновникъ для переписки», изъ имени котораго въ министерствѣ сдѣлали бранное слово, оказывается не только равнымъ намъ, но лучше всѣхъ

насъ; какое дѣвственно-чистое, любящее сердце бьется подъ его заштопаннымъ вицмундиромъ и сколько пониманія и тонкой изобрѣтательности выказываетъ онъ въ услажденіи жизни несчастной, совсѣмъ для него чуждой дѣвушки! А между тѣмъ, при этой сильной идеализаціи самой сущности его натуры, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ Макаръ Алексѣевичъ остается живымъ, выхваченнымъ изъ сѣренькой дѣйствительности типомъ: онъ и пьянъ напивается до безобразія, и зароки даетъ и не исполняетъ ихъ; передъ близкимъ человѣкомъ онъ не прочь и похвастаться своимъ почеркомъ и своими успѣхами по службѣ; у него и языкъ рабій, и мнительность рабья, и рабья наклонность соглашаться съ сильнѣйшимъ во всемъ, кромѣ того, что для него святыня; здѣсь онъ умретъ, а не уступитъ; какъ насѣдка, распуститъ онъ свои мокрыя перья и кинется въ бой съ цѣлымъ стадомъ враговъ. *Кирпичниковъ.*

Подмѣтить особенность взгляда Достоевскаго на слабыхъ и беззащитныхъ всего удобнѣе на первой его повѣсти, несмотря на то, что «Бѣдные люди», быть можетъ, наименѣе самостоятельное изъ его произведеній, что, и по формѣ и по содержанію, оно, очевидно, навѣяно Гоголемъ. Макаръ Дѣвушкинъ—родной братъ Акакія Акакіевича, но это сходство какъ разъ помогаетъ разглядѣть неодинаковость отношенія обоихъ писателей къ своимъ героямъ. Черты, какими обрисованъ Акакій Акакіевичъ, исключительно внѣшнія, а благодаря этому его фигура, даже вызывая жалость, никогда не перестанетъ быть комичной. Одни внѣшнія проявленія нищеты и забитости, какъ бы грустны они ни были, могутъ вызвать лишь нѣсколько насмѣшливое состраданіе, именно потому, что мы не видимъ, не чувствуетъ воздѣйствія жизненнаго гнета на душу забитаго человѣка, что душа эта относится къ нему совершенно пассивно. Не то съ Макаромъ Дѣвушкинымъ; онъ тоже смиряется передъ своей жалкой долей, не предъявляетъ къ жизни никакихъ требованій; протеста у него тоже нѣтъ и слѣда, а между тѣмъ Макару Дѣвушкину мы сочувствуемъ, мы глубоко взволнованы его судьбой. И происходитъ это оттого, что, несмотря на всю его безотвѣтность, мы видимъ, что онъ страдаетъ, глубоко и безропотно; и кротость эта не только не смѣшна: она высока, геройски высока въ своемъ смиренномъ терпѣніи. Мы сознаемъ, что передъ нами не комическая фигура, служащая мишенью для всѣхъ насмѣшекъ безпощадной жизни и не чувствующая этого, а такой же человѣкъ, какъ мы, отзывчивый на оскорбленія, но только не отвѣчающій на нихъ взрывомъ негодованія. Дѣвушкину не много нужно—его идеалы самые крохотные; но изъ-за этого онъ презрѣнія не заслуживаетъ, потому что источникъ его притязательности—не въ умственной ограниченности, не въ грубости вкусовъ, а въ скромномъ представленіи о своихъ правахъ на счастье.

И если жизнь не даетъ ему этого крохотнаго благополучія, отъ этого трагичность судьбы только усиливается. Дѣло въ томъ, что фигуру, созданную художникомъ, мы всегда видимъ сквозь призму его собственнаго представленія о ней и сочувствовать ей мы можемъ тогда только, когда онъ самъ ей сочувствуетъ. *Головинъ.*

Гуманизирующее значеніе повѣсти Гоголя „Шинель“.

Гоголь не разъ называетъ свое время переходнымъ, смущенно смотритъ на современную растерянность и колебаніе умовъ и призываетъ людей дарованія встать на стражѣ общественныхъ интересовъ и громкимъ кличемъ будить тѣхъ, въ комъ еще не погасло живое чувство любви къ русскому народу и его будущему. Самъ онъ старался достигнуть этой цѣли изображеніемъ общественной пошлости и угрожающихъ ея размѣровъ. Нѣкоторыя картины достигаютъ у Гоголя глубокаго трагизма и съ тѣмъ вмѣстѣ исполнены теплой любви къ забитымъ людямъ. Какъ подтвержденіе нашей мысли и для характеристики Гоголевскаго творчества этой поры, мы остановимся на небольшой повѣсти Гоголя «Шинель». Тургеневъ, ученикъ и поклонникъ Пушкина, выразился объ этой повѣсти: «Мѣднымъ всадникомъ» нельзя было любоваться въ одно время съ «Шинелью». Безъ преувеличенія можно сказать, что направленіе творчества Достоевскаго опредѣлилось, прежде всего, «Шинелью» Гоголя. Новое въ повѣсти—герой ея, маленькій, даже невзрачный чиновникъ одного изъ петербургскихъ департаментовъ, вѣчный титулярный совѣтникъ Акакій Акакіевичъ Башмачкинъ. Наша литература до-гоголевскаго періода не любила вѣдаться съ такими маленькими людьми. Гоголь замѣтилъ ихъ и освѣтилъ съ такою любовью, съ такою силою гуманности, глубокаго проникновенія во внутреннюю жизнь маленькаго человѣка, до которыхъ до-гоголевская литература не поднималась; не поднимался раньше «Шинели» и самъ Гоголь.

Башмачкинъ—бѣдное, забитое существо, до того придавленное канцелярской дисциплиной добраго стараго времени, до того смирившееся, что даже департаментскій сторожъ не вставалъ, когда проходилъ мимо Акакій Акакіевичъ, и не снималъ съ него капота, въ который превратилась его развалившаяся шинель. Товарищи обращались съ нимъ грубо-добродушно, сыпали ему на голову бумажки, толкали подъ руку и мѣшали работать. Все безропотно сносилъ Башмачкинъ, никого не обидѣвшій въ своей жизни не только дѣломъ, но и словомъ, и только иногда, когда шутки становились невыносимо грубы, скажетъ: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» Это былъ вопль безсилія и беззащитности противъ жестокости собратьевъ. А жизнь дома? Получая ничтожное жалованье, онъ еле-еле сводилъ концы съ концами, ѣлъ впроголодь и съ такой приправой, которую

не принято называть. Нужда, отсутствіе общества и умственнаго интереса сдѣлали то, что Акакій Акакіевичъ какъ-будто утратилъ чувство жизни, ни на улицѣ ни въ департаментѣ никого не замѣчалъ, занятый исключительно своимъ дѣломъ. Къ довершенію бѣдствій его шинель отказывалась служить. Самая скромная стоимость новой — 80 рублей, разумѣется, ассигнаціями, или около 20 рублей сер. на наши деньги. Лакей богатаго дома дороже платитъ за свое пальто, а бѣднаго Башмачкина эта цѣна окончательно обезоружила. Гдѣ онъ достанетъ денегъ? Часть ихъ онъ надѣялся получить къ празднику въ видѣ обычной награды; но гдѣ достать остальныя? И вотъ бѣдный труженикъ отказывается отъ ужина, вечерняго чая, занятія по вечерамъ, чтобы сдѣлать экономію въ свѣчахъ, ходитъ по улицѣ чуть не на цыпочкахъ, чтобы не износить лишней пары сапоговъ и подметокъ. По замѣчанію автора, даже испытанному въ лишеніяхъ Башмачкину трудновато было привыкать къ такой дисциплинѣ жизни. И пусть не подумаетъ кто-нибудь, что Башмачкинъ утратилъ различіе между красивымъ и некрасивымъ, что у него нѣтъ вкусовыхъ ощущеній. Онъ хорошо знаетъ разницу между куньимъ и кошачьимъ воротникомъ, но осужденъ довольствоваться кошачьимъ; хорошо знаетъ преимущества шелка предъ коленкоромъ, но долженъ ограничиться послѣднимъ.

Но вы взгляните на него въ новой шинели. Какъ дитя, радовался онъ своей обновкѣ, снималъ съ нея каждую пушинку, въ праздничномъ настроеніи, давно ему незнакомомъ, шелъ онъ въ новой шинели къ своему сослуживцу, и вотъ въ одномъ большомъ и освѣщенномъ магазинѣ увидѣлъ картину, изображавшую привлекательную женщину. Акакій Акакіевичъ усмѣхнулся. «Почему онъ усмѣхнулся?» спрашиваетъ авторъ. «Потому ли, что встрѣтилъ вещь, вовсе незнакомую, но о которой однакоже все-таки у каждаго сохраняется какое-то чутье?» Да, не суждено было Башмачкину счастье семьи. Бездомнымъ бобылемъ, безъ участія, среди тяжелаго покровительства и насмѣшекъ короталъ онъ свой вѣкъ. На бѣду уличные грабители стащили съ него шинель. Не нужно красокъ, чтобы изобразить отчаяніе Башмачкина. Попытка найти покровительство у значительнаго лица и некстати выраженное подозрѣніе насчетъ господъ секретарей повели къ тому, что онъ заподозрѣнъ былъ въ вольнодумствѣ (Башмачкинъ и вольнодумство!) и разнесенъ такъ, какъ еще никто не разносилъ его, чуть не упалъ въ обморокъ, съ трудомъ по морозу добрался домой въ одномъ вицмундирѣ, схватилъ горловую жабу, слегъ въ постель и скоро угасъ. Справедливость требуетъ прибавить, что значительное лицо, непредвидѣнно ускорившее смерть Акакія Акакіевича, было въ душѣ человѣкомъ добрымъ, и вся сцена распеканія, къ тому же неподвѣдомственнаго чиновника, произошла только потому, что хотѣлось пустить пыль въ глаза товарищу своей молодости.—Такъ, по словамъ автора, «исчезло и скрылось существо, никѣмъ незащищенное, никому недорогое, ни для кого неинтересное,

даже не обратившее на себя вниманія и естествоиспытателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и разсмотрѣть ее въ микроскопъ... существо... для котораго все-таки, хотя предъ самымъ концомъ жизни, мелькнулъ свѣтлый гость въ видѣ шинели, оживившій на мигъ бѣдную жизнь». Ужаснѣе всего то, что ищешь и не находишь виноватыхъ и въ тяжелой судьбѣ бѣднаго Акакія Акакіевича и въ грустной его смерти.

По нашему мнѣнію Гоголь ни раньше ни позже не создавалъ такого гуманнаго произведенія, какъ его «Шинель». Изъ подъ пера его вышли творенія болѣе широкаго замысла и цѣли, болѣе совершенныя по художественному исполненію, но по силѣ сердечнаго отношенія къ судьбѣ маленькаго человѣка произведеніе это осталось непревзойденнымъ. *Малининъ.*

Основная идея и характеристика дѣйствующихъ лицъ въ „Ревизорѣ“.

Въ основаніи «Ревизора» лежитъ идея отрицанія жизни, идея призрачности, получившая, подъ его художественнымъ рѣзцомъ, свою объективную дѣйствительность. Въ «Ревизорѣ» мы видимъ пустоту, наполненную дѣятельностію мелкихъ страстей и мелкаго эгоизма. Чтобы произведеніе его было художественно, т.-е. представляло собою особый замкнутый въ самомъ себѣ міръ, онъ взялъ изъ жизни своихъ героевъ такой моментъ, въ которомъ сосредоточивалась вся цѣлостность ихъ жизни, ея значенія, сущность, идея, начало и конецъ: это ожиданіе и пріемъ ревизора. Все чуждое этому ожиданію и пріему ревизора не могло войти въ комедію. На что намъ знать подробности жизни городничаго до начала комедіи? Ясно и безъ того, что онъ въ дѣтствѣ былъ ученъ на мѣдныя деньги, игралъ въ бабки, бѣгалъ по улицамъ, и какъ сталъ входить въ разумъ, то получилъ отъ отца уроки въ житейской мудрости, т.-е. въ искусствѣ нагрѣвать руки и хоронить концы въ воду. Лишенный въ юности всякаго религіознаго, нравственнаго и общественнаго образованія, онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца и отъ окружающаго его міра слѣдующее правило вѣры и жизни: въ жизни надо быть счастливымъ, а для этого нужны деньги и чины, а для пріобрѣтенія ихъ — взяточничество, казнокрадство, низкопоклонничество и подличанье передъ властями, знатностью и богатствомъ, ломанье и скотская грубость передъ низшими себя. Простая философія! Но замѣтьте, что въ немъ это не развратъ, а его нравственное развитіе, его высшее понятіе о своихъ объективныхъ обязанностяхъ: онъ мужъ, слѣдовательно обязанъ прилично содержать жену; онъ отецъ, слѣдовательно долженъ дать хорошее приданое за дочерью, чтобы доставить ей хорошую партію и тѣмъ, устроивъ ея благосостояніе, выполнить священный долгъ отца. Онъ знаетъ, что средства его для достиженія этой цѣли грѣшны

передъ Богомъ; но онъ знаетъ это отвлеченно, головою, а не сердцемъ, и онъ оправдываетъ себя простымъ правиломъ всѣхъ пошлыхъ людей: «не я первый, не я послѣдній, всѣ такъ дѣлаютъ». Это практическое правило жизни такъ глубоко вкоренено въ немъ, что обратилось въ правило нравственности: онъ почелъ бы себя выскочкою, самолюбивымъ гордецомъ, если бы хотя позабывшись, повелъ себя честно въ продолженіе недѣли. Да оно и страшно быть «выскочкою»: всѣ пальцы уставятся на васъ, всѣ голоса подымутся противъ васъ: нужна большая сила души и глубокіе корни нравственности, чтобъ бороться съ общественнымъ мнѣніемъ. И не Сквозники-Дмухановскіе увлекаются могучимъ водоворотомъ этой магической фразой «всѣ такъ дѣлаютъ» и, какъ Молоху, приносятъ ей въ жертву и таланты, и силы души, и внѣшнее благосостояніе. Нашъ городничій былъ не изъ бойкихъ отъ природы, и потому «всѣ такъ дѣлаютъ» было слишкомъ достаточнымъ аргументомъ для успокоенія его мозолистой совѣсти; къ этому аргументу присоединился другой, еще сильнѣйшій для грубой и низкой души: «жена, дѣти, казеннаго жалованья не станетъ на чай и сахаръ». Вотъ вамъ и весь Сквозникъ-Дмухановскій до начала комедіи. Что касается до формъ, въ какихъ онъ выражался и проявлялся до того, онѣ всѣ тѣ же, какъ и во время комедіи. Такъ же не трудно понять, что съ нимъ было и по окончаніи комедіи, какъ онъ дожилъ свой вѣкъ. Художественная обрисовка характера въ томъ и состоитъ, что если онъ данъ вамъ поэтомъ въ извѣстный моментъ своей жизни, вы уже сами можете разсказывать всю его жизнь и до и послѣ этого момента. Конецъ «Ревизора» сдѣланъ поэтомъ опять не произвольно, но вслѣдствіе самой разумной необходимости: онъ хотѣлъ показать намъ Сквозника-Дмухановскаго всего, какъ онъ есть, и мы видѣли его всего, какъ онъ есть. Но тутъ скрывается еще другая, не менѣе важная и глубокая причина, выходящая изъ сущности пьесы. Въ комедіи, какъ выраженіи случайностей, все должно выходить изъ идеи случайностей и призраковъ, и только черезъ это получать свою необходимость: почтенный нашъ городничій жилъ и вращался въ мірѣ призраковъ, но какъ у него необходимо были свои понятія о дѣйствительности, хотя и отвлеченныя, и сверхъ того самый основательный страхъ дѣйствительности, извѣстный подъ именемъ уголовнаго суда, то и должно было выйти комическое столкновеніе, какъ ошибка естественнаго влеченія сердца къ воровству и плутнямъ со страхомъ наказанія за воровство и плутни,—страхомъ, который увеличивался еще и нѣкоторымъ безпокойствомъ совѣсти. У страха глаза велики, говоритъ мудрая русская пословица: удивительно ли, что глупый мальчишка, промотавшійся въ дорогѣ, трактирный денди, былъ принятъ городничимъ за ревизора? Глубокая идея! Не грозная дѣйствительность, а призракъ, фантомъ, или, лучше сказать, тѣнь отъ страха виновной совѣсти, должны были наказать человѣка призраковъ. Городничій Гоголя не карикатура, не комическій фарсъ, не преувеличен-

ная дѣйствительность, и въ то же время нисколько не дуракъ, но по-своему, очень и очень умный человѣкъ, который въ своей сферѣ очень дѣятеленъ, умѣетъ ловко взяться за дѣло — своровать и концы въ воду схоронить, подсунуть взятку и задобрить опаснаго ему человѣка. Его подступы къ Хлестакову во второмъ актѣ — образецъ подьяческой дипломатіи. Итакъ, конецъ комедіи долженъ совершиться тамъ, гдѣ городничій узнаетъ, что онъ былъ наказанъ призракомъ, и что ему предстоитъ наказаніе со стороны дѣйствительности, или, по крайней мѣрѣ, новые хлопоты и убытки, чтобы увернуться отъ наказанія со стороны дѣйствительности. И потому приходъ жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прекрасно оканчиваетъ пьесу и сообщаетъ всю полноту и всю самостоятельность особаго, замкнутаго въ самомъ себѣ міра. Въ художественномъ произведеніи нѣтъ ничего произвольнаго и случайнаго, но все необходимо и логически вытекаетъ изъ его идеи. Каждое лицо въ немъ, способствуя развитію главной идеи, въ то же время есть и само себѣ цѣль, живетъ своею особою жизнію.

Многіе находятъ страшною натяжкою и фарсомъ ошибку городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, тѣмъ болѣе, что городничій — человѣкъ, по-своему, очень умный, т.-е. плутъ перваго разряда. Странное мнѣніе или, лучше сказать, странная слѣпота, не допускающая видѣть очевидности! Причина этого заключается въ томъ, что у каждаго человѣка есть два зрѣнія — физическое, которому доступна только внѣшняя очевидность, и духовное, проникающее внутреннюю очевидность, какъ необходимость, вытекающую изъ сущности идеи. Вотъ, когда у человѣка есть только физическое зрѣніе, а онъ смотритъ имъ на внутреннюю очевидность, то и естественно, что ошибка городничаго ему кажется натяжкою и фарсомъ. Представьте себѣ воришку-чиновника такого, какимъ вы знаете почтеннаго Сквозника-Дмухановскаго: ему видѣлись во снѣ двѣ какія-то необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда не видывалъ — черныя, неестественной величины — пришли, понюхали, и пошли прочь. Важность этого сна для послѣдующихъ событій была уже кѣмъ-то очень вѣрно замѣчена. Въ самомъ дѣлѣ, обратите на него все ваше вниманіе: имъ открывается цѣпь призраковъ, составляющихъ дѣйствительность комедіи. Для человѣка съ такимъ образованіемъ, какъ нашъ городничій, сны — мистическая сторона жизни, и чѣмъ они несвязнѣе и безсмысленнѣе, тѣмъ для него имѣютъ большее и таинственнѣйшее значеніе. Если бы, послѣ этого сна, ничего важнаго не случилось, онъ могъ бы и забыть его; но, какъ нарочно, на другой день онъ получаетъ отъ пріятеля увѣдомленіе, что «отправился инкогнито изъ Петербурга чиновникъ съ секретнымъ предписаніемъ обревизовать въ губерніи все, относящееся по части гражданскаго управленія». Сонъ въ руку! Суевѣріе еще болѣе запугиваетъ и безъ того запуганную совѣсть; совѣсть усиливаетъ суевѣріе. Обратите особое вниманіе на слова «инкогнито» и «съ секретнымъ предписаніемъ». Петер-

бургъ есть таинственная страна для нашего городничаго, міръ фантастическій, котораго формъ онъ не можетъ и не умѣетъ себѣ представить. Нововведенія въ юридической сферѣ, грозящія уголовнымъ судомъ и ссылкою за взяточничество и казнокрадство, еще болѣе усугубляютъ для него фантастическую сторону Петербурга. Онъ уже допытывается у своего воображенія, какъ пріѣдетъ ревизоръ, чѣмъ онъ прикинется и какія пули будетъ онъ отливать, чтобы развѣдать правду. Слѣдуютъ толки у честной компаніи объ этомъ предметѣ. Судья-собачникъ, который беретъ взятки борзыми щенками, и потому не боится суда, который на своемъ вѣку прочелъ пять или шесть книгъ, и потому нѣсколько вольнодуменъ, находитъ причину присылки ревизора, достойную своего глубокомыслія и начитанности, говоря, что «Россія хочетъ вести войну, и потому министерія нарочно отправляетъ чиновника, чтобъ узнать, нѣтъ ли гдѣ измѣны». Городничій понялъ нелѣпость этого предположенія и отвѣчаетъ: «Гдѣ нашему уѣздному городишкѣ? Если бъ онъ былъ пограничнымъ, еще бы какъ-нибудь возможно предположить, а то стоитъ чортъ знаетъ гдѣ—въ глуши... Отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь». За симъ онъ даетъ совѣтъ своимъ сослуживцамъ быть поосторожнѣе и быть готовыми къ пріѣзду ревизора; вооружается противъ мысли о грѣшкахъ, т.-е. взяткахъ, говоря, что «нѣтъ человѣка, который бы не имѣлъ за собою какихъ-нибудь грѣховъ», что «это уже такъ самимъ Богомъ устроено» и что «волтеріанцы напрасно противъ этого говорятъ»; слѣдуетъ маленькая перебранка съ судьею о значеніи взятокъ; продолженіе совѣтовъ; ропотъ противъ проклятого инкогнито. «Вдругъ заглянетъ; а! вы здѣсь, голубчики! А кто, скажетъ, здѣсь судья? — Тяпкинъ-Ляпкинъ. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній? — Земляника.—А подать сюда Земляннику! Вотъ что худо!»... Въ самомъ дѣлѣ, худо! Входитъ наивный почтмейстеръ, который любитъ распечатывать чужія письма, въ надеждѣ найти въ нихъ разные этакіе пассажи... назидательные даже... лучше нежели въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Городничій даетъ ему плутовскіе совѣты «немножко распечатывать и прочитывать всякое письмо, чтобы узнать — не содержится ли въ немъ какого-нибудь донесенія, или просто переписки». Какая глубина въ изображеніи! Вы думаете, что фраза «или просто переписки» безсмыслица или фарсъ со стороны поэта: нѣтъ, это неумѣніе городничаго выражаться, какъ скоро онъ хоть немного выходитъ изъ родныхъ сферъ своей жизни. И таковъ языкъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ въ комедіи! Наивный почтмейстеръ, не понимая, въ чемъ дѣло, говоритъ, что онъ и такъ это дѣлаетъ. «Я радъ, что вы это дѣлаете», отвѣчаетъ плутъ-городничій простаку-почтмейстеру: «это въ жизни хорошо», и видя, что съ нимъ обиняками немного возьмешь, напрямки проситъ его — всякое извѣстіе доставлять къ нему, а жалобу или донесеніе просто задерживать. Судья потчуетъ его собаченкою, но онъ отвѣчаетъ, что ему теперь не до собакъ и зай-

цевъ: «У меня въ ушахъ только и слышно, что инкогнито проклятое; такъ и ожидаешь, что вдругъ отворятся двери и войдетъ...»

И въ самомъ дѣлѣ двери отворяются съ шумомъ и вбѣгаютъ Петры Ивановичи Бобчинскій и Добчинскій. Это городскіе шуты, уѣздные сплетники; ихъ всѣ знаютъ, какъ дураковъ, и обходятся съ ними или съ видомъ презрѣнія, или съ видомъ покровительства. Они безсознательно это чувствуютъ, и потому изо всей мочи передъ всѣми подличаютъ, и, чтобы только ихъ терпѣли, какъ собакъ и кошекъ въ комнатѣ, всѣмъ подслуживаются новостями и сплетнями, составляющими субъективную, объективную и абсолютную жизнь уѣздныхъ городковъ. Вообще съ ними обращаются безъ чиновъ, какъ съ собаками и кошками: надоѣдятъ—выгоняютъ. Ихъ дни проходятъ въ шатаньи и собираніи новостей и сплетней. Обогатясь подобною новинкой, они вдругъ вырастаютъ сознаніемъ своей важности, и уже бѣгутъ къ знакомымъ смѣло, въ увѣренности хорошаго пріема.

«Чрезвычайное происшествіе!» кричитъ Бобчинскій. «Неожиданное извѣстіе!» восклицаетъ Добчинскій, вбѣгая въ комнату городничаго, гдѣ всѣ настроены на одинъ ладъ, а особенно самъ городничій весь сосредоточенъ на idée fixe. «Что такое?»—«Приходимъ въ гостиницу»... восклицаетъ Добчинскій. «Приходимъ въ гостиницу»... перебиваетъ его Бобчинскій. Начинается разсказъ самый обстоятельный, самый подробный, отъ начала до конца: зачѣмъ пошли въ гостиницу, гдѣ, какъ, когда, при какихъ обстоятельствахъ, словомъ, по всѣмъ правиламъ топиковъ или общихъ мѣстъ старинныхъ реторикъ. Чудаки перебиваютъ другъ друга; каждому хочется насладиться своею важностію, быть центромъ общаго вниманія, а вмѣстѣ и занять себя, наполнить свою пустоту пустымъ содержаніемъ. Забавнѣе всего то, что имъ самимъ хочется какъ можно скорѣе добраться до эффектнаго конца, а между тѣмъ и хочется продолжать свое торжество и разсказать все сначала и подробнѣе. Бобчинскій овладѣваетъ разсказомъ, говоря, что у Добчинскаго «и зубъ со свистомъ и слога такого нѣту», и Добчинскому осталось только помогать жестами разсказу счастливаго Бобчинскаго, изрѣдка обѣгать его нѣкоторыми фразами, которыя тотъ снова перехватываетъ и продолжаетъ свой разсказъ. Наконецъ, дошли до «молодого человѣка недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ». Представьте себѣ, какое впечатлѣніе долженъ былъ произвести этотъ «молодой человѣкъ недурной наружности въ партикулярномъ платьѣ» на воображеніе городничаго, уже безъ того настроенное ожиданіемъ проклятаго «инкогнито»! И вотъ, наконецъ, Бобчинскій передаетъ донесеніе трактирщика Власа: «Молодой человѣкъ, чиновникъ, ѣдущій изъ Петербурга,—Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, а ѣдетъ въ Саратовскую губернію, и что чрезвычайно странно себя аттестуетъ: больше полуторы недѣли живетъ, дальше не ѣдетъ, забираетъ все на счетъ и денегъ хоть бы копейку заплатилъ». Слѣдуетъ остроумная замѣтка

проницательнаго Бобчинскаго: «Съ какой стати сидѣть ему здѣсь, когда дорога ему лежитъ Богъ знаетъ куда—въ Саратовскую губернію? Это, вѣрно, не кто другой, какъ самый тотъ чиновникъ». Не естественъ ли послѣ этого ужасъ городничаго?

Городничій. Что вы говорите? не можетъ быть! Да нѣтъ, это вамъ такъ показалось. Это кто-нибудь другой.

Бобчинскій. Помилуйте, какъ не онъ! И денегъ не платитъ и не ѣдетъ — кому же быть, какъ не ему? И съ какой стати жилъ бы онъ здѣсь, когда ему прописана подорожная въ Саратовъ?

Понимаете ли вы, хотя въ возможности, эту чудную логику, эти резоны, эти доводы? на какихъ законахъ разума основаны они? Вотъ онъ—вотъ источникъ комическаго и смѣшного! Видите ли вы, какая драма, какое столкновеніе противоположныхъ интересовъ, проистекающихъ изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ и ихъ взаимныхъ отношеній, выразилось въ этихъ двухъ монологахъ? Городничій уже вѣритъ страшному извѣстію, и, какъ утопающій, хватается за соломинку; такъ онъ пустымъ вопросомъ хочетъ отдалить на время сознаніе горькой истины, чтобы дать себѣ время опомниться; Бобчинскій, напротивъ, всѣми силами старается поддержать и въ другихъ и въ самомъ себѣ увѣренность въ справедливости извѣстія, которое вдругъ придало ему такую важность. Да, въ этой комедіи нѣтъ ни одного слова, строгой и непреложной необходимости котораго нельзя бъ было доказать изъ самой сущности идеи и дѣйствительности характеровъ. Но вотъ Бобчинскій, по тѣмъ же причинамъ, какъ и его достойный другъ, и съ такою же основательностію и очевидностію, подаетъ голосъ о несомнѣнности факта:

Онъ, онъ!... ей Богу онъ!... Я ставлю Богъ знаетъ что... Такой наблюдательный: все обсмотрѣлъ и по угламъ вездѣ, и даже заглянулъ въ тарелки наши полюбопытствовать, что ѣдимъ. Такой осмотрительный, что Боже сохрани...

Послѣ такого довода нѣтъ больше сомнѣнія! Такой наблюдательный, что даже въ тарелки заглядывалъ! Боже мой, да если бы въ эту минуту бѣдному городничему сказали о наблюдательности его кучера, онъ принялъ его за ревизора, отличительнымъ признакомъ котораго, въ его испуганномъ воображеніи, непремѣнно должна быть наблюдательность...

Видите ли, съ какимъ искусствомъ поэтъ умѣлъ завязать эту драматическую интригу въ душѣ человѣка, съ какою поразительною очевидностью умѣлъ онъ представить необходимость ошибки городничаго? Если и теперь не видите — перечтите комедію, или, что еще лучше, посмотрите ее на сценѣ; если и тутъ не увидите — такъ это вина вашего зрѣнія, а мы не беремъ на себя трудной обязанности научить слѣпого безошибочно судить о цвѣтахъ. Если нужны еще доказательства, не изъ сущности идеи произведенія почерпнутыя, а внѣшнія, практическія, разсудочныя и резонерскія, безъ которыхъ многіе люди ничего не понимаютъ, замѣтимъ имъ, что подобные слу-

чаи часто бываютъ въ жизни: сосредоточьтесь на идеѣ, отъ которой зависитъ ваша участь; — вы начнете говорить о ней съ первымъ встрѣчнымъ на улицѣ, принявъ его за своего пріятеля, къ которому вы шли говорить о ней. По крайней мѣрѣ, это очень возможно.

Пропускаемъ остальную половину перваго акта—отчаяніе городничаго при мысли, что ревизоръ въ полторы недѣли могъ узнать о невинно высѣченной имъ унтеръ-офицерской женѣ, о покражѣ у арестантовъ провизіи, о нечистотѣ на улицахъ; его радость при мысли, что ревизоръ — молодой человѣкъ; его распоряженія; сцену съ квартальными; просьбу Добчинскаго взять его съ собою, или хоть позволить «бѣжать за дрожками пѣтушкомъ, пѣтушкомъ», чтобы только посмотрѣть въ щелочку, «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего»; замѣчаніе городничаго квартальному, что онъ «не по чину беретъ»; сцену съ частнымъ приставомъ, донесшимъ о квартальномъ Держимордѣ, который поѣхалъ, по случаю драки, для порядка, и воротился пьянъ; дальнѣйшія распоряженія городничаго; его животные переходы отъ раскаянія къ ругательствамъ на купцовъ, не догадавшихся подарить ему новой шпаги, хотя и видѣли, что старая уже не годится; его обѣщаніе поставить такую свѣчу, какой никто еще не ставилъ, и угрозу «на каждаго бестію-купца наложить по три пуда воска», когда бѣда минетъ; сцену Анны Андреевны, разспрашивающей мужа за дверью о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; брань ея на дочь, которая своею кокетливостью при туалетѣ лишила ее возможности поскорѣе разузнать о ревизорѣ; эту пикировку съ дочерью, въ которой поблеклая кокетка уѣзднаго города представляется какъ бы видящую въ молодой дочери свою соперницу: скажемъ коротко, что во всемъ этомъ, какъ и въ предшествовавшемъ, поэтъ остался вѣренъ своей идеѣ, не измѣнилъ ей ни словомъ ни чертою; что все это больше, нежели портретъ или зеркало дѣйствительности, но болѣе походитъ на дѣйствительность, нежели дѣйствительность походитъ сама на себя, ибо все это — художественная дѣйствительность, замыкающая въ себѣ всѣ частныя явленія подобной дѣйствительности...

Передъ нами Осипъ — герой лакейской природы, представитель цѣлаго рода безчисленныхъ явленій, изъ которыхъ онъ ни на одно не похожъ, какъ двѣ капли воды, но изъ которыхъ каждое похоже на него, какъ двѣ капли воды. Въ своемъ большомъ монологѣ, гдѣ, между прочимъ, читаетъ онъ нравоученіе самому себѣ для своего барина, онъ высказываетъ всего себя, свои отношенія къ барину и, наконецъ, самого барина. Вы видите деревенскаго слугу, который пожилъ въ Петербургѣ, постигъ достоинство столичной жизни и галантерейнаго обращенія, но, по пословицѣ «сколько волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ», предпочитаетъ мирную деревенскую жизнь треволненіямъ столицы, въ которой худо безъ денегъ, иной разъ славно наѣшься, а въ другой чуть не лопнешь съ голода. Въ истинно-

художественномъ произведеніи всегда видно, какъ взаимныя отношенія персонажей дѣйствуютъ на самый ихъ характеръ, и потому вамъ тотчасъ станетъ ясно, что Осипъ — грубіянъ столько же по натурѣ, сколько и по презрѣнію къ своему барину, котораго глупость онъ понимаетъ по-своему. Этотъ баринъ — одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими. Онъ франтъ и щеголь, потому что дуракъ и столичный житель: глупцы скорѣе всего перенимаютъ внѣшнія стороны высшей ихъ жизни. Отецъ содержитъ его прилично, но онъ мотаетъ батюшкины денежки, чтобы наполнить свою пустоту, занять свою праздность и удовлетворить мелкому тщеславію, а потомъ спускаетъ платье на рынкѣ до новой присылки денегъ. «Онъ дѣйствуетъ и говоритъ безъ всякаго соображенія: не въ состояніи остановить постояннаго вниманія на какой-нибудь мысли; рѣчь его отрывиста, и слова вылетаютъ совершенно неожиданно». Онъ слышалъ, что есть на свѣтѣ вещь, которая называется литературою, и въ его пустой головѣ въ безпорядкѣ улеглись имена сочиненій и названія журналовъ и сочинителей: Брамбеусъ и Смирдинъ, «Библіотека для Чтенія« и «Сумбека», «Юрій Милославскій» и «Фенелла». Онъ денди не по одному модному платью, но и по манерамъ денди трактирный, одна изъ тѣхъ фигуръ, которыя красуются на вывѣскахъ московскихъ трактировъ, цырюленъ и портныхъ. Въ Пензѣ его обыгралъ на-чистую пѣхотный капитанъ; онъ за это досадуетъ на случай и несчастіе, но не на капитана, къ которому онъ благоговѣетъ, какъ дилетантъ къ художнику, потому что, «что ни говори, а удивительно бестія штосы срѣзываетъ: всего какихъ-нибудь четверть часа посидѣлъ, и все обобралъ — славно играетъ!» Великое достоинство въ его глазахъ!

Посмотрите, какъ робко и какими косвенными вопросами хочетъ онъ узнать отъ Осипа, есть ли у нихъ табакъ: о, онъ боится его нравоученій и его грубости! Посмотрите, какъ онъ подличаетъ передъ трактирнымъ прислужникомъ, справляясь о его здоровьѣ и о числѣ пріѣзжающихъ въ ихъ трактиръ, и какъ ласково проситъ его поторопиться принести ему обѣдать! Какая сцена, какія положенія, какой языкъ! Гдѣ подсмотрѣлъ, гдѣ подслушалъ поэтъ сцены и этотъ языкъ? И почему только одинъ онъ такъ подсмотрѣлъ и такъ подслушалъ? Можетъ-быть потому, что онъ подсматривалъ и подслушивалъ, какъ и всѣ, т.-е. не подсматривая и не подслушивая, да въ фантазіи-то его это отразилось не такъ, какъ у всѣхъ. А вѣдь и эти всѣ — тоже поэты и художники, и какъ блины пекутъ и трагедіи, и драмы, и оперы, и комедіи, и водевили...

Входитъ Осипъ и говоритъ барину, что «тамъ чего-то пріѣхалъ городничій, освѣдомляется и спрашиваетъ о васъ»; новое комическое столкновеніе! У Хлестакова воображеніе настроено на мысли о жалобахъ трактирщика, о тюрьмѣ... Онъ испугался тюрьмы, но утѣшился мыслью, что если поведутъ его туда благороднымъ образомъ, то ничего; но мысль о двухъ купеческихъ дочеряхъ и офи-

церахъ, которыхъ онъ видѣлъ на улицѣ, снова приводитъ его въ отчаяніе... Можете представить въ какой настроенности его воображенія входитъ къ нему городничій... Въ высшей степени комическое положеніе! Но мы пропускаемъ эту превосходную сцену — она говоритъ сама за себя, а для кого она нѣма, тѣмъ не много помогутъ наши толкованія. Скажемъ только, что въ этой сценѣ городничій является во всемъ своемъ блескѣ: съ одной стороны, какъ чуждый фантастическому для него понятію петербургскаго чиновника и весь сосредоточенный на мысли о «проклятомъ инкогнито», онъ всѣ глупости Хлестакова принимаетъ за тонкія шутки, а съ другой—преловко и прехитро выкидываетъ свои тонкія штуки и улаживаетъ дѣло.

Третье дѣйствіе, а Анна Андреевна все еще у окна съ своею дочерью—въ высшей степени комическая черта! Тутъ не одно праздное любопытство пустой женщины: ревизоръ молодъ, а она кокетка, если не больше... Дочь говоритъ, что кто-то идетъ—мать сердится: «Гдѣ идетъ? у тебя вѣчно какія-нибудь фантазіи; ну да, идетъ». Потомъ вопросъ: кто идетъ? дочь говоритъ, что это Добчинскій—мать опять не соглашается и опять упрекаетъ дочь ни въ чемъ: «Какой Добчинскій? тебѣ всегда вдругъ вообразится этакое! совсѣмъ не Добчинскій. Эй, вы, ступайте сюда! скорѣе!» Наконецъ, обѣ разглядываютъ; дочь говоритъ: «А что? а что, маменька? Видите, что Добчинскій!» Мать отвѣчаетъ: «Ну да, Добчинскій, теперь я вижу—изъ чего же ты споришь?» Можно ли лучше поддержать достоинство матери, какъ не быть всегда правою передъ дочерью и не дѣлая всегда дочь виноватою предъ собою? Какая сложность элементовъ выражена въ этой сценѣ: уѣздная барыня, устарѣлая кокетка, смѣшная мать! Сколько оттѣнковъ въ каждомъ ея словѣ, какъ значительно, необходимо каждое ея слово! Вотъ что значитъ проникать въ таинственную глубину организаціи предмета, и во внѣшность выводить то, что кроется въ самыхъ недоступныхъ для зрѣнія тканяхъ и нервахъ внутренней организаціи! Поэтъ заставляетъ насквозь видѣть эти характеры и внутри находить причины всего внѣшняго, являющагося. Сцена Анны Андреевны съ Добчинскимъ: та и другой являются здѣсь во всей своей призрачности. Она спрашиваетъ его, тотъ ли это ревизоръ, о которомъ увѣдомляли ея мужа?—«Настоящій; я это первый открылъ вмѣстѣ съ Петромъ Ивановичемъ». Потомъ онъ пересказываетъ свиданіе городничаго съ Хлестаковымъ такъ, какъ оно отразилось въ его понятіи и какъ должно было отразиться въ понятіи городничаго, и заключаетъ, что онъ тоже «перетрухнулъ немножко». «Да вамъ-то чего бояться—вѣдь вы не служите?—спрашиваетъ она его. «Да такъ, знаете, когда вельможа говоритъ, то чувствуешь страхъ», отвѣчаетъ простакъ. На вопросъ городничихи о наружности ревизора, онъ его описываетъ такъ, какъ онъ отразился въ его узкой головѣ: «Молодой, молодой человѣкъ: лѣтъ двадцати трехъ; а говоритъ совершенно какъ старикъ. Извольте, говоритъ, я поѣду: и туда, и туда... (размахиваетъ руками) такъ это

все славно». Видите ли въ этихъ безсмысленныхъ словахъ немножко идіотское неумѣнье отдать себѣ отчетъ въ собственномъ впечатлѣніи и выразить его словомъ? Далѣе: «Я, говоритъ, и написать и почитать люблю, не мѣшаетъ, что въ комнатѣ, говоритъ, немножко темно». Видите ли изъ этого, что чѣмъ Хлестаковъ былъ пошлѣе, безсвязнѣе въ своихъ фразахъ, трактирнѣе въ своихъ манерахъ, тѣмъ большее придавалъ онъ себѣ значеніе не только въ глазахъ Добчинскаго, но и самого городничаго. Есть люди, которые почитаютъ въ книгахъ глубокимъ и мудрымъ все, чего они не понимаютъ: приведите къ нимъ какого-нибудь глупца или ловкаго мистификатора, какъ автора этой умной книжки, чѣмъ нелѣпѣе онъ будетъ выражаться, тѣмъ больше они будутъ ему удивляться. Для городничаго ревизоръ былъ слишкомъ премудрою книгой, потому уже только, что онъ ревизоръ—съ этой точки зрѣнія его трудно было сдвинуть, и потому все, что Хлестаковъ ни вралъ послѣ къ явной своей невыгодѣ, только еще болѣе поддерживало городничаго въ его заблужденіи, вмѣсто того, что вывести изъ него и открыть ему глаза.

Сцена матери и дочери, совѣтующихся о туалетѣ, чтобы ихъ не осмѣяла какая-нибудь «столичная штучка», и споръ о палевомъ платьѣ, которое, по мнѣнію матери, къ лицу ей, такъ какъ у нея самые темные глаза, потому что «она и гадаетъ всегда на трефовую даму», и возраженіе дочери, «что къ ней не идетъ цвѣтное платье, потому что она больше червонная дама»—эта сцена и этотъ споръ окончательно и рѣзкими чертами обрисовываютъ сущность, характеры и взаимныя отношенія матери и дочери, такъ что послѣдующее уже нисколько не удивляетъ въ нихъ васъ, какъ не удивляетъ сумма четырехъ, вышедшая изъ умноженія двухъ на два. Вотъ въ этомъ-то состоитъ типизмъ изображенія: поэтъ беретъ самыя рѣзкія, самыя характеристическія черты живописуемыхъ имъ лицъ, выпуская всѣ случайныя, которыя не способствуютъ къ оттѣненію ихъ индивидуальностей. Но онъ выбираетъ не по сортировкѣ, не по соображенію и сличенію болѣе годныхъ съ менѣе годными, онъ даже и не думаетъ, не заботится объ этомъ, но все это выходитъ у него само собою, потому что изображаемыя имъ на бумагѣ лица прежде всего изобразились у него въ фантазіи и изобразились во всей полнотѣ своей и цѣлости, со всѣми родовыми примѣтами, отъ цвѣта волосъ до родимаго пятнышка на лицѣ, отъ звука голоса до покроя платья. Положить ихъ на бумагу—для него ужъ актъ второстепенный, почти механическій трудъ. И посмотрите, какъ легко у него все выходитъ: въ этой коротенькой, какъ бы слегка и небрежно наброшенной, сценѣ вы видите прошедшее, настоящее и будущее, всю исторію двухъ женщинъ, а между тѣмъ она вся состоитъ изъ спора о платьѣ, и вся какъ бы мимоходомъ и нечаянно вырвалась изъ-подъ пера поэта!

Сцена явленія Хлестакова въ домѣ городничаго, въ сопровожденіи свиты изъ городского чиновничества и самого Сквозника-Дмухановъ-

скаго; представленіе Анны Андреевны и Марьи Антоновны; любезничанье и вранье Хлестакова — каждое слово, каждая черта во всемъ этомъ, общность и характеръ всего этого — торжество искусства, чудная картина, написанная великимъ мастеромъ, никогда нежданное, никѣмъ не подозрѣвавшееся изображеніе всѣми видѣннаго, всѣмъ знакомаго и, несмотря на то, всѣхъ удивившаго и поразившаго своею новостью и небывалостью!... Здѣсь характеръ Хлестакова — этого второго лица комедіи — развертывается вполнѣ, раскрывается до послѣдней видимости своей микроскопической мелкости и гигантской пошлости. Къ сожалѣнію, это лицо понято меньше прочихъ лицъ и еще не нашло для себя достойнаго артиста на театрахъ обѣихъ столицъ. Многимъ характеръ Хлестакова кажется рѣзокъ, утрированъ, если можно такъ выразиться, его болтовня, напоминающая «не любо, не слушай — врать не мѣшай», — изысканно неправдоподобною. Но это потому, что всякій хочетъ видѣть и, слѣдовательно, видитъ въ Хлестаковѣ свое понятіе о немъ, а не то, которое существенно заключается въ немъ. Хлестаковъ является къ городничему въ домъ послѣ внезапной перемѣны его судьбы: не забудьте, что онъ готовился итти въ тюрьму, а между тѣмъ нашелъ деньги, почетъ, угощеніе, что онъ, послѣ невольнаго и мучительнаго голода, наѣлся досыта, отчего и безъ вина можно прійти въ какое-то полупьяное разслабленіе, а онъ еще и подпилъ. Какъ и отчего произошла эта внезапная перемѣна въ его положеніи, отчего передъ нимъ стоятъ всѣ на вытяжку — ему до этого нѣтъ дѣла; чтобы понять это, надо подумать, а онъ не умѣетъ думать, онъ влечется, куда и какъ толкаютъ его обстоятельства. Въ его полупьяной головѣ, при обремененномъ желудкѣ, все передвоилось, все перемѣшалось — и Смирдинъ съ Брамбеусомъ, и «Библіотека» съ «Сумбекою», и Маврушка съ посланниками. Слова вылетаютъ у него вдохновенно; оканчивая послѣднее слово фразы, онъ не помнитъ ея перваго слова. Когда онъ говорилъ о своей значительности, о связяхъ съ посланниками, — онъ не зналъ, что онъ вретъ, и нисколько не думалъ обманывать: сказавъ первую фразу, онъ продолжалъ какъ бы противъ воли, какъ камень, толкнутый съ горы, катится уже не посредствомъ силы, а собственною тяжестью. «Меня даже хотѣли сдѣлать вице-канцлеромъ (зѣваетъ во всю глотку). О чемъ бишь я говорилъ»? Если бы ему сказали, что онъ говорилъ о томъ, какъ отецъ сѣкалъ его розгами, онъ навѣрное уцѣпился бы за эту мысль, и началъ бы не говорить, а какъ-будто продолжать, что это очень больно, что онъ всегда кричалъ, но что «при нынѣшнемъ образованіи этимъ ничего не возьмешь».

Многіе почитаютъ Хлестакова героемъ комедіи, главнымъ ея лицомъ. Это несправедливо. Хлестаковъ является въ комедіи не самъ собою, а совершенно случайно, мимоходомъ, и притомъ не самимъ собою, а ревизоромъ. Но кто его сдѣлалъ ревизоромъ? страхъ городничаго, — слѣдовательно, онъ созданіе испуганнаго воображенія городничаго, призракъ, тѣнь его совѣсти. Поэтому онъ является во вто-

ромъ дѣйствіи и исчезаетъ въ четвертомъ, — и никому нѣтъ нужды знать, куда онъ поѣхалъ и что съ нимъ стало: интересъ зрителя сосредоточенъ на тѣхъ, которыхъ страхъ создалъ этотъ фантомъ, и комедія была бы не кончена, если бы окончилась четвертымъ актомъ. Герой комедіи — городничій, какъ представитель этого міра призраковъ.

Въ «Ревизорѣ» нѣтъ сценъ лучшихъ, потому что нѣтъ худшихъ, но всѣ превосходны, какъ необходимыя, части художественно образующія собою единое цѣлое, округленное внутреннимъ содержаніемъ, а не внѣшнею формой, и потому представляющее собою особенный и замкнутый въ самомъ себѣ міръ. Скрѣпя сердце, пропускаемъ VII, VIII, IX и X явленія третьяго акта, и остановимся только на оцѣпенѣніи городничаго, какъ бы кто ударилъ его обухомъ по головѣ: «такъ совсѣмъ ошеломило! страхъ такой напалъ, еще такого важнаго человѣка никогда не видалъ: съ министрами играетъ и во дворецъ ѣздитъ... такъ вотъ, право, чѣмъ больше думаешь... чортъ его знаетъ, не знаешь, что̀ и дѣлается въ головѣ, какъ-будто стоишь на какой-нибудь колокольнѣ, или тебя хотятъ повѣсить»... Это говоритъ уѣздный чиновникъ, служака, начавшій службу по старинному, что называлось «тянуть лямку», а вотъ голосъ чиновницы новаго времени, которая всегда образованнѣе своего мужа: «А я никакой совершенно не ощутила робости, я просто видѣла въ немъ образованнаго, свѣтскаго, высшаго тона человѣка, а о чинахъ его мнѣ и нужды нѣтъ». Безподобна и эта выходка философствующаго городничаго: «Чудно все завелось теперь на свѣтѣ: народъ все тоненькій, поджаристый такой. Никакъ не узнаешь, что онъ важная особа». Это голосъ стараго чиновника, врасплохъ застигнутаго новымъ временемъ: онъ уже и прежде слышалъ, а теперь собственными глазами удостовѣрился, что нынче-де уже по головѣ, а не по брюху дѣлаются важными особами.

Въ первыхъ сценахъ четвертаго акта Хлестаковъ бесѣдуетъ съ самимъ собою и является все тѣмъ же, все самимъ же собою и не измѣняетъ себѣ ни однимъ словомъ ни однимъ движеніемъ. Послѣ дивныхъ сценъ съ чиновниками города, у которыхъ онъ набралъ денегъ, онъ еще въ первый разъ догадывается, что его принимаютъ не за то, что онъ есть, а за великаго государственнаго человѣка. Причина этого явленія и могущія выйти изъ него слѣдствія не въ силахъ остановить на себѣ его вниманія. Это одна изъ тѣхъ головъ, которыя не въ состояніи переварить самаго простого понятія и глотаютъ не жевавши. Онъ очень радъ, что его приняли за важную особу. «Я это люблю. Мнѣ нравится, если меня почитаютъ за важнаго человѣка. Въ моей физіономіи точно есть что-то такое внушающее...» и не докончилъ, сколько потому, что эта фраза слышанная, а не своя, сколько и потому, что вдругъ перепрыгнулъ къ другому предмету... «Это съ ихъ стороны тоже благородная черта, что они готовы дать взаймы денегъ». Видите ли: его приняли за важную особу — оттого, что «у него въ физіономіи есть что-то внушающее»;

это должная дань его личнымъ достоинствамъ, а не другая, болѣе важная для чиновниковъ причина; что ему надавали денегъ, — это не взятки, а заемъ, и онъ въ ту минуту, какъ говоритъ, вполнѣ убѣжденъ, что онъ возвратитъ имъ свой долгъ. Но Осипъ умнѣе своего барина: онъ все понимаетъ и ласково, тоже какъ-будто мимоходомъ, совѣтуетъ ему уѣхать, говоря: «Погуляли здѣсь два денька, ну — и довольно; что съ ними связываться! плюньте на нихъ! неровенъ часъ, какой-нибудь другой наѣдетъ», и обольщаетъ его тройкою лихихъ лошадей съ колокольчикомъ. Эта приманка, равно какъ и мимоходомъ сказанное предостереженіе, и «что батюшка будетъ гнѣваться за то, что такъ замѣшкались», и рѣшили Хлестакова послѣдовать благоразумному совѣту. Слѣдуетъ сцена съ купцами, въ которой вы видите, какъ на ладони, это купечество уѣзднаго городка, которое выучилось кое-какъ зашибать деньгу, а еще не обрилось и не умылось, чтобы отъ его бородки не пахло капустою; которое плохо знаетъ грамоту и живетъ на «авось», т.-е. гдѣ выторговалъ, а гдѣ надулъ, и съ которымъ по всему этому городничій обходился безъ чиновъ: «схватитъ за бороду, говоритъ: «ахъ ты, татаринъ»; которое, наконецъ, любитъ коли давать, такъ давать — возьми и подносикъ, и головку сахара, и кулечикъ съ винами, и не триста — что̀ триста!— пятьсотъ, только дѣло сдѣлай! Языкъ неподражаемо вѣренъ. Хлестаковъ опять не измѣняетъ себѣ — беретъ взаймы, о взяткахъ слышать не хочетъ, и если гдѣ приходитъ въ маленькое недоумѣніе, тамъ толкаетъ его Осипъ и заставляетъ не быть безъ дѣйствія. Но вотъ входитъ Марья Антоновна: она въ комнатѣ чужого молодого человѣка ищетъ маменьку... Ея приходъ *толкаетъ* Хлестакова, т.-е. заставляетъ дѣлать то, чего онъ не думалъ дѣлать. Онъ франтъ, она «барышня»: слѣдовательно, ему должно волочиться за нею. Что̀ изъ этого выйдетъ — такая мысль не можетъ прійти въ его пустую и легкую голову, которая дѣйствуетъ подъ вліяніемъ внѣшняго обстоятельства, подъ впечатлѣніемъ настоящей минуты. «Барышня» глупа, пуста и пошла, но она уже прочла нѣсколько романовъ, и у нея есть альбомъ, въ который Хлестаковъ долженъ написать какіе-нибудь этакіе новенькіе «стишки». О, ему это ничего не стоитъ — онъ много знаетъ наизусть стиховъ; напр. «О ты, что въ горести напрасно», и проч. И вотъ, онъ на колѣняхъ передъ нею. Уйди она — онъ черезъ минуту забылъ бы объ этой сценѣ, какъ совсѣмъ небывалой; но входитъ мать и *толкаетъ* его «просить руки» Марьи Антоновны. Онъ уѣзжаетъ въ полной увѣренности, что онъ женихъ и что все сдѣлалось, какъ должно; но извозчикъ крикнулъ, колокольчикъ залился — и Хлестаковъ готовъ спросить себя: «На чемъ, бишь, я остановился?»

Первыя сцены пятаго акта представляютъ намъ городничаго въ полнотѣ его грубаго блаженства животной натуры. Здѣсь поэтъ является глубокимъ анатомикомъ души человѣческой, проникаетъ въ самые недоступные тайники ея и выводитъ наружу все крывшееся

въ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ пятомъ актѣ городничій является въ своемъ апоѳеозѣ, полнымъ опредѣленіемъ своей сущности, вполнѣ опредѣлившеюся возможностью: все темное, грязное, низкое и грубое, что крылось въ его природѣ, развивалось воспитаніемъ и обстоятельствами, все это всплыло со дна наверхъ, изнутри явилось наружу, и явилось такъ добродушно, такъ комически, что вы невольно смѣетесь тамъ, гдѣ должны были ужасаться. «Что», говоритъ онъ женѣ, «тебѣ и во снѣ не видѣлось: просто изъ какой-нибудь городничихи, и вдругъ, фу ты, канальство! Съ какимъ дьяволомъ породнилась!» — «Какія мы съ тобою теперь птицы сдѣлались! А, Анна Андреевна! высокаго полета, чортъ побери!» Изъ труса онъ дѣлается нахаломъ, мѣщаниномъ, который вдругъ попалъ въ знатные люди; страхъ Сибири прошелъ — онъ уже не обѣщаетъ Богу пудовой свѣчи, и грозится еще жить и обирать купцовъ; велитъ кричать о своемъ счастіи всему городу, «валять въ колокола; коли торжество, такъ торжество! чортъ возьми!» его дочь выходитъ замужъ за такого человѣка, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ». Боже мой! къ лицу ли ему генеральство! А онъ въ неистовомъ восторгѣ, въ бѣшеной комической страсти отъ мысли, что будетъ генераломъ... «Вѣдь почему хочется быть генераломъ? потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачутъ вездѣ впередъ: лошадей! и тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе, а ты себѣ и въ усъ не дуешь: обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ стой городничій! Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

Такъ проявляются грубыя страсти животной натуры. Это страсть — и страсть бѣшеная: у нашего городничаго сверкаютъ глаза, въ голосѣ тонъ изступленія, движенія порывисты. Если не вѣрите — посмотрите на Щепкина въ этой роли. Въ комедіи есть свои страсти, источникъ которыхъ смѣшонъ, но результаты могутъ быть ужасны. По понятію нашего городничаго, быть генераломъ значитъ видѣть предъ собою униженіе и подлость отъ низшихъ, гнести всѣхъ не генераловъ своимъ чванствомъ и надменностью; отнять лошадей у человѣка нечиновнаго или меньшаго чиномъ, по своей подорожной имѣющаго равное право на нихъ; говорить «братецъ» и «ты» тому, кто говоритъ ему «ваше превосходительство» и «вы», и проч. Сдѣлайся нашъ городничій генераломъ — и когда онъ живетъ въ уѣздномъ городѣ, горе маленькому человѣку, если онъ, считая себя «не имѣющимъ чести быть знакомымъ съ генераломъ», не поклонится ему, или на балу не уступитъ мѣста, хотя бы этотъ маленькій человѣкъ готовился быть великимъ человѣкомъ!.. Тогда изъ комедіи могла бы выйти трагедія для «маленькаго человѣка»...

Приходъ купцовъ усиливаетъ волненіе грубыхъ страстей городничаго: изъ животной радости онъ переходитъ въ животную злобу. Сначала хочетъ говорить тихо, со сосредоточенною яростью

и злобною ироніей; но животная натура не даетъ ему выдержать этой роли: власть надъ собою принадлежитъ только образованнымъ людямъ; онъ постепенно приходитъ въ бо̀льшую и бо̀льшую ярость и разражается ругательствами. Онъ пересчитываетъ Абдулину свои благодѣянія, т.-е. напоминаетъ случаи, гдѣ они вмѣстѣ казну обкрадывали... Купцы являются тѣми же купцами: они низко кланяются, низко подличаютъ. Великодушный городничій смягчается, но на условіи, чтобы «засусоленныя бороды, аршинники, самоварники, протоканалiи и архибестіи» не думали «отбояриться отъ него какимъ-нибудь балычкомъ или головою сахара», ибо де «онъ выдаетъ дочку свою не за какого-нибудь дворянина»...

Начинаютъ сбираться гости. Городничій снова въ своемъ пѣтушьемъ величіи. Передъ нимъ всѣ подличаютъ, какъ передъ знатною особой; поздравляютъ вслухъ «съ необыкновеннымъ благополучіемъ» и ругаются вполголоса. Городничиха, какъ и съ самаго начала пятаго акта, играетъ роль случайной дамы, которая, однако, нисколько не удивлена своимъ счастіемъ, какъ по праву принадлежащимъ ея достоинствамъ и какъ давно привычнымъ ей. Она показываетъ, что равнодушна къ нему. Но устарѣлая кокетка беретъ верхъ надъ знатною дамой: она почти оспариваетъ жениха у своей дочери. Входитъ добродушный почтмейстеръ и пренаивно открываетъ всѣмъ глаза насчетъ мнимаго ревизора, доказавъ очевидно, что онъ «и не уполномоченный и не особа». Сцена чтенія письма Хлестакова — въ высшей степени комическая. Но что же нашъ городничій? — Вы думаете, ему стыдно, мучительно-стыдно видѣть себя такъ жестоко одураченнымъ собственною ошибкой, такъ тяжко наказаннымъ за свои грѣхи? Какъ бы не такъ! Бездарность, посредственность или даже обыкновенный талантъ тотчасъ бы воспользовались случаемъ заставить городничаго раскаяться и исправиться; но талантъ необыкновенный глубже понимаетъ натуру вещей и творитъ не по своему произволу, а по закону разумной необходимости. Городничій пришелъ въ бѣшенство, что допустилъ обмануть себя мальчишкѣ, вертопраху, у котораго молоко на губахъ не обсохло, онъ, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ», котораго «ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!» — Вы думаете: ему совѣстно, мучительно-совѣстно смотрѣть на тѣхъ людей, передъ которыми онъ сейчасъ только такъ ломался, которые унижались и подличали передъ его мнимою знатностью? Ничего не бывало! Когда дрожайшая его половина обнаруживаетъ всю свою глупость наивнымъ вопросомъ: «Какъ же?... вѣдь это не можетъ быть... онъ совсѣмъ вѣдь обручился съ нашею Машенькой?» — онъ не только не старается замять позорнаго для нихъ обоихъ объясненія, но еще съ досадою на ея недогадливость очень ясно толкуетъ ей, въ чемъ дѣло: «А развѣ ты не видишь, что у него

все это фу-фу? Пустѣйшій человѣкъ, чортъ бы побралъ его! Вотъ подлинно, если Богъ захочетъ наказать, такъ отниметъ разумъ. Ну, что въ немъ было такого, чтобы можно было принять за важнаго человѣка или вельможу? Пусть бы онъ имѣлъ что-нибудь внушающее уваженіе, а то чортъ знаетъ что: дрянь, сосулька! Тоньше сѣрной спички!» За симъ обманутые чудаки бросаются съ ругательствами на Петровъ Ивановичей, какъ первыхъ вѣстовщиковъ о пріѣздѣ ревизора. Брань сыплется на нихъ градомъ; они сваливаютъ вину другъ на друга, какъ вдругъ явленіе жандарма съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора прерываетъ эту комическую сцену и, какъ громъ, разразившійся у ихъ ногъ, заставляетъ ихъ окаменѣть отъ ужаса, и такимъ образомъ превосходно замыкаетъ собою цѣлость пьесы.

Все сказанное нами о «Ревизорѣ», отнюдь не есть разборъ этого превосходнаго произведенія искусства. Подробный разборъ хода всей пьесы, характеровъ ея дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныя отношенія и ихъ взаимодѣйствія другъ на друга, завели бы насъ далеко. Скрѣпя сердце и обуздывая руку, мы не показали подробно развитія дѣйствія, а наскоро пробѣжали его, не останавливаясь на отдѣльныхъ лицахъ, но, такъ сказать, зацѣпляясь за нихъ. Наша цѣль была — намекнуть на то, чѣмъ должна быть комедія художественно созданная. Для этого мы старались намекнуть на идею «Ревизора», а вслѣдствіе ея, не только на естественность, но и на необходимость ошибки городничаго, принявшаго Хлестакова за ревизора, — ошибки, составляющей завязку, интригу и развязку комедіи, а черезъ все это, указать, по возможности, на цѣлость (Totalität) пьесы, какъ особаго, въ самомъ себѣ замкнутаго міра.

Не намъ судить, до какой степени выполнили мы все это; по крайней мѣрѣ, теперь читатели могутъ ясно видѣть наши требованія отъ искусства и нашъ критеріумъ для сужденія о комедіи.

Бѣлинскій.

Самобытность комедіи Гоголя „Ревизоръ.“

Своеобразна и самобытна была комедія Гоголя. Мы напрасно искали бы антецедента, къ которому примыкала бы эта комедія, какъ непосредственное продолженіе и развитіе. Русская комедія была вообще не богата произведеніями, которыя серіозно затрогивали бы вопросы общественной жизни. Комедіи Фонвизина были событіемъ для своего времени, когда сама литература находилась въ зачаточномъ состояніи; но тема состояла въ элементарномъ поученіи о вредѣ невѣжества или слѣпого подражанія иноземнымъ обычаямъ, — поученіи, которое и тогда въ «сатирической» литературѣ было общимъ мѣстомъ и, въ концѣ концовъ, не имѣло никакого особеннаго вліянія (еще многіе десятки лѣтъ повторялись потомъ тѣ же обличенія подража-

нія иноземцамъ и рекомендаціи просвѣщенія), между прочимъ, потому, что не было поддержано широкимъ общественнымъ идеаломъ, какъ-будто внѣ этихъ частныхъ недостатковъ все остальное обстояло совершенно благополучно. Послѣ Фонвизина только «Ябеда» Капниста была серіознымъ опытомъ коснуться настоящаго общественнаго вопроса, а затѣмъ опять идетъ рядъ безразличныхъ твореній съ поверхностными темами, и они, остановивъ на минуту вниманіе общества или, точнѣе, немногихъ любителей литературы, тонули всегда въ рѣкѣ забвенія... Причина понятна. Серіозная комедія требовала, во-первыхъ, глубокой идеи самого писателя, во-вторыхъ, гораздо болѣе широкаго простора для общественной мысли, чѣмъ какой могъ найтись въ условіяхъ литературы, — и безъ этого комедія становилась только театральнымъ развлеченіемъ, весьма недолговѣчнымъ, потому что въ сущности очень мало затрогивала господствующіе нравы и мало отвѣчала на дѣйствительные интересы. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ первой русской комедіей было только «Горе отъ ума», и внѣшняя судьба пьесы, которая могла быть напечатана только черезъ нѣсколько лѣтъ по смерти автора, а въ полномъ текстѣ могла явиться лишь черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, даетъ наглядное указаніе о томъ, насколько комедія общественнаго характера могла получить право гражданства. Другими словами, комедія получала это право только тогда, когда ея непосредственный смыслъ терялся и старѣлъ: «Горе отъ ума» сохранило до нынѣ свое значеніе благодаря только тому, что въ ея теперь уже архаическихъ подробностяхъ сберегало свою цѣну ея нравственно-идеалистическое настроеніе. Комедія Грибоѣдова была неожиданностью. Бывали отчасти неожиданностью произведенія Жуковскаго, Батюшкова, самого Пушкина, когда новый притокъ европейскихъ вліяній расширилъ горизонтъ самой русской поэзіи въ рукахъ первостепенныхъ дарованій; но Грибоѣдовъ былъ въ нѣсколько другихъ условіяхъ: его настроеніе не было дано какимъ-либо «властителемъ думъ» изъ чужой литературы, но являлось отраженіемъ того либерально-патріотическаго движенія, какое овладѣло молодыми поколѣніями около двадцатыхъ годовъ... Великая заслуга и основной интересъ произведенія Грибоѣдова заключался въ изображеніи этой борьбы свѣжаго просвѣтительнаго идеализма противъ отжившаго по существу, но еще властвующаго въ обществѣ застоя и обскурантизма, въ изображеніи одушевленныхъ порывовъ просвѣщенныхъ людей къ лучшему будущему, — что такъ вѣрно и краснорѣчиво объяснилъ Гончаровъ въ «Милліонѣ терзаній».

Комедія Гоголя, очевидно, не имѣетъ съ Грибоѣдовымъ ничего общаго. Тому настроенію либерализма двадцатыхъ годовъ, среди котораго возникло «Горе отъ ума», Гоголь и раньше и позже былъ совершенно чуждъ. Его комедіи вырастали на той же почвѣ, изъ которой произошли его петербургскія повѣсти: это было въ области художества наблюденія бытовой мелочности и пошлости, которыя были, въ концѣ концовъ, невѣжествомъ и несправедливостью; комедія была

только другою формою для того же самаго содержанія. Что касается до мысли объ этой формѣ, и здѣсь мы напрасно искали бы образца, который могъ бы служить для Гоголя завлекающимъ примѣромъ. Вся прежняя русская комедія, кромѣ «Горе отъ ума», была слишкомъ незначительна, а комедія Грибоѣдова, — немного постаринному въ стихахъ, — принадлежала къ совершенно иному стилю и по литературному характеру и по содержанію. Форма дана была Гоголю его собственнымъ прошедшимъ: онъ былъ замѣчательный комикъ еще на сценѣ Нѣжинскаго лицея, и тогда уже развилась въ немъ любовь къ театру; по пріѣздѣ въ Петербургъ въ числѣ его плановъ было намѣреніе поступить на сцену; въ то же первое время, когда онъ писалъ къ матери о присылкѣ ему описаній народныхъ обычаевъ, пѣсенъ и т. п., онъ просилъ прислать малорусскія комедіи его отца. До какой степени занимала его мысль о комедіи еще въ первое время жизни въ Петербургѣ, можно видѣть изъ словъ Плетнева въ письмѣ къ Жуковскому отъ декабря 1832 года: «у Гоголя вертится на умѣ комедія. Не знаю, разродится ли онъ ею нынѣшней зимой; но я ожидаю въ этомъ родѣ отъ него необыкновеннаго совершенства». Рѣчь шла, вѣроятно, о комедіи «Владиміръ 3-й степени», которая не была Гоголемъ закончена. Въ разсказахъ о Гоголѣ С. Т. Аксакова находимъ чрезвычайно любопытную замѣтку объ этомъ самомъ времени. Аксаковъ познакомился съ Гоголемъ въ упомянутый пріѣздъ Гоголя въ Москву. Однажды у нихъ зашелъ разговоръ о Загоскинѣ; Гоголь хвалилъ его за веселость, но замѣтилъ, что онъ пишетъ не то, что нужно для театра.

«Я (С. Т. Аксаковъ) легкомысленно возразилъ, что у насъ писать не о чемъ; что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пустò; что

...даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

но Гоголь посмотрѣлъ на меня какъ-то значительно и сказалъ, что «это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ; но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы же сами надъ собою будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его». Можетъ-быть, онъ выразился не совсѣмъ такими словами; но мысль была точно та. Я былъ ею озадаченъ, особенно потому, что никакъ не ожидалъ ее услышать отъ Гоголя. Изъ послѣдующихъ словъ я замѣтилъ, что русская комедія его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взглядъ на нее». Гоголю было только двадцать три года, и этотъ молодой писатель, едва начинавшій свое поприще, удивлялъ уже опытнаго литератора старыхъ временъ и особенно любителя театра никогда неслыханными взглядами. Слова Гоголя, очевидно, передаютъ мысль, уже твердо установившуюся, и если свести мнѣнія обѣихъ сторонъ къ ихъ основному смыслу, то, съ одной стороны, окажется еще старая реторическая искусственность и ходули,

съ другой — глубокій реализмъ и простота. Анненковъ именно отмѣчаетъ у Гоголя эту исконную черту — антипатію ко всему дѣланному и напыщенному, вслѣдствіе чего, напримѣръ, онъ съ юныхъ лѣтъ не терпѣлъ Кукольника. Если потомъ у него самого мы находимъ наклонность къ преувеличеннымъ картинамъ и высокопарности, она, во всякомъ случаѣ, имѣла другой источникъ, именно въ его искреннемъ лирическомъ возбужденіи, — и только подъ конецъ въ піэтическомъ самообманѣ.

Мысль, высказанная Гоголемъ Аксакову, примѣнялась, очевидно, къ комедіи точно такъ же, какъ примѣнялась къ повѣсти. Его малорусскія повѣсти въ «Миргородѣ», его петербургскія повѣсти точно такъ же въ будничныхъ мелочахъ жизни находятъ предметъ художественнаго изображенія, способный служить и цѣлямъ эстетическимъ и человѣческому понятію жизни. Таковы были и его комедіи. Кромѣ драматической формы, комедія имѣетъ свои спеціальныя задачи, должна искать комическаго, но тамъ и здѣсь можетъ сохраняться, и дѣйствительно сохранялось, одно міросозерцаніе, одно стремленіе искать за мелочными или комическими чертами жизни или глубокой внутренней драмы, или отраженій цѣлаго характера общества. Комическая струя сказалась уже въ самыхъ первыхъ произведеніяхъ Гоголя, она изобильно присутствуетъ въ «Вечерахъ на хуторѣ близъ Диканьки», и все усиливается потомъ, переходя, наконецъ, въ многозначительную общественную сатиру. Съ такимъ широкимъ значеніемъ она должна была, повидимому, явиться въ первой недоконченной комедіи Гоголя «Владиміръ 3-й степени»; ея высшимъ пунктомъ былъ «Ревизоръ». Всѣ безъ исключенія комедіи и комическія сцены Гоголя поражали необыкновенной жизненностью и простотой. Еще въ концѣ 1832 года, когда у Гоголя еще ни одной пьесы не было написано, Плетневъ ждалъ отъ него необыкновеннаго: Плетневъ могъ судить пока только по его повѣстямъ и по примѣрамъ его обычной тонкой наблюдательности и умѣнья подмѣтить и удивительно передать комическія черты. Эти черты оказались въ комедіяхъ Гоголя въ чрезвычайномъ изобиліи; оправдались и слова, брошенныя Гоголемъ Аксакову о томъ, сколько комическаго живетъ среди насъ, котораго мы не видимъ и которое поразитъ насъ, когда будетъ перенесено въ искусство.

Пыпинъ.

Художественная сторона комедіи „Ревизоръ“.

«Ревизоръ» Гоголя есть цѣлый міръ, развившійся изъ одной идеи, міръ оконченный, котораго всѣ части составляютъ одно органическое цѣлое. Этотъ міръ городничаго, жены его и дочери, Добчинскихъ и Бобчинскихъ, Земляники, Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ взволновался однимъ событіемъ, чрезвычайно важнымъ для плутовъ и мошенниковъ — пріѣздомъ ревизора. Этотъ пріѣздъ было то страшное событіе,

котораго они боялись, которое безпрестанно рисовало имъ ихъ настроенное страхомъ воображеніе; до того времени они покойно жили въ своемъ городѣ, брали взятки и хоронили концы въ воду. Жизнь ихъ была однообразна и безызвѣстна; городничій Сквозникъ-Дмухановскій бралъ взятки съ самоварниковъ и архибестій; Тяпкинъ-Ляпкинъ ловилъ рыбу въ мутной водѣ своего суда; Добчинскіе и Бобчинскіе бѣгали изъ одного дома въ другой, переносили вѣсти, сплетничали и угощали себя за свои труды на счетъ слушавшихъ ихъ болтовню. Жена городничаго и дочь его кокетничали съ уѣздными франтами съ усиками и безъ усовъ. Земляника жилъ на счетъ богоугодныхъ заведеній. Всѣ они жили кривымъ путемъ и всѣ боялись одного суда; у нихъ жизнь раздѣлилась на двѣ половины: въ одной — предъ ними явилось обиліе благъ земныхъ и плутовство, а въ другой — господствовалъ страхъ наказанія. Этотъ-то страхъ наказанія явился, наконецъ, въ лицѣ ревизора. Всѣ засуетились и въ головѣ ихъ Сквозникъ-Дмухановскій, какъ начало и конецъ этой уродливой жизни. Онъ преимущественно боится суда, а съ нимъ вмѣстѣ боится и его паства, дѣйствующая по началамъ, усвоеннымъ городничимъ. Но они лица второстепенныя, дополняющія только тѣ ужасы и бѣдствія, которые могутъ постигнуть преступнаго городничаго; они увеличивали его отвѣтственность, потому что мошенничали подъ его крыломъ. Итакъ, пріѣздъ ревизора всколыхалъ весь этотъ маленькій міръ. Бобчинскій и Добчинскій приносятъ вѣсть о ревизорѣ... Городничій въ отчаяніи, потому что велѣлъ высѣчь невинную унтеръ-офицерскую жену, потому — что на улицахъ грязь, потому — что у него нѣтъ новой шпаги, а купцы не догадались подарить ему новую, хотя и видѣли, что старая шпага никуда не годится, потому — что квартальный не по чину беретъ, потому — что другой квартальный уѣхалъ разбирать случившуюся драку и воротился пьянъ. Добчинскаго, которому хочется разсказать еще что-нибудь о ревизорѣ, подмываютъ другія желанія, онъ проситъ городничаго позволить ему посмотрѣть въ щелочку на ревизора, когда къ нему войдетъ городничій: «такъ, знаете, изъ дверей только увидѣть, какъ тамъ, онъ... больше сущность и поступки его, а я ничего». Въ это же время устарѣлая уѣздная кокетка торопится разспросить мужа о томъ, съ усами ли ревизоръ и съ какими усами; ей это очень интересно: она думала еще кокетничать съ молодымъ человѣкомъ изъ Петербурга, потому что тогда она будетъ гордо обходиться съ уѣздными франтами и даже презирать ихъ; она въ то же время начинаетъ ревновать и бранить дочь, которая слишкомъ долга занялась туалетомъ... Однимъ словомъ, цѣлый городъ высказалъ и то, что онъ ощутилъ при словѣ «ревизоръ», и то, чѣмъ онъ былъ прежде, какъ онъ жилъ. Этотъ волшебный пріѣздъ освѣтилъ всю прошедшую его жизнь и его настоящее ощущеніе. Каждый начинаетъ дѣйствовать по-своему, гонимый страхомъ ревизорскаго имени, но каждый составляетъ только часть одной общей картины, воплотившей въ себѣ идею автора. Каждый со-

ставляетъ отдѣльное, художественно выработанное лицо, но вмѣстѣ съ этимъ каждый есть только часть одного цѣлаго, одной идеи, воплощенной творчествомъ въ живые образы. Хлестаковъ, догадавшись, что его принимаютъ за ревизора, подгулялъ отъ удовольствія и начинаетъ нести всякій вздоръ о себѣ; въ его и безъ того глупой головѣ все закружилось отъ неожиданныхъ обстоятельствъ, отъ внезапнаго перехода отъ голода и почти тюрьмы къ сытному обѣду, вину, полному почету; онъ самъ уже не знаетъ, что съ нимъ дѣлается; въ головѣ у него двоится и Смирдинъ съ Брамбеусомъ и «Библіотека» съ «Сумбекою»; онъ несетъ дичь и даже самъ не можетъ понять, что говоритъ... Между тѣмъ, каждое его слово наводитъ ужасъ на жителей уѣзднаго городка; личность Хлестакова все больше и больше растетъ въ ихъ глазахъ. Наконецъ, Хлестакова задабриваютъ; онъ дѣлается любезенъ съ людьми, которые опасались его гнѣва. У людей этихъ снова возникаетъ жизнь, надежды; городничій воображаетъ себя уже въ Петербургѣ, воображаетъ дочь свою замужемъ за такимъ человѣкомъ, «что и на свѣтѣ еще не было, что можетъ и прогнать всѣхъ въ городѣ, и въ тюрьму посадить, и все, что хочетъ». Городничій уже велитъ кричать о своемъ счастьи всему городу: «валять въ колокола, коли торжество, такъ торжество, чортъ возьми». Его завѣтныя мечты начинаютъ возникать передъ нами; онѣ были подавлены скромною жизнью уѣзднаго городка; но вотъ теперь выплываютъ изъ глубины его души во всемъ величіи; городничій воображаетъ себя генераломъ... Какъ вы думаете, зачѣмъ городничій хочетъ быть генераломъ? «Потому что случится, поѣдешь куда-нибудь, фельдъегери и адъютанты поскачутъ впередъ: лошадей! и тамъ на станціяхъ никому не дадутъ, все дожидается: всѣ эти титулярные, капитаны, городничіе; а ты себѣ и въ устъ не дуешь; обѣдаешь гдѣ-нибудь у губернатора, а тамъ стой городничій. Ха, ха, ха! Вотъ что, канальство, заманчиво!»

Городничій въ паѳосѣ. Все, что роилось у него въ душѣ, все высказано отъ избытка счастья. Какъ чувство страха въ началѣ пьесы открыло одну часть души его и показало въ ней бездну сора, такъ чувство самодовольствія подняло не мало дряни изъ этой грубой природы. Но погодите! городничій еще не весь: онъ былъ низокъ отъ страха, былъ гнусенъ отъ счастья и гордости, посмотрите на него еще разъ: онъ узнаетъ, что его обманули, что Хлестаковъ не ревизоръ, что все это пустяки. Посмотрите въ третій разъ эту натуру, обиженную тѣмъ, что ее обманули, бѣснующуюся отъ досады. Городничій проведенъ— городничій, который «тридцать лѣтъ жилъ на службѣ, котораго ни одинъ купецъ, ни одинъ подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ, пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовы обворовать, поддѣвалъ на уду, трехъ губернаторовъ обманулъ!» Во время этого бѣсованія городничаго и недоумѣнія окружающихъ его является жандармъ съ извѣстіемъ о пріѣздѣ истиннаго ревизора; герои комедіи окаменѣли отъ ужаса, и пьеса закончена — кончена по-

тому, что вмѣстила въ себѣ полный, замкнутый міръ страстей, истекшихъ изъ основной идеи комедіи.

Вотъ пьеса, въ которой есть единство, которая составляетъ цѣлое, въ которой герои прожили моментъ своей жизни, освѣтившій всю глубину души ихъ. Послѣ этой комедіи вы ихъ знаете. *Дудышкинъ.*

Хлестаковъ (характеристика).

Въ качествѣ реальной величины въ государствѣ Хлестаковъ—ничтожество: «одинъ изъ тѣхъ людей, которыхъ въ канцеляріяхъ называютъ пустѣйшими». Собственный лакей его, дуракъ и плутъ Осипъ презираетъ барина: «добро бы было въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное, а то вѣдь елистратишка простой». Онъ, однако, сынъ дворянина, старосвѣтскаго помѣщика изъ глубины Россіи. Но никакой связи со своимъ родомъ, народомъ, землею онъ не сохранилъ. Онъ весь до мозга костей—петербургскій безземельный «пролетарій», безродный, искусственный человѣкъ—гомункулъ, выскочившій изъ «петровской табели о рангахъ», какъ изъ алхимической склянки. Люди прошлаго, подобные отцу его, для него—варвары, почти и не люди: «они, пентюхи, и не знаютъ, что такое значитъ «прикажете принять». Къ нимъ, если пріѣдетъ какой-нибудь «гусь помѣщикъ, такъ и валитъ, медвѣдь, въ гостиную». Отрицаніе, впрочемъ, обоюдное: «батюшка присылаетъ ему денежки»; но если бы узналъ онъ, какъ живетъ сынокъ въ Петербургѣ: «дѣломъ не занимается—вмѣсто того, чтобы въ должность, а онъ идетъ гулять по пришпекту, въ картишки играетъ», то, по выраженію Осипа, «не посмотрѣлъ бы на то, что ты чиновникъ, а, поднявъ рубашонку, такихъ бы засыпалъ тебѣ, что дня бы четыре ты почесывался».

Какъ личность умственная и нравственная, Хлестаковъ отнюдь не полное ничтожество. «Хлестаковъ,—опредѣляетъ Гоголь,—есть человѣкъ ловкій, совершенный comme il faut, умный, даже пожалуй, добродѣтельный»,—ну, конечно, не слишкомъ умный и добродѣтельный, но зато и не слишкомъ глупый и злой. У него самый обыкновенный умъ, самая обыкновенная—общая, легкая, «свѣтская совѣсть». Въ немъ есть все, что теперь въ ходъ *пошло* и что впослѣдствіи окажется *пошлымъ*. «Одѣтъ по модѣ», и говоритъ, и думаетъ, и чувствуетъ по модѣ. «Онъ принадлежитъ къ тому кругу, который, повидимому, ничѣмъ не отличается отъ прочихъ молодыхъ людей»,—замѣчаетъ Гоголь. Онъ какъ всѣ: и умъ, и душа и слова, и лицо у него какъ у всѣхъ. Въ немъ, по глубокому опредѣленію опять-таки самого Гоголя, *ничего не означено рѣзко*, то-есть, опредѣленно, окончательно, до послѣдняго предѣла, до конца. Сущность Хлестакова именно въ этой неопредѣленности, неоконченности. «Онъ не въ состояніи остановить постояннаго вниманія на какой-нибудь

мысли»—не способенъ сосредоточить, довести до конца ни одну изъ своихъ мыслей, ни одно изъ своихъ чувствъ. Онъ, какъ выражается чортъ Ивана Карамазова, «потерялъ всѣ свои концы и начала»; онъ—воплощенное отрицаніе всѣхъ концовъ и началъ, воплощенная нравственная и умственная *середина*, посредственность.

Но главныя силы, которыя движутъ и управляютъ имъ,—не въ общественной и не въ умственной или нравственной личности, а въ безличномъ, безсознательномъ, стихійномъ существѣ его—въ инстинктахъ. Тутъ прежде всего слѣпой животный инстинктъ самосохраненія—неимовѣрный волчій голодъ: «такъ хочется ѣсть, какъ еще никогда не хотѣлось... Тфу, даже тошнитъ...» Это не простой мужичій голодъ, который насыщается хлѣбомъ насущнымъ, а благородный, господскій. Въ правѣ на удовлетвореніе этого голода Хлестаковъ сознаетъ себя въ высшей степени бариномъ: «Ты растолкуй ему (хозяину гостиницы) серьезно, что мнѣ *нужно пить*... Онъ думаетъ, что какъ ему, мужику, ничего, если не поѣстъ день, такъ и другимъ то же. Вотъ новости!» Ѣсть хочется, нужно ѣсть—это ужъ нѣчто безусловное, безконечное въ существѣ Хлестакова,—во всякомъ случаѣ это его естественный конецъ и начало, его первая и послѣдняя правда.

Природа, надѣливъ его такою потребностью, вооружила и особою силою для ея удовлетворенія,—силою лжи, притворства, умѣнья казаться не тѣмъ, что онъ есть. И эта сила у него опять-таки не въ умѣ, не въ волѣ, а въ глубочайшемъ безсознательномъ инстинктѣ. Нѣкоторыя насѣкомыя формою и окраскою тѣлъ съ точностью до полнаго обмана даже человѣческаго зрѣнія воспроизводятъ форму и окраску мертвыхъ сучковъ, увядшихъ листьевъ, камней и другихъ предметовъ, пользуясь этимъ свойствомъ, какъ оружіемъ въ борьбѣ за существованіе, дабы избѣгать враговъ и ловить добычу. Въ Хлестаковѣ заложено природою нѣчто подобное этой первозданной, естественной лжи или мимикѣ лицедѣйства. Въ устахъ его ложь есть вѣчная «игра природы». Языкъ его лжетъ такъ же непроизвольно, неудержило, какъ сердце бьется, легкія дышатъ. «Хлестаковъ лжетъ,—говоритъ Гоголь,—вовсе не холодно, или фанфаронски-театрально! онъ лжетъ съ чувствомъ; въ глазахъ его выражается наслажденіе, получаемое имъ отъ этого. Это вообще лучшая и самая *поэтическая* минута его жизни—почти *родъ вдохновенія*». Ложь Хлестакова имѣетъ нѣчто общее съ творческимъ вымысломъ художника. Онъ опьяняетъ себя своею мечтою до полнаго самозабвенія. Меньше всего думаетъ о реальныхъ цѣляхъ, выгодахъ. Это ложь безкорыстная,—ложь для лжи, искусство для искусства. Ему въ эту минуту ничего не надо отъ слушателей: только бы они повѣрили. Онъ лжетъ невинно, безхитростно и первый самъ себѣ вѣритъ, самъ себя обманываетъ—въ этомъ тайна его обаянія. Онъ лжетъ и чувствуетъ: это хорошо, это правда. *То, чего нѣтъ*, для него, какъ для всякаго художника, прекраснѣе и потому правдивѣе самой правды. Онъ весь

горитъ и трепещетъ, какъ бы отъ священнаго восторга. Тутъ какая-то нѣга, сладострастіе лжи. Если бы стали обличать его, онъ сначала просто не понялъ бы, а потомъ съ чувствомъ высшей поэтической правды и правоты презрѣлъ бы столь грубую, низменную точку зрѣнія. Беззащитно и беззлобно огорчился бы, какъ обиженный ребенокъ, какъ оскорбленный чернью поэтъ. Недаромъ утверждаетъ Гоголь, что одно изъ главныхъ свойствъ Хлестакова—«чистосердечіе и простота». У этого генія лжи, какъ у всякаго истиннаго генія,—почти дѣтская простота и ясность. Тотъ Хлестаковъ, который беретъ взятки у обманутыхъ имъ чиновниковъ съ такою безстыдною наглостью,—уже совсѣмъ другой человѣкъ: поэтъ исчезъ, вдохновеніе потухло:—

Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть-можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.

Съ ложью связано въ немъ другое столь же первозданное, стихійное свойство. «У меня—признается онъ,—*легкость въ мысляхъ необыкновенная*». Не только въ мысляхъ, но и въ чувствахъ, въ дѣйствіяхъ, въ словахъ, даже въ «тоненькомъ, худенькомъ тѣлѣ», во всемъ существѣ его «необыкновенная легкость»: весь онъ точно «вѣтромъ подбитъ», едва земли касается,—вотъ, вотъ вспорхнетъ и улетитъ. Для него и въ немъ самомъ нѣтъ ничего труднаго, тяжелаго и глубокаго—никакихъ задержекъ, никакихъ преградъ между истиной и ложью, добромъ и зломъ, законнымъ и преступнымъ; онъ даже не «преступаетъ», а перелетаетъ, благодаря этой своей окрыляющей легкости, черезъ «всѣ черты и всѣ предѣлы». Величайшія мысли человѣчества, которыя давятъ его цѣлые вѣка своею тяжестью, попадая въ голову Хлестакова, становятся вдругъ легче пуха. Вотъ, напримѣръ, одна изъ главныхъ мыслей XVII и XVIII вѣка, Монтэня, Гоббса, Жанъ-Жака Руссо—мысль объ «естественномъ состояніи», о возвратѣ человѣка въ природу. Когда Хлестаковъ признается въ любви женѣ городничаго, та отвѣчаетъ ему съ робкимъ недоумѣніемъ: «Но позвольте замѣтить, я въ нѣкоторомъ родѣ... я замужемъ».—«Это ничего,—возражаетъ Хлестаковъ.—Для любви нѣтъ различія: и Карамзинъ сказалъ: «Законы осуждаютъ». Мы удалимся «подъ сѣнь струй»... Это значитъ человѣческіе законы осуждаютъ нашу свободную любовь, но мы уйдемъ отъ людей въ природу, гдѣ царствуютъ иные вѣчные законы. Отъ древне-греческой идилліи Дафниса и Хлои, которые тоже были счастливы «подъ сѣнью струй», до чувствительныхъ романовъ XVIII вѣка, до пастушескихъ сценъ во вкусѣ Ватто, Бушэ и черезъ Карамзина до Хлестакова—какой неимовѣрный путь прошла человѣческая мысль и во что она превратилась! А вотъ и другая сторона этой же самой мысли о противоположности природы и человѣка, естественнаго и культурнаго состоянія: «Деревня, впрочемъ, имѣетъ свои пригорки, ручейки...

Ну, конечно, кто же сравнитъ съ Петербургомъ! Эхъ, Петербургъ! что за жизнь, право!» Точно такъ же соблазны культуры понимаетъ и лакей Осипъ: «жизнь тонкая и политичная; кеятры, собаки тебѣ танцуютъ, и все, что хочешь. Разговариваетъ все на тонкой деликатности .. Галантерейное, чортъ возьми, обхожденіе!»

Эпикурейское вольнодумство, возрожденная языческая мудрость, принципъ: «жизнью пользуйся, живущій!»—сокращается у Хлестакова въ изреченіе новой положительной мудрости: *Вѣдь на то живешь, чтобы срывать цвѣты удовольствія*». Какъ просто, какъ общедоступно! Это освобожденіе отъ всѣхъ нравственныхъ узъ не превратится ли впослѣдствіи въ ницшеанское, карамазовское: «нѣтъ добра и зла, все позволено»? И здѣсь, и тамъ—одно начало: крылья орла и крылья мошки борются съ одними и тѣми же законами всемірнаго тяготѣнія.

Это—язычество; а вотъ и христіанство,—тоска по неземной отчизнѣ, «идеализмъ» Хлестакова,—изъ письма его къ пріятелю Тряпичкину: «прощай, душа Тряпичкинъ... Скучно, братъ, такъ жить, хочешь, наконецъ, пищи для души. Вижу, точно надо чѣмъ-нибудь высокимъ заняться». Таковъ всеобъемлющій кругъ его созерцанія: все, что имѣетъ три измѣренія, приводитъ онъ къ двумъ или къ одному—къ совершенной плоскости, пошлости; потому все это и въ ходъ пошло, что такъ пошло. Онъ сокращаетъ всякую мысль до послѣдней степени краткости, облегчаетъ ее до послѣдней степени легкости, отбрасываетъ ея конецъ и начало, оставляя одну лишь безконечную малую, самую серединную точку—и то, что было вершиною горнаго кряжа, становится пылинкою, носимою вѣтромъ по большой дорогѣ. Нѣтъ такого благороднаго чувства, такой глубокой мысли, которыя не могли бы, стершись, вывѣтрившись, благодаря этому хлестаковскому генію сокращенія, облегченія, сдѣлаться сѣрой пылью.

Духъ его родственъ духу времени. «*Я литературой существую*», говоритъ Хлестаковъ, и это не ложь, а глубокое признаніе. Онъ другъ не только Тряпичкина, Булгарина, Сенковскаго, Марлинскаго, но и самого Пушкина, камеръ-юнкера, которому въ лицѣ какого-нибудь моднаго, великосвѣтскаго хлыща, совершеннаго comme il faut, одного изъ безчисленныхъ однодневныхъ пріятелей Александра Сергѣевича, «добраго малаго», пожимаетъ руку на придворныхъ балахъ, со снисходительной развязностью: «ну, что, братъ?»—«Да такъ, братъ», отвѣчалъ бывало тотъ: «такъ какъ-то все»... Большой оригиналъ!» И вѣдь ужъ, конечно, та сплетня, отъ которой Александръ Сергѣевичъ погибъ, обошлась не безъ участія Ивана Александровича Хлестакова. Пушкинъ погибъ, а Хлестаковъ процвѣтаетъ. Духъ его сказывается не только въ романтическихъ «кровавыхъ незабудкахъ» начала XIX вѣка, но и въ нашей современной декадентской рѣзвости, въ нашей ницшеанской дерзости, за которыя здравый смыслъ, какъ старый баринъ, если бы узналъ,

въ чемъ дѣло, не посмотрѣлъ бы на то, что ты декадентъ или ницшеанецъ, а, «поднявши рубашонку, такихъ бы засыпалъ тебѣ, что дня бы четыре ты почесывался». — «Я имъ всѣмъ поправлялъ стихи», — могъ бы сказать Хлестаковъ и о новѣйшихъ поэтахъ, — «моихъ много есть сочиненій — ужъ и названій даже не помню». Стоитъ прислушаться къ пріятелю Тряпичкину: «прощай, душа Тряпичкинъ... Скучно, братъ, такъ жить, хочешь, наконецъ, пищи для души. Вижу, точно надо чѣмъ-нибудь высокимъ заняться». Таковъ всеобъемлющій кругъ его созерцанія: все, что имѣетъ три измѣренія, приводитъ онъ къ двумъ, къ опереточной музыкѣ, этому Leit-Motiv'у прошлаго вѣка, какъ назойливо заглушающему Бетховена и Вагнера, чтобы почувствовать безсмертнаго Хлестакова, которому пессимизмъ XIX столѣтія ничуть не помѣшалъ «срывать цвѣты удовольствія». «Я вѣдь тоже разные водевильчики»... Стоитъ зайти въ любой театръ, чтобы убѣдиться, что и въ наши дни театральныя дирекціи говорятъ своему доброму пріятелю, Ивану Александровичу: «Пожалуйста, братецъ, напиши что-нибудь». Думаю себѣ: «Пожалуй, изволь, братецъ». И тутъ же въ одинъ вечеръ, кажется, все написалъ». Стоитъ заглянуть въ любую сегодняшнюю газету, чтобы изъ мнѣній о пользѣ велосипеднаго спорта и свободы совѣсти, о прелестяхъ Кавальери и Венеры Милосской, изъ предсказаній погоды и будущности Россіи, такъ и пахнуло на насъ «необыкновенною легкостью въ мысляхъ». Тутъ именно, въ современной печати, въ гласности, съ каждымъ днемъ все растетъ и растетъ Хлестаковъ. Теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, могъ бы онъ сказать, не хвастая: я литературой существую», и литература существуетъ мною. И газетный листокъ, ужасается Гоголь, становится нечувствительно законодателемъ его неуважающаго человѣка. Что значитъ всѣ незаконные эти законы, которые, видите, въ виду всѣхъ, чертитъ исходящая снизу *нечистая сила*, и міръ это видитъ весь, и, какъ очарованный, не смѣетъ шевельнуться? Что за страшная насмѣшка надъ человѣчествомъ! Эта исходящая снизу нечистая сила и есть, конечно, сила Хлестакова, который уже не только въ литературѣ, но и на страницахъ всемірной исторіи отъ Парижа до Пекина, отъ Лондона до Трансвааля, пишетъ свои «водевильчики», сплетаетъ свою сплетню.

И все растетъ, растетъ, какъ туманное видѣніе, какъ фатаморгана. Выше, выше, excelsior!—это бранный кличъ Хлестакова, кличъ современнаго прогресса. «Одинъ разъ я даже управлялъ департаментомъ». Это ложь? Едва ли. Можетъ быть, онъ дѣйствительно съ тѣхъ поръ не разъ управлялъ многими департаментами. Можетъ-быть, и въ наши дни его упрашиваютъ: «Иванъ Александровичъ, ступайте департаментомъ управлять.»—«Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, такъ и быть, только ужъ у меня: ни, ни, ни! ужъ у меня ухо востро! ужъ я»... «Меня самъ государственный совѣтъ боится». Можетъ быть, и въ наши дни, когда вѣчно-юный Хлестаковъ проходитъ черезъ либеральнѣйшій изъ департа-

ментовъ, «просто землетрясенье, все дрожитъ, трясется, какъ листъ». И если не тридцать пять тысячъ курьеровъ, то поѣзда-молніи, телеграфы, телефоны все еще служатъ ему. Кто изъ насъ не слышалъ надъ собой его начальническаго окрика: «о, я шутить не люблю; я имъ всѣмъ задамъ острастку!» Но выше, выше, excelsior!

Привидѣніе растетъ, мыльный пузырь надувается, играя волшебной радугой. «Да что въ самомъ дѣлѣ? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всѣмъ: «Я самъ себя знаю, самъ». «*Я вездѣ, вездѣ*». Вотъ нуменальное слово; вотъ уже лицо чорта почти безъ маски: онъ внѣ пространства и времени, онъ вездѣсущъ и вѣченъ. «Во дворецъ всякій день ѣзжу. Меня завтра же произведутъ сейчасъ въ фельдмарш...» (поскальзывается и чуть-чуть не падаетъ на полъ, но съ почтеніемъ поддерживается чиновниками).

До чего бы дошелъ онъ, если бы не поскользнулся? Назвалъ ли бы себя, какъ всякій самозванецъ,—самодержцемъ? А, можетъ-быть, въ наши дни не удовольствовался бы и царственнымъ, никакимъ вообще человѣческимъ именемъ, и уже прямо назвалъ бы себя «сверхчеловѣкомъ», «человѣкобогомъ»: сказалъ бы то, что у Достоевскаго чортъ совѣтуетъ сказать Ивану Карамазову: «гдѣ станетъ Богъ—тамъ уже мѣсто Божіе; гдѣ стану я, тамъ сейчасъ же будетъ первое мѣсто—и все позволено». Вѣдь это Хлестаковъ почти и говоритъ, по крайней мѣрѣ, хочетъ сказать, а если не умѣетъ, то только потому, что словъ такихъ еще нѣтъ: «я самъ себя знаю, самъ... я, я, я»... Отъ этого изступленнаго самоутвержденія личности одинъ только шагъ до самообожествленія, которое въ больной головѣ Поприщина даетъ сумасшедшій, но все еще сравнительно скромный выводъ: «я король испанскій Фердинандъ VIII», а въ метафизической головѣ Ницше и нигилиста Кириллова, героя «Бѣсовъ»—уже окончательный, насколько болѣе величественный, выводъ: «если нѣтъ Бога, то я—Богъ!»

Недаромъ бѣдные чиновники уѣзднаго городка подавлены какъ бы «сверхчеловѣческимъ» величіемъ Хлестакова. «Генералъ» это вѣдь для нихъ и значитъ—почти «сверхчеловѣкъ».—«Какъ вы думаете, Петръ Ивановичъ, кто онъ такой въ разсужденіи чина?»—«Я думаю, чуть ли не генералъ».—«А я такъ думаю, что генералъ-то ему и въ подметки не станетъ! а когда генералъ, то ужъ развѣ самъ генералиссимусъ!..—«Вотъ это, Петръ Ивановичъ, человѣкъ-то!—заключаетъ Бобчинскій.—Вотъ оно, что значитъ человѣкъ!» А уничтоженный Артемій Филипповичъ Земляника только лепечетъ, дрожа и блѣднѣя: «страшно, просто. А отчего—и самъ не знаешь». И дѣйствительно, по сценѣ проносится какъ бы дыханіе какого-то сверхъестественнаго ужаса.

Зрители смѣются и не понимаютъ страшнаго въ смѣшномъ, не чувствуютъ, что они, можетъ-быть, обмануты еще больше, чѣмъ глупые чиновники. Никто не видитъ, какъ растетъ за Хлестакова исполинскій призракъ, тотъ, кому собственныя страсти наши вѣчно

служатъ, котораго онѣ поддерживаютъ, какъ поскользнувшагося ревизора—чиновники, какъ великаго сатану—мелкіе черти. Кажется, и донынѣ никто не увидѣлъ, не узналъ его, хотя онъ уже является «въ своемъ собственномъ видѣ», безъ маски или въ самой прозрачной изъ масокъ, и безстыдно смѣется людямъ въ глаза и кричитъ: «это я, я самъ! *Я—вездѣ вездѣ*!»

Мережковскій.

Сквозникъ-Дмухановскій (характеристика).

Цѣль комедіи Гоголя «Ревизоръ», опредѣляющаяся ея содержаніемъ, — изобразить тотъ классъ русскаго общества, который предназначенъ къ выполненію воли правительства по городамъ и весямъ русскаго государства. Этотъ классъ не столичной, а провинціальной бюрократіи является проводникомъ въ жизнь идущихъ свыше распоряженій, конечная задача которыхъ — общественное благоустройство и счастье населенія. Такимъ образомъ, роль чиновника, какъ бы ни была низка ступень, занимаемая имъ по чиновничьей лѣстницѣ, оказывается весьма важной. Понятію «чиновникъ» можно дать такое опредѣленіе: это — лицо съ извѣстными полномочіями власти, назначенное правительствомъ для выполненія нуждъ государственнаго управленія и для охраненія правъ и интересовъ какъ цѣлаго общества, такъ и отдѣльныхъ лицъ. «Цѣль дѣятельности чиновника — общественная польза; средство къ ея достиженію — исполненіе закона».

Но напрасно мы искали бы хоть сколько-нибудь чувства долга и нѣкотораго пониманія своихъ обязанностей въ кружкѣ чиновниковъ, составляющихъ галлерею типовъ комедіи «Ревизоръ». Во главѣ этого кружка стоитъ городничій. Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій, являясь главнымъ дѣйствующимъ лицомъ комедіи, изображенъ съ особенной отчетливостью, въ ярко очерченномъ и изумительно цѣльномъ образѣ. Художественная ясность и какъ бы прозрачность психическаго склада городничаго зависитъ отъ той тщательности и разносторонности, съ какими поэтъ раскрываетъ предъ нами внутреннюю жизнь этой личности. Городничій присутствуетъ и говоритъ на сценѣ больше, чѣмъ всякое другое изъ дѣйствующихъ лицъ «Ревизора»: (въ I дѣйствіи — явленія 1—5, во II дѣйствіи — 8—10 явленія, въ III дѣйствіи — 5—6 и 9—10 явленія, въ IV дѣйствіи — 15—16 явленія и все V дѣйствіе, то-есть въ 24 явленіяхъ изъ 53). Для читателя комедіи, который захотѣлъ бы всмотрѣться въ тонкіе, весьма разнообразные штрихи этого сложнаго по концепціи и простого по идеѣ рисунка, душевный строй градоначальника становится вполнѣ понятнымъ не только во взаимномъ отношеніи фактовъ настоящаго, но и въ причинной связи переживаемаго имъ съ явленіями прошлаго, которое выступаетъ то въ формѣ вѣскихъ и точныхъ свидѣтельствъ художника, то въ видѣ

очертаній, легко создаваемыхъ воображеніемъ читателя по указаніямъ общихъ законовъ психогенезиса.

Если бы отъ насъ потребовали самаго краткаго и въ научномъ смыслѣ наиболѣе точнаго опредѣленія душевнаго склада городничаго, то мы назвали бы его «человѣкомъ внѣшнихъ отношеній».

Вотъ существенныя черты этого типа людей. Жизнь сердца у нихъ отличается крайнею поверхностью и черствостью, полнымъ эгоизмомъ: имъ чужды всякое глубокое и искреннее чувство, въ частности чувства привязанности, уваженія и исполненія долга; у нихъ нѣтъ вѣры, нѣтъ ничего святого; все направлено исключительно къ соблюденію личной выгоды. По умственному развитію это все народъ недалекій: область отвлеченныхъ идей, на которыя только и можетъ опираться стройное міросозерцаніе, лежитъ внѣ предѣловъ ихъ мысли и практической дѣятельности; однако опытность, хитрость, изворотливость и житейская цѣпкость, не стѣсняющаяся въ выборѣ средствъ, нерѣдко доставляютъ имъ въ обществѣ репутацію «умницъ» и «дѣльцовъ». Въ своихъ сужденіяхъ они не идутъ дальше ходячихъ мнѣній или заученныхъ фразъ. Поступки ихъ прикрыты, гдѣ нужно, наружными приличіями и обиходными формами общественной жизни. Въ отношеніяхъ къ низшимъ они всегда важны, подчасъ грубы. Дѣйствія ихъ, иной даже разъ поражающія тактичностью и мѣткою цѣлесообразностью, основываются не на принципіальныхъ разсужденіяхъ, а на инстинктѣ и подражательности: личный опытъ въ прошломъ и запасъ тщательныхъ наблюденій за дѣйствіями другихъ могутъ удачно подсказывать имъ, какъ поступить въ предстоящемъ случаѣ, но лишь тогда, когда въ прошедшемъ были аналогичные факты и положенія; въ противномъ, вышедши изъ привычной колеи, они совершенно теряются, не будучи въ состояніи разобраться въ самыхъ простыхъ вещахъ и отношеніяхъ. Таковъ и Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій.

Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій по рожденію принадлежалъ, нужно думать, къ мелкопомѣстнымъ дворянамъ. Оттого-то онъ высокомѣрно относится къ купцамъ, ругая ихъ за то, что они требуютъ къ себѣ уваженія («Мы и дворянамъ не уступимъ» V, 2), и дворянское воспитаніе ставитъ несравненно выше воспитанія купеческаго ребенка. Но былъ ли онъ по происхожденію дворянинъ или разночинецъ, во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что онъ рано ознакомился съ нуждой: «такой черносливъ, что лѣтъ по семи лежитъ въ бочкѣ» (IV, 10), былъ для него въ дѣтствѣ величайшимъ и весьма рѣдкимъ лакомствомъ, не потерявшимъ своей прелести даже и въ лѣта пожилыя при полномъ довольствѣ.

Школа дала ему немногое. У него не пробудилось ни умственной пытливости и самостоятельности мысли ни стремленія къ правдѣ и сознанія долга. Въ педагогической практикѣ въ то время признавалось необходимымъ самое суровое обращеніе съ учащимися: тѣлесныя наказанія считались важнѣйшимъ воспитательнымъ средствомъ.

Такое убѣжденіе вынесъ изъ школьныхъ годовъ и Антонъ Антоновичъ: «дворянина хотя и сѣкутъ въ школѣ, да за дѣло, чтобъ онъ зналъ полезное» (V, 2). Обучался Сквозникъ-Дмухановскій немногому, между прочимъ, и всеобщей исторіи, такъ что имена ассиріянъ, вавилонянъ, Александра Македонскаго (I, 1) не были чужды его слуху. Латынь же, преподававшаяся въ «разныхъ коллегіяхъ», навсегда осталась для него такою же тайною, какъ китайская грамота или «другой какой языкъ», на которомъ писались надписи надъ кроватями въ больницахъ (I, 1). Курсъ обученія въ городскомъ училищѣ былъ немноголѣтенъ; поэтому у Антона Антоновича не успѣло явиться критическое отношеніе къ преподавателямъ, характеризующее учащихся старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній: учитель навсегда остался для него окруженнымъ ореоломъ «ученаго званія, натурально, неразлучнаго съ очень странными поступками» (I, 1), которые ему приходилось наблюдать еще на скамьѣ.

Пріобрѣтя въ школѣ лишь элементарныя научныя свѣдѣнія, онъ, естественно, не понималъ пользы просвѣщенія и не могъ цѣнить людей образованныхъ. Для него писатели, въ частности авторы комедій,—«щелкоперы, бумагомараки» (V, 8); онъ ихъ не отличаетъ отъ «писакъ, которые закручивали просьбы» (V, 1) «его высокоблагородному свѣтлости господину финансову» (IV, 9). Къ представителямъ и распространителямъ просвѣщенія путемъ печатнаго станка у него инстинктивное отвращеніе; онъ не даромъ чувствуетъ въ этомъ классѣ непримиримыхъ враговъ своихъ и враговъ тѣхъ условій жизни, среди которыхъ ему живется такъ привольно: они — «либералы проклятые», по его гнѣвному выраженію, и «волтеріанцы, напрасно говорящіе противъ того, что самимъ Богомъ устроено», по опредѣленію ихъ дѣятельности въ спокойномъ состояніи духа (I, 1). На словахъ Антонъ Антоновичъ, однако, ставитъ науку и просвѣщеніе очень высоко, слѣдуя ходячему мнѣнію: начавъ рѣчь предъ купцами о превосходствѣ дворянскаго сословія надъ купечествомъ, онъ сначала— было не зналъ, на что̀ указать, но тутъ ему случайно подвернулось на память слово «наука», и онъ съ торжествомъ выходитъ изъ минутнаго затрудненія: «Дворянинъ учится наукамъ: его хоть и сѣкутъ въ школѣ, да за дѣло, чтобъ онъ зналъ полезное. А ты что? и т. д. (V, 2).

Бѣдность и желаніе пробиться «въ люди» заставили Антона Антоновича начать тяжелую въ то время для человѣка съ самолюбіемъ службу «съ низшихъ чиновъ» (Гоголь), вѣроятно, въ должности канцелярскаго писца при полицейскомъ управленіи и квартальнаго надзирателя. Здѣсь практическая смѣтка, услужливость, расторопность, а гдѣ нужно, и пронырство обратили вниманіе начальства на молодого человѣка, который, при всегдашней почтительности, не терялся въ присутствіи старшихъ и умѣлъ слово сказать толкомъ.

Похвалы начальства и сочувствіе товарищей доброму малому: «Ай, Антонъ! Ай, Антонъ!» (IV, 15) еще болѣе усиливали его рети-

вость и желаніе отличиться, показать себя въ ловкой продѣлкѣ. Успѣшная погоня за обычными призраками счастья въ видѣ повышенія, наружнаго почтенія, вкусной ѣды и питья, тонкаго сукна на мундиръ — окончательно отклонили мысль его отъ внутренняго самосозерцанія, а чувство отъ сосредоточенности и вслушиванія въ тихій шопотъ совѣсти.

Годамъ къ тридцати положеніе Антона Антоновича уже настолько упрочилось, и будущее въ такой мѣрѣ опредѣлилось, что можно уже было подумать и о томъ, какъ бы обзавестись своей семьей. За невѣстами дѣло не стало. Антонъ Антоновичъ, подававшій прочныя надежды на дальнѣйшія повышенія, являлся завиднымъ женихомъ въ глухой провинціи. И онъ умѣло воспользовался своими преимуществами: самъ грубоватый разночинецъ, не получившій внѣшняго лоска, онъ женился на приглянувшейся ему дѣвушкѣ лѣтъ 18—20, красавицѣ, изъ благородной дворянской семьи, вполнѣ по-тогдашнему благовоспитанной — «съ прекрасными манерами» и искусствомъ жеманничать, одѣваться по-модному, кокетничать. Этотъ бракъ еще болѣе упрочилъ служебную карьеру Сквозника-Дмухановскаго: любезная и красивая хозяйка привлекла въ домъ небольшого полицейскаго чиновника уѣздную аристократію, начиная съ властей и оканчивая «временъ новѣйшихъ Митрофаномъ».

Семейною жизнью Антонъ Антоновичъ не имѣлъ основаній быть недовольнымъ: Анна Андреевна понимала «тонкое обращеніе» въ обществѣ, умѣла держать мужа на почтительномъ отъ себя разстояніи, не теряя для него своей привлекательности (онъ и впопыхахъ не забываетъ въ письмѣ поцѣловать у своей «душеньки» «ручку»), хозяйкой была образцовой[1]).

Правда, Антонъ Антоновичъ не могъ не замѣтить въ своей «супружницѣ», съ восторгомъ восклицающей: «я страхъ люблю такихъ молодыхъ людей!» (III, 8) излишняго пристрастія къ «пріятнымъ» (III, 8) мужчинамъ.

Въ первое время, вѣроятно, бывали-таки и размолвки по этому поводу. Но потомъ, можетъ статься, и самъ городничій понялъ выгоды привлеченія къ себѣ благоволенія властей чрезъ симпатіи начальниковъ къ женѣ; во всякомъ случаѣ Антонъ Антоновичъ скоро махнулъ на супругу рукой: служебная дѣятельность, съ ея многоразличными тревогами и успѣхами, отклоняла и безъ того неспособную къ тонкому анализу мысль отъ труднаго углубленія въ тайны жениной психики. Поведеніе Анны Андреевны, каково бы оно ни было по существу, будучи внѣшнимъ образомъ прилично, мало затрогивало внѣшній міръ ея мужа и вообще слабо интересовало его, когда читаютъ въ письмѣ Хлестакова, что жена городничаго «готова сей-

---

[1]) Черта Анны Андреевны, указанная какъ самимъ поэтомъ: «воспитана вполовину на романахъ и альбомахъ, вполовину на хлопотахъ въ своей кладовой и дѣвичьей», не находитъ въ комедіи ни малѣйшаго намека.

часъ на всѣ услуги» (V, 8) онъ ничѣмъ не выражаетъ своего протеста или неудовольствія, между тѣмъ какъ тутъ же приходитъ въ негодованіе по поводу сравненія себя съ «сивымъ мериномъ». Безразличное отношеніе къ интимной сторонѣ и сердечнымъ увлеченіемъ жены объясняется и характеромъ тѣхъ чувствъ, которыя Антонъ Антоновичъ къ ней питаетъ. Влеченіе его къ ней почти совершенно чуждо душевнаго элемента: она ему нравится, какъ красивая бабенка.

Во всякомъ случаѣ онъ не отличается стыдливостью, о чемъ говоритъ и способъ его уговариванья слесарши отпустить мужа въ солдаты: «на что», говоритъ, «тебѣ мужъ? онъ ужъ тебѣ не годится» (IV, 11).

Самый душевный строй свѣтской женщины былъ для Антона Антоновича необъяснимой загадкой: «Ну, ужъ вы, женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вамъ все финтиклюшки! Вдругъ брякнутъ ни съ того ни съ другого словцо» (III, 9). Онъ чувствовалъ, что и во внѣшнемъ поведеніи жены есть что-то неладное, особенно свобода обращенія съ мужчинами и болтливость, доходящая до непристойности въ дамскомъ обществѣ: «О, ужъ тамъ наговорятъ! Я думаю, поди только, да послушай и уши потомъ заткнешь» (III, 10), догадывается онъ о содержаніи бесѣды «маменьки» съ дочкой о чемъ-то «такомъ у гостя, что вдвоемъ только можно сказать». Но это онъ объяснялъ, помимо общихъ особенностей психики свѣтской женщины, еще и придурью своей жены: «Она немного съ придурью, такова же была и мать ея» (III, 15). Тѣмъ не менѣе странности въ поведеніи Анны Андреевны имѣли въ его глазахъ своеобразную прелесть: онѣ для него были неотъемлемой принадлежностью высшаго тона и свѣтскаго обращенія, подобно тому, какъ странные поступки неразлучны и съ ученымъ званіемъ. Внутренно вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ жены, что онъ «простой человѣкъ», что ему «нравится все такое грубое», что онъ можетъ «иногда вымолвить такое словцо, какого въ хорошемъ обществѣ никогда не услышишь» (V, 1), и смолкая въ вопросахъ «высшаго тона» предъ авторитетомъ жены, Антонъ Антоновичъ совершенно устранилъ себя отъ воспитанія единственной[1]) своей дочери, предоставивъ эту тя-

---

[1]) У городничаго дѣтей всего одна дочь. При первой встрѣчѣ съ Хлестаковымъ онъ, правда, вопитъ: «Помилуйте, не погубите! Жена, дѣти маленькія... Не сдѣлайте несчастнымъ человѣка!» (II, 8). Но эта стереотипная мольба предъ начальствомъ всѣхъ чиновниковъ стараго времени, пойманныхъ въ преступленіи (такъ Чичиковъ, холостой человѣкъ, просилъ помилованія ради семейства, дѣтей (V т., 394 стран.), будучи такою же явной ложью, какъ и то, что «унтеръ-офицерша сама себя высѣкла» (IV, 15), лишь раскрываетъ безграничный страхъ городничаго, позже, съ потрясающимъ реализмомъ обрисованный во 2 части «Мертвыхъ душъ» въ сценѣ объясненій схваченнаго Чичикова съ генералъ-губернаторомъ. Въ одномъ изъ набросковъ, исправляющихъ первоначальный текстъ «Ревизора», городничій, представляя Хлестакову свое семейство, прямо говоритъ: «Это — одиночка дочь моя» (VI т., 150 стран.). И въ послѣдней редакціи, которой мы держимся при разборѣ комедіи, нѣтъ никакихъ ука-

желую «комиссію» всецѣло искусству Анны Андреевны. Отчасти поэтому, отчасти за недосугомъ у него нѣтъ привязанности къ дочери. На протяженіи всей комедіи онъ ни разу не обращается къ ней и даже не называетъ ея по имени, хотя для проявленія родительскихъ чувствъ былъ весьма благопріятный моментъ — благословеніе ее на бракъ. Кругъ семейныхъ чувствъ вообще, въ частности же сердечная любовь къ дочери настолько чужды душѣ городничаго, спеціализовавшагося на служебныхъ продѣлкахъ, что, мечтая о генеральствѣ и скачкѣ на почтовыхъ съ фельдъегерями и адъютантами, онъ не вспоминаетъ о дочери, чрезъ которую достигнетъ такого счастья.

Такимъ образомъ, практика двадцатилѣтней семейной жизни привела къ точному разграниченію круга правъ и обязанностей между мужемъ и женой. Область воспитанія и общественныхъ приличій: «тонкаго обращенія» даже со «столичною штучкою», внѣшняго благородства, свѣтской порядочности — словомъ, всего того, что сообщало семьѣ городничаго и его дому лоскъ, принадлежала всецѣло вѣдѣнію Анны Андреевны, жена знала только, что у нея и ея «Машеньки» всегда есть все, что только нужно, начиная отъ дорогой шали (I, 1), палеваго платья (III, 3) и оканчивая персидскимъ ковромъ (IV, 17) и амбре (V, 1), что по хозяйству она ни въ чемъ не должна терпѣть недостатка, а какими путями добывается все это, чѣмъ рискуетъ мужъ ради этихъ благъ, такими вопросами она никогда не задавалась. Въ его служебныя дѣла, его продѣлки и возможныя отъ нихъ послѣдствія она совершенно не была посвящена имъ, хотя охотно принимала приношенія, напр., взяла отъ купчихи Пантелеевой три штуки полотна (IV, 11), если вѣрить разсказу слесарши Пошлепкиной, и посылала слугу въ бакалейную лавку Абдулина, какъ въ собственную кладовую (III, 2). Тяготы своей службы и житейской борьбы Антонъ Антоновичъ несъ безраздѣльно, признавая своею обязанностью устроить жизнь благовоспитаннаго существа, согласившагося на бракъ съ нимъ, такъ, чтобы она текла «въ эмпиреяхъ», среди всевозможныхъ удовольствій, и отстраняя отъ «душеньки» все, что могло бы омрачить ея жизнерадостное настроеніе, такъ какъ дурное расположеніе «Анны Андреевны» отзывалось прежде всего на немъ самомъ, «чурбанѣ».

Съ появленіемъ въ домѣ Антона Антоновича Анны Андреевны явилась новая, дорого оплачиваемая забота о поддержаніи дома на должной высотѣ: пріемы и выѣзды, угощенія и наряды все это требовало расходовъ, покрытіе которыхъ было не по средствамъ полицейскому чиновнику, съ «казеннымъ жалованьемъ, не хватающимъ даже на чай и сахаръ» (II, 8). Непрерывное и неослабное стремленіе

заній на то, что Гоголь хотѣлъ сдѣлать изъ городничаго человѣка многосемейнаго. Да это и противорѣчило бы общей идеѣ, воплощенной художникомъ въ этомъ типѣ людей, по внутреннему импульсу, въ силу привычки (а не подъ вліяніемъ необходимости, крайней нужды) «болѣе всего озабоченныхъ, чтобы не пропускать того, что плыветъ въ руки».

къ наживѣ, охватившее душу Антона Антоновича уже въ первые годы службы, теперь все болѣе и болѣе должно было расти и крѣпнуть, особенно въ виду увеличенія семейства послѣ рожденія дочери. Сюда-то исключительно и были направлены всѣ силы ума, опыта и знанія людей. Добившись теплаго мѣстечка городничаго, Антонъ Антоновичъ зажилъ въ свое удовольствіе: формальное отправленіе служебныхъ обязанностей, «непропусканіе того, что плыветъ въ руки», и прятанья концовъ въ воду — вотъ тотъ кругъ мыслей, чувствъ и отношеній, въ который роковымъ ходомъ всей жизни заключилась чиновничья дѣятельность Сквозника-Дмухановскаго.

Къ тридцатилѣтію службы, когда городничій выведенъ въ комедіи (V, 8), у него накопился огромный и разнообразный опытъ по службѣ, не даромъ, впрочемъ, пріобрѣтенный, о чемъ говоритъ появившаяся въ волосахъ просѣдь (II, 199). Ужъ въ должности городничаго пришлось ему служить подъ начальствомъ трехъ губернаторовъ: каждый былъ съ своеобразнымъ характеромъ, съ оригинальными вкусами и требованіями, съ особеннымъ взглядомъ на службу. И всѣхъ онъ умѣлъ обойти, всѣмъ удавалось угодить и понравиться, обдѣлывая въ то же время свои и крупныя и мелкія дѣла подъ сурдинкой (V, 8). Не мало могъ бы городничій разсказать намъ крупныхъ дѣлъ изъ своего прошлаго. Вотъ что, онъ самъ припоминаетъ въ комедіи только случайно, вскользь: утайка суммъ, отпущенныхъ 5 лѣтъ назадъ казною на сооруженіе церкви при богоугодномъ заведеніи (I, 5), постройка моста, на который не было истрачено дерева и на сто рублей, а по счетамъ подрядчика значилось на двадцать тысячъ (V, 2), поставка гнилого сукна на подрядѣ, принесшая казнѣ убытокъ въ 100 тысячъ (V, 2).

Если обкрадываніе казны на огромныя суммы совершалось при случаѣ, то вымоганіе взятокъ съ «купечества и гражданства», не достигая въ каждомъ отдѣльномъ разѣ такихъ крупныхъ размѣровъ, примѣнялось регулярно, неослабно, изо дня въ день. Несмотря на то, что привыкшее къ поборамъ купечество «порядокъ всегда исполняло» аккуратно (IV, 10) и не могло представить себѣ никакой просьбы къ начальству или поздравленія безъ приличнаго подношенія (даже, ища защиты отъ «обижательства» у Хлестакова, оно «кланяется» «сахарцомъ, кузовкомъ вина», серебрянымъ «подносикомъ» и пятью сотенными), однако, поборы Антона Антоновича заставляли «просто хоть въ петлю полѣзать» (IV, 10). «Такого городничаго никогда еще не было» (IV, 10). «Что нужно на платья супружницѣ и его дочкѣ — купцы противъ этого не стоятъ». Въ дни поздравленій доставлялось въ его домъ все, что было необходимо для удовлетворенія потребностей широкой жизни: «Всего нанесешь, ни въ чемъ не нуждается» (IV, 10), говорятъ купцы, нисколько не тяготясь этимъ. Но ихъ угнетала безграничность поборовъ, зависящихъ всецѣло отъ произвола градоправителя, безъ стѣсненія нарушавшаго всѣ выработанные житейскою практикою предѣлы. Городничій любилъ «поити

въ дань» (по выраженію лѣтописца, разсказывающаго о походахъ въ древлянскую землю): «Придетъ въ лавку и, что ни попадется, все беретъ. Сукна увидитъ штуку — говоритъ: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка ко мнѣ». Ну и несешь, а въ штукѣ-то будетъ безъ мала аршинъ пятьдесятъ» (IV, 10).

Долголѣтняя погоня за наживой обратилась у него уже въ безотчетную привычку все прибирать къ рукамъ, а не только то, что цѣнно. Эта инстинктивная наклонность получила выраженіе себѣ и въ соотвѣтствующихъ дѣйствіяхъ мускулатуры: руки его безсознательно протягиваются къ тому, что близко лежитъ, а пальцы, захвативъ предметъ, сами собою сжимаются. «Такъ все и припрятываешь въ лавкѣ, когда его завидишь. То-есть, не то ужъ говоря, чтобъ какую деликатность, всякую дрянь беретъ: черносливъ такой, что лѣтъ уже по семи лежитъ въ бочкѣ, что у меня сидѣлецъ не будетъ ѣсть, а онъ цѣлую горсть туда запуститъ» (IV, 11). «Бери, что только можешь взять. На что жъ привѣшены намъ руки, какъ не на то, чтобъ брать?» могъ бы и городничій пропѣть изъ пѣсенки своего дѣда, героя «Ябеды» Капниста[1]).

Кромѣ жадности начальника, купеческую депутацію, пришедшую жаловаться мнимому ревизору, возмущаетъ еще то обстоятельство, что городничій, позволяя себѣ нагло попирать всякія установленныя въ бюрократическомъ обиходѣ правила доброхотныхъ приношеній, старается поставить себя подъ защиту этихъ самыхъ правилъ: «Именины его бываютъ на Антона, и ужъ, кажись, всего нанесешь, ни въ чемъ не нуждается; нѣтъ, ему еще подавай: говоритъ, и на Онуфрія его именины» (IV, 10).

Комедія застаетъ Антона Антоновича наверху житейскаго благополучія, завоеваннаго имъ въ разнообразныхъ схваткахъ во время долголѣтней службы. Устраивая свои дѣлишки, обкрадывая казну и вымогая взятки съ «купечества и гражданства», онъ велъ опасную игру: приходилось имѣть дѣло съ «мошенниками надъ мошенниками, пройдохами и плутами такими, что весь свѣтъ готовы обворовать» и вездѣ онъ выходилъ сухимъ изъ воды, всѣхъ «поддѣвалъ на уду» (V, 8): «Бывали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спасибо получалъ» (I, 3). Ему уже лѣтъ подъ 50; но онъ хорошо сохранился, получивъ въ наслѣдство крѣпкое тѣлосложеніе и не бывъ избалованъ нѣжнымъ уходомъ въ дѣтствѣ. Онъ давно уже правитель города, службу свою изучилъ до тонкости и можетъ безбоязненно пользоваться трудами тридцатилѣтней чиновничьей дѣятельности: за устойчивое будущее ручается предъ его осторожной мыслью

---

[1]) Взяточничество городничаго въ комедіи изображено въ такихъ размѣрахъ и съ такимъ разнообразіемъ и силою, что этою чертою накладывается яркая печать на весь чиновничій мірокъ «Ревизора», хотя въ послѣднемъ, въ числѣ пяти главныхъ чиновниковъ, двое: почтмейстеръ и смотритель училищъ совершенно не причастны этому пороку, да и третій судья тоже долженъ быть признанъ за честнаго человѣка по тому времени, когда не бралъ только тотъ, кто не хотѣлъ.

сознаніе собственныхъ силъ, добытое богатымъ опытомъ въ прошломъ. Бояться чего-нибудь внезапнаго нѣтъ никакихъ основаній: и прежде-то ни разу не было какой-либо чрезвычайной ревизіи, хотя «къ другимъ городамъ подбирались» (I, 1), а теперь, когда онъ сталъ еще опытнѣе, и подавно ихъ не можетъ быть. Вслѣдствіе постоянныхъ удачъ въ жизни и увѣренности въ себѣ, у него выработался апломбъ, умѣнье держать себя въ обществѣ съ достоинствомъ, говорить внушительно.

Такъ безмятежно въ почетѣ и довольствѣ поживалъ Антонъ Антоновичъ Сквозникъ-Дмухановскій до самаго того злополучнаго дня, когда имъ было получено письмо съ извѣстіемъ о ревизорѣ инкогнито: казнокрадство и взяточничество съ одной стороны, охота и карты, съ другой, составляли существо жизни этого лица, являясь главнымъ его дѣломъ и развлеченіемъ.

Еще наканунѣ перваго изъ тѣхъ двухъ дней, которые изображены въ «Ревизорѣ», онъ, ничего не предчувствуя, спокойно провелъ вечеръ въ обществѣ представителей уѣзднаго чиновничества. Съ удовольствіемъ послушалъ онъ воодушевленные разсказы доморощеннаго «цицерона» Аммоса Ѳедоровича: тотъ съ увлеченіемъ посвящалъ слушателей то въ сущность «собственной» космогонической теоріи «о сотвореніи міра» (I, 1) и о «столпотвореніи» (V, 1), отъ которой даже у крѣпкаго нервами Антона Антоновича «волосы дыбомъ поднимались», то въ добродѣтели охотничьей «своры или гончей ищейки» (IV, 1): Перекинулись и въ картишки, при чемъ въ «банчишку» Антону Антоновичу удалось «выпонтировать сто рублей» у представителя просвѣщенія, смотрителя учебныхъ заведеній Луки Лукича Хлопова (III, 5). Словомъ, вечеръ прошелъ какъ нельзя лучше.

Спалось, однако, Антону Антоновичу не совсѣмъ спокойно: «Всю ночь снились какія-то двѣ необыкновенныя крысы, какихъ онъ никогда и не видывалъ: черныя, неестественной величины! пришли, понюхали и пошли прочь» (I, 1). Будучи суевѣренъ, онъ всталъ въ смутномъ настроеніи духа: не то чтобы было предчувствіе бѣды, а такъ какъ-то не по себѣ. «Я какъ будто предчувствовалъ» (I, 1).

Часовъ этакъ въ девять утра приносятъ городничему письмо отъ стараго товарища по службѣ, переселившагося служить въ губернскій городъ, Андрея Ивановича Чмыхова. Другъ, узнавъ изъ самаго достовѣрнаго источника, поспѣшилъ увѣдомить своего кума, что долженъ пріѣхать для ревизіи всей губерніи, и въ особенности родного уѣзда, особый чиновникъ, представляющій себя частнымъ лицомъ; быть можетъ, онъ даже уже пріѣхалъ и живетъ гдѣ-нибудь инкогнито.

Извѣстіе это поразило Антона Антоновича. Онъ тотчасъ же подѣлился имъ съ женой, на которую, впрочемъ, сообщеніе мужа не произвело никакого впечатлѣнія, и съ вездѣ поспѣвающимъ Петромъ Ивановичемъ Бобчинскимъ, отъ вниманія котораго не ускольз-

нуло «смущеніе Антона Антоновича» (I, 3). Но городничій не растерялся: увѣренность въ себѣ, внушаемая тридцатилѣтнимъ служебнымъ опытомъ, и воспоминаніе о счастливыхъ выходахъ изъ затрудненій подсказали ему, что надо энергично дѣйствовать, чтобы скрыть свои «грѣшки и все привесть въ порядокъ, пока о пребываніи секретнаго ревизора въ городѣ ничто еще не свидѣтельствуетъ. Онъ немедленно дѣлаетъ кое-какія распоряженія «по своей части» и тутъ же посылаетъ за своими товарищами — начальниками отдѣльныхъ частей. Приглашаетъ онъ ихъ къ себѣ не потому, чтобы, растерявшись при надвигающейся опасности, онъ надѣялся найти у нихъ поддержку (такъ упавшій духомъ Борисъ Годуновъ въ трагедіи Пушкина напрасно ищетъ указаній у боярской думы для борьбы съ Самозванцемъ). Онъ счелъ нужнымъ предувѣдомить ихъ частію въ силу товарищескихъ отношеній, частію изъ расчета, по принципу взаимопомощи: попадись въ бѣду одинъ изъ нихъ, хотя бы, напримѣръ, коварный Артемій Филипповичъ, съ которымъ городничій подѣлилъ деньги, отпущенныя на постройку церкви при богоугодномъ заведеніи, или крайне трусливый Аммосъ Ѳедоровичъ, и тогда не сдобровать и ему самому, городничему, который былъ, пожалуй, и вообще отвѣтственъ за порядки въ различныхъ частяхъ уѣздной администраціи.

Тѣ не замедлили явиться. Чувствуя свое умственное превосходство въ обществѣ оторопѣвшихъ и ненаходчивыхъ сослуживцевъ, онъ ощущаетъ подъемъ духа и, резонерствуя, мягко даетъ каждому изъ нихъ совѣты, какъ «сдѣлать, чтобы все было прилично». Онъ прекрасно понимаетъ, что чиновникъ, пріѣхавшій для ревизіи на короткое время, не можетъ вникнуть въ самый ходъ административной машины и потому долженъ судить о служебной дѣятельности чиновниковъ, главнымъ образомъ, по внѣшнимъ признакамъ и по первому впечатлѣнію. Дѣлая указанія, Антонъ Антоновичъ проявляетъ несомнѣнную практическую сноровку, большой опытъ и, что важнѣе всего въ такихъ случаяхъ, прекрасно предугадываетъ возможную точку зрѣнія случайнаго ревизора, смотрящаго на все съ высоты птичьяго полета. Вотъ для примѣра его совѣтъ попечителю богоугодныхъ заведеній: «Лучше, если бы больныхъ было меньше: тотчасъ отнесутъ къ дурному смотрѣнію или къ неискусству врача». Еще бо́льшая опытность, можно сказать, даже прозорливость человѣка бывалаго обнаруживается въ слѣдующемъ его замѣчаніи касательно школьнаго преподавателя: «Если онъ сдѣлаетъ такую рожу посѣтителю — это можетъ быть очень худо: господинъ ревизоръ или другой кто можетъ принять на свой счетъ. Изъ этого, чортъ знаетъ, что̀ можетъ произойти». Смотритель училищъ могъ бы сказать про Антона Антоновича, что тотъ «хоть не бабка, да отгадка». Лука Лукичъ тутъ же разсказываетъ печальный эпизодъ: «Вотъ еще на-дняхъ, когда зашелъ было въ классъ нашъ предводитель: онъ скроилъ такую рожу, какой я никогда не видывалъ. Онъ-то ее сдѣлалъ отъ

добраго сердца, а мнѣ выговоръ: зачѣмъ вольнодумныя мысли внушаются юношеству». Произошло, дѣйствительно, «чортъ знаетъ что»: посѣтитель чуть вошелъ въ классъ — и тотчасъ же выскочилъ оттуда, принявъ гримасу на свой счетъ; въ результатѣ — обвиненіе въ «вольнодумныхъ мысляхъ»!

Дѣлаетъ свои указанія городничій, человѣкъ вообще грубый, съ тактомъ, мягко, осторожно, чтобы не задѣть самолюбія собесѣдника въ присутствіи товарищей и не вызвать противъ себя раздраженія и неудовольствія въ трудную минуту. Насколько остороженъ и деликатенъ городничій подъ гнетомъ несущейся бѣды, видно хотя бы изъ слѣдующихъ его словъ: «Есть противъ этого (виннаго запаха) средства, если уже это дѣйствительно, какъ онъ (засѣдатель) говоритъ, у него природный запахъ». Вѣдь, въ дѣйствительность такой причины виннаго запаха онъ ни на одну минуту не вѣритъ, однакоже не считаетъ удобнымъ возражать, чтобы порицаніемъ отсутствующаго засѣдателя не былъ задѣтъ какъ-нибудь ближайшій начальникъ послѣдняго — Аммосъ Ѳедоровичъ. И такая мягкость была далеко не излишней: судья, человѣкъ великаго понятія о своихъ достоинствахъ, и безъ того «вломился въ амбицію» по поводу словъ городничаго, что «нѣтъ человѣка, который бы за собою не имѣлъ какихъ-нибудь грѣшковъ».

Антонъ Антоновичъ ослабляетъ непріятный характеръ своихъ замѣчаній желаніемъ взглянуть на дѣло съ иной, общей точки зрѣнія, которая будто бы оправдываетъ то, что съ точки зрѣнія ревизора могло бы оказаться виной. Здѣсь-то преимущественно проявляется та черта, которая дала основаніе Гоголю сказать, что городничій «нѣсколько резонеръ». Но въ стремленіи показать предъ своимъ братомъ способность къ разносторонней оцѣнкѣ предмета, отсутствіе узкаго взгляда, умѣнье посмотрѣть съ точки зрѣнія общихъ будто бы принциповъ, городничій и обнаруживаетъ предъ нами отсутствіе широкаго умственнаго развитія, происходящее отъ недостатка образованія: «Они люди, конечно, ученые и воспитывались въ разныхъ коллегіяхъ, но имѣютъ очень странные поступки, натурально, неразлучные съ ученымъ званіемъ», говоритъ онъ о преподавателяхъ городского училища.

Всю первую сцену ведетъ городничій съ полнымъ самообладаніемъ, какъ человѣкъ, привыкшій первенствовать въ своемъ кружкѣ; онъ, увлеченный своими разсужденіями предъ товарищами, съ почтительностью слушающими умныя рѣчи, и, какъ будто нѣсколько любуясь самъ собою, почти что даже забывается: удручающая его мысль о секретной ревизіи какъ бы ушла подъ порогъ сознанія. Но тамъ гдѣ-то, въ самой глубинѣ груди, безотчетное, томящее чувство все-таки сверлитъ, сосетъ, тревожитъ. Едва только умъ пересталъ быть занятымъ привычной работой — распоряженіями, указаніями, замѣчаніями, увертливыми разсужденіями, а ужъ мысль о ревизорѣ — инкогнито ударяетъ, какъ молотомъ, и городничій,

не замѣтивъ наивной грубости и невольнаго укола въ словахъ Луки Лукича, совершенно невпопадъ восклицаетъ: «Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое!»

А лишь только явилась мысль о страшномъ «инкогнито», воображеніе подъ вліяніемъ боязни пошло работать съ лихорадочной поспѣшностью, какъ кошмаръ, наваливаясь на душу[1]). Но видавшій виды Антонъ Антоновичъ, будучи хорошаго здоровья и съ крѣпкими нервами, не теряетъ самообладанія, направляя несущуюся предъ его воображеніемъ бѣду мимо себя: «Вдругъ заглянетъ»: «А, вы, здѣсь, голубчики! А кто», скажетъ, «здѣсь судья?» — «Ляпкинъ-Тяпкинъ». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодныхъ заведеній?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» «Вотъ что худо!» Какъ будто для него худо именно то, что позовутъ Ляпкина-Тяпкина и Землянику[2]).

Городничій не продолжаетъ, но то обстоятельство, что воображеніе не въ силахъ представить дальнѣйшаго, — эта неопредѣлимость, невыясненность, непостижимость нависшей грозы только еще сильнѣе давитъ душу страхомъ, мрачитъ сознаніе, бросая человѣка во власть случая.

Является почтмейстеръ, который нѣсколько запоздалъ на приглашеніе. На торопливый вопросъ Ивана Кузьмича Шпекина: «Объясните, господа, что, какой чиновникъ ѣдетъ?» Антонъ Антоновичъ отвѣчаетъ также вопросомъ, свидѣтельствующимъ о подавленности сознанія: «А вы развѣ не слышали?» Ему кажется, что весь городъ уже знаетъ о ревизорѣ, всѣ только и говорятъ объ угрожающей городничему бѣдѣ; ему ужъ представляется, какъ «тамъ ужъ просьбы изъ-подъ полы такъ и готовятъ», что онъ высказываетъ нѣсколько позже (1, 4).

Слѣдующій вопросъ Ивану Кузьмичу: «Ну, что? какъ вы думаете объ этомъ?» показываетъ, что городничій, приглашая товарищей, какъ будто надѣялся услышать отъ нихъ что-нибудь успокоительное (въ чемъ онъ и ошибся). Таковъ смыслъ и слѣдующаго вопроса: «Ну, что же, какъ вы, Иванъ Кузьмичъ?»

Среди сослуживцевъ онъ крѣпится, скрывая свое волненіе: «Страху-то нѣтъ, а такъ, немножко»... А между тѣмъ его встревоженная мысль неослабно работаетъ надъ тѣмъ, какъ избыть бѣду: город-

---

[1]) Одна изъ основныхъ причинъ роковой ошибки городничаго, «принявшаго сосульку, тряпку за важнаго человѣка» (V, 8), скрывается въ дѣятельности воображенія, вызвавшаго усиленное до помраченія сознанія чувство страха: «Страшный образъ всегда страшнѣе факта. Боязнь, внушаемая фактомъ, усугубляется, если этотъ фактъ апперцепируется образомъ, который самъ по себѣ страшенъ, и наоборотъ, онъ теряетъ добрую волю своего пугающаго значенія, если ему сопутствуютъ образы, неспособные пугать». (Овсянико-Куликовскій. «Этюды о творчествѣ Тургенева». 1896 года стран. 50.)

[2]) И вѣдь городничій въ сущности и здѣсь предугадалъ: появленіе жандарма въ его домѣ въ то время, когда всѣ были тамъ въ сборѣ, совершилось съ полною неожиданностью, повергши чиновниковъ въ паническій страхъ.

ничій просить почтмейстера прочитывать поступающія въ контору письма. Предложенія почтмейстера прочесть ему «назидательное» письмо онъ отклоняетъ вѣжливо и довольно спокойно: «Ну, теперь не до того». Но когда ораторъ-судья принялся было развивать одну изъ своихъ излюбленныхъ темъ о псовой охотѣ, то Антонъ Антоновичъ, не выдержавъ, срывается и тѣмъ сразу выдаетъ сильное душевное волненіе: «Батюшки, не милы мнѣ теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидитъ въ головѣ. Такъ и ждешь, что вотъ отворится дверь и шасть»... Не успѣлъ онъ докончить рѣчи, нашептанной ему пугливымъ воображеніемъ, какъ съ шумомъ врываются городскіе сплетники Бобчинскій и Добчинскій, наперерывъ, запыхавшись, восклицающіе: «Чрезвычайное происшествіе. Неожиданное извѣстіе!» У суевѣрнаго городничаго помутилось сознаніе, сердце оторвалось: въ первую минуту внезапный шумъ отворяющейся двери и возгласы входящихъ должны были показаться ему и его гостямъ исполненіемъ послѣднихъ его словъ.

Безсвязная, прерывистая рѣчь вѣстовщиковъ, счастливыхъ возможностью сообщить сенсаціонную новость и не желающихъ уступить одинъ другому пальмы первенства, нарушаетъ самообладаніе разстроеннаго городничаго, чуть не съ мольбой восклицающаго: «Да говорите, ради Бога, что такое! У меня сердце не на мѣстѣ... Ну, что, что такое?» Длинный разсказъ Бобчинскаго, съ безконечно и явно ненужными подробностями, дополняемыми Добчинскимъ, все болѣе наэлектризовывая душу щемящей тревогой, держитъ слушателей въ томительномъ ожиданіи и гнетущемъ предчувствіи чего-то чрезвычайнаго, что должно стоять въ связи съ ползущимъ страшилищемъ въ образѣ ревизора-инкогнито.

Заключительныя слова разсказчика: «А вотъ онъ-то и есть этотъ чиновникъ» представляются для слушателя неожиданнымъ выводомъ. Отсюда естественное недоумѣніе, хотя и не окрашенное, какъ и все теперь у городничаго, какимъ-то предчувствіемъ: «Кто, какой чиновникъ?» Отвѣтъ торжествующаго своей проницательностью Бобчинскаго, непоколебимо увѣреннаго въ правотѣ догадки, которая пришла ему на мысль въ то же мгновеніе, какъ и болѣе серьезному Добчинскому, повергаетъ городничаго въ неописуемый ужасъ: «Что вы, Господь съ вами! это не онъ». Въ этихъ словахъ предъ ними вскрывается душевное состояніе человѣка, безнадежно борющагося противъ очевидности, открещивающагося отъ того, въ несомнѣнности чего онъ уже увѣренъ, хотя и не желаетъ еще вѣрить: такъ ужасна дѣйствительность! Грозное предчувствіе, державшее все время душу въ тискахъ страха, оправдалось; сознаніе помутилось, умъ въ оцѣпенѣніи: безсмысленные доводы не одного уже Бобчинскаго, но и Добчинскаго, съ пѣной у рта защищающихъ вѣрность своей догадки, въ справедливости которой никто изъ присутствующихъ и не подумалъ усомниться, скользятъ по поверхности сознанія, не захватывая разсудочного механизма. Убѣжденность двухъ лицъ передается по за-

конамъ внушенія усыпленному, какъ въ гипнотизмъ, сознанію[1]). Сомнѣнія для городничаго больше невозможно; ревизоръ въ городѣ!

Это тотъ моментъ, когда подъ вліяніемъ страха безповоротно совершена городничимъ роковая ошибка, носящая въ логикѣ спеціальное названіе «невнимательности къ доводамъ»:[2]) «вотъ подлинно, если Богъ хочетъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ» (V, 8).

Съ этихъ поръ загипнотизированная мысль городничаго вплоть до послѣдней сцены комедіи, когда происходитъ чтеніе письма Хлестакова, не въ состояніи уже, несмотря на краснорѣчивыя противопоказанія, высвободиться изъ тисковъ непровѣреннаго убѣжденія. Умъ его теперь будетъ дѣйствовать на основаніи слѣдующаго психологическаго принципа: «смотря по тому, какимъ образомъ человѣкъ относится къ какимъ-либо явленіямъ при первой встрѣчѣ съ ними, соотвѣтственно этому скорѣе всего онъ будетъ къ нимъ относиться и впослѣдствіи» (Лесгафтъ. «Семейное воспитаніе ребенка и его значеніе». 1893 года, стран. 57.) Это положеніе вдвойнѣ приложимо къ отношеніямъ Антона Антоновича къ воображаемому ревизору: 1) никакіе, даже самые очевидные признаки не заставятъ городничаго свергнуть Хлестакова съ того высокаго пьедестала, на который онъ поставленъ представителемъ города по иниціативѣ двухъ Петровъ Ивановичей и при безмолвномъ одобреніи всѣхъ чиновниковъ. 2) Пріемы, къ которымъ прибѣгалъ Антонъ Антоновичъ прежде, обходя начальство, онъ примѣнитъ немедленно и къ мнимому ревизору.

Огромная душевная энергія ни на одну минуту не даетъ городничему упасть духомъ. Не останавливаясь долго на сомнѣніи въ личности проѣзжающаго, его практическій умъ, «чтобы узнать,

---

[1]) Здѣсь переплетается внушеніе съ самовнушеніемъ. Слѣдующія мысли французскаго психолога нѣсколько разъясняютъ намъ этотъ душевный процессъ: «Первое, что замѣчается при самовнушеніи, это суженіе поля сознанія; затѣмъ на болѣе или менѣе тускломъ фонѣ нашего обычнаго психологическаго состоянія постепенно выдѣляется какое-нибудь чувствованіе, какая нибудь идея; оно привлекаетъ вниманіе и становится такимъ образомъ достаточно сильнымъ, чтобы уничтожить противодѣйствующія вліянія. Возникшее отсюда убѣжденіе становится тогда свѣточемъ, путеводителемъ въ нашей дѣятельности». (Ф. Кейра. «Внушеніе и его роль въ дѣлѣ воспитанія».)

[2]) Вотъ какъ опредѣляетъ англійскій ученый Минто сущность этой ошибки, допущенной Антономъ Антоновичемъ: это есть просто аргументація не на тему, отвлеченіе вниманія собесѣдника на постороннія соображенія. Съ помощью этой уловки часто достигаютъ цѣли, доказавъ совсѣмъ не то, что служитъ предметомъ спора, а какое-нибудь другое положеніе, имѣющее съ нимъ поверхностное сходство или болѣе или менѣе отдаленную связь». («Дедуктивная и индуктивная логика» 1896 г., стран. 284—285.) Доводы Добчинскаго: «Онъ! и денегъ не платитъ и не ѣдетъ. И подорожная прописана въ Саратовъ» и Бобчинскаго «онъ, онъ, ей Богу, онъ... Такой наблюдательный: все смотрѣлъ. Увидѣлъ, что мы съ Петромъ-то Ивановичемъ ѣли семгу, такъ онъ и въ тарелки къ намъ заглянулъ», не имѣя характера умышленной уловки, являются въ сущности доказательствомъ совершенно противнаго тому положенія, съ которымъ ихъ хотѣли логически связать разсказчики.

что такое пріѣзжій ревизоръ и въ какой мѣрѣ нужно его опасаться», сразу переходитъ къ собиранію свѣдѣній о ревизорѣ: «Гдѣ же онъ тамъ живетъ? И давно онъ здѣсь?»

Неожиданный отвѣтъ на послѣдній изъ вопросовъ: «А двѣ недѣли ужъ» бросаетъ городничаго въ жаръ[1]): Съ лихорадочною быстротою проносятся въ его памяти тяжелые факты послѣдняго времени: «Въ эти двѣ недѣли высѣчена унтеръ-офицерская жена! Арестантамъ не выдавали провизіи! На улицахъ кабакъ, нечистота! Позоръ, поношенье!» (хватается за голову). Если бы еще до сихъ поръ для городничаго и было возможно (во всякомъ случаѣ съ большимъ трудомъ) какъ-нибудь возвратиться въ своихъ размышленіяхъ къ исходному пункту, т.-е. къ провѣркѣ основного факта подлинности ревизора, то теперь, послѣ возникновенія тревожной мысли, что дѣянія его за двухнедѣльный срокъ не могли укрыться отъ ревизора, ему не своротить ужъ съ ложнаго пути.

Несмотря на душевную тревогу, городничій не теряетъ однако самообладанія: онъ видитъ непригодность предложенія Артемія Филипповича: «ѣхать парадомъ въ гостиницу» и чудачество Аммоса Ѳедоровича, совѣтующаго «впередъ пустить голову, духовенство, купечество», и беретъ, по привычкѣ быть всегда впереди, все дѣло на себя[2]). Соображая шансы: «Молодого скорѣе пронюхаешь. Бѣда, если старый чортъ; а молодой весь наверху!» онъ подобно тому, какъ опытный стратегъ съ одного взора, брошеннаго на поле битвы, видитъ, съ какой стороны легче всего начать атаку противника, — быстро составляетъ цѣлесообразный планъ дѣйствій: «Я отправляюсь самъ, или вотъ хоть съ Петромъ Ивановичемъ (Добчинскимъ), приватно, для прогулки, навѣдаться, не терпятъ ли проѣзжающіе непріятностей». Такъ и виденъ старый боецъ, понимающій, что разъ завязалась борьба, то спасеніе не въ бѣгствѣ, а въ рукопашной схваткѣ со врагомъ, гдѣ еще могутъ выручить опытность, смѣтка и молодецкая ухватка.

Собираясь ѣхать въ гостиницу, Антонъ Антоновичъ отдаетъ новыя приказанія подчиненнымъ «по своей части»: подместь улицу къ трактиру, выразить пріѣзжему чиновнику полное довольство службой, сказать о мнимомъ пожарѣ церкви, не давать воли кулакамъ. Тутъ же у него вырываются слова: «О, охъ, хо, хо, охъ, грѣшенъ, во многомъ грѣшенъ», которыя могутъ подать поводъ думать, что наступилъ въ душевной жизни городничаго великій, поворотный моментъ сознанія своихъ беззаконныхъ дѣлъ при свѣтѣ пробужденной бѣдствіемъ совѣсти: такъ буря, потрясая морскую глубину, вздымаетъ на поверхность таящіяся на днѣ сокровища. Но такое заключеніе было бы поспѣшно: надвигающаяся гроза не въ силахъ была

---

[1]) «Двѣ недѣли! (въ сторону) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники!»

[2]) «Нѣтъ, нѣтъ; позвольте ужъ мнѣ самому. Бывали трудные случаи въ жизни, сходили, еще даже и спасибо получалъ. Авось, Богъ вынесетъ и теперь».

пробить кору ложныхъ воззрѣній на жизнь и людей, нароставшую на совѣсти Антона Антоновича по мѣрѣ накопленія житейскаго опыта и счастливыхъ выходовъ изъ подобныхъ же служебныхъ невзгодъ не путемъ правды, а съ помощью пренебреженія нравственнымъ чувствомъ. *Флеровъ.*

Картина распада помѣщичьяго уклада жизни, нарисованная Гоголемъ въ „Мертвыхъ душахъ“, и созданные имъ типы.

«Мертвыя души», несомнѣнно, самое великое изъ произведеній Гоголя и, быть можетъ, по силѣ творческой фантазіи, величайшее изъ произведеній всей русской литературы. Характерная особенность письма Гоголя — необыкновенная пластичность и яркость образовъ — достигаетъ здѣсь своей кульминаціонной точки. Въ русской литературѣ нѣтъ образовъ болѣе яркихъ, болѣе запечатлѣвающихся въ умѣ, чѣмъ образы «Мертвыхъ душъ». Но тѣмъ не менѣе эта дивная картина, по силѣ изобразительности напоминающая кисть Микель-Анджело, имѣетъ мало общечеловѣческаго значенія и врядъ ли способна тронуть европейца. Содержаніе ея слишкомъ національное — русское, и то общечеловѣческое, что, несомнѣнно, есть въ «Мертвыхъ душахъ», слишкомъ облечено въ специфически русскія, и притомъ примитивныя наивныя формы. Эта примитивность чрезвычайно характерна для русской жизни, но она ослабляетъ общечеловѣческое значеніе образовъ, воплощающихъ это давно пережитое другими народами содержаніе. «Мертвыя души» — это картина Руси. Пушкинъ толкнулъ Гоголя поѣздить съ Чичиковымъ по Руси и всмотрѣться въ нее, въ эту Русь. Что именно увидитъ Гоголь, великій поэтъ не могъ предвидѣть, но онъ зналъ, что Гоголь увидитъ многое. И дѣйствительно, Гоголь, всмотрѣвшись, увидѣлъ то, чего не видѣлъ никто, но что, несомнѣнно, было и можетъ быть установлено научно, — картину распада примитивнаго патріархальнаго помѣщичьяго уклада жизни, и то, что онъ видѣлъ вездѣ, — страшную человѣческую пошлость. Увидѣвъ это, онъ въ первомъ томѣ, еще не мудрствуя лукаво, изобразилъ то, что видѣлъ, и получилась страшная картина. Впослѣдствіи онъ испугался ея самъ и сталъ вводить въ эту безотрадную картину «свѣтлые образы», но, по роковой особенности таланта, по характеру міросозерцанія, по свойствамъ русской дѣйствительности не могъ этого выполнить. Какъ только онъ хотѣлъ создать нѣчто идеальное, самое творчество его опошлялось, и получались мертвые, выдуманные и совсѣмъ не идеальные образы.

«Мертвыя души» имѣютъ, по содержанію, нѣчто общее съ «Ревизоромъ», но ихъ масштабъ несравненно крупнѣе. Если въ «Ревизорѣ» передъ нами городъ пошлости, то тутъ уже цѣлая страна пошлости.

Сюжетъ, данный Гоголю Пушкинымъ, былъ чрезвычайно удобенъ. Поѣздка Чичикова за мертвыми душами даетъ возможность нарисовать широкую картину русской жизни, заглянуть и въ городъ и въ разныя помѣщичьи усадьбы.

Въ «Ревизорѣ» передъ нами уѣздное чиновничество, здѣсь — губернское. Въ общемъ, это послѣднее довольно близко напоминаетъ уѣздное, но оно является передъ нами нѣсколько посолиднѣе, въ спокойномъ состояніи, благодушнымъ и безмятежнымъ; только въ самомъ концѣ слухъ о странныхъ покупкахъ Чичикова вызываетъ тревогу и растерянность, напоминающую растерянность героевъ «Ревизора». Чиновники «Мертвыхъ душъ» такъ же легковѣрны и такъ же наивно-безчестны, какъ чиновники «Ревизора». Всѣ они представляютъ собой вполнѣ законченные образы, но авторъ не хочетъ останавливать на нихъ долго вниманія. Онъ останавливается, главнымъ образомъ, на Чичиковѣ и помѣщикахъ.

Чичиковъ — русская разновидность общечеловѣческаго типа плутадѣльца, встрѣчающаяся въ любомъ обществѣ. Безсовѣстный, энергичный, добродушный и приспособляющійся рабъ наживы, Чичиковъ, какъ типъ, нѣчто очень распространенное въ современномъ буржуазномъ обществѣ, но общечеловѣческая основа его слишкомъ закрыта специфическими русскими чертами, притомъ чертами дореформеннаго русскаго быта. Чичиковъ, какъ типъ европейскій, даже, какъ современный русскій, обнаружилъ бы больше лицемѣрія: его плутни были бы облечены въ форму «дѣла», «предпріятія»; онъ сталъ бы грюндеромъ или панамистомъ. Въ примитивномъ, хотя и разлагавшемся быту Россіи временъ Гоголя и Чичиковъ проще, наивнѣе и откровеннѣе. Его плутня — чистая плутня, безъ маски «дѣла», грубая и наивная, могла имѣть мѣсто только среди очень наивнаго общества. Благодаря этой своей наивности, онъ мало интересенъ, какъ общечеловѣческій типъ, но пріобрѣтаетъ интересъ для пониманія быта. Его дѣятельность характеризуетъ общество, въ которомъ онъ живетъ, и остальные образы лишь развиваютъ и углубляютъ эту характеристику. Чичиковъ тоже представитель пошлости, но она не столько въ немъ самомъ, какъ въ его цѣляхъ и пониманіи жизни. Это единственный изъ реальныхъ героевъ Гоголя, который не характеризуется ничтожностью. Онъ все-таки въ своемъ родѣ «сила».

Маниловъ — типъ сентиментально-слащавой пошлости — опять-таки общечеловѣческій типъ, общечеловѣческое значеніе котораго ослаблено его характерно русской откровенностью. Сила обобщенія въ созданіи типа Манилова очень велика, и потому не только самое имя Манилова стало нарицательнымъ, но и создалось слово маниловщина, обозначающее, впрочемъ, не всю сущность типа. Типъ Манилова тѣмъ болѣе замѣчателенъ, что созданіе его представляетъ громадныя трудности. Приходится обобщать почти отрицательныя величины. Гоголь, справляясь съ этой трудностью, привлекаетъ на помощь наружность Манилова, и она много помогаетъ.

«На взглядъ онъ былъ человѣкъ видный», — описываетъ Гоголь Манилова; — черты его были не лишены пріятности, но въ эту пріятность, казалось, переложено было сахару; въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то заискивающее расположенія и знакомства. Онъ улыбался заманчиво, былъ бѣлокуръ, съ голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нимъ не можемъ не сказать: «Какой пріятный и добрый человѣкъ!» Въ слѣдующую затѣмъ ничего не скажешь, а въ третью скажешь: «Чортъ знаетъ, что такое!» и отойдешь подальше; если же не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную. Отъ него не дождешься никакого живого или хоть заносчиваго слова, какое можешь услыхать отъ всякаго, если коснешься задирающаго его предмета».

Вотъ это-то отсутствіе живого слова, живого чувства, при видимости того и другого, и есть характерная черта Манилова. Чувство его удивительно маленькое и ничтожное, и сколько бы онъ ни расточалъ его, отъ этого никому ни тепло ни холодно. Его любезность — къ услугамъ всякаго, какъ и его доброжелательство, но не потому, что онъ дѣйствительно обладаетъ такой любящей душой, а потому, что они ничего ему не стоятъ, — это просто манера, благодушіе растительно-благополучнаго существа. Его чувства, большею частью, не настоящія, а только ихъ фикція. Любовь, дружба Манилова — уже пошлость, уже пародія на любовь и дружбу, уже «маниловщина», видимость чувства, но видимость не преднамѣренная, не лицемѣрная и — не умная. Маниловъ, какъ и Чичиковъ, — типъ общечеловѣческій, но въ ярко-національной формѣ. Маниловъ на Западѣ, особенно въ буржуазномъ обществѣ, — не рѣдкость: онъ можетъ быть грошовымъ филантропомъ, протестантскимъ пасторомъ, журналистомъ, но всегда онъ будетъ сложнѣе нашего Манилова, и угадать его можно не сразу. Національныя особенности Манилова раскрываютъ примитивность быта, какъ и національныя особенности Чичикова. Кромѣ того, Маниловъ раскрываетъ намъ еще одну сторону быта, точнѣе процесса, происходящаго въ немъ. Среда, которая состоитъ изъ Маниловыхъ, конечно, чрезвычайно не жизненная среда. Она не можетъ быть ни прогрессивной, ни консервативной, ни двигаться впередъ, ни отстаивать прежнее; Маниловы сами по себѣ — залогъ распада, и если они встрѣчаются во всякой средѣ, то является вопросъ, насколько ихъ присутствіе уравновѣшено другими, болѣе жизненными элементами. Гоголь это прекрасно понялъ, и когда въ первомъ томѣ «Мертвыхъ душъ» онъ увидѣлъ отсутствіе такихъ жизненныхъ элементовъ, то сталъ ихъ выдумывать, чтобы уйти отъ пессимистическаго вывода. Однако, въ первомъ томѣ, оставаясь на почвѣ фактовъ и разлагающейся помѣщичьей среды, онъ жизненныхъ явленій не находилъ. Картина разложенія помѣщичьей среды у Гоголя нарисована съ полной правдивостью; отъ вниманія Гоголя не ускользаетъ и тотъ фактъ, что при этомъ, какъ при всякомъ процессѣ разложенія, наиболѣе устойчивыми оказываются самыя низшія формы.

Изъ всѣхъ помѣщиковъ первой части единственнымъ жизнеспособнымъ, хозяйству котораго не грозитъ распадъ, является Собакевичъ — самое животное существо изъ всѣхъ образовъ «Мертвыхъ душъ». Съ общечеловѣческой точки зрѣнія это тоже одна изъ разновидностей пошлости, но самая грубая, — животная, та самая, которая въ міровой литературѣ представлена шекспировскимъ Калибаномъ. Собакевичъ жизненен и крѣпокъ, какъ средней величины медвѣдь, но среда, въ которой крѣпки только Собакевичи, конечно, безнадежная среда. Третьей формой распада патріархальнаго помѣщичьяго уклада жизни и третьей разновидностью пошлости является Ноздревъ. Онъ представляетъ собой, подобно Манилову, «видимость», но если Маниловъ видимость чувства, то Ноздревъ видимость «широкой натуры». По существу, онъ менѣе всего можетъ претендовать на признаніе его «широкой натурой»: нахалъ, пьяница, лжецъ, онъ въ то же время трусъ и совершенно ничтожный человѣкъ. Это — лживо-нахальная разновидность пошлости. Какъ общечеловѣческій типъ, она хорошо знакома въ комедіяхъ Аристофана и Плавта. Она присуща и современной европейской жизни, и европейскимъ кузеномъ Ноздрева является Тартаренъ изъ Тараскона. Но Тартаренъ — культурный человѣкъ, а Ноздревъ, — «дикарь» или варваръ. Ноздревъ — очень типичный продуктъ распада патріархальной среды съ ея примитивностью. Малѣйшее давленіе историческаго процесса разлагаетъ эту аморфную среду, почти лишенную силы сопротивленія. Всякіе нравственные устои падаютъ, навыковъ къ борьбѣ за жизнь никакихъ, аппетиты огромные, и вся надежда на плутню. Но и плутня бываетъ разная: плутня Чичикова требуетъ настойчивости, выдержки характера, чего и въ поминѣ нѣтъ въ барской средѣ, и плутня Ноздрева нахально-безшабашная, срывающая: онъ плутуетъ такъ же, какъ ловитъ съ борзыми зайцевъ — съ налету. Два плута, баринъ и чиновникъ — Ноздревъ и Чичиковъ — прекрасно характеризуютъ свойствами своего плутовства свою среду, и нежизнеспособность дворянской среды при этомъ сопоставленіи очевидна.

Четвертая разновидность пошлости — Плюшкинъ это опять-таки общечеловѣческій типъ, воплощенный уже Плавтомъ и Мольеромъ, но у Гоголя онъ въ спеціально русскихъ формамъ, даже въ формахъ опредѣленнаго общественнаго слоя и времени. Плюшкинъ больной душевно, патологическій субъектъ, но болѣзнь его черпаетъ силы въ окружающей средѣ. Въ средѣ всеобщаго мотовства и разоренія, чѣмъ характеризуется помѣщичья жизнь временъ Гоголя, въ обществѣ Пѣтуховъ, Хлобуевыхъ, Чичиковыхъ и Маниловыхъ, въ обществѣ разоряющихся или хищниковъ, или тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, когда кругомъ Ноздревы, Чичиковы и т. д., — человѣка мнительнаго и неглупаго, какимъ былъ Плюшкинъ до развитія его роковой страсти, невольно долженъ былъ охватить страхъ за свое благополучіе, — страхъ, тѣмъ болѣе понятный при сознаніи, что онъ

самъ ничего не знаетъ, ничего не можетъ создать, что пріобрѣтаютъ здѣсь только плутовствомъ или страшной скупостью. И вотъ скупость естественно становится той маніей, въ которую развивается его напуганная мнительность. Плюшкинъ — русскій скупецъ, скупецъ отъ боязни за будущее, въ устройствѣ котораго русскій человѣкъ такъ безпомощенъ. Плюшкинъ больше заботится о томъ, чтобы не выпустить изъ рукъ того, что въ нихъ попало, чѣмъ о наживѣ. Въ Плюшкинѣ процессъ распада помѣщичьяго патріархальнаго уклада жизни отражается, быть можетъ, болѣе, чѣмъ въ какомъ бы то ни было героѣ «Мертвыхъ душъ», но это не мѣшаетъ ему сохранять и общечеловѣческое значеніе. Чрезвычайно характернымъ является тотъ фактъ, что во второй части «Мертвыхъ душъ» мы видимъ во всей полнотѣ картину разложенія помѣщичьяго быта, но ни одинъ изъ образовъ этой части не представляетъ собой общечеловѣческаго типа. Хлобуевъ, Пѣтухъ, Тетенниковъ — яркіе выразители распада дворянскаго быта и, несомнѣнно, художественные типы, но ни одинъ изъ нихъ не можетъ претендовать на общечеловѣчность. Вмѣстѣ съ тѣмъ характерной чертой второй части «Мертвыхъ душъ» является стремленіе создать типы людей, способныхъ сопротивляться процессу распада, типы идеальныхъ хозяевъ — одного изъ братьевъ Платоновыхъ и Скудронжогло.

Удачными типами второй части нужно признать Пѣтуха, Тетенникова, Хлобуева и Бетрищева. Тетенниковъ — это предшественникъ лишнихъ людей и обломовщины въ одно и то же время. Гоголь только намѣчаетъ этотъ типъ, впослѣдствіи столь тщательно разработанный въ нашей литературѣ. Болѣе полная разработка этого явленія, повидимому — внѣ художественныхъ средствъ Гоголя. Образъ этотъ автобіографиченъ, и въ созданіи его, какъ въ созданіи художника Пискарева, отражается «интеллигентская» сторона личности автора. Въ Пѣтухѣ мы видимъ типъ беззаботнаго помѣщичьяго благодушія, спокойно проѣдающаго себя и не способнаго ни къ дѣлу ни къ мысли. Пѣтухъ ближе всего къ образамъ первой части, онъ такъ и просится въ компанію съ Собакевичемъ, Маниловымъ, Ноздревымъ, Плюшкинымъ, если бы онъ былъ разработанъ такъ, какъ они, мы имѣли бы восхитительный типъ добродушной пошлости. Гоголь, однако, здѣсь занялся истолкованіемъ жизни и разсматриваетъ типъ Пѣтуха какъ образчикъ недѣловитости, которую считаетъ основной болѣзнью русской жизни. Желаніе вести своихъ героевъ къ «воскресенію» заставляетъ Гоголя, съ другой стороны, смотрѣть на Пѣтуха не какъ на нѣчто вѣчное, а какъ на временный изъянъ. Гоголь трактуетъ Пѣтуха такъ, какъ-будто стоитъ только прибавить ему дѣловитость, — и будетъ совсѣмъ недурной человѣкъ, тогда какъ эта-то недѣловитость и придаетъ Пѣтуху кое-что привлекательное, и дѣловитый Пѣтухъ мало бы отличался отъ Собакевича. Образъ Пѣтуха, однако, еще полонъ комизма, и добродушно пошлая натура его обрисована ясно, несмотря на тенденцію. — Больше испорченъ тенденціей обли-

ченія недѣловитости самъ по себѣ очень интересный образъ Хлобуева, типъ россійской безтолковости и безалабарности; много возможностей заключаетъ въ себѣ и образъ Бетрищева, къ которому авторъ въ своемъ стремленіи къ «воскрешенію» и «воскресающимъ» слишкомъ добродушенъ. Въ Бетрищевѣ, однако, несмотря на авторское добродушіе къ нему, чувствуются характерныя черточки типа самодура.

Совершенно неудачными являются образы карикатурнаго Кошкарева и идеальнаго Скудронжогло. Оба эти образа, однако, очень важны для выясненія воззрѣній Гоголя. Въ нихъ Гоголь совершенно перестаетъ быть художникомъ, а становится реакціоннымъ публицистомъ. Г. Струве въ эпоху своего марксизма отмѣтилъ, что Кошкаревъ и Скудронжогло являются представителями двухъ типовъ хозяйства, существовавшихъ у стремившихся раціонально хозяйничать помѣщиковъ. Кошкаревъ — карикатурное изображеніе хозяина, стремящагося къ техническимъ усовершенствованіямъ. Такое хозяйство оказывалось иногда экономически нераціональнымъ и даже уродливымъ, но эти уродства были «пѣной на поверхности прогрессивнаго агрономическаго движенія». Пѣна эта бросалась въ глаза, — и вышучивали попытки неудачныхъ реформаторовъ многіе. Вышучиваетъ своего Кошкарева и Гоголь, дѣлая его даже сумасшедшимъ. Однако сквозь очень тенденціозное изображеніе Гоголя, видно, что далеко не всѣ затѣи Кошкарева нелѣпы. Среди заведенныхъ имъ учрежденій Чичиковъ видитъ: «Депо земледѣльческихъ орудій» и «Школу нормальнаго просвѣщенія поселянъ». Эти учрежденія вызываютъ осужденіе Гоголя совсѣмъ не потому, что они были только на бумагѣ. «Школа нормальнаго просвѣщенія» антипатична ему принципіально. Устами Скудронжогло Гоголь говоритъ объ этомъ начинаніи Кошкарева такъ.

«А вотъ другой Донъ-Кихотъ просвѣщенія: завелъ школы! Ну что, напримѣръ, полезнѣе человѣку, какъ значеніе грамоты? А вѣдь какъ распорядился? Вѣдь ко мнѣ приходятъ мужики изъ его деревни: «что, говорятъ, батюшка, такое? сыновья наши совсѣмъ отъ рукъ отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, всѣ въ писаря хотятъ, а, вѣдь, писарь нуженъ одинъ. Вѣдь вотъ что вышло!»

Своими устами въ «Избранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями» Гоголь говоритъ о школѣ въ деревнѣ и грамотности для крестьянъ еще рѣзче.

Скудронжогло — представитель другого, симпатичнаго Гоголю типа хозяевъ, стремившихся ввести улучшенія безъ радикальныхъ техническихъ реформъ. Эти хозяйства нерѣдко бывали экономически раціональнѣе. Но Гоголь дѣлаетъ своего Скудронжогло совершеннымъ чудотворцемъ въ области хозяйства. Характерно, что этотъ образъ хозяина-чудотворца заимствованъ Гоголемъ ни у кого другого, какъ у Булгарина, въ одномъ изъ романовъ котораго находимъ также идеальнаго хозяина Россіянинова.

Самъ по себѣ Скудронжогло очень далекъ отъ идеала. Вся его идеальность въ томъ, что онъ умѣетъ выколачивать деньги. Какъ онъ это дѣлаетъ, остается далеко не вполнѣ яснымъ. Либо удачливость Скудронжогло сильно преувеличена Гоголемъ, либо онъ очень прижимистый человѣкъ, но тогда врядъ ли его крѣпостнымъ такъ сладко жилось, какъ представляетъ Гоголь. Самый секретъ его хозяйства, кажется, заключается въ вѣрности традиціи. Если такъ, то хозяйство это врядъ ли могло значительно отличаться отъ хозяйства какого-нибудь Собакевича.

Гоголь не ограничивается изображеніемъ въ поученіе читателю идеальнаго хозяина Скудронжогло: онъ заставляетъ его высказывать общественный идеалъ Гоголя, который можетъ быть сведенъ къ стремленію сохранить, во что бы то ни стало, патріархальный земледѣльческій укладъ жизни. Съ этой точки зрѣнія Гоголь и Скудронжогло боятся школы, но еще болѣе боятся они фабрики. Фабрики они допускаютъ только такія, которыя примыкаютъ къ сельскому хозяйству и не отрываютъ крестьянина отъ земли. Оторвать крестьянина отъ земли — это съ точки зрѣнія Гоголя Скудронжогло, преступленіе, удержать ихъ у земли священный долгъ помѣщика.

«У тебя крестьяне затѣмъ — говоритъ Скудронжогло, чтобы имъ покровительствовать въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ же бытъ, въ чемъ званіе крестьянина? — Въ хлѣбопашествѣ! Такъ старайся, чтобы онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Ясно? Нѣтъ, нашлись умники, говорятъ: «Изъ этого состоянія нужно его вывести. Онъ ведетъ слишкомъ грубую, простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши». Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней чортъ знаетъ какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ ни одного осьмнадцатилѣтняго мальчишки, который не испробовалъ бы всего; и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ, — такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да, слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да, хлѣбопашцы для меня всѣхъ почтеннѣе. Дай Богъ, чтобы всѣ были хлѣбопашцы!»

Это желаніе, чтобы всѣ были хлѣбопашцы, принадлежащее столь же Скудронжогло, сколько и самому Гоголю, — очень существенный пунктъ идеала Гоголя, сводящагося къ сохраненію и укрѣпленію стараго, патріархальнаго уклада жизни, распадъ котораго онъ ясно видѣлъ, изобразилъ въ «Мертвыхъ душахъ» и оплакивалъ «невидимыми слезами» сквозь смѣхъ. Гоголь — противникъ реформъ, но онъ далекъ отъ безусловой идеализаціи существующаго. Онъ идеализируетъ не дѣйствительность, какъ таковую, а ея принципы. Гоголь думаетъ приблизительно такъ: «не крѣпостное право плохо, а злоупотребленіе имъ, неумѣніе имъ пользоваться»; и это крѣпостное право въ его воображаемомъ «патріархальномъ» видѣ, безъ «злоупотребленія» и «неумѣнія», носится передъ нимъ, какъ идеалъ

Онъ пытается воплотить этотъ идеалъ, и получается кулакъ Скудронжогло, котораго Гоголь, чтобы лишить кулаческихъ чертъ, заставляетъ зачѣмъ-то давать деньги Чичикову на покупку имѣнія, чего живой Скудронжогло никогда бы не сдѣлалъ.

Пожалуй, еще сильнѣе, чѣмъ въ Скудронжогло, пошлость идеализированныхъ образовъ «Мертвыхъ душъ» сказывается въ образѣ Муразова. Величіе его въ томъ, что у него сорокъ милліоновъ, и Гоголь не чуждъ слѣдующему панегирику Муразову:

«У него теперь приращеніе должно итти съ быстротой невѣроятной. Это ясно. Медленно богатѣетъ тотъ, у кого какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ; что ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противъ самого себя. Поле-то, поприще слишкомъ просторно. Тутъ уже и соперниковъ нѣтъ: съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну ему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить».

Такое преклоненіе передъ силою денегъ нѣсколько неожиданно для Гоголя, хотя вполнѣ умѣстно въ устахъ Скудронжогло, раскрывая его кулацкую натуру. Сочувствіе Гоголя этой денежной силѣ Муразова можетъ быть объяснено только тѣмъ, что въ ней онъ видѣлъ «крѣпкое хозяйство», котораго тщетно искалъ взоръ Гоголя въ помѣщичьей средѣ. Созерцаніе картины распада патріархальнаго помѣщичьяго быта, по закону контраста, приводитъ къ идеализаціи хозяйственности; и, идеализируя эту отвлеченную хозяйственность, Гоголь стремится воплотить ее, не замѣчая, что ея дѣйствительно реальныя воплощенія по существу враждебны столь дорогому для него патріархальному укладу жизни. Таковъ, напримѣръ, Муразовъ — эта первая тѣнь возникающаго капитализма въ русской литературѣ.

Чрезвычайно характерно, что Гоголь въ поискахъ крѣпкой хозяйственности долженъ обратиться къ образу купца Муразова и Скудронжогло, въ которомъ буржуазная складка настолько сильна, что авторъ не рѣшается его сдѣлать настоящимъ русскимъ дворяниномъ-помѣщикомъ, а и по наружности и по фамиліи дѣлаетъ грекомъ, которые у насъ на Руси являлись, какъ коммерсанты. Этимъ Гоголь еще сильнѣе подчеркиваетъ недѣловитость помѣщичьго слоя и распадъ патріархальнаго уклада жизни.

Коробка.

Галлерея портретовъ въ „Мертвыхъ душахъ“.

Раскроемъ и прослѣдимъ поглубже тѣ пружины, которыя поэма приводитъ въ движеніе. Кто герой ея? Плутоватый человѣкъ, какъ выразился самъ авторъ. Въ первомъ порывѣ негодованія противъ поступковъ Чичикова, можно бы прямѣе назвать его мошенникомъ. Но авторъ раскрываетъ намъ глубоко всю тайную психологическую біографію Чичикова: беретъ его отъ самыхъ пеленокъ, проводитъ черезъ семью, школу и всевозможные закоулки жизни, и тамъ от-

крывается ясно все его развитіе, и мы увлечены необыкновеннымъ даромъ постиженія, какой раскрытъ авторомъ при чудной анатоміи этого характера. Внутренняя наклонность, уроки отца и обстоятельства воспитали въ Чичиковѣ страсть къ пріобрѣтенію. Прослѣдивъ героя вмѣстѣ съ авторомъ, мы смягчаемъ имя мошенника и согласны его даже переименовать въ *пріобрѣтателя*. Что же? герой, видно, пришелся по вѣку. Кто жъ не знаетъ, что страсть къ пріобрѣтенію есть господствующая страсть нашего времени, и кто не пріобрѣтаетъ? Конечно, средства къ пріобрѣтенію различны, но когда всѣ пріобрѣтаютъ, нельзя же не испортиться средствамъ—а въ современномъ мірѣ должно же быть болѣе дурныхъ средствъ къ пріобрѣтенію, чѣмъ хорошихъ. Если съ этой точки зрѣнія взглянуть на Чичикова, то мы не только поддадимся на приглашеніе автора назвать его пріобрѣтателемъ, но даже принуждены будемъ воскликнуть вслѣдъ за авторомъ: да ужъ полно, нѣтъ ли въ каждомъ изъ насъ какой-нибудь части Чичикова? Страсть къ пріобрѣтенію ужасно какъ заразительна на всѣхъ ступеняхъ многосложной лѣстницы состояній человѣка; въ современномъ обществѣ едва ли не найдется по нѣскольку Чичиковыхъ. Словомъ, всматриваясь все глубже и пристальнѣе, мы, наконецъ, заключимъ, что Чичиковъ въ воздухѣ, что онъ разлитъ по всему современному человѣчеству, что на Чичиковыхъ урожай, что они, какъ грибы, невидимо рождаются — что Чичиковъ есть настоящій *герой нашего времени*, и слѣдовательно по всѣмъ правамъ можетъ быть героемъ современной поэмы. Но изъ всѣхъ пріобрѣтателей Чичиковъ отличился необыкновеннымъ поэтическимъ даромъ въ вымыслѣ средства къ пріобрѣтенію. Какая чудная, подлинно *вдохновенная*, какъ называетъ ее авторъ, мысль осѣнила его голову! Разъ поговоривши съ какимъ-то секретаремъ и услыхавъ отъ него, что мертвыя души по ревизской сказкѣ числятся и годятся въ дѣло, Чичиковъ замыслилъ скупить ихъ тысячу, переселить въ Херсонскую землю, объявить себя помѣщикомъ этого фантастическаго селенія и потомъ обратить его въ наличный капиталъ посредствомъ залога. Неправда ли, что въ этомъ замыслѣ есть какая-то геніальная бойкость, какая-то удаль плутовства, *фантазія* и *иронія*, соединенныя вмѣстѣ? Чичиковъ въ самомъ дѣлѣ герой между мошенниками, поэтъ своего дѣла: посмотрите, затѣвая свой подвигъ, какою мыслью онъ увлекается: «А главное то хорошо, что предметъ-то покажется всѣмъ невѣроятнымъ, никто не повѣритъ».

Для того, чтобы привести въ исполненіе свой поэтическій замыселъ, Чичиковъ долженъ былъ найти особенный городъ N. и людей къ тому способныхъ. Герой и его предпріятіе привели за собою достойное ихъ окруженіе. Нѣкоторые читатели порицаютъ автора за выводимыя имъ лица; но это напрасно: авторъ весьма благоразумно предупредилъ подобные упреки, сказавъ, что «если лица, донынѣ являвшіяся, не пришлись по вкусу читателя, то вина не его, а Чичикова, который здѣсь вполнѣ хозяинъ». Въ самомъ дѣлѣ, если герой пришелся по вѣку, если его замыселъ отличается какою-то поэзіею изобрѣтенія, то, ко-

нечно, онъ не могъ его исполнить въ иномъ городѣ и съ другими лицами, кромѣ тѣхъ, какія изображены чудною, мастерскою кистью создателя поэмы. Пройдемъ же внимательно галлерею этихъ странныхъ лицъ, которыя живутъ своею особенною, полною жизнью въ томъ мірѣ, гдѣ совершаетъ подвиги Чичиковъ. Мы не нарушимъ порядка, въ которомъ они изображены. Начнемъ съ Манилова, предполагая, что самъ авторъ не даромъ начинаетъ съ него. Едва ли не тысячи лицъ сведены въ этомъ одномъ лицѣ. Маниловъ представляетъ многое множество людей, живущихъ внутри Россіи, о которыхъ можно сказать вмѣстѣ съ авторомъ: «люди такъ себѣ, ни то ни се, ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ». Коль хотите, они, вообще, добрые люди, но пустые, все и всѣхъ они хвалятъ, но и въ ихъ похвалахъ нѣтъ никакого толку. Живутъ въ деревнѣ, хозяйствомъ не занимаются, а такъ глядятъ на все спокойнымъ и добрымъ взглядомъ и курятъ трубку (трубка ихъ атрибутъ неизбѣжный), предаются праздднымъ мечтаніямъ, въ родѣ того, какъ бы черезъ прудъ выстроить каменный мостъ и на немъ завести лавки. Доброта души ихъ отражается въ семейной ихъ нѣжности: они любятъ цѣловаться, но и только. Пустота ихъ сладкой и приторной жизни отзывается баловствомъ въ дѣтяхъ и дурнымъ воспитаніемъ. Мечтательное ихъ бездѣйствіе отразилось на всемъ ихъ хозяйствѣ! взгляните на ихъ деревни — всѣ онѣ будутъ походить на Маниловку, какъ она сама походитъ на Манилова. Сѣренькія, бревенчатыя избы; нигдѣ никакой зелени; вездѣ только одно бревно; прудъ посрединѣ; двѣ бабы съ бреднемъ, въ которомъ запутались два рака и плотва, да общипанный пѣтухъ съ продолбленной до мозга головою — вотъ необходимые внѣшніе признаки ихъ сельскаго быта, къ которому очень пришелся даже и день свѣтлосѣраго цвѣта, потому что при солнечномъ освѣщеніи такая картина была бы не столь занимательна. Въ домѣ ихъ всегда какой-нибудь недостатокъ, и при мебели, обитой щегольскою матеріею, непремѣнно найдутся два кресла, обтянутыя парусиною. При всякомъ дѣловомъ вопросѣ они всегда обращаются къ своему приказчику, даже если бы случалось имъ продавать что-нибудь изъ сельскихъ продуктовъ. А предложите имъ какую-нибудь сдѣлку позамысловатѣе: они не поймутъ васъ, какъ Маниловъ не понялъ Чичикова, потому что никакая дѣловая мысль и не можетъ свариться въ ихъ головѣ; по добротѣ же и мягкости характера, скоро съ вами согласятся. Поѣзжайте къ нимъ въ деревню, — они примутъ васъ какъ нельзя лучше; но берегитесь за людей вашихъ. Гостепріимство и мягкость господъ отражается и въ образѣ жизни ихъ дворовыхъ людей, которые ужъ непремѣнно напоятъ вашего кучера, какъ это и случилось съ Селифаномъ, кучеромъ Чичикова.

Коробочка—вотъ это совсѣмъ другое дѣло! Это типъ дѣятельной помѣщицы-хозяйки; она вся живетъ въ своемъ хозяйствѣ; она ничего и не знаетъ другого. Съ виду вы назовете ее крохоборкой, смотря на то, какъ она собираетъ полтинники и четвертачки по раз-

нымъ мѣшечкамъ; но, вглядѣвшись въ нее пристальнѣе, вы отдадите справедливость ея дѣятельности и невольно скажете, что она въ своемъ дѣлѣ министръ хоть куда. Посмотрите, какой вездѣ у нея порядокъ! на крестьянскихъ избахъ видно довольство обитателей; ворота нигдѣ не покосились; старый тесъ на крышахъ замѣненъ вездѣ новымъ. Взгляните на ея богатый курятникъ! Пѣтухъ у нея не такъ, какъ на деревнѣ у Манилова — пѣтухъ-щеголь. Домашнее хозяйство ея все идетъ полной рукою: кажется, только одна ѳетинья въ домѣ, а посмотрите, что за печенья, и какой огромный пуховикъ принялъ въ свои нѣдра усталаго Чичикова! А что за чудесная память у Настасьи Петровны! Какъ она, безъ всякой записи, наизусть пересказала Чичикову имена всѣхъ вымершихъ мужиковъ своихъ. Вы замѣтили, что мужики Коробочки отличаются отъ другихъ помѣщичьихъ мужиковъ все какими-то необыкновенными прозвищами: знаете ли почему это? Коробочка себѣ на умѣ: ужъ у ней что ея, то крѣпко ея; и мужики тоже помѣчены особыми именами, какъ птица помѣчается у аккуратныхъ хозяевъ, чтобы не сбѣжала. Вотъ почему такъ трудно было Чичикову уладить съ нею дѣло: она хоть и любитъ продать, и продаетъ всякій продуктъ хозяйственный, но зато и на мертвыя души смотритъ такъ же, какъ на свиное сало, на пеньку или на медъ, полагая что и онѣ въ хозяйствѣ могутъ понадобиться. До пота лица умучила она Чичикова своими затрудненіями, ссылаясь все на то, что товаръ это новый, странный, небывалый. Ее можно было только напугать чортомъ, потому что Коробочка должна быть суевѣрна. Но бѣда, если случится ей продешевить какой-нибудь товаръ свой: у нея какъ, будто совѣсть не спокойна — и потому не мудрено-что она, продавъ мертвыя души и потомъ раздумавшись о нихъ, прискакала въ городъ въ своемъ дорожномъ арбузѣ, напичканномъ ситцевыми подушками, хлѣбами, колачами, кокурками, кренделями и прочимъ, прискакала за тѣмъ, чтобы узнать навѣрно, по чемъ ходятъ мертвыя души! и ужъ не промахнулась ли она, Боже сохрани, продавъ ихъ, можетъ-быть, втридешева.

На большой дорогѣ, въ какомъ-то деревянномъ потемнѣвшемъ трактирѣ встрѣтилъ Чичиковъ Ноздрева, съ которымъ познакомился еще въ городѣ: гдѣ же и встрѣтиться съ такимъ человѣкомъ, если не въ такомъ трактирѣ? Ноздревыхъ встрѣчается не мало, замѣчаетъ авторъ: правда, на всякой русской ярмаркѣ, самой ничтожной, вы уже непремѣнно встрѣтите хотя по одному Ноздреву, а на другой поважнѣе — конечно по нѣскольку такихъ Ноздревыхъ. Авторъ говоритъ, что этотъ типъ людей у насъ на Руси извѣстенъ подъ именемъ *разбитного малаго*, къ нему идутъ также эпитеты безалаберный, взбалмошный, ералашный, хвастунъ, забіяка, задирала, враль, человѣкъ-дрянь, ракалія и проч... Съ третьяго раза они говорятъ знакомому *ты*, на ярмаркахъ покупаютъ все, что въ голову не взбредетъ, какъ напримѣръ: хомуты, курительныя свѣчи, платья для няньки, жеребца, изюму, серебрянный рукомойникъ, голландскаго холста, кру-

пичатой муки, табаку, пистолеты, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, словомъ—въ ихъ покупкахъ такой же ералашъ, какъ и въ ихъ головѣ...

Въ деревнѣ у себя они любятъ хвастать и лгать безъ милосердія и называть своимъ все, что имъ и не принадлежитъ. Не довѣряйте словамъ ихъ, скажите имъ въ глаза, что они вздоръ говорятъ: они не обижаются. Страсть большая у нихъ все у себя въ деревнѣ показывать, хотя и глядѣть не на что, и всѣмъ хвалиться. Ноздревы большіе охотники мѣняться. У нихъ ничто не посидитъ на мѣстѣ, и все должно также вертѣться вокругъ нихъ, какъ у нихъ въ головѣ. Дружескія нѣжности и ругательства въ одно и то же время льются съ ихъ языка, мѣшаясь въ потокѣ словъ непристойныхъ. Избави Боже отъ ихъ обѣда и отъ всякой короткости съ ними. Въ игрѣ они нагло плутуютъ и готовы драться, если имъ это замѣтишь. Особенная страсть у нихъ къ собакамъ, и псарный дворъ въ большомъ порядкѣ. Дѣла съ нимъ никакого сладить нельзя: вотъ почему сначала кажется даже и страннымъ, какъ Чичиковъ, такой умный и дѣловой малый, узнавшій съ перваго разу человѣка, кто онъ и какъ съ нимъ надо говорить, рѣшился войти въ сношенія съ Ноздревымъ. Такой промахъ, въ которомъ Чичиковъ послѣ и самъ разскаялся, можетъ, впрочемъ, объясниться изъ двухъ русскихъ пословицъ, «что на всякаго мудреца бываетъ довольно простоты» и «что русскій человѣкъ крѣпокъ заднимъ умомъ». Зато Чичиковъ и поплатился послѣ: безъ Ноздрева кто бы такъ всполошилъ городъ и произвелъ всю суматоху на балѣ, которая причинила такой важный переворотъ въ дѣлахъ Чичикова.

Но Ноздревъ долженъ уступить мѣсто огромному типу Собакевича. Здѣсь не можемъ не привести словъ самого автора, которыя лучше всякой кисти живописуютъ намъ это лицо, если такъ можно назвать чудовищно-животную натуру Собакевича. «Извѣстно, что есть много на свѣтѣ такихъ лицъ, надъ отдѣлкою которыхъ натура не долго мудрила, не употребляла никакихъ мелкихъ инструментовъ, какъ-то напильниковъ, буравчиковъ и прочаго, но просто рубила со всего плеча: хватила топоромъ разъ—вышелъ носъ, хватила въ другой—вышли губы, большимъ сверломъ ковырнула глаза и не оскобливши пустила на свѣтъ, сказавъ: живетъ! Такой же самый крѣпкій и на диво стаченный образъ былъ у Сабакевича: держалъ онъ его болѣе внизъ, чѣмъ вверхъ, шеей не ворочалъ вовсе, и, въ силу такого неповорота, рѣдко глядѣлъ на того, съ которымъ говорилъ, но всегда или на уголъ печки, или на дверь. Чичиковъ еще разъ взглянулъ на него искоса, когда проходили они столовую: медвѣдь! Нужно же такое странное сближеніе: его даже звали «Михайломъ Семеновичемъ». Случается иногда въ природѣ, что наружность человѣка обманываетъ, и подъ страннымъ чудовищнымъ образомъ вы встрѣчаете добрую душу и мягкое сердце. Но въ Собакевичѣ внѣшнее совершенно точь въ точь отвѣчаетъ внутреннему. Наружная

образина его отпечаталась на всѣхъ его словахъ, дѣйствіяхъ и на всемъ, что его окружаетъ. Несуразный домъ его: полновѣсныя и толстыя бревна, употребленныя на конюшню, сарай и кухню, плотныя избы мужиковъ, срубленныя на диво; колодецъ, обдѣланный въ крѣпкій дубъ, годный на корабельное строеніе; въ комнатахъ портреты съ толстыми ляжками и нескончаемыми усами; героиня греческая Бобелина съ ногою въ туловище; пузатое орѣховое бюро на пренелѣпыхъ четырехъ ногахъ; дроздъ темнаго цвѣта; словомъ, все окружающее Собакевича похоже на него и можетъ, вмѣстѣ со столомъ, кресломъ, стульями, запѣть хоромъ: и мы всѣ Собакевичи! Взгляните на обѣдъ; всякое блюдо повторитъ вамъ то же самое. Эта колоссальная няня, состоящая изъ бараньяго желудка, начиненнаго гречневой кашей, мозгами и ножками; вотрушки больше тарелки; индюкъ ростомъ съ теленка, набитый ни вѣсть чѣмъ — какъ всѣ эти кушанья похожи на самого хозяина! А рѣдька варенная въ меду — не знаемъ, существуетъ ли гдѣ такое варенье, но оно могло быть выдумано только Собакевичемъ. Вслушайтесь въ слова его за обѣдомъ: «У меня когда свинина, всю свинью давай на столъ: баранина, всего барана тащи, гусь — всего гуся! лучше я съѣмъ двухъ блюдъ, да съѣмъ въ мѣру, какъ *душа* требуетъ».—Не правда ли что выразительно здѣсь слово: душа? Собакевичъ едва ли можетъ имѣть о душѣ иное понятіе. Взгляните на него, какъ онъ опрокидываетъ половину бараньяго бока къ себѣ на тарелку, съѣдаетъ, обгрызываетъ, обсасываетъ все до послѣдней косточки... Или какъ послѣ своего сытнаго обѣда издаетъ ртомъ какіе-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою! Здѣсь медвѣжья съ виду натура Собакевича переходитъ въ свиную: это — какой-то русскій калибанъ, провонявшій весь свининой; это жрущая Русь, соединившаяся въ одномъ звѣрѣ-человѣкѣ. Поговорите съ Собакевичемъ: всѣ высчитанныя кушанья отрыгнутся въ каждомъ словѣ, которое выходитъ изъ его устъ. Во всѣхъ его рѣчахъ отзывается вся мерзость его физической и нравственной природы. Онъ рубитъ все и всѣхъ, такъ же какъ его самого обрубила немилосердная природа: весь городъ у него дураки, разбойники, мошенники, и даже самые порядочные люди въ его словарѣ значатъ одно и то же съ свиньями. Вы, конечно, не забыли Фонвизинскаго Скотинина: онъ если не родной, то, по крайней мѣрѣ, крестный отецъ Собакевичу; но нельзя не прибавить, что крестникъ перещеголялъ своего батюшку.

«Душа у Собакевича, казалось, закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на днѣ ея, не производило рѣшительно никакого потрясенія на поверхности», говоритъ авторъ. Такъ тѣло осилило въ немъ все, заволокло всего человѣка и ужъ стало неспособно къ выраженію душевныхъ движеній.

Обжорливая его натура обозначилась также и въ жадности къ деньгамъ. Умъ дѣйствуетъ въ немъ, но настолько, насколько нужно сплутовать и зашибить деньгу. Собакевичъ точь въ точь

калибанъ, въ которомъ отъ ума осталась одна злая хитрость. Но въ изобрѣтательности своей онъ смѣшнѣе калибана. Какъ мастерски ввернулъ онъ Елизавету Воробья въ списокъ мужского пола! какъ прежде съѣлъ цѣлаго осетра и разыгралъ голодную невинность! Съ Собакевичемъ трудно было сладить дѣло, потому что онъ человѣкъ-кулакъ; его тугая натура любитъ торговаться, но ужъ зато, сладивъ дѣло, можно было оставаться спокойнымъ, ибо Собакевичъ человѣкъ солидный и твердый и за себя постоитъ.

Галлерея лицъ, съ которыми Чичиковъ обдѣлываетъ дѣло, заключается скупцомъ Плюшкинымъ. Авторъ замѣчаетъ, что подобное явленіе рѣдко попадается на Руси, гдѣ все любитъ скорѣе развернуться, нежели съежиться.

Здѣсь такъ же, какъ и у другихъ помѣщиковъ, деревня Плюшкина и домъ его рисуютъ намъ внѣшнимъ образомъ характеръ и душу самого хозяина. Бревно на избахъ темно и старо; крыши сквозятъ, какъ рѣшето; окна въ избенкахъ безъ стеколъ, заткнуты тряпкой или зипуномъ; церковь съ желтенькими стѣнами, испятнанная, истрескавшаяся. Дряхлымъ инвалидомъ глядитъ домъ; окна въ немъ заставлены ставнями или забиты досками; на одномъ изъ нихъ темнѣетъ треугольникъ изъ синей сахарной бумаги. Ветшающія кругомъ строенія, мертвая беззаботная тишина, ворота, всегда запертыя наглухо, и замокъ-исполинъ, висящій на желѣзной петлѣ, — все это готовитъ насъ къ встрѣчѣ съ самимъ хозяиномъ и служитъ печальнымъ, живымъ атрибутомъ затворившейся души его. Вы отдыхаете отъ этихъ грустныхъ, тяжкихъ впечатлѣній на богатой картинѣ сада, хотя заросшаго и заглохшаго, но живописнаго въ своемъ запустѣніи: здѣсь угощаетъ васъ на минуту чудная симпатія поэта къ природѣ, которая вся живетъ подъ его теплымъ на нее взглядомъ, а между тѣмъ въ глубинѣ этой дикой и жаркой картины вы какъ-будто всматриваетесь въ повѣсть жизни самого хозяина, въ которомъ такъ же заглохла душа, какъ природа въ глуши этого сада. Взойдите въ домъ Плюшкина, все здѣсь разскажетъ вамъ объ немъ прежде, нежели вы его увидите. Нагроможденная мебель, сломанный стулъ, на столѣ часы съ остановившимся маятникомъ, къ которому паукъ приладилъ свою паутину; бюро, выложенное перламутровою мозаикой, которая мѣстами уже выпала и оставила послѣ себя одни желтенькіе желобки, наполненные клеемъ; на бюро куча исписанныхъ мелко бумажекъ, лимонъ весь высохшій, отломленная ручка креселъ, рюмка съ какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмомъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, запачканныя чернилами, высохшія, какъ въ чахоткѣ, зубочистка, совершенно пожелтѣвшая, которою хозяинъ, можетъ-быть, ковырялъ въ зубахъ своихъ еще до нашествія на Москву французовъ... Далѣе картины на стѣнахъ, почернѣвшія отъ времени, люстра въ холстинномъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣлавшаяся похожею на шелковый коконъ, въ которомъ сидитъ червякъ, куча разнаго сора въ углу, откуда

высовывался отломленный кусокъ деревянной лопаты и старая подошва сапога, и одна только примѣта живого существа во всемъ домѣ — поношенный колпакъ, лежщій на столѣ... Какъ здѣсь во всякомъ предметѣ видится Плюшкинъ, и какъ чудно по этой нескладной кучѣ вы уже узнали человѣка! Но вотъ и онъ самъ, похожій издали на свою старую ключницу, съ небритымъ подбородкомъ, который выступаетъ очень далеко впередъ и походитъ на скребницу изъ желѣзной проволоки, какою чистятъ на конюшнѣ лошадей, — съ сѣренькими глазками, которые какъ мыши бѣгаютъ изъ-подъ высоко выросшихъ бровей... Изобразивъ лицо, поэтъ входитъ внутрь его, обнажаетъ передъ вами всѣ темныя складки этой очерствѣлой души, разсказываетъ психологическую метаморфозу этого человѣка: какъ скупость, свивши однажды гнѣздо въ душѣ его, мало-по-малу простирала въ ней свои владѣнія и, покоривъ себѣ все, опустошивъ всѣ его чувства, превратила человѣка въ животное, которое по какому-то инстинкту тащитъ въ свою нору все, что бы ему ни попалось на дорогѣ, — старую подошву, бабью тряпку, желѣзный гвоздь, глиняный черепокъ, офицерскую шпору, ведро, оставленное бабою.

Всякое чувство почти непримѣтно скользитъ по этому черствому, окаменѣлому лицу. Все умираетъ, гніетъ и рушится около Плюшкина... Не мудрено, что Чичиковъ могъ найти у него такое большое количество мертвыхъ и бѣглыхъ душъ, которыя вдругъ такъ значительно умножили его фантастическое населеніе.

Вотъ тѣ лица, съ которыми Чичиковъ приводитъ въ дѣйствіе свой замыселъ. Всѣ они, кромѣ особыхъ свойствъ, каждому собственно принадлежащихъ, имѣютъ еще одну черту, общую всѣмъ: гостепріимство, это русское радушіе къ гостю, которое живетъ въ нихъ и держится какъ-будто инстинктъ народный. Замѣчательно, что даже въ Плюшкинѣ сохранилось это природное чувство, несмотря на то, что оно совершенно противно его скупости: и онъ счелъ за нужное попотчевать Чичикова чайкомъ, и велѣлъ было поставить самоваръ, да, къ счастью его, самъ гость, смекнувшій дѣло, отказался отъ угощенія.

При Чичиковѣ находятся еще два лица, два вѣрные спутника: засаленный лакей Петрушка въ сюртукѣ, котораго никогда не скидаетъ онъ, и кучеръ Селифанъ. Замѣчательно, что первый, находясь всегда около своего барина, подражая ему въ костюмѣ и умѣя даже читать, провонялъ, а Селифанъ, будучи всегда съ лошадьми и въ конюшнѣ, сохранилъ свѣжую, непочатую русскую природу. Выходитъ на повѣрку, что у Чичиковыхъ всегда такъ бываетъ: Петрушка-лакей совершенно по герою: это его живой, ходячій атрибутъ; глубоко замѣчаніе автора о томъ, какъ онъ читаетъ все, что бы ему ни попалось, и какъ въ чтеніи нравится ему болѣе процессъ самаго чтенія, что вотъ де изъ буквъ вѣчно выходитъ какое-нибудь слово. Кучеръ Селифанъ совсѣмъ другое дѣло: это новое, полное типическое со-

зданіе, вынутое изъ простой русской жизни. Мы не знали о немъ до тѣхъ поръ, пока дворовые Манилова не напоили его пьянымъ, и пока вино не открыло намъ всю его славную и добрую натуру. Напивается онъ пьянъ болѣе для того, чтобы поговорить съ хорошимъ человѣкомъ. Вино расшевелило Селифана: онъ пустился въ разговоры съ лошадьми, которыхъ въ своемъ простодушіи считаетъ почти своими ближними. Его доброе расположеніе къ Гнѣдому и къ Засѣдателю и особенная ненависть къ подлецу Чубарому, о которомъ онъ надоѣдаетъ даже и барину своему, чтобы его продалъ, взято изъ натуры всякаго кучера, имѣющаго къ своему дѣлу особое призваніе. Похвалился нашъ пьяный Селифанъ, что не перекинетъ, а когда случилась съ нимъ бѣда, какъ наивно вскричалъ онъ: «вишь ты, и перекинулась!» — Зато ужъ съ какимъ радушіемъ и покорностью отвѣчалъ онъ барину, на его угрозы: «почему жъ не посѣчь, коли за дѣло, на то воля господская... почему жъ не посѣчь?...»

Изъ всѣхъ лицъ, какія до сихъ поръ являются въ поэмѣ, самое большое участіе наше возбуждено къ неоцѣненному кучеру Селифану. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ предыдущихъ лицахъ мы живо и глубоко видимъ, какъ пустая и праздная жизнь можетъ низвести человѣческую натуру до скотской. Одинъ лишь кучеръ Селифанъ вѣкъ свой прожилъ съ лошадьми, и сохранилъ всѣхъ вѣрнѣе добрую человѣческую натуру.

Но есть еще лицо, живущее въ поэмѣ своею полною, цѣльною жизнью и созданное комическою фантазіею поэта, которая въ этомъ созданіи разыгралась вволю и почти отрѣшилась отъ существенной жизни: это лицо есть городъ N. Въ немъ вы не найдете ни одного изъ нашихъ губернскихъ городовъ, но онъ сложенъ изъ многихъ данныхъ, которыя, будучи подмѣчены наблюдательностью автора въ разныхъ концахъ Россіи и прошедъ чрезъ его комическій юморъ, слились въ одно новое, странное цѣлое. Постараемся изобразить этотъ городъ какъ одно лицо, соединивъ вмѣстѣ всѣ черты его, крупно разсѣянныя авторомъ. Офиціальная часть города N. составлена изъ губернатора, пренѣжнаго человѣка, вышивающаго по тюлю, прокурора — человѣка серіознаго и молчаливаго, почтмейстера — остряка и философа, предсѣдателя палаты — разсудительнаго, любезнаго и добродушнаго, полицмейстера — отца и благодѣтеля, и другихъ чиновниковъ, которые всѣ раздѣляются на толстыхъ и тоненькихъ. Неофиціальная его часть состоитъ, во-первыхъ, изъ просвѣщенныхъ людей, читающихъ «Московскія Вѣдомости», Карамзина и проч., далѣе тюрюковъ, байбаковъ и дамъ, которыя своихъ мужьевъ называютъ ласковыми именами кубыши, толстунчика, пузанчика, чернушки, кики и жужу. Изъ сихъ послѣднихъ особенно отличились двѣ: дама просто пріятная и дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ. У города этого есть и садъ, гдѣ деревья не выше тростника, но въ газетахъ однако объ немъ сказано было по случаю иллюминаціи, что онъ состоитъ изъ тѣнистыхъ, широковѣтвистыхъ деревъ, даю-

щихъ прохладу въ знойный день... Городъ разъѣзжаетъ въ своихъ особенныхъ экипажахъ, изъ которыхъ замѣчательны дребезжалки и колесосвистки. Нравомъ онъ предобрый, гостепріимный и самый простодушный; бесѣды у него носятъ печать какой-то особенной короткости; все семейственно, все за-панибрата, и такъ между собою. Въ карты ли городъ играетъ, у него на всякую масть и на всякую карту есть свои особенныя поговорки и выраженія. Между собою ли разговариваетъ, у него ко всякому имени свое присловьице, которымъ никто и не обижается. Если хотите имѣть понятіе объ особенномъ языкѣ этого города, прислушайтесь къ знаменитому разсказу почтмейстера, перваго оратора городского, о капитанѣ Копейкинѣ. Всѣ офиціальныя дѣла происходятъ также въ быту семейномъ: взятки — какой-то домашній изстари принятый обычай, которому никто и не изумляется. Иные обвиняли автора въ невѣрности за то, что Коробочка изъ деревни послала довѣренность на имя отца-протопопа; что Плюшкинъ далъ такую же довѣренность изъ деревни же на имя того самого предсѣдателя палаты, который и совершаетъ купчую; что купчія крѣпости на всѣ мертвыя души окончены чудеснымъ образомъ въ одинъ и тотъ же день. Говорятъ обвинители, что это неестественно, потому что противозаконно. Мы совершенно согласны въ томъ съ обвинителями автора, что оно противозаконно, но какъ же не видятъ они, что все это въ нравахъ того фантастическаго города, который созданъ авторомъ, гдѣ все на домашнюю, особенную ногу, и семейный бытъ совершенно осилитъ бытъ офиціальный? При всемъ этомъ, городъ такъ живъ и естественъ, что мы понимаемъ, какъ только въ немъ, а не въ какомъ иномъ городѣ, Чичиковъ могъ привести въ исполненіе часть своего необыкновеннаго отважнаго замысла. Вотъ матеріалы, которые поэтъ взялъ въ жизни и перенесъ въ свою поэму!

Шевыревъ.

Пустота жизни, очерченная Гоголемъ въ „Мертвыхъ душахъ“, и ея причины.

Всякая сила, если не дашь ей нормальнаго исхода, такъ или иначе проявится; за отсутствіемъ разумной, производительной дѣятельности сила проявится уродливо въ безцѣльныхъ дѣйствіяхъ, въ пустыхъ измышленіяхъ, въ самодурствѣ, въ кутежахъ. Это уродливое проявленіе силы, расходованіе энергіи безъ пользы у Гоголя намѣчено въ краткихъ словахъ: «У всякаго есть свой задоръ: у одного задоръ обратился на собакъ, другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать, четвертый сыграть роль хоть однимъ вершкомъ выше той, которая ему назначена; пятый съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ — спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтись на гуляньи съ флигель-адъютан-

томъ, на показъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой уже одаренъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе сверхъестественное заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу или двойкѣ, тогда какъ рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣнибудь порядокъ, добраться поближе къ личности станціоннаго смотрителя или ямщика, словомъ — у всякаго есть свое». Губернаторъ города NN, за неимѣніемъ другого дѣла, вышиваетъ по тюлю. Въ гостиницѣ одинъ пріѣзжій интересуется только сапогами и покупаетъ, пару за парой; другой, молчаливый и спокойный, но чрезвычайно любопытный, интересуется знать всѣ подробности о своихъ сосѣдяхъ. Чичиковъ по пріѣздѣ въ гостиницу заставилъ полового разсказывать всякій вздоръ о томъ, кто содержалъ прежде трактиръ и кто теперь, и много ли трактиръ даетъ дохода, и большой ли подлецъ ихъ хозяинъ; прогуливаясь, онъ срываетъ афишу, внимательно прочитываетъ ее, а потомъ кладетъ въ шкатулку. Эта склонность людей къ непроизводительнымъ дѣйствіямъ порождаетъ балы, кутежи, игру въ карты, обѣды, завтраки, пустые разговоры.

Балы поглощаютъ много силъ и времени. Приготовленіе къ балу у Чичикова заняло болѣе двухъ часовъ времени: «онъ приказалъ подать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ обѣ щеки, подперши ихъ изнутри языкомъ; потомъ, взявши съ плеча трактирнаго слуги полотенце, вытеръ имъ со всѣхъ сторонъ полное свое лицо, начавъ изъ-за ушей и фыркнувъ прежде раза два въ самое лицо трактирнаго слуги; потомъ передъ зеркаломъ надѣлъ манишку, выщипнулъ вылѣзшіе изъ носу два волоска и непосредственно затѣмъ очутился во фракѣ брусничнаго цвѣта съ искрой». Балъ описываетъ Гоголь, иронически подражая Гомеру: «Черные фраки мелькали и носились врозь и кучами тамъ и сямъ, какъ носятся мухи на бѣломъ сверкающемъ рафинадѣ въ пору жаркаго іюльскаго лѣта, когда старая ключница рубитъ и дѣлитъ его на сверкающіе обломки предъ открытымъ окномъ: дѣти всѣ глядятъ, собравшись вокругъ, слѣдя любопытно за движеніями ея рукъ, подымающихъ молотъ, а воздушные эскадроны мухъ, поднятые легкимъ воздухомъ, влетаютъ смѣло, какъ полные хозяева, и пользуясь подслѣповатостью старухи и солнцемъ, безпокоющимъ глаза ея, обсыпаютъ лакомые куски гдѣ вразбитную, гдѣ густыми тучами. Насыщенныя богатымъ лѣтомъ, и безъ того на всякомъ шагу разставляющимъ богатыя блюда, онѣ влетѣли вовсе не съ тѣмъ, чтобы поѣсть, но чтобы только показать себя, пройтись взадъ и впередъ по сахарной кучѣ, потереть одна о другую заднія или переднія ножки, или почесать ими у себя подъ крылышками, или, протянувши обѣ переднія ножки, потереть у себя подъ головою, повернуться и опять прилетѣть съ новыми докучными эскадронами». Въ этомъ сравненіи прекрасно обрисована вся пустота, безцѣльность баловъ: сытые люди являются на балъ пройтись, показать себя, «потереть ножками» при яркомъ освѣщеніи; хозяева настолько «подслѣповаты», что плохо знаютъ, плохо видятъ своихъ гостей; гости сво-

бодно прилетаютъ и отлетаютъ. На балахъ молодые «тоненькіе» танцуютъ, а пожилые «толстые» играютъ въ карты. Игра въ карты представляется важнымъ дѣломъ: «Всѣ разговоры совершенно прекратились, какъ случается всегда, когда, наконецъ, предаются занятію дѣльному. Хотя почтмейстеръ былъ очень рѣчистъ, но и тотъ, взявши карты въ руки, тотчасъ же выразилъ въ лицѣ своемъ мыслящую физіономію, покрылъ нижнею губою верхнюю и сохранилъ такое положеніе во все время игры. Выходя съ фигуры, онъ ударялъ по столу рукой, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» если же король: «Пошелъ, тамбовскій мужикъ!» А предсѣдатель приговаривалъ: «А я его по усамъ, а я ее по усамъ!» Иногда при ударѣ картъ по столу вырывались выраженія: «А была не была, не съ чего, такъ съ бубенъ!» или просто восклицанія: «Черви, червоточина, пикенція!» или: «пикендрясъ, пичурущухъ, пичура!» и даже просто: «пичукъ!» названія, которыми перекрестили они масти въ своемъ обществѣ. По окончаніи игры спорили, какъ водится, довольно громко». Чичиковъ относился еще серьезнѣе: «Онъ также спорилъ, но какъ-то чрезвычайно искусно, такъ что каждый видѣлъ, что онъ спорилъ, но пріятно спорилъ. Никогда онъ не говорилъ: «Вы пошли», но «вы изволили пойти»; «я имѣлъ честь покрыть вашу двойку» и т. п. Чтобы еще болѣе согласить въ чемъ-нибудь своихъ противниковъ, онъ всякій разъ подносилъ имъ свою серебряную съ финифтью табакерку, на днѣ которой замѣтили двѣ фіалки, положенныя туда для запаха. Ноздревъ влагалъ въ игру всѣ свои силы: просиживалъ взаперти по цѣлымъ недѣлямъ, подбирая колоды картъ, что для его подвижной натуры было чрезвычайно трудно; онъ зналъ «много передержекъ и другихъ тонкостей, и потому игра часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или задавали передержку его густымъ и очень хорошимъ бакенбардамъ».

Пріѣздъ въ городъ совершенно незнакомаго Чичикова послужилъ предлогомъ къ цѣлому ряду обѣдовъ, завтраковъ, «бостончиковъ», такъ что Чичикову не приходилось оставаться дома ни одного часа. Завтраки, обѣды, «бостончики» устраивались по зову, и иногда и неожиданно; для этого важнаго дѣла прерывались занятія въ учрежденіяхъ и всѣ отправлялись, напр., къ «чудному человѣку», «отцу и благодѣтелю города» — къ полицмейстеру. Послѣ обѣдовъ и завтраковъ кучера разводили своихъ хозяевъ особымъ способомъ: «прокурорскій кучеръ, какъ оказалось въ дорогѣ, былъ малый опытный, потому что правилъ одной только рукой, а другой, засунувъ ее назадъ, поддерживалъ хозяина.

Нѣкоторая часть общества, подобно Ноздреву, «историческому человѣку», ищетъ удовольствій болѣе порывистыхъ, предается кутежамъ, наполняетъ жизнь чѣмъ попало. Эти люди отправляются на ярмарки, гдѣ предаются безобразному кутежу, крупной картежной игрѣ съ потасовками. Этихъ людей не занимаетъ ни семейная жизнь, ни порядочность домашней обстановки, ни даже хорошій столъ; всѣ

интересы ихъ сосредоточиваются на «фортункахъ», на собакахъ, «наводящихъ изумленіе крѣпостію черныхъ мясовъ», на коллекціяхъ оружія, трубокъ; чувство изящнаго удовлетворяется какою-нибудь шарманкою, у которой мазурка неожиданно оканчивается пѣснею «Мальбругъ въ походъ поѣхалъ», а «Мальбругъ въ походъ поѣхалъ» неожиданнаго завершался какимъ-то давно знакомымъ вальсомъ. Потасовка съ вырываніемъ бакенбардъ, съ поколачиваніемъ сапогами — дѣло самое обыкновенное, это даже не портитъ пріятельскихъ отношеній. Эти люди имѣютъ также страстишку нагадить ближнему иногда безъ всякой причины; распустятъ небылицу, разстроятъ свадьбу, торговую сдѣлку. Они согласны ѣхать, куда хотите, хоть на край свѣта, войти въ какое хотите предпріятіе, мѣняться чѣмъ угодно, при выигрышѣ накупить ни на что ненужной дряни. Все это происходитъ отъ неугомонности, отъ юркости характера человѣка, обладающаго силами, но не имѣющаго никакой цѣли въ жизни.

Въ этомъ пустомъ обществѣ всякое новое явленіе вызываетъ размышленія, толки, имѣющіе только видъ дѣловитости. О покупкахъ Чичикова всѣ чиновники разсуждаютъ такъ, какъ будто имъ извѣстно дѣло до мельчайшихъ подробностей: оцѣнивается земля, на которой будутъ жить мужики Чичикова, характеризуется русскій мужикъ вообще, и мужикъ Чичикова въ частности, говорится о самомъ Чичиковѣ, какъ хозяинѣ, о его будущемъ управляющемъ, о трудности переселенія буйныхъ крестьянъ, объ авторитетѣ капитанъ-исправника («капитанъ-исправникъ хоть тамъ не ѣзди, а пошли только свой картузъ — картузъ погонитъ крестьянъ»). Разсуждали объ этомъ вполнѣ серіозно, но когда дѣло приняло непривычную для чиновниковъ окраску, когда пьяный Ноздревъ болтнулъ о покупкѣ мертвыхъ душъ, все общество растерялось, мысли всѣхъ закипѣли «въ дѣйствіи пустомъ». Вмѣсто простого пониманія факта, пониманія нетруднаго, являются различныя предположенія, одно другого несообразнѣе; нарастаютъ подробности, ничего не объясняющія, а только запутывающія дѣло. Чичиковъ скупаетъ «мертвыя души» — фактъ, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ: никто изъ чиновниковъ самъ не покупалъ такого товара и не продавалъ, каждый могъ бы сказать, подобно Коробочкѣ: «Право, отецъ мой, никогда еще не случалось мнѣ продавать покойниковъ... Право, я боюсь на первыхъ порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку». Понялъ дѣло одинъ только Собакевичъ; всѣ же чиновники въ темныхъ слухахъ о мертвыхъ душахъ предположили аллегорію, намекъ на что-то другое: инспекторъ врачебной управы вдругъ поблѣднѣлъ, подумавъ, не разумѣются ли умершіе безо всякой врачебной помощи, а Чичиковъ не чиновникъ ли генералъ губернатора, подосланный для слѣдствія; поблѣднѣлъ и предсѣдатель: а что если проданныя души въ самомъ дѣлѣ мертвыя, и онъ допустилъ покупку? поблѣднѣли и другой и третій: нѣтъ ли намека на убитыхъ купцовъ, на убитаго Дробяжина? Предположенія дѣлались одно за другимъ; Чичиковъ,

можетъ быть, фальшивый монетчикъ, или бѣглый разбойникъ; можетъ быть, это безногій капитанъ Копейкинъ, или чиновникъ генералъ-губернатора. Что за человѣкъ Чичиковъ? нужно ли его задержать, или онъ самъ всѣхъ можетъ задержать? Дошли до предположенія, что Чичиковъ—переодѣтый Наполеонъ, выпущенный англичанами съ острова св. Елены. Что думалъ прокуроръ — сказать трудно; но онъ думалъ, думалъ и неожиданно умеръ, и все-таки даже у мертваго въ лицѣ выражалось недоумѣніе.

Въ дамскомъ обществѣ, повидимому, менѣе заинтересованномъ, произошла такая же путаница. Дамы, услышавъ о крупныхъ поступкахъ Чичикова, рѣшили, что онъ крайне привлекателенъ по наружности и что онъ милліонеръ, началось ухаживаніе за милліономъ. Въ гостиномъ дворѣ произошла давка, дамы на наряды раскупали матеріи, даже залежавшіяся, нарасхватъ; одна дама написала Чичикову любовное письмо; на балу дамы наперерывъ старались захватить стулъ поближе къ Чичикову. Когда же распространился слухъ о покупкѣ не живыхъ, а мертвыхъ душъ, началась усиленная дѣятельность въ иномъ направленіи: дамы рѣшили, что Чичиковъ совсѣмъ нехорошъ собою, сочинили про него «сконапель истуаръ» — исторію, будто бы происшедшую въ домѣ Коробочки; приписали ему намѣреніе похитить губернаторскую дочку съ помощью Ноздрева; выдумали много подробностей: «Оказалось, что Чичиковъ давно былъ влюбленъ и видѣлись они въ саду при лунномъ свѣтѣ, что губернаторъ даже отдалъ бы за него свою дочь, потому что Чичиковъ богатъ, какъ жидъ, если бы причиною не была жена его, которую онъ бросилъ, и что жена, которая страдаетъ отъ безнадежной любви, написала письмо губернатору самое трогательное, и что Чичиковъ, видя, что отецъ и мать никогда не согласятся, рѣшился на похищеніе. Въ другихъ домахъ разсказывали нѣсколько иначе: что у Чичикова вовсе нѣтъ никакой жены, но онъ, какъ человѣкъ тонкій и дѣйствующій навѣрняка, предпринялъ съ тѣмъ, чтобы получить руку дочери, начать дѣло съ матери, и имѣлъ съ нею сердечную тайную связь, и что потомъ сдѣлалъ декларацію на счетъ руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступленіе, противное религіи, и чувствуя въ душѣ угрызеніе совѣсти, отказала наотрѣзъ, и что вотъ потому Чичиковъ рѣшился на похищеніе». Ко всему этому присоединилось еще много поясненій и дополненій, но въ главномъ сомнѣній не было.

Всѣ эти толки обнаруживаютъ «возникшую до высокой степени пустоту»; «все это возникло изъ бездѣлья и приняло выраженіе смѣшное въ высшей степени»; это «городское бездѣлье возводится до преобразованія бездѣлья міра», согласно съ идеей самого Гоголя.

Барсовъ.

Національное и художественное значеніе „Мертвыхъ душъ“.

«Мертвыя души»—твореніе чисто русское, національное, выхваченное изъ тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патріотическое, безпощадно сдергивающее покровъ съ дѣйствительности и дышащее страстной, нервистой, кровной любовью къ плодовитому зерну русской жизни; твореніе необъятно художественное по концепціи и выполненію, по характерамъ дѣйствующихъ лицъ и подробностямъ русскаго быта,—и въ то время глубокое по мысли, соціальное, общественное и историческое... Въ «Мертвыхъ душахъ» авторъ сдѣлалъ такой великій шагъ, что все, доселѣ имъ написанное, кажется слабымъ и блѣднымъ въ сравненіи съ ними... Величайшимъ успѣхомъ и шагомъ впередъ считаемъ мы со стороны автора то, что въ «Мертвыхъ душахъ» вездѣ ощущаемо и, такъ сказать, осязаемо проступаетъ его субъективность. Здѣсь мы разумѣемъ не ту субъективность, которая, по своей ограниченности, искажаетъ объективную дѣйствительность изображаемыхъ поэтомъ предметовъ, но ту глубокую, всеобъемлющую и гуманную субъективность, которая въ художникѣ обнаруживаетъ человѣка съ горячимъ сердцемъ, симпатичной душой и духовно личной самостью,—ту субъективность, которая не допускаетъ его съ апатическимъ равнодушіемъ быть чуждымъ міру, имъ рисуемому, но заставляетъ его проводить чрезъ свою душу живу явленія внѣшняго міра, а черезъ то и въ нихъ вдыхать душу живу... Это преобладаніе субъективности, проникая и одушевляя собой всю поэму Гоголя, доходитъ до высокаго лирическаго паѳоса и освѣжительными волнами охватываетъ душу читателя даже въ отступленіяхъ, какъ, напримѣръ, тамъ, гдѣ онъ говоритъ о завидной долѣ писателя, «который изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ, собратіямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко оторгнутые отъ нея и возвеличенные образы»; или тамъ, гдѣ говоритъ онъ о грустной судьбѣ «писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкой силой неумолимаго рѣзца, дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи»; или тамъ еще, гдѣ онъ, по случаю встрѣчи Чичикова съ плѣнившей его блондинкой, говоритъ, что «вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди ли черствыхъ, шероховато-бѣдныхъ, неопрятно-плѣснѣющихъ, низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно-опрятныхъ со-

словій высшихъ, вездѣ хоть разъ встрѣтится на пути человѣку явленіе, не похожее на все то, что̀ случалось ему видѣть дотолѣ, которое хоть разъ пробудитъ въ немъ чувство, не похожее на тѣ, которыя суждено ему чувствовать всю жизнь; вездѣ, поперекъ какимъ бы то ни было печалямъ, изъ которыхъ плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажъ съ золотой упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ вдругъ неожиданно промчится мимо какой-нибудь заглохнувшей бѣдной деревушки, не видавшей ничего, кромѣ сельской телѣги,—и долго мужики стоятъ, зѣвая, съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хоть давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ»... Такихъ мѣстъ въ поэмѣ много—всѣхъ не выписать. Но этотъ паѳосъ субъективности поэта проявляется не въ однихъ такихъ высоко-лирическихъ отступленіяхъ; онъ проявляется безпрестанно, даже и среди разсказа о самыхъ прозаическихъ предметахъ, какъ, напримѣръ, объ извѣстной дорожкѣ, проторенной забубеннымъ русскимъ народомъ... Его же музыку чуетъ внимательный слухъ читателя и въ восклицаніяхъ, подобнымъ слѣдующему: «Эхъ, русскій народецъ не любитъ умирать своею смертью!...»

Столь же важный шагъ впередъ со стороны таланта Гоголя видимъ мы и въ томъ, что въ «Мертвыхъ душахъ» онъ совершенно отрѣшился отъ малороссійскаго элемента и сталъ русскимъ національнымъ поэтомъ во всемъ пространствѣ этого слова. При каждомъ словѣ его поэмы читатель можетъ говорить:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ!

Этотъ русскій духъ ощущается и въ юморѣ, и въ ироніи, и въ выраженіи автора, и въ размашистой силѣ чувствъ, и въ лиризмѣ отступленій, и въ паѳосѣ всей поэмы, и въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ, отъ Чичикова до Селифана и «подлеца Чубараго» всключительно,—въ Петрушкѣ, носившемъ съ собой свой особенный воздухъ, и въ будочникѣ, который, при фонарномъ свѣтѣ, впросонкахъ, казнилъ на ногтѣ звѣря и снова заснулъ. Какъ всякое глубокое созданіе, «Мертвыя души» не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда невиданное произведеніе. «Мертвыя души» требуютъ изученія. Къ тому же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубоко и сильно развитому духу.

«Мертвыя души прочтутся всѣми, но понравятся, разумѣется, не всѣмъ. Въ числѣ многихъ причинъ есть и та, что «Мертвыя души» не соотвѣтствуютъ понятію толпы о романѣ, какъ о сказкѣ, гдѣ дѣйствующія лица полюбили, разлучились, а потомъ женились и стали богаты и счастливы. Поэмою Гоголя могутъ насладиться только тѣ, кому доступна мысль и художественное выполненіе созданія, кому важно содержаніе, а не «сюжетъ»; для восхищенія всѣхъ прочихъ остаются только мѣста и частности. Сверхъ того, какъ вся-

кое глубокое созданіе, «Мертвыя души» не раскрываются вполнѣ съ перваго чтенія даже для людей мыслящихъ: читая ихъ во второй разъ, точно читаешь новое, никогда не виданное произведеніе. «Мертвыя души» требуютъ изученія. Къ тому же еще должно повторить, что юморъ доступенъ только глубокому и сильно развитому духу. Толпа не понимаетъ и не любитъ его. У насъ всякій писака такъ и таращится рисовать бѣшеныя страсти и сильные характеры, списывая ихъ, разумѣется, съ себя и съ своихъ знакомыхъ. Онъ считаетъ для себя униженіемъ снизойти до комическаго и ненавидитъ его по инстинкту, какъ мышь кошку. Комическое и юморъ большинство у насъ понимаетъ какъ шутовское, какъ карикатуру, а мы увѣрены, что многіе не шутя, съ лукавою и довольною улыбкою отъ своей проницательности, будутъ говорить и писать, что Гоголь въ шутку назвалъ свой романъ поэмою... Именно такъ: вѣдь Гоголь большой острякъ и шутникъ, и что за веселый человѣкъ, Боже мой! Самъ безпрестанно хохочетъ и другихъ смѣшитъ!... Именно такъ, вы угадали, умные люди.

Что касается до насъ, то, не считая себя вправѣ говорить печатно о личномъ характерѣ живого писателя, мы скажемъ только что не въ шутку Гоголь назвалъ свой романъ «поэмою», и что не комическую поэму разумѣлъ онъ подъ ней. Это намъ сказалъ не авторъ, а его книга. Мы не видимъ въ немъ ничего шуточнаго и смѣшного, ни въ одномъ словѣ автора не замѣтили мы намѣренія смѣшить читателя: все серіозно, спокойно, истинно и глубоко... Не забудьте, что книга эта есть только экспозиція, введеніе въ поэму, что авторъ обѣщаетъ еще двѣ такія же большія книги, въ которыхъ мы снова встрѣтимся съ Чичиковымъ и увидимъ новыя лица, въ которыхъ Русь выразится съ другой своей стороны.

Бѣлинскій.

Общественное значеніе „Мертвыхъ душъ“.

«Шинель» окончена въ 1840 г.; въ декабрѣ 1841 г. представленъ въ цензуру первый томъ «Мертвыхъ душъ», начатый, какъ нужно думать, еще въ 1834—1835 гг. Это была горячая пора литературной дѣятельности автора. Онъ чувствовалъ, что его творческое дарованіе созрѣло. «Львиную силу чувствую съ своей душѣ», пишетъ онъ въ іюнѣ въ 1836 г. Жуковскому, «и замѣтно слышу переходъ изъ дѣтства... въ юношескій возрастъ». По замыслу автора, въ «Мертвыхъ душахъ» должна явиться вся Русь. Это будетъ первая порядочная вещь, которая вынесетъ его имя. Это—«святой его трудъ», «подвигъ цѣлой жизни, посильный даръ родинѣ», купленный цѣною великихъ лишеній. Углубленіе въ предметъ, расширеніе наблюденія на новыя лица и явленія жизни вызывали у Гоголя увѣрен-

ность, что въ своемъ окончательномъ видѣ это будетъ произведеніе колоссальное.

Общая задача произведенія—вызвать благодѣтельный нравственный переворотъ въ русскомъ обществѣ. Какъ нѣкоторымъ изъ романтиковъ, Гоголю казалось, что увраченіе общественныхъ недуговъ заключается въ возвращеніи общества къ идеаламъ христіанства, въ личномъ самоусовершенствованіи. Нужно было только какою-нибудь силою создать въ обществѣ живое сознаніе этого идеала, подвигнуть его на дѣятельное стремленіе къ осуществленію этого идеала въ жизни. Такую силу онъ видѣлъ въ словесномъ художествѣ. Онъ думалъ, что «заговори только съ обществомъ, на мѣсто жаркихъ разсужденій, живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей,—и двери сердецъ растворятся сами навстрѣчу къ принятію ихъ, если только почувствуютъ, хоть каплю почувствуютъ, «что они (образы) взяты изъ нашей природы, изъ нашего тѣла».

На основаніи собственныхъ указаній Гоголя необходимо думать, что «Мертвыя души» должны были явиться въ 3 томахъ. Первый томъ имѣлъ цѣлью вызвать въ русскомъ обществѣ сознаніе его пошлости и нравственной ничтожности; во второмъ должны были выступить типы, стремящіеся къ нравственному возрожденію, къ правдѣ и добру и призванные служить указателями «путей и дорогъ къ высокому и прекрасному»: томъ этотъ долженъ быть свѣтлѣе по впечатлѣнію, чѣмъ первый; въ послѣднемъ, третьемъ, томѣ предполагалось въ рядѣ живыхъ типовъ представить, съ одной стороны, нравственное просвѣтленіе, воскресеніе порочныхъ типовъ, въ родѣ Чичикова и Плюшкина, съ другой стороны—людей добродѣтельныхъ, какъ вѣрилъ Гоголь, несомнѣнно существовавшихъ въ разныхъ мѣстахъ нашего обширнаго отечества и на разныхъ поприщахъ русской государственной и общественной дѣятельности. Жизнь этихъ людей, какъ живыхъ носителей высокаго христіанскаго идеала, должна была одновременно и уяснить этотъ идеалъ и поощрять къ осуществленію его въ личной жизни. Этотъ томъ долженъ былъ служить какъ бы апоѳеозомъ Руси, быть гимномъ небесной красотѣ. Замыслъ автора «Мертвыхъ душъ», какъ видимъ, былъ дѣйствительно грандіозенъ. Послѣ этого можно понять, почему Гоголь въ минуты созерцанія этого величественнаго цѣлаго приходилъ въ священный трепетъ и умиленіе отъ раскрывавшейся впереди картины. Планъ этотъ наводитъ на сближеніе схемы цѣлаго творенія Гоголя со схемою знаменитой Божественной комедіи Данте, съ дѣленіемъ ея на адъ, чистилище и рай. Знакомство Гоголя съ этимъ твореніемъ великаго Флорентинца сомнѣнію не подлежитъ.

Въ этомъ планѣ «Мертвыхъ душъ» мы видимъ также ясный переходъ къ отраженію не только *прежняго*, но и *настоящаго* Гоголя,—Гоголя періода самоуглубленія и самовоспитанія. Уже извѣстное лирическое отступленіе въ I томѣ «Мертвыхъ душъ» неясно указывало на предстоящую перемѣну въ предметѣ и характерѣ

творчества Гоголя, предрекало въ продолженіи труда откровеніе «несмѣтнаго богатства русскаго духа», обѣщало воплощеніе въ художественномъ образѣ «мужа, одареннаго божескими доблестями», и «чудной русской дѣвицы, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ». Эти строки писались уже тогда, когда общее содержаніе, по крайней мѣрѣ, второго тома опредѣлилось болѣе или менѣе окончательно. Перемѣна настроенія сопровождалась и подкрѣплялась измѣненіемъ взгляда на задачи и средства современнаго поэта, направленіе и задачи поэзіи. Гоголю стало казаться, что, по состоянію русскаго общества, настала пора дѣятельности лирическихъ поэтовъ, что средства сатиры исчерпаны, что только «лирическій поэтъ имѣетъ теперь законное право попрекнуть человѣка, такъ съ тѣмъ вмѣстѣ воздвигнуть духъ человѣка». Цѣлями «упрека и ободренія» и опредѣлился подборъ дѣйствующихъ лицъ второго и третьяго томовъ, а «лирическая сила, которой у Гоголя былъ запасъ», казалось, вполнѣ обезпечивала ему такое изображеніе достоинствъ человѣческой личности, что русскій человѣкъ возгорится любовію къ воплощенію ихъ въ своей жизни.

Намѣренію автора однако не суждено было осуществиться. При его жизни вышелъ одинъ первый томъ, составляющій «только крыльцо къ тому дворцу», который предполагалось возвести; второй томъ, какъ нужно думать, также былъ готовъ. По сообщенію С. Т. Аксакова Гоголь читалъ ему четыре первыхъ главы II тома, при чемъ привелъ въ полный восторгъ и изумленіе силою и широтою творчества. По свидѣтельству Арнольди, Гоголь читалъ А. О. Смирновой, какъ ему припоминалось, девять главъ II тома. Имѣются свѣдѣнія, что послѣднія двѣ главы того же тома были читаны С. П. Шевыреву. Въ октябрѣ 1851 г. Гоголь, прощаясь съ женою С. Т. Аксакова, сказалъ, что онъ не будетъ печатать II тома, что въ немъ все никуда не годится и что надо все передѣлать. Это замѣчаніе не предвѣщало ничего добраго: предъ смертію взыскательный авторъ, не хотѣвшій оставить послѣ себя незрѣлаго труда, сжегъ его. Это было уже второе сожженіе: первое произошло въ 1845 г. Такъ погибъ трудъ, надъ которымъ авторъ работалъ 11 лѣтъ. Тотъ второй томъ, который обыкновенно печатается въ полномъ собраніи сочиненій Гоголя, представляетъ одинъ изъ черновыхъ и первоначальныхъ набросковъ (какъ полагаютъ, 1841—1842 гг.), неполныхъ и не оконченныхъ, и потому не даетъ твердыхъ основаній для сужденія ни о типахъ, тамъ выведенныхъ, ни о художественности выполненія работы. Остается, слѣдовательно, одинъ первый томъ, какъ основа сужденія о высотѣ творчества Гоголя и силѣ его дарованія. Это, конечно, одно изъ великихъ произведеній не только Гоголя, но и всей русской литературы. Какъ живые, возникаютъ предъ нами типы Чичикова, Коробочки, Ноздрева, Манилова, Собакевича, Плюшкина, дамъ пріятной во всѣхъ отношеніяхъ и просто пріятной, высшихъ и низшихъ чиновниковъ губернскаго города.

Трудно сказать, насколько эти типы дореформенной Руси окончательно отошли въ исторію, и не найдутся ли гдѣ-либо по захолустьямъ Коробочки, Собакевичи, Плюшкины, хотя бы и въ измѣненномъ видѣ.

Для насъ, впрочемъ, гораздо важнѣе уяснить, достигъ ли великій поэтъ хотя части той великой задачи, которую онъ поставилъ себѣ при созданіи «Мертвыхъ душъ». Произвелъ ли онъ то благотворное воздѣйствіе на русское общество, о которомъ мечталъ? Несомнѣнно. Лучшій судъ въ этомъ отношеніи—судъ современниковъ. Гоголь самъ сообщаетъ намъ о впечатлѣніи, какое произвело на Пушкина чтеніе первыхъ набросковъ перваго тома: «Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи, началъ понемногу становился все сумрачнѣе, сумрачнѣе, и, наконецъ, сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Это впечатлѣніе изумило самого Гоголя, особенно потому, что Пушкинъ самъ хорошо зналъ Русь и ея недостатки, а потому, казалось, изумить его было мудрено. С. Т. Аксаковъ, въ свою очередь, сообщаетъ, что по выходѣ I тома «Мертвыхъ душъ» наиболѣе образованное общество и лучшіе цѣнители литературы были въ восторгѣ. Такихъ было однако меньшинство, большая же часть читателей, не исключая и людей интеллигентныхъ, «обозлилась на Гоголя: она узнала себя въ разныхъ лицахъ поэмы и съ остервенѣніемъ вступилась за оскорбленіе цѣлой Россіи». Не говоримъ уже о бранчивой, безсильной и притязательной критикѣ Греча, Булгарина, Сенковскаго и отчасти Полевого: здѣсь въ значительной степени сказалась литературная отсталость. Изъ этого возбужденія, произведеннаго въ русскомъ обществѣ «Мертвыми душами», ясно слѣдуетъ, что онѣ имѣли далеко не одно литературное, но и глубокое общественное значеніе. Гоголь и самъ понималъ причину этого. «Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ», говорилъ онъ. Эти изверги, которыхъ такъ усердно рисовала до-гоголевская и современная ему литература, давали русскому обществу пріятное сознаніе, что оно на нихъ не похоже. Иное представляла картина русскихъ нравовъ у Гоголя. Зеркало было такъ совершенно, что не узнать себя было невозможно. «Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки». Не остался безъ вліянія и самый способъ Гоголя рисовать картины общественныхъ нравовъ. Ничтожные люди, выведенные въ I томѣ «Мертвыхъ душъ», по собственнымъ словамъ Гоголя, «ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ». Дѣйствительно, мы напрасно искали бы у Гоголя того, что принято называть подонками общества. Маниловы, Собакевичи, Ноздревы, Иваны Григорьевичи, дамы пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ и просто пріятныя принадлежатъ къ лучшему губернскому обществу. Здѣсь же находитъ себѣ пріемъ и Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, какъ чело-

вѣкъ умный, воспитанный и пріятный. Его принимаютъ повсюду съ распростертыми объятіями, не знаютъ, какими услугами выразить ему свое вниманіе, считаютъ его человѣкомъ благонамѣреннымъ. Нужна была геніальная кисть Гоголя, чтобы, не нарушая внѣшняго благоприличія губернскаго общества, показать ему воочію, сколько фальшиваго, непривлекательнаго, лицемѣрнаго и эгоистическаго кроется въ немъ, какія темныя личности, въ родѣ Чичикова, принимаются въ немъ за людей порядочныхъ и благонамѣренныхъ. А картина развѣнчиванія недавняго идола? Трудно сказать, когда роль общества была болѣе сомнительна, въ пору ли незаслуженнаго вниманія къ Чичикову, или въ пору ожесточеннаго его преслѣдованія? Къ сказанному прибавимъ, что въ I томѣ «Мертвыхъ душъ», какъ и въ «Ревизорѣ», тяжелое впечатлѣніе усугублялось полнымъ отсутствіемъ привлекательныхъ типовъ, на которыхъ могъ бы отдохнуть читатель. Гоголь и самъ хорошо понималъ это. «Пошлость всего вмѣстѣ», говоритъ онъ, «испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои, одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріятно дохнуть или духъ перевести бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ».

Малининъ.

Значеніе „Мертвыхъ душъ“, какъ реальнаго романа.

При оцѣнкѣ художественнаго произведенія можно принять за исходную точку умѣнье писателя улавливать господствующее настроеніе окружающей дѣйствительности, ея внутренній смыслъ, основныя черты характера своей національности, внутренній строй общественной жизни, ея темпераментъ, ея главнѣйшія отрицательныя или положительныя стороны. Если требовать отъ художника, чтобы онъ на нашихъ глазахъ заставилъ биться пульсъ жизни не единичнаго какого-нибудь лица, а цѣлаго разношерстнаго общества—то тогда, конечно, сочиненіямъ Гоголя и въ частности «Мертвымъ Душамъ» придется отвести первое мѣсто въ ряду всѣхъ предшествующихъ и современныхъ имъ повѣстей, и признать именно ихъ за первый по времени «реальный» романъ, который помогъ читателю уловить смыслъ переживаемаго имъ историческаго момента. Въ самомъ дѣлѣ, старые наши «нравоописательные» романы гнались въ большинствѣ случаевъ лишь за описаніемъ внѣшнихъ сторонъ нашей жизни, мало вникая въ ея смыслъ; а такія художественныя произведенія, какъ «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» ставили себѣ цѣлью разъясненіе и описаніе психическаго міра лишь нѣкоторыхъ болѣе или менѣе замѣтныхъ единицъ, людей съ особеннымъ, даже мало распространеннымъ, образомъ мыслей, съ исключительнымъ настрое-

ніемъ и характеромъ. На обрисовкѣ господствующихъ рычаговъ и мотивовъ общей жизни эти повѣсти почти не останавливались.

Комедіи Гоголя и «Мертвыя души» заполняли въ данномъ случаѣ одинъ изъ важнѣйшихъ пробѣловъ въ литературѣ. Городничіе и ихъ сослуживцы, Хлестаковы, Ноздревы, Чичиковы, Маниловы, Собакевичи, даже Плюшкины и Коробочки—если умолчать о цѣлой массѣ другихъ второстепенныхъ лицъ—были не единичными явленіями, а самой Русью, съ ея повсемѣстно распространенными не личными только, а общественными привычками, стремленіями, мыслями, и программами жизни—хотя эта Русь и была изображена лишь съ одного бока. Авторъ имѣлъ право на названіе художника-реалиста не потому только, что реально изобразилъ этихъ русскихъ людей, а потому, что уловилъ реальную сущность русской жизни, потому что сумѣлъ въ одномъ типѣ воплотить массу душевныхъ состояній и многія жизни. Понятно, что на такой «реальный» романъ могли опереться всѣ недовольные тѣмъ строемъ жизни, который дѣлалъ такіе типы возможными или вполнѣ правдоподобными, и авторъ противъ своей воли долженъ былъ примириться съ тѣмъ, что поклонники его таланта въ осужденіе русской дѣйствительности пошли гораздо дальше, чѣмъ онъ, и для излеченія ея предлагали иныя средства, чѣмъ тѣ, въ которыя вѣрилъ авторъ.

Если среди современниковъ Гоголя многіе обладали столь же зоркимъ взглядомъ, проникающимъ въ самую сущность нашей жизни, если, быть-можетъ, нѣкоторые были вооружены даже болѣе острымъ зрѣніемъ, то никто не сумѣлъ такъ ясно обнаружить эту зоркость въ художественномъ произведеніи, какъ Гоголь.

Котляревскій.

Характеръ повѣствованія въ „Мертвыхъ душахъ“.

Повидимому, ничего реальнѣе Гоголя быть не можетъ, положимъ хоть въ «Мертвыхъ душахъ». Онъ описываетъ величайшія мелочи съ полнѣйшей вѣрностью и точностью. Но, если бъ эти описанія были простыми фотографическими снимками, они не имѣли бы никакой важности, никакого смысла. Смыслъ, художественное значеніе они получаютъ не вслѣдствіе своей вѣрности, а потому, что *возведены въ перлъ созданія*, подвергаются какому-то художественному процессу, отъ котораго и получаютъ необыкновенную значительность.

Въ чемъ же дѣло? Первое, что должно намъ броситься въ глаза, если мы отвлечемъ свое вниманіе отъ *предмета*, который описывается, и устремимъ его на *процессъ* художественный, есть *тонъ* разсказа. Это тонъ не простой, не сливающійся съ содержаніемъ рѣчи, не стремящійся скрыться, уйти отъ вниманія, какъ форма, которая не должна отдѣляться отъ того, что въ ней заключено; нѣтъ, это тонъ рѣзко звучащій, усиленно выдающійся и обособляющійся. Это тонъ въ выс-

шей степени *ироническій*. Иронія, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что мы важно, торжественно разсказываемъ о томъ, что заслуживаетъ презрѣнія и насмѣшки. Сила иронiи состоитъ въ этой противоположности между предметомъ и способомъ его изображенія; мы усиливаемъ нашу рѣчь контрастомъ словъ и содержанія.

Вотъ тотъ пріемъ, который господствуетъ въ «Мертвыхъ душахъ». Самый ходъ разсказа, подробнаго, плавнаго, обстоятельнаго, медленно и тяжело движущагося, составляетъ иронію надъ пошлостью того, что разсказывается. Пустѣйшіе разговоры передаются какъ важныя событія; ничтожныя подробности являются въ ужасномъ безобразіи, какъ-будто мы вдругъ навели на нихъ увеличительное стекло. И чѣмъ тоньше черта, отдѣляющая иронію отъ дѣйствительности, чѣмъ явственнѣе для насъ, что это *почти* дѣйствительность, что жизнь города N. почти такъ представляется самимъ жителямъ этого города, какъ ее описалъ Гоголь, тѣмъ ужаснѣе впечатлѣніе пошлости, тѣмъ сильнѣе торжество иронiи.

Но не нужно упускать изъ виду, что иронія есть однакоже языкъ переносный, не собственный. Она связана съ неуловимымъ оттѣнкомъ синонимическихъ словъ, употребляемыхъ одно вмѣсто другого, съ неуловимымъ поворотомъ фразы, дающимъ ей то или другое теченіе. Вотъ отчего, вѣроятно, переводы «Мертвыхъ душъ» на иностранные языки не имѣютъ, какъ говорятъ, успѣха у иностранныхъ читателей. Чрезвычайно трудно удержать въ переводѣ иронический тонъ всей поэмы, принимающій тысячи оттѣнковъ; а безъ этого тона содержаніе разсказа само по себѣ не имѣетъ цѣны.

Иронія есть, во всякомъ случаѣ, не прямое отношеніе къ дѣлу. Когда вы слышите ироническую рѣчь, вы чувствуете, что говорящій порицаетъ то, о чемъ говоритъ, но во имя чего совершается порицаніе и каково должно быть прямое отношеніе къ дѣлу, — это еще вопросъ, вопросъ не только для васъ, но, можетъ-быть, и даже весьма часто, и для того, кто говоритъ. Явленія, описываемыя иронически, суть, по этому самому, *несеріозныя* явленія, но при этомъ намъ еще неясно, гдѣ и въ чемъ искать серіозныхъ явленій, и въ какомъ отношеніи къ этому серіозному стоитъ описываемое несеріозное.

Между тѣмъ искусство требуетъ прямого отношенія къ дѣлу; оно можетъ употреблять иронію, можетъ достигнуть въ этомъ пріемѣ величайшей художественности, какъ это и было у Гоголя, но остановиться на иронiи онъ не можетъ. Гоголь, задумавъ въ «Мертвыхъ душахъ» изобразить полную картину русской жизни, конечно, не имѣлъ никогда и въ мысли ограничиться одною иронiей: его намѣреніе всегда было (какъ это видно изъ многихъ мѣстъ первой части «Мертвыхъ душъ») постепенно смягчить свой тонъ, перейти въ юморъ и кончить серіознымъ разсказомъ. Гоголь былъ человѣкъ восторженный, пламенно, кровно, любившій свою родину, и его художественная иронія порождена этою восторженностью, а не холоднымъ анализомъ недостатковъ русской жизни.

Гоголь, какъ извѣстно, не справился съ задачею, за которую взялся съ такимъ одушевленіемъ и увѣренностью. Онъ погибъ, мучительно усиливаясь взять другой тонъ и создать иныя лица.

Исторія нашей литературы послѣ Гоголя какъ нельзя лучше показываетъ, что изъ его тона требовался выходъ, что естественное стремленіе искусства должно было перейти отъ иронической рѣчи въ прямую. Возбужденіе, произведенное Гоголемъ, было необычайное, и послѣдствія его продолжаются до сихъ поръ; но почти замѣчательныя явленія въ послѣ-гоголевской литературѣ можно разсматривать какъ *поправки* Гоголя, какъ попытки подойти къ предмету съ другой стороны, уменьшить разстояніе, на которое насъ отдѣляетъ отъ предмета иронія. И такъ какъ это была задача не легкая, то рядомъ съ этими попытками были дѣлаемы ошибочные, неправильные выходы изъ гоголевскаго тона.

Самая простая ошибка состояла въ томъ, что тонъ былъ вовсе упускаемъ изъ виду, какъ дѣло не существенное, и что Гоголю стали подражать въ выборѣ предметовъ. Отсюда вышла *натуральная* школа, выродившаяся потомъ въ *обличительную*. Натуральная школа пустилась въ описаніе пошлыхъ и мелкихъ людей и предметовъ, какъ-будто вся сила Гоголя заключалась въ томъ, что онъ обратилъ вниманіе на мелочи. Появилось очень много скучныхъ произведеній, весь интересъ которыхъ состоялъ въ стремленіи къ фотографической вѣрности и въ смутномъ чувствѣ пустоты и тоски. Конечно, въ этихъ произведеніяхъ находило себѣ удовлетвореніе то недовольство дѣйствительностью, которое у насъ такъ обыкновенно и въ первые годы послѣ Гоголя было особенно сильно. Но все же ясно, что пріемы этихъ писаній глубоко неправильны. Для читателя неприготовленнаго, не питающаго извѣстныхъ предрасположеній, не зараженнаго привычкою къ многочтенію, не испорченнаго господствующею литературой, эти книги должны представляться очень дикимъ и скуднымъ явленіемъ. Для такого читателя повѣствовательная книга должна быть столько же серіозна, какъ и всякая другая, слѣдовательно, или должна быть настоящею поэмою съ настоящими героями, или же ироническою поэмою съ ироническими героями.

Между тѣмъ, наши повѣствователи, очень часто прежде, а нерѣдко и теперь ведутъ свои разсказы такъ, что приводятъ читателей въ совершенное недоумѣніе, зачѣмъ и о чемъ разсказывается. Иногда мелкія и ничтожныя явленія изображаются такимъ тономъ, съ такимъ основательнымъ реализмомъ, какъ-будто они имѣютъ полнѣйшее право на существованіе, все же другое есть вздоръ, пустыя мечтанія. Получается не иронія надъ дѣйствительностью, а ея оправданіе; излагается серіозно и потому какъ бы сочувственно то, что въ сущности не заключаетъ въ себѣ ничего серіознаго.

Но явились, какъ мы замѣтили, и правильныя попытки найти рѣшеніе задачи. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна дѣя-

тельность Островскаго. Онъ пишетъ серіозныя драмы и комедіи изъ такой сферы, на которую читатели обыкновенно смотрятъ свысока. Онъ успѣлъ создать изъ этой сферы совершенно живыя лица и положенія и заставилъ насъ смотрѣть на нихъ подсмѣиваясь, не иронизируя, а съ дѣйствительнымъ сочувствіемъ или негодованіемъ, слѣдовательно такъ, что мы ставимъ себя на одинъ уровень съ ними, признаемъ интересъ и важность ихъ духовной жизни.

Но наибольшую прямоту, чистоту и вѣрность отношеній къ предмету мы, конечно, должны признать за гр. Л. Н. Толстымъ. Опять мы не хотимъ здѣсь опредѣлять полное значеніе произведеній этого писателя, мы только, какъ на примѣръ и подтвержденіе, указываемъ на то, что у него уже господствуетъ тотъ прямой пріемъ искусства, который какъ-будто бы былъ потерянъ послѣ Пушкина.

Въ свою очередь, то непрямое отношеніе къ предметамъ, которое началось съ ироніи Гоголя, не только однакоже не исчезло въ нашей литературѣ, а, напротивъ, продолжается у многихъ писателей и развилось даже до своихъ крайнихъ формъ. Иронія, которая у Гоголя имѣла такую строгую художественную мѣру, понемногу вовсе удалилась отъ предмета; все больше и больше усиливая свое выраженіе, писатели стали безпрерывно употреблять *иронію гиперболическую*, въ которой уже нѣтъ заботы о реальномъ изображеніи, а, напротивъ, вся потѣха заключается въ *искаженіи* реальныхъ чертъ. Эта гиперболическая иронія иногда разыгрывается, наконецъ, до того, что переходитъ часто въ *глумленіе*, т.-е. въ рѣчи совершенно безсмысленныя и самою своею безсмысленностью выражающія презрѣніе къ тому, о чемъ говорится. Вмѣсто ироніи явилось, такъ сказать, нахальное, наглое обращеніе съ предметами, какъ всего сильнѣе выражающее пренебреженіе къ нимъ того, кто о нихъ говоритъ.

Такой характеръ представляютъ произведенія Щедрина и отчасти Некрасова. Ихъ пріемы пришлись очень по душѣ многимъ русскимъ людямъ, которые вообще не любятъ прямой рѣчи, для которыхъ почти нѣтъ средины между восторженностью и озлобленіемъ, между сентиментальностью и цинизмомъ. Спокойная рѣчь, раскрывающая съ художественной мѣрой свойства предмета, имъ кажется скучною и даже противною, какъ нѣчто прѣсное; имъ нужна сильная приправа, густая присыпка перца, что-нибудь или язвительное или надрывающее. Поэтому они и сами ни о чемъ говорить просто не могутъ, вѣчно иронизируютъ и сыплютъ циническими выраженіями безъ малѣйшаго повода.

Понятно, что при такихъ условіяхъ нельзя ожидать въ литературѣ никакой близости къ *дѣйствительности*. Если бъ иностранецъ вздумалъ, напр., изучать Россію по Щедрину и Некрасову, то онъ едва ли бы много узналъ. Онъ узналъ бы развѣ только то, какъ иные русскіе люди впадаютъ въ гиперболы и въ глумленіе по поводу самыхъ простыхъ предметовъ, но этихъ предметовъ онъ

узнать бы не могъ. Названные два писателя дѣйствительно замѣчательны тѣмъ, что, при всемъ ихъ талантѣ, они не создали ни единаго лица, ни единой картины, ни единаго положенія или чувства, на которое можно было бы указать какъ на нѣчто законченное, дѣйствительно созданное, дѣйствительно «возведенное въ перлъ созданія». Ихъ иронія и гипербола безплодны, расплываются, никогда не достигаютъ точнаго, опредѣленнаго смысла. Образы, зачатки которыхъ иногда являются съ большою свѣжестью и силой, непремѣнно бываютъ испорчены, искажены въ развитіи. Такимъ образомъ, чтобы оцѣнить достоинства этихъ писателей (иногда весьма блестящія), приходится прибѣгать къ отрывкамъ, почти къ отдѣльнымъ стихамъ, къ отдѣльнымъ выраженіямъ. Ничего цѣлаго указать у нихъ невозможно, такъ какъ цѣлое требуетъ дѣйствительнаго реализма пониманія внутренней жизни предмета. *Страховъ.*

Гоголевскій стиль.

Творческій геній Гоголя въ созданіи своеобразнаго языка обнаруживается не такъ скоро: первоначально характеръ его языка далеко не имѣлъ той оригинальной красоты, которая отличаетъ его отъ языка многихъ поэтовъ. Одно время Гоголь, какъ многіе, какъ большинство, не былъ свободенъ отъ вліянія слова, дѣйствующаго на мысль вредно, сковывая ее, какъ лозунгъ, не заключающій въ себѣ никакого опредѣленнаго содержанія. Онъ слѣдовалъ слову слѣпо, безсознательно, хотя и предполагалъ или былъ увѣренъ, что вполнѣ сознательно имъ пользуется. Въ своихъ разсужденіяхъ и лирическихъ мѣстахъ онъ прибѣгаетъ къ такимъ словамъ, которыя, собственно, ничего не выражаютъ, но которыми онъ пользуется какъ опредѣленными величинами. Въ тѣхъ случахъ, когда для него мысль не опредѣлилась настолько, чтобы сдѣлаться его духовнымъ достояніемъ, Гоголь и выраженія употреблялъ самыя неопредѣленныя, такія, напр., какія употребляются людьми мало развитыми или лѣниво мыслящими. Ничего нѣтъ скучнѣе этого безжизненнаго языка, этого стиля, въ которомъ слышатся одни только ничего не значащія или все значащія отвлеченныя выраженія. И это не былъ тотъ родъ отвлеченныхъ выраженій, которыми пользуется писатель для обобщеній: они являются у Гоголя единственно вслѣдствіе его безсилія уловить въ данный моментъ наиболѣе существенные частные призраки. Нерѣдко мы видимъ также нелогичность и неграмматичность въ употребленіи словъ и предложеній, изысканныя, но все-таки неудачныя сравненія, отсутствіе соотвѣтствія между характеромъ лица и его рѣчью, вставки ни къ чему не идущихъ, лишнихъ словъ и частицъ, необыкновенную длинноту періодовъ, особенно въ описаніяхъ, и проч., и проч.

Такимъ образомъ, въ первомъ періодѣ творчества Гоголя его языкъ далеко не отличался точностью, ясностью, силою и выразительностью, какими характеризуется его стиль позднѣйшей поры, періода созиданія «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ». Писателю предстояла въ этомъ отношеніи долгая и упорная работа, и именно въ пору наибольшей своей зрѣлости онъ работалъ наиболѣе медленно. Произведенія, повидимому, уже совсѣмъ готовы къ печати; «вылеживались» подолгу, время отъ времени просматривались, снова отправлялись въ ящикъ, преднамѣренно забывались и опять подвергались усердному исправленію. Въ эту пору полной зрѣлости своего таланта Гоголь относился къ стилю крайне заботливо и считалъ необходимою медленную работу, которая только и можетъ дать въ результатѣ вполнѣ художественное произведеніе. Художественный трудъ въ глазахъ Гоголя все больше получалъ характеръ священнодѣйствія. Искусство должно быть высшей цѣлью художника, и для достиженія этой цѣли онъ долженъ отвергнуть всѣ соблазны, повиноваться одному вдохновенію и прилагать усиленный трудъ къ выработкѣ формы.

Въ этой усиленной работѣ Гоголя надъ своимъ языкомъ и слогомъ можно отмѣтить нѣсколько отдѣльныхъ моментовъ.

Прежде всего замѣчательно, что Гоголь не терпитъ иностранныхъ словъ; онъ вполнѣ сознательно старается сдѣлать свою рѣчь чисто русскою, а иностранныя слова употребляетъ только съ цѣлью вызвать въ читателѣ извѣстное юмористическое настроеніе или пренебреженіе къ французоманіи и ея вліянію, портящему чистоту русской рѣчи. Злая иронія звучитъ въ его словахъ по этому поводу:

«Какъ ни исполненъ авторъ благоговѣнія къ тѣмъ спасительнымъ пользамъ, которыя приноситъ французскій языкъ Россіи; какъ ни исполненъ благоговѣнія къ похвальному обычаю нашего высшаго общества, изъясняющагося на немъ во всѣ часы дня, конечно, изъ глубокаго чувства любви къ отчизнѣ; но при всемъ томъ никакъ не рѣшается внести фразу какого бы то ни было чуждаго языка въ сію русскую свою поэму».

Гоголь не доходилъ до крайностей иныхъ гонителей иностранныхъ словъ; но онъ всегда выбиралъ слова русскія въ тѣхъ случаяхъ, когда понятіе поддавалось выраженію на русскомъ языкѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ совершенно исключилъ изъ своего словаря и всѣ миѳологическія названія и сравненія, бывшія, какъ извѣстно, въ большомъ ходу у нашихъ писателей даже 30-хъ годовъ.

Внесеніе русскихъ словъ въ литературную рѣчь обусловливалось у Гоголя не только инстинктивною потребностью творческаго духа, но и сознательнымъ отношеніемъ къ языку. Гоголь понималъ, какъ немногіе понимаютъ и до сихъ поръ, что писатель не только можетъ, но и долженъ пользоваться не одними лишь словами и выраженіями, имѣющими право гражданства во всѣхъ слояхъ русскаго общества, но также и мѣстными, народными словами, употребляемыми въ разговорной рѣчи. Онъ не только не старался оградить литературный

языкъ отъ вліянія народныхъ элементовъ, чего въ то время желали многіе, но, напротивъ, отводилъ народному языку широкое мѣсто, — какъ едва ли кто изъ другихъ писателей, даже позднѣйшихъ, какъ Толстой и Достоевскій. Гоголь хорошо понималъ, что литературный языкъ долженъ быть языкомъ народа, а потому необходимо умышленно къ нему приблизиться. Невозможно безъ вреда для развитія языка уклоняться отъ разговорной рѣчи образованныхъ классовъ общества, тѣмъ болѣе — отъ рѣчи народной, отъ которой литературный языкъ получаетъ живительные соки и обновленіе.

Записныя тетради Гоголя указываютъ на внимательную его работу по собиранію и изученію отдѣльныхъ словъ и цѣлыхъ оборотовъ народной рѣчи, которыми онъ весьма часто пользовался въ своихъ произведеніяхъ. Ни Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни, тѣмъ болѣе, другіе наши поэты не допускали народныхъ выраженій въ такой широкой мѣрѣ, какъ Гоголь; у него, можно сказать, рѣчь не обходится безъ простонародныхъ выраженій или, вѣрнѣе, словъ, созданныхъ подъ вліяніемъ народной рѣчи. Но, помимо этого труда собиранія запаса словъ, Гоголю предстояла еще работа исправленія слога, который мѣнялся по мѣрѣ развитія въ писателѣ чутья къ русскому языку. Сравнивая нѣсколько редакцій одного и того же произведенія, мы видимъ, какое множество передѣлокъ, исправленій, замѣнъ, вставокъ, и т. п. дѣлается Гоголемъ, чтобы довести произведеніе до желаемой формы. Преднамѣренность и сознательность составляютъ при этомъ существенные факторы. Изучая характеръ измѣненій, дѣлаемыхъ Гоголемъ, можно, вмѣстѣ съ тѣмъ, собрать превосходный матеріалъ для характеристики творчества поэта. Рядъ созданныхъ имъ картинъ принимаетъ совершенно иное освѣщеніе въ редакціяхъ окончательныхъ, благодаря часто ничтожнымъ сокращеніямъ, едва замѣтнымъ опущеніямъ одного слова, частички, фразы.

Помимо постояннаго совершенствованія, неустанной работы надъ исправленіемъ стиля, мы часто встрѣчаемся у Гоголя съ однѣми и тѣми же формами, которыя постоянно повторяются въ неизмѣняемомъ видѣ. У писателя есть любимые образы, любимые стилистическіе пріемы, къ которымъ онъ возвращается какъ-будто съ особеннымъ удовольствіемъ. Такъ, напр., въ самыхъ различныхъ періодахъ творчества Гоголя мы встрѣчаемъ у него одинъ и тотъ же образъ, — «превращенія» человѣка въ то чувство или состояніе, какое въ данную минуту должно быть преобладающимъ въ его личности. Такія выраженія, какъ «весь превратился въ слухъ, въ зрѣніе, во вниманіе» и т. п., принадлежатъ у нашего писателя къ числу самыхъ обычныхъ и наиболѣе часто повторяемыхъ. Далѣе, къ любимымъ образамъ Гоголя, съ которыми онъ не разстается, относится тотъ, съ помощью котораго художникъ выражаетъ совмѣстное пребываніе, сцѣпленіе отдѣльныхъ предметовъ: «Ни одно слово не выхватится, не спасется отъ этого потопа», «ни одна звѣзда не убѣжитъ» изъ темнаго лона Днѣпра, и т. п. Сюда же относится извѣстная манера выраженія

радости, удивленія, негодованія, хотя бы и притворныхъ, иронических съ помощью восклицаній, относящихся или къ предмету («Что за пироги!» «Фу ты, пропасть, какія смушки!» «Господи, Боже мой! какой у него домъ!»), или къ признаку («Безсильныя! «безпечныя!» «зеленокудрыя!» «пышный!» и пр.).

Одна изъ особенностей гоголевскаго стиля заключается въ необыкновенно частомъ употребленіи рядомъ двухъ синонимическихъ выраженій, напр.: «не торопитесь, не спѣшите», «сжатыя и краткія», «туманно и неясно», «орудія средства» и т. д. Въ особенности эта манера усиливается въ ту пору дѣятельности Гоголя, когда онъ отъ творчества переходитъ къ поученію, — въ пору «Переписки съ друзьями»: чѣмъ дальше, тѣмъ меньше видно въ этомъ отношеніи чувства мѣры; Гоголь какъ будто старается съ помощью этого пріема пополнить пустоту содержанія своихъ рѣчей...

Къ числу любимыхъ стилистическихъ пріемовъ Гоголя относятся также: повтореніе частицы *не* при изображеніи отрицательныхъ сторонъ или свойствъ, повтореніе союза *и* передъ рядомъ сказуемыхъ и постановка сказуемаго передъ подлежащимъ, дополняемаго передъ дополняющимъ, опредѣляемаго передъ опредѣленіемъ въ тѣхъ случаяхъ, когда обычная рѣчь ставитъ ихъ въ иномъ порядкѣ.

Пріемы творчества Гоголя, дѣлающіе его стиль отличнымъ отъ стиля другихъ великихъ русскихъ писателей, вообще довольно разнообразны. Какъ писатель эпическій, онъ вноситъ въ свои описанія такой элементъ, который въ значительной степени приближаетъ его къ народному эпосу: онъ обладалъ способностью переноситься въ народно-поэтическое міросозерцаніе, отъ котораго навсегда удалилась поэзія другихъ творцовъ русскаго слова. Достаточно указать на «Тараса Бульбу», произведеніе, представляющее своего рода эпизоды изъ «Иліады».

Очень оригинальны также средства, какими пользовался Гоголь для воспроизведенія характеровъ тѣхъ или иныхъ дѣйствующихъ лицъ. Рисуя людей съ весьма ограниченнымъ умственнымъ кругозоромъ, онъ любилъ выставлять особенно такихъ, у которыхъ мысль, и безъ того бѣдная, никакъ не можетъ быть облечена въ сколько-нибудь опредѣленную форму: имъ недостаетъ самыхъ необходимыхъ словъ, вслѣдствіе неясности представленій, — и въ результатѣ получается или недоконченая фраза, или отдѣльныя слова безъ связи между собою, напр.: «А, однако же, при всемъ томъ, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, можетъ даже... Ну, да и гдѣ же не бываетъ несообразностей, — а все, однако жъ, есть что-то»...

Эта манера изображенія не покидаетъ Гоголя отъ начала его писательской дѣятельности до послѣдняго времени, поры созданія «Мертвыхъ душъ».

Гоголь рисовалъ различныя фигуры людей грубыхъ изъ всякихъ слоевъ общества; но одну преобладающую черту грубости —

потребность ругани — онъ выдвигаетъ постоянно; безъ нея не обходится ни одно лицо этой категоріи, хотя брань разнообразится въ зависимости отъ господствующей черты характера. Въ этомъ отношеніи можно установить извѣстныя группы: Кочкаревъ ругается, какъ Ноздревъ, Ноздревъ — какъ Подколесинъ, а послѣдній — какъ Кочкаревъ, и всѣ трое въ этомъ отношеніи совершенно похожи другъ на друга. Бранится и баба Черевика въ «Сорочинской ярмаркѣ», и слесарша въ «Ревизорѣ», и брань ихъ, очень типичная для женщины изъ простонародья, почти вовсе не отличается, напр., отъ ругани свахи въ «Женитьбѣ». Бранятся городничій, Собакевичъ, Иванъ Никифоровичъ и т. д., каждый на свой ладъ. Словомъ, эта черта персонажей составляетъ у Гоголя пріемъ, безъ котораго онъ не обходится; а въ изобрѣтеніи словъ и выраженій онъ положительно неисчерпаемъ.

Къ обычнымъ пріемамъ Гоголя относится способъ характеристики при помощи повторенія собственнаго имени или званія даннаго лица каждый разъ, при перечисленіи его свойствъ. Такъ, напр., при характеристикѣ Ноздрева цѣлый рядъ предложеній, на протяженіи трехъ страницъ, начинается именемъ: «Ноздревъ... Ноздревъ»... (то-то и то-то).

Эпитеты у Гоголя очень оригинальны, и значительное большинство ихъ принадлежитъ ему самому, не составляя обычной ходячей монеты. Гоголевскіе эпитеты имѣютъ характеръ, по преимуществу, субъективный: дѣйствіе, настроеніе, состояніе, вызываемое въ немъ самомъ тѣмъ или инымъ предметомъ, писатель приписываетъ самому этому предмету, что вполнѣ соотвѣтствуетъ вообще преобладающему въ его творчествѣ субъективному тону. Такимъ же субъективнымъ характеромъ отличаются у него и сравненія и гиперболы, при чемъ послѣднія нерѣдко бываютъ слишкомъ громоздки, неестественны и мало характерны для изображаемаго предмета.

Совершенно своеобразный характеръ придаетъ всему стилю Гоголя элементъ, какого мы почти вовсе не встрѣчаемъ у другихъ русскихъ писателей, — элементъ малорусскій.

Какъ извѣстно, южная и западно-русскія силы еще съ половины XVII столѣтія дѣятельно вмѣшивались въ образованіе новой русской литературы; такова была роль Симеона Полоцкаго, Стефана Яворскаго, Ѳеофана Прокоповича и другихъ ученыхъ кіевлянъ; но это вмѣшательство ограничено было церковно-схоластическою областью, и въ немъ не было тѣни, или одна только тѣнь, южнорусскихъ народныхъ элементовъ. Малороссы являлись въ рядахъ русскихъ писателей и позже, въ концѣ XVIII и въ первой половинѣ XIX вѣка; но Богдановичъ, Капнистъ, Гнѣдичъ и др. шли общимъ для современной имъ литературы классическимъ путемъ и рѣшительно ничѣмъ не заявляли въ писательствѣ племенныхъ своихъ особенностей. Проф. Мандельштамъ указываетъ, что въ XVIII вѣкѣ малороссійскіе мотивы вошли у насъ въ моду: въ первыхъ нашихъ

пѣсенникахъ, которые явились въ 70-хъ годахъ XVIII столѣтія, цѣлый особый отдѣлъ отводился пѣснямъ малороссійскимъ, потому что и на самомъ дѣлѣ среди тогдашней публики онѣ были распространены на ряду съ русскими; но собственно малороссійская литература существовала пока еще только въ рукописяхъ и была мало извѣстна, такъ что въ русскую литературу малороссійскій элементъ не входилъ или входилъ едва замѣтными чертами.

А. Н. Пыпинъ полагаетъ, что Гоголь въ своихъ первыхъ повѣстяхъ обратился къ изображенію малорусской жизни и преданій именно потому, что, по собственнымъ словамъ писателя, въ Петербургѣ тогда «было въ ходу» все малороссійское. Съ этимъ, однако, не вполнѣ можно согласиться: въ то время Гоголь совсѣмъ не могъ писать иначе, даже если бы условія его дѣятельности были и другія. Все его существо проникнуто было малороссійскимъ элементомъ; малороссійскій языкъ былъ для него «языкомъ души», а потому понятно, что онъ прежде всего обратился къ народной словесности своей южной родины. Да и много лѣтъ спустя, въ 1844 году, онъ писалъ о себѣ: «Я соединилъ въ себѣ двѣ природы: хохлика и русскаго; я самъ не знаю, какая у меня душа,—хохлацкая или русская»... Гоголь, можетъ-быть, самъ не всегда ясно сознавалъ, что возбужденіе его мысли шло именно по колеѣ родного, малорусскаго языка. Присматриваясь къ его слогу, мы видимъ, что оба языка,—малорусскій и великорусскій,—связаны были въ немъ съ различными областями и пріемами мысли: пользованіе тѣмъ или другимъ языкомъ даетъ его мысли то или иное направленіе, и наоборотъ, въ предчувствіи извѣстнаго направленія своей мысли онъ берется за тотъ или другой языкъ, смотря по тому, въ какой изъ нихъ мысль укладывается поэтичнѣе, легче, ярче. Правда, малороссійскій языкъ и переплетается у него съ русскимъ, но все же сохраняетъ свою отдѣльность, и чѣмъ больше выступаетъ на первый планъ основная стихія гоголевскаго міросозерцанія, — его юморъ, его чувство, тѣмъ ближе онъ къ малороссійскому языку. Сравнивая текстъ многихъ его произведеній съ обычной русской рѣчью, мы замѣчаемъ, что Гоголь часто *думалъ* по-малорусски и мысленно переводилъ слова и обороты малорусской рѣчи на русскій; постояннымъ и вѣрнымъ выразителемъ направленія мысли нашего писателя служилъ именно малорусскій языкъ, обороты котораго неизмѣнно появлялись въ его рѣчи всякій разъ, когда онъ, увлекшись творчествомъ, переставалъ слѣдить за формой. Обобщая свои наблюденія надъ этою особенностью гоголевскаго стиля, проф. Мандельштамъ совершенно вѣрно заключаетъ, что малорусскій языкъ преобладаетъ у Гоголя въ тѣхъ случаяхъ, когда мысль требуетъ выраженія *настроенія*. Въ подобныхъ случаяхъ онъ нерѣдко не только думалъ по-малорусски, но по-малорусски и писалъ, оставляя выраженія своего родного языка почти въ нетронутомъ видѣ.

Но были въ его творчествѣ и такіе моменты, которые повели-

тельно заставляли его обращаться къ языку обще-русскому. Такихъ моментовъ проф. Мандельштамъ отмѣчаетъ три:

Во-первыхъ, Гоголь пользовался исключительно русскимъ языкомъ въ тѣхъ случаяхъ, когда этого требовало изображеніе природы: малорусскій языкъ, не достигшій художественнаго развитія, не могъ дать ему въ этомъ отношеніи достаточнаго матеріала. Вотъ отчего всѣ картины природы у Гоголя, даже въ самыхъ малороссійскихъ повѣстяхъ, — въ «Тарасѣ Бульбѣ», въ «Сорочинской ярмаркѣ», — нарисованы чистымъ русскимъ языкомъ.

Во-вторыхъ, творческая мысль писателя искала выхода въ языкѣ русскомъ, когда онъ захватывалъ вопросы, выходящіе за предѣлы узкой жизни Малороссіи, касался интересовъ общественныхъ и общенародныхъ. Этимъ объясняется, почему въ двухъ крупнѣйшихъ произведеніяхъ, — «Ревизорѣ» и «Мертвыхъ душахъ», — рѣчь ведется и дѣйствующими лицами, и самимъ авторомъ почти исключительно русская.

Въ-третьихъ, Гоголь обращался къ русскому языку всякій разъ, когда его мысль работала надъ разрѣшеніемъ вопросовъ философскаго характера. Здѣсь малорусскій языкъ былъ безсиленъ; облекать свои философскія мысли въ соотвѣтствующія формы Гоголь и не могъ иначе, какъ по-русски. Насколько несомнѣнно то, что въ большей части поэтическихъ его произведеній сказывается племенная стихія, выражаясь языкомъ его родины, способнымъ передавать только образы, рисунки, а не отвлеченныя обобщенія, — настолько же несомнѣнно и то, что русскій языкъ долженъ былъ замѣнить родной въ такихъ произведеніяхъ, гдѣ на первомъ планѣ стоитъ разсужденіе. Но въ этихъ произведеніяхъ Гоголь *не творитъ*, а потому онъ въ языкѣ прозы совсѣмъ не тотъ, что въ языкѣ поэтическомъ. Его разсужденія не идутъ далѣе общихъ мѣстъ, и стиль его, когда онъ начинаетъ проповѣдовать, оказывается очень плохимъ.

Такимъ образомъ, по стилю Гоголя можно съ извѣстною степенью вѣрности опредѣлить переживаемыя имъ настроенія и чувства и, съ другой стороны, прослѣдить, какъ извѣстное настроеніе вызываетъ у него соотвѣтственные пріемы стиля, болѣе или менѣе постоянные. Въ жизни Гоголя есть періоды, оставшіеся до сихъ поръ психологически недостаточно разъясненными; его произведенія могутъ дать нѣкоторую закономѣрность въ отношеніи между его языкомъ и настроеніями.

Въ ряду этихъ настроеній господствующее мѣсто занимаетъ *юморъ*, — и изслѣдователь гоголевскаго стиля не можетъ не отнестись къ этому основному свойству нашего писателя съ особеннымъ вниманіемъ. Значеніе гоголевскаго юмора заключается не только въ томъ, что ему опредѣлено было «чудной властью итти объ руку съ странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь сквозь видимый міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы»; значеніе его заключается также и въ формѣ. Она помогала и самому писателю «угонять

прочь набѣгавшую на чело морщину и строгій сумракъ лица», — и такимъ же образомъ вліяетъ на читателей.

Гоголь говоритъ о себѣ, что онъ возбуждалъ «не тотъ пустой смѣхъ, которымъ пересмѣхаетъ человѣкъ человѣка, но смѣхъ, родившійся отъ любви къ человѣку». Однако это не всегда было такъ: юморъ его языка имѣетъ довольно длинную исторію, и, въ зависимости отъ душевной жизни писателя, обнаруживаются тѣ или иные моменты этой исторіи.

Причина той *веселости*, какую замѣтили въ первыхъ его сочиненіяхъ, появившихся въ печати, заключалась, по его собственному признанію, «въ нѣкоторой душевной потребности»: на него находили припадки тоски, ему самому необъяснимой, — можетъ-быть, происходившей, какъ онъ думалъ, и отъ болѣзненнаго состоянія; и вотъ, «чтобы развлекать себя самого», онъ придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать; выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставляя ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала...» «Вотъ, — продолжаетъ онъ, — происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ быть, съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя веселость эта исчезла бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серіозно».

Этимъ вмѣшательствомъ Пушкина въ творчество Гоголя начинается второй періодъ въ исторіи гоголевскаго смѣха.

Разсматривая стиль перваго періода его творчества, мы, дѣйствительно, замѣчаемъ, что въ эту пору въ немъ менѣе всего обнаруживается тотъ идеализмъ, который такъ ярко сказался впослѣдствіи. Языкъ раннихъ произведеній Гоголя возбуждаетъ смѣхъ только ради смѣха; смѣхъ у него составляетъ самъ себѣ цѣль, какъ удовольствіе, и притомъ — удовольствіе довольно грубое, отзывающееся преувеличеніемъ, шаржемъ; въ дальнѣйшихъ передѣлкахъ этихъ первоначальныхъ редакцій своихъ произведеній писатель значительно смягчалъ прежнія грубыя краски и придавалъ своему смѣху уже гораздо болѣе тонкій оттѣнокъ. Стоитъ сравнить между собою, напримѣръ, любое дѣйствіе «Ревизора», любую главу «Мертвыхъ душъ» въ разновременныхъ редакціяхъ, чтобы увидѣть, какъ много труда самаго внимательнаго, самаго кропотливаго положено было авторомъ на очистку своихъ произведеній отъ остатковъ той поры, когда онъ смѣялся только для того, чтобы самого себя потѣшить.

Къ первому періоду развитія гоголевскаго юмора относятся нѣкоторые излюбленные имъ пріемы, разсчитанные на смѣхотворное дѣйствіе. Таково, прежде всего, придумываніе смѣшныхъ именъ и прозъ-

вищъ, и притомъ—способныхъ смѣшить скорѣе малоросса, чѣмъ русскаго, такъ какъ съ ними связывается нѣкоторое содержаніе, вполнѣ доступное только малороссу (Пупопузъ, Голопузъ, Довгочхунъ, Свербыгузъ, и т. п.) Къ этой же категоріи смѣшныхъ выраженій относится и брань,—какъ уже сказано выше, весьма разнообразная и характерная у Гоголя, и различныя выраженія, служащія синонимами глагола «ругаться» (ввернуть, закрѣпить, отпустить, загвоздить и пр.—словцо), и разныя простонародныя словечки, служащія, большею частью, для изображенія грубыхъ дѣйствій. Характеризуя своихъ героевъ прямо отъ себя, Гоголь нерѣдко говоритъ языкомъ, очень близкимъ къ способу выраженія самихъ этихъ лицъ, т.-е. языкомъ обиходнымъ и—когда нужно—простонароднымъ. Гораздо болѣе важное значеніе имѣютъ у Гоголя словесныя новообразованія,—слова и выраженія, необычныя или по своимъ звуковымъ сочетаніямъ, или по способу ихъ измѣненія, съ помощью, напримѣръ, особыхъ суффиксовъ, или, наконецъ, просто заново сочиненныя писателемъ. Въ способности своей создавать такія слова и выраженія Гоголь положительно неисчерпаемъ, и можно смѣло сказать, что его словарь, и вообще чрезвычайно богатый, въ этомъ отношеніи далеко оставляетъ за собою тѣ словесные запасы, какими пользуются всѣ прочіе наши писатели, не только ему современные, но и позднѣйшіе.

Второй періодъ гоголевскаго юмористическаго стиля характеризуется серіозной, вдумчивой работой надъ исправленіемъ и усовершенствованіемъ языка. Въ этихъ безчисленныхъ поправкахъ, вставкахъ и измѣненіяхъ, полную исторію которыхъ дали Тихонравовъ и Шенрокъ въ своемъ монументальномъ изданіи Гоголя, важнѣйшая забота писателя заключалась въ томъ, чтобы произвести на читателя, по возможности, то же самое впечатлѣніе, какое испытывалъ онъ самъ,—подойти къ изображаемому явленію какъ можно ближе и показать его читателю, держа передъ нимъ такъ же какъ можно ближе. Оттого всякая фраза, произнесенная у Гоголя художественно созданнымъ лицомъ, кромѣ заключающейся въ ней мысли, содержитъ сумму свойствъ, весь характеръ, темпераментъ, позу, жестъ, взглядъ,—и все это получается соединеннымъ въ одномъ образѣ. Гоголь обладаетъ способностью, такъ сказать, въ одно мгновеніе воспроизводить цѣлую фигуру; его юморъ обладаетъ силой давать мыслямъ читателя самое разнообразное содержаніе.

Формы и пріемы гоголевскаго юмористическаго стиля отличаются чрезвычайной разносторонностью.

Прежде всего, источникомъ юмористическаго впечатлѣнія является у Гоголя—и очень часто, самое слово, повидимому, совершенно случайно подвернувшееся во время работы и немедленно вызвавшее извѣстный ходъ мыслей, появленіе тѣхъ или другихъ связанныхъ съ этимъ словомъ образовъ. Такъ, напримѣръ, давая своему герою фамилію Башмачкина, Гоголь указываетъ на ея и на его происхожденіе отъ башмака, и тутъ же замѣчаетъ, что, впрочемъ, и отецъ

и дѣдъ, и даже шуринъ—всѣ совершенно Башмачкины ходили въ сапогахъ. Такимъ образомъ, писатель неожиданно для самого себя оказался подъ властью созданнаго имъ слова. Подобныхъ примѣровъ можно набрать немало.

Затѣмъ юмористическое впечатлѣніе получается отъ различнаго пониманія разными людьми одного и того же слова, дающаго, такимъ образомъ, каламбуръ; отъ сочетанія словъ съ кажущимся содержаніемъ, въ родѣ разныхъ присловій—«оно конечно», «тово-воно какъ оно», «въ нѣкоторомъ родѣ долженъ умереть» и т. п.; отъ вызыванія быстрой смѣны самыхъ различныхъ впечатлѣній (Ноздревъ купилъ «жеребца, изюму, серебряный рукомойникъ, крупичатой муки, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, сапоговъ...»); отъ сопоставленія сужденій, не имѣющихъ между собой никакой логической связи (Иванъ Ивановичъ боязливаго характера; у Ивана Никифоровича, *напротивъ того*, шаровары въ такихъ широкихъ складкахъ...»); отъ вплетанія не идущихъ къ дѣлу обстоятельствъ, отъ изображенія такихъ свойствъ даннаго лица, которыя противорѣчатъ всему его характеру, или отъ сопоставленія качествъ совершенно различныхъ категорій («пусть ваше ружье околѣетъ»); отъ примѣненія высокаго стиля и серіознаго тона къ безсмыслицѣ или отъ неожиданнаго перерыва высокаго стиля вульгарнымъ выраженіемъ. Любопытно также, что у Гоголя нерѣдко источникомъ юмористическаго впечатлѣнія является просто грамматическая форма, напримѣръ сочетаніе предложеній при помощи одного и того же союза «и», «но», «а», нѣсколько разъ повторяемаго, или повтореніе однихъ и тѣхъ же словъ (въ разсказѣ о томъ, какъ судья угощалъ Ивана Ивановича чаемъ, пять разъ повторено сказанное первымъ слово «чашечку», и столько же разъ сказано, что Иванъ Ивановичъ «поклонился и сѣлъ»), или, наконецъ, необычное и потому комическое слово образованіе («молокососно», «непростительность», «портное народонаселеніе» и т. п.).

Благодаря этому неистощимому богатству языка и удивительному умѣнью имъ пользоваться, въ рѣчи Гоголя съ поразительною рельефностью выступаетъ цѣлый міръ живыхъ фигуръ, освѣщенныхъ яркимъ свѣтомъ. Мы какъ-будто слышимъ ихъ голосъ, видимъ всѣ ихъ движенія, по нѣсколькимъ словамъ угадываемъ всего человѣка: изъ-за каждаго слова видна картина душевнаго настроенія, видны жестъ и поза. И такой поразительный результатъ достигается средствами, въ сущности очень простыми и безыскусственными. Главное дѣло въ томъ, что Гоголь умѣетъ переселяться въ душу своихъ дѣйствующихъ лицъ, до послѣдней тонкой черточки усвоивать ихъ міросозерцаніе; это и даетъ ему возможность единственно, при помощи воспроизведенія языка каждаго лица, возсоздавать характеры, при чемъ обычный способъ ихъ изображенія,—описаніе ихъ дѣйствій, намѣреній, мыслей,—оказывается какъ-будто совершенно излишнимъ.

Морозовъ.

Языкъ Гоголя (эпитеты, сравненія и гиперболы).

Эпитеты у Гоголя весьма оригинальны, и подавляющее большинство ихъ принадлежатъ лично ему. Такіе эпитеты, которые передаются по преданію изъ рода въ родъ, какъ постоянные, встрѣчаются у него сравнительно мало: «бѣлыя груди», «сахарные зубы», «могучія плечи», «сабля острая», «ночь темная», «вольный свѣтъ», «синее небо», попадаются, хотя, въ отличіе отъ народныхъ пѣвцовъ, Гоголь понималъ эти и подобные эпитеты какъ нѣчто такое, что всякій разъ освѣщаетъ изображаемый предметъ, и повторяетъ его не только потому, что такія украшенія соединялись испоконъ вѣка съ извѣстными именно словами, хотя бы и не соотвѣтствовали содержанію изображаемаго (ср. въ народной поэзіи: «свѣча сальная воску яраго»).

Есть и такіе, въ которыхъ сохранилось, напр., бытовое этнографическое преданіе: дамасская сабля[1]), дамасская кисея[2]); но въ неизмѣримо большей мѣрѣ другіе, которые въ отличіе отъ приведенныхъ, традиціонныхъ, дѣйствительно характеризуютъ предметъ, по крайней мѣрѣ, въ моментъ его изображенія (представленія поэтическаго).

Эпитеты Гоголя не теряютъ своей цѣнности, конкретности и не становятся банальными, вывѣтрившимися въ своемъ значеніи.

Разсматривая гоголевскіе эпитеты въ ихъ совокупности, можно, кажется, установить двѣ категоріи. Одну, обнимающую меньшее количество случаевъ, составляютъ *объективные* эпитеты, т.-е. изображающіе признаки такіе, которые не только *кажутся* присущими предмету, но дѣйствительно присущи имъ, или могутъ *всѣмъ одинаково* казаться присущими въ данный хотя моментъ: «*Усталые* языки перекуповъ, мужиковъ и цыганъ лѣнивѣе и медленнѣе поворачивались».

Другую категорію составляетъ большинство—это *субъективные* эпитеты, т.-е. такіе, которые создаются подъ вліяніемъ даннаго настроенія, душевнаго склада поэта, и представляютъ метафору, аллегорію и т.: п. «*Усталое* солнце уходило отъ міра...» (рядомъ съ выраженіемъ: солнце убралось на покой»).

Поэтическій образъ составляетъ собственно эпитеты второй категоріи.

«Сильно и звучно перекликались *блистательныя* пѣсни соловьевъ...»

«Одинъ только мѣсяцъ также *блистательно* и чудно плылъ...»

Оба образа содержатъ эпитетъ «блистательный», но примѣненіе различно: къ *мѣсяцу* оно примѣняется какъ признакъ дѣйствительный; къ пѣснѣ—какъ образъ.

---

[1]) II, 185. «Какъ птица мелькаетъ онъ тамъ и сямъ (панъ Данило); покрикиваетъ и машетъ дамасской саблей и рубитъ съ праваго и лѣваго плеча».

[2]) II, 159. «Будто дамасскою дорогою и бѣлою, какъ снѣгъ, кисеею, покрылъ онъ гористый берегъ Днѣпра...»

«Верхніе листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу *лепечущая струя* спустилась по нимъ до самаго низу...» содержитъ эпитетъ «лепечущая», не свойственный струѣ, а приписываемый Гоголемъ подъ извѣстнымъ впечатлѣніемъ, передающимся и читателю.

Въ большинствѣ случаевъ созиданіе эпитетовъ Гоголемъ и заключается въ томъ, что онъ дѣйствіе, настроеніе, состояніе, вызываемое въ немъ тѣмъ или другимъ предметомъ, приписываетъ самому предмету; иначе говоря, онъ свое настроеніе переноситъ на предметъ, имъ изображаемый: «Трудно, разсказать, какъ хорошо потолкаться въ такую ночь между кучею хохочущихъ и поющихъ дѣвушекъ и между парубками, готовыми на всѣ шутки и выдумки, какія можетъ только внушить *весело смѣющаяся ночь*».

«*Задумчивый потокъ* бѣжалъ у ногъ твоихъ струей...»

«*Задумавшійся вечеръ моментально обнимаетъ* синее небо, превращая все въ неопредѣленность и даль...»

«...Отбросила далеко назадъ *досадные волосы*...»

«...Нога, сбросивъ *ревнивую обувь*, выступила впередъ...»

«Потупивши очи *въ сонную воду*...»

Подобные эпитеты не чужды ни Пушкину, ни Лермонтову, ни Тургеневу; но этихъ поэтовъ свойства (признаки), выражаемыя эпитетами, совпадаютъ со свойствами (признаками) болѣе-менѣе присущими предметамъ. Не такъ у Гоголя. Если у Пушкина и есть образы, съ виду равные Гоголевскимъ; если, напр., въ стихѣ:

И нѣжны пѣсни ей поетъ,
Во мракѣ ночи сладострастной,

и *сладострастная ночь* напоминаетъ *сладострастный куполъ*[1]) Гоголя, то смѣшивать ихъ нельзя, какъ нельзя смѣшивать категорію образца: «*весело смѣющаяся* ночь» съ образцомъ *сладострастная ночь* Пушкина.

Вслѣдствіе общаго умонастроенія, всего душевнаго строя, вслѣдствіе характера неуравновѣшеннаго, какимъ Гоголь отличался, у него весьма часто объективный тонъ повѣствованія переходилъ въ субъективный именно вслѣдствіе преобладанія эпитетовъ, которые я отнесъ къ категоріи субъективныхъ. У большихъ поэтовъ нашихъ это встрѣчается очень рѣдко. Такіе образцы, какой представляетъ, напр., «Анчаръ» у Пушкина указать нелегко:

Принесъ онъ смертную смолу...
Принесъ и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ, у ногъ
Непобѣдимаго владыки...

гдѣ слово «*бѣдный* рабъ» переводитъ объективный тонъ замѣчательно выдержанный отъ перваго слова до послѣдняго, въ субъективный.

---

[1]) II, 11. Какъ томительно жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ, сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею...»

Такой складъ натуры, какъ у Гоголя, допускавшій всевозможные переходы настроеній, особенно отражается на эпитетахъ, самихъ по себѣ уже являющихся продуктомъ поэтической прихоти. Вслѣдствіе исключительности міровоззрѣнія Гоголя — юмористическаго, и эпитеты являются болѣе индивидуальными въ произведеніяхъ характера юмористическаго. Менѣе индивидуальны они въ другихъ произведеніяхъ, гдѣ юмористъ уступаетъ мѣсто живописцу. Такіе эпитеты, какъ «*яркій* крикъ»[1]), *благовонное море неизъяснимой музыки*[2]), «*густое* слово»[3]), «*красный* звонъ»[4]), «а небо такъ необъятно и *звучно* раскинувшееся» и т. д. встрѣчаются и у другихъ поэтовъ:

У Золя мы читаемъ о «musique bondissante de cristal», о «fontaines ruisselants de muettes clartés» «(Le Rêve). У Эйхендорфа упоминается о «пурпурной прохладѣ вечера» (rothe Kühle). Гейне говоритъ о способности воспринимать музыкальныя впечатлѣнія образно, такъ сказать, глазомъ: играетъ Паганини, и каждый ударъ его смычка вызываетъ въ воображеніи рядъ осязательныхъ, фантастическихъ картинъ и положеній: «То были звуки, которые то сливались въ поцѣлуѣ, то, капризно повздоривъ, разбѣгались, то снова обнимались, смѣясь, и опять слившись, умирали въ опьяненіи союза».

У гр. А. Толстого: «Въ нихъ (т.-е. звукахъ) разсказъ *опьянительно-лживый* развивалъ невозможную повѣсть, и *змѣинаго цвѣта отливы* соблазняли и мучили совѣсть...»[5]) и т. д.

Индивидуальность творчества Гоголя обнаруживается преимущественно въ дарѣ воспроизведенія въ словѣ впечатлѣнія, непосредственно на него произведеннаго предметомъ, вѣрнѣе, свойствомъ предмета. Въ юмористическихъ произведеніяхъ — постоянно, — и въ этомъ его сила; въ другихъ произведеніяхъ рѣже: *Свѣжія, быстрыя ноги*[6]), *трепетно горѣвшій свѣтъ*[7]), *глухо-отвѣтная земля*[8]), *бриллiантовыя слезы*[9]), *дряхлыя стѣны*[10]), *тщедушный домъ*[11]), *трескъ*

---

[1]) II, 310. «Со всѣхъ сторонъ раздавались топотъ коней, пробная стрѣльба изъ ружей, бряканье сабель, мычанье быковъ... говоръ и яркій крикъ и понуканье».

[2]) 1, 71. «Казалось тонкій свѣтлый эѳиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и глубокое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ и имени нѣтъ на землѣ, въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки — казалось и т. д.» Срав. у Гейне: ein Meer von blauen Gedanken.

[3]) II. 360. «Будетъ, будетъ бандуристъ... вѣщій духомъ и скажетъ про нихъ свое густое, могучее слово.

[4]) II, 360. «...далеко разносится могучее слово, подобно гудящей колокольной мѣди... что далече по городамъ, лагамъ... разносится красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву...»

[5]) «Жур. Мин. Нар. Просв.» 1895, CCCII, 196, статья А. Н. Веселовскаго.

[6]) Соч. Гог. II, 281.

[7]) Соч. Гог. II, 32.

[8]) Соч. Гог. II, 364.

[9]) Соч. Гог. I, 321.

[10]) Соч. Гог. I, 342. Срав.: «Какимъ-то дряхлымъ инвалидомъ глядѣлъ сей странный замокъ...» IV, 123.

[11]) Соч. Гог. I, 341.

словъ[1]), *ожерелье тарелокъ*[2]). Рядомъ съ этими встрѣчаются довольно часто, въ произведеніяхъ не юмористическаго характера, эпитеты традиціоннаго свойства, метафоры напр.: «усталое солнце», «крадется дремота» и т. п. Но такихъ меньшинство, какъ сравнительно не особенно много и отвлеченныхъ эпитетовъ, въ родѣ: «необъятныя пустыни неба», «неугасимая горесть», «дерзкое употребленіе тѣней», «смѣлыя краски»; и нельзя не замѣтить, что при каждомъ удобномъ случаѣ Гоголь любитъ такія общія выраженія замѣнять болѣе частными, наглядными. Вмѣсто «сѣрые люди» онъ говоритъ «пепельный разрядъ людей»[3]). Въ его работѣ надъ стилемъ это обнаруживается достаточно.

На эпитетахъ мы видимъ, какъ слово облекаетъ чувство, воззрѣніе, возникающія непосредственно отъ созерцанія. «Ворчавшее масло»[4]) создается по такому же процессу непосредственности воспріятія, какъ выраженія: «гуляютъ мечи»[5]), «очи выманиваютъ душу»[6]), или «слѣзай (пистолетъ), старый товарищъ со стѣны»[7]).

На высшей степени развитія своего эпитетъ представляетъ оттѣнки понятій посредствомъ сложныхъ словъ, когда простыхъ словъ языкъ не находитъ. Не всегда русскій языкъ допускаетъ такое сложеніе, возможное, напр., въ нѣмецкомъ языкѣ и замѣняетъ его сравненіемъ; мѣста, гдѣ мы находимъ **kreideweiss, blutroth, grasgrün, silberhell** и др., русскій языкъ принужденъ передавать при помощи слова *какъ, словно:* «красная какъ кровь», «бѣлый какъ мѣлъ», «словно серебро» и т. д.

И однако у Гоголя сложенія весьма счастливыя; онѣ очень поэтичны, и рѣдко находятъ соотвѣтствіе у другихъ современныхъ Гоголю поэтовъ. Только Тургеневъ, гр. Толстой позже создаютъ такіе эпитеты: «золотисто-прозрачная зелень орѣшниковъ»; «рябины... осыпанныя ярко-пунцовыми гроздями...», «золотисто-желтый лучъ», «въ нѣжно-сіяющей вышинѣ», «спокойно-задумчивое выраженіе», «избура-

---

[1]) Соч. Гог. II, 14. Отношу подобныя выраженія къ эпитетамъ: «Красныя щеки ея превратились въ огненныя, и трескъ отборныхъ словъ посыпался дождемъ».

[2]) Соч. Гог. IV, 371. «Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обставилось ожерелье тарелокъ — икра, сыры...»

[3]) Соч. Гог. I, 196. ...«Сюда переѣзжаютъ отставные чиновники... вдовы... кухарки... наконецъ весь тотъ разрядъ людей, который я назову пепельнымъ, которые съ своимъ платьемъ, лицомъ, волосами имѣютъ какую-то тусклую, пепельную наружность».

[4]) Соч. Гог. IV, 371. «Принесли изъ кухни что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее масло».

[5]) Соч. Гог. II, 183. «И пошла по горамъ потѣха, и запировалъ пиръ: гуляютъ мечи, летаютъ пули...» Срав. стязи глаголятъ.

[6]) Соч. Гог. II, 192. «Уста чудно усмѣхаются, щеки пылаютъ, очи выманиваютъ душу... она сгорѣла бы отъ любви».

[7]) Соч. Гог. II, 166. «Виситъ у меня на стѣнѣ турецкій пистолетъ: еще ни разу во всю жизнь не измѣнялъ онъ мнѣ. Слѣзай со стѣны. старый товарищъ, покажи другу услугу! Данило протянулъ руку».

красное лицо» и др., а вслѣдъ за ними въ послѣднее время подобное сложеніе вошло въ обычное употребленіе.

Сложные эпитеты Гоголя отличаются тою же непосредственностью, какою отличаются и простые его эпитеты, при чемъ онъ внесъ много оригинальнаго, особенно въ грушѣ словъ, нужныхъ для выраженія внутреннихъ ощущеній, чувствъ. Требуется большая сила чуткости, чтобы подыскать слова изъ другой сферы для выраженія даннаго настроенія; а о живописующихъ сложеніяхъ нечего говорить.

«...Жизнь при началѣ взглянула на него какъ-то *кисло-непріятно*, сквозь какое то мутное, занесенное снѣгомъ окошко...»

«Вездѣ, гдѣ бы ни было въ жизни, среди ли черствыхъ, *шероховато-бѣдныхъ* и *неопрятно-плъснѣющихъ*, низменныхъ рядовъ ея, или среди *однообразно-хладныхъ* и *скучно-опрятныхъ* сословій высшихъ, вездѣ встрѣтится... явленіе.. которое пробудитъ» и пр.

«Но герой нашъ уже былъ среднихъ лѣтъ и *осмотрительно-охлажденнаго* характера».

«Но не много гордыхъ своими душевными движеніями рѣшатся опуститься въ глубину характеровъ, которыми кишитъ наша *презрительно-горько-обыкновенная жизнь...*»

«Или мерещится въ головѣ его дѣва за чайнымъ столикомъ съ *невинно-простодушными* рѣчами».

«И все стоитъ онъ неподвижно... весь исполненный полузабывшагося размышленія, весь преданный *безтолково-заботному* ожиданію...»

«Лучи солнца были *осязательно-живительны*».

«Эта новость такъ показалась странною, что всѣ остановились... съ какимъ-то *глупо-вопросительнымъ* выраженіемъ лица».

«Легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣчное слово француза; затѣйливо придумаетъ свое не всякому доступное *умно-худощавое* слово нѣмецъ...»

«Все было хорошо... какъ бываетъ... когда... природа... уничтожитъ... *грубоощутительную* правильность...»

«Какъ грянула она (пушка)... четырекратно, потрясши *глухоотвѣтную* землю...»

«На возу сидѣла хорошенькая дочка... съ *безпечно-улыбавшимися* розовыми губками...»

«Но глаза ея, глаза чудесные, *пронзительно-ясные*, бросали взглядъ долгій»...

«А я въ порывѣ *минутно-горделиваго* расположенія думалъ, что»...

«Зелеными облаками и неправильными *трепетолистными* куполами лежали на небесномъ горизонтѣ»...

Сюда же относятся сложные эпитеты, обозначающіе цвѣта: *лилово-огненный*[1]), *скучно-синеватый*[2]), *голубовато-красный*, *зелено-облачный* и т. п.

---

[1]) Соч. Гог. II, 437, ...«Видны были издали сливы, получившія фосфорическій лилово-огненный цвѣтъ».

[2]) Соч. Гог. IV, 21. «Поодаль, въ сторонѣ, темнѣлъ какимъ-то скучно-синеватымъ цвѣтомъ сосновый лѣсъ».

Замѣчательно, что образованіе сложныхъ словъ въ большинствѣ случаевъ стоитъ въ ближайшей связи съ настроеніемъ художника, и чѣмъ возвышеннѣе оно, чѣмъ торжественнѣе настроеніе, тѣмъ чаще онъ говоритъ словами сложными, будь это при описаніи даже внѣшняго явленія. «Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ онъ видѣлъ что-то *страшно-пронзительное*»...[1]); «какъ ученикъ сидѣлъ онъ за своимъ трудомъ. Но какъ *безпощадно-неблагодарно* было все то, что̀ выходило изъ-подъ его кисти...»; «онъ остановился и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ: глаза его встрѣтились съ *неподвижно-вперившимися* на него глазами»,... «стѣнныя часы съ *печально-подстукивающимъ* маятникомъ», «высокій... ростъ... смуглое лицо и какой-то *непостижимо-страшный* цвѣтъ его... отличали его»... «словомъ... произнесшая эти слова была *божественно-прекрасна*»; «дикое безобразіе швейцарскихъ горъ... ужаснуло его взоръ, пріученный къ *высоко-спокойной*... красотѣ»; «аллея липъ превратилась въ ворота, сквозь которыя глядѣлъ *кудряво-великолѣпный* фронтонъ дома», «за все, что ни встрѣчается въ нихъ (сочиненіяхъ) *умышленно-оскорбляющаго* прошу простить меня...»; «вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много *непріятно-отталкивающаго*»... ...«тотъ можетъ разбить листы своей скрижали, проклявши *вѣтренно-кружащееся племя*»; «онъ объявилъ торжественно; что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ... что-то *свободно-величественное*»; «отдѣлите только собственно называемый высшій театръ отъ тѣхъ... *мишурно-великолѣпныхъ* зрѣлищъ».

Приведенные примѣры далеко не стоятъ одиноко, а они, вмѣстѣ со множествомъ другихъ, даютъ право на сдѣланный выводъ. Отмѣчу еще одно мѣсто, послѣднее. Одно за другимъ сыпятся сложныя слова на разстояніи двухъ страницъ: «Въ ночной свѣжести было что-то *влажно-теплое*»... «и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ... просвѣчивали... по краямъ *эластически-нѣжной* окружности»... «онъ чувствовалъ *бѣсовски-сладкое* чувство, онъ чувствовалъ какое-то пронзающее, какое-то *томительно-страшное* наслажденіе»... «онъ глядѣлъ на проходившихъ *хладнокровно-довольными* глазами»[2]). Происходитъ какъ-будто нервное движеніе, какъ-будто языкъ движется по инерціи.

Рядомъ съ эпитетами, характеризующими преобладающее у Гоголя свойство — рѣдкое умѣнье изображенія въ словѣ непосредственнаго воспріятія, должны быть поставлены прототипы, такъ сказать, эпитетовъ, т.-е. изображеніе какого-либо свойства предмета въ видѣ сужденія — предложенія. На нихъ еще нагляднѣе обнаружится ходъ поэтическаго мышленія Гоголя.

«Горы горшковъ, закутанныхъ въ сѣно, медленно двигались, кажется, *скучая своимъ заключеніемъ и темнотою*»; мѣстами только

---

[1]) Соч. Гог. II, 504.

[2]) Ib., 493.

какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра *хвастливо-выказывалась*... и привлекала взоры»...

«Передъ домомъ *охорашивалось* крылечко съ навѣсомъ»...

«Солнце... *обливаетъ* пѣшехода съ ногъ до головы жаркимъ потомъ».

«Возлѣ лѣса, на горѣ, *дремалъ* съ закрытыми ставнями старый деревянный домъ».

«Надъ нимъ *печально* стоялъ ветхій домъ»...

«Онъ глядѣлъ, какъ кладовая безпрестанно *показывала и закрывала* свою внутренность».

...«Изъ оконъ только два были открыты... Эти два съ своей стороны были *подслѣповаты*...»

Всѣ выраженія, имѣющія видъ метафоръ, до такой степени, однако, вѣрно характеризуютъ моменты, свойство, проявленіе, что только отсутствіемъ какого-либо посредствующаго звена между воспріятіемъ и выраженіемъ его въ словѣ можно объяснить подобные образы. Они ничѣмъ не отличаются напр. отъ такого, какъ: «Вставай, вставай *дребезжала* ему на ухо нѣжная супруга, дергая его изо всей силы за руку», гдѣ «дребезжала» передаетъ впечатлѣніе, чуть не звукоподражательнымъ способомъ, до такой степени оно непосредственно облекаетъ впечатлѣніе.

Гораздо рельефнѣе выступаетъ эта особенность въ случаяхъ, въ большинствѣ случаевъ, когда возникновеніе поэтическаго образа слѣдуетъ за извѣстнымъ волненіемъ, за извѣстнымъ напряженіемъ чувства (или мысли). При этомъ нельзя упускать изъ виду, что образы во многихъ случаяхъ стоятъ въ связи съ воззрѣніями, вѣрованіями, идеальными представленіями о жизни и составляютъ результатъ весьма сложныхъ сплетеній мыслей, пробужденныхъ чувствами, настроеніями, симпатіями, антипатіями.

Гоголь возсоздавая предметъ, явленіе въ своемъ воображеніи, уничтожаетъ всякую черту, основанную на случайности и каждую дѣлаетъ зависимою (какъ необходимую) отъ другой. У него выходятъ одни характеристическія формы, образы, неискаженные измѣнчивыми обстоятельствами. Эта особенность заключена только въ формѣ, воспринимается однимъ разомъ, заразъ, непосредственно, наглядно и понятіемъ невыразима. Интересъ изслѣдованія, поэтому, заключается въ выясненіи того, насколько у Гоголя образы проникнуты чувствами, обусловленными его темпераментомъ, его характеромъ.

Факты приводятъ къ выводу, что Гоголь какъ-будто лишаетъ предметъ его естественнаго вида и придаетъ ему то содержаніе, какое болѣе всего соотвѣтствуетъ его настроенію — и этимъ болѣе всего дѣйствуетъ на читателя. Онъ при этомъ проникается насквозь этимъ настроеніемъ; онъ находитъ въ этомъ наслажденіе; вся душа живетъ при этомъ полною жизнью, и глубочайшіе тайники ея являются участниками.

«...Рѣка красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленыя кудри деревъ. Свое-

нравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительнаго блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею»... и т. д. Вся картина показываетъ, что возбужденное чувство требуетъ выхода въ словѣ, и тѣмъ изліяніе легче, чѣмъ чувство искреннѣе, естественнѣе. Этотъ примѣръ имѣлъ цѣлью пояснить мою мысль. Гоголь имѣетъ въ виду не только наглядность, но онъ обращаетъ вниманіе и на силу производимой возбуждаемости. То, что̀ замѣчается на цѣлой картинѣ, то замѣчается и на отдѣльныхъ выраженіяхъ, тѣмъ рѣзче, притомъ, чѣмъ ближе сфера, въ которой поэтъ вращается. И это доходитъ до мелочей. Но вотъ другой еще пріемъ:

«Ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ».

«Глаза перешагнули черезъ заборъ».

«Ударилъ въ слушателя огненными глазами».

«Часто гуляла съ утра до вечера, если въ карманѣ звучала возможность купить (деньги)».

«Только Парижъ могъ вывѣтрить весь этотъ грузъ».

И здѣсь видно, какъ слово облекло воззрѣніе, возникшее непосредственно отъ созерцанія предмета, но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, какое дѣйствіе произвело на Гоголя то или другое явленіе. Чувство не принимало участія въ изображеніи; рѣчь спокойна, признаки объективны.

Въ такъ называемыхъ уподобленіяхъ поэтическихъ это выступаетъ еще ярче, т.-е. если приведенные образы встрѣчаются у другихъ поэтовъ, то сравненія специфически гоголевскіе; здѣсь мимоходомъ только отмѣчу, что эти сравненія стоятъ въ ближайшей связи съ міромъ, окружавшимъ Гоголя; самыя сравненія дѣлаются съ предметами, находящимися подъ руками, передъ глазами.

Другіе поэты творятъ не всегда такимъ путемъ. У Пушкина есть стихотвореніе:

Туманскій правъ, когда такъ вѣрно васъ
Сравнилъ онъ съ радугой живою:
Вы милы, какъ она, для глазъ,
И, какъ она, премѣнчивы душою.
И съ розой схожи вы, блеснувшею весною:
Вы такъ же, какъ она, предъ нами
Цвѣтете пышною красой,
И такъ же колетесь—Богъ съ вами!
Но болѣе всего сравненіе съ ключомъ
Мнѣ нравится: я радъ ему сердечно!
Да, чисты вы, какъ онъ, и сердцемъ и умомъ
И такъ же холодны, конечно.

Нигдѣ или почти нигдѣ (имѣю въ виду не заимствованія или вліянія) мы не встрѣтимъ у Гоголя сравненій, даже подобныхъ приведеннымъ. Никогда предметъ, съ которымъ сравнивается изображаемый, не находится у него слишкомъ далеко отъ сферы самой ближайшей; пушкинскія сравненія, напр. совѣсти съ заимодавцемъ грубымъ, «съ вѣдьмой, отъ коей меркнетъ свѣтъ и могилы возму-

щаются», почти Гоголю чужды; а сравненій въ родѣ шекспировскихъ, гигантскихъ, изумительныхъ, или гейневскихъ, и другихъ большихъ поэтовъ—и помину нѣтъ. Я уже сказалъ выше, что Гоголь спеціализировался въ сравненіяхъ, хотя въ этой спеціализаціи онъ представилъ намъ цѣлый міръ.

Всѣ попытки опредѣлить поэзію со стороны языка тщетны въ виду того, между прочимъ, что нѣтъ возможности установить границы между поэзіею и прозою, какъ нѣтъ возможности по имѣющимся пока признакамъ разграничить растеніе отъ животнаго. Во всякомъ случаѣ, опредѣленія не научны. Если мы говоримъ: «область человѣческаго сознанія очень узка», мы прибѣгаемъ вѣдь къ поэтической формѣ мышленія и довольствуемся ею по недостатку другого выраженія для рѣшенія вопроса о сознаніи. А съ другой стороны, если сваха Ѳекла («въ Женитьбѣ»), выражая недовольство на медлительность Подколесина, получаетъ въ отвѣтъ отъ послѣдняго:

«А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что: «Эй, Степанъ, подай сапоги», натянулъ на ноги, да и пошелъ...» то мы затрудняемся сказать категорически, поэзія ли это, или проза? Скорѣе поэзія, такъ какъ предложеніе *все равно, что «Эй, Степанъ, подай сапоги»*! замѣнилось бы въ прозѣ всего вѣрнѣе выраженіемъ «пустяки», «бездѣлица», «легко» и т. п.; а между тѣмъ и прозаическая рѣчь не чужда подобныхъ оборотовъ.

Въ большинствѣ случаевъ, сравненія Гоголя именно таковы; они стоятъ между тѣми, которыя мы называемъ поэтическими, и другими—прозаическими, какъ видно будетъ изъ слѣдующаго, хотя все же чаще въ связи съ его настроеніями, пережитыми имъ въ продолженіе творчества.

Въ юную пору, при настроеніи романическомъ, сравненія даются отвлеченныя, какъ отвлеченно, такъ сказать, душевное состояніе творца ихъ. Чѣмъ отвлеченѣе представленіе о дѣйствительности, чѣмъ дальше она отъ всего существа Гоголя, тѣмъ слабѣе и чувство, сопровождающее эти сравненія:

«Красавица была вѣтрена, какъ полячка; но глаза ея, глаза ея чудесные, пронзительно-ясные, бросали взглядъ долгій, *какъ постоянство*». «Однакожъ онъ неотлучно бывалъ въ полѣ при жнецахъ и косаряхъ, и это ему доставляло наслажденіе, неизъяснимое его кроткой душѣ. Единодушный взмахъ... блестящихъ косъ,... изрѣдка заливающіяся пѣсни жницъ, то веселыя, *какъ встрѣча гостей*, то заунывныя, *какъ разлука...*» Такія и подобныя сравненія могутъ, при извѣстной бѣдности образовъ и живописи воображенія, быть отнесены къ менѣе отвлеченнымъ; но чаще являются въ означенный періодъ времени иныя: «Угрюмъ колдунъ; дума, *черная какъ ночь*, у него въ головѣ»; «День былъ ясный, *какъ душа младенца*»; «И одному только человѣку и созданной имъ религіи—роскошной, *какъ ночи и вечера востока*, пламенной *какъ природа близкая къ Индійскому морю*, обязаны они».

Когда поэтъ всталъ на реальную почву, сравненія, создаваемыя имъ, принимаютъ иное направленіе: они уничтожаютъ всякую черту, основанную на случайности; сравненіе выражаетъ признакъ необходимый, а потому оно всегда мѣтко. Особенность эта заключается въ томъ, что воспринимается характеръ предмета однимъ разомъ, за разъ, наглядно и непосредственно. Это обстоятельство имѣетъ значеніе для пониманія связи, въ которой стоятъ образы сравненія съ возникновеніемъ ихъ за извѣстными волненіями, за извѣстнымъ напряженіемъ чувства, мысли. Въ этомъ отношеніи замѣчается даже нѣкоторое постоянство, правильность.

Конечно, характеръ образовъ объясняется, съ одной стороны, степенью прочности результатовъ предшествующихъ моментовъ воспитанія; они стоятъ также въ связи съ ясностью, точностью и опредѣленностью идей, на которыхъ основываются убѣжденія, какъ на твердой почвѣ; но не достаточно обращается вниманія на то, что образы зависятъ отъ сложныхъ сплетеній мыслей, пробуждаемыхъ чувствами, настроеніями, симпатіями и антипатіями, личными вкусами, часто мѣняющимися. У Гоголя мы имѣемъ образы сравненія именно проникнутые такими чувствами, въ тѣхъ случаяхъ особенно, когда моменты общественности отходятъ у него на задній планъ. Этимъ, понятно, опредѣляется и та область, изъ которой поэтъ будетъ брать предметы для сравненія. Искать не приходится ихъ, они должны являться сами собой, если поэтъ не хочетъ быть безжизненнымъ. Разумѣется, область будетъ та, въ которой поэтъ вращается свободно, въ которой онъ какъ у себя: въ ней онъ и страдалъ, и мучился, и радовался,—и здѣсь онъ замѣчательно индивидуаленъ и очень субъективенъ.

«На другомъ берегу горитъ огонь, и, кажется, вотъ-вотъ готовится погаснуть и снова отсвѣчивается въ рѣчкѣ, вздрагивавшей, *какъ польскій шляхтичъ въ казачьихъ лапахъ...*»

«Земля сдѣлалась крѣпче... уже и снѣгъ началъ сѣяться съ неба... вотъ уже въ ясный морозный день красногрудый снѣгирь, словно *щеголеватый польскій шляхтичъ*, прогуливался по снѣговымъ кучамъ».

«Но то бѣда, что у бѣднаго Петруся всего на все была одна сѣрая свитка, въ которой было *больше дыръ, чѣмъ у иного жида въ карманѣ золотыхъ*».

«Надъ головою холодный вѣтеръ гулялъ по верхушкамъ деревъ, а деревья, *что охмелѣвшія казацкія головы*, разгульно покачивались, шепеча листьями пьяную молвь».

Привлекаются предметы для сравненія такіе все, что сроднѣе ему по происхожденію, по складу мысли, какъ вообще что сильнѣе всего живетъ въ немъ самомъ. Это обнаруживается на каждомъ шагу. Есть образы и объективные; но въ какой мѣрѣ объективность смѣшивается съ субъективнымъ отношеніемъ къ явленіямъ со стороны писателя, растворяясь въ послѣднемъ почти всецѣло,—это весьма ясно видно изъ всякаго образа сравненія.

«Вся любовь, всѣ чувства... все обратилось у нея въ одно материнское чувство. Она съ жаромъ, со страстью, со слезами, *какъ степная чайка*, вилась надъ дѣтьми своими—ея милыхъ сыновей берутъ у нея...»

«Все, что смутно и сонно было на душѣ у казаковъ, вмигъ слетѣло; сердца ихъ встрепенулись *какъ птицы*.

«*Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца перепела*, такъ Тарасовъ сынъ налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку».

Нельзя не видѣть изъ приведенныхъ примѣровъ, что поэтъ принимаетъ живое участіе въ изображаемомъ явленіи. Лирика иногда говоритъ въ самыхъ образахъ сравненія. Стоитъ открыть любую страницу его повѣстей, чтобы убѣдиться въ этомъ. По нимъ можно легко судить о томъ, что̀ Гоголю собственно было близко, ближе всего; сравненія вращаются въ области мыслей о прелестяхъ казацкой жизни, о малороссійской природѣ; въ области чувствъ, враждебно настроенныхъ противъ всего чуждаго малороссійскимъ началамъ.

По слѣдующимъ примѣрамъ можно судить еще о другомъ способѣ сравненія, весьма обычномъ и частомъ у Гоголя.

Извѣстно, какъ трудно поддается изображенію въ словѣ душевное настроеніе въ данный моментъ. Если справедливо, что бѣдность языка тому причина, то не менѣе справедливо, мнѣ кажется, признать другую причину и въ томъ, что не поддается оно изображенію по самой природѣ своей: душевная жизнь не есть нѣчто устойчивое; она черезъ мгновеніе уже не та, что была за мгновеніе, и восполняется новымъ притокомъ другихъ, не бывшихъ до того элементовъ, въ зависимости отъ все вновь прибывающихъ впечатлѣній. За этимъ вѣчнымъ движеніемъ не угнаться слову.

Но Гоголь умѣетъ изображать душевныя настроенія, при помощи сравненія. Поэтъ соперничаетъ съ живописцемъ и не въ силахъ достигнуть того, чего достигаетъ послѣдній, когда предметомъ изображенія является нѣчто тѣлесное; но далеко опережаетъ его, когда изображаетъ внутреннее, душевное состояніе. Хотя типовъ такихъ сравненій довольно много, и они не поддаются обобщенію, но характеръ ихъ опредѣляется точно: одинаковымъ желаніемъ переселить читателя въ состояніе, привлекаемое для поясненія даннаго.

«...Невозможно выразить, что дѣлается тогда на сердцѣ; тоска такая, какъ-будто бы или проигрался, или отпустилъ некстати какую-нибудь глупость...»

«А онъ (Черевикъ), какъ-будто облитый горячимъ кипяткомъ... бросился къ дверямъ».

«Да мнѣ теперь сдѣлалось весело, какъ будто мою жену москали увезли...»

«Куры такъ не дожидаются той поры, когда баба вынесетъ имъ хлѣбныхъ зеренъ, какъ дожидался Петрусь вечера (свиданія)».

«Дѣду болѣе всего любо было, что чумаковъ каждый день возовъ 50 проѣдетъ. Народъ бывалый; пойдетъ разсказывать—только уши развѣшивай; а дѣду это все равно, что голодному галушки...»

«...Всѣ эти давнія, необыкновенныя происшествія замѣнились спокойною и уединенною жизнью, тѣми грезами, которыя ощущаете вы, сидя на деревенскомъ балконѣ, обращенномъ въ садъ, когда прекрасный дождь роскошно шумитъ... или когда укачиваетъ васъ коляска, ныряющая между зелеными кустарниками...»

«Я ощутилъ въ себѣ тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ первый разъ въ жилище вдовца, котораго прежде знали нераздѣльнымъ съ супругою...» «Чувства эти бываютъ похожи на то, когда видимъ передъ собою безъ ноги человѣка, котораго всегда знали здоровымъ».

Эта манера до такой степени излюблена Гоголемъ и обычна у него, что, олицетворяя предметы неодушевленные, при изображеніи ихъ состоянія, онъ употребляетъ тотъ же пріемъ:

«Лѣниво и бездумно, будто гулящіе безъ цѣли, стоятъ подоблачные дубы». «Каганецъ, дрожа и вспыхивая, какъ бы пугаясь чего, свѣтилъ намъ въ хатѣ».

Тотъ же пріемъ и относительно животныхъ (хотя въ общемъ о животныхъ рѣчи очень мало), при чемъ сравненіе должно скорѣе быть отнесеннымъ къ юмористическимъ:

«Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру подъ амбаромъ съ кроткою кошечкой, и, наконецъ, подманили ее, какъ отрядъ солдатъ подманиваетъ глупую крестьянку».

Выдѣляя категоріи сравненій, обозначенныхъ выше, и указавъ на тѣ стороны, какія дѣлаютъ образы Гоголя отличными отъ образовъ сравненій другихъ поэтовъ и обусловливаются его природою: мысль какъ-будто хочетъ перескочить къ предметамъ, съ которыми сравнивается предметъ изображаемый, и оставаться съ нимъ; оставаясь слишкомъ долго, образъ становится нѣсколько скучнымъ, образуя балластъ и отвлекая мысль отъ самаго предмета (объ этомъ говорилось выше); пребывая тамъ мимоходомъ, онъ оживляетъ предметъ.

Оживленіе имѣетъ мѣсто особенно, когда онъ выбираетъ предметомъ для сравненія нѣчто болѣе ему близкое.

Наши чувственныя представленія весьма блѣдны и темны, и если художнику удается силою своего слова возбудить дѣятельность воображенія хотя въ нѣкоторой степени, то это признакъ высшаго искусства слова, а тѣмъ болѣе еще, если онъ силою изображенія заставляетъ проникаться предметомъ. Однимъ изъ болѣе обычныхъ средствъ возбужденія воображенія у Гоголя — также сравненіе. Съ ясностью и опредѣленностью языка оно ничего общаго не имѣетъ, а между тѣмъ оно замѣняетъ ихъ, и при всей простотѣ производитъ вліяніе на мысль.

Слѣдя за сравненіями, видишь, что въ мгновеніе творчества всѣ познанія физическаго міра какъ-будто подавляются всплывающею силою непосредственнаго воспріятія, и это сообщается читателю: предметъ какъ-будто лишается своего собственнаго образа и подобія, и этимъ преобразованіемъ достигнута цѣль: предметъ, явленіе стали близки.

«Солнце убралось на отдыхъ: — гдѣ горѣли вмѣсто него красноватыя полосы; по полю пестрѣли нивы, что *праздничныя плахты чернобровыхъ молодицъ*».

«Въ тонкомъ серебряномъ туманѣ мелькали дѣвушки, легкія, какъ-будто тѣни, въ бѣлыхъ, *какъ убранный ландышами лугъ*, рубашкахъ...»

«Подъѣхалъ къ избамъ, изъ которыхъ однѣ, *подобно стаду утокъ*, разсыпались по косогору возвышенья, а другія стояли внизу на сваяхъ, *какъ цапли*.

«Его подирало по кожѣ, когда онъ вступилъ въ лѣсъ... темно и глухо, какъ въ *винномъ подвалѣ*...»

«Козаки наши ѣхали бы, можетъ, и далѣе, если бы не обволокло всего неба ночью, *словно чернымъ рядномъ*, и въ полѣ не стало такъ же темно, какъ *подъ овчиннымъ тулупомъ*».

Иногда естественнаго вида предметъ лишается такимъ образомъ что ему придается содержаніе, болѣе всего соотвѣтствующее настроенію поэта и болѣе всего дѣйствующее на читателя. Гоголь въ такихъ случаяхъ проникается этимъ настроеніемъ насквозь; онъ находитъ въ этомъ наслажденіе, и душа его живетъ полною жизнью. Вспомнимъ лишь образъ сравненія рѣки съ кокетливою красавицею, франтовъ съ мухами. Возбужденное чувство требуетъ выхода въ словѣ, и въ такихъ случаяхъ Гоголь не такъ обращаетъ вниманіе на наглядность изображенія отъ сравненія, какъ на силу производимой возбуждаемости.

Есть образы, ихъ немного, которые сближаютъ Гоголя со всѣми другими писателями и не представляютъ, поэтому, особеннаго интереса, какъ слишкомъ шаблонные.

«...Пошли, пошли и зашумѣли *какъ море*, *въ непогоду*, толки и рѣчи между народомъ».

«И татарскіе ихъ кони, отдѣлившись отъ земли, распластавшись въ воздухѣ, *какъ змѣи*, перелетѣли черезъ пропасть»...

«На самой же горѣ подымались по обѣимъ сторонамъ высокіе, *какъ стрѣла*, осокори» и т. д.

Необходимо сказать еще нѣсколько словъ о гоголевскихъ гиперболахъ.

Гиперболы въ сравненіяхъ производятъ впечатлѣніе поэтическое, если образы включаются въ размѣры, какіе умъ способенъ обнять. У Гоголя они бываютъ по мѣстамъ слишкомъ громоздки, неестественны, или менѣе всего способны дать представленіе о пре-

обладающей чертѣ изображаемаго предмета, явленія; во всякомъ случаѣ, мало характеризуютъ ихъ.

«Попробуй взглянуть на молнію, когда, раскроивши черныя, какъ уголь, тучи, нестерпимо затрепещетъ она цѣлымъ потокомъ блеска: таковы очи у албанки...»

«Половой бѣгалъ по истертымъ клеенкамъ, помахивая бойко подносомъ, на которомъ сидѣла такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птицъ на морскомъ берегу...»

«Сабли страшно звякнули; желѣзо рубило желѣзо, и искрами будто пылью, обсыпали себя козаки» и т. п.

Не слѣдуетъ, мнѣ кажется, относить сюда тѣ гиперболы, которыя, возбуждая воображеніе, настраиваютъ его къ чему-то необыкновенно-большому, грандіозному, съ цѣлью вызвать состояніе удивленія, съ цѣлью поразить: «чудится будто зеркальная дорога, безъ мѣры въ ширину, безъ конца въ длину, рѣетъ и вьется по зеленому міру». Или «рѣдкая птица долетитъ до середины Днѣпра»... такіе образы поэтичны.

«Въ одномъ мѣстѣ пламя спокойно и величественно стлалось по небу; въ другомъ, встрѣтивъ что-то горючее и вдругъ, вырвавшись вихремъ, оно свистѣло и летѣло вверхъ подъ самыя звѣзды, и оторванные охлопья его гаснули подъ самыми дальними небесами...» «Заготовленіе (къ обѣду) было сдѣлано огромное; стукъ поварскихъ ножей на генеральской кухнѣ былъ слышенъ еще близъ городской заставы». «Что? удачно? спросилъ онъ съ *нетерпѣніемъ дикаго коня*» (при изображеніи мучительнаго дня, проведеннаго Тарасомъ Бульбой). Онѣ такъ же понятны, какъ обыкновенная фигура гиперболическая, въ родѣ: «Изъ самой средины морского дна возноситъ она (скала) къ небесамъ непреломныя свои стѣны». Въ главѣ о юморѣ мы къ этому вопросу возвратимся, такъ какъ гиперболы Гоголя, главнымъ образомъ, и рѣзко выступаютъ въ его юмористическихъ сопоставленіяхъ.

Мандельштамъ.

Слова, выраженія и складъ рѣчи, свойственныя народному творчеству, въ произведеніяхъ Гоголя.

И не только чисто-народныя (простонародныя) слова и выраженія обильно и кстати встрѣчаются въ произведеніяхъ Гоголя: онъ и самъ создаетъ и употребляетъ готовыя уже выраженія въ народномъ духѣ и окраскѣ. Ему свойственъ «самородокъ, живой и бойкій русскій умъ, что не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не высиживаетъ его, какъ насѣдка цыплятъ, а вылѣпливаетъ сразу» (Гог. III, 106). Въ произведеніяхъ Гоголя не найдете почти ни одной страницы, гдѣ бы не встрѣтились выраженія, которыя — скажемъ его же словами — «вышибаются» изъ нутра художника совершенно въ русскомъ

народномъ духѣ. Вотъ нѣсколько такихъ примѣровъ: у Державина «рѣчь, языкъ, слогъ—все скрипитъ, какъ телѣга съ невымазанными колесами»; вѣдьму «мы сегодня съ хлопцами ругнули на всѣ бока»; «испуганный жидъ припустился во всѣ лопатки»; «пошла писать губернія»; снялъ нагайку и уже хотѣлъ было «покропить ею спину бѣднаго Петра»; «всякій, призываемый въ барскіе покои (Плюшкина), обыкновенно отплясывалъ черезъ весь дворъ босикомъ, но, входя въ сѣни, надѣвалъ сапоги... выходя изъ комнаты, онъ оставлялъ сапоги опять въ сѣняхъ и отправлялся вновь на собственной подошвѣ». Гоголь ясно сознавалъ, что литературнымъ языкомъ можетъ быть только языкъ народа, отличающійся постоянною свѣжестью своихъ питательныхъ соковъ; если по какимъ-либо историческимъ причинамъ литературный языкъ отдалился отъ народнаго, то главная цѣль образцовыхъ писателей сблизить ихъ.

Усиленіе народнаго элемента въ произведеніяхъ Гоголя сказывается еще и въ другомъ—въ нерѣдко наблюдаемомъ особомъ складѣ рѣчи, свойственномъ только народному творчеству. Всѣмъ вамъ извѣстны такія народныя выраженія, какъ: думушку-думати, чудо-чудное, шуточки-шутить и т. д., называемыя обыкновенно тавтологическими. То же часто и у Гоголя. Въ «Мертвыхъ душахъ» читаемъ: «Дымомъ дымится подъ тобою дорога»; въ «Ревизорѣ» одинъ купецъ, жалуясь на городничаго, говоритъ: «не по поступкамъ поступаетъ»—такъ говоритъ лицо изъ народа своей рѣчью; но если мы читаемъ у Гоголя же про поэта эстетической стороны дѣйствительности, что «онъ окурилъ упоительнымъ куревомъ людскія очи»,—то это уже будетъ продуктъ чистаго творчества поэта на народныхъ основахъ. Этого способа выраженія поэтъ держится не только въ чисто поэтическихъ произведеніяхъ, гдѣ онъ имѣетъ въ виду оживить, усилить впечатлѣніе, производимое на читателя извѣстнымъ выраженіемъ, но и въ статьяхъ обычныхъ прозаическихъ.

Народная рѣчь очень любитъ прибѣгать къ сравненіямъ всякаго рода, только бы поэтическій образъ представился цѣльнѣе и рельефнѣе и прочнѣе запечатлѣлся въ нашемъ воображеніи. Гоголь въ своихъ произведеніяхъ, особенно въ «Тарасѣ Бульбѣ», далъ истинные перлы созданія въ этомъ родѣ, находящіе для себя соперниковъ развѣ въ «Словѣ о полку Игоревѣ», при чемъ простыя сравненія у него обратились въ цѣлые символы. Приведу два—три примѣра: «Какъ плавающій въ небѣ ястребъ, давши много круговъ сильными крылами, вдругъ останавливается распластанный на одномъ мѣстѣ и бьетъ оттуда стрѣлой на раскричавшагося у самой дороги самца перепела, такъ Тарасовъ сынъ Остапъ налетѣлъ вдругъ на хорунжаго и сразу накинулъ ему на шею веревку». Или: «Оглянулся онъ теперь вокругъ себя: все новое на Сѣчи, всѣ перемерли старые товарищи. Ни одного изъ тѣхъ, которые стояли за правое дѣло, за вѣру и братство... всѣ положили головы, всѣ сгибли... Слышалъ онъ только, что былъ пиръ сильный, шумный пиръ; вся пере-

бита вдребезги посуда; нигдѣ не осталось вина ни капли; расхитили гости и слуги всѣ дорогіе кубки и сосуды, и смутный стоитъ хозяинъ дома, думая: «лучше бы и не было того пира». Здѣсь битва сравнивается съ пиромъ, какъ и въ слѣдующемъ мѣстѣ другой русской поэмы: «ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбріи русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю рускую». Тотъ же образъ и въ народной пѣснѣ, представляющей прощанье съ конемъ умирающаго на войнѣ добраго молодца:

Ты скажи моей молодой вдовѣ,
Что женился я на другой женѣ...
Насъ сосватала сабля острая,
Положила спать калена стрѣла.

Приведенныя сравненія и образы созданы поэтомъ или самостоятельно, или подъ вліяніемъ изученія народнаго творчества. Но произведенія Гоголя полны сравненій, возникшихъ уже, несомнѣнно, независимо отъ народной рѣчи. Таково напр.: «Далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной мѣди, въ которую мастеръ много повергнулъ дорогого, чистаго серебра, чтобы далече по городамъ и селамъ, палатамъ и лачугамъ разносился красный звонъ, сзывая равно всѣхъ на святую молитву».

Особенно часто поэтъ обращается къ сравненіямъ, когда нужно изобразить внутреннее, душевное состояніе. Уступая живописцу въ представленіи внѣшнихъ предметовъ или соперничая съ нимъ, здѣсь поэтъ далеко превосходитъ его, напр.: «Невозможно выразить, что дѣлается тогда на сердцѣ; тоска такая, какъ-будто бы проигрался, или отпустилъ некстати какую-нибудь глупость».

Русская народная поэзія замѣчательна эпитетами всякаго рода, обыкновенно отмѣчающими существенные признаки предметовъ (поле чистое, груди бѣлыя, плечи могучія, сабля острая и т. д.). Эпитеты—принадлежность всякой поэтической рѣчи, начиная хотя бы отъ поэмъ Гомера и до сихъ поръ. Но не всѣ поэты одинаково искусно пользуются ими, а еще менѣе способны къ такому удачному созданію и употребленію этого рода словъ, чтобы они приближались къ народнымъ эпитетамъ. Гоголь и въ этомъ отношеніи стоитъ выше своихъ предшественниковъ. Припомните для примѣра въ описаніи сада. Плюшкина: *снѣжная* бѣлизна, *темная* пасть, зеленыя *лапы-листы* клена, *трепетныя* вершины осинъ; или въ «Тарасѣ Бульбѣ»: «Бандуристъ... вѣщій духомъ скажетъ про нихъ свое густое, могучее слово». Особенно удаются Гоголю сложные эпитеты, напоминающіе Гомеровскіе: *зеленокудрые* лѣса, *бѣлоголовый* старецъ, *сѣдочупринные* казаки; какъ грянула пушка... четырекратно, потрясши *глухоотвѣтную* землю... и т. д. Эпитеты послѣдняго рода очень поэтичны у Гоголя: изъ новѣйшихъ писателей на одной ступени въ этомъ отношеніи стоятъ лишь Тургеневъ и Л. Н. Толстой.

Можно бы указать у Гоголя и примѣры сходства съ другими пріемами народнаго творчества, но это слишкомъ утомило бы ваше

благосклонное вниманіе. Я отмѣчу только одинъ, болѣе рѣдкій случай, когда опредѣленіе мѣста, откуда происходитъ предметъ, выражается названіемъ этого мѣста, поставленнымъ въ роли сказуемаго или приложенія. Помните мѣсто, когда капитанъ Копейкинъ сталъ искать себѣ квартиру въ Петербургѣ: «понатолкался — было нанять квартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы... ковры— Персія, судырь мой, такая»... Или какъ онъ пришелъ къ начальнику въ комиссію: «встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себѣ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себѣ представить какую-нибудь Америку и Индію — раззолоченную, относительно сказать, фарфоровую вазу эдакую». Эта форма выраженія у другихъ писателей мнѣ неизвѣстна, но она обычна въ разговорной рѣчи: семга Печора, семга Двина и т. д. Такимъ складомъ рѣчи прекрасно характеризуется первобытно-простое выраженіе мыслей у человѣка, вообще говорящаго нескладно. Русскій языкъ, по Гоголю (IV, 212), будучи безпредѣленъ, можетъ ежеминутно обогащаться, выбирая мелкія выраженія изъ безчисленныхъ своихъ нарѣчій, и опускаться до простоты, ощутительной осязанію непонятливѣйшаго человѣка.

Давши въ литературномъ языкѣ исключительный перевѣсъ народной рѣчи, Гоголь, естественно, долженъ былъ устраняться отъ того, что ей противорѣчило, т.-е. отъ церковно-славянскихъ выраженій и отъ словъ иностранныхъ. Это апріорное соображеніе подтверждается и фактами, взятыми изъ произведеній нашего писателя.

Уже Пушкинъ, указавъ надлежащее мѣсто для основныхъ стихій, изъ которыхъ слагалась литературная рѣчь предшествовавшаго ему времени, для церковно-славянскаго элемента отводилъ незначительное мѣсто въ стихотворныхъ произведеніяхъ, когда этого требовалъ общій тонъ данной пьесы («Пророкъ»), колоритъ времени (рѣчь патріарха въ «Борисѣ Годуновѣ» и под.), а также особенно часто, когда это нужно было для стиха. Проза Пушкина почти совершенно свободна отъ церковно-славянской стихіи. Гоголь, писавшій прозой, вполнѣ слѣдуетъ завѣтамъ Пушкина: у него совершенно нѣтъ славянизмовъ, нѣтъ даже тамъ, гдѣ они были бы у мѣста, напр.: въ повѣстяхъ, въ которыхъ выводится дьякъ («Вечеръ наканунѣ Ивана Купала», «Ночь предъ Рождествомъ») или бурсаки (въ повѣсти «Вій»). Тутъ только одинъ разъ проговорился дьякъ на языкѣ, напоминающемъ церковно-славянскій: «Дражайшая[1]) Солоха». Кое-гдѣ встрѣчаются славянизмы въ «Сорочинской ярмаркѣ» въ рѣчи поповича, напр., когда онъ успокаиваетъ поджидавшую его сожительницу Черевика словами: «ничего (не случилось),... выключая только уязвленія со стороны крапивы, сего зміеподобнаго злака, по выраженію покойнаго отца-протопопа» (Гог. I, 20); тамъ же еще «воистину», «жаждетъ».

[1]) Впрочемъ, и это слово, быть можетъ, не представлялось Гоголю, церковно славянскимъ, по крайней мѣрѣ, въ своихъ письмахъ онъ всегда называетъ своихъ родителей «дражайшими». (Шенрокъ.)

Такое рѣшительное уклоненіе отъ церковно-славянскаго языка, при общемъ стремленіи писателя и въ рѣчи выдерживать мѣстныя особенности, вѣроятно, слѣдуетъ отчасти приписать малому знакомству Гоголя съ этимъ языкомъ въ молодости. Впослѣдствіи, въ эпоху «Переписки съ друзьями» и мистицизма, и Гоголь начинаетъ обращаться къ церковно-славянскимъ словамъ и къ выраженіямъ, построеннымъ въ духѣ церковно-славянскихъ; но его проза этого времени уже обнаруживаетъ упадокъ таланта писателя. Въ произведеніяхъ послѣдняго рода обычны выраженія: *возымѣть* такую любовь во всей силѣ никто не *возможетъ*; часто мы должны бы просить не объ *отвращеніи* отъ насъ несчастій, но *о прозрѣніи, о проразумѣніи* тайнаго ихъ смысла...; заключенный въ нихъ лиризмъ... живое *отторгновеніе* отъ самаго тѣла души — потрясъ ихъ... и гласъ Божій слышится въ ея *восторгновеніи* и т. д. Здѣсь ясно вліяніе чтенія свято-отеческихъ твореній и вообще богословскихъ произведеній.

Карскій.

Гоголь и народная пѣсня.

Гоголь съ юныхъ лѣтъ полюбилъ народныя пѣсни и придавалъ имъ огромное значеніе въ дѣлѣ изученія народа въ прошломъ, настоящемъ и будущемъ.

Весьма рано въ немъ явилось и желаніе собирать и записывать эти памятники народнаго творчества. Еще въ гимназіи высшихъ наукъ въ Нѣжинѣ Гоголь завелъ для себя особую записную книгу, подъ названіемъ «Книга всякой всячины», и въ нее внесъ первые опыты своего собиранія народныхъ пѣсенъ.

По выходѣ изъ нѣжинской гимназіи Гоголь еще энергичнѣе принялся за собираніе народныхъ пѣсенъ, по крайней мѣрѣ, въ первые годы своей самостоятельной жизни, и достигъ въ этой области, судя по сохранившимся его записямъ народныхъ пѣсенъ, весьма замѣтныхъ и даже крупныхъ результатовъ. Эти занятія Гоголь даже предпочиталъ всѣмъ прочимъ и даже своему художественному творчеству: «главнымъ дѣломъ Гоголя въ эту пору было собираніе народныхъ украинскихъ пѣсенъ, въ которое онъ въ одно время вдался было усиленно, относясь къ этому занятію съ горячимъ увлеченіемъ внезапно возгорѣвшейся страсти.

Біографія Гоголя не даетъ матеріаловъ для точнаго и подробнаго опредѣленія участія самого Гоголя въ собираніи и записываніи народныхъ пѣсенъ. Можно отыскать лишь косвенныя указанія въ перепискѣ Гоголя на то, что онъ и самъ не прочь былъ заняться нелегкимъ дѣломъ выслушиванія и записыванія пѣсенъ, хожденія въ народъ и непосредственнаго собиранія памятниковъ народнаго творчества. Въ письмѣ къ Пушкину отъ 23 декабря 1833 года Гоголь

писалъ: «Я восхищаюсь заранѣе, когда воображу, какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ... А сколько соберу тамъ преданій, повѣрьевъ, пѣсенъ и проч.!» Въ другой разъ, въ письмѣ къ М. А. Максимовичу, отъ 12 марта 1834 года, мечтая о совмѣстномъ съ нимъ изданіи пѣсенъ въ Кіевѣ, Гоголь говоритъ: «Весну и лѣто мы бы тамъ (въ Кіевѣ) славно отдохнули, набрали матеріаловъ, а къ осени бы и засѣли работать». Что выраженіе «набрать матеріаловъ» Гоголь понималъ въ смыслѣ непосредственнаго выслушиванія и записыванія пѣсенъ, объ этомъ ясно свидѣтельствуетъ другое письмо его къ Максимовичу, отъ 22 января 1835 года, гдѣ онъ уже прямо говоритъ: «Я думаю, что ты пропасть услышалъ новыхъ пѣсенъ. Ты долженъ непремѣнно подѣлиться со мною и прислать. Да и нѣтъ ли какихъ-нибудь эдакихъ старинныхъ преданій? Эй, не зѣвай! Время бѣжитъ, и съ каждымъ годомъ все стирается».

Любовь Гоголя къ пѣснямъ была такъ велика, что онъ готовъ былъ для собиранія ихъ жертвовать и трудомъ своимъ, и временемъ, и даже своими прямыми занятіями. 9 ноября 1833 года онъ писалъ Максимовичу: «Я очень порадовался, услышавъ отъ васъ о богатомъ присовокупленіи пѣсенъ и собираній Ходаковскаго. Какъ бы я желалъ теперь быть съ вами и пересмотрѣть ихъ вмѣстѣ, при трепетной свѣчѣ, между стѣнами, убитыми книгами и книжною пылью, съ жадностью жида, считающаго червонцы! Моя радость, жизнь моя, пѣсни! Какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями!»...

Очевидно, при такомъ отношеніи къ пѣснямъ, Гоголь готовъ былъ и на свое личное участіе въ дѣлѣ собиранія ихъ. Къ сожалѣнію, біографія его не располагаетъ опредѣленными указаніями для положительнаго выясненія этого участія.

Повидимому, самымъ крупнымъ источникомъ, изъ котораго Гоголь черпалъ народныя южно-русскія пѣсни, была его родовая Васильевка, а самыми дѣятельными собирателями, записывателями и списывателями пѣсенъ были всѣ его домашніе: мать, сестры, тетушки, приживалки. Подтвержденій находится множество въ его письмахъ къ роднымъ. Такъ, 2 апрѣля 1830 года Гоголь писалъ изъ Петербурга къ матери: «Всѣ посылки ваши получилъ и не могу возблагодарить достойно за нихъ васъ... Приношу благодарность тетенькѣ Катеринѣ Ивановнѣ, которая рѣшилась пожертвовать временемъ — собрать для меня нѣсколько любопытныхъ пѣсенъ; но драгоцѣннѣйшія изъ нихъ есть, однакожъ, списанныя ваши двѣ запорожскія. Благодарю также Лукерью Ѳедоровну и Марью Борисовну за ихъ участіе. Жаль только, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рука такъ неразборчива, что я до сихъ поръ многаго не разобралъ». Въ другой разъ 19 сентября 1831 года, въ письмѣ къ сестрѣ своей М. В. Гоголь писалъ: «У меня есть къ тебѣ просьба. Ты помнишь, милая, ты такъ хорошо было начала собирать малороссійскія сказки и пѣсни, и, къ сожалѣнію, прекратила. Нельзя ли возобновить это? Мнѣ оно

необходимо нужно... А сказки, пѣсни, происшествія, можете посылать въ письмахъ или небольшихъ посылкахъ».

Особенно выдѣлялась знаніемъ пѣсенъ народныхъ и умѣніемъ ихъ пѣть тетушка Гоголя Екатерина Ивановна Ходаревская, урожденная Косяровская, родная сестра Марьи Ивановны Гоголь. О ней Гоголь писалъ Данилевскому 8 февраля 1833 года: «Я думаю, Катерина Ивановна напѣла тебѣ уши пѣснями про «бойрендомъ духтеромъ»; а также въ письмѣ къ матери отъ 1 ноября того же 1833 года: «Скажите Катеринѣ Ивановнѣ, что мнѣ часто приходятъ на умъ ея пѣсни, но я ихъ не пою, потому что я мастеръ только подтягивать. А если бъ запѣлъ соло, то морозъ подралъ бы по кожѣ слушателей».

Просьбы свои о присылкѣ пѣсенъ Гоголь и впослѣдствіи неоднократно повторялъ своимъ роднымъ. Такъ, въ письмѣ къ матери, отъ 30 января 1835 года, онъ просилъ сестру: «Пришли, пришли, сестра, пѣсню, о которой пишешь. Очень буду благодаренъ». Въ другомъ письмѣ къ матери же, отъ 22 сентября 1835 года, Гоголь спрашивалъ тетушку: «Милостивая государыня Катерина Ивановна! Припасли ли вы мнѣ пѣсенъ?»...

Надо думать все-таки, что эти повторныя просьбы вызваны были вовсе не бездѣйствіемъ родныхъ, а жаждой къ пѣснямъ самого Гоголя. По крайней мѣрѣ, онъ самъ въ своихъ письмахъ свидѣтельствуетъ неоднократно благодарность свою роднымъ за присылку пѣсенъ, которая, видимо, шла непрерывно, а иногда и въ весьма значительномъ количествѣ. Въ письмѣ къ матери отъ 22 ноября 1832 года Гоголь обращается къ сестрѣ: «поблагодарилъ бы тебя и за пѣсню, но она уже у меня давно есть, написанная рукою Борисовны». 9 марта 1834 года онъ писалъ матери: «Благодарю очень васъ и сестру за пѣсни». Въ письмѣ къ ней же отъ 22 ноября 1833 года Гоголь писалъ: «Во-первыхъ, прежде всего я долженъ благодарить васъ за посылку: сестру за пѣсни, изъ которыхъ особенно та что: «Що се братця якъ барятця!» очень характерна и хороша; но болѣе всего одолжили вы меня присылкою старинной тетради съ пѣснями: между ними есть многія очень замѣчательныя. Сдѣлаете большое одолженіе, если отыщете подобныя той тетради съ пѣснями, которыя, я думаю, болѣе всего водятся въ старинныхъ сундукахъ между старинными бумагами у старинныхъ поповъ или у потомковъ старинныхъ поповъ».

Такимъ образомъ, кромѣ записи съ живого голоса, Гоголь привлекалъ въ свое собраніе и пѣсни старинныхъ рукописныхъ сборниковъ.

Въ результатѣ такихъ поисковъ и стараній Гоголевское собраніе народныхъ пѣсенъ вскорѣ пріобрѣло значительные размѣры, и тогда у Гоголя появилась слабость, общая многимъ собирателямъ: не показывать другимъ своего собранія и не дѣлиться съ другими своими сокровищами, а самому пользоваться чужими собраніями.

9 ноября 1833 года Гоголь писалъ къ Максимовичу о пѣсняхъ: Я самъ теперь получилъ много новыхъ, и какія есть между ними! Прелесть! Я вамъ ихъ спишу... не такъ скоро, потому что ихъ очень много. Да, я васъ прошу, сдѣлайте милость, дайте списать всѣ находящіяся у васъ пѣсни, выключая печатныхъ и сообщенныхъ вамъ мною. Сдѣлайте милость, и пришлите этотъ экземпляръ мнѣ. Я не могу жить безъ пѣсенъ. Вы не понимаете, какая это мука. Я знаю, что есть столько пѣсенъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ не знаю. Это все равно, если бъ кто передъ женщиной сказалъ, что онъ знаетъ секретъ и не объявилъ бы ей. Велите переписать четкому, красивому въ тетрадь in quarto на мой счетъ. Я не имѣю терпѣнія дождаться печатнаго; притомъ я тогда буду знать, какія присылать вамъ пѣсни, чтобы у васъ не было двухъ сходныхъ дублетовъ. Вы не можете представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни. Даже не историческія, даже пахабныя; онѣ все даютъ по новой чертѣ въ мою исторію, все разоблачаютъ яснѣе и яснѣе, увы, прошедшую жизнь и, увы, прошедшихъ людей... Велите сдѣлать это скорѣе. Я вамъ зато пришлю находящіяся у меня, которыхъ будетъ до двухсотъ, и что замѣчательно — что многія изъ нихъ похожи совершенно на антики, на которыхъ лежитъ печать древности, но которые совершенно не были въ обращеніи и лежали зарытые».

12 февраля 1834 года Гоголь опять писалъ Максимовичу: «Пѣсенъ я тебѣ съ большою охотою прислалъ бы, но у меня ихъ ужасная путаница. Незнакомыхъ тебѣ, можетъ-быть, будетъ не болѣе ста, зато извѣстныхъ, вѣроятно, около тысячи, изъ которыхъ большую часть мнѣ теперь нельзя прислать. Если бы ты прислалъ свой списокъ съ находящихся у тебя, тогда бы я зналъ, какія тебѣ нужны, и прочія бы выправилъ съ моими списками и послалъ тебѣ».

Болѣе подробно о количествѣ своего собранія пѣсенъ Гоголь писалъ И. И. Срезневскому 6 марта 1834 года: «Пѣсенъ я знаю и имѣю много. Около ста пятидесяти пѣсенъ я отдалъ прошлый годъ Максимовичу, совершенно ему неизвѣстныхъ. Послѣ того я пріобрѣлъ еще около 150; у Максимовича теперь уже 1200. Но я бьюсь объ чемъ угодно, что теперь же еще можно сыскать въ каждомъ хуторѣ, подальше отъ большой дороги и разврата, десятка два неизвѣстныхъ другому хутору».

Такимъ образомъ, по подсчету самого Гоголя его собраніе включало въ себѣ не менѣе 300 пѣсенъ совсѣмъ особыхъ, неизвѣстныхъ другимъ собирателямъ.

Цѣлію собиранія пѣсенъ Гоголь поставилъ себѣ изданіе ихъ совмѣстно съ Максимовичемъ. 12 марта 1834 года онъ писалъ Максимовичу: «Пѣсни намъ нужно издать непремѣнно въ Кіевѣ. Соединившись вмѣстѣ, мы такое удеремъ изданіе, какого еще никогда ни у кого не было». Это желаніе совмѣстной работы по изданію

народныхъ пѣсенъ вызвало потребность во взаимномъ обмѣнѣ собраніями пѣсенъ. Гоголь много разъ просилъ Максимовича прислать ему свое собраніе. «Жду съ нетерпѣніемъ отъ тебя, писалъ онъ Максимовичу въ декабрѣ 1833 года, обѣщанной тетради пѣсенъ, тѣмъ болѣе что безпрестанно получаю новыя, изъ которыхъ много есть историческихъ, еще больше — прекрасныхъ. Впрочемъ, я нетерпѣливѣе тебя и никакъ не могу утерпѣть, чтобы не выписать здѣсь одной изъ самыхъ интересныхъ, которой, вѣрно, у тебя нѣтъ». (Що се братця якъ барятця). 29 марта 1834 года Гоголь писалъ къ нему же: «Пѣсню твою про Нечая получилъ вчера. Вотъ все, что получилъ отъ тебя, вмѣсто обѣщанныхъ какихъ-то книгъ». Наконецъ, лишь въ апрѣлѣ 1834 года Гоголь получилъ собраніе пѣсенъ Максимовича и 20-го числа писалъ ему: «Благодарю тебя за пѣсни. Я теперь читаю твои толстыя книги; въ нихъ есть много прелестей». Одновременно Гоголь получилъ и отпечатанные листы второго изданія Максимовича, вышедшаго въ свѣтъ въ этомъ же 1834 году, которые по мѣрѣ печатанія продолжалъ получать и потомъ. Обратно возвратить пѣсни Максимовичу Гоголь не торопился и уже изъ Рима 5 февраля 1838 года писалъ къ матери: «Еще я позабылъ спросить васъ: отослали ли вы двѣ толстыя рукописныя книги въ Кіевъ къ профессору Максимовичу, или отвезли ихъ сами, бывши въ Кіевѣ? Сдѣлайте милость, извѣстите меня объ этомъ,— тѣмъ болѣе, что онъ напоминалъ мнѣ о нихъ, и я такъ предъ нимъ виноватъ».

Всѣ вышеприведенныя свѣдѣнія даютъ основаніе полагать, что у Гоголя было свое собственное и довольно значительное собраніе южно-русскихъ пѣсенъ, составленное преимущественно трудами родственныхъ ему корреспондентовъ, и что Гоголь имѣлъ въ своемъ распоряженіи, кромѣ того, и рукописное собраніе пѣсенъ Максимовича.

Печатный пѣсенный матеріалъ былъ также извѣстенъ Гоголю. Въ письмѣ своемъ къ Максимовичу, отъ 7 января 1834 года, онъ спрашивалъ: «Знаешь ли ты собраніе галицкихъ пѣсенъ, вышедшихъ въ прошломъ году (довольно толстая книжка, in — 8)? Очень замѣчательная вещь! Между ними есть множество настоящихъ малороссійскихъ, такъ хорошихъ, съ такими свѣжими красками и мыслями, что весьма не мѣшаетъ ихъ включить въ гадаемое собраніе». Объ экземплярѣ этого изданія пѣсенъ (пѣсни люду галичскаго) Гоголь 12 февраля 1834 года писалъ Максимовичу: «Экземпляра пѣсенъ галицкихъ здѣсь нигдѣ нѣтъ; мой же собственный у меня замоталъ одинъ задушевный пріятель».

Кромѣ того, Гоголь имѣлъ изданіе пѣсенъ Максимовича, Срезневскаго и Цертелева. 29 мая 1834 года онъ писалъ Максимовичу: «Недавно С. С. (Сергѣй Семеновичъ Уваровъ) получилъ отъ Срезневскаго экземпляръ пѣсней и адресовался ко мнѣ съ желаніемъ видѣть мое мнѣніе о нихъ въ «Журналѣ Просвѣщенія», такъ же, какъ и о бывшихъ до него изданіяхъ — твоемъ и Цертелева. Чтожъ я

сдѣлалъ? я написалъ статью, только самаго главнаго позабылъ: ничего не сказалъ ни о тебѣ, ни о Срезневскомъ, ни о Цертелевѣ. Послѣ я спохватился и хотѣлъ было прибавить и проболтаться о твоемъ великолѣпномъ новомъ изданіи, но опоздалъ: статья уже была отпечатана». Впослѣдствіи, въ письмѣ отъ 7 іюля 1840 года Гоголь просилъ С. Т. Аксакова поручить Константину Сергѣевичу Аксакову выслать ему за границу «оба изданія пѣсней Максимовича, а, можетъ быть и третье, коли вышло». И вообще Гоголь старался не пропустить ни одного изданія пѣсенъ и, между прочимъ, въ 1837 году, просилъ Н. Я. Прокоповича: «пожалуйста пришли... хорошее изданіе русскихъ пѣсенъ или малороссійскихъ пѣсенъ».

Однако, позволительно думать, что эти просьбы о высылкѣ печатныхъ изданій пѣсенъ вызваны были уже не интересами собиранія пѣсенъ, а исключительно интересами освѣдомленности самого Гоголя въ текущей пѣсенной литературѣ[1]). Повидимому, Гоголь закончилъ самый процессъ собиранія пѣсенъ, по крайней мѣрѣ, въ главной ихъ массѣ, до времени своего отъѣзда за границу въ 1836 году. За границу онъ уже повезъ съ собою готовое и въ основѣ законченное свое собраніе пѣсенъ. Тамъ онъ любилъ обращаться къ этому источнику народнаго познанія и за чтеніемъ пѣсенъ находить для себя удовольствіе и отдохновеніе. 15 августа 1839 года Гоголь писалъ Погодину: «Слышу пустоту безъ тебя, но не грущу. Малороссійскія пѣсни со мною. Запасаюсь и тщусь сколько возможно надышаться стариной». Въ томъ же мѣсяцѣ 25-го числа Гоголь писалъ Шевыреву: «Передо мною выясниваются и проходятъ поэтическимъ строемъ времена казачества... Малороссійскія ли пѣсни, которыя теперь у меня подъ рукою, навѣяли ихъ, или на душу мою нашло само собою ясновидѣніе прошедшаго, только я чую много того, что́ нынѣ рѣдко случается».

Все Гоголевское собраніе малороссійскихъ пѣсенъ и заключалось именно въ тѣхъ двухъ тетрадяхъ, въ размѣръ малаго почтоваго листа, которыя сохранились до нашего времени и по которымъ собранныя Гоголемъ пѣсни печатаются въ настоящей книгѣ[2]).

Гр. Георгіевскій.

---

[1]) Могли быть и особыя побужденія для такихъ просьбъ Гоголя: «Эти книги мнѣ теперь весьма нужны, дабы окунуться покрѣпче, въ коренной русскій духъ», писалъ онъ Языкову 20 января 1847 года. Ср. письма къ Шевыреву отъ 11 февраля 1847 года и 27-го апрѣля того же года.

[2]) Пѣсни, собранныя Н. В. Гоголемъ. Изданы Г. П. Георгіевскимъ. Изданіе Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ. С.-Пб. 1908.

Отличительныя свойства таланта Гоголя.

Мы бы стали тщетно искать въ нашей литературѣ на рубежѣ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ повторенія того перелома, который въ это время совершился въ литературѣ Запада. Несмотря на то, что новое реалистическое направленіе нигдѣ не выступало съ такою рѣзкостью, какъ именно у насъ, оно увлекло за собой лишь очень небольшую часть литературы, а въ остальной ея части не вызвало почти никакого отголоска. Случилось это, главнымъ образомъ, потому, что нашъ романтизмъ, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ двухъ своихъ геніальныхъ представителей — Пушкина и Лермонтова — былъ съ самаго начала проникнутъ здоровымъ реалистическимъ духомъ, и что, несмотря на существованіе у насъ крѣпостного права, высшіе общественные классы, а съ ними вмѣстѣ и литература, стояли гораздо ближе къ народному быту, чѣмъ на Западѣ. Но была тутъ и другая причина. Сорокалѣтній періодъ отъ начала двадцатыхъ годовъ до конца пятидесятыхъ былъ сплошнымъ дворянскимъ періодомъ въ нашей литературѣ. Не только почти всѣ выдающіеся писатели этой эпохи, но и всѣ выведенные ими типы принадлежали къ дворянской средѣ. За всю эту эпоху общественный строй оставался неизмѣннымъ: одинъ и тотъ же классъ составлялъ подавляющую массу читающей публики и, вслѣдствіе этого, естественно хотѣлъ видѣть и въ литературѣ свое отраженіе. Въ Россіи не произошло ничего подобнаго тому соціальному перевороту, который съ большею или меньшею рѣзкостью совершился въ прочихъ европейскихъ странахъ. Вотъ почему и въ русской литературѣ не совершилось за все это время никакого замѣтнаго перелома, и даже огромный талантъ Гоголя не оказалъ на его современниковъ особеннаго воздѣйствія.

Говоря это, я вовсе не намѣренъ умалять значеніе Гоголя. Что Гоголь первый у насъ ввелъ въ область художественнаго творчества изображеніе жизни мелкихъ людей и, притомъ, безъ всякихъ условныхъ прикрасъ, что онъ, такимъ образомъ, расширилъ эту область и количественно и качественно, — это, конечно, сомнѣнію не подлежитъ, какъ не подлежитъ сомнѣнію то, что впослѣдствіи цѣлая школа писателей признавала въ немъ своего родоначальника. Но изъ этого еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы Гоголь въ самомъ дѣлѣ былъ у насъ основателемъ совершенно новаго литературнаго толка. Реализмъ существовалъ и до Гоголя, если только подъ этимъ словомъ мы будемъ понимать не внѣшнюю форму искусства, а его содержаніе, не изображеніе жизненной пошлости, не тривіальные обороты рѣчи, а правдивое воспроизведеніе человѣческаго сердца и условій быта. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ и въ особенности Грибоѣдовъ опередили Гоголя. Большей правды, чѣмъ та, какую мы видимъ въ «Евгеніи Онѣгинѣ» и въ «Горѣ отъ ума», отъ искусства требовать нельзя. И если у Гоголя такое видное мѣсто занимаютъ не только отрицательные, но и уродливые, пошлые типы, если сообразно

этому самый языкъ у него сталъ въ уровень съ изображаемой имъ средою, то это объясняется лишь тѣмъ, что главнымъ его предметомъ творчества была сатира. И даже въ этомъ смыслѣ у Гоголя былъ предшественникъ, притомъ очень давнишній, современникъ Екатерининской эпохи. Языкъ «Недоросля и «Бригадира» щепетильностью не отличается и по своей рѣзкости мало въ чемъ уступаетъ языку Гоголя. Скажу болѣе: если однимъ изъ отличительныхъ свойствъ реализма мы признаемъ простоту рѣчи, то въ этомъ послѣднемъ отношеніи Пушкину едва ли не принадлежитъ значительное преимущество передъ Гоголемъ. Какъ скоро въ самомъ дѣлѣ у Гоголя проявляется лиризмъ, напр. въ концѣ первой части «Мертвыхъ душъ» — языкъ Гоголя становится, не скажу вычурнымъ, но, во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе цвѣтистымъ и реторичнымъ, чѣмъ проза Пушкина. Сравнимъ «Капитанскую дочку» съ нѣкоторыми мѣстами «Мертвыхъ душъ», не говоря уже о «Тарасѣ Бульбѣ», и увидимъ, на чьей сторонѣ бо́льшая простота. Не въ этомъ, стало-быть, главная заслуга Гоголя, отличительная черта его таланта.

Нельзя также сказать, чтобы примѣръ Гоголя тотчасъ нашелъ себѣ многочисленныхъ подражателей. Первыя вполнѣ реалистическія его произведенія, «Старосвѣтскіе помѣщики» и повѣсть «объ Иванѣ Ивановичѣ и Иванѣ Никифоровичѣ» появились въ половинѣ тридцатыхъ годовъ, а первыя два крупныхъ литературныхъ явленія, носящія на себѣ явный отпечатокъ подражанія Гоголю, — «Бѣдные люди» Достоевскаго и «Обыкновенная исторія» Гончарова — относятся къ концу 40-хъ. За весь этотъ промежутокъ времени литературная сцена была занята писателями Пушкинской, а не Гоголевской школы,— Тургеневымъ, княземъ Вяземскимъ, графомъ Соллогубомъ, нѣсколько позже — Авдѣевымъ, Майковымъ и Полонскимъ. И всѣ эти писатели, за исключеніемъ Вяземскаго и Соллогуба, начали свою дѣятельность въ сороковыхъ годахъ, когда появились уже главныя произведенія Гоголя — «Мертвыя души» и «Ревизоръ». Наконецъ, какъ бы страннымъ это ни показалось, во многихъ чертахъ Гоголевскаго творчества я не могу не видѣть явныхъ слѣдовъ романтизма. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ и романтизмъ — это поистинѣ странное сочетаніе. И тѣмъ не менѣе оно такъ. Я не стану даже ссылаться на «Вечера на хуторѣ», проникнутые романтизмомъ съ начала и до конца, хоть и своеобразнымъ, народнымъ романтизмомъ. Не сошлюсь я и на «Тараса Бульбу», геройская фигура котораго, хотя и вполнѣ національно-бытовая, несомнѣнно перерастаетъ рамки дѣйствительности, чтобы подняться до высоты эпоса. Моя задача была бы тогда слишкомъ легка. Но и въ своей безсмертной сатирѣ «Мертвыхъ душахъ», которую самъ Гоголь не даромъ называлъ поэмой, при всей мелочности изображенныхъ въ ней отдѣльныхъ явленій, при всей пошлости главнаго героя, Гоголь далеко возвышается надъ простой фотографіей жизни, надъ кропотливымъ анализомъ ея будничнаго теченія. Изъ-подъ его пера вырастаетъ грандіозная картина цѣлой Россіи,

пошлость его героевъ — трагическая пошлость, если можно такъ выразиться, и сама ихъ уродливость — плодъ идеализаціи дѣйствительности, представленной въ увеличенныхъ размѣрахъ. Да, уродливость тоже способна на идеализацію; припомнимъ хотя бы «Ричарда III». Гоголь не хотѣлъ, впрочемъ, остановиться на одной отрицательной сторонѣ русской жизни. Въ слѣдующей части «Мертвыхъ душъ» онъ собирается перейти къ созданію положительныхъ типовъ, и когда онъ говоритъ о дальнѣйшемъ развитіи своей поэмы, въ словахъ его звучитъ настоящій лиризмъ романтика. Вторая часть «Мертвыхъ душъ» осталась, къ сожалѣнію, неоконченною, и мы не въ состояніи теперь судить, какъ бы выполнилъ Гоголь свою задачу. Русскимъ художникамъ вообще положительные типы удаются мало. Но по одному задуманному имъ плану мы уже знаемъ, что творчество Гоголя не удовлетворялось одною идеализаціею уродливости. Наклонность къ обобщенію, къ символическому изображенію обширныхъ философскихъ задачъ была несомнѣнно свойственна творчеству Гоголя. Припомнимъ его «Портретъ» и объясненіе «Ревизора», какое онъ далъ въ своемъ «Разъѣздѣ». Итакъ, оригинальность Гоголя и то недосягаемое высокое мѣсто, какое онъ занимаетъ въ русской литературѣ, зависитъ не оттого, что онъ былъ художникомъ-реалистомъ. Его отличительное свойство, — та черта его таланта, съ которой ни одинъ изъ нашихъ писателей, кромѣ развѣ Л. Толстого, состязаться не можетъ, это — необыкновенная чуткость въ пониманіи свойствъ человѣческой натуры, поразительное умѣнье схватывать эти свойства и выливать ихъ въ живой цѣлостный образъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, стоитъ его сравнить съ двумя очень крупными художниками послѣдующей эпохи, съ Гончаровымъ и Щедринымъ. Оба они несомнѣнно обладаютъ и наблюдательностью и яркостью кисти. А между тѣмъ Гончарову понадобился цѣлый обширный романъ, чтобы въ «Обломовѣ» воспроизвести типъ, который у Гоголя вылился въ нѣсколькихъ страницахъ. И едва ли я ошибусь, сказавъ, что Гоголевскій Тентетниковъ обнаруживаетъ въ своемъ авторѣ болѣе тонкое пониманіе свойствъ типа, чѣмъ Гончаровскій Обломовъ. Юморъ Щедрина былъ поистинѣ неистощимъ, и послѣ Гоголя онъ нашъ величайшій сатирикъ; а между тѣмъ изъ всѣхъ его многочисленныхъ типовъ уцѣлѣлъ, какъ нарицательное имя, одинъ только образъ его кулака Разуваева; и типъ этотъ къ тому же, по своей распространенности и своему однообразію, не представляетъ большихъ трудностей для воспроизведенія. Прочія многочисленныя фигуры Щедрина, его графы Твердо-Онто, князья Сампатре, его Помпадуры, безшабашные совѣтники Удавъ и Дыба, генералъ Ределя и т. д. останутся забавными карикатурами, и не болѣе. Потомство врядъ ли ихъ запомнитъ. А у Гоголя даже второстепенныя лица, его Маниловы, Собакевичи, Ноздревы, Коробочки, долго будутъ жить, какъ нарицательныя имена, одинаково понятныя всѣмъ классамъ читающей публики.

Головинъ.

Юморъ Гоголя.

Въ настоящее время Гоголя принято называть представителемъ юмористическаго направленія въ нашей литературѣ. Между тѣмъ если всмотрѣться внимательно въ ходъ развитія творческой способности Гоголя, то окажется, что въ наиболѣе совершенныхъ, наиболѣе зрѣлыхъ и законченныхъ его произведеніяхъ юморъ присутствуетъ, можно сказать, въ минимальной степени. Юморъ, если отличать его отъ комизма и сатиры, представляетъ такое изображеніе отрицательныхъ сторонъ дѣйствительности, при которомъ нѣтъ мѣста сарказму, негодованію, презрѣнію, отчаянію, однимъ словомъ, тѣмъ чувствамъ, которыя всѣ, въ совокупности или отдѣльно, сопровождаютъ смѣхъ сатирическій и комическій; юмористическое изображеніе вызываетъ иныя чувства, юмористическій смѣхъ также скрываетъ за собой грусть и слезы, но не слезы безнадежнаго отчаянія о полномъ паденіи человѣка и невозможности его возрожденія: въ здоровомъ, нормальномъ юмористическомъ смѣхѣ слышится нота добродушія, вѣра въ человѣческое достоинство и въ присутствіе въ человѣкѣ, какъ бы низко онъ ни палъ, искры божественнаго огня. Таковъ юморъ у Сервантеса, гдѣ читатель, насмѣявшись до боли надъ невѣроятными приключеніями злополучнаго ламанчскаго рыцаря, въ концѣ концовъ разстается съ нимъ съ чувствомъ состраданія и даже уваженія къ нему, какъ типу въ сущности своей высоко-трагическому, типу несчастнаго борца за идею, идущую въ разрѣзъ съ обществомъ вслѣдствіе ли ея анахронизма, или вслѣдствіе преждевременности. Таковъ юморъ у Диккенса, гдѣ среди мастерски начертанной картины людской пошлости, пустоты, глупости и гадости разсыпаны свѣтлыя точки, дающія отдыхъ глазу наблюдателя и не допускающія человѣка до отчаянія; нравственное чувство читателя получаетъ извѣстное удовлетвореніе, видя, что въ душѣ людей, повидимому, съ головой погрузившихся въ пошлость и порокъ, сохраняется все-таки мѣстечко для человѣческихъ чувствъ и мыслей; что люди эти не становятся «безобразной прорѣхой на человѣчествѣ».

Съ такимъ характеромъ является и юморъ Гоголя въ болѣе раннихъ его произведеніяхъ, въ пору юношеской еще свѣжести писателя, не успѣвшаго узнать до дна всю глубину пошлости и неприглядности русской жизни. Впрочемъ, такими произведеніями являются не «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки», а другая серія повѣстей, носящая общее заглавіе: «Миргородъ». Что касается до «Вечеровъ», то въ нихъ такъ и блещетъ юношеская веселость отъ души, характеризующая того Гоголя въ молодыхъ лѣтахъ, какимъ знали его товарищи по гимназіи высшихъ наукъ съ его мѣткими выраженіями, способностью подмѣчать комичныя стороны и мастерски ихъ передавать. Но смѣхъ и веселость здѣсь еще беззаботные, дѣйствительно оттого, что человѣку весело и смѣшно; той глубины,

какая является въ слѣдующихъ произведеніяхъ Гоголя, здѣсь еще мало замѣтно. Съ другой стороны, въ «Вечерахъ» и другихъ произведеніяхъ Гоголя, сюжеты которыхъ взяты изъ жизни его родины, Малороссіи (за исключеніемъ, конечно, «Тараса Бульбы»), изобиліе сатирическаго и комическаго элемента, кромѣ врожденнаго таланта автора, можно объяснить еще другимъ обстоятельствомъ. Съ легкой руки извѣстнаго малороссійскаго писателя Котляревскаго и его послѣдователей, малороссійскій элементъ въ русской литературѣ получилъ значеніе исключительно комическаго элемента. Петербуржцы, для которыхъ, главнымъ образомъ, и писалъ свои повѣсти Гоголь, смотрѣли на Малороссію, какъ на какой-то складъ комизма въ предѣлахъ Россійской имперіи; въ драматическихъ, напр., произведеніяхъ одно появленіе на сцену малоросса уже вызывало хохотъ публики. Вліяніе такого направленія литературы относительно малороссійскаго элемента, какъ смѣхотворнаго, замѣтно и на диканьскихъ разсказахъ Гоголя, хотя художественное чутье его и удержало его отъ всякаго шаржа и утрировки.

Спокойный, юношескій, такъ сказать, юморъ Гоголя особенно полно выразился въ идиллической картинѣ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ». Поэтъ, изображая здѣсь жизнь людей полную пошлости и поражающую отсутствіемъ высшихъ, интеллектуальныхъ интерересовъ, отыскиваетъ тѣмъ не менѣе и въ этой жизни симпатичныя стороны, въ видѣ напр. добродушія, безпредѣльнаго гостепріимства и горячей супружеской любви. Авторъ самъ добродушно смѣется надъ безсодержательностью чисто растительной жизни старосвѣтскихъ помѣщиковъ, но смѣется добрымъ смѣхомъ, не «горькимъ словомъ», а словомъ прощенія и состраданія. Въ воображеніи поэта дѣйствительно возставали его юношескіе годы и мирный пріютъ безобидныхъ старичковъ, встрѣчавшихъ, быть можетъ, его самого съ родственной лаской, за которую можно бы извинить и кое-какія пошловатыя стороны ихъ прозябательнаго существованія.

Но чѣмъ ближе знакомился Гоголь съ русской дѣйствительностью, чѣмъ глубже ее изучалъ, тѣмъ болѣе показывала она ему своихъ отрицательныхъ сторонъ. И настроеніе поэта мѣняется. Взамѣнъ непосредственнаго отношенія молодости, взамѣнъ искренняго веселаго смѣха надъ тѣмъ, что смѣшно, является обдуманно критическое отношеніе къ дѣйствительности и грусть въ виду массы самыхъ неутѣшительныхъ сторонъ послѣдней. Для посторонняго человѣка кажется, что поэтъ продолжаетъ смѣяться такъ же весело и отъ чистаго сердца, какъ и прежде, но это уже видимый только смѣхъ, за которымъ скрываются слезы, и поэтъ, вызвавши въ читателѣ неудержимый смѣхъ изображеніемъ людской пошлости, сразу обрываетъ восклицаніемъ, обнаруживающимъ его собственное душевное настроеніе: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!»

Затѣмъ слѣдуютъ капитальнѣйшія творенія Гоголя: «Ревизоръ» и «Мертвыя души». Пора беззаботнаго смѣха прошла для поэта.

Онъ увидѣлъ, что однимъ веселымъ смѣхомъ, такъ сказать, не отдѣлаешься. «Я увидѣлъ, — говоритъ онъ, — что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачѣмъ. Если смѣяться, такъ ужъ лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянія всеобщаго. Въ «Ревизорѣ» я рѣшился собрать въ кучку все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ и за одинъ разъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами». Дѣйствительно, картина человѣческой развращенности, пошлости и непроходимаго умственнаго мрака, царившаго на Руси, начертанная Гоголемъ въ «Ревизорѣ», была страшна и поразила самого поэта. Онъ ужаснулся этого отрицательнаго воображенія русской жизни и задался цѣлью представить художественные образы положительныхъ идеаловъ. Къ этому, кромѣ внутренней художественной потребности, побуждала его и та горячая любовь къ своему отечеству, которую онъ поэтически выражаетъ во многихъ мѣстахъ своихъ произведеній. По взглядамъ своимъ на Россію и русскій народъ, на ихъ характеръ и ихъ всемірное значеніе Гоголь подходитъ къ славянофиламъ, и съ большею частью главныхъ корифеевъ этой партіи онъ находился въ самыхъ тѣсныхъ дружественныхъ связяхъ. Отъ этого въ его взглядахъ на Россію и русскій народъ замѣчается извѣстная идеализація. Вспомнимъ напр. его страстныя лирическія отступленія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «Мертвыхъ душъ» и его патетическія воззванія къ Руси. Та же горячая любовь къ родинѣ выражается чуть не на каждой страницѣ «Переписки съ друзьями» и авторской исповѣди».

Скребницкій.

Происхожденіе смѣха Гоголя, его сущность и характеръ.

Ни одинъ пишущій о художественномъ творчествѣ Гоголя не можетъ обойти вопроса о роли и значеніи смѣха, комизма, юмора, лирики восторженной и грустной и дидактизма въ его сочиненіяхъ. Остановимся и мы на этомъ вопросѣ въ немногихъ словахъ, но прежде всего напомнимъ сказанное выше, что въ этихъ чертахъ, самихъ по себѣ, не видимъ ничего національнаго: это свойства общечеловѣческія и общеписательскія. Гоголь, однако, проявилъ своеобразный характеръ и въ смѣхѣ, и въ слезахъ, и въ юморѣ, и въ лирикѣ — и это своеобразіе въ пріемахъ, въ оттѣнкахъ, въ манерѣ писательской есть уже то, что составляетъ сущность Гоголя и какъ отдѣльной человѣческой особи, и какъ человѣка, родившагося среди условій жизни своей національности и своей эпохи.

Есть въ чистомъ смѣхѣ что-то жесткое, когда онъ вызывается противорѣчіемъ между дѣйствительно существующимъ и идеально необходимымъ и обращается исключительно къ одному нашему разсудку. Таковъ былъ смѣхъ Вольтера надъ фантомами и призраками, какими человѣчество всегда и всюду опутываетъ всю свою жизнь, и смѣхъ Свифта надъ ничтожествомъ человѣка, вообразившаго себя царемъ природы. Нѣсколько иной смѣхъ Сервантеса надъ слѣпой вѣрой въ идеалы, Мольера надъ двуличіемъ и лицемѣріемъ подъ маской цивилизаціи и идейности, а особенно Диккенса — надъ безчеловѣчностью человѣка, — послѣдній наиболѣе близко подходитъ къ смѣху Гоголя. Но въ смѣхѣ Гоголь былъ вполнѣ своеобразенъ. Его опредѣленіе «смѣхъ сквозь слезы» указываетъ на то, что не къ одному разуму, а преимущественно къ сердцу человѣческому обращалось его слово, какъ писателя-сатирика. Гоголь ставилъ свой смѣхъ «рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ». Въ сущности, смѣхъ его исходилъ изъ этого высокаго лирическаго движенія, то-есть, былъ лирическимъ, сердечнымъ смѣхомъ. Психологическую основу такого смѣха указывалъ самъ писатель: «кто льетъ часто душевныя глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ». Не кажется, а и на самомъ дѣлѣ такъ, потому что этотъ смѣхъ и эти слезы проистекаютъ изъ одного и того же источника — изъ неуравновѣшенности душевныхъ состояній, управляемыхъ чувствомъ. Гоголь называетъ это чувство «святой любовью къ человѣчеству». Но любовь въ томъ смыслѣ, какъ онъ понималъ ее, не исключаетъ негодующаго тона, — это любовь возвышенная, ищущая правды, не только наказывающая, но и жалѣющая наказаннаго человѣка, а потому и вносящая *примиреніе* въ душу читателя. Вотъ почему Гоголь назвалъ свой смѣхъ «свѣтлымъ», вотъ почему, по его мнѣнію, «засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна добрая душа». Смѣхъ Гоголя былъ добрымъ, потому что это не былъ эгоистическій смѣхъ: онъ возвышался до уровня, на которомъ нѣтъ мѣста личному раздраженію, такъ какъ всякій, присмотрѣвшись къ себѣ, находилъ и въ самомъ себѣ то, надъ чѣмъ смѣялся авторъ. И смѣхъ писателя былъ честный смѣхъ, о которомъ говорится въ «Театральномъ разъѣздѣ» по поводу «Ревизора», что онъ «весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка, потому что на днѣ ея заключенъ вѣчно бьющій родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проницательной силы котораго мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человѣка». Этотъ смѣхъ вращался въ сферѣ совѣсти и не смѣшивалъ добра со зломъ. Это былъ смѣхъ сквозь слезы, предшествующія смѣху, слезы обиды и оскорбленія лучшихъ человѣческихъ чувствъ; а послѣдующія за смѣхомъ слезы были слезами примиряющаго сознанія близости къ идеалу. Цѣль такого смѣха — разбудить въ душѣ человѣка тоску по идеалу и такимъ образомъ примирить его съ жизнью. «Союзъ совѣсти и ума,

честности и просвѣщенія, геніальности и самоотреченія» — это есть, по мнѣнію Гоголя, черты идеальной человѣческой личности. Вотъ почему великаго юмориста, по всей справедливости, и называютъ преимущественно поэтомъ совѣсти.

Изъ всей огромной области смѣшного, изъ всѣхъ видовъ комизма, подчеркивающаго противорѣчіе между идеей и ея осуществленіемъ, совмѣщающаго контрасты или быструю смѣну впечатлѣній отъ противоположныхъ представленій о предметахъ, дѣйствіяхъ, качествахъ и т. п., таланту Гоголя былъ особенно свойственъ видъ юмористическаго отношенія къ изображаемымъ явленіямъ. Въ писателѣ, по существу, не было темперамента сатирическаго: не бросалъ онъ рѣзкаго «облитого горечью и злостью» обвиненія русскому обществу, не кипѣла подъ его смѣхомъ кровь и желчь, какъ въ лучшихъ созданіяхъ Салтыкова и Гл. Успенскаго и др., не охватывало Гоголя презрѣніе къ роду человѣческому, пороки котораго онъ изображалъ. Лирическіе порывы, жалость и слезы надъ человѣческимъ грѣхопаденіемъ тѣсно были связаны у Гоголя съ тѣмъ смѣхомъ, который вырывался у него отъ холода жизни, какой окружилъ его всегда. Такъ было въ дѣтствѣ, въ юности, въ годы зрѣлости великаго писателя. Онъ жаждалъ любви, ласки, восторга, а взамѣнъ этого получалъ камень, и сердце Гоголя, охваченное горемъ, тоской и обидой, всецѣло отдавалось самоанализу и самоироніи. Люди думаютъ, что разъ человѣкъ смѣется, ему весело живется. В. И. Панаевъ спрашивалъ С. Аксакова: «А что Гоголь? Опять написалъ что-нибудь смѣшное и неестественное?»[1]). Это былъ «голосъ изъ толпы», и С. Аксаковъ справедливо негодовалъ на члена Россійской академіи и литератора, потому что зналъ источникъ и цѣну Гоголевскаго смѣха. Юморъ Гоголя созидался путемъ пережитыхъ страданій. Принимали они такіе мучительные размѣры потому, что Гоголю постоянно представлялась необыкновенно безысходной та бездна, какая открывалась пытливому взору между идеалами и дѣйствительностью, несовершенствомъ его личнымъ и высокой миссіей, выпавшей ему на долю. Этотъ вѣчный самоанализъ вызывалъ и самоиронію, то въ видѣ смѣха надъ своими же слабостями и недостатками, то въ видѣ горькаго разочарованія въ томъ, что наиболѣе дорого ему, какъ въ вещахъ и людяхъ, такъ и въ самихъ вѣрованіяхъ и надеждахъ, составляющихъ интимный міръ его души. Сознаніе того, что осмѣиваемые недостатки человѣчества есть въ то же время недостатки самого смѣющагося, есть не что иное, какъ высшая степень юмора— юморъ, какъ цѣлое міровоззрѣніе. Это міровоззрѣніе и эта самоиронія и были подкладкой Гоголевскаго творчества.

Житецкій.

---

[1]) «Ист. моего знакомства съ Гоголемъ», стран. 21.

Гоголь, какъ эпическій писатель.

Гоголь былъ истинный поэтъ. Художественное творчество составляло весь смыслъ, все значеніе его жизни, поглощало все его чувство; все остальное, какъ стороннее, отступало на задній планъ. Онъ всю жизнь свою провелъ бездомнымъ холостякомъ, всецѣло отданный созданію своихъ высокихъ произведеній. Онъ отказался отъ работъ въ журналахъ, порой чуть не умиралъ съ голоду, но своему высокому призванію измѣнить не хотѣлъ и не могъ. Онъ считалъ преступленіемъ отнять отъ своихъ творческихъ трудовъ даже нѣсколько дней, видѣлъ въ призваніи художника служеніе самому государству, самому народу. Въ пору высшаго развитія его дарованія и творчества, ему казалось, что кратковременная служба его въ качествѣ чиновника, учителя и профессора была только сонъ, только подготовительный шагъ къ его жизненному призванію — писательству. Въ послѣдніе годы жизни, когда тѣлесные недуги стали его одолѣвать, когда минуты художественнаго вдохновенія и производительнаго творчества стали посѣщать его всѣ рѣже и рѣже, — онъ страдалъ безконечно; ему казалось, что смыслъ жизни его исчерпанъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ художникъ-мученикъ, привѣтствовавшій благодарными слезами каждую минуту творчества, какъ приближавшую его къ исполненію задачи его жизни — окончанію «Мертвыхъ душъ». Отсюда ясно, почему такъ величественны и художественны его высокія созданія и такъ слабы его произведенія прозаическія, почему наброски его по исторіи Малороссіи отличались огненнымъ языкомъ, почему въ очень немногихъ удачныхъ профессорскихъ чтеніяхъ виденъ больше поэтъ, чѣмъ ученый.

Гоголь — художникъ-пластикъ. Онъ созерцаетъ типъ или явленіе въ совокупности внутреннихъ и внѣшнихъ особенностей, какъ живописецъ или ваятель, у которыхъ духовная жизнь человѣка въ самый моментъ созерцанія ея нераздѣльно сливается съ внѣшностью человѣка, его лицомъ, мимикой, выраженіемъ глазъ, складкой одежды, положеніемъ тѣла, походкой и т. п. Для живописи и ваянія, такъ сказать, нѣтъ прошедшаго и будущаго, а только настоящее; потому что, по свойству самого матеріала, эти искусства могутъ изображать только одинъ моментъ. Гоголь обыкновенно беретъ свой типъ уже сложившимся, въ опредѣленное время, но зато рисуетъ его предъ нами съ исчерпывающею полнотою душевныхъ и тѣлесныхъ состояній, движеній и положенія. Такъ онъ беретъ Плюшкина въ тотъ моментъ, когда пагубная страсть скупости сдѣлала свое разрушительное дѣло, когда онъ утратилъ чувство отца, чувство чести своего положенія, обратился въ «заплатаннаго», въ «рыболова», по выраженію крестьянъ, готовъ былъ стащить ведро зазѣвавшейся бабы, когда онъ утратилъ свой обычный видъ и былъ принятъ Чичиковымъ за ключницу. При этомъ Гоголь знакомитъ

насъ со всѣми мелочами обыденности, опредѣлившимися подъ вліяніемъ господствующей страсти. Словомъ, бери полотно и рисуй: художникъ далъ все необходимое для картины. Эта пластичность не оставляетъ Гоголя и тогда, когда онъ беретъ своего героя въ разныхъ моментахъ его жизни, какъ Чичикова. Вспомнимъ, напр., Чичикова во фракѣ изъ сукна наваринскаго пламени съ искрой, когда онъ впервые примѣряетъ костюмъ. Описаніе своего героя самъ Гоголь заканчиваетъ восклицаніемъ: «Художникъ, бери кисть и пиши!» Послѣ этого легко понять, почему еще на школьной скамейкѣ Гоголю не трудно давалась живопись, почему произведенія архитектуры и пластики были любимымъ предметомъ его наблюденій дома и за границею.

Въ связи съ пластикой творчества Гоголя находится объективность его творчества. Она являлась неизбѣжнымъ слѣдствіемъ тщательнаго наблюденія человѣка и жизненныхъ явленій «до воспріятія всего прозаическаго существеннаго дрязга жизни», «всего тряпья до малѣйшей булавки, что кружится ежедневно вокругъ человѣка». Благодаря этому человѣкъ и явленія природы возникали въ сознаніи поэта въ такой полнотѣ сущности и внѣшнихъ проявленій, что исключался личный произволъ автора въ ихъ освѣщеніи. Съ цѣлью обезпечить себѣ возможность спокойнаго созерцанія предмета, Гоголь иногда старался отдалиться отъ него, чтобы охранить себя отъ волненій и увлеченій, неизбѣжныхъ при созерцаніи предметовъ, близкихъ не по одной пространственности. «Настоящее слишкомъ живо», говоритъ Гоголь, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно переходитъ въ сатиру». Въ этомъ обстоятельствѣ Гоголь ищетъ оправданія, между прочимъ, и для своей поѣздки за границу. Онъ находитъ, что въ близкомъ соприкосновеніи съ изображаемой средой «видишь передъ собою только тѣхъ людей, которые стоятъ близко отъ тебя: всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь». Поэтому Гоголь хочетъ стать на такое мѣсто, откуда онъ могъ бы увидать массу..., какъ бы отдалившись отъ настоящаго, обратить его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Здѣсь, повидимому, находитъ себѣ объясненіе самый процессъ писанія Гоголя. Какъ извѣстно, онъ не любилъ спѣшить изданіемъ сочиненій, любилъ, чтобы они «отлежались», медленно переходилъ отъ набросковъ и передѣлокъ къ окончательной редакціи. Такой процессъ продолжительнаго созерцанія предмета давалъ ему возможность «сообразить все отъ мала до велика, ничего не пропустивши» изъ того, что касается не только крупныхъ чертъ характера, но и мельчайшихъ подробностей его проявленія. Такъ получалось «полное воплощенье въ плоть», «полное округленье характера», и съ тѣмъ вмѣстѣ сглаживалось отраженіе личности самого автора въ воспроизведеніи лицъ и явленій: предъ читателемъ выступалъ типъ или предметъ, какъ одинъ и другой существуютъ внѣ насъ.

Съ пластикою и объективностью творчества Гоголя находится въ органической связи его реализмъ. Какъ живописецъ или ваятель нуждаются въ такъ называемыхъ натурщикахъ, чтобы идеи и образы, созданные фантазіею, нашли болѣе жизненное и правдивое воплощеніе, такъ и поэтъ-пластикъ только черезъ внимательное наблюденіе жизни и ея явленій можетъ достигать истинной художественности или жизненной правдивости своихъ созданій. Эта черта, наблюдаемая у каждаго поэта-художника, выступаетъ у Гоголя съ особенною очевидностью. Гоголь замѣчаетъ о себѣ: «Я никогда ничего не создавалъ въ воображеньи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности». Это, конечно, не значитъ, что Гоголь давалъ лишь голую копію дѣйствительности; нѣтъ, онъ творчески преобразовывалъ ее, одухотворялъ и обобщалъ разрозненное общею идеею, какъ онъ самъ говоритъ: «Я никогда *не писалъ портрета*, въ смыслѣ простой копіи. *Я создавалъ портретъ*, но создавалъ его вслѣдствіе соображенья, а не воображенья. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображенье, тѣмъ у меня вѣрнѣе выходило созданье. Мнѣ нужно было знать гораздо больше сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ; потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображенье, — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого». Эта личная исповѣдь Гоголя объясняетъ намъ существеннымъ образомъ то, почему въ своемъ творчествѣ онъ останавливался преимущественно на явленіяхъ современной жизни. «У меня не было влеченія къ прошедшему», говоритъ Гоголь. «Мой предметъ была современность, жизнь въ ея нынѣшнемъ быту». Даже въ такихъ произведеніяхъ, какъ «Тарасъ Бульба», «Вій», «Страшная месть», Гоголь затрогиваетъ такую старину, которая еще была жива въ современномъ преданіи, была доступна постиженію съ живой ея стороны, поддавалась уразумѣнію, «угадыванію» въ живыхъ типахъ, во внутреннемъ значеніи явленій. Въ этомъ смыслѣ Гоголь водворялъ въ русской литературѣ пріемъ творчества, который далеко не можетъ быть понимаемъ, какъ обычный, исторически установившійся и строго выработанный. Его предшественникомъ, учителемъ, но и современникомъ можетъ быть названъ лишь Пушкинъ.

Малининъ.

Національный элементъ въ сочиненіяхъ Гоголя.

Въ повѣстяхъ Гоголя, начиная съ его «Вечеровъ», выпукло и отчетливо выступаютъ бытовыя особенности народнаго міровоззрѣнія и не только традиціоннаго, унаслѣдованнаго отъ старины, какъ преданія о купальской ночи, утопленницахъ, колдунахъ и т. п., но по-

нятія новыя, сложившіяся не безъ вліянія западно-европейской образованности. Въ этомъ отношеніи Гоголь можетъ и долженъ быть названъ національнымъ поэтомъ въ томъ же значеніи, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ, Толстой, Достоевскій, Гончаровъ и др., какъ писатели, связанные съ своимъ народомъ всѣми особенностями своей личности, своего творчества, и какъ выразители отличительныхъ чертъ русскаго народнаго быта въ своихъ твореніяхъ, какъ воплотители русскаго народнаго генія, его языка, доведеннаго ими до высокаго совершенства.

Но въ изображеніи русской жизни у Гоголя есть своя особенность, которая рѣшительнымъ образомъ выдѣляетъ его въ ряду великихъ русскихъ писателей. Особенность эта — юморъ. Смѣхъ Гоголя не сатира Некрасова или Щедрина, ни даже Островскаго, еще менѣе Тургенева и Достоевскаго. Сатира названныхъ писателей обозначаетъ каждую вещь собственнымъ именемъ, безъ прикрасъ и смягченія рисуетъ предъ нами рядъ неприглядныхъ явленій русской дѣйствительности, такъ что читателю становится иной разъ тяжело до нестерпимой боли, напр. при чтеніи нѣкоторыхъ сценъ у Достоевскаго. Не то у Гоголя. Смѣхъ, по вѣрному пониманію Гоголя, имѣетъ примиряющее значеніе. Поэтому даже тогда, когда изображаемая сцена тяжела, невольный смѣхъ, являющійся у читателя, какъ слѣдствіе принятаго авторомъ освѣщенія, умѣряетъ горечь впечатлѣнія и ставитъ читателя выше раздраженія противъ людей. Возьмемъ хотя бы сцену, когда Чичиковъ въ роскошномъ фракѣ изъ сукна наваринскаго пламени съ искрой валяется въ ногахъ генералъ-губернатора или въ ногахъ Муразова при посѣщеніи послѣднимъ тюрьмы. Постоянное напоминаніе объ этомъ фракѣ вызываетъ у васъ невольную улыбку, хотя самая сцена тяжела: на вашихъ глазахъ человѣкъ, подавленный грозою грядущаго правосудія и безпомощный, и умоляетъ о пощадѣ, и не находитъ ея. Юморъ Гоголя дѣлаетъ и то, что предъ читателемъ какъ бы невольно исчезаетъ привлекательная сторона жизненныхъ явленій, и выступаетъ лишь ихъ пошлость. Передъ вами дамы пріятная во всѣхъ отношеніяхъ и просто пріятная. Это лестное названіе ими было, конечно, заслужено, но Гоголь оставляетъ въ тѣни то, что было въ нихъ привлекательнаго, и выставляетъ лишь пошлое и притомъ съ такою силою и осязательностію, что читатель не можетъ удержаться отъ смѣха.

Но въ юморѣ Гоголя есть и другая сторона: нравственное страданіе отъ сознанія несовершенствъ отдѣльныхъ представителей общества. И страдаетъ прежде всего самъ авторъ, которому суждено было «итти рука объ руку съ своими героями». Его страданія тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше онъ любитъ своего ближняго, чѣмъ сильнѣе желаетъ содѣйствовать нравственному совершенствованію своей родины. Прекрасно выразилъ это душевное состояніе Гоголя Пушкинъ, назвавши его «великимъ меланхоликомъ». Это сочетаніе меланхоліи и смѣха составляетъ отличительную черту личности и творчества Го-

голя и проходитъ красною нитью чрезъ всю его жизнь. Помимо сознанія и воли Гоголя оно проявляется у него довольно рано. Вотъ, напр., что онъ говоритъ о происхожденіи смѣха въ своихъ первыхъ повѣстяхъ: «На меня находили *припадки тоски*, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ-быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала». Отсюда происходитъ то, что уже въ первыхъ повѣстяхъ Гоголя встрѣчаются лирическія отступленія, исполненныя глубокой грусти.

Вполнѣ естественно и то, что юморъ Гоголя углубляется съ лѣтами. Опытъ жизни, знакомство съ печальными общественными явленіями, ускользавшими отъ наблюденія юноши, созрѣваніе ума и творчества, сближеніе съ людьми болѣе развитыми и лучшей школы неизбѣжно вели къ тому, что сатира Гоголя шире и глубже захватывала комическую сторону русской общественности. Въ первомъ его литературномъ опытѣ, «Ганцѣ Кюхельгартенѣ», нѣтъ ни русской дѣйствительности ни основъ творческаго дарованія геніальнаго юноши. Иначе пошло дѣло, когда Гоголь коснулся родной почвы, любимой имъ Малороссіи. По собственному признанію Гоголя, онъ остановился на явленіяхъ быта Малороссіи потому, что замѣтилъ большой интересъ къ нему въ образованныхъ кружкахъ Петербурга, но это не мѣшало ему разомъ произвести своего рода переворотъ въ исторіи русской литературы. Бытовыя явленія народной жизни уже раньше Гоголя съ разнымъ успѣхомъ затрогивались нашими писателями, особенно романтической школы. Изъ людей, близко стоявшихъ къ Гоголю, слѣдуетъ при этомъ назвать Жуковскаго и Пушкина. Но ни у кого изъ предшественниковъ народный бытъ не былъ предметомъ столь полнаго и нарочитаго воспроизведенія, какъ у юнаго Гоголя. Это его рѣшительная заслуга. Его «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» и отчасти «Миргородъ» существенно расширяли содержаніе тогдашней русской литературы и закрѣпляли существованіе повѣсти, какъ формы эпоса. Самый пріемъ освѣщенія предмета особенный, для поры Гоголя исключительный.

Про эти разсказы изъ быта Малороссіи мало сказать, что въ нихъ видна его горячая любовь къ своей ближайшей родинѣ: Гоголь влюбленъ въ нее и невольно заражаетъ читателя своимъ чувствомъ. Нужно быть сѣверяниномъ, чтобы судить, насколько очаровательна Малороссія нынѣшняя и эпическая въ очеркахъ Гоголя; сколько искренняго и неотразимаго восторга возбуждаетъ Гоголь въ читателѣ предметомъ своихъ разсказовъ. Повѣсти изъ малорусскаго быта — это романтическій періодъ творчества Гоголя и не потому только, что онъ затрогиваетъ въ нихъ народныя преданія и казацкую ста-

рину, но еще болѣе потому, что въ нихъ сказывается столько молодого увлеченія прошлымъ и настоящимъ родины. Изъ далекаго и холоднаго Петербурга созерцаетъ онъ влюбленными очами чудное небо Малороссіи, упоительную украинскую ночь, сады вишенъ и черешенъ, красоту дѣвицъ и удаль паробковъ, онъ погруженъ въ преданія родной старины, и за этими прелестями былого и настоящаго какъ бы не хочетъ видѣть того тяжелаго и скорбнаго, которымъ преисполнена человѣческая жизнь. Вспомнимъ только Петруся и Пидорку, жизненное счастіе которыхъ разбито деспотизмомъ разбогатѣвшаго и зазнавшагося мужика; вспомнимъ самодурство головы, соперничающаго съ сыномъ въ ухаживаніи за любимой и любящей дѣвушкой. А несчастная судьба падчерицы, доведенной до самоубійства истязаніями мачехи и безхарактерностью отца? А одичалая любовь колдуна-отца къ своей дочери Катеринѣ? Но очарованный авторъ проходитъ мимо печальныхъ явленій, какъ-будто не хочетъ разрушить очарованія картины. И достигаетъ своей цѣли. Онъ обладаетъ секретомъ парализовать тяжелое впечатлѣніе отъ обычныхъ и непривлекательныхъ проявленій малорусскаго общежитія. Вспомнимъ хотя бы фигуру пьянаго Каленика, какъ онъ въ своемъ винномъ упоеніи никакъ не можетъ протанцовать гопака ни распознать своей хаты, и отважно водворяется въ хатѣ головы къ полному смущенію послѣдняго. Нѣтъ, въ русской литературѣ нѣтъ рѣшительно никого, кто могъ бы соперничать съ Гоголемъ въ заразительномъ и искреннемъ смѣхѣ. Пушкинъ, конечно, былъ правъ, когда сказалъ, что Гоголь выучилъ насъ искренно смѣяться. По сообщенію современниковъ, смѣяться начинали раньше, чѣмъ принимались за чтеніе новой повѣсти Гоголя, какъ будто были увѣрены заранѣе, что она должна быть непремѣнно смѣшна.

Въ «Миргородѣ» смѣхъ глубже. Въ сочиненіяхъ, вошедшихъ въ сборникъ этого имени, вниманіе поэта поглощено не событіемъ, а личностью. «Старосвѣтскіе помѣщики», «Тарасъ Бульба», «Вій», «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ»: таково заглавіе повѣстей этого сборника. Это былъ большой шагъ впередъ въ исторіи творчества Гоголя. Событіе давалось преданіемъ, наблюденіемъ, но личность приходилось создавать, «угадывать» и изъ отрывочныхъ наблюденій возсоздавать живыя черты ея. Чтобъ охарактеризовать юморъ Гоголя этого періода, мы остановимъ вниманіе читателей не на похожденіяхъ Хомы Брута и не на личности живописнаго Ивана Никифоровича Довгочхуна; нѣтъ, мы попросимъ вспомнить личность Ивана Ивановича съ его прелестной бекешей, этого миргородскаго краснобая, человѣка учтивѣйшаго, какъ сама учтивость. Былъ жаркій іюльскій день. Иванъ Ивановичъ отдыхаетъ подъ навѣсомъ, осматриваетъ свои владѣнія и думаетъ: «Господи, Боже мой, какой я хозяинъ! Чего у меня нѣтъ? Птицы, строенія, амбары, всякая прихоть, водка перегонная, настоенная; въ саду груши, сливы; въ огородѣ макъ, капуста, горохъ... Чего жъ

еще нѣтъ у меня?... Хотѣлъ бы я знать, чего нѣтъ у меня?» Въ этомъ размышленіи Иванъ Ивановичъ весь налицо; здѣсь исчерпанъ весь міръ его помысловъ и желаній. Итакъ, дальше сливъ, грушъ, перегонной и капусты не простираются его порывы. Когда перечитываешь это мѣсто повѣсти, то невольно спрашиваешь себя, да гдѣ же тутъ человѣкъ съ его стремленіями, порывами, возвышающими его надъ матеріальнымъ міромъ? Этого человѣка нѣтъ здѣсь, и напрасно вы будете искать его на страницахъ повѣсти: онъ весь подавленъ, но и чувствуетъ себя прекрасно, считаетъ себя счастливымъ и вполнѣ удовлетвореннымъ. Жизнь Ивана Ивановича — это сонъ, — сонъ безъ пробужденія, безъ прозрѣнія, сонъ съ открытыми глазами, которымъ, однако, не суждено усмотрѣть смысла и назначенія жизни человѣка.

Перевернемъ лучше нѣсколько страницъ «Миргорода» и раскроемъ чудную эпопею Гоголя «Тарасъ Бульба». Тарасъ только что въѣхалъ въ Сѣчь. По самой срединѣ дороги спитъ запорожецъ. — «Эхъ, какъ важно, развернулся! Фу ты, какая пышная фигура! вырвалось замѣчаніе Тараса». Если бы мы наткнулись на такую картину на одной изъ кіевскихъ улицъ, то, конечно, не пришли бы отъ нея въ восторгъ. Все это такъ; но посмотримъ этого запорожца въ другой моментъ, когда онъ выступаетъ въ походъ за праотеческую вѣру и за свою родину. Въ эту минуту онъ весь проникнутъ чувствомъ долга и всего менѣе думаетъ о себѣ, объ удобствахъ, о самой жизни своей. Онъ даже не понимаетъ, какъ можно въ такую пору думать о себѣ, когда родина съ надеждой смотритъ на него. — Ивана Ивановича мы, конечно, никогда не увидимъ растянувшимся среди дороги и улицы: онъ для этого слишкомъ благовоспитанъ; но мы не увидимъ его и въ ряду защитниковъ отечества. Иванъ Никифоровичъ купилъ ружье, когда *собирался* въ милицію; Иванъ Ивановичъ даже и не собирался въ милицію, и ружье покупаетъ исключительно для охоты.

Да, поразительна сила дарованія Гоголя — прозрѣвать высокое въ средѣ, поражающей насъ наружною неприглядностью, и безконечно пошлое въ людяхъ, по внѣшнему виду благоприличныхъ.

Но эта сила дарованія Гоголя съ особенною очевидностію проявилась въ повѣстяхъ изъ петербургскаго быта и въ поэмѣ «Мертвыя души». На произведеніяхъ этой поры, главнымъ образомъ, покоится слава Гоголя, какъ эпическаго писателя; съ ними же въ органической связи стоитъ цѣлый рядъ явленій послѣдующей русской литературы. Въ свою очередь, вліяніе Гоголя на общество и его самосознаніе опять-таки опредѣлилось прежде и болѣе всего повѣстями того же періода его литературной дѣятельности. Съ глубиною, неизвѣстною раньше, воспроизведены здѣсь общественная пошлость и разныя общественныя нестроенія. Пора юношескихъ иллюзій, очевидно, миновала для Гоголя безвозвратно. Для созрѣвающаго автора открылись такія стороны русской дѣйствительности, которыя прежде ускользали

отъ вниманія. Нельзя отрицать и того, что Гоголь на сѣверѣ былъ сторонній наблюдатель. Между нимъ и бытовыми явленіями не стояло дѣтскихъ привязанностей, всегда скрашивающихъ окружающую обыденность. Поэтому изощренный наблюденіемъ глазъ Гоголь видѣлъ вещи въ ихъ подлинномъ видѣ, безъ прикрасъ. Картины просились на бумагу и находили въ ней выразительное воспроизведеніе. Сила красокъ здѣсь такъ велика, юморъ такъ безпощаденъ, смыслъ затронутыхъ общественныхъ явленій такъ очевиденъ, что обществу невозможно было не оглянуться на себя. Дѣйствіе картинъ общественной жизни тѣмъ сильнѣе, что авторъ видимо не употребляетъ нарочитаго усилія сгущать краски или навязывать свои личныя воззрѣнія. Этого мало. Еще при жизни Гоголя общество далеко не всегда раздѣляло теоретическія его воззрѣнія, но это нисколько не ослабляло впечатлѣнія великихъ его твореній. Бывало время, когда Гоголь, смущенный дѣйствіемъ своей сатиры, неожиданнымъ для него самого, готовъ былъ отречься отъ лучшихъ своихъ произведеній, составляющихъ гордость русской литературы; но и это нисколько не поколебало высокаго общественнаго значенія литературной дѣятельности Гоголя ни вѣры въ его творчество.

Съ историко-литературной точки зрѣнія наиболѣе важно уяснить, что̀ въ повѣстяхъ этого періода привнесено Гоголемъ новаго въ русскую литературу въ значеніи литературнаго матеріала и способа его обработки. Гоголь отвоевалъ здѣсь себѣ особый уголокъ, мало затронутый его предшественниками. То была традиціонная чиновничья и помѣщичья Русь, въ которую довольно слабо проникалъ свѣтъ истиннаго образованія, куда не проникали высокіе идеалы жизни, выработанные совокупными усиліями культурныхъ народовъ, куда даже слабо проникало пониманіе истиннаго христіанства, — міръ людской пошлости, ничтожности, мелкихъ стремленій, опутывающихъ жизнь человѣка. По замѣчанію Пушкина, высказанному имъ самому Гоголю, «еще ни у одного писателя не было дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ». Гоголь и самъ признавалъ, что это «главное свойство, одному ему принадлежащее, и котораго, точно, нѣтъ у другихъ писателей». Значеніе затронутыхъ Гоголемъ общественныхъ явленій заключалось въ томъ, что они господствовали въ русской жизни, давали тонъ времени, производили столь сильное давленіе на жизнь меньшинства, что порой требовалось не мало силы воли и выработанности воззрѣній, чтобы не уступить общему теченію.

Малининъ.

„Русь изъ прекраснаго далека“ у Гоголя.

Въ настоящей главѣ мы хотѣли бы раскрыть *психологію отношеній Гоголя къ Руси, какъ цѣлому*. Насъ интересуютъ здѣсь внутренняя, интимная сторона національно-русскаго призванія Гоголя и отраженіе различныхъ душевныхъ процессовъ, сюда относящихся, въ его мысли, въ его самосознаніи.

Этотъ вопросъ неразрывно связанъ съ исторіей главнаго труда Гоголя, — труда, которымъ онъ такъ блистательно оправдалъ свое призваніе великаго національнаго поэта Руси. Вотъ и посмотримъ, какими настроеніями, чувствами и мыслями сопровождалась работа надъ «Мертвыми душами», заполнившая собою всю жизнь поэта съ половины 30-хъ годовъ и до самой смерти.

«Поэма» была начата въ 1835 году, задуманная на сюжетъ, данный Пушкинымъ, въ видѣ большого сатирическаго произведенія, въ которомъ должна была отразиться, «хоть съ одного боку», *вся Россія*.

По мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ, и планъ «Одиссеи» Чичикова выяснялся и развертывался въ головѣ великаго «хохла», — этотъ «хохолъ» все живѣе чувствовалъ и яснѣе сознавалъ, что онъ дѣлаетъ великое дѣло, которое будетъ имѣть огромное всероссійское національное значеніе. Въ этой мысли онъ укрѣплялся съ каждымъ шагомъ впередъ и не стѣснялся выражать ее въ письмахъ. Такъ, уже въ іюнѣ 1836 года, когда работа была только въ началѣ, онъ писалъ Жуковскому: «...Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! *Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидныхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ.* Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ...» Далѣе говорится, что все написанное имъ доселѣ, это только — ученическая проба пера, незрѣлые опыты, и что настоящее, великое дѣло — впереди. Для совершенія этого дѣла *ему необходимо быть какъ можно дольше внѣ отечества*, на чужбинѣ, гдѣ онъ отдохнетъ душой отъ тѣхъ непріятностей и огорченій, которыя онъ испыталъ на родинѣ и которыя въ концѣ-концовъ послужатъ ему на пользу, въ интересахъ его внутренняго воспитанія. «Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни (читаемъ здѣсь), и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое...» (Письмо изъ Гамбурга отъ 26/16 іюня 1836 г.)

Какъ бы мы ни относились къ вопросу объ «искренности» Гоголя, но мѣста въ письмахъ, въ родѣ приведеннаго, гдѣ онъ говоритъ о своемъ воспитаніи для великаго подвига, объ участіи Промысла, о необходимости для него далекихъ путешествій и жизни за границею и т. д., дышатъ несомнѣнною правдой: въ нихъ своеобразно

выразилось то, что въ самомъ дѣлѣ происходило въ его душѣ, когда совершался ростъ его духа и генія, и перековывались въ поэтическія созерцанія и художественные образы различныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ Россіи. Удалиться отъ непосредственнаго общенія съ объектами этихъ впечатлѣній, избавиться такимъ путемъ отъ чувствъ личнаго раздраженія и горечи было для Гоголя въ данное время насущною потребностью художника-мыслителя. Въ письмѣ къ Погодину (отъ 22/10 сентября того же 1836 г.) онъ говоритъ между прочимъ: «...на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что невтерпежъ мнѣ пришлось глядѣть на нихъ, даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина...» Онъ живо чувствовалъ и сознавалъ, что для самаго успѣха его дѣла ему необходима «чужбина», какъ среда, гдѣ тягостныя и безотрадныя впечатлѣнія, вынесенныя изъ Россіи, волшебною силою вдохновенія превращались въ художественные образы, а горечь, раздраженіе и весь порядокъ скорбныхъ чувствъ смѣнялись тѣми «высокими, торжественными ощущеніями», о которыхъ говоритъ онъ въ вышеприведенной выдержкѣ изъ письма къ Жуковскому. Въ этомъ же письмѣ говорится: «Долѣе, какъ можно долѣе, буду въ чужой землѣ. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будетъ удаленъ отъ нея».

Работу надъ «Мертвыми душами», начатую въ Россіи, Гоголь возобновилъ въ Швейцаріи, въ Веве, о чемъ узнаемъ изъ письма къ Данилевскому (изъ Лозанны, отъ 23 октября 1836 г.)[1]) и изъ письма къ Жуковскому отъ 12-го ноября того же года изъ Парижа: «Осень въ Веве, наконецъ, настала прекрасная, почти лѣто. У меня въ комнатѣ сдѣлалось тепло, и я принялся за «Мертвыхъ душъ», которыхъ было началъ въ Петербургѣ. Все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись... *Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ...*“[2])

Работа продолжалась въ Парижѣ. «Мертвыя» текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Веве (читаемъ въ томъ же письмѣ), и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши мужики, наши избы, — словомъ, вся православная Русь. Мнѣ даже смѣшно, какъ подумаю, что пишу «Мертвыхъ душъ» въ Парижѣ... *Огромно, велико мое твореніе*[3]), и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но что жъ мнѣ дѣлать!

---

[1]) «Я сдѣлался болѣе русскимъ, чѣмъ французомъ, въ Веве, и это все произошло оттого, что началъ здѣсь писать и продолжать моихъ «Мертвыхъ душъ», которыхъ было оставилъ...»

[2]) Курсивъ мой.

[3]) Курсивъ Гоголя.

Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. *Терпѣніе!*[1]) *Кто-то незримый питаетъ передо мной могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ-быть, съ глазами влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни*"[2]).

Этотъ мотивъ — «вражда» съ «земляками», тягота и горечь русскихъ впечатлѣній и отношеній, откуда — живая потребность быть дальше отъ нихъ и жить «на чужбинѣ», гдѣ эти впечатлѣнія претворяются въ художественныя созерцанія Руси и гдѣ такимъ образомъ должно осуществиться великое національное призваніе поэта, — этотъ мотивъ повторяется и на разные лады звучитъ въ послѣдующихъ письмахъ. Въ отвѣтъ на письмо Погодина, гдѣ послѣдній, сообщая о смерти Пушкина, звалъ Гоголя въ Россію, Гоголь пишетъ между прочимъ: «Ты приглашаешь меня ѣхать къ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобъ повторить вѣчную участь поэтовъ на родинѣ?... Для чего я пріѣду? Не видалъ я развѣ дорогого сборища нашихъ просвѣщенныхъ невѣждъ?... О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильны, когда онѣ меня заставили рѣшиться на то, на что бы я не хотѣлъ рѣшиться...» Все живѣе чувствовалъ онъ и яснѣе сознавалъ невозможность для него ужиться среди непосредственныхъ впечатлѣній тогдашней русской дѣйствительности и, оставаясь въ Россіи, любить ее любовью художника-мыслителя и художника-гражданина. Только «на чужбинѣ», созерцая Русь «изъ прекраснаго далека», онъ ощущалъ живое дѣйствіе этой любви, этого стихійнаго тяготѣнія къ своему національному цѣлому. И вотъ онъ пишетъ (въ томъ же письмѣ къ Погодину — изъ Рима отъ 20 марта 1837 г.): «Или я не люблю нашей неизмѣримой, нашей родной земли! Я живу около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могъ я посвятить чуждому. *Непреодолимою цѣпью силою прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядящимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны?*"[2])

Поселившись въ Римѣ, Гоголь весьма скоро приспособился къ условіямъ тамошней жизни и чувствовалъ себя въ вѣчномъ городѣ такъ хорошо, какъ нигдѣ. Климатъ, природа, памятники искусства, вся обстановка жизни, національный складъ итальянцевъ, пришедшійся ему такъ по душѣ, — все это располагало его къ созерцательной жизни и творческой работѣ художника, и здѣсь онъ и написалъ (въ разное время) большую часть «Мертвыхъ душъ». Если бы

---

[1]) Курсивъ Гоголя.
[2]) Курсивъ мой.

возможно было, онъ остался бы здѣсь навсегда. И съ этихъ поръ въ его письмахъ то и дѣло встрѣчаются восторженные гимны Италіи и въ особенности Риму, и почти всегда эти гимны сопровождаются выраженіемъ рѣзкаго, порою очень странно звучащаго отвращенія къ жизни въ Россіи. Вотъ одно изъ наиболѣе характерныхъ мѣстъ этого рода: «Она (Италія) — моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня. Я родился здѣсь. *Россія, Петербургъ, снѣга, подлецъ, департаментъ, каѳедра, театръ — все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинѣ* (письмо къ Жуковскому, отъ 30 октября 1837 г., изъ Рима). «О Римъ, Римъ! О Италія! Чья рука вырветъ меня отсюда!» восклицаетъ онъ въ письмѣ къ Данилевскому (2 февраля 1838 г.). Въ письмахъ этого времени встрѣчаются иногда довольно пространныя описанія Рима, его памятниковъ, храмовъ, часовенъ, процессій, карнавала и т. д., и по всему видно, что совокупность условій жизни и впечатлѣній Рима дѣйствовала самымъ благотворнымъ образомъ на творчество Гоголя, — здѣсь посѣщали его лучшія его вдохновенія, здѣсь, вмѣстѣ съ чувствомъ отвращенія къ жизни въ Россіи, особливо ярко вспыхивала у него та любовь къ Россіи или то стихійное тяготѣніе къ ней, въ силу котораго почти всѣ его художническіе помыслы устремлялись къ ней одной. Изъ этого-то «прекраснаго далека» и созерцалъ онъ Русь, которой и былъ посвященъ грандіозный замыселъ великой поэмы. Вспомнимъ: «...Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросанно и непріютно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства... Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ... Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами?...» (Мертвыя души», ч. I, гл. XI.)

Это была прежде всего связь тяготѣнія великаго художника къ тому національному цѣлому, къ которому онъ принадлежалъ. Живѣе всего чувствовалъ онъ всю силу этого тяготѣнія въ минуты вдохновенія, въ часы творчества. А вдохновеніе наичаще приходило къ нему въ Римѣ, и тамъ дольше, чѣмъ гдѣ-либо, онъ могъ предаваться творческой работѣ, — неудивительно поэтому, что именно въ Римѣ онъ и любилъ Русь, предметъ его художническихъ замысловъ, его вдохновеній.

И онъ все болѣе и болѣе привязывался къ Италіи, къ Риму, — ему казалось, что это и есть его настоящая, его поэтическая родина, «родина души его», и будто только здѣсь можетъ жить и творить... Такъ, въ письмѣ къ Балабиной (изъ Рима, 1838 г.) онъ, между прочимъ, говоритъ: «И когда я увидѣлъ, наконецъ, во второй

разъ Римъ, о, какъ онъ мнѣ показался лучше прежняго! Мнѣ казалось, будто я увидѣлъ свою родину, въ которой нѣсколько лѣтъ не бывалъ я, а въ которой жили только мои мысли. Но нѣтъ, это все не то: не свою родину, но родину души своей я увидѣлъ, гдѣ душа моя жила прежде меня, прежде чѣмъ я родился на свѣтъ».

И тѣмъ невозможнѣе представлялась ему жизнь въ другихъ мѣстахъ, въ особенности же въ Россіи. На пути въ отечество, въ сентябрѣ 1839 г., онъ писалъ Жуковскому: «Если бы вы знали, чего мнѣ стоило бросить Римъ, хотя я знаю, что это не больше, какъ на два-три мѣсяца. Но клянусь, если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны помножили еще на милліоны, и потомъ удесятерили эти милліоны, я бы не взялъ ихъ, если бы это было съ условіемъ оставить Римъ, хотя на полгода...» Гоголь въ этотъ пріѣздъ возвращался въ Россію впервые послѣ смерти Пушкина, и тѣмъ безотраднѣе казалась ему жизнь въ отечествѣ. Прибывъ въ Москву и собираясь въ Петербургъ, онъ писалъ Плетневу: «Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ — и Пушкина нѣтъ! Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ?... Бросьте все, и ѣдемъ въ Римъ! О, если бы вы знали, какой тамъ пріютъ для того, чье сердце испытало утраты. Какъ наполняются тамъ незамѣстимыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ!...»

Наступилъ 1840 годъ, а Гоголь все еще сидѣлъ въ Москвѣ. Какъ тяжело ему было въ Россіи, какъ болѣзненно-страстно рвался онъ въ Италію, въ «свой» Римъ, видно изъ слѣдующихъ мѣстъ его писемъ.

«Боже! какъ я глупъ, какъ я ничтожно, несчастно глупъ! И какое странное мое существованіе въ Россіи! (пишетъ онъ Жуковскому изъ Москвы въ началѣ 1840 года). Какой тяжелый сонъ! О, когда бъ скорѣе проснуться! Ничто, ни люди, встрѣча съ которыми принесла бы радость, — ничто не въ состояніи возбудить меня. Нѣсколько разъ брался я за перо писать вамъ и какъ деревянный стоялъ предъ столомъ: казалось, будто застыли всѣ нервы, находящіеся въ соприкосновеніи съ моимъ мозгомъ, и голова моя окаменѣла». Въ другомъ письмѣ къ Жуковскому (того же года) онъ опять восклицаетъ: «О Римъ, о мой Римъ! Ничего я не въ силахъ сказать... Но если бы меня туда перенесло теперь, Боже, какъ бы освѣжилась душа моя!» Около того же времени (25 января 1840 года) въ письмѣ къ Погодину онъ говоритъ: «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорѣе, скорѣе! Я погибну»...

Наконецъ, ему удалось уѣхать. Въ декабрѣ того же 1840 года онъ уже былъ въ Римѣ и опять принялся за работу надъ «Мертвыми душами», а вмѣстѣ съ тѣмъ вновь явилось у него и чувство любви къ Россіи. 28 декабря (1840 г.) онъ писалъ С. Т. Аксакову изъ Рима:

«Я теперь приготовляю къ совершенной очисткѣ первый томъ «Мертвыхъ душъ». Перемѣняю, перечищаю, многое переработываю вовсе... Между тѣмъ дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣй, и теперь я вижу, что можетъ быть со временемъ кóе-что колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы»... Ниже, въ этомъ же письмѣ, характерно слѣдующее: *Да, чувство любви къ Россіи, слышу, во мнѣ сильно*[1]). Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ ихъ когда-либо принимать такъ близко къ сердцу».

Въ концѣ 1841 года Гоголь опять пріѣхалъ въ Россію для печатанія первой части «Мертвыхъ душъ». Много непріятностей и хлопотъ (главнымъ образомъ въ отношеніи къ цензурѣ) ожидало его здѣсь, и уже 10 января 1842 года онъ писалъ (изъ Москвы) Максимовичу: «Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествѣ! Жду и не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы, охладѣвающія здѣсь»... Въ письмѣ къ Балабиной (того же года) читаемъ: «Вы уже знаете, какую глупую роль играетъ моя странная фигура въ нашемъ родномъ омутѣ, куда я не знаю, за что попалъ. Съ того времени, какъ только ступила моя нога въ родную землю, мнѣ кажется, какъ-будто я очутился на чужбинѣ»... Въ письмѣ къ Плетневу (6 февраля 1842 года) онъ восклицаетъ: «О, какъ бы мнѣ нуженъ былъ теперь мой тихій уголъ въ Римѣ, куда не доходятъ до меня никакія тревоги и волненія!»

Печатаніе «Мертвыхъ душъ» приближалось къ концу, и въ маѣ 1842 года, собираясь опять за границу, въ «свой» Римъ, Гоголь писалъ Данилевскому: «Черезъ недѣлю послѣ сего ты получишь отпечатанныя «Мертвыя души» — преддверіе, немного блѣдное, той великой поэмы, которая строится во мнѣ и разрѣшитъ, наконецъ, загадку моего существованія». А по пути въ Римъ онъ писалъ Жуковскому изъ Берлина (26 іюня 1842 года): «Скажу только, что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свѣтлѣй и торжественнѣй въ душѣ моей, что не безъ цѣли и значенія были мои поѣздки, удаленія и отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей... что чаще и торжественнѣй льются душевныя мои слезы и что живетъ въ душѣ моей глубокая, неотразимая вѣра, что небесная сила поможетъ взойти мнѣ на ту лѣстницу, которая предстоитъ мнѣ, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ступеняхъ ея. Много труда и пути, и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горняго снѣга и свѣтлѣй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, только тогда разрѣшится загадка моего существованія!»

---

[1]) Курсивъ мой.

Этотъ рядъ выдержекъ рисуетъ намъ тотъ сложный процессъ, который совершался въ душѣ Гоголя въ періодъ между 1836 и 1842 годами, когда онъ работалъ надъ первою частью «Мертвыхъ душъ». Теперь постараемся дать этому душевному процессу посильное истолкованіе.

Въ его составъ входитъ рядъ моментовъ, изъ которыхъ каждый можетъ имѣть свое объясненіе, являющее ложный видъ «достаточнаго основанія».

Первый моментъ — «бѣгство» Гоголя изъ Россіи въ 1836 году и горечь, съ которою онъ отзывается объ отечествѣ въ это время — легко объясняется тѣми непріятностями, какія выпали на долю автора «Ревизора» послѣ постановки знаменитой комедіи. Это была первая и, кажется, самая бурная «ссора» Гоголя съ соотечественниками. Ему пришлось испытать то, что весьма часто приходится испытывать писателямъ-сатирикамъ. Болѣзненно-чуткая и неуравновѣшенная натура Гоголя была глубоко потрясена всѣми кривыми толками, всей массой тупого непониманія, осужденіями и своего рода «гоненіями» со стороны подавляющей массы общества, представителями которой были въ литературѣ Сенковскій, Булгаринъ и др. Послѣдовавшая вскорѣ смерть Пушкина явилась новымъ ударомъ, который, можно сказать, ошеломилъ Гоголя, выбилъ его изъ колеи. Потухъ свѣтъ, озарявшій его темный путь, и отнынѣ великое дѣло Гоголя должно было совершаться во тьмѣ; разсѣять эту тьму не могли,— для него — тѣ лучи, которые исходили отъ немногихъ просвѣщенныхъ умовъ, понимавшихъ, что́ такое Гоголь и въ чемъ его призваніе. Россія безъ Пушкина казалась ему еще непригляднѣе, еще безотраднѣе... И всѣ его — *личныя, интимныя* — связи съ отечествомъ ограничивались теперь семьею и дружескими отношеніями съ нѣсколькими лицами, которые его понимали и цѣнили, которыхъ онъ любилъ,— съ Данилевскимъ, Прокоповичемъ, Жуковскимъ, Погодинымъ, Аксаковымъ и нѣкоторыми другими.

Второй моментъ — очарованіе Италіей вообще и Римомъ въ частности — нетрудно истолковать тѣмъ, что, при общемъ благотворномъ дѣйствіи на Гоголя климата, природы, Италіи, культурной обстановки и художественныхъ впечатлѣній, какія доставлялъ вѣчный городъ, здѣсь впервые, какъ говорится, окончательно «наладилась» завѣтная работа Гоголя надъ «Мертвыми душами» и установился извѣстный навыкъ, всегда необходимый для творчества. Уже въ силу одного этого навыка, т.-е. усвоенной умомъ привычки работать среди опредѣленной обстановки, Гоголь долженъ былъ привязаться къ Италіи, и эта привязанность къ мѣсту по необходимости становилась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дальше подвигалась работа. А эта работа была «вдохновенная», она доставляла поэту высокія умственныя наслажденія, и «восторги творчества ассоціировались съ впечатлѣніями мѣста. Выражая свою восторженную любовь къ Риму, Гоголь, повидимому, не подозрѣвалъ, что для него величіе Колизея, красота

храма св. Петра, таинственная прелесть старинныхъ часовенъ и т. д. усугублялись тѣмъ, что здѣсь, среди этой чарующей обстановки, созидались и разрабатывались фигуры героевъ «Мертвыхъ душъ». Нельзя сомнѣваться въ томъ, что Чичиковъ съ Коробочкой, Селифанъ съ Петрушкой и т. п. не мало украсили — для Гоголя — Римъ, и что Колизей и храмъ св. Петра безъ Собакевича, Манилова и Ноздрева утратили бы для поэта Руси добрую долю своего обаянія...

Третій моментъ — любовь къ Россіи изъ прекраснаго далека — психологически связанъ съ только что разсмотрѣннымъ вторымъ: «восторги творчества», усугубляя очарованіе Римомъ, въ то же время примиряли поэта съ его отечествомъ, которое и было объектомъ этого творчества. Горечь личныхъ обидъ, острыя впечатлѣнія недавней «ссоры», съ соотечественниками исчезали въ радостяхъ вдохновеннаго труда. Среди созерцаній Руси изъ прекраснаго далека не было мѣста другимъ чувствамъ къ ней, кромѣ чувства той любви, подъ которою скрывалось тяготѣніе великаго поэта къ своему національному цѣлому.

Четвертый моментъ — тоска по Риму и отвращеніе къ жизни въ Россіи, которыя Гоголь испытывалъ и такъ откровенно рѣзко выражалъ въ своихъ письмахъ во время пріѣздовъ въ отечество, — получаетъ свое освѣщеніе изъ предыдущаго. Отъ поэзіи творчества Гоголь переходилъ тогда къ тягостной для него прозѣ существованія, осложненной къ тому же денежными затрудненіями, долгами, недоразумѣніями съ друзьями московскими и петербургскими, хлопотами и всякимъ инымъ, какъ онъ выражался, «дрязгомъ жизни»[1]). Гоголь примирялся съ отечествомъ и любилъ его, когда, живя въ Италіи, онъ создавалъ свои великолѣпные національные типы (ихъ отрицательный характеръ ничуть не мѣшалъ этой «любви»); но когда онъ, живя въ Россіи, вступалъ въ непосредственное дѣловое, житейское обобщеніе съ дѣйствительностью, воплощенною въ этихъ типахъ, тогда онъ чувствовалъ себя отвратительно.

Итакъ, всѣ эти моменты находятъ себѣ объясненіе, и притомъ такъ, что раскрывается внутренняя связь между ними.

Овсянико-Куликовскій.

Творчество Гоголя.

Творчество Гоголя, какъ высокаго оригинальнаго таланта, истекало прежде всего изъ природныхъ дарованій, изъ его глубокой поэтической натуры. Обыкновенно этимъ природнымъ дарованіямъ

---

[1]) Эти отношенія къ друзьямъ и «недоразумѣнія» прослѣжены шагъ за шагомъ и документально разслѣдованы въ капитальномъ трудѣ *В. И. Шенрока* («Матеріалы для біографіи Гоголя», именно въ томахъ III и VI). Въ высокой степени цѣнны эпизодическія изслѣдованія *Н. С. Тихонравова* (въ примѣчаніяхъ къ изданію сочиненій Гоголя) и проф. *А. И. Кирпичникова* («Гоголь и Погодинъ» въ «Рус. Стар.»).

Гоголя его біографы и критики отдаютъ преимущество передъ посторонними вліяніями въ его творчествѣ, объясняютъ это послѣднее болѣе инстинктивными, безсознательными стремленіями геніальнаго поэта. Поэтому мы и остановимся прежде всего на нѣкоторыхъ основныхъ свойствахъ въ творчествѣ Гоголя, насколько они проявляются въ его произведеніяхъ и насколько ихъ можно замѣтить въ началѣ его развитія.

Прежде всего необходимо отмѣтить необыкновенный даръ наблюдательности — наблюдательности художественной, поэтической, — проявившійся въ Гоголѣ съ раннихъ лѣтъ, какъ онъ самъ объ этомъ свидѣтельствуетъ въ началѣ VI главы первой части «Мертвыхъ душъ»: «Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ было весело подъѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту: все равно, была ли эта деревушка, бѣдный уѣздный городишко, село ли, слободка, — любопытнаго много открывалъ въ немъ дѣтскій любопытный взглядъ. Всякое строеніе, все, что носило только на себѣ напечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности, все останавливало меня и поражало... ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и, высунувши носъ изъ-подъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотолѣ покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ московскихъ конфетъ; глядѣлъ и на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, занесеннаго, Богъ знаетъ, изъ какой губерніи, на уѣздную скуку, и на купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ, и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ. Уѣздный чиновникъ пройди мимо — я уже задумывался: откуда онъ идетъ»... и Гоголь обращался къ своей художественной памяти, вызывая различные образы въ жизни чиновника, какъ далѣе, подъѣзжая къ деревнѣ какого-нибудь помѣщика — по его дому, по саду, по всему окружающему «старался угадать, кто таковъ самъ помѣщикъ». Такъ этотъ даръ поэтической наблюдательности соединялся у Гоголя съ необыкновенной воспріимчивостью, художественной памятью и живымъ воображеніемъ. Къ этому надо еще прибавить, какъ задатки также геніальной натуры, смутное сознаніе возвышенныхъ стремленій, творческихъ силъ и врожденную неспособность мириться съ окружающей низменной, обыденной жизнью. Объ этихъ природныхъ дарованіяхъ Гоголя, когда они были еще въ зародышѣ, свидѣтельствуютъ школьные товарищи его, разсказывая въ своихъ воспоминаніяхъ о неподражаемомъ талантѣ Гоголя подмѣчать и передавать характерныя черты людей, ихъ привычки, способъ выраженія со всѣми оттѣнками и вмѣстѣ съ тѣмъ о житейской опытности, о знаніи человѣческаго сердца, которыя проявлялъ Гоголь въ затруднительныхъ случаяхъ. То же самое передаетъ и самъ поэтъ изъ своихъ школьныхъ и юношескихъ воспоминаній: «Когда я былъ

въ школѣ и былъ юношей, — говоритъ, напримѣръ, Гоголь въ одномъ изъ писемъ 1838 года, — я былъ очень самолюбивъ; мнѣ хотѣлось смертельно знать, что́ обо мнѣ говорятъ и думаютъ другіе. Мнѣ казалось, что все то, что мнѣ говорили, было не то, что обо мнѣ думали. Я нарочно старался завести ссору съ моими товарищами, и тотъ натурально въ сердцахъ высказывалъ мнѣ все то, что во мнѣ было дурного. Мнѣ этого было только и нужно; я уже былъ совершенно доволенъ, узнавъ все о себѣ». Этотъ пріемъ узнаванія правды основанъ былъ уже на раннихъ наблюденіяхъ Гоголя, что «только, разсердившись, говорится правда». Такъ, много позже, въ началѣ 40-хъ годовъ, Гоголь признавался А. О. Смирновой, съ которой онъ познакомился еще въ самомъ началѣ 30-хъ годовъ: «если сказать вамъ сущую правду, то узналъ я душу вашу не тогда, когда вы мнѣ ее открывали, а тогда, когда рѣчь шла часто о постороннихъ предметахъ, когда вы невольно и не думая проговаривались». Съ такими-то пріемами Гоголь развилъ въ себѣ способность «угадывать человѣка» и изображать его въ самыхъ характерныхъ чертахъ. И громадный запасъ живыхъ поэтическихъ наблюденій, сохранившихся въ художественной памяти Гоголя, дополнявшихся еще способностью угадыванія, подъ вліяніемъ живого воображенія и творческой фантазіи претворялся въ поэтическіе образы, которые постоянно развивались и достигали поразительной яркости и жизненной правды подъ вліяніемъ новыхъ наблюденій, новыхъ размышленій о людяхъ. Наблюдательность, воспріимчивость и особенная чуткость ко всему окружающему помогли Гоголю въ петербургскій періодъ его жизни выйти на настоящую дорогу, угадать характеристическія черты современнаго ему русскаго общества, расширить взгляды, пріемы и замыслы и какъ вознаградить недостатки своего образованія, такъ и уравновѣсить вѣчно увлекавшіе его порывы къ фантастическимъ планамъ и поэтическимъ призракамъ. Эти же свойства способствовали развитію въ Гоголѣ реальнаго или, какъ выражались въ 40-хъ годахъ, «натуральнаго» направленія. Уже одна сила наблюдательности поддерживала въ его поэтическихъ созданіяхъ вѣрность дѣйствительности.

Но самыми характеристическими особенностями творчества Гоголя, придающими особенную окраску его сочиненіямъ, являются лиризмъ и юморъ — двѣ творческія силы, на которыя и самъ Гоголь указываетъ въ «Авторской исповѣди», называя ихъ лирической силой и силой смѣха.

Исключительнымъ лирическимъ воодушевленіемъ характеризуются преимущественно раннія произведенія Гоголя; позже лиризмъ заслоняется развитіемъ комизма, юмора, хотя и остается область явленій, въ которыхъ, какъ въ представленіяхъ прошлаго, природы и молодости, молодой, красивой женщины, а позже въ представленіяхъ возвышенныхъ свойствъ русскаго народа находитъ себѣ мѣсто лирическое воодушевленіе. Этотъ лиризмъ Гоголя не былъ только

литературнымъ подражаніемъ, — но коренился въ самой природѣ его, будучи воспитанъ окружавшей его съ дѣтства жизнью, природой и особенно страстнолюбимыми имъ народными пѣснями. Точно такъ же и комизмъ, юморъ самъ Гоголь объяснялъ «рѣзкой чертой южнаго россіянина», разсказы котораго дышатъ «такимъ глубокимъ юморомъ», «такою силою живого разсказа» и смѣха при хладнокровной, флегматической наружности. О замѣчательномъ развитіи этой способности у самого Гоголя уже въ обыденныхъ разсказахъ, не говоря уже о мастерскомъ чтеніи имъ своихъ произведеній, свидѣтельствуютъ С. Т. Аксаковъ, Тургеневъ и другіе. *Владимировъ.*

Общественное значеніе Гоголя.

Въ періодъ времени, почти совпадающій съ періодомъ посмертнаго юбилея Гоголя, дѣйствіе русской литературы вышло за предѣлы русской территоріи и русскаго языка... Если у насъ, въ нашемъ собственномъ кругу еще не очень давно слышалось недовольство недостаточной самостоятельностью нашей литературы относительно вліяній европейскихъ, то современный успѣхъ ея въ Европѣ указываетъ достаточно, что въ этомъ недовольствѣ былъ извѣстный обманъ зрѣнія. Наша литература долго не знала критики международной, и понятно, что на свѣжій, притомъ чужой глазъ, можетъ открываться и то, что́ нами самими не замѣчается. Иностранная критика, болѣе или менѣе компетентная, видѣла иногда связь русскихъ литературныхъ явленій съ западными, и даже нѣкоторую зависимость, но вмѣстѣ съ тѣмъ находила въ нихъ необычайную и неизвѣстную въ Европѣ оригинальность и силу.

Если мы спросимъ себя, гдѣ источникъ, первое начало этой самостоятельности, отвѣтъ представляется прежде всего недавнимъ историческимъ признаніемъ великой національной заслуги Пушкина. Онъ дѣйствительно привилъ нашей литературѣ самобытное художественное творчество, но онъ еще не исчерпалъ задачи; вторую долю ея исполнилъ Гоголь. Не разъ поднимался вопросъ о томъ, кто изъ двухъ великихъ писателей былъ ближайшимъ вдохновителемъ того движенія, какое совершалось во второй половинѣ столѣтія; кому принадлежало здѣсь основное вліяніе — Пушкину или Гоголю. Предпочесть рѣшительно того или другого было бы дѣломъ произвольнымъ и празднымъ. Литературныя явленія всегда бываютъ столь сложны, что чѣмъ болѣе мы находимъ дѣйствующихъ факторовъ, тѣмъ ближе бываемъ къ истинѣ. Тѣ, кто хотѣлъ сдѣлать Пушкина единственнымъ основателемъ новѣйшей русской литературы, между прочимъ, приводили восторженныя слова самого Гоголя, который признавалъ Пушкина своимъ учителемъ; приводили слова Тургенева, который, въ другомъ поколѣніи, считалъ себя ученикомъ Пушкина.

Въ самомъ дѣлѣ, Пушкинъ былъ могущественнымъ дѣятелемъ новой русской литературы; онъ завершилъ старый, подготовительный періодъ ея развитія и впервые открылъ путь ея самостоятельнаго, національнаго творчества. Но затѣмъ Гоголь, въ свою очередь, былъ не менѣе знаменательнымъ дѣятелемъ. Сколько бы самъ онъ ни считалъ Пушкина своимъ учителемъ, ученикъ и учитель были такъ различны, что поставить ихъ въ непосредственную преемственность нѣтъ возможности. Самъ Гоголь указывалъ, что сюжетъ «Мертвыхъ душъ» былъ данъ ему Пушкинымъ, но тотъ же Гоголь разсказываетъ, что когда онъ прочелъ Пушкину первый очеркъ изъ «Мертвыхъ душъ», Пушкинъ былъ пораженъ картиной, для него, очевидно, совершенно неожиданной. По собственнымъ словамъ Гоголя, при этомъ чтеніи «Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе и сумрачнѣе, а наконецъ, сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія». Въ этомъ впечатлѣніи сказалась вся разница двухъ писателей и разница ихъ литературнаго вліянія. Въ геніальномъ дарованіи Гоголя были черты, какихъ у Пушкина не было. Кромѣ необычайной наблюдательности, съ которой онъ умѣлъ схватывать и изображать характеры и которая сдѣлала его родоначальникомъ русскаго литературнаго реализма, его взглядъ на дѣйствительность отличался тѣмъ особеннымъ (по «расѣ» — малорусскимъ, по литературно-исторической манерѣ отчасти романтическимъ) юморомъ, который дѣлалъ его способнымъ «сквозь видимый міру смѣхъ» указать «незримыя, невѣдомыя ему слезы»; другими словами, подъ внѣшней формой шутливаго разсказа снять завѣсу съ тяжелой, мрачной картины дѣйствительной жизни и глубоко затронуть личное нравственное чувство и чувство общественное. Таковы были уже тѣ петербургскія повѣсти, которыя были одними изъ первыхъ произведеній Гоголя и побудили Бѣлинскаго тогда же признать въ немъ великаго русскаго писателя; таковъ былъ дальше «Ревизоръ» и, наконецъ, самое великое изъ его произведеній — «Мертвыя души»... Впослѣдствіи Гоголь въ періодъ его мрачнаго настроенія (съ половины сороковыхъ годовъ) упорно отрицался отъ этой общественной стороны своихъ произведеній, будто бы вносившей въ высокое искусство легкомысліе насмѣшки и карикатуры, но общество ни тогда ни послѣ не убѣдилось его отрицаніями, и донынѣ продолжаетъ считать именно эти его произведенія вѣнцомъ его творчества и однимъ изъ лучшихъ созданій всей русской литературы... Чтобы отвергать эти творенія, Гоголю надо было отказываться отъ себя самого. Дѣйствительно, съ самыхъ юныхъ лѣтъ имъ владѣло очень туманное, но упорно въ немъ жившее сознаніе, что онъ призванъ и долженъ совершить нѣчто великое для своего отечества. Сознаніе не было ясно, но уже въ ту пору онъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ, съ пренебреженіемъ смотрѣлъ на тѣхъ товарищей, которые не тре-

вожили себя никакими вопросами о жизни; онъ назвалъ ихъ презрительнымъ именемъ «существователей», какъ потомъ съ пренебрежительной ироніей говорилъ о людяхъ общества, «нѣсколько беззаботныхъ насчетъ литературы» и т. п.

Въ первые годы своей петербургской и московской жизни, когда только что написаны были «Вечера», Гоголь, въ сущности, еще юноша, двадцати двухъ-трехъ лѣтъ, поражалъ своихъ знакомыхъ, опытныхъ литераторовъ старшаго поколѣнія, какъ Плетневъ и С. Т. Аксаковъ, своимъ глубокимъ взглядомъ на великое значеніе искусства; и что они понимали въ немъ необычайную творческую силу, объ этомъ свидѣтельствуютъ отзывы изъ того времени и Плетнева и Аксакова, и самое то обстоятельство, что онъ, только что начинавшій писатель, былъ уже принятъ какъ равный въ кругу Пушкина и Жуковскаго. На что же направлена была эта творческая сила? Именно на то примѣненіе искусства, когда оно стремится, не довольствуясь спокойнымъ изображеніемъ жизни или же лирикой личнаго чувства, ставить нравственный вопросъ общественной жизни, проникнуть сквозь внѣшнюю оболочку общественныхъ нравовъ въ ихъ подлинную подкладку, указать нравственную извращенность и рядомъ съ ней причиняемое этимъ страданіе. Результатомъ было впечатлѣніе не только художественное, но и общественное. Впослѣдствіи, въ своемъ консервативномъ піэтизмѣ, Гоголь укорялъ себя за слишкомъ большое обиліе въ его произведеніяхъ характеровъ пошлыхъ и отсутствіе лицъ идеальныхъ, возвышающихъ душу и примиряющихъ съ жизнью; утверждалъ, что его сатирическія изображенія были карикатурами (хотя и позже онъ сознавалъ, что примиренія не выдумаешь, хотя его нѣтъ въ дѣйствительности), — но эти позднѣйшія самообвиненія были совершенно несправедливы. Что его картины русской жизни не были ложны и не были карикатурой, это очень хорошо видѣло само русское общество и во главѣ его императоръ Николай I, потребовавшій исполненія на сценѣ «Ревизора»; масса общества создала Гоголю литературный успѣхъ, съ которымъ могъ равняться только успѣхъ одного Пушкина. Литературная критика (за исключеніемъ тѣхъ немногихъ, которые изъ извѣстнаго рода услужливости старались умалить общественное значеніе писателя, или искренно не понимали реализма Гоголя по привычкѣ къ романтической напыщенности), литературная критика, въ лицѣ Бѣлинскаго, встрѣтила Гоголя съ настоящимъ энтузіазмомъ, восхищалась въ немъ не только удивительнымъ художественнымъ мастерствомъ, но высоко оцѣнила въ немъ это общественное значеніе, въ которомъ видѣла залогъ общественнаго сознанія, никогда раньше не сказавшагося въ нашей литературѣ съ такою убѣждающею силой. Критика вовсе не думала упрекать Гоголя за недостатокъ «идеальныхъ лицъ» — потому что возвышенный идеалъ нравственный и общественный самъ собою возникалъ передъ читателемъ, какъ требуемый инстинктомъ чувства въ противоположность картинамъ отрицательной дѣйстви-

тельности. И самъ писатель не однажды указывалъ читателю путь къ этому идеалу. Не разъ онъ прерывалъ теченіе сатиры или изображенія гнетущихъ явленій жизни и, какъ бы самъ утомленный тяжелой картиной, оставляя роль повѣствователя, высказывалъ свое личное чувство въ лирическихъ отступленіяхъ или моральныхъ истолкованіяхъ. У писателя оказывался такой запасъ теплаго чувства, такая глубина человѣчности, что, повидимому, мелкая шуточная исторія переходила въ драму или трогательное повѣствованіе, въ которомъ читатель не могъ оставаться равнодушнымъ... Въ первыхъ петербургскихъ повѣстяхъ мы находимъ уже яркія проявленія этой стороны его таланта.

Какою задушевностью проникнутъ разсказъ о тихомъ, незамѣтномъ, какъ, будто ничтожномъ существованіи «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ»; какое сильное впечатлѣніе производила исторія «Шинели», отнятой грабителями у бѣднаго стараго чиновника! Напомнимъ эпизодъ. «Только если ужъ слишкомъ была невыносима шутка, когда толкали его подъ руку, мѣшая заниматься своимъ дѣломъ, онъ произносилъ: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось въ словахъ и въ голосѣ, съ какимъ они были произнесены. Въ немъ слышалось что-то такое, преклоняющее въ жалость, что одинъ молодой человѣкъ, недавно опредѣлившійся, который, по примѣру другихъ, позволилъ было себѣ посмѣяться надъ нимъ, вдругъ остановился, какъ-будто пронзенный, и съ тѣхъ поръ какъ-будто все перемѣнилось передъ нимъ и показалось въ другомъ видѣ. Какая-то неестественная сила оттолкнула его отъ товарищей, съ которыми онъ познакомился, принявъ ихъ за приличныхъ свѣтскихъ людей. И долго потомъ, среди самыхъ веселыхъ минутъ, представлялся ему низенькій чиновникъ, съ лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня! Зачѣмъ вы меня обижаете?» И въ этихъ проникающихъ словахъ звенѣли другія слова: «я братъ твой». И закрывалъ себя рукою бѣдный молодой человѣкъ, и много разъ содрогался онъ потомъ на вѣку своемъ, видя, какъ много въ человѣкѣ безчеловѣчья, какъ много скрыто свирѣпой грубости въ утонченной образованной свѣтскости и, Боже, даже въ томъ человѣкѣ, котораго свѣтъ признаетъ благороднымъ и честнымъ»... Шутовская исторія ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ заканчивается печальной нотой, которой не ожидаетъ читатель и которая бросаетъ тѣнь на весь разсказъ. Въ удивительныхъ «Запискахъ сумасшедшаго», въ смѣшной и страшной картинѣ безумія опять проходитъ въ концѣ воспоминаніе несчастнаго безумца о матери — у ней одной онъ надѣется найти защиту. Финалъ «Записокъ» есть цѣлая трагедія, одинъ изъ самыхъ поразительныхъ эпизодовъ всей русской литературы. Въ «Театральномъ разъѣздѣ», въ послѣднихъ заключительныхъ словахъ автора, Гоголь высказалъ свои собственныя думы о значеніи литературы. Авторъ говоритъ, что «не могла выносить равнодушно его душа, когда совершеннѣйшія творенія чествлись

именами пустяковъ и побасенокъ»: «Ныла душа моя, когда я видѣлъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни безотвѣтныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижимымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагивалъ даже ни призракъ выраженія отъ того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснѣлъ языкъ ихъ произнести свое вѣчное слово «побасенки»! Побасенки!... А вонъ протекли вѣка, города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что̀ было, а побасенки живутъ и повторяются понынѣ, и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полный благороднаго стремленія юноша»... И въ концѣ защита его собственнаго дѣла.

Въ «Театральномъ разъѣздѣ» Гоголь въ рядѣ тонко написанныхъ сценъ собралъ разнообразныя впечатлѣнія читателей и зрителей его пьесы и особенно остановился на тѣхъ обвиненіяхъ, какія посыпались на него со стороны приверженцевъ литературной рутины, а также и отъ представителей рутины чиновнической, привыкшей утверждать, что все обстоитъ благополучно, и привыкшей къ тому, чтобы всякое злоупотребленіе было шито и крыто. Пьеса, гдѣ въ первый разъ въ русской литературѣ сказана была объ этомъ жестокая правда, возбудила въ затронутомъ лагерѣ страшное негодованіе: писателя обвиняли въ опасномъ колебаніи авторитета власти; враждебные критики упрекали его въ грубой карикатурѣ, въ пустомъ глумленіи и т. д. Съ твердымъ сознаніемъ правоты своего дѣла онъ говорилъ: «Бодрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій... не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеніяхъ и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ — какъ водоворотъ; движутся въ немъ вѣчно мнѣнія и толки; но все переламываетъ время: какъ шелуха, слетаютъ ложныя, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижимыя истины... И почему знать, можетъ-быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ, — въ силу тѣхъ же законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!...»

Еще раньше, какъ мы упомянули, подъ впечатлѣніемъ первыхъ повѣстей Гоголя Бѣлинскій уже видѣлъ въ немъ великаго писателя русской литературы (Гоголю было тогда около двадцати пяти лѣтъ; критикъ былъ годомъ моложе); «Ревизоръ» и «Мертвыя души» подтвердили его восторженное предсказаніе. Самъ Гоголь въ «Мертвыхъ душахъ», въ извѣстныхъ лирическихъ мѣстахъ, говорилъ уже съ увѣренностью о томъ, чего ждетъ отъ него Россія, и передъ нимъ рисовалась картина будущаго предстоящаго величія русскаго народа... Въ ту минуту казались преувеличенной самонадѣянностью слова писателя о самомъ себѣ; но когда писатель и его дѣло стали достояніемъ исторіи, эти, какъ-будто фантастическія слова становятся

драгоцѣннымъ свидѣтельствомъ беззавѣтной, самоотверженной преданности писателя своей высокой задачѣ, свидѣтельствомъ его пламенныхъ ожиданій величія русскаго народа и государства... Финалъ первой части «Мертвыхъ душъ» есть извѣстная фантастическая картина Руси, которая несется впередъ какъ «бойкая необгонимая тройка», «вся вдохновенная Богомъ». «Русь, куда жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта... и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства».

Мы были свидѣтелями, что дѣйствительно другіе народы «косясь», даютъ дорогу, между прочимъ, и русской литературѣ.

Таковъ былъ писатель. Великое значеніе Гоголя заключается въ томъ, что онъ впервые направилъ геніальное художественное творчество не на отвлеченныя темы искусства, не на одинъ спокойный, часто какъ бы безстрастный эпосъ, но именно на прямую, житейскую, обыденную дѣйствительность, и вложилъ въ свой трудъ всю страсть исканія правды, любви къ простому человѣчеству, защиты его права и достоинства, обличенія всякаго нравственнаго зла, окружающаго нашу жизнь. Онъ сталъ поэтомъ дѣйствительности, и его великій успѣхъ былъ уже не только однимъ дѣломъ эстетическаго вкуса, но и дѣломъ чрезвычайно сильнаго общественнаго впечатлѣнія... Если взглянуть на дальнѣйшій ходъ русской литературы, для насъ представляется несомнѣннымъ, что интересъ этой литературы къ изображенію внутреннихъ движеній личной жизни и къ изображенію явленій общественныхъ, осужденіе общественныхъ неправдъ и исканіе нравственнаго идеала, все это жизненное стремленіе общества—въ чисто художественной области всего больше восходитъ именно къ Гоголю. Такъ, очевидно, что первое произведеніе Достоевскаго: «Бѣдные люди» было прямо варіантомъ «Шинели» Гоголя; какъ его изображенія людей, потерявшихъ внутреннее равновѣсіе («Двойникъ» и проч.), близки къ «Запискамъ сумасшедшаго»; такъ называемая «натуральная» школа сороковыхъ годовъ уже въ то время приписывалась внушеніямъ Гоголя. Цѣлый тонъ послѣдующей литературы, направленной на изученіе общественныхъ явленій, свидѣтельствуетъ о нравственномъ вліяніи Гоголя.

Извѣстна тяжкая внутренняя борьба, какую переживалъ Гоголь въ свои послѣдніе годы въ поискахъ истиннаго смысла искусства. Онъ былъ не въ силахъ разрѣшить поставленной имъ себѣ задачи; неудовлетворенный тѣмъ, что было имъ создано раньше, онъ приходилъ къ отрицанію своихъ прежнихъ великихъ произведеній, своего «смѣха», которому онъ прежде давалъ такую краснорѣчивую защиту; онъ впадалъ въ роковое противорѣчіе съ самимъ собой, впадалъ въ явныя и печальныя заблужденія, которыя (по выходѣ въ свѣтъ «Выбранныхъ мѣстъ») вызвали страстное негодованіе восторженныхъ поклонниковъ его прежнихъ произведеній, — но и среди этихъ глубоко печальныхъ ошибокъ, получившихъ для него истинно трагическое значеніе, оставалась одна черта, которая обезоруживала

и примиряла: это — возвеличеніе искусства, которое становилось для него дѣломъ прямо религіознаго служенія.

Въ тяжелыхъ внѣшнихъ условіяхъ, въ какія становилась русская литература въ силу своей исторической судьбы, она, въ высшихъ моментахъ ея развитія, дѣйствительно совершала высокое нравственное служеніе. Въ періодъ, слѣдовавшій за Гоголемъ, русская литература представила рѣдкое богатство высокихъ талантовъ, которые явились какъ-будто за тѣмъ, чтобы выполнить драгоцѣнные завѣты Пушкина и Гоголя; явились дѣятели, когда поставлена была ясная задача. Это были дарованія сильныя, оригинальныя; каждый писатель шелъ своимъ путемъ, внося свои особенныя художественныя свойства, но ихъ всѣхъ одушевляютъ тѣ же общія идеалистическія стремленія, которыя теперь внушаютъ удивленіе и симпатіи въ литературахъ западной Европы. Западнымъ критикамъ видится здѣсь «славянская душа», мерещатся «скиѳы»: это, проще, — результатъ внутренней душевной работы лучшихъ силъ русскаго общества, нашедшей свое выраженіе въ литературѣ, гдѣ сошлись давнія исканія нравственнаго чувства и художественнаго творчества, общечеловѣческіе просвѣтительные идеалы, частію поддержанные ученіями той же Европы, но въ цѣломъ развитые собственной работой, и съ этимъ вмѣстѣ простая, человѣчная близость къ своему народу. Трудъ литератора былъ тяжелъ; онъ требовалъ нерѣдко истиннаго сомоотверженія, но въ концѣ концовъ отсюда и могли произойти тѣ возвышенныя созданія, проникнутыя теплымъ идеализмомъ, исканіемъ правды и поразительною простотою художественнаго творчества; одно достигалось давней нравственной работой общества, другое—давнимъ любящимъ отношеніемъ къ народу. Однимъ изъ великихъ внушителей этого знаменательнаго движенія былъ многострадальный Гоголь.

Пыпинъ.

Значеніе Гоголя для его преемниковъ.

Прошло болѣе полувѣка съ тѣхъ поръ, какъ имя Гоголя впервые раздалось за русской границей. Еще при его жизни вышелъ въ свѣтъ французскій переводъ его повѣстей, сдѣланный Віардо; вскорѣ послѣ его смерти Мериме напечаталъ переводъ «Ревизора»; рано появились и нѣмецкіе переводы. Европейская извѣстность Гоголя все еще, однако, не велика, значительно уступая извѣстности Тургенева, Достоевскаго, Льва Толстого. Только теперь становятся извѣстны признаки, указывающіе на возможность перемѣны. Молодая болгарка Райна Тирнева, слушающая лекціи въ ліонскомъ университетѣ, написала недавно диссертацію о Гоголѣ, обратившую на себя вниманіе французской критики. Гоголь въ ея глазахъ — учитель, позднѣйшіе русскіе беллетристы — его ученики. Она видитъ величайшую несправедливость въ томъ, что послѣдніе пользуются гром-

кой славой во Франціи, во всей Европѣ, тогда какъ первый незаслуженно остается полузабытымъ. Съ нею вполнѣ согласенъ Вогюэ, этотъ тонкій цѣнитель и безспорный знатокъ русской литературы. Въ статьѣ объ одномъ изъ нашихъ молодыхъ писателей, помѣщенной въ «Revue des deux mondes», онъ называетъ Гоголя «общимъ отцомъ, иниціаторомъ, который первый научилъ русскихъ искусству наблюдать и изображать реальную жизнь». «Чѣмъ больше, — восклицаетъ онъ, — чѣмъ больше увеличивается число русскихъ повѣствователей, тѣмъ сильнѣе удивляешься геніальному откровенію, отъ котораго они всѣ произошли. Только врожденнымъ стаднымъ преклоненіемъ передъ новизною можно объяснить усердіе, съ которымъ мои соотечественники читаютъ бѣдныхъ подражателей Гоголя, отказываясь отъ знакомства съ геніальнымъ изобразителемъ Россіи. Ничего не подѣлаешь съ этою рѣшимостью оставаться въ невѣдѣніи! И тѣмъ не менѣе я сойду со сцены съ твердой вѣрой въ наступленіе дня когда «Мертвыя души» можно будетъ найти, рядомъ съ «Донъ-Кихотомъ», въ библіотекѣ каждаго просвѣщеннаго человѣка». Оправдается ли надежда Вогюэ — покажетъ будущее. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, одно: по отношенію къ своимъ преемникамъ Гоголь, дѣйствительно, является иниціаторомъ — въ другихъ формахъ, но едва ли въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ Пушкинъ.

Нѣтъ, быть можетъ, другой литературы, гдѣ бы такъ высоко, какъ въ русской, стояли описанія природы, правдивыя и вмѣстѣ съ тѣмъ художественныя, то неразрывно связанныя съ ходомъ разсказа, то самостоятельныя въ своей законченности. Въ нашей поэзіи они достигли совершенства подъ перомъ Пушкина; въ нашей прозѣ имъ далъ широкое мѣсто Гоголь. Начиная съ первыхъ словъ перваго «вечера на хуторѣ близъ Диканьки» («Сорочинская ярмарка»): «какъ упоителенъ, какъ роскошенъ лѣтній день въ Малороссіи», пейзажъ, сначала южный — разноцвѣтный, блестящій и яркій, потомъ сѣверный — болѣе блѣдный и однотонный, но полный своеобразной прелести, — составляетъ фонъ бытовыхъ картинъ, сливающійся съ ними въ одно гармоническое цѣлое. И чѣмъ дальше, тѣмъ выше мастерство пейзажиста. Если въ удивительномъ описаніи степи («Тарасъ Бульба»), то залитой солнцемъ, то темнѣющей и затихающей, то окованной ночной дремотою, есть еще, мѣстами, что-то черезчуръ приподнятое или слегка искусственное, то «заросшій и заглохшій» садъ Плюшкина можетъ быть названъ торжествомъ описательнаго искусства. «Зелеными облаками и неправильными, трепетнолистными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревъ. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался кверху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмель, глушившій

внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ, наконецъ, вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревъ или же висѣлъ на воздухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ». Если сдѣлать надъ собою усиліе и, отрѣшась непосредственнаго впечатлѣнія, производимаго чудной картиной, присмотрѣться поближе къ средствамъ, съ помощію которыхъ онъ достигнуто, то въ глаза бросается, прежде всего, детальность изображенія, дающая ему необыкновенную жизненность и конкретность. Общая характеристика сада оставалась бы блѣдной и тусклой, если бы не отдѣльные штрихи, вызывающіе иллюзію дѣйствительности. Эту надломленную березу, этотъ бѣгущій, вьющійся, цѣпляющійся хмель мы точно видимъ передъ собою — и отъ нихъ падаетъ отраженный свѣтъ на все остальное. Слово играетъ роль кисти, рисуя то эпитетами (*трепетнолистные* купола древесныхъ вершинъ, *тонкіе, цѣпкіе* крючья хмеля), то сравненіями (березы — съ мраморной колонной, ея излома — съ шапкой или черной птицей). И вотъ, тѣ же основныя черты встрѣчаются и въ описаніяхъ позднѣйшихъ писателей, особенно Тургенева, дальше котораго въ этой области не пошелъ никто. Возьмемъ, для примѣра, небольшой отрывокъ изъ его «Свиданья» (въ «Запискахъ охотника»): «По одному шуму листьевъ можно было узнать, какое тогда стояло время года. То былъ не веселый, смѣющійся трепетъ весны, не долгій говоръ лѣта, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня... Внутренность рощи то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все улыбнулось; то вдругъ опять все кругомъ синѣло: яркія краски мгновенно гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, бѣлыя какъ только что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся холодно играющій лучъ зимняго солнца — и украдкой, лукаво начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь». Къ эпитетамъ и сравненіямъ здѣсь присоединяется новый пріемъ, еще раньше усвоенный нашей поэзіей: олицетвореніе или очеловѣченіе природы, перенесеніе въ нее нашихъ душевныхъ движеній, съ ихъ внѣшней оболочкой (*смѣющійся* трепетъ весны, *лепетанье* поздней осени, *лукавый шопотъ* дождя). Отъ подражанія Гоголю Тургеневъ такъ же далекъ, какъ и другіе мастера нашей описательной прозы; но это не мѣшаетъ признать, что Гоголь первый вступилъ на путь, по которому затѣмъ самостоятельно шли его преемники. Первый онъ занесъ на страницы романа и наименѣе красивыя, но все же близкія намъ черты великорусской природы. «Едва только ушелъ назадъ городъ, какъ уже пошли писать чушь и дичь: кочки, ельникъ, низенькіе, рѣдкіе кусты молодыхъ сосенъ, обгорѣлые стволы старыхъ, дикихъ вересковъ и тому подобный вздоръ». Не видимъ ли мы здѣсь, въ слегка юмористическій формѣ, ту же «невеселую», но «родную» картину, кото-

рую рисовалъ Некрасовъ? Родною она была и для Гоголя. «Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ, — говоритъ онъ, обращаясь къ Руси изъ своего «прекраснаго далека»: — ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечетъ къ тебѣ»?...

Не въ однихъ только описаніяхъ природы чувствуется широкій размахъ гоголевской кисти. Гоголь постигъ, какъ никто до него у насъ и немногіе на Западѣ, интимную связь между человѣкомъ и обстановкой, которую онъ создаетъ для себя или въ которую его ставятъ обстоятельства. Можно ли, напримѣръ, отдѣлить «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» отъ ихъ дома, съ маленькими, низенькими и ужасно теплыми комнатами, съ поющими каждая на свой ладъ дверьми? Не во много ли разъ понятнѣе становятся для насъ Иванъ Ивановичъ и Иванъ Никифоровичъ, когда мы знакомимся съ «прекрасной единственной» лужей ихъ родного города и съ присутствіемъ его повѣтового суда? А сходство между Собакевичемъ и его постройками, «упористыми и безъ пошатки», его кабинетомъ, въ которомъ «все было прочно и неуклюже въ высочайшей степени»? А комната Плюшкина, заставляющая предчувствовать ея обитателя? И эта сторона творчества Гоголя не прошла безслѣдно. Всего больше она отразилась на Гончаровѣ: припомнимъ кабинетъ Обломова, птичій дворъ Марѳеньки, губернскій городъ, какимъ его видитъ Райскій въ знойный лѣтній день, когда въ немъ господствуетъ тишина кладбища. У Тургенева и Достоевскаго такихъ картинъ сравнительно меньше, но и у нихъ можно отмѣтить, напримѣръ, описаніе старинныхъ деревенскихъ домовъ въ «Фаустѣ» и «Дворянскомъ гнѣздѣ», комнаты старца Зосимы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Съ необыкновенною рельефностью выступаетъ у Гоголя и наружность дѣйствующихъ лицъ. Пріемы изображенія ея во многомъ сходны съ тѣми, которыми онъ пользуется въ описаніяхъ природы. Большую роль играютъ и здѣсь сравненія, оригинальныя и полныя жизни. «Маленькіе глазки Плюшкина бѣгали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, насторожа уши, когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа уши и моргая усомъ, онѣ высматриваютъ, не затаился ли котъ или шалунъ-мальчишка, и нюхаютъ подозрительно самый воздухъ». Собакевичъ показался Чичикову «весьма похожимъ на средней величины медвѣдя... Есть много на свѣтѣ такихъ лицъ, надъ отдѣлкой которыхъ натура не долго мудрила, не употребляла никакихъ мелкихъ инструментовъ, какъ-то напильниковъ, буравчиковъ и прочаго, но просто рубила со всего плеча: хватила топоромъ разъ — вышелъ носъ, хватила въ другой — вышли губы, большимъ сверломъ ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свѣтъ, сказавши: живетъ! Такой же самый крѣпкій и на диво стаченный образъ былъ у Собакевича». Здѣсь, какъ и въ описаніяхъ природы, слово приближается къ живописи: «Мертвыя души» съ этой точки зрѣнія — настоящая галлерея портретовъ. Такіе же портреты мы встрѣчаемъ у Тургенева, Достоевскаго, Льва

Толстого. Каждый изъ нихъ рисуетъ ихъ по-своему: Тургеневъ — немногими тонкими штрихами и, если можно такъ выразиться, акварельными красками (Рудинъ, Ася, Лаврецкій); Достоевскій — рѣшительными, широкими мазками (Ѳедоръ Павловичъ и Дмитрій Ѳедорычъ Карамазовы); Толстой — останавливаясь, главнымъ образомъ, на какой-нибудь одной выдающейся чертѣ оригинала. Своего рода коллективными портретами являются у Гоголя картины среды — напр. губернскаго общества въ «Мертвыхъ душахъ», уѣзднаго въ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». И съ этой стороны къ нему прямо примыкаютъ Герценъ («Кто виноватъ»), Салтыковъ («Губернскіе очерки»), Тургеневъ («Гамлетъ Щигровскаго уѣзда»), Крестовскій-псевдонимъ («Послѣднее дѣйствіе комедіи»).

Уступая наглядностью живописи, литературные портреты имѣютъ одно огромное преимущество: они могутъ захватить не только данную минуту жизни человѣка, но и все его прошедшее, показать, вмѣстѣ съ результатомъ, всѣ элементы, изъ которыхъ онъ сложился. Не превзойденной и до сихъ поръ высоты это искусство достигло въ изображеніи Плюшкина и Чичикова. За ними слѣдуетъ, часто имъ не уступая, длинный рядъ образовъ, оставленныхъ намъ преемниками Гоголя. Бельтовъ, Обломовъ, Рудинъ, Лаврецкій, Карамазовы, Іудушка Головлевъ, Андрей Болконскій, Иванъ Ильичъ возвышаются до степени типовъ именно потому, что передъ нами проносится, какъ составная часть дѣйствія или въ ретроспективномъ обзорѣ значительная часть ихъ жизни. Чѣмъ сложнѣе характеръ, тѣмъ большую цѣнность пріобрѣтаетъ тотъ методъ, который можно назвать генетическимъ и который пріобрѣлъ право гражданства въ нашей литературѣ больше всего благодаря Гоголю. Глубина проникновенія въ тайники личной жизни позволяетъ ему создать, рядомъ съ романомъ нравовъ, романъ характеровъ, романъ психологическій. Психологическій элементъ, господствующій въ «Портретѣ», въ «Запискахъ сумасшедшаго», въ «Шинели», идетъ въ «Мертвыхъ душахъ» рука объ руку съ соціальнымъ. Съ особенною силой умѣнье уловить мимолетныя движенія души, извлечь едва теплящееся чувство изъ-подъ груды подавляющихъ его житейскихъ наслоеній, сказалось въ сценѣ Чичикова съ Плюшкинымъ. Пораженный великодушнымъ, повидимому, предложеніемъ Чичикова, Плюшкинъ отъ радости сначала и говорить не могъ. «Но не прошло и минуты, какъ эта радость, такъ мгновенно показавшаяся на деревянномъ лицѣ его, такъ же мгновенно и прошла, будто ея вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выраженіе». Радость проистекала изъ преобладающихъ свойствъ Плюшкина — скупости и жадности; но вотъ другое впечатлѣніе, точно воскрешающее въ немъ прежняго человѣка. Вопросъ Чичикова, нѣтъ ли у него въ городѣ знакомыхъ, внезапно пробуждаетъ въ Плюшкинѣ память о другѣ давно минувшихъ дней, о золотомъ времени дѣтства. «И на этомъ

деревянномъ лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось — не чувство, а какое-то блѣдное отраженіе чувства: явленіе, подобное нежданному появленію на поверхности водъ утопающаго, произведшему радостный крикъ въ толпѣ, обступившей берегъ; но напрасно обрадовавшіеся братья и сестры кидаютъ съ берега веревку и ждутъ, не мелькнетъ ли вновь спина или утомленныя бореньемъ руки — появленіе было послѣднее. Глухо все, и еще страшнѣе и пустыннѣе становится послѣ того затихнувшая поверхность безотвѣтной стихіи. Такъ и лицо Плюшкина, вслѣдъ за мгновенно скользнувшимъ на немъ чувствомъ, стало еще безчувственнѣе и еще пошлѣе». И вотъ что замѣчательно: тонко подмѣченная личная черта бросаетъ иногда неожиданный свѣтъ на цѣлую полосу общественной жизни. «Вѣдь у меня, — говоритъ Плюшкинъ, — что годъ, то бѣгаютъ (крестьяне). Народъ-то больно прожорливъ, отъ праздности завелъ привычку трескать, а у меня ѣсть и самому нечего». Конечно, нужно быть Плюшкинымъ, чтобы объяснить праздностью желанье ѣсть; но не слышится ли въ этомъ объясненіи отголосокъ крѣпостническихъ воззрѣній? Не является ли самъ Плюшкинъ — все равно, желалъ ли, или не желалъ этого авторъ — живымъ протестомъ противъ крѣпостного права? И не унаслѣдовали ли этотъ даръ сливать личное съ общимъ всѣ великіе преемники Гоголя?

Интересно было бы прослѣдить, какъ и въ чемъ вліяніе Гоголя отразилось на отдѣльныхъ произведеніяхъ его преемниковъ. У всѣхъ крупныхъ беллетристовъ послѣ-гоголевскаго періода — за исключеніемъ, быть можетъ, одного Льва Толстого, — не трудно было бы найти кое-что навѣянное Гоголемъ. На точки соприкосновенія между «Шинелью» и Бѣдными людьми» было указываемо много разъ, и онѣ, безспорно, существуютъ. У Тургенева есть небольшой разсказъ: «Пѣтушковъ», герой котораго близко подходитъ къ гоголевскимъ маленькимъ людямъ, словно пришибленнымъ жизнью, а слуга Онисимъ очень похожъ на Осипа въ «Ревизорѣ». Въ романѣ Герцена: «Кто виноватъ» бесѣда между предсѣдателемъ и совѣтникомъ напоминаетъ разговоръ дамы просто пріятной съ дамою пріятною во всѣхъ отношеніяхъ. Въ раннихъ произведеніяхъ Салтыкова (напр. въ «Невинныхъ разсказахъ») есть страницы, которыя легко было бы приписать Гоголю. Подьячіе въ первыхъ комедіяхъ Островскаго кажутся иногда вышедшими изъ присутственныхъ мѣстъ, описанныхъ Гоголемъ. Чѣмъ больше, однако, растетъ въ ширь и глубь дарованіе писателя, тѣмъ меньше встрѣчается основаній для такихъ параллелей, тѣмъ ярче обрисовываются индивидуальныя черты таланта. Иначе и быть не можетъ, разъ что мы имѣемъ дѣло не съ подражаніемъ, а съ самостоятельнымъ творчествомъ. Только для одного Обломова можно найти первообразъ въ гоголевскомъ Тентетниковѣ — но обработка этихъ родственныхъ фигуръ такъ различна, степень законченности Обломова, сравнительно съ Тентетниковымъ, такъ велика, что о заимствованіи не можетъ быть и рѣчи. И все-таки всѣ выдающіеся белле-

тристы послѣ-гоголевскаго періода — отпрыски двухъ корней: Пушкина и Гоголя. Гоголь открылъ имъ доступъ ко всѣмъ сторонамъ русской жизни, ко всѣмъ слоямъ русскаго общества, ко всѣмъ задачамъ современной дѣйствительности, ко всѣмъ перспективамъ будущаго. Лирическіе порывы и эпическое спокойствіе, фантазію и наблюденіе, пессимизмъ и оптимизмъ, стремленіе къ личному совершенствованію и заботу объ исправленіи общественнаго зла — все это соединялъ въ себѣ великій «иниціаторъ». Онъ понялъ, что для литературы нѣтъ ни слишкомъ низкаго ни слишкомъ высокаго, что ея сфера не знаетъ и не должна знать границъ. Онъ какъ-будто хотѣлъ подтвердить слова, вложенныя Шиллеромъ въ уста поэзіи: «mich hält kein Band, mich fesselt keine Schranke... denn nichts beschränkt die freie Dichterkraft». Онъ далъ безсмертные образцы такъ называемаго чистаго искусства — и онъ же показалъ, что искусство можетъ оставаться искусствомъ, затрогивая самыя жгучія темы и даже прямо касаясь злобы дня. Онъ закрѣпилъ за литературой, говоря словами Салтыкова, «привилегію гласить во всѣ концы» — этотъ залогъ ея вліянія и силы. *Арсеньевъ.*

Духовная организація Гоголя.

Основаніемъ духовнаго склада Гоголя, цементомъ, крѣпко связывавшимъ и проникавшимъ все его содержаніе, былъ религіозно-нравственный элементъ, вынесенный имъ изъ родительскаго дома. Онъ хранилъ, какъ святыню, это наслѣдіе, перенесъ его невредимо чрезъ всѣ стадіи своей жизни, а подъ конецъ ея развилъ его до тѣхъ размѣровъ, которые подавляющимъ образомъ дѣйствовали на его слабый организмъ. Отецъ и мать были истинно и просто вѣрующими. Самое соединеніе ихъ представлялось имъ подъ покровомъ чудеснаго. «Выдали меня 14 лѣтъ за моего добраго мужа, въ семи верстахъ живущаго отъ моихъ родителей, — писала Марья Ивановна Гоголь автору Записокъ о жизни и сочиненіяхъ Гоголя. — Ему указала меня Царица небесная, во снѣ являясь ему. Онъ меня тогда увидалъ, не имѣющую году, и узналъ, когда нечаянно увидалъ меня въ томъ же самомъ возрастѣ, и слѣдилъ за мной во всѣ возрасты моего дѣтства». Это краткое и простодушное показаніе — самое краснорѣчивое свидѣтельство религіознаго настроенія среды, въ которой прошло дѣтство нашего поэта. Она же дала обѣтъ, если родится у нея сынъ, назвать его Николаемъ въ честь чудотворнаго образа святителя Николая, называемаго Диканьскимъ. Родители Гоголя просили священника села Диканьки молиться до тѣхъ поръ, пока дадутъ ему знать о счастливомъ событіи и попросятъ его отслужить благодарственный молебенъ. Съ первыхъ проявленій сознанія сына мать старалась утверждать въ его душѣ религіозное чувство. Въ одномъ письмѣ къ ней въ 1833 г.,

говоря о воспитаніи своей младшей сестры, Гоголь такъ вспоминаетъ о своемъ собственномъ воспитаніи: «Вы употребляли все усиліе воспитать меня какъ можно лучше. Я помню, я ничего сильно не чувствовалъ. Я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ. Никого особенно не любилъ, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядѣлъ безстрастными глазами. Я ходилъ въ церковь потому, что мнѣ приказывали или носили меня. Я ничего не видѣлъ, кромѣ ризъ, попа и дьячковъ. Я крестился, потому что видѣлъ, что всѣ крестятся. Но одинъ разъ — я живо, какъ теперь, помню этотъ случай — я просилъ васъ разсказать мнѣ о страшномъ судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшниковъ, что это потрясло во мнѣ всю чувствительность; это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли». Въ бесѣдахъ съ матерью, еще задолго до переѣзда въ Петербургъ, онъ объявилъ ей однажды, что не будетъ жить для себя, а для страждущихъ ближнихъ, и если удостоитъ его Богъ быть полезнымъ своему отечеству, то почтетъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ; но если вообразить, что, можетъ-быть, не допустятъ его къ тому обстоятельства, то чувствуетъ, что холодный потъ выступаетъ у него на лбу. Замѣчательно, что въ одной изъ повѣстей, написанной еще въ 1833 году, онъ упоминаетъ о путешествіи Коробейникова ко святымъ мѣстамъ. Видно, что мысль о путешествіи ко святымъ мѣстамъ не впервые возникла у Гоголя въ послѣдній періодъ его жизни, что, въ свою очередь, доказываетъ весьма раннее развитіе въ немъ того душевнаго настроенія, которое овладѣло имъ къ концу жизни. А вотъ его поэтическое обращеніе къ Палестинѣ, относящееся еще къ 1831 году, когда ему было всего 21 годъ: «Каменистая земля, презрѣнъ народъ; немноголюдная весь прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка неровно оттѣненнымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ младенецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ стоитъ звѣзда, и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ. Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая ниже свои пирамиды; безпокойно глянула древняя Греція; опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья, приникла ухомъ великая Азія съ народами — пастырями; нагнулся Араратъ — пращуръ земли». Припомнимъ также прекрасное изображеніе инока Григорія въ повѣсти «Портретъ», относящейся почти къ тому же времени, изображеніе, которое, кажется, съ небольшими измѣненіями можетъ быть примѣнено къ позднѣйшему душевному настроенію Гоголя: «онъ находился въ томъ состояніи души, которое овладѣваетъ человѣкомъ, когда онъ испытываетъ сильныя нестерпимыя несчастія; когда, желая собрать всю силу, всю желѣзную силу души, и не

находя ее довольно мощною, весь повергается въ религію, и чѣмъ сильнѣе гнетъ его несчастій, тѣмъ пламеннѣе его духовныя созерцанія и молитвы... Въ немъ не угаснулъ пылъ души, но, напротивъ, стремится и вырывается съ большею силою. Онъ тогда весь обратился въ религіозный пламень. Его голова вѣчно наполнена чудными снами. Онъ видитъ на каждомъ шагу видѣнія и слышитъ откровенія; мысли его раскалены; глаза его уже не видятъ ничего, принадлежащаго землѣ; всѣ движенія, слѣдствія вѣчнаго устремленія къ одному, исполнены энтузіазма». Такихъ проявленій глубоко-религіознаго настроенія души Гоголя задолго до сороковыхъ годовъ, чуть не съ самаго дѣтства, можно привести много, и они неопровержимо свидѣтельствуютъ, что это настроеніе съ каждымъ годомъ возрастало и усиливалось, пока не стало господствующимъ и не овладѣло всѣмъ его существомъ. Намъ кажется, нѣтъ никакой надобности отыскивать какія-либо чрезвычайныя, особенныя, внезапныя причины для его объясненія. Это настроеніе было слѣдствіемъ совершенно развившагося психическаго процесса. Собственно никакого внезапнаго переворота въ его духовномъ состояніи не произошло. Его болѣзнь осенью 1840 года могла только содѣйствовать ускоренію давно начавшагося процесса. Не забудемъ также непрерывнаго и упорнаго стремленія Гоголя къ нравственному самосовершенствованію, его стремленія «сдѣлаться лучшимъ на благо ближнимъ», какъ онъ выражался въ своихъ письмахъ къ матери еще въ самомъ началѣ своей учебной нѣжинской жизни, не забудемъ тѣсной внутренней связи этого стремленія съ стремленіемъ къ совершенствованію въ религіозномъ смыслѣ — и мы поймемъ ту страшную внутреннюю работу, которая совершалась въ немъ непрерывно и которая постоянно требовала отъ него величайшаго нравственнаго напряженія. И эта работа оказалась ему не подъ силу, его слабый, хилый организмъ не выдержалъ этого напряженія, а начавшійся въ послѣднее десятилѣтіе и почти не прерывавшійся длинный рядъ болѣзненныхъ состояній дѣйствовалъ на него разрушительно, усиливая въ то же время развитіе религіознаго настроенія. Немудрено, что имъ не замедлилъ овладѣть страхъ смерти; имъ овладѣло убѣжденіе, что его будущее недолговѣчно, что его дни сосчитаны. Замѣчательно, что отъ той же болѣзни, страха смерти, умеръ и его отецъ. И вотъ онъ напрягаетъ всѣ свои слабыя силы къ одной цѣли — спасенію души; все его душевное настроеніе становится мистическимъ, строго-аскетическимъ; онъ отворачивается и открещивается отъ всего пройденнаго имъ литературнаго поприща, отъ всѣхъ своихъ великихъ произведеній, представлявшихся ему великимъ соблазномъ для человѣчества. Мысль о близкой кончинѣ овладѣла имъ очень рано. Еще въ 1838 году, въ письмѣ къ своему товарищу и другу А. С. Данилевскому, онъ пишетъ, что «можетъ-быть, не увидимся съ нимъ болѣе» и заклинаетъ его итти рѣшительною и твердою походкою по дорогѣ жизни, и затѣмъ эта мысль повторяется все чаще и чаще и все съ большею опредѣлительностью и рѣзкостью. Онъ проситъ всѣхъ

молиться о немъ, молиться сильно и слезно, умоляетъ силою чужихъ моленій помочь безсилію собственныхъ.

Какъ всегда бываетъ, легко отыскиваются и лица, соотвѣтствующія нашему настроенію. У Гоголя ихъ нашлось довольно, нашлись такія, которыхъ порывъ долженъ былъ умѣрять самъ Гоголь. Всѣ они съ величайшимъ усердіемъ старались развивать и направлять его религіозное настроеніе и тѣмъ ускорять и безъ того быстрое развитіе совершавшагося въ немъ психическаго процесса. Замѣчательно его сближеніе, по крайней мѣрѣ, по письмамъ, съ извѣстнымъ въ то время ржевскимъ протоіереемъ, Матвѣемъ Александровичемъ, пользовавшимся въ предѣлахъ Тверской губерніи и даже смежныхъ съ ней репутаціи глубоко-религіознаго, высоко-нравственнаго и благотворительнаго человѣка. Въ своемъ дѣтствѣ я слышалъ множество разсказовъ, характеризующихъ его именно съ этихъ сторонъ. Въ такомъ настроеніи Гоголь, съ тою же цѣлью — содѣйствовать и своему и общему душевному спасенію — издаетъ «Выборныя мѣста изъ переписки съ друзьями», которыя произвели такое потрясающее впечатлѣніе на тогдашнее общество, вызвали горькіе упреки со стороны его друзей и почитателей и извѣстное письмо къ нему Бѣлинскаго. Настроеніе все росло, подавляя и разрушая организмъ — и вотъ онъ, за недѣлю до смерти, совершаетъ страшное литературное ауто-да-фе, сожигаетъ свои рукописи. *Лавровскій.*

Гоголь — проповѣдникъ и писатель.

О чемъ же проповѣдовалъ и чему училъ Гоголь-поэтъ и авторъ «Размышленій о божественной литургіи», сочинитель молитвословій къ Богу[1]), писатель, которому, казалось, не хватало только церковнаго посвященія и рясы, чтобы стать духовнымъ витіей и священнопастыремъ?

Несложна была его проповѣдь, и немудрено было его учительство и въ прозаическихъ произведеніяхъ и въ письмахъ передъ всѣми тѣми, кому онъ преподавалъ моральные совѣты, начиная отъ крестьянъ, помѣщиковъ и оканчивая литераторами, русскими женщинами, іереями, губернаторами и т. д.[2]). Однако, была въ этомъ наставничествѣ оригинальность и своеобразныя черты, характерныя

---

[1]) См. молитву, соч. Гоголемъ въ 1846 г. «Современникъ» 1858 г., кн. 11-я, стран. 159. Снимокъ текста молитвы, соч. Гоголемъ въ концѣ 1847 г., въ приложеніи къ книгѣ «Изъ семейной хроники Гоголей», Кіевъ, 1909 г.

[2]) До какой степени наивно-богословскій и узко-дидактическій запасъ знаній и аргументовъ былъ у высшаго для Гоголя авторитета православной религіозности, у о. Матвѣя Константиновскаго, можно убѣдиться изъ работы И. Щеглова «Подвижникъ слова» С.-Пб. 1909 г., стран. 78—97 и 164—170. Но и этого было для Н. В. въ преизлишествѣ достаточно.

для Гоголя и той среды, въ которой росъ и онъ, жили и его предки. «Учить общество» онъ понималъ «въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ повелѣваетъ намъ Церковь учить другъ друга и безпрестанно»[1]). Церковь для него верховная инстанція всего, и разрѣшеніе вопросовъ жизни онъ видитъ только въ ней[2]). И духовные писатели такъ именно и понимаютъ Гоголя, когда говорятъ о немъ, что онъ «въ своихъ теоретическихъ взглядахъ является передъ нами искреннимъ христіаниномъ православнаго исповѣданія, и его мысли о Богѣ, о Церкви, о значеніи духовенства — это мысли преданнаго сына православія»[3]). Но напрасно мы бы полагали, что Гоголь былъ тѣмъ поборникомъ православнаго клерикализма, который предоставляетъ духовенству руководство всею жизнью человѣческой. Въ статьяхъ «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки» о Церкви и духовенствѣ писатель опредѣленно говоритъ, что «у духовенства нашего есть два законныхъ поприща, на которомъ они съ нами встрѣчаются: исповѣдь и проповѣдь»[4]). Онъ считаетъ, что было бы «нехорошо», если бы мы постоянно встрѣчались со священниками, и они входили бы въ наши семейныя дѣла. Совсѣмъ иныя отношенія должны быть установлены съ духовными лицами. «Русскому помѣщику» Гоголь прямо совѣтуетъ: «будь самъ ему наставникомъ», «читай съ нимъ духовныя книги, научай его проповѣдовать»[5]) и т. д.

Свои излюбленныя религіозно-учительныя идеи писатель сосредоточивалъ, въ существѣ дѣла, около нравственныхъ проблемъ — онъ былъ, по преимуществу, моралистъ. Гоголь всюду проповѣдовалъ личное усовершенствованіе и думалъ, что зло нисколько не зависитъ отъ общественно-государственнаго уклада, а лишь отъ индивидуальныхъ недостатковъ человѣка. Такъ, и въ духовномъ завѣщаніи своемъ онъ обращается къ друзьямъ со словами: «общество тогда только поправится, когда всякій честный человѣкъ займется собою и будетъ жить, какъ христіанинъ, служа Богу тѣми орудіями, какія ему даны, и стараясь имѣть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все придетъ тогда въ порядокъ, сами собой установятся тогда правильныя отношенія между людьми, опредѣляя предѣлы, законные всему. И человѣчество двинется впередъ»[6]). Самъ Гоголь искалъ спасенія въ исполненіи религіозныхъ обрядовъ, въ постѣ и особенно — въ молитвѣ, такъ какъ она ведетъ къ самоуглубленію, что создаетъ умѣнье находить въ своей душѣ, очищенной при по-

---

[1]) Собр. соч. IV, 276.

[2]) Ibid., 277.

[3]) См. *К. Агеевъ*, «Писатель-христіанинъ» въ сборникѣ «Памяти Гоголя», изд. подъ ред. И. Посадскаго. Кіевъ 1902 г., стран. 196. Въ многоглаголивой книгѣ Ѳ. Бухарева «Три письма Гоголю» С.-Пб. 1861 г. (написаны были въ 1848 г.) читатель ничего цѣннаго не найдетъ.

[4]) Собр. соч., IV, 37.

[5]) Собр. соч., IV, стран. 122—124.

[6]) См. письма Гоголя, т. IV, стран. 424.

средствѣ молитвы, отвѣты, исходящіе отъ самого Бога. Гоголь искренне боялся чорта, какъ источника индивидуальнаго зла, и Бога, какъ карателя за это зло. Отсюда — страхъ смерти и загробныхъ мученій. Но мрачныя мысли лишь въ предсмертные дни окончательно овладѣли душой писателя; раньше его религіозныя представленія и поученія носили характеръ болѣе свѣтлый и примиряющій. Какъ справедливо указалъ В. Шенрокъ, главный принципъ всей «нравственной науки» Гоголя заключался въ поддержаніи среди близкихъ людей душевной бодрости и благодарности къ Богу за самыя несчастія, которыя посылаются для блага самихъ страждущихъ. Всѣ остальные совѣты и наставленія его являются уже выводами изъ этого общаго положенія примѣнительно къ многочисленнымъ частнымъ случаямъ, встрѣчающимся въ жизни[1]). И этими, ему казалось, новыми, имъ самимъ добытыми, непоколебимыми истинами онъ хотѣлъ дѣлиться со всѣми людьми, нести проповѣдь смиренія, молитвы и самовоспитанія всѣмъ людямъ, какъ нѣкое спасительное откровеніе; и именно эту проповѣдь онъ считалъ дѣломъ своей великой миссіи, въ которую вѣрилъ еще въ юные годы. Самоуглубленно-возвышенное настроеніе духа только и можетъ дать человѣку жизненную бодрость и настоящее счастье, думалъ Гоголь и писалъ близкимъ: «глядите просто на міръ: онъ весь полонъ Божіихъ благодатей; въ каждомъ событіи сокрыты для насъ благодати; неистощимыми благодатями кипятъ всѣ несчастія, намъ ниспосылаемыя; и день, и часъ, и минута нашей жизни ознаменованы благодатями безконечной любви» (изъ письма О. Аксаковой, II, 292). А главное — «наблюдайте святыню совѣсти», говоритъ онъ другой внимательной слушательницѣ А. М. Віельгорской (IV, 227), — и въ этихъ словахъ слышится сокровенная дума и завѣтъ Гоголя-проповѣдника, Гоголя-художника, всегда съ такою чуткою и мучительною тревогою относившагося къ вопросамъ святая святыхъ человѣка, къ правдѣ жизни, озаренной глубокою совѣстливостью.

По существу, слова и проповѣдь писателя были то же, что наставленія добраго пастыря, истоваго священника, витіеватаго духовнаго оратора — не болѣе того. Но именно то, что Гоголь принималъ за свое, истинно предназначенное ему Богомъ, его «дѣло душевное возвѣщать свою правду» придавало имъ силу и поглощало постепенно съ годами всѣ помыслы, всѣ интересы, всю душу пророчествующаго писателя. И не случайно была такъ близка, дорога и мила Гоголю-учителю картина художника Иванова «Явленіе народу Іисуса Христа», какъ проповѣдника и благовѣстителя нравственной правды...

Мистицизмъ писателя сводился, преимущественно, къ вѣрѣ во все таинственное и чудесное и къ идеѣ о ближайшемъ общеніи съ Провидѣніемъ при посредствѣ самоуглубленія и молитвы. И первоначально и въ гораздо позднѣйшее время идея эта исчерпывалась

---

[1]) «Матеріалы», т. IV, стран. 287.

тѣмъ безусловнымъ убѣжденіемъ, что Промыслъ Божій заботится о людяхъ во всѣхъ путяхъ ихъ, вмѣшивается во всѣ помыслы и дѣянія ихъ. Вѣра въ то, что Богъ имѣетъ особое попеченіе лично и о Гоголѣ, и вообще о семьѣ Гоголей, исходила изъ религіозныхъ вѣрованій среды, выразившихся весьма рельефно въ міропониманіи Маріи Ивановны Гоголь, и поддерживалось горделивымъ представленіемъ о высокомъ предназначеніи, какое уготовало Провидѣніе для рода Гоголей. Мать писателя въ упоеніи отъ литературныхъ успѣховъ сына не только считала его геніальнымъ поэтомъ, но приписывала ему всѣ новѣйшія изобрѣтенія, какъ, напримѣръ, пароходы, желѣзныя дороги, и разсказывала объ этомъ всѣмъ. И никакія силы, по свидѣтельству А. Данилевскаго, не могли бы разубѣдить М. И. въ этомъ. Самъ Гоголь, досадовавшій на такія смѣшныя преувеличенія матери, писалъ ей, однако, о своей сестрѣ Аннѣ: «я предрекаю вамъ, что это удивительное дитя будетъ *геній*, какого не видывали». И о себѣ онъ писалъ Погодину въ маѣ 1836 года, какъ о *пророкѣ*, которому нѣтъ славы въ отчизнѣ. Въ нѣжинскихъ письмахъ писателя постоянно говорится о томъ, какъ Богъ руководитъ думами и поступками юноши, и это предначертаніе Богомъ пути, эта идея избранничества есть неизмѣнный лейтъ-мотивъ всей жизни Гоголя. Кто скажетъ, когда написаны Гоголемъ слѣдующія строки, было ли ему двадцать, тридцать или сорокъ лѣтъ? «Богъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую, чтобы я въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности, чтобы я самъ по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда былъ бы въ состояніи разсѣвать благо и работать въ пользу міра». И о томъ же самомъ пишетъ онъ черезъ семь лѣтъ Погодину, черезъ тринадцать — Жуковскому, черезъ двадцать — своимъ московскимъ друзьямъ и аристократическимъ знакомымъ. Эти послѣдніе, а также духовныя особы, особенно протоіерей Матвѣй Константиновскій, не явились создателями мистическаго настроенія Гоголя. Аристократическіе и клерикальные друзья писателя въ послѣднее десятилѣтіе его жизни лишь осложнили, извратили и довели до апогея достаточно первобытное, наивное и искони присущее Гоголю мистическое пониманіе Промысла Божія. Въ апрѣлѣ 1848 года поэтъ писалъ о. Матвѣю: «Духъ обольститель такъ близко отъ меня и такъ часто обманывалъ, заставляя меня думать, что я уже владѣю тѣмъ, къ чему еще стремлюсь, и что покуда еще пребываетъ только въ головѣ, а не въ сердцѣ». И могъ ли думать Гоголь, что этотъ «духъ-обольститель» былъ не кто иной, какъ ржевскій протоіерей, фанатикъ аскетизма, проповѣдникъ покаянія и жизненнаго мрака?

Отъ такого міровоззрѣнія, какое, чѣмъ дальше, тѣмъ все болѣе ясно опредѣлялось у писателя, недалеко до монашескаго самоотреченія. До него и дошелъ Гоголь, но въ нѣсколько оригинальной формѣ. Еще въ 1840 году онъ увѣрялъ Бѣлозерскаго, что «теперь больше годится для монастыря, чѣмъ для жизни свѣтской» (II, 37),

а въ началѣ 1842 году писалъ Языкову: «нѣтъ выше удѣла, какъ званіе монаха» (II, 144). Осенью 1847 году Гоголь сообщалъ о. Константиновскому: «если бы я узналъ, что могу въ монастырѣ уйти отъ міра, я бы пошелъ въ монастырь» (IV, 90). Но въ монастырь онъ не ушелъ, да и не могъ уйти, слѣдуя пониманію своей земной миссіи: онъ долженъ былъ пребывать проповѣдникомъ среди людей, передъ людьми предстоять со своимъ учительствомъ, непосредственно нести міру свое наставительное слово, долженъ былъ оставаться, такъ сказать, «свѣтскимъ монахомъ». Самому ему нуженъ былъ только «душевный монастырь», какъ говорилъ онъ А. Смирновой (II, 492). Также Гоголь совѣтовалъ поступать и своимъ друзьямъ. Въ статьѣ «Нужно любить Россію» онъ пишетъ А. Толстому, что у кого нѣтъ любви къ Богу, тотъ въ монастырѣ ея не найдетъ. «Идите въ міръ и пріобрѣтите прежде любовь къ братьямъ». А въ слѣдующемъ письмѣ ему же онъ опредѣленно говоритъ: «монастырь вашъ — Россія. Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нея (Россіи), ступайте подвизаться въ ней»[1]). П. Анненковъ очень удачно и образно высказалъ мысль о томъ, что «Мертвыя души» была та подвижническая келья, въ которой онъ бился и страдалъ до тѣхъ поръ, пока не вынесли его бездыханнымъ изъ нея[2]). И по справедливости можно сказать, что вся его литературная дѣятельность, не однѣ «Мертвыя души», была дѣломъ подвижника, своеобразнаго монаха и пророка.

Своеобразнымъ былъ онъ и аскетомъ. Ив. Тургеневъ, видѣвшій Гоголя въ 1851 году, говоритъ такъ: «онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго уже успѣла порядочно измыкать жизнь. Какая-то затаенная тревога, какое-то грустное безпокойство примѣшивалось къ постоянно проницательному выраженію лица... Въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ было что-то не профессорское, а учительское, что-то напоминавшее преподавателей въ провиніальныхъ институтахъ и гимназіяхъ. «Какое ты умное и странное и больное существо!» невольно думалось, глядя на него»[3]). Этотъ умный, странный и больной человѣкъ и по складу жизни своей представлялся необычнымъ и своеобразнымъ существомъ. Гоголь цѣлую жизнь былъ какъ бы прирожденнымъ «перекати-поле»,— вѣчнымъ путникомъ, паломникомъ, странствующимъ проповѣдникомъ и поэтомъ. И такимъ бездомнымъ, одинокимъ странникомъ прошелъ онъ всю свою житейскую дорогу. Никогда Гоголь не былъ тѣмъ счастливымъ путникомъ, который «послѣ длинной, скучной дороги съ ея холодами, слякотью, грязью» былъ бы охваченъ въ родномъ углу семейной уютностью и «радостными криками выбѣгающихъ на встрѣчу людей, шумомъ и бѣготней дѣтей и успокоительными тихими рѣчами, пылкими лобзаніями, власт-

---

[1]) Собр. соч., т. IV, стран. 94, 96.

[2]) «Литерат. воспом.», стран. 31.

[3]) Соч. Тургенева, изд. 1898 г., т. XII, стран. 60—61.

ными истребить все печальное изъ памяти». И оставался писатель всегда «безъ раздѣленья, безъ отвѣта, безъ участья, одинъ посреди дороги». И сурово было его поприще, и горько чувствовалъ онъ свое одиночество....

Въ письмѣ къ Плетневу Гоголь пишетъ лѣтомъ 1846 году «видно, на то воля Божія, и мнѣ нужно, болѣе чѣмъ кому-либо, считать свою жизнь безпрерывной дорогой и не останавливаться ни въ какомъ мѣстѣ иначе, какъ на временный ночлегъ и минутное отдохновеніе» (III, 190). Совершенно необезпеченный матеріально, поэтъ-учитель гостилъ значительную часть своей жизни у близкихъ или знакомыхъ ему людей. Такимъ же гостемъ былъ онъ и у матери, на своей родинѣ, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ, гдѣ съ 1836 года не имѣлъ постояннаго мѣста жительства, и на чужбинѣ, когда съ изумительною поспѣшностію, въ вѣчномъ движеніи переносился изъ одного въ другой уголъ Германіи, Италіи, Швейцаріи и Франціи [1]). Гоголь никогда не мечталъ объ осѣдлости, не заботился о будущемъ въ матеріальномъ смыслѣ слова. «Въ то время, какъ я думалъ о своемъ обезпеченіи», писалъ онъ Шевыреву, «никогда у меня не было денегъ, когда же я не думалъ, тогда онѣ ко мнѣ всегда приходили, и я имѣлъ больше, чѣмъ нужно» (IV, 314). Правда, это бывало очень рѣдко. Но Н. В. Гоголь былъ убѣжденъ въ томъ, что «кто слишкомъ занятъ трудомъ своимъ, того не можетъ смутить мысль о деньгахъ: онъ займетъ безъ церемоніи у перваго попавшагося пріятеля» (III, 8). Деньги онъ самъ занималъ, когда было нужно, именно такъ, а умоляя о присылкѣ финансовъ, писалъ друзьямъ: «если не достанетъ денегъ, собирайте ихъ хоть въ видѣ милостыни. Я — нищій и не стыжусь этого званія» [2]); или же говорилъ: «Какъ нищій, могу я теперь попросить у перваго встрѣчнаго въ увѣренности, что заплачу ему, если не самымъ дѣломъ, то искренними молитвами» [3]). А. М. Віельгорской онъ сообщалъ: «за содержаніе свое и житье не плачу никому. Живу сегодня у одного, завтра у другого. Пріѣду къ вамъ тоже и проживу у васъ, не заплатя вамъ за это ни копейки» (IV, 274). Шевыреву Гоголь писалъ: «У меня уже давно все мое состояніе — самый крохотный чемоданъ и четыре пары бѣлья» (II, 268). И искренни и правдивы были слова великаго писателя, когда онъ съ горечью отвѣчалъ В. Бѣлинскому: «слава Богу, я возлюбилъ свою бѣдность и не промѣняю ее на тѣ блага, которыя вамъ кажутся такъ обольстительными. У меня нѣтъ даже угла, и я стараюсь о томъ, какъ бы еще облегчить мой небольшой походный чемоданъ, чтобы легче было разставаться съ міромъ»[4]).

---

[1]) О поѣздкѣ Гоголя въ Испанію и Португалію въ срединѣ 1837 г. см. «Записки» Кулиша, т. I, стран. 208—209, и «Матеріалы» В. Шенрока, I т., стран. 336, и III т., стран. 196.

[2]) Письмо С. Аксакову II, 276; см. также т. II, стран. 269.

[3]) «Рус. Стар.» 1909 г. № 3, стран. 470.

[4]) Отрывки изъ непосланнаго письма, т. IV, стран. 35.

Таковъ былъ Гоголь-проповѣдникъ, аскетъ и странникъ. И что бы ни говорили и ни писали о Гоголѣ, а этотъ угрюмый, серіозный, суровый полу-монахъ, полу-учитель глубоко любилъ людей, и вѣчной думой его было благо человѣческое. Не былъ онъ тѣмъ аскетомъ, который уходитъ отъ міра въ пустыню, чтобы спасать одну свою душу, не былъ онъ тѣмъ мистикомъ, который общеніе съ Богомъ понимаетъ только въ смыслѣ врачующаго душу религіознаго экстаза. И самъ онъ всю душу свою хотѣлъ положить «за други своя», и въ проповѣди наставлялъ другихъ служить міру и людямъ. Не даромъ «Авторскую исповѣдь» Гоголь заканчивалъ словами: «я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнемогшему духомъ», а въ «Записной книгѣ» на 1846 годъ занесъ такое пожеланіе: «Боже, дай полюбить еще больше людей! Дай собрать въ памяти все лучшее въ нихъ, припомнить ближе всѣхъ ближнихъ и, вдохновившись силой любви, быть въ силахъ изобразить! О, пусть же сама любовь будетъ мнѣ вдохновеніемъ»[1]). Во многихъ мѣстахъ сочиненій и писемъ выражена у Гоголя мысль, что любовь къ Богу есть то же, что любовь къ людямъ. И Н. В. въ своемъ этическомъ міровоззрѣніи не игнорировалъ человѣка, сознавая нравственную силу «теплаго сочувствія, живого, сердечнаго влеченія и любви къ людямъ». Признакомъ изображаемой имъ въ художественныхъ произведеніяхъ пошлости онъ считалъ именно отсутствіе таковой любви. И это была не только «идейная любовь», «тоска по идеалу». Источникомъ ея была реальная любовь, которая должна была у мыслящаго человѣка, у великаго писателя подняться на высшую ступень идейной любви. А на этой ступени она уже есть цѣлое міровоззрѣніе, соприкасающееся съ пессимистическимъ сознаніемъ человѣческаго безсилія передъ тайнами бытія, передъ его стихійными элементами, а съ другой стороны — со страстнымъ желаніемъ водворить царство Божіе на землѣ, съ вѣрой въ человѣчество, которое завоюетъ это царство, этотъ идеальный міръ. И это міровоззрѣніе, по условіямъ среды, воспитанія и образованія Н. В., отлилось у него не въ философскую, а въ религіозную форму, единственно возможную и доступную для Гоголя. *Житецкій.*

Личность Гоголя по воспоминаніямъ Анненкова.

Съ 1830 по 1836 годъ, т.-е. вплоть до отъѣзда за границу, Гоголь былъ занятъ исключительно одной мыслью — открыть себѣ дорогу въ этомъ свѣтѣ, который, по злоупотребленію эпитетовъ, называется обыкновенно большимъ и пространнымъ; въ сущности, онъ всегда и вездѣ тѣсенъ для начинающаго. Гоголь перепробовалъ множество родовъ дѣятельности — служебную, актерскую, художническую, писа-

[1]) Собр. соч., т. VI, стр. 538.

тельскую. Съ появленія «Вечеровъ на хуторѣ», имѣвшихъ огромный успѣхъ, дорога, наконецъ, была найдена, но дѣятельность его еще удвоивается послѣ успѣха. Тутъ я съ нимъ и познакомился. Онъ былъ весь обращенъ лицомъ къ будущему, къ расчищенію себѣ путей во всѣ направленія, движимый потребностью развивать всѣ силы свои, богатство которыхъ невольно сознавалъ въ себѣ. Необычайная житейская опытность, пріобрѣтенная размышленіями о людяхъ, выказывалась на каждомъ шагу. Онъ исчерпывалъ людей такъ свободно и легко, какъ другіе живутъ съ ними. Не довольствуясь ограниченнымъ кругомъ ближайшихъ знакомыхъ, онъ смѣло вступалъ во всѣ круга, и цѣли его умножились и росли по мѣрѣ того, какъ преодолѣвалъ онъ первыя препятствія на пути. Онъ сводилъ до себя лица, стоявшія, казалось, внѣ обычной сферы его дѣятельности, и зорко открывалъ въ нихъ тѣ нити, которыми могъ привязать къ себѣ. Искусство подчинять себѣ чужія воли изощрялось вмѣстѣ съ навыкомъ въ дѣлѣ, и мало-по-малу пріобрѣталось не менѣе важное искусство направлять обстоятельства такъ, что они переставали быть препонами и помѣхами, а обращались въ покровителей и поборниковъ человѣка. Никто тогда не походилъ болѣе его на итальянскихъ художниковъ XVI вѣка, которые были въ одно время геніальными людьми, благородными любящими натурами — и глубоко практическими умами. Въ виду этого напряженнаго развитія всѣхъ силъ, направленныхъ къ одной цѣли, будемъ ли мы сомнительно качать головой, когда увидимъ Гоголя, самонадѣянно вступающаго на профессорскую каѳедру безъ нужнаго приготовленія къ ней, безъ качествъ, составляющихъ истиннаго ученаго? Станемъ ли томиться надъ изысканіемъ *облегчающихъ обстоятельствъ*, когда встрѣтимъ въ письмахъ Гоголя къ гг. Максимовичу, Погодину, напримѣръ, увѣреніе, что онъ трудился надъ исторіей Малороссіи въ шести томахъ, надъ всеобщей исторіей и географіей, подъ заглавіемъ: «Земля и люди», въ трехъ или двухъ томахъ, надъ исторіей среднихъ вѣковъ въ восьми томахъ (всего семнадцать или шестнадцать томовъ), между тѣмъ, какъ онъ трудился надъ «Тарасомъ Бульбою», надъ статьями и повѣстями «Арабесокъ» и «Миргорода». Намъ все равно — вѣрилъ ли онъ въ эти и подобныя имъ обѣщанія, или нѣтъ: — они составляютъ для насъ только проблески, указывающіе смыслъ тогдашняго его развитія, черты характера, способныя объяснить его физіономію. Что они не лишены своего рода достоинства и поэзіи — согласится всякій. Въ самомъ дѣлѣ: картина, представляющая намъ геніальнаго человѣка, занятаго устройствомъ своего положенія въ свѣтѣ и литературѣ, изысканіемъ средствъ для труда на обширномъ поприщѣ, куда призываетъ его сознаніе своей силы, не заключаетъ ли въ себѣ гораздо болѣе нравственной красоты, поэзіи и поученія, чѣмъ самое кропотливое разбирательство того, что было сказано имъ хорошаго и что не такъ-то хорошо сказалось. Какую услугу оказываетъ біографъ своему герою, когда, вмѣсто того, чтобъ пояснить сущность

его стремленій и благородство его цѣлей, принимается разрѣшать противорѣчія, неизбѣжныя въ той жаркой, лихорадочной жизни, и старается связать ихъ скудной ниткой произвольныхъ толкованій, которая еще и рвется ежеминутно въ рукахъ изслѣдователя? Какъ ни рѣдко встрѣчается эта безплодная работа въ превосходной книгѣ г. Кулиша, но онъ не совсѣмъ свободенъ отъ нея. Всякій разъ, какъ покидаетъ онъ роль добросовѣстнаго собирателя матеріаловъ и приступаетъ къ истолкованіямъ — самыя странныя недоразумѣнія, самыя далекія соображенія, совершенно чуждыя дѣлу, накопляются подъ перомъ его, нисколько не поражая его умъ своимъ неправдоподобіемъ. Таковы, между прочимъ, вопросы, задаваемые г. Кулишемъ самому себѣ по поводу одного письма Гоголя въ 1829 году, гдѣ послѣдній рисуетъ собственный портретъ въ такихъ чертахъ: «Часто я думаю о себѣ, зачѣмъ Богъ, создавъ сердце, можетъ единственное, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ — чистую, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачѣмъ Онъ далъ всему этому такую грубую оболочку? Зачѣмъ Онъ одѣлъ все это въ такую странную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія». Слова эти строги, но изображеніе истиннаго характера Гоголя должно значительно ослабить краски самой исповѣди. Были *законныя* причины для его противорѣчій и переходовъ. Г. Кулишъ прибавляетъ свои поясненія къ портрету, въ которыхъ, между прочимъ, находится слѣдующая мысль: «Большую часть жизни употребилъ Гоголь на анализъ самого себя, какъ нравственнаго, предстоящаго предъ лицомъ Бога существа, *и какъ бы только случайно вдавался иногда въ дѣятельность другого рода, которая составила его земную славу* — зачѣмъ, для чего это...» (Записки о жизни Гоголя, т. I, стран. 78.) Вторая половина этого періода не совсѣмъ вѣрна въ отношеніи всей вообще жизни Гоголя, но встрѣченная при описаніи первой эпохи его развитія и приложенная къ молодому Гоголю, искавшему земной славы всѣми силами своей души — она, съ мыслію, въ ней заключающеюся, отходитъ къ тому роду толкованій, о которыхъ мы говорили сейчасъ и которыя зиждутся на соображеніяхъ, взятыхъ внѣ сущности своего предмета.

Вообще, для біографа чрезвычайно важно смотрѣть прямо въ лицо герою своему и имѣть довѣренность къ его благодатной природѣ. Позволено трепетать за каждый шагъ младенца, но шаги общественнаго дѣятеля, отыскивающаго простора и достойной цѣны своимъ способностямъ, какъ это было съ Гоголемъ между 1830 и 1836 годомъ, не могутъ быть измѣряемы соображеніями педагогическаго рода. Прежде всего надо знать тутъ, куда человѣкъ идетъ, что лежитъ въ основаніи его характера, каковъ его способъ пониманія предметовъ и въ чемъ заключается сущность его *созерцанія* вообще. Здѣсь только и отгадка его физіономіи и одна неопровержимая истина. Съ другой стороны, охотникамъ до отрицательныхъ данныхъ, до прозаическихъ фактовъ, низводящихъ человѣка къ толпѣ, слѣдуетъ

замѣтить, что въ дѣлѣ пониманія характера эта система столь же мало приведетъ къ цѣли, какъ и противоположная ей система ненужной поддержки и оправданія всѣхъ его поступковъ. Можно употребить, напримѣръ, много времени и много бумаги на перечисленія всѣхъ доказательствъ его осторожности въ обращеніи съ людьми и снисхожденіи къ любимымъ ихъ представленіямъ, посредствомъ котораго Гоголь приковывалъ къ себѣ сердца знакомыхъ въ эту эпоху; можно также исписать порядочный листъ, подбирая черты, въ которыхъ проявляется его врожденная скрытность, наклонность выставлять призраки и за ними скрывать свою мысль, и проч. Но чѣмъ болѣе и чѣмъ остроумнѣе станемъ отыскивать и исторически подтверждать всѣ наши, въ сущности, весьма бѣдныя находки, тѣмъ сильнѣе будетъ затемняться физіономія Гоголя и отходить отъ насъ вдаль и въ туманъ. Оно и понятно. Физіономія его, какъ и физіономія всякаго необыкновеннаго человѣка, должна освѣщаться сама собой, своимъ внутреннимъ огнемъ. Она тотчасъ искажается, какъ подносятъ къ ней со стороны грубый свѣточъ, будь онъ самаго розоваго, или наоборотъ мрачнаго, гробового цвѣта. Примѣръ правильной оцѣнки Гоголя далъ Пушкинъ. Извѣстно, что Гоголь взялъ у Пушкина мысль «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», но менѣе извѣстно, что Пушкинъ не совсѣмъ охотно уступилъ ему свое достояніе. Однакожъ въ кругу своихъ домашнихъ Пушкинъ говорилъ, смѣясь: «Съ этимъ малороссомъ надо быть осторожнѣе: онъ обираетъ меня такъ, что и кричать нельзя». Глубокое слово! Пушкинъ понималъ неписанныя права общественнаго дѣятеля. Притомъ же Гоголь обращался къ людямъ съ такимъ жаромъ искренней любви и расположенія, несмотря на свои хитрости, что люди не жаловались, а напротивъ, спѣшили навстрѣчу къ нему. Никогда, можетъ-быть, не употребилъ онъ въ дѣло такого количества житейской опытности, сердцевѣдѣнія, заискивающей ласки и притворнаго гнѣва, какъ въ 1842 году, когда приступилъ къ печатанію «Мертвыхъ душъ». Плодомъ его неутомимаго возбужденія и стремленій къ одной цѣли при помощи всякихъ мѣръ, которыя, конечно, далеко отстоятъ отъ идеала патріархальной простоты сношеній, было скорое появленіе «Мертвыхъ душъ» въ печати. Тотъ, кто не имѣетъ права «Мертвыхъ душъ» для напечатанія, можетъ, разумѣется, вести себя непогрѣшительнѣе Гоголя и быть гораздо проще въ своихъ поступкахъ и выраженіи своихъ чувствъ.

Поэтому не удивительно будетъ, если скажемъ, что именно въ эту страстную, необычайно дѣятельную эпоху своей жизни, Гоголь постоянно оставался существомъ высокаго нравственнаго характера, не переставалъ быть ни на минуту по мысли, образу жизни и направленію благороднѣйшимъ человѣкомъ въ строгомъ смыслѣ слова. Помирить образъ подобнаго человѣка съ тѣми частностями, которыя приводятъ втупикъ поверхностнаго наблюдателя, не искажая и не перетолковывая ихъ, значитъ — именно понять и настоящую задачу біографа.

Мы сказали, что Гоголь часто сходилъ съ шумнаго, трудового своего жизненнаго поприща въ уединенный кругъ своихъ пріятелей — потолковать преимущественно о явленіяхъ искусства, которыя въ сущности одни только и наполняли его душу. Онъ никогда не говорилъ съ пріятелями объ ученыхъ своихъ предпріятіяхъ и другихъ замыслахъ, потому что хотѣлъ оставаться съ ними искреннимъ и такимъ, какимъ его знали сначала. Гоголь жилъ на Малой Морской, въ домѣ Лепена, на дворѣ, въ двухъ небольшихъ комнатахъ, и я живо помню темную лѣстницу квартиры, маленькую переднюю съ перегородкой, небольшую спальню, гдѣ онъ разливалъ чай своимъ гостямъ, и другую комнату, просторнѣе, съ простымъ диваномъ у стѣны, большимъ столомъ у окна, заваленнымъ книгами, и письменнымъ бюро возлѣ него. Въ первый разъ, какъ я попалъ на одинъ изъ чайныхъ вечеровъ его, онъ стоялъ у самовара и только сказалъ мнѣ: «Вотъ, вы какъ разъ поспѣли». Въ числѣ гостей былъ у него пожилой человѣкъ, разсказывавшій о привычкахъ сумасшедшихъ, строгой, почти логической послѣдовательности, замѣчаемой въ развитіи нелѣпыхъ ихъ идей. Гоголь подсѣлъ къ нему, внимательно слушалъ его повѣствованіе и, когда одинъ изъ пріятелей сталъ звать всѣхъ по домамъ, Гоголь возразилъ, намекая на своего посѣтителя: «Ты ступай... Они уже знаютъ свой часъ, и когда надобно, уйдутъ». Большая часть матеріаловъ, собранныхъ изъ разсказовъ пожилого человѣка, употреблены были Гоголемъ потомъ въ «Запискахъ сумасшедшаго». Часто потомъ случалось мнѣ сидѣть и въ этой скромной чайной и въ залѣ. Гоголь собиралъ тогда англійскіе кипсеки съ видами Греціи, Индіи, Персіи и проч., той извѣстной тонкой работы на стали, гдѣ главный эффектъ составляютъ необычайная обдѣлка гравюры и рѣзкія противоположности свѣта съ тѣнью. Онъ любилъ показывать дорогіе альманахи, изъ которыхъ, между прочимъ, почерпалъ свои поэтическія воззрѣнія на архитектуру различныхъ нравовъ и на ихъ художественныя требованія. Степенный, всегда серіозный Якимъ состоялъ тогда въ должности его камердинера. Гоголь обращался съ нимъ совершенно патріархально, говоря ему иногда: «Я тебѣ рожу побью», что не мѣшало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенныхъ его пользахъ и, наконецъ, устроить ему покойную будущность. Сохраняя практическій оттѣнокъ во всѣхъ обстоятельствахъ жизни, Гоголь простеръ свою предусмотрительность до того, что разъ, отъѣзжая по дѣламъ въ Москву, самъ расчертилъ полъ своей квартиры на клѣтки, купилъ красокъ и, спасая Якима отъ вредной праздности, заставилъ его изобразить довольно затѣйливый паркетъ на полу, во время своего отсутствія. Пріятели сходились другъ у друга на чайные вечера, гдѣ всякій очередной хозяинъ старался превзойти другого разнообразіемъ, выборомъ и изяществомъ кренделей, прибавляя всегда, что они куплены *на вѣсъ золота*. Гоголь былъ въ этихъ случаяхъ строгій, нелицепріятный судья и оцѣнщикъ. На этихъ сходкахъ царствовала ве-

селость, бойкая насмѣшка надъ низостію и лицемѣріемъ, которой журнальные, литературные и всякіе другіе анекдоты служили пищей, но особенно любилъ Гоголь составлять куплеты и пѣсни на общихъ знакомыхъ. Съ помощью Я. М. Прокоповича и А. С. Данилевскаго, товарища Гоголя по лицею, человѣка веселыхъ нравовъ, нѣкоторые изъ нихъ выходили дѣйствительно карикатурно мѣтки и уморительны. Много тогда было сочинено подобныхъ пѣсенъ. Помню, что нѣсколько вечеровъ Гоголь безпрестанно тянулъ (мотивы для куплетовъ выбирались изъ новѣйшихъ оперъ — изъ Фенелы, Роберта, Цампы) кантату, созданную для прославленія будущаго предполагаемаго его путешествія въ Крымъ, гдѣ находился стихъ:

И съ Матреной нашъ Якимъ
Потянулся прямо въ Крымъ.

Въ памяти у меня остается также довольно нелѣпый куплетъ, долженствовавшій увѣковѣчить подвиги молодыхъ учителей изъ его знакомыхъ, отправлявшихся каждый день на свои лекціи, на Васильевскій островъ. Куплетъ, кажется, принадлежалъ Гоголю безраздѣльно:

Всѣ *бобрами* завелись,
У Фаге всѣ завились —
И пошли черезъ Неву,
Какъ чрезъ мягку мураву, и т. д

Точно то же происходило и на обѣдахъ въ складчину, гдѣ Гоголь самъ приготовлялъ вареники, голушки и другія малороссійскія блюда. Важнѣе другихъ бывалъ складчинный обѣдъ въ день его именинъ, 9-го мая, къ которому онъ обыкновенно уже одѣвался полѣтнему, самъ изобрѣтая какой-то фантастическій нарядъ. Онъ надѣвалъ обыкновенно ярко-пестрый галстучекъ, взбивалъ высоко свой завитой *коко*, облекался въ какой-то бѣлый, чрезвычайно короткій и распашной сюртучокъ, съ высокой таліей и буфами на плечахъ, что дѣлало его дѣйствительно похожимъ на *пѣтушка*, по замѣчанію одного изъ его знакомыхъ (Бѣлоусова). Какъ далекъ еще тогда онъ былъ отъ позднѣйшей самоувѣренности въ оцѣнкѣ собственныхъ произведеній можетъ служить то, что, на одномъ изъ складчинныхъ обѣдовъ 1831 года, онъ сомнительно и даже отчасти грустно покачалъ головой при похвалахъ, расточаемыхъ новой повѣсти его «Ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ». — «Это вы говорите», сказалъ онъ, — «а другіе считаютъ ее фарсомъ». Вообще сужденіями, такъ называемыхъ, избранныхъ людей, Гоголь, по благородно высокой практической натурѣ своей, никогда не довольствовался. Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что въ этихъ сходкахъ на Гоголя нападала безпокойная, судорожная, горячечная веселость — явное произведеніе матеріальныхъ силъ, чѣмъ либо возбужденныхъ. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что природа его имѣла многія изъ свойствъ южныхъ народовъ, которыхъ онъ такъ

цѣнилъ вообще. Онъ необычайно дорожилъ внѣшнимъ блескомъ, обиліемъ и разнообразіемъ красокъ въ предметахъ, пышными, роскошными очертаніями, эффектомъ въ картинахъ и природѣ. «Послѣдній день Помпеи» — Брюлова, привелъ его, какъ и слѣдовало ожидать, въ восторгъ. Полный звукъ, ослѣпительный поэтическій образъ, мощное, громкое слово, все, исполненное силы и блеска, потрясало его до глубины сердца. О метафизическомъ способѣ пониманія явленій природы и искусства тогда и въ поминѣ не было. Онъ просто благоговѣлъ передъ созданіями Пушкина за изящество, глубину и тонкость ихъ поэтическаго анализа, но такъ же точно съ выраженіемъ страсти въ глазахъ и въ голосѣ, сильно ударяя на нѣкоторыя слова, читалъ и стихи Языкова. Въ жизни онъ былъ очень цѣломудренъ и трезвъ, если можно такъ выразиться, но въ представленіяхъ онъ совершенно сходился со страстными, внѣшне великолѣпными представленіями южныхъ племенъ. Вотъ почему такъ же онъ заставлялъ другихъ читать и самъ зачитывался въ то время Державинымъ. Чтеніе его, если уже разъ ухо ваше привыкло къ малороссійскому напѣву, было чрезвычайно обаятельно: такую поразительную выпуклость умѣлъ онъ сообщать наиболѣе эффектнымъ частямъ произведенія, и такой яркій колоритъ получали они въ устахъ его! Можно сказать, что онъ проявлялъ натуру южнаго человѣка даже и свѣтлымъ, практическимъ умомъ своимъ, не лишеннымъ примѣси суевѣрія... Если присоединить къ этому замѣчательно тонкій эстетическій вкусъ, открывавшій ему тотчасъ поддѣлку подъ чувство и ложныя, неестественныя краски, какъ бы густо или хитро ни положены онѣ были, то уже легко будетъ понять тотъ родъ очарованія, которое имѣла его бесѣда. Онъ не любилъ уже и въ то время французской литературы, да не имѣлъ большой симпатіи и къ самому народу за «моду, которую они ввели по Европѣ», какъ онъ говорилъ: «быстро создавать и тотчасъ же, по-дѣтски, разрушать авторитеты». Впрочемъ, онъ рѣшительно ничего не читалъ изъ французской изящной литературы и принялся за Мольера только послѣ строгаго выговора, даннаго Пушкинымъ за небреженіе къ этому писателю. Также мало зналъ онъ и Шекспира (Гёте и вообще нѣмецкая литература почти не существовали для него), и изъ всѣхъ именъ иностранныхъ поэтовъ и романистовъ было знакомо ему не по догадкѣ и не по слухамъ одно имя — Вальтеръ-Скотта. Зато и окружилъ онъ его необычайнымъ уваженіемъ, глубокой попечительной любовью. Вальтеръ-Скоттъ не былъ для него представителемъ охранительныхъ началъ, нѣжной привязанности къ прошедшему, какимъ сдѣлался въ глазахъ европейской критики; всѣ эти понятія не находили тогда въ Гоголѣ ни малѣйшаго отголоска и потому не могли задобривать его въ пользу автора. Гоголь любилъ Вальтеръ-Скотта просто съ художнической точки зрѣнія, за удивительное его распредѣленіе матеріи разсказа, подробное обслѣдованіе характеровъ и твердость, съ которой онъ велъ многосложное событіе ко всѣмъ его результатамъ. Въ эту эпоху

Гоголь былъ наклоненъ къ оправданію разрыва съ прошлымъ и къ нововводительству, признаки котораго очень ясно видны и въ его ученыхъ статьяхъ о разныхъ предметахъ, чѣмъ къ поясненію стараго или къ искусственному оживленію его... Въ тогдашнихъ бесѣдахъ его постоянно выражалось одно стремленіе къ оригинальности, къ смѣлымъ построеніямъ науки и искусства на другихъ основаніяхъ, чѣмъ тѣ, какія существуютъ, къ идеаламъ жизни, созданнымъ съ помощью отвлеченной, логической мысли — словомъ, ко всѣмъ тѣмъ болѣе или менѣе поэтическимъ призракамъ, которые мучатъ всякую дѣятельную благородную молодость. При этомъ направленіи два предмета служили какъ бы ограниченіемъ его мысли и предѣломъ для нея, именно: страстная любовь къ пѣснямъ, думамъ, умершему прошлому Малороссіи, что̀ составляло, въ немъ истинное, охранительное начало и художественный смыслъ, ненавидѣвшій все рѣзкое, произвольное, необузданно-дикое. Они были, такъ сказать, умѣрителями его порывовъ. Въ этомъ соединеніи страсти, бодрости, независимости всѣхъ представленій, со скромностію, отличающей практическій взглядъ, и благородствомъ художественныхъ требованій, заключался и весь характеръ перваго періода его развитія, того, о которомъ мы теперь говоримъ.

Никогда, однакожъ, даже въ средѣ одушевленныхъ и жаркихъ преній, происходившихъ въ кружкѣ, по поводу современныхъ литературныхъ и жизненныхъ явленій, не покидала его лица постоянная, какъ бы приросшая къ нему, наблюдательность. Онъ, можно сказать, не раздѣвался никогда, и застать его обезоруженнымъ не было возможности. Зоркій глазъ его постоянно слѣдилъ за душевными и характеристическими явленіями въ другихъ: онъ хотѣлъ видѣть даже и то, что легко могъ предугадывать. Сколько было тогда подмѣчено въ нѣкоторыхъ общихъ пріятеляхъ мимолетныхъ чертъ лукавства, мелкаго искательства, которыми трудолюбивая бездарность старается обыкновенно вознаградить отсутствіе производительныхъ способовъ; сколько разоблачено реторической пышности, за которой любитъ скрываться бѣдность взгляда и пониманія; сколько открыто скуднаго житейскаго расчета подъ маской приличія и благонамѣренности! Все это составляло потѣху кружка, которому не малое удовольствіе доставлялъ и тогдашній союзъ денежныхъ интересовъ въ литературѣ со всѣми его изворотами, войнами, тріумфами и побѣдными маршами! Для Гоголя какъ здѣсь, такъ и въ другихъ сферахъ жизни ничего не пропадало даромъ. Онъ прислушивался къ замѣчаніямъ, описаніямъ, анекдотамъ, наблюденіямъ своего круга и, случалось, пользовался ими. Въ этомъ, да и въ свободномъ изложеніи своихъ мыслей и мнѣній, кругъ работалъ на него. Однажды при Гоголѣ разсказанъ былъ канцелярскій анекдотъ о какомъ-то бѣдномъ чиновникѣ, страстномъ охотникѣ за птицей, который необычайной экономіей и неутомимыми, усиленными трудами сверхъ должности накопилъ сумму, достаточную на покупку хорошаго лепажевскаго ружья рублей въ 200 (асс.). Въ первый разъ,

какъ на маленькой своей лодочкѣ пустился онъ по Финскому заливу за добычей, положивъ драгоцѣнное ружье передъ собою на носъ, онъ находился, по его собственному увѣренію, въ какомъ-то самозабвеніи и пришелъ въ себя только тогда, какъ, взглянувъ на носъ, не увидалъ своей обновки. Ружье было стянуто въ воду густымъ тростникомъ, черезъ который онъ гдѣ-то проѣзжалъ, и всѣ усилія отыскать его были тщетны. Чиновникъ возвратился домой, легъ въ постель и уже не вставалъ: онъ схватилъ горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавшихъ о происшествіи и купившихъ ему новое ружье, возвращенъ онъ былъ къ жизни, но о страшномъ событіи онъ уже не могъ никогда вспоминать безъ смертельной блѣдности на лицѣ... Всѣ смѣялись анекдоту, имѣвшему въ основаніи истинное происшествіе, исключая Гоголя, который выслушалъ его задумчиво и опустилъ голову. Анекдотъ былъ первой мыслію чудной повѣсти его: «Шинель», и она заронилась въ душу его въ тотъ же самый вечеръ. Поэтическій взглядъ на предметы былъ такъ свойственъ его природѣ и казался ему такимъ обыкновеннымъ дѣломъ, что самая теорія творчества, которую онъ излагалъ тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Онъ говорилъ, что для успѣха повѣсти и вообще разсказа достаточно, если авторъ опишетъ знакомую ему комнату и знакомую улицу, «У кого есть способность передать живописно свою квартиру — тотъ можетъ быть и весьма замѣчательнымъ авторомъ впослѣдствіи», говорилъ онъ. На этомъ основаніи онъ побуждалъ даже многихъ изъ своихъ друзей приняться за писательство. Но если теорія была слишкомъ проста и умалчивала о многихъ качествахъ, необходимыхъ писателю, то критика Гоголя, наоборотъ, отличалась разнообразіемъ, глубиной и замѣчательной многосложностію требованій. Не говоря уже о томъ, что онъ угадывалъ по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждаетъ въ немъ почти такое же отвращеніе, какъ трупъ или скелетъ, но Гоголь ненавидѣлъ *идеальничанье* въ искусствѣ прежде критиковъ, возбудившихъ гоненіе на него. Онъ никакъ не могъ пріучить себя ни къ трескучимъ драмамъ Кукольника, которыя тогда хвалились въ Петербургѣ, ни къ сентиментальнымъ романамъ Полевого, которые тогда хвалились въ Москвѣ. Поэзія, которая почерпается въ созерцаніи живыхъ, существующихъ, дѣйствительныхъ предметовъ, такъ глубоко понималась и чувствовалась имъ, что онъ, постоянно и упорно удаляясь отъ умниковъ, имѣющихъ готовыя опредѣленія на всякій предметъ, постоянно и упорно смѣялся надъ ними и, наоборотъ, могъ проводить цѣлые часы съ любымъ коннымъ заводчикомъ, съ фабрикантомъ, съ мастеровымъ, излагающимъ глубочайшія тонкости *игры въ бабки*, со всякимъ спеціальнымъ человѣкомъ, который далѣе своей спеціальности и ничего не знаетъ. Онъ собиралъ свѣдѣнія, полученныя отъ этихъ людей, въ свои записочки, которыхъ было гораздо болѣе,

чѣмъ сколько ихъ видѣлъ г. Кулишъ—и они дожидались тамъ случая превратиться въ части чудныхъ поэтическихъ картинъ. Для него даже мѣра уваженія къ людямъ опредѣлялась мѣрой ихъ познанія и опытности въ какомъ-либо отдѣльномъ предметѣ. При выборѣ собесѣдника, онъ не запинался между остроумцемъ, празднымъ даже, пожалуй, дѣльнымъ литературнымъ судьею и первымъ попавшимся знатокомъ какого-либо производства. Онъ тотчасъ становился лицомъ къ послѣднему. Но, по нашему мнѣнію, важнѣе всего этого была въ Гоголѣ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ объ энергическомъ пониманіи вреда, производимаго пошлостію, лѣнью, потворствомъ злу съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостію и ничтожествомъ моральныхъ основаній съ другой. Онъ относился ко всѣмъ этимъ явленіямъ совсѣмъ не равнодушно, какъ можно заключить даже изъ напечатанныхъ его писемъ о московской журналистикѣ и объ условіяхъ хорошей комедіи. Въ его преслѣдованіи темныхъ сторонъ человѣческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выраженіе его физіономіи. Онъ и не думалъ еще тогда представлять свою дѣятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласится видѣть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примиренія и проч. Онъ ненавидѣлъ пошлость откровенно, и наносилъ ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цѣлью: потрясти ее, если можно, въ основаніи. Этотъ родъ осуществленія сказывался тогда во всей его особѣ, составляя и существенную часть нравственной красоты ея. Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самаго добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, если бы нужно было. Несомнѣнныя историческія свидѣтельства тутъ важнѣе признаній автора, подсказанныхъ другого рода соображеніями и сильнымъ подавляющимъ вліяніемъ новыхъ идей, позже возникшихъ въ его сердцѣ. Мы, съ своей стороны, убѣждены, что Гоголь имѣлъ, между прочимъ, въ виду и этого рода дѣятельность, когда, наканунѣ 1834 г., обращался къ своему генію съ удивительнымъ поэтическимъ дифирамбомъ, вопрошая будущее и требуя у него труда, вдохновенія и подвига. Опубликованіемъ этого документа, какъ и многихъ другихъ, г. Кулишъ получилъ право на долгую признательность исторіи литературы нашей. Чудно и многознаменательно звучатъ послѣднія слова этого воззванія къ генію: «О, не разлучайся со мною! Живи на землѣ со мной хотя два часа каждый день, какъ прекрасный братъ мой! я совершу, я совершу! *Жизнь кипитъ во мнѣ.* Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ божество. Я совершу! о, поцѣлуй и благослови меня!» Но кромѣ вдохновенныхъ часовъ, какихъ Гоголь просилъ у своего генія, и кромѣ положительной дѣятельности, въ какой приводило

чувство *кипящей жизни и силы*, онъ еще, по характеру своему, старался дѣйствовать на толпу и внѣшнимъ своимъ существованіемъ; онъ любилъ показать себя въ нѣкоторой таинственной перспективѣ и скрыть отъ нея нѣкоторыя мелочи, которыя особенно на нее дѣйствуютъ. Такъ послѣ изданія «Вечеровъ», проѣзжая черезъ Москву, гдѣ, между прочимъ, онъ былъ принятъ съ большимъ почетомъ тамошними литераторами, онъ на заставѣ устроилъ дѣло такъ, чтобъ прописаться и попасть въ «Московскія Вѣдомости» не «коллежскимъ регистраторомъ», каковымъ былъ, а «коллежскимъ асессоромъ».—Это надо...—говорилъ онъ пріятелю, его сопровождавшему.

Такимъ былъ или, по крайней мѣрѣ, такимъ представлялся намъ молодой Гоголь. Великую ошибку сдѣлаетъ тотъ, кто смѣшаетъ Гоголя послѣдняго періода съ тѣмъ, который начиналъ тогда жизнь въ Петербургѣ, и вздумаетъ прилагать къ молодому Гоголю нравственныя черты, выработанныя гораздо позже, уже тогда, какъ совершился важный переворотъ въ его существованіи. Не скроемъ, что такого рода смѣшенія попадаются въ книгѣ г. Кулиша довольно часто. Можно даже сказать, что онъ вообще смотритъ на Гоголя съ конца поприща, — недостатокъ, который смягчается отчасти содержаніемъ представляемыхъ документовъ и догадливостію, возбуждаемою или неминуемо въ самомъ читателѣ.

Между тѣмъ, трудясь за устройствомъ своей жизни и особенно за наполненіемъ ея обильнѣйшимъ содержаніемъ, какое возможно было добыть, Гоголь встрѣтилъ три обстоятельства, подсѣкшія, такъ сказать, всю эту дѣятельность въ самой срединѣ ея развитія и устремившія его за границу. Мы не намѣрены искать причинъ его отъѣзда за границу въ психическомъ настроеніи его, потому что, благодаря скрытности Гоголя, это осталось навсегда тайной, и всякое заключеніе тутъ поражено заранѣе несостоятельностію. Мы также вполнѣ согласны, что собственныя его объясненія, какъ по этому поводу, такъ и по всѣмъ другимъ, заключающіяся въ безымянной запискѣ (Авторская Исповѣдь) и въ другихъ автобіографическихъ документахъ, *буквально вѣрны и истины*. Это наше убѣжденіе, почерпнутое изъ внимательнаго изученія ихъ; но мы должны сказать, что объясненія Гоголя опираются преимущественно на одну какую-либо поэтическую или моральную черту событія, безъ сомнѣнія, ему присущую, но открытую уже гораздо позже, послѣ долгаго размышленія о событіи. Фактическая моральная основа происшествія, живое впечатлѣніе, произведенное имъ съ перваго раза, цѣпь разнородныхъ ощущеній, имъ вызванныхъ, пропускаются безъ вниманія, какъ и слѣдуетъ быть въ автобіографіи, ищущей показать одинъ только нравственный смыслъ событія. Возстановить пропущенныя подробности, доискаться первыхъ причинъ явленія, дополнить замѣтки автобіографіи вводомъ всѣхъ красокъ дѣйствительности, сообщивъ такимъ образомъ плоть и кровь ея общимъ указаніямъ, — есть уже дѣло жизнеописателя. Одна изъ первыхъ причинъ, оторвавшихъ Го-

голя отъ Петербурга, былъ неуспѣхъ его университетскаго преподаванія. Гоголь понадѣялся на силу поэтическаго возсозданія исторіи, на способъ толкованія событій a priori, на догадку и прозрѣніе живой мысли, но всѣ эти качества, не питаемыя постоянно фактами и изслѣдованіями, достали ему на нѣсколько блестящихъ статей, на нѣсколько блестящихъ лекцій, а потомъ истощились сами собою, какъ лампа, лишенная огнепитательнаго вещества. Паденіе было горько для человѣка, возбудившаго столько надеждъ и ожиданій, а вслѣдъ за нимъ послѣдовало то ожесточенное преслѣдованіе новыхъ его книгъ; «Миргородъ и Арабески», тогдашней критикой, которое возбудило симпатическій отголосокъ въ публикѣ, почти безусловно покорявшейся «Телескопу», выражавшему ее. Голосъ Москвы былъ сначала заглушаемъ шумомъ петербургской журналистики, и потребно было мощное, энергическое слово Бѣлинскаго въ «Телескопѣ», чтобъ поддержать автора и ослабить вліяніе, произведенное многочисленными противниками; но это не могло сдѣлаться скоро. Какъ ни странно покажется, что къ числу причинъ, ускорившихъ отъѣздъ Гоголя, мы относимъ и журнальные толки, но это было такъ. Мы намекнули прежде о томъ, что мнѣніемъ публики Гоголь озабочивался гораздо болѣе, чѣмъ мнѣніями знатоковъ, друзей и присяжныхъ судей литературы — черта общая всѣмъ дѣятелямъ, имѣющимъ общественное значеніе, а петербургская публика относилась къ Гоголю, если не вполнѣ враждебно, то, по крайней мѣрѣ, подозрительно и недовѣрчиво. Послѣдній ударъ нанесенъ былъ представленіемъ «Ревизора». Читатель долженъ хорошо помнить превосходное описаніе этого театральнаго вечера, данное самимъ Гоголемъ. Хлопотливость автора во время постановки своей пьесы, казавшаяся странной, выходящей изъ всѣхъ обыкновеній и даже, какъ говорили, изъ всѣхъ приличій, горестно оправдалась водевильнымъ характеромъ, сообщеннымъ главному лицу комедіи и пошло-карикатурнымъ, отразившимся въ другихъ. Гоголь пострадалъ весь этотъ вечеръ. Мнѣ, свидѣтелю этого перваго представленія, позволено будетъ сказать — что изображала сама зала театра въ продолженіе 4-хъ часовъ замѣчательнѣйшаго спектакля, когда-либо имъ видѣннаго. Уже послѣ перваго акта недоумѣніе было написано на всѣхъ лицахъ (публика была избранная въ полномъ смыслѣ слова), словно никто не зналъ, какъ должно думать о картинѣ, только что представленной. Недоумѣніе это возрастало потомъ съ каждымъ актомъ. Какъ-будто находя успокоеніе въ одномъ предположеніи, что дается фарсъ, — большинство зрителей, выбитое изъ всѣхъ театральныхъ ожиданій и привычекъ, остановилось на этомъ предположеніи съ непоколебимой рѣшимостію. Однако же въ этомъ фарсѣ были черты и явленія, исполненныя такой жизненной истины, что раза два, особенно въ мѣстахъ, наименѣе противорѣчащихъ тому понятію о комедіи вообще, которое сложилось въ большинствѣ зрителей, раздавался общій смѣхъ. Совсѣмъ другое произошло въ четвертомъ актѣ: смѣхъ,

по временамъ, еще перелеталъ изъ конца залы въ другой, но это былъ какъ-то робкій смѣхъ, тотчасъ же и пропадавшій; аплодисментовъ почти совсѣмъ не было; зато напряженное вниманіе, судорожное, усиленное слѣдованіе за всѣми оттѣнками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дѣло, происходившее на сценѣ, страстно захватывало сердца зрителей. По окончаніи акта прежнее недоумѣніе уже переродилось почти во всеобщее негодованіе, которое довершено было пятымъ актомъ. Многіе вызвали автора потомъ за то, что написалъ комедію, другіе за то, что виденъ талантъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, простая публика за то, что смѣялась, но общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: «это — невозможность, клевета и фарсъ». По окончаніи спектакля, Гоголь явился къ Н. Я. Прокоповичу въ раздраженномъ состояніи духа. Хозяинъ вздумалъ поднесть ему экземпляръ «Ревизора», только-что вышедшій изъ печати, со словами: «Полюбуйтесь на сынку». Гоголь швырнулъ экземпляръ на полъ, подошелъ къ столу и, опираясь на него, проговорилъ задумчиво: «Господи Боже! Ну, если бы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ»...

Въ началѣ лѣта 1836 года Гоголь уѣхалъ за границу на пароходѣ. Онъ, дѣйствительно, «усталъ душою и тѣломъ», какъ самъ говоритъ. Шесть лѣтъ безпрерывнаго труда, разнообразныхъ предпріятій и волненій, нанесенныхъ всѣмъ его ожиданіямъ — требовали сами собой отдыха. По первымъ письмамъ, полученнымъ отъ него изъ-за границы, видно, что Гоголь скоро отыскалъ покой и ровное настроеніе духа. Это подтверждается и письмами, напечатанными Кулишемъ. Извѣстіе о смерти Пушкина въ 1837 году потрясло Гоголя до глубины души, оставило навсегда незамѣстимую пустоту въ его жизни, но нравственныхъ основаній его нисколько не измѣнило, по крайней мѣрѣ — письма его, послѣ жаркихъ выраженій тоски и боли по невозвратимой, общественной и еще болѣе личной для Гоголя утратѣ — принимаютъ снова характеръ тихаго, спокойнаго созерцанія людей, говорятъ о заботахъ, вызываемыхъ плохимъ состояніемъ его здоровья, ясно даютъ подразумѣвать ровный, размѣренный и спокойный трудъ — и во многихъ мѣстахъ носятъ свидѣтельство, что Гоголь еще наслаждался природой и искусствомъ просто, непосредственно, какъ человѣкъ, продолжающій свободно воспитывать мысль. Пелена извѣстнаго однообразнаго цвѣта еще не простиралась передъ глазами его. Онъ только вошелъ въ себя, но еще не обратился къ самому себѣ съ безпощадно кропотливымъ анализомъ; ограничилъ свою дѣятельность и установился въ ней, но еще не давалъ ей значенія аскетическаго подвига; сличалъ жизнь, обычаи, мнѣнія народовъ и вникалъ въ нихъ, но еще не дѣлался судьей странъ и убѣжденій... Цѣли чисто человѣческія и земныя еще мелькали передъ нимъ со всѣми очарованіями, какія заключаютъ въ себѣ, и это можетъ показать слѣдующій отрывокъ изъ общаго посланія его къ пріятелямъ. Оно принадлежитъ къ 1837 году и писано изъ Парижа 25-го января.

Да скажи, пожалуйста — съ какой стати пишите вы всѣ про «Ревизора»: въ твоемъ письмѣ и въ письмѣ Пащенка, которое получилъ Данилевскій, говорится что «Ревизоръ» играютъ каждую недѣлю, театръ полонъ и проч... и чтобы это было доведено до моего свѣдѣнія. Что это за комедія? Я, право, никакъ не понимаю этой загадки. Во-первыхъ, я на «Ревизора» — плевать, а во-вторыхъ... къ чему это? Если бы это была правда, то хуже на Руси мнѣ никто бы не могъ нагадить. Но, слава Богу, это ложь: я вижу черезъ каждые три дня русскія газеты. Не хотите ли вы изъ этого сдѣлать что-то въ родѣ побрякушки и тѣшить меня ею, какъ ребенка. И ты! Стыдно тебѣ, ты предполагалъ во мнѣ столько мелочнаго самолюбія! Если и было во мнѣ что-нибудь такое, что могло показаться легко меня знавшему тщеславіемъ, то его уже нѣтъ».

Здѣсь, конечно, виденъ шагъ впередъ, но по одному и тому же направленію. Онъ только перенесъ жажду славы съ современниковъ на потомство. Если письмо это удивило пріятелей, знавшихъ, какъ всегда дорожилъ онъ современнымъ успѣхомъ и вліяніемъ на публику, то это была ихъ вина: они не поняли обыкновеннаго явленія, замѣчаемаго у всѣхъ геніальныхъ писателей — при началѣ новаго труда смотрѣть съ отвращеніемъ на путь, уже пройденный. Гоголь еще мало измѣнился. Только въ 1839 году появляются у него фразы въ родѣ слѣдующей: «Германія есть не что̀ другое, какъ самая неблаговонная отрыжка гадчайшаго табаку и мерзѣйшаго пива». Тутъ уже сказалось вліяніе Италіи и особенно Рима, въ которомъ онъ провелъ весну 1837 года и потомъ почти безпрерывно два года (съ осени 1838 года по осень 1839 годъ). Вліяніе начинаетъ все болѣе усиливаться и проявляется отвращеніемъ къ европейской цивилизаціи, наклонностію къ художническому уединенію, сосредоточенностію мысли, поискомъ за крѣпкимъ основаніемъ, которое могло бы держать въ напряженномъ довольствѣ однимъ самимъ собою. Со всѣмъ тѣмъ особенности эти, возникающія мало-по-малу въ характерѣ Гоголя, до такой степени еще слиты съ прежнимъ свободнымъ и многостороннимъ направленіемъ, что указать начало ихъ, первый, такъ сказать, толчекъ, подвигнувшій умъ въ эту сторону — нѣтъ никакой возможности. Это все равно, что желать подсмотрѣть минуту, когда зарождается болѣзнь въ человѣкѣ или уловить мгновеніе, когда начинается развитіе какой-либо части въ организмѣ его. Мало-помалу также Гоголь погружается весь въ новый свой трудъ: «Мертвыя души». Если эта поэма, по справедливости, можетъ назваться памятникомъ его, какъ писателя, то съ неменьшей основательностію позволено сказать, что въ ней готовилъ онъ себѣ и гробницу, какъ человѣку. «Мертвыя души» была та подвижническая келья, въ которой онъ бился и страдалъ до тѣхъ поръ, пока вынесли его бездыханнымъ изъ нея. Я постараюсь далѣе указать связь «Мертвыхъ душъ» со всею послѣдующей судьбой ихъ автора, а теперь повторю прежде сказанное, что лѣтомъ 1841 года, когда я встрѣтилъ Гоголя,

онъ стоялъ на рубежѣ новаго направленія, принадлежа двумъ различнымъ мірамъ. По тайнымъ стремленіямъ своей мысли, онъ уже относился къ строгому, исключительному міру, открывавшемуся впереди; по вкусамъ, нѣкоторымъ частнымъ воззрѣніямъ и привычкамъ художнической независимости — къ прежнему направленію. Послѣднее еще преобладало въ немъ, но онъ уже доживалъ сочтенные дни своей молодости, ея стремленій, борьбы, паденій и — ея славы!

На третій день моего пріѣзда, Римъ, по случаю наступленія праздниковъ Святой недѣли, отдался весь ликованію. Какъ въ эти дни, такъ и въ предшествовавшіе имъ, я почти совсѣмъ не видалъ Гоголя, будучи занятъ глазѣньемъ на всѣ духовныя процессіи, которыми наполнился городъ. Много времени, бѣготни, стоическаго равнодушія къ своей особѣ потребно было, чтобъ не пропустить какой-либо стороны католицизма, показываемой разъ въ годъ. Могу сказать только, что ни одинъ англичанинъ не опередилъ меня ни въ чемъ. Я присутствовалъ при «Омовеніи ногъ», которое производилъ папа въ придѣлѣ Петра, при угощеніи имъ бѣдныхъ священниковъ въ одной изъ сакристій того же храма, при исполненіи Stabat Mater въ сикстинской часовнѣ, при крещеніи евреевъ въ Латеранѣ однимъ изъ кардиналовъ св. коллегіи, при общемъ покаяніи въ іезуитской церкви и пр. Гоголь посвѣщалъ меня въ церемоніи и направлялъ поиски, но самъ не выходилъ изъ дома и не перемѣнялъ образа жизни. Великолѣпна была физіономія города съ наступленіемъ праздниковъ. Ковры и ткани покрыли стѣны домовъ, петарды трещали съ оконъ, съ балконовъ, изъ-подъ ногъ пѣшеходовъ, улицы запестрѣли окрестнымъ народонаселеніемъ, прибывшимъ къ торжеству, въ яркихъ, живописныхъ костюмахъ и съ не менѣе живописными лицами. Въ день самаго праздника я, какъ и слѣдовало ожидать, присутствовалъ при папской литургіи и видѣлъ, какъ съ высоты балкона св. Петра, окруженный кардиналами, папа далъ благословеніе народу и отпустилъ ему грѣхи. Вечеромъ того же дня, мы ходили съ Гоголемъ и двумя русскими художниками по площади собора, любуясь на чудное освѣщенье его купола и перемѣну огней, внезапно производимую въ извѣстный часъ. Куполъ горѣлъ тихо, ровно въ мрачной синевѣ неба, посреди чудной, теплой весенней ночи, подъ шопотъ водопадовъ соборной площади, подъ говоръ народа, двигавшагося во всѣхъ направленіяхъ. Тутъ положено было, между прочимъ, что я перейду въ комнату Панаева тотчасъ, какъ онъ уѣдетъ въ Берлинъ, и, сдѣлавшись близкимъ сосѣдомъ Гоголя, посвящу одинъ часъ каждаго дня на переписку, подъ его диктовку, уже совсѣмъ изготовленной первой части «Мертвыхъ душъ».

Поселившись рядомъ съ Гоголемъ, въ комнатѣ, двери которой почти всегда были отворены, я связанъ былъ съ Николаемъ Васильевичемъ только однимъ часомъ дня, когда занимался перепиской «Мертвыхъ душъ». Остальное время мы жили розно, и каждый по-своему. Правда, въ теченіе дня сталкивались мы другъ у друга до-

вольно часто, а вечера обыкновенно проводили вмѣстѣ, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условіе не давать чувствовать себя товарищу ни подъ какимъ видомъ. Гоголь вообще любилъ тѣ отношенія между людьми, гдѣ нѣтъ никакихъ связующихъ правъ и обязательствъ, гдѣ отъ него ничего не требовали. Онъ тогда только и давалъ что-либо отъ себя. Въ Римѣ система эта, предоставивъ каждому полную свободу дѣйствій, поставила каждаго въ нравственную независимость, которою онъ всегда болѣе дорожилъ. *Анненковъ.*

Гоголь и Пушкинъ.

Какъ много помогъ Пушкинъ Гоголю понять себя самого, свое настоящее призваніе, какъ онъ будилъ его мысль и возбуждалъ ея творческую работу, — все это достаточно извѣстно. Передача сюжетовъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» — только эпизодъ изъ кратковременной, къ сожалѣнію, исторіи общенія этихъ двухъ умовъ, суть котораго — въ благотворномъ, просвѣтительномъ вліяніи ума свѣтлаго на умъ темный. Гоголь отлично сознавалъ, чѣмъ онъ обязанъ Пушкину, и это сознаніе выразилось въ письмахъ, написанныхъ Гоголемъ по полученіи извѣстія о смерти великаго поэта. 16 марта 1837 года онъ писалъ Плетневу (изъ Рима): «Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималось безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. *Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу...*[1]) Боже! нынѣшней трудъ мой[2]), внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его...»

Погодину онъ писалъ (отъ 30 марта 1837 года): «Я получилъ твое письмо въ Римѣ. Оно наполнено тѣмъ же, чѣмъ наполнены теперь всѣ наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. *Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ*[1]). Мои свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. *Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина*[1]). Ничто мнѣ были всѣ толки... мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. *Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта*[3]). Все, что есть во мнѣ хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой[4]) есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни

---

[1]) Курсивъ мой.
[2]) «Мертвыя души».
[3]) Курсивъ мой.
[4]) «Мертвыя души».

одна строка его[1]) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?...»

Нѣкоторыя преувеличенія въ этихъ письмахъ (напр., «*ни одна* строка...», «ничего не писалъ безъ его совѣта...» и пр.) принадлежатъ къ числу тѣхъ оборотовъ рѣчи, какіе вообще были свойственны стилю Гоголя (гипербола), и отнюдь не должны быть поставляемы въ данномъ случаѣ въ упрекъ Гоголю. Они, не заключая въ себѣ полной фактической правды, отлично и вѣрно выражаютъ общую душевную правду того, что почувствовалъ Гоголь, когда узналъ о смерти Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, Пушкинъ, эта, по выраженію Тютчева, «Россіи первая любовь», былъ и для Гоголя въ своемъ родѣ «первою и единственною любовью». Если Гоголь кого-либо любилъ глубокой радостной, трогательной любовью, если онъ кого-либо «обожалъ», то это только Пушкина, и слова: «моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ» — вылились прямо изъ сердца и говорятъ несомнѣнную правду. Нетрудно представить себѣ, какую пустоту ощутилъ Гоголь, вмѣстѣ со всей образованной Россіей, когда вдругъ не стало Пушкина. И спустя два года съ лишнимъ, въ сентябрѣ 1839 года, находясь уже въ Москвѣ, Гоголь восклицалъ (въ письмѣ къ Плетневу, отъ 27 сентября 1839 года): «Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ — и Пушкина нѣтъ!...» — Эта роковая, эта незамѣнимая утрата была для Гоголя несомнѣнно чувствительнѣе, чѣмъ для другихъ: онъ духовно осиротѣлъ, онъ потерялъ единственнаго человѣка, авторитету котораго онъ добровольно и радостно подчинялся. Это *подчиненіе* составляло насущную потребность душевной жизни и самаго творчества Гоголя. Едва ли ошибемся мы, если скажемъ, что къ числу большихъ несчастій Гоголя принадлежало и то, что онъ слишкомъ живо почувствовалъ въ себѣ необыкновеннаго человѣка, что онъ безповоротно убѣдился въ превосходствѣ своего ума, въ своей несомнѣнной геніальности. На этомъ, главнымъ образомъ, и основывался непріятный, самонадѣянный наставническій тонъ Гоголя и его претензіи поучать ближнихъ, управлять ихъ умами и сердцами, навязывать имъ свой духовный авторитетъ. Для такой натуры, для такого характера, какъ Гоголь, въ высокой степени было важно сознаніе, что есть другой великій человѣкъ, другой геній, у котораго можно многому поучиться, котораго вліяніе благотворно. И Пушкинъ дѣйствительно былъ для Гоголя такою ограничивающею, сдерживающею силой, своего рода школой.

Сохранившіяся письма Гоголя къ Пушкину и нѣсколько записокъ послѣдняго даютъ наглядное представленіе объ участіи Пушкина

---

[1]) Т.-е. — труда («Мерт. д.»)

къ работѣ Гоголя, а равно и о томъ, какъ послѣдній дорожилъ этимъ участіемъ. Нѣкоторыя выдержки будутъ здѣсь не лишними.

Вотъ письмо Гоголя отъ 7 октября 1835 года: «Рѣшаюсь писать къ вамъ самъ; просилъ прежде Наталью Николаевну, но до сихъ поръ не получилъ извѣстія. Пришлите, прошу васъ убѣдительно, если вы взяли съ собою, мою комедію[1]), которой въ вашемъ кабинетѣ не находится и которую я принесъ вамъ для замѣчаній... Сдѣлайте милость, пришлите скорѣе и сдѣлайте наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замѣчаній. Началъ писать «Мертвыхъ душъ». Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ. Но теперь остановилъ его на третьей главѣ. Ищу хорошаго ябедника, съ которымъ бы можно коротко сойтись. Мнѣ хочется въ этомъ романѣ показать хоть съ одного боку всю Русь. Сдѣлайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ хоть какой-нибудь, смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ комедію. Если жъ сего не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что дѣлать тогда съ моими обстоятельствами... Сдѣлайте (же) милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ, и клянусь — куда смѣшнѣе чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ. И пришлите «Женитьбу». Обнимаю васъ и цѣлую и желаю обнять скорѣе лично».

Въ другомъ письмѣ (декабря 1834 года) онъ жалуется Пушкину на придирки цензуры къ нѣкоторымъ мѣстамъ «Записокъ сумасшедшаго», а потомъ говоритъ: «Жаль, однако, что мнѣ не удалось видѣться съ вами. Я посылаю вамъ предисловіе[2]); сдѣлайте милость, просмотрите, и если что, то поправьте и перемѣните тутъ же чернилами...» Посылая Пушкину вышедшія изъ печати «Арабески», Гоголь пишетъ, что нарочно посылаетъ два экземпляра: «одинъ экземпляръ для васъ, а другой разрѣзанный для меня. Вы читайте мой и сдѣлайте милость, возьмите карандашъ въ ваши ручки и никакъ не останавливайте негодованія при видѣ ошибокъ, но тотъ же часъ ихъ всѣхъ налицо. Мнѣ это очень нужно».

Записки Пушкина къ Гоголю прибавляютъ нѣсколько чертъ, рисующихъ живое, сердечное отношеніе великаго поэта къ начинающему писателю. Въ одной (25 августа 1831 года) онъ заранѣе поздравляетъ автора «Вечеровъ на хуторѣ» съ будущимъ успѣхомъ этой книги («поздравляю васъ съ первымъ вашимъ торжествомъ — съ фырканьемъ наборщиковъ и изъясненіями фактора»...[3]). Въ другой запискѣ дѣло идетъ о «Невскомъ проспектѣ»: «Прочелъ съ удовольствіемъ. Кажется, все можетъ быть пропущено. Секуцію жаль выпу-

---

[1]) «Женитьба».

[2]) Къ «Арабескамъ», гдѣ были помѣщены «Записки сумасшедшаго».

[3]) Отвѣтъ на письмо Гоголя отъ 21-го августа, гдѣ Гоголь, между прочимъ, говоритъ: «любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворачиваясь къ стѣнкѣ...»

стить: она, мнѣ кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось Богъ вынесетъ! Съ Богомъ!» Въ дневникѣ Пушкина находимъ (7 апрѣля 1833 года): «Вчера Гоголь читалъ мнѣ сказку, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ. Очень оригинально и очень смѣшно. — Гоголь по моему совѣту началъ исторію русской критики». Въ октябрѣ 1835 года Пушкинъ пишетъ (изъ Михайловскаго) Плетневу по поводу изданія альманаха, для котораго Гоголь далъ «Коляску»: «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его «Коляску», въ ней альманахъ далеко можетъ уѣхать; но мое мнѣніе — даромъ «Коляски» не брать, а установить ей цѣну. Гоголю нужны деньги». Въ письмѣ къ женѣ (изъ Москвы 6 мая 1836 года) Пушкинъ, между прочимъ, даетъ ей слѣдующее порученіе: «Пошли ты за Гоголемъ и прочти ему слѣдующее: видѣлъ я актера Щепкина, который ради Христа проситъ его пріѣхать въ Москву, прочесть «Ревизора». Безъ него актерамъ не спѣться. Онъ говоритъ, комедія будетъ карикатурна и грязна (къ чему Москва всегда имѣла поползновеніе). Съ моей стороны, я тоже ему совѣтую: не надобно, чтобъ «Ревизоръ» упалъ въ Москвѣ, гдѣ Гоголя болѣе любятъ, нежели въ Петербургѣ».

Если бы Пушкинъ не умеръ такъ рано, и если бы дружескія связи между нашими величайшими поэтами продлились на болѣе продолжительное время, то, безъ сомнѣнія, разсѣялась бы добрая доля той темноты, которою былъ объятъ великій умъ Гоголя.

Прежде всего Гоголь вынесъ бы изъ «школы» Пушкина уваженіе къ великимъ и невеликимъ дѣятелямъ европейской мысли и сочувствіе прогрессу общечеловѣческаго просвѣщенія. Онъ научился бы у Пушкина понимать и цѣнить великія культурныя и интеллектуальныя блага, пріобрѣтенныя передовыми народами Европы цѣною многовѣковаго труда и борьбы. И, быть можетъ, онъ сдѣлался бы, если и не отличнымъ, то хоть хорошимъ «ученикомъ» цивилизаціи.

Овянико-Куликовскій.

Общественные завѣты Гоголя въ русской художественной литературѣ 70—90-хъ годовъ.

Каждый великій писатель есть вмѣстѣ съ тѣмъ и виновникъ величественнаго духовнаго завѣщанія громадной общественной важности. И поэтому каждый юбилейный день великаго писателя есть въ то же время одинъ изъ тѣхъ сроковъ, въ которые еще и еще разъ вскрывается его духовное завѣщаніе и дѣлается справка, въ какой степени исполнена священная воля завѣщателя, всю жизнь служившаго своимъ талантомъ общественнымъ цѣлямъ. Сегодня одинъ изъ тѣхъ торжественныхъ дней, когда мы, наслѣдники Гоголя, должны вскрыть его духовную. Мы должны это сдѣлать, чтобы произвести фактическую провѣрку въ двухъ, по крайней мѣрѣ, отношеніяхъ: 1) сохраняютъ ли еще свою цѣнность гоголевскіе завѣты для

русскаго общественнаго сознанія и 2) хранятся ли они только какъ недвижимая цѣнность, или представляютъ собою капиталъ, который непрерывно растетъ. Только при такой провѣркѣ настоящій юбилейный день будетъ для насъ не однимъ только платоническимъ вниманіемъ къ писателю, но и выраженіемъ органической съ нимъ связи и фактической вѣрности его великимъ общественнымъ завѣтамъ. Такую провѣрку жизненной стойкости гоголевскаго завѣщанія и воздѣйствія его на русскую общественность на всемъ протяженіи XIX вѣка вплоть до нашихъ дней слѣдуетъ, конечно, производить не только на ближайшихъ преемникахъ Гоголя, т.-е. не только на писателяхъ 40—50—60-хъ годовъ, но и на художественной литературѣ послѣ-реформеннаго періода, наиболѣе къ намъ близкой и связанной съ нами живыми связями. Вотъ почему при изученіи творчества Гоголя возникаетъ и этотъ, еще, повидимому, мало обслѣдованный вопросъ, какое развитіе получили гоголевскіе завѣты въ литературѣ 70-хъ, 80-хъ и т. д. годовъ вплоть до конца XIX столѣтія. По этому вопросу сегодня умѣстно высказать хотя бы общія соображенія, т.-е. 1) вскрыть гоголевское завѣщаніе и 2) посмотрѣть, продолжаетъ ли реагировать на него новѣйшая наша литература послѣднихъ десятилѣтій XIX вѣка.

Итакъ передъ нами первый пунктъ завѣщанія Гоголя. Это признаніе болѣзней нашей такъ называемой интеллигенціи. По этому пункту Гоголемъ высказано было все главное. Поставивъ свой діагнозъ остроумно и глубоко, онъ установилъ, по крайней мѣрѣ, три вида духовнаго недомоганія дворянско-помѣщичьей и чиновничьей интеллигенціи. Одинъ видъ—это байбачество, вялое прозябаніе подъ прикрытіемъ нѣжной чувствительности и безплоднаго мечтанія. Маниловъ, мечтающій въ своемъ храмѣ уединеннаго размышленія среди тощаго англійскаго парка, который выдѣляется культурнымъ пятномъ на фонѣ разоренныхъ сѣрыхъ деревень его крѣпостного достоянія, и Тентетниковъ, скучный коптитель неба, безплодно изгрызающій перо надъ первыми строками своего вѣчно зачаточнаго сочиненія о Россіи въ гражданскомъ, политическомъ, религіозномъ и философическомъ отношеніяхъ — это уже прототипы семьи Обломовыхъ. Второй видъ интеллигентнаго недомоганія — безсмысленное виверство и прожиганіе жизни своей и чужой, воплощенное съ одной стороны въ широкой и безпокойной натурѣ историческаго человѣка Ноздрева, съ другой — въ благодушной фигурѣ Петра Петровича Пѣтуха, проѣдающаго свое имущество на разныхъ кулебякахъ и гарнирахъ. Третій видъ — интеллигентное хищничество, проявляющееся то въ формѣ деликатной пріобрѣтательности Павла Ивановича Чичикова, то въ формѣ грубаго кулачества Собакевича или эпическаго вымогательства городничаго Сквозника-Дмухановскаго и его компаніи.

Этотъ первый пунктъ гоголевскаго завѣщанія былъ подхваченъ почти непосредственно: въ годъ смерти Гоголя, т.-е. въ 1852 году, вышли въ полномъ составѣ «Записки Охотника», немного раньше

появляется «Обыкновенная исторія», затѣмъ съ середины 50-хъ годовъ — цѣлый рядъ произведеній Тургенева, Гончарова и гр. Л. Толстого, характеризующихъ въ различныхъ варіаціяхъ духовныя болѣзни дворянско-помѣщичьей интеллигенціи, уже намѣченныя въ свое время Гоголемъ. Казалось, что эти болѣзни уже достаточно изучены, обставлены цѣлымъ рядомъ врачующихъ средствъ, и что 60-е годы это такой могучій и бодрый кризисъ, послѣ котораго наступитъ только выздоровленіе.

Проходятъ однако шестидесятые годы, проходятъ бурно и дѣятельно. Въ потокѣ разнообразныхъ общественныхъ и литературныхъ теченій уносится много прежнихъ идеаловъ, въ горнилѣ ихъ очищаются прежнія страсти, погашаются прежніе надочеты и долги... Но гоголевское завѣщаніе остается въ силѣ. И вотъ въ исходѣ 70-хъ годовъ мы опять встрѣчаемся съ гоголевскими паціентами. Они какъ будто не тѣ, что были прежде, потому что болѣзни ихъ вступили въ новый фазисъ развитія. Но все равно: врачующая литература, вѣрная завѣтамъ Гоголя, стоитъ на стражѣ общественнаго здоровья и выводитъ на всенародныя очи недомогающую интеллигенцію по тѣмъ же тремъ категоріямъ, что и у Гоголя.

Передъ нами являются такимъ образомъ прежде всего хищные ташкентцы Салтыкова (Щедрина) («Господа Ташкентцы»), тонкое соединеніе кулачества Собакевича и пріобрѣтательности Чичикова. Въ лицѣ ташкентцевъ характеризуется хищничество въ болѣе широкомъ его смыслѣ. Ташкентецъ это, съ одной стороны, тотъ, кто, подобно Собакевичу, готовъ во всей вселенной видѣть «не что иное, какъ выморочное мѣсто», который готовъ «швырять своимъ ближнимъ какъ неодушевленною вещью», который хищнымъ образомъ «разрабатываетъ» въ свою пользу не только чужую «частную собственность», но и «собственность казенную», который, кромѣ того, требуетъ, какъ и Собакевичъ, ѣды не только «некупленной», но и «непрерывно возобновляющейся»; съ другой стороны ташкентецъ это тотъ, кто подобно деликатному пріобрѣтателю П. И. Чичикову, съ цѣлью умножить и изощрить свой личный комфортъ, устремляется на всевозможныя, въ особенности казенныя, предпріятія и концессіи, начиная отъ постройки трехъ колоссальныхъ желѣзнодорожныхъ мостовъ въ цѣляхъ эксплуатаціи бѣлозерскаго снѣтка и болотной морошки и кончая грандіознымъ проектомъ коллежскаго совѣтника Порфирія Велентьева о «безпошлинной двадцатилѣтней экспуатаціи всѣхъ принадлежащихъ казнѣ лѣсовъ для непремѣннаго оныхъ, въ теченіе двадцати лѣтъ, истребленія». Къ гоголевской характеристикѣ хищничества Салтыковъ прибавляетъ анализъ и того общества, которое своимъ строемъ способствуетъ — хотя бы и пассивно — процвѣтанію Собакевичей и Чичиковыхъ, потому что представляетъ собою «классическую страну барановъ, которые къ стрижкѣ ласковы, и послѣ оголѣнія вновь обрастаютъ съ изумительной быстротой»; кромѣ того, онъ углубляется и въ психику Собакевича и Чичикова, когда напр. въ сказкѣ «Бѣдный волкъ» рисуетъ трагическое положеніе

лѣсного хищника, который не можетъ взять въ ротъ ничего кромѣ мясного, а между тѣмъ долженъ «самъ пить-ѣсть, волчиху свою накормить, волчатъ воспитать»...

Такимъ образомъ Салтыковъ выслѣдилъ Собакевича и Чичикова не только въ глухихъ углахъ или, какъ выражается Гоголь, «въ нѣкоторыхъ провинціяхъ», но и въ столичныхъ сферахъ. По его сигналу литература 80-хъ и 90-хъ годовъ открыла по горячимъ слѣдамъ самое энергичное преслѣдованіе хищничества во всѣхъ его разнообразныхъ и тонкихъ проявленіяхъ. Перелистаемъ разсказы Гаршина — и мы встрѣтимъ тамъ хищнаго инженера («Встрѣча»), который строитъ на бумагѣ несуществующій молъ, каждый годъ разрушаемый бурей, и за счетъ починки этого мертваго сооруженія получаетъ, подобно тому, какъ Чичиковъ за мертвыя души, десятки тысячъ рублей доходу; тутъ же мы встрѣтимъ художника («Художники», Дѣдовъ), который изъ искусства и таланта дѣлаетъ, наподобіе гоголевскаго художника («Портретъ»), предметъ эгоистическаго стяжанія и мелкаго личнаго честолюбія. Перелистаемъ романы Боборыкина — мы найдемъ тамъ чичиковщину еще въ болѣе утонченномъ видѣ: тутъ есть Рынинъ (романъ «Изъ новыхъ»), карьеристъ и «roublard», который умѣетъ приспособиться къ настроенію правящихъ сферъ, толкуетъ о своемъ «русскомъ направленіи», но въ то же время вѣритъ только въ силу и въ ленту «по камзолу»; тутъ есть Гаяринъ (повѣсть «Поумнѣлъ»), мелкій честолюбецъ, тоскующій по «расшитомъ мундирѣ», или — еще болѣе яркій чичиковецъ — Палтусовъ (ром. «Китай городъ»), пріобрѣтатель съ благородными традиціями, который можетъ «и фортуну заполучить и невинность соблюсти». Сдѣлаемъ еще шагъ ближе къ современности — и мы увидимъ самыя тонкія разновидности чичиковщины въ миніатюрахъ Чехова, написанныхъ съ глубокимъ пониманіемъ гоголевскаго завѣта: городской архитекторъ, городовой врачъ и ветеринаръ, инженеръ — строитель вокзала, желѣзнодорожные агенты — всѣ осуществляютъ самыми утонченными способами пріобрѣтательность Чичикова на счетъ обывателя или просителя; иногда, впрочемъ, ихъ хищничество отзывается грубостью Собакевича и гоголевскаго городничаго. Анализъ этого вида интеллигентнаго недомоганія, выдвинутаго Гоголемъ, доведенъ въ новѣйшей литературѣ до мельчайшихъ подробностей, и этотъ завѣтъ Гоголя сохраняетъ въ литературномъ и общественномъ сознаніи полную свѣжесть.

То же самое можно сказать о виверствѣ и прожиганіи жизни, воплощенномъ въ Ноздревѣ, въ помѣщикѣ Пѣтухѣ и отчасти въ Хлобуевѣ. Въ 70-хъ годахъ эта интеллигентная болѣзнь, увѣковѣченная въ творчествѣ Гоголя, подверглась по его почину дальнѣйшему анализу. Салтыковъ въ этомъ направленіи сдѣлалъ особенно смѣлое открытіе: онъ громко заявилъ, что для значительной массы помѣщичьей и чиновничьей интеллигенціи 70-хъ годовъ всѣ умственные и общественные интересы сводятся къ тому желанному концу, который характеризуется словомъ жуировать; говоритъ ли жуирующій интел-

лигентный человѣкъ о пользѣ классическаго образованія или о податной реформѣ, хлопочетъ ли о какихъ-либо системахъ или нововведеніяхъ, — у него на умѣ всегда: buvons, chantons, dansons et aimons; «даже археологъ, защищая рефератъ о «Ярославлѣ-сребрѣ» думаетъ: «вотъ ужо выпьемъ изъ той самой урны, въ которой хранился прахъ Овидія» («Дневникъ провинціала въ Петербургѣ»). Нѣсколько позже, въ 80-хъ годахъ, дворянство предыдущаго десятилѣтія, жуирующее на счетъ выкупныхъ свидѣтельствъ, смѣнилось блестящими виверами Боборыкина изъ дворянъ, купцовъ и разночинцевъ — виверами на иностранный ладъ, съ приправою эпикуреизма, натурализма, декадентства и другихъ пряныхъ направленій; но эта характеристика виверства всюду близка къ первоначальному гоголевскому рисунку.

Но особенно подробно анализируется въ пореформенной нашей литературѣ третій видъ интеллигентнаго недомоганія, выраженный Гоголемъ въ характерахъ Манилова и Тентетникова. Уже въ концѣ 60-хъ годовъ эти типы подвергаются дальнѣйшему изслѣдованію и освѣщенію. Въ «Письмахъ изъ провинціи» Салтыкова подъ названіемъ «дворянской хандры» характеризуется, собственно говоря, не что иное, какъ одна изъ разновидностей интеллигентнаго прозябанія въ духѣ Андрея Ивановича Тентетникова на фонѣ новыхъ условій послѣреформенной помѣщичьей жизни; интеллигентный дворянинъ-помѣщикъ конца 60-хъ годовъ изнываетъ, какъ и Тентетниковъ, отъ «неудовлетворенной жажды поступковъ», отъ платоническаго стремленія служить идеямъ гласности и устности, и разнымъ другимъ свободамъ, но воспитанный, такъ же какъ и Тентетниковъ, на «традиціяхъ красивыхъ линій» и готовой ѣды, онъ не способенъ ни къ какому реальному дѣлу и къ байбачеству Тентетникова можетъ прибавить развѣ только особую эстетическую манеру хандрить. Немного спустя, именно въ серединѣ 70-хъ годовъ, тотъ же писатель поясняетъ, что дворянская пореформенная хандра по манерѣ Тентетникова аккомпанируется «дворянской мелодіей» во вкусѣ Манилова. Эта дворянская мелодія въ очеркѣ того же имени складывается изъ знакомыхъ намъ маниловскихъ аккордовъ — т.-е. какъ выражается Салтыковъ изъ «эстетическихъ традицій, обезпеченности и легкомысленнаго срыванія жизненныхъ цвѣтовъ»; подъ эту мелодію изживается жизнь, которая, по выраженію Салтыкова, есть «осуществленіе не весьма полезнаго, но скромнаго девиза: ни добра ни зла»; легко видѣть, что это девизъ совершенно во вкусѣ Манилова, который, по выраженію Гоголя, былъ человѣкъ «такъ себѣ, ни то, ни се, ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ». Такъ проявляется маниловщина въ дворянской послѣреформенной жизни.

Но Салтыковъ и тутъ далъ гоголевскому завѣту болѣе широкое приложеніе: онъ усмотрѣлъ безплодную мечтательность Манилова и непроизводительное прозябаніе Тентетникова въ самыхъ важныхъ общественныхъ отношеніяхъ, именно: съ одной стороны въ инерт-

номъ философствованіи карася-идеалиста, который, разсуждая о существѣ добродѣтели, безпрекословно лѣзетъ въ хайло къ щукѣ, съ другой — въ тоскливомъ прозябаніи премудраго пескаря, который, всю жизнь не вылѣзая изъ своей норы, предается въ то же время грандіознымъ мечтаніямъ о томъ, что онъ выигралъ двѣсти тысячъ, выросъ на цѣлыхъ поларшина и самъ щукъ глотаетъ («Сказка»); и непротивленскій, слащавый карасій идеализмъ и умѣренно-либеральное пескариное самоохраненіе — это есть маниловщина общественности, — направленіе съ общественной точки зрѣнія въ первомъ случаѣ безполезное, во второмъ прямо вредное. Вслѣдъ за Салтыковымъ мѣрка маниловщины приложена была писателями 80-хъ и 90-хъ годовъ къ самымъ разнообразнымъ проявленіямъ и личной и общественной жизни: унылые неудачники Гаршина, опускающіе безсильно руки передъ борьбою со зломъ жизни, разслабленные духовно и физически эстеты Боборыкина, дряблые неврастеники и нудные гамлеты Чехова прекрасно иллюстрируютъ борьбу съ Маниловыми и Тентетниковыми въ новѣйшей нашей литературѣ по завѣту Гоголя. Таковъ первый пунктъ завѣщанія Гоголя въ своихъ отголоскахъ въ пореформенной литературѣ. Живучесть его въ литературномъ и общественномъ сознаніи нашемъ не подлежитъ никакому сомнѣнію.

Къ первому пункту гоголевскаго завѣщанія тѣсно примыкаетъ второй пунктъ — какъ его необходимое дополненіе. Сущность этого второго пункта — указаніе настоятельныхъ нуждъ деревни и борьба противъ отчужденности интеллигенціи отъ простого народа. По этому пункту — въ силу условій личной своей жизни и условій цензурныхъ и общественныхъ — Гоголь сказалъ сравнительно немного, но это немногое, мѣткое до геніальности, было подхвачено преемниками Гоголя и разрослось въ цѣлую литературу, до нашихъ дней все еще занятую вопросомъ о мужикѣ и баринѣ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Гоголь прежде всего мимоходомъ бросилъ сильную и яркую мысль объ оскудѣніи дворянскаго помѣщичьяго хозяйства и о крестьянскомъ разореніи. Мы это чувствуемъ, когда у подошвы маниловскаго «храма уединеннаго размышленія» видимъ убогія сѣрыя избы безъ всякаго признака деревьевъ или какой-либо зелени, или когда рядомъ съ безполезно гніющими огромными кладями хлѣба, принадлежащими помѣщику Плюшкину, видимъ полуразвалившіяся крестьянскія избы, у которыхъ отъ крышъ осталось только подобіе соломеннаго рѣшета или даже одни только коньки и жерди. Грядущее оскудѣніе дворянской усадьбы мы особенно болѣзненно сознаемъ, когда читаемъ заключительныя строки повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики», въ которыхъ содержится, какъ это нерѣдко у Гоголя, картина въ высокой степени реальная, но въ то же время полная грознаго символизма. Мы съ грустью читаемъ здѣсь о томъ, что небольшое хозяйство старосвѣтскихъ помѣщиковъ — хозяйство, правда, близорукое и чуждое всякихъ политико-экономическихъ размаховъ, сводившееся, по преимуществу, къ цѣлебнымъ настойкамъ,

наливкамъ, сушенымъ рыбкамъ и соленымъ грибкамъ, но въ то же время крѣпкое и уютное — это хозяйство сначала опускается подъ напоромъ реформаторской дѣятельности новаго наслѣдника, который для улучшенія дѣла «купилъ шесть англійскихъ серповъ и приколотилъ къ каждой избѣ особенной номеръ», а потомъ окончательно гибнетъ въ рукахъ мудрой опеки, которая въ короткое время переводитъ всѣхъ куръ и всѣ яйца и окончательно разоряетъ и спаиваетъ мужиковъ. Еще болѣе грозно встаетъ передъ нами картина оскудѣнія, когда мы вмѣстѣ съ Чичиковымъ попадаемъ въ имѣніе полковника Кошкарева, гдѣ для заложенныхъ и перезаложенныхъ полунищихъ крестьянъ понастроены пустующія учрежденія въ родѣ «главной счетной экспедиціи», «комитета сельскихъ дѣлъ» или «комиссіи наблюденія за комиссіей построенія».

Мѣткая и прозорливая мысль Гоголя о грядущемъ помѣщичьемъ оскудѣніи въ пореформенное время была талантливо развита прежде всего Салтыковымъ (Щедринымъ). Въ «Мелочахъ жизни», произведеніи 80-хъ годовъ, развернута имъ картина оскудѣнія: здѣсь мы видимъ, какъ сначала пропадаютъ одно за другимъ старосвѣтскія мелкопомѣстныя хозяйства, затѣмъ какъ мечтательные помѣщики въ духѣ Манилова или Тентетникова и неутомимые прожекторы типа Ноздрева постепенно проѣдаютъ выкупныя свидѣтельства и, оставляя свои запустѣлыя усадьбы, поступаютъ куда-то въ чиновники особыхъ порученій или въ члены какой-то ревизіонной комиссіи; но здѣсь же мы видимъ и такихъ помѣщиковъ, которые, по примѣру Собакевича и Плюшкина, выдумываютъ для своего оскудѣвающаго хозяйства разныя «подспорья» на счетъ тѣхъ же мужиковъ, т.-е. прижимаютъ ихъ сначала на уставной грамотѣ, потомъ на разныхъ ссудахъ и одолженіяхъ; при этомъ не брезгаютъ и штрафами за потравы до такой степени, что отправляютъ въ супъ попавшую въ ихъ огородъ и зазѣвавшуюся крестьянскую курицу на томъ основаніи, что за это, по выраженію помѣщика Конона Лукича Лобкова, не только чужой, но и своей курицѣ потачки давать не слѣдуетъ.

Особенно же широко развернута эта картина постепеннаго вымиранія помѣщичьей усадьбы въ извѣстной книгѣ начала 80-хъ годовъ С. Атавы (С. Н. Терпигорева), носящей названіе «Оскудѣніе». Здѣсь цѣлый рядъ портретовъ и снимковъ съ натуры разореныхъ и разоряющихся помѣщиковъ и ихъ имѣній, но все это только дальнѣйшее развитіе геніальнаго намека, сдѣланнаго Гоголемъ. Просматривая эту картинную галлерею, мы встрѣчаемъ знакомые изъ Гоголя виды и портреты: тутъ мы видимъ, какъ помѣщичьи дѣти воспитываются на подобіе маниловскаго Ѳемистоклюса съ тѣмъ, чтобы они цѣною родовыхъ Осиновокъ и Семеновокъ могли пойти по дипломатической части; видимъ, какъ раціональный хозяинъ, въ духѣ Кошкарева, наводняетъ и свое имѣніе и имѣнія сосѣдей цѣлымъ потокомъ циркуляровъ, извѣщеній и другихъ продуктовъ бумажной дѣятельности или, на подобіе предпріимчиваго наслѣдника старосвѣтскихъ

помѣщиковъ, тратитъ свое состояніе на пріобрѣтеніе ненужныхъ машинъ, съ которыми не умѣетъ никто обращаться; здѣсь есть также и хозяинъ во вкусѣ Ноздрева, который размѣниваетъ серьезное и цѣнное дѣло землевладѣнія на разныя мелкія аферы въ родѣ культуры египетской пшеницы и нубійскаго ячменя или даже завода для приготовленія консервовъ изъ зайцевъ; наконецъ, здѣсь есть цѣлая галлерея и такихъ дутыхъ помѣщиковъ, которые, подобно Чичикову, пробуютъ строить свое благополучіе на разныхъ ссудахъ, концессіяхъ и банковыхъ операціяхъ.

Такъ складывалось постепенно запустѣніе дворянской усадьбы, предсказанное въ 40-хъ годахъ Гоголемъ и черезъ двадцать лѣтъ засвидѣтельствованное Некрасовымъ («Кому на Руси жить хорошо»):

Перевелись помѣщики,
Въ усадьбахъ не живутъ они,
И умирать на старости
Уже не ѣдутъ къ намъ.

Картину дворянскаго оскудѣнія изображали и другіе писатели пореформеннаго времени на всемъ протяженіи отъ 60-хъ годовъ вплоть до конца вѣка, до чеховскаго «Вишневаго сада», этой символической элегіи оскудѣнія; но всюду въ этой картинѣ чувствуется вѣяніе гоголевскаго завѣта и контуръ его геніально набросаннаго поэтическаго образа; иногда близость къ Гоголю особенно ощутительна; такъ, въ пьесѣ 70-хъ годовъ А. И. Пальма подъ названіемъ «Старый баринъ» отживающее барство характеризуется въ лицѣ Опольева, представляющаго дальнѣйшее развитіе гоголевскаго Хлобуева, а нарождающаяся дѣловитость въ лицѣ фонъ-Гаммера, который, можно сказать, находится въ прямомъ родствѣ съ гоголевскимъ Костанжогло...

Мимоходомъ брошенная Гоголемъ мысль о крестьянскомъ разореніи нашла, какъ извѣстно, самое широкое развитіе въ народнической литературѣ 60-хъ и 70-хъ годовъ, въ особенности у Некрасова, Левитова, Глѣба Успенскаго и Златовратскаго. Но Гоголь взглянулъ на крестьянскую нужду еще шире, чѣмъ будущіе народники. Онъ нѣсколькими штрихами художника успѣлъ набросать цѣлый рядъ тяжелыхъ явленій деревенской жизни и сказалъ о нихъ мѣткое слово. Это слово, какъ безконечное эхо, отдалось въ послѣдующихъ десятилѣтіяхъ и размѣнялось на множество посвященныхъ деревнѣ темъ и вопросовъ, которые продолжаютъ развиваться и въ настоящее время. Гоголевскіе мужики, разсужденіе у дверей кабака о томъ, доѣдетъ ли колесо брички Чичикова до Казани, или дядя Митяй и дядя Миняй, безсмысленно избивающіе кнутомъ господскихъ лошадей вмѣсто того, чтобы спокойно взять ихъ подъ уздцы, эти безсмертные эскизы — какъ выраженіе вѣковѣчной скуки и безтолковщины деревенскихъ будней, не освѣщенныхъ свѣтомъ грамотности и интересами культурнаго труда, — воспроизведены были на протяженіи отъ 60-хъ годовъ до конца вѣка въ самыхъ разнообразныхъ

снимкахъ — и Гл. Успенскимъ (напр. «Новыя времена, новыя заботы», «Изъ деревенскаго дневника»), и Горбуновымъ (напр. въ сценахъ, подобныхъ извѣстному разговору «У пушки»), и Чеховымъ (напр. въ разсказѣ о «скорой помощи» «утопшему человѣку» и др.).

Гоголю достаточно было двухъ страницъ (въ VII главѣ «Мертвыхъ душъ»), чтобы набросать основныя черты неупорядоченнаго крестьянскаго быта и передать ихъ для дальнѣйшей художественной разработки литературнымъ преемникамъ. И этотъ завѣтъ Гоголя былъ горячо воспринятъ въ литературѣ 70—90-хъ годовъ. Всѣмъ памятенъ напр. гоголевскій Пробка Степанъ, «плотникъ, трезвости примѣрной», этотъ богатырь, который «всѣ губерніи исходилъ съ топоромъ за поясомъ и сапогами на плечахъ, съѣдая на грошъ хлѣба, да на два сушеной рыбы», и который въ деревнѣ продовольствовалъ своимъ оброкомъ барина, а въ городѣ взбирался куда-нибудь подъ церковный куполъ, чтобы выработать и оброкъ и нѣсколько лишнихъ цѣлковиковъ въ свою пользу; развѣ этотъ Степанъ Пробка не прототипъ того мужика въ сказкѣ Салтыкова, который на необитаемомъ островѣ кормитъ двухъ генераловъ, а въ столицѣ качается въ ящикѣ на веревкѣ и мажетъ краской стѣну или ходитъ по крышѣ словно муха? Развѣ это не одинъ изъ тѣхъ — скажемъ словами Некрасова —

Чьи работаютъ грубыя руки,
Предоставивъ почтительно намъ
Погружаться въ искусства, въ науки,
Предаваться мечтамъ и страстямъ?

Или вотъ гоголевскій Максимъ Телятниковъ, сапожникъ, котораго училъ хозяинъ-нѣмецъ ремнемъ по спинѣ и который послѣ этой крѣпкой выучки спился при первой неудачѣ, — сколько такихъ сапожниковъ и портныхъ разсѣяно на пространствѣ литературы 70-хъ годовъ, начиная отъ извѣстныхъ очерковъ Гл. Успенскаго «Нравы Растеряевой улицы» и кончая чеховскимъ сапожникомъ Ѳедоромъ Ниловымъ (въ разсказѣ «Сапожникъ и нечистая сила»). Точно такъ же въ гоголевскомъ дворовомъ человѣкѣ Поповѣ, который въ качествѣ безпаспортнаго скитается по разнымъ пересыльнымъ тюрьмамъ, чувствуется первоначальный портретъ невольнаго бродяги, не разъ художественно нарисованнаго въ пореформенной литературѣ въ самыхъ разнообразныхъ оттѣнкахъ — и въ видѣ разгульнаго разбойника изъ бѣглыхъ помѣщика Семерикова у Салтыкова («Невинные разсказы»: «Развеселое житье»), и въ видѣ «вольнаго человѣка» дѣда Ѳаддея Ильича, старика душевнаго и по-дѣтски незлобиваго и радостнаго, у Златовратскаго («Шапка», «разсказъ заводскаго хлопца»), и въ видѣ непомнящаго родства чеховскаго мечтателя (разсказъ «Мечты»), который «живетъ по писанію», «книжечку читаетъ» и который по «званію мужикъ, а въ естествѣ благородный господинъ»...

Въ такомъ драгоцѣнномъ документѣ, какъ гоголевское завѣщаніе русской литературѣ и общественности, часто даже одна-двѣ

строки опредѣляютъ развитіе и направленіе будущей литературно-общественной темы. Вотъ почему, когда мы читаемъ у Гоголя, что «дядя лысый Пименъ держалъ въ концѣ деревни знаменитый кабакъ, которому имя было «Акулька», и что это учрежденіе дяди Пимена было центромъ деревенской жизни и ея живыхъ интересовъ, мы уже заранѣе какъ бы видимъ въ русской литературѣ 70—90-хъ годовъ скорбную картину процвѣтанія кабака и размноженія семьи міроѣдовъ, въ родѣ Петра Матвѣича у Салтыкова («Мелочи жизни»: «Міроѣды») или Прохора Порфирыча у Гл. Успенскаго («Нравы Растеряевой улицы»); или епифановскаго мѣщанина Григорія Петрова Цыбукина, типичной фигуры, выведенной въ разсказѣ Чехова «Въ оврагѣ»,— однимъ словомъ, всего этого разнообразнаго класса паразитовъ народнаго труда, про которыхъ поэтъ Некрасовъ сказалъ, характеризуя пореформенное время:

Знаю: на мѣсто сѣтей крѣпостныхъ
Люди придумали много иныхъ.

Еще одна мысль изъ области деревенскихъ вопросовъ была какъ бы мимоходомъ обронена Гоголемъ и подобрана его преемниками; но эта находка оказалась такъ цѣнна, что ее бросились подымать наперерывъ. Эта мысль объ отчужденности интеллигенціи отъ деревни и ея насущныхъ нуждъ. Мы болѣзненно сознаемъ эту отчужденность, когда дряблая старушонка рвется съ своимъ безхитростнымъ ласковымъ словомъ къ пріѣзжему молодому своему барину Андрею Ивановичу Тентетникову, и когда ее рѣзко останавливаютъ другіе, которые яснѣе видятъ непроходимую пропасть между этой корявой крѣпостной бабой и интеллигентнымъ повелителемъ крѣпостныхъ душъ, и она оказывается въ такомъ же положеніи, какъ и тотъ дерзновенный мужикъ Гл. Успенскаго (очерки «Разоренье»: «Наблюденія Михаила Ивановича»), который рѣшился на желѣзнодорожной станціи въ господскомъ буфетѣ спросить себѣ наравнѣ съ господами «бутенброду» и застылъ въ нѣмомъ удивленіи передъ своей собственной смѣлостью. Еще больше мы видимъ эту отчужденность барина отъ простого народа, когда оказывается, что Андрей Ивановичъ Тентетниковъ, при всѣхъ своихъ добрыхъ начинаніяхъ отъ уменьшенія барщины и до школы включительно, совсѣмъ не въ силахъ понять мужика, а мужикъ не можетъ понять «востроногаго» барина и въ его заботахъ по привычкѣ видитъ только кулачество и хитрость; нечего и говорить о томъ, что этотъ первый набросокъ драматизма въ отношеніяхъ мужика къ барину сдѣлался любимой темой какъ для великихъ художниковъ слова — Тургенева («Отцы и дѣти» — отношеніе къ мужику Базарова) и гр. Л. Толстого (напр. «Утро помѣщика» — Неклюдовъ и «Казаки» — Оленинъ и ихъ отношеніе къ деревнѣ и крестьянамъ), такъ и для ихъ послѣдователей вплоть до Чехова (ср. напр. разсказъ «Новая дача»).

Замотинъ.

Отношеніе Гоголя къ соціальному направленію литературы 40-хъ годовъ.

Романтическое и реалистическое начала гоголевскаго творчества были въ непрерывной борьбѣ.

Эта внутренняя драма художника еще болѣе осложнилась, когда въ процессъ его творчества вторгся элементъ соціальной *рефлексіи*.

Непосредственная сила гоголевской поэзіи была столь велика, что авторитетнѣйшіе современники (какъ Пушкинъ, Бѣлинскій и Герценъ) признавали огромное вліяніе Гоголя на общественное самосознаніе. Въ этомъ смыслѣ его работа была непрерывнымъ гражданскимъ подвигомъ. Самъ авторъ «Ревизора» всегда высоко ставилъ значеніе литературной дѣятельности. Но онъ долго не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ соціальномъ смыслѣ изображаемыхъ имъ явленій. Онъ творилъ въ значительной степени стихійно; увлекаемый талантомъ и «силой смѣха», онъ осмысливалъ факты жизни лишь въ предѣлахъ обще-этическихъ понятій. Самъ Гоголь всегда былъ убѣжденъ, что «поэтъ можетъ дѣйствовать инстинктивно, потому что въ немъ пребываетъ высшая сила слова», (письмо къ Языкову отъ 5 апрѣля 1845 года).

Къ 40-мъ годамъ русская жизнь выставляетъ однако уже опредѣленный запросъ на сознательное рѣшеніе общественныхъ задачъ. Русская интеллигенція неутомимо трудится надъ уясненіемъ соціальныхъ идей и идеаловъ. Литература, стремясь сдѣлаться національной и реальной, проникается тѣмъ же настроеніемъ. Въ сороковые годы авансцену литературы занимаетъ натуральная школа, исторически обязанная своимъ происхожденіемъ Пушкину и тому же Гоголю. «Физіологическіе» очерки становятся весьма популярнымъ жанромъ. Нарождается русскій *соціальный романъ* (не безъ вліянія французской беллетристики и въ частности, французской романтики, которой не долюбливалъ Гоголь). Одно за другимъ появляются замѣчательныя произведенія: романъ Герцена, «Кто виноватъ?» (1843), «Бѣдные люди» Достоевскаго (1846), «Полинька Саксъ» Дружинина (1847), первый разсказъ изъ «Записокъ охотника» (1847), «Деревня» и «Антонъ Горемыка» Григоровича (1847), «Обыкновенная исторія» Гончарова (1847), первыя произведенія Салтыкова и т. д. Словомъ, сознательное внесеніе соціальныхъ мотивовъ въ литературу стало неизбѣжнымъ этапомъ ея развитія, и Бѣлинскій всей силой своего моральнаго авторитета поддерживалъ новое теченіе, указывая на его родство съ научнымъ реализмомъ и общественнымъ демократизмомъ сороковыхъ годовъ и усиленно подчеркивая его законность съ точки зрѣнія общихъ принциповъ искусства.

Каково же было участіе Гоголя во всемъ этомъ движеніи?

Уже со второй половины 30-хъ годовъ онъ явно стремился овладѣть новой позиціей. «Я и самъ», признается Гоголь (въ «Автор-

ской исповѣди»), «начиналъ невольно заражаться... всеобщимъ повѣтріемъ нынѣшняго времени». Кругомъ шли «безконечные споры», всѣ торопились поскорѣе перейти къ общимъ выводамъ, и «почти у всякаго образовалась въ головѣ своя собственная Россія». Захваченный вихремъ споровъ, Гоголь искалъ фактовъ, на которые могъ бы опереться. Онъ усердно изучаетъ Россію, собираетъ свѣдѣнія отъ компетентныхъ людей, чтобы уяснить себѣ соціальный строй Россіи.

Со второй половины 30-хъ годовъ тянется рядъ замѣтокъ и писемъ, въ которыхъ Гоголь трактуетъ вопросы экономической и соціальной жизни Россіи. Какъ видно, изъ конкретныхъ явленій тогдашней жизни на первомъ планѣ стоятъ у него вопросы о сельскомъ хозяйствѣ, о мужикѣ и помѣщикѣ. Гоголь понимаетъ, что отъ успѣховъ сельскаго хозяйства «зависитъ благосостояніе всего государства». Еще въ 1836 году онъ дѣловито рецензировалъ изданіе департамента удѣловъ «Обозрѣніе сельскаго хозяйства удѣльныхъ имѣній въ 1832 и 1833 годахъ» и задумывается надъ вопросомъ о причинахъ различнаго положенія хозяйства въ разныхъ полосахъ государства и о средствахъ его улучшенія. Съ этой цѣлью рецензентъ не только анализируетъ свойства почвы, но и разсматриваетъ психологію русскаго крестьянина. Нашъ мужикъ, по мнѣнію Гоголя, «еще довольно грубъ, мало развитъ и имѣетъ самыя бѣдныя потребности». Писатель привѣтствуетъ «глубокую мудрость» правительства, которое «обращаетъ преимущественное вниманіе на земледѣліе. Земледѣлъ — добрый, крѣпкій корень государства въ политическомъ и нравственномъ отношеніи».

Гоголь, видимо, не упускаетъ благопріятныхъ случаевъ, чтобы посовѣтоваться со свѣдующими людьми. Въ половинѣ 40-хъ годовъ онъ заноситъ въ свою записную книжку: «Вопросы Хомякову о крестьянахъ: вольныхъ, господскихъ, казенныхъ и удѣльныхъ — ихъ внутреннемъ бытѣ, правленіи, правахъ и преимуществахъ, состояніи, нравственности и духѣ, какъ результатѣ быта». О бытѣ крестьянъ въ разныхъ губерніяхъ онъ надѣется многое узнать черезъ гр. А. М. Віельгорскую, отъ В. И. Даля, котораго Гоголь (какъ и Пушкинъ) ставилъ чрезвычайно высоко, какъ писателя и тонкаго знатока народной жизни. Крестьянамъ и помѣщикамъ отведено, какъ извѣстно, не мало мѣста въ «Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями».

А. О. Смирнова получаетъ отъ Гоголя порученіе собрать ему свѣдѣнія о бытѣ раскольниковъ (письмо 20 февраля 1846 года), а Шевыревъ долженъ былъ свести его съ такими людьми, «которые могутъ подать свѣдѣнія, вѣрныя и близкія, обо всѣхъ сословіяхъ вообще и особенно низшихъ» (письмо отъ 2 декабря 1847 года).

Изъ другихъ замѣтокъ Гоголя видно, что онъ намѣренъ потолковать съ Далемъ — «о сословіяхъ нынѣшнихъ обществъ и пролетаріяхъ въ нашихъ городахъ», съ Бенардаки — о томъ, «какъ велики средства Россіи и возможность продовольствовать нынѣшнихъ поядателей всѣхъ сортовъ».

Ясно, что вопросы экономической жизни овладѣваютъ вниманіемъ Гоголя, и онъ усердно работаетъ надъ своимъ соціальнымъ міровоззрѣніемъ. Но задача оказалась для Гоголя чрезвычайно трудной. Онъ не можетъ прямо примкнуть ни къ «славянистамъ» ни къ «европеистамъ», но, прислушиваясь къ ихъ полемикѣ, полагалъ, что все же «правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ». Его взгляды на Церковь, на самодержавіе, на государственный и сословный строй Россіи, на взаимоотношеніе помѣщиковъ и крестьянъ, на деревенскую общину и т. п., находясь въ близкомъ родствѣ съ доктриной славянофиловъ, содержали въ себѣ немалую дозу и элементовъ офиціальной народности. Нисколько не забывая о томъ психическомъ состояніи, какое переживалъ Гоголь въ періодъ «Выбранныхъ мѣстъ», мы не можемъ однако видѣть въ его произведеніяхъ 40-хъ годовъ лишь какой-то психіатрическій матеріалъ, освѣщающій одни патологическія его переживанія. Здѣсь есть свое *фактическое* содержаніе, самымъ опредѣленнымъ образомъ связанное съ офиціальной идеологіей. На эту сторону прежде всего и было обращено вниманіе современниковъ, не сразу замѣтившихъ интимную глубину исповѣди Гоголя.

Полемика, возникшая по поводу «Выбранныхъ мѣстъ», сильно потрясла Гоголя. Порою онъ готовъ былъ признать, что «упустилъ изъ виду современныя дѣла и множество вещей, которыя слѣдовало сообразить» (письмо къ Бѣлинскому отъ 10 августа 1847 года); онъ сталъ вносить даже нѣкоторыя поправки (напр. по вопросу о народѣ и народномъ просвѣщеніи), но въ письмахъ къ Бѣлинскому, Анненкову и другимъ продолжалъ защищать свои главныя идеи, и въ его аргументаціи нѣтъ ничего «ненормальнаго» и патологическаго (если только мы не вздумаемъ произвольно суживать понятія «нормальнаго»). Оправдываясь передъ Бѣлинскимъ, Гоголь обращаетъ его вниманіе на сложность самаго понятія «цивилизація», въ которой критикъ видѣлъ спасеніе Россіи. «Хоть бы вы опредѣлили», пишетъ ему Гоголь, «что̀ такое нужно разумѣть подъ именемъ европейской цивилизаціи! Тутъ и фаланстьеры, и красные, и всякіе, и всѣ другъ друга готовы съѣсть, и всѣ носятъ такія разрушающія, такія уничтожающія начала, что трепещетъ въ Европѣ всякая мыслящая голова и спрашиваетъ невольно: гдѣ наша цивилизація? Пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи»... Французскій соціализмъ отталкиваетъ Гоголя. Ему больше говоритъ Германія и Англія, идеи которыхъ онъ можетъ примирить съ своей собственной психологіей. Въ этомъ смыслѣ онъ возражаетъ и Анненкову. Нельзя «представителемъ всего» считать одинъ только Парижъ и избирать предметомъ наблюденій одинъ только классъ пролетаріевъ. Въ Англіи совершается также «важная сторона современнаго дѣла»; нужно изучить ея жизни и притомъ «взглянуть на всѣ классы, не выключая никакого изъ нихъ». Несмотря на совмѣщеніе многихъ крайностей, тамъ, по мнѣнію Гоголя, «мѣстами является такое разумное слитіе того, что доставила

человѣку высшая гражданственность, съ тѣмъ, что составляетъ первообразную патріархальность». Гоголь понимаетъ интересъ къ Франціи, понимаетъ и то, что въ «Соединенныхъ Штатахъ дѣйствительно вырабатывается теперь виднѣй общественное дѣло, а потому немудрено, что глаза наблюдающаго большинства обращены теперь туда» (письмо къ Анненкову отъ 20 сентября 1847 года). Но онъ не перестаетъ выдвигать Англію, землю, «въ которой заключилось въ громадныхъ глыбахъ то, что уже уничтожено въ другихъ земляхъ, и то, что еще «не началось въ Европѣ, землю, которая, несмотря на дикія крайности, вырабатываетъ, однакожъ, безостановочно Байроновъ и Диккенсовъ».

Но возражая своимъ противникамъ, Гоголь пуще всего хочетъ убѣдить ихъ въ томъ, что соціальный вопросъ въ современной Европѣ далеко еще не рѣшенъ окончательно. «Нѣтъ, мнѣ кажется, никому изъ насъ не слѣдуетъ въ нынѣшнее время торжествовать и праздновать настоящій мигъ своего взгляда и разумѣнія. Онъ завтра же можетъ быть уже другимъ; завтра же мы можемъ стать умнѣй насъ сегодняшнихъ» (письмо къ Анненкову отъ 7 сентября 1847 года). Гоголь то и дѣло называетъ сороковые года переходнымъ временемъ. И этотъ терминъ онъ съ особенной охотой примѣняетъ прежде всего къ своему собственному состоянію: самъ онъ находится еще въ періодѣ исканій и внутренняго строительства. «Взглядъ мой на современность только еще проснулся, и я еще новичокъ въ этомъ дѣлѣ», искренно свидѣтельствуетъ онъ въ письмѣ къ Анненкову отъ 7 сентября 1847 года. Глубокой правдой дышатъ эти слова и какъ нельзя болѣе точно опредѣляютъ сущность *идейнаго кризиса* Гоголя въ 40-хъ годахъ.

Выработать опредѣленное общественное міросозерцаніе Гоголю не удалось, и онъ мучительно сознавалъ всю важность и чрезвычайную сложность соціальной проблемы. Это новое общественное умонастроеніе Гоголя привело его и къ новому взгляду на свои *литературныя задачи*.

«Мой смѣхъ вначалѣ былъ добродушенъ», пишетъ Гоголь Жуковскому отъ 29 декабря 1847 года. «Я со всѣмъ не думалъ осмѣивать что-либо съ какою-нибудь цѣлью». «Ревизоръ» былъ первымъ произведеніемъ, «замышленнымъ съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось: въ комедіи стали видѣть желаніе осмѣять узаконенный порядокъ вещей и правительственныя формы, тогда какъ у меня было намѣреніе осмѣять только самоуправное отступленіе нѣкоторыхъ лицъ отъ форменнаго и узаконеннаго порядка». «Я увидѣлъ», говоритъ Гоголь въ «Авторской исповѣди», «что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачѣмъ». Теперь этотъ роковой вопросъ «зачѣмъ» неотступно будетъ преслѣдовать нашего писателя.

«Во всѣхъ нынѣшнихъ попыткахъ романовъ и повѣстей», по его вѣрному наблюденію (въ одной рецензіи, вѣроятно, 1836 года, «видно стремленіе осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль».

Гоголь находитъ это вполнѣ естественнымъ, равно какъ и тотъ фактъ, что «общество оцѣниваетъ всякое новое произведеніе относительно своихъ собственныхъ потребностей душевныхъ, ищетъ въ немъ отвѣта на тревожныя исканія свои» (статья «О Современникѣ», 1846 г.). Онъ привѣтствуетъ успѣхъ молодыхъ писателей, которые «показали особенное стремленіе къ наблюденію жизни дѣйствительной» (Ibid.), и убѣжденно говоритъ (въ письмѣ къ С. П. Шевыреву отъ 27 апрѣля 1847 г.): «Повѣрь, что какое ни выпусти художественное произведеніе, оно не возымѣетъ теперь вліянья, если нѣтъ въ немъ именно тѣхъ вопросовъ, около которыхъ ворочается нынѣшнее общество, и если въ немъ не выставлены тѣ люди, которые намъ нужны теперь и въ нынѣшнее время. Не будетъ сдѣлано этого — его убьетъ первый романъ, какой ни появится изъ фабрики Дюма».

Теперь и самъ сатирикъ будетъ стремиться «доказать, что былъ также гражданиномъ земли своей». Теперь онъ не можетъ писать «безъ плана, вполнѣ опредѣленнаго и яснаго», безъ отчетливаго пониманія «существенной полезности необходимости» каждаго сочиненія. Гоголю, какъ и Бѣлинскому 40-хъ годовъ, истинные художественные принципы кажутся вполнѣ совмѣстимыми съ идейными цѣлями, какія можетъ ставить себѣ искусство. Гоголь сороковыхъ годовъ нисколько не отрекается отъ искусства и съ негодованіемъ опровергаетъ всякія предположенія на этотъ счетъ. Онъ не перестаетъ думать о томъ, чтобы его герои были «живыми людьми», чтобы они были одѣты «портретною живописью, которая дѣлаетъ то, что изображенный образъ преслѣдуетъ насъ повсюду такъ, что нельзя оторваться». Онъ стремится создать «такіе живые образы и характеры, которые пошли бы навѣки въ укоръ людямъ, которыхъ бы никто не назвалъ въ то же время идеальными, но почувствовалъ, что они взяты изъ нашего же тѣла, изъ нашей же русской природы» (письмо къ Плетневу отъ 24 августа 1847 г.). Въ эти живые, реальные образы онъ вложитъ опредѣленную общественную идею.

Но трудно было создавать соціальный романъ, когда не было устойчивыхъ общественныхъ идей, когда не было даже необходимыхъ реальныхъ наблюденій, на недостатокъ которыхъ Гоголь въ это время такъ часто жалуется. Трудъ писателя былъ тяжелъ и безрезультатенъ. Идя дедуктивнымъ путемъ, великій сатирикъ могъ дать лишь наброски *тенденціознаго романа* въ видѣ II тома «Мертвыхъ душъ». Мало того, соціальные мотивы, съ которыми онъ не могъ справиться, все болѣе и болѣе заслоняются абстрактной идеей, ближе отвѣчавшей этическому и религіозному настроенію художника и въ глазахъ его современниковъ носившей характеръ очередной проблемы.

По свидѣтельству самого Гоголя, его всегда интересовалъ преимущественно «человѣкъ и душа человѣка» (письмо къ Погодину

отъ 8 іюля 1847 г.). Теперь болѣе, чѣмъ когда-либо. Онъ задумываетъ изобразить «истинно-русскія коренныя свойства наши» и «преимущественно тѣ высшія свойства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо» и которыми русскіе отличаются отъ другихъ народовъ. Съ этою цѣлью Гоголь рѣшилъ «собрать одни яркія психологическія явленія». А чтобы лучше опредѣлить природу русскаго человѣка, онъ постарается «узнать получше природу человѣка вообще и душу человѣка вообще», узнать «тѣ вѣчные законы, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще». Ослабленный физически и измученный нравственно, Гоголь не могъ уже найти въ себѣ достаточнаго запаса творческихъ силъ для осуществленія столь колоссальной задачи. Писатель только въ томъ случаѣ можетъ быть «разрѣшителемъ современныхъ вопросовъ», справедливо говоритъ самъ Гоголь, «когда ужъ онъ все разрѣшилъ себѣ, что не тревожитъ его самого». «Если онъ при всѣхъ великихъ дарахъ, при картинной живописи въ словѣ, при орлиной силѣ взгляда, при возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма пріобрѣтетъ полное познаніе земли своей и своего народа въ корнѣ и въ вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человѣчества, и какъ кремень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повелѣно быть крѣпкой скалой человѣку, тогда онъ выступай на поприще». Гоголь обладалъ всѣми перечисленными «великими дарами», но у него не было полнаго рѣшенія «современныхъ вопросовъ», онъ еще не «состроился» самъ. Отсюда — мучительная неспособность создать такое литературное произведеніе, которое удовлетворило бы самаго взыскательнаго художника. Гоголь имѣлъ мужество признать это и повѣдать намъ свои безпримѣрныя страданія. *Сакулинъ.*

Общественно-политическій идеалъ Гоголя.

Уже въ «Мертвыхъ душахъ» Гоголь весьма серіозно относится къ общественному служенію помѣщика, понимая его въ смыслѣ «сохраненія, сбереженія и улучшенія ввѣренныхъ ему людей». Въ статьѣ «О сословіяхъ въ государствѣ», относящейся къ 1846 году и включенной въ «размышленія» Гоголя о нѣкоторыхъ герояхъ перваго тома «Мертвыхъ душъ», о дворянствѣ уже говорится, какъ о «цвѣтѣ нашего населенія». Въ награду за доблести, за испытанную честную службу, даются имъ въ управленіе крестьяне, но въ предположеніи, что они лучше другихъ понимаютъ высокія чувства и назначенія и могутъ лучше править, чѣмъ простые чиновники. «Вольно было помѣщикамъ, позабывшимъ свою высокую обязанность, глядѣть на крестьянъ, какъ на предметъ только дохода для своей роскоши и увеселенія. Этимъ они ничуть не доказали, что государи были неправы (ввѣривъ имъ попеченіе о крестьянахъ), а только то, что они сами уронили званіе помѣщика». Для Гоголя дворянству нашему

досталась прекрасная участь — заботиться о благосостояніи низшихъ. «Монархъ подѣлился съ ними своимъ попеченіемъ. Изъ-за этого они должны составить одно цѣлое. Совѣщаніе они должны имѣть между собою объ управленіи крестьянами. Дворянство должно быть сосудомъ и хранителемъ высокаго нравственнаго чувства націи, рыцарями чести и добра. Что касается до крестьянъ, то, состоя подъ управленіемъ помѣщика, они имѣютъ тоже о чемъ совѣщаться». Сословія гражданъ, т.-е. городскихъ обывателей, въ глазахъ Гоголя, должны быть стражами и хранителями народнаго благосостоянія и призваны, поэтому, также выбирать изъ себя, какъ онъ выражается, чиновниковъ, т.-е. исполнительныхъ агентовъ. «Полиція только тогда не будетъ брать взятокъ и грабить, — прибавляетъ Гоголь, — когда граждане будутъ исполнять ея функціи. Лучшая полиція въ Англіи, по признанію всѣхъ, и то потому, что ею занимается городъ, выбирая для этого чиновника и платя жалованье отъ себя». Итакъ, всѣ сословія участвуютъ въ самоуправленіи: дворяне имѣютъ свои дворянскія собранія, крестьяне — свой міръ, города — свои магистраты и своихъ избираемыхъ агентовъ. И во главѣ управленія монархъ-самодержецъ, «стоя выше всѣхъ и не будучи связанъ личной выгодой ни съ какимъ сословіемъ, ставитъ счастье всѣхъ своей высшей цѣлью». Но для этого ему необходимо дѣйствовать заодно съ верховнымъ совѣтомъ государства, состоящимъ изъ лицъ, знающихъ его нужды и имѣвшихъ случай стоять по службѣ на многихъ поприщахъ государственной дѣятельности. Правительство не имѣетъ дѣла ни съ кѣмъ порознь, но съ цѣлымъ сословіемъ. Постановленія верховнаго совѣта исполняются избранными отъ сословій, не получающими отъ правительства никакого жалованья. Политическій идеалъ Гоголя недалекъ отъ того, на какомъ упорно стояли въ первой половинѣ XIX столѣтія люди въ родѣ Бональда во Франціи или Шталя въ Пруссіи, всѣ тѣ, кто старался примирить съ неограниченностью верховной власти самоуправленіе свободныхъ сословій и дворянскую опеку надъ кой-гдѣ еще несвободнымъ крестьянствомъ. Мѣстное самоуправленіе рисовалось имъ близкимъ по характеру къ англійскимъ порядкамъ даровой и почетной службы. Романтическая идеализація средневѣковыхъ порядковъ и знакомство съ той критикой, какую на Западѣ встрѣчала система индивидуализма или, что то же, буржуазный либерализмъ сторонниковъ теоріи («laissez faire, laissez passer»), объясняютъ намъ причину того успѣха, какимъ пользовались у насъ, особенно со времени поѣздки Николая Павловича въ Англію и его знакомствъ съ Робертомъ Оуэномъ, тѣ попытки организаціи труда, которыя связаны съ памятью объ образцовой земледѣльческой колоніи Нью-Ланарка, поставленной подъ опеку и руководительство земельнаго собственника. Если припомнить, что почти одновременно іезуиты въ Парагваѣ пробовали пріучить индѣйцевъ къ правильному занятію хлѣбопашествомъ, при сильной помѣщичьей власти и прикрѣпленіи воздѣлывателей къ почвѣ, то неудивительнымъ покажется,

если русскіе дворяне не прочь были задаваться мыслью о своего рода коммунистической организаціи труда при сохраненіи крѣпостного права. Петръ Бернгардовичъ Струве въ издававшемся имъ одно время въ Петербургѣ журналѣ использовалъ въ значительной степени матеріалъ, касающійся этихъ довольно эфемерныхъ попытокъ влить вино новое въ мѣха старые. Нѣкоторые изъ этихъ опытовъ, по всей вѣроятности, свелись на дѣлѣ къ той организаціи конторъ и комиссій, которую такъ остроумно вышучиваетъ Гоголь, говоря о полковникѣ Кошкаревѣ. «Вся деревня полковника, — описываетъ авторъ «Мертвыхъ душъ» — была вразброску. Постройки, перестройки, кучи извести, кирпича и бревенъ по всѣмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома въ родѣ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написана золотыми буквами «депо земледѣльческихъ орудій», на другомъ: «главная, счетная экспедиція», на третьемъ: «комитетъ сельскихъ дѣлъ», «школа нормальнаго просвѣщенія поселянъ», словомъ, чортъ знаетъ чего не было». Гоголя эти попытки примирить коммунизмъ съ крѣпостнымъ правомъ, разумѣется, не увлекли, но онѣ убѣдили его въ общественномъ призваніи помѣщиковъ быть организаторами сельскохозяйственнаго труда. «Гдѣ хлѣбопашество легло въ основаніе быта общественнаго», разсуждаетъ онъ устами выведеннаго имъ заботливаго помѣщика, «тамъ изобиліе и довольство. Бѣдности нѣтъ, роскоши нѣтъ, а есть довольство. Я говорю мужику: кому бы ты ни трудился, мнѣ ли, себѣ ли, сосѣду ли, только трудись! Въ дѣятельности я тебѣ первый помощникъ. Всѣмъ, что нужно, готовъ снабдить тебя, но трудись! Думаютъ увеличить доходы заведеніями да фабриками, да ты подумай о томъ, чтобы всякій мужикъ былъ у тебя богатъ, такъ тогда ты и самъ будешь богатъ безъ фабрикъ и заводовъ, да безъ глупыхъ затѣй». Помѣщикъ — провидѣніе внизу, безстрастный самодержецъ, блюститель общаго блага наверху: таковъ общественно-политическій идеалъ Гоголя. Православное священство въ такой же мѣрѣ, какъ и генералъ-губернаторы и добродѣтельные откупщики — избранныя царемъ орудія для проведенія его благодѣтельныхъ начинаній въ отдаленнѣйшіе концы государства. Истинные патріоты поступаютъ какъ откупщикъ Муразовъ, не отказывающій въ своемъ предстательствѣ передъ генералъ-губернаторомъ и низко павшему мерзавцу Чичикову, и дающему обольстить себя другими Дерпенникову, «совершившему преступленіе противъ коренныхъ государственныхъ законовъ, равное — говоритъ Гоголь — измѣнѣ противъ земли своей». Тотъ же Муразовъ, честно заработавшій милліоны, посылаетъ разорившагося помѣщика Хлобуева странствовать подъ видомъ сборщика пожертвованій на вновь воздвигаемый храмъ, съ задней мыслью, что онъ узнаетъ на мѣстахъ все, какъ живутъ мужички, гдѣ побогаче, а гдѣ терпятъ нужду, и въ какомъ состояніи всѣ. Онъ долженъ утѣшать терпящихъ и раздачей имъ пособій, и добрымъ словомъ, и разсужденіями о томъ, что Богъ велитъ безропотно переносить удары рока. «Генералъ-губернаторъ нуждается осо-

бенно въ такихъ людяхъ», прибавляетъ онъ. Кто изъ насъ не зналъ такихъ ходатаевъ въ чужомъ интересѣ, содѣйствіе которыхъ требовалось не одними генералъ-губернаторами, и, повидимому, въ той же увѣренности, что прямое начальство, поставленные властью администраторы, не досмотрятъ, не дознаютъ правды, и что для этого нужны тайные ревизоры съ секретными предписаніями?

Общественно-политическій идеалъ Гоголя далекъ отъ насъ. Но та государственная разоруха, упраздненію которой онъ думалъ служить, продолжается по прежнему и дѣлаетъ съ каждымъ поколѣніемъ все большіе и большіе успѣхи. Вотъ почему Гоголь не только для насъ не умеръ (великіе писатели, проникшіе въ тайны народной жизни, безсмертны и живутъ для всѣхъ временъ): для насъ Гоголь, къ сожалѣнію, не устарѣлъ. Чиновная и дворянская Россія продолжаетъ командовать и въ правительственныхъ совѣтахъ и въ собраніяхъ объединенныхъ дворянъ. Она, подобно выводимому Гоголемъ типу націоналиста-патріота, все еще думаетъ, что у русскаго человѣка, даже у того, который похуже другихъ, чувство справедливо. Развѣ жидъ какой-нибудь, а не русскій. Стоитъ только, поэтому, русскому администратору сказать русскимъ людямъ правду, какъ передъ самимъ Богомъ — и они поспѣшатъ принести свою «исповѣдь» и, разумѣется, исправятся.

Этого исправленія мы продолжаемъ ждать и по настоящій день. Оно можетъ быть достигнуто только перемѣной нравовъ, что, въ свою очередь, тѣсно связано съ исправленіемъ общественныхъ и политическихъ порядковъ. Политическая обновленная Россія, — Россія, призванная къ управленію собственными судьбами, на разстояніи одного-двухъ поколѣній, создастъ и новый типъ, не чиновника и не просто обывателя, а свободнаго гражданина, сѣятеля благосостоянія и просвѣщенія на необъятной русской нивѣ. Тогда и только тогда Гоголь, въ числѣ типовъ котораго нѣтъ ни одного гражданина, устарѣетъ. И это, разумѣется, будетъ только къ лучшему.

Ковалевскій.

ВО ВСѢХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ

В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.

Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.

Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. *Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Содержаніе: I. Критика Бѣлинскаго — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинскій и Мерзляковъ. — III. Бѣлинскій и Полевой. — IV. Бѣлинскій и Надеждинъ. — V. Бѣлинскій и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинскій. — VII. Бѣлинскій, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинскаго на народную поэзію и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣній Бѣлинскаго на нѣкоторыя произведенія новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетическаго развитія. Ц. 1 р. Изд. 2-е. *Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.*

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей Ц. 60 к. (Распродано).

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе — II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ. — III. Радостное привѣтствіе Пушкинымъ произведеній поэтовъ. — IV. Живое участіе Пушкина къ дѣятельности поэтовъ.—V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя.— VI. Альтруистическія и симпатическія чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

Дамскій журналъ. Ц. 50 к.

Журналъ для милыхъ. Ц. 25 к.

Рогоносцы въ эпиграммахъ XVIII вѣка. Ц. 50 к.

Смертодавы (врачи) въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 30 к.

Книга и читатель двѣсти лѣтъ назадъ. Ц. 50 к.

Жены декабристовъ. (Сборникъ историко-литературныхъ статей съ портретами). Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинскаго по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8⁰, 428 стр.) *Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическія, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ безплатныя народныя читальни и библіотеки.*

Исторической хрестоматіи (Сборника историко-критическихъ изслѣдованій) выпуски:

I вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.

II „ О книжной словесности XI — XVI вв. Изданіе 2-е. Ц. 1 р. 50 к.

III „ О книжной словесности XVI — XVII вв. Изданіе 2-е. Ц. 2 р.

IV „ О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Ц. 2 р.

V „ О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.

VI вып. Объ европейскомъ просвѣщеніи XVII — XVIII вв. и о вліяніи его на русскую литературу и общество. Ц. 2 р.
VII „ О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р. 50 к.
VIII „ О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.
IX „ О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р. 50 к.
X „ О просвѣщеніи въ древней Руси. Ц. 3 р.
XI „ О просвѣщеніи въ XVIII в. Ц. 3 р. 50 к.
XII „ О положеніи и состояніи русскаго общества въ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.
XIII „ О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.
XIV „ О Новиковѣ. Ц. 3 р. 50 к.
XV „ О Радищевѣ. Ц. 2 р. 50 к.

Сокращенная историческая хрестоматія. Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдованій о народной и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8⁰, 659 стр.). Изд. 3-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекоменд. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о **Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.)** Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8⁰, 1175 стр.). Изд. 2-е. Ц. 2 р. *Одобрена Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.)** Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Ц. 1 р. 75 к. (8⁰, 818 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Пушкинѣ.)** Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Изд. 3-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 733 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.)** Изд. 3-е. Цѣна 1 р. 50 к. (8⁰, 648 стр.). *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VI. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ.)** (8⁰, 1044 стр.). Изд. 3-е. Ц. 2 р. 50 к. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Тоже. Ч. VII. (Сборникъ историко-критическихъ статей **о Майковѣ, Фетѣ, А. Толстомъ и Тютчевѣ.)** (8⁰, 505 стр.). Ц. 1 р. *Допущ. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія. Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библіотекъ.*

Систематическій диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ. Ч. I. Этимологія. Изд. 17-е. Ц. 50 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв., Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.*

Тоже. Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 15-е. Ц. 60 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.*

Имена существительныя, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія. Ц. 20 к.

Справочный орѳографическій словарь. Изд. 10-е. Ц. 25 к. *Одобр. Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.*

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ продаются книги,

составленныя В. И. ПОКРОВСКИМЪ:

Аксаковъ, С. Т. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Гоголь, Н. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 3-е. Цѣна 1 руб.

Гончаровъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Грибоѣдовъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Григоровичъ, Д. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Державинъ, Г. Р. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Достоевскій, Ѳ. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Часть I. Цѣна 50 коп.

Екатерина II. Ея жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Жуковскій, В. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Кантемиръ, А. Д. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Карамзинъ, Н. М. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Кольцовъ, А. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 30 коп.

Крыловъ, И. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Лермонтовъ, М. Ю. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Ломоносовъ, М. В. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Майковъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Некрасовъ, Н. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Новиковъ, Н. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб. 25 коп.

Островскій, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 40 коп.

Полонскій, Я. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 1 руб.

Пушкинъ, А. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 1 руб. 50 коп.

Радищевъ, А. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 75 коп.

Сумароковъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

Толстой, А. К. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Толстой, Л. Н. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Тургеневъ, И. С. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 60 коп.

Тютчевъ, Ѳ. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.

Фетъ, А. А. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

Фонвизинъ, Д. И. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Изд. 2-е. Цѣна 50 коп.

Чеховъ, А. П. Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00002865055